РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Москва – Третий Рим
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Шишков А. С.
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.
Коялович М. О.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Суворин А. С.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Трубецкой Е. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Лобанов М. П.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

МИХАИЛ МЕНЬШИКОВ

ВЕЛИКОРУССКАЯ ИДЕЯ

ТОМ II

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2012

УДК 141.8(470)
ББК 87.3(2)6
М 51

Меньшиков М. О.

М 51 Великорусская идея / Сост., предисл., коммент. В. Б. Трофимовой / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2012. — Т. II. — 720 с.

В книге публикуются главные труды великого русского мыслителя, публициста и общественного деятеля Михаила Осиповича Меньшикова (1859–1918). В своих произведениях он призывал русских людей к самосохранению русской нации, отстаиванию прав русских на своих территориях. «Мы, русские, – пишет Меньшиков, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, – но вот ударил гром небесный, и мы проснулись и увидели себя в осаде – и извне, и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но и господство над нами, причем наградой за подчинение нам служат их презрение и злоба против всего русского».

С Петра I, считает Меньшиков, Россия глубоко завязла на Западе своим просвещенным сословием, которое хочет жить не хуже, чем западный обыватель. Российская интеллигенция и дворянство не могут понять, что высокий уровень потребления на Западе связан с эксплуатацией им всего остального мира. Как бы русские люди ни работали, они не достигнут уровня дохода, который на Западе получают путем перекачки в свою пользу неоплаченных ресурсов и труда других стран.

Меньшиков отмечает неравноправный обмен, который западные страны осуществляли с Россией. Цены на русские сырьевые товары, впрочем, как и на сырьевые товары стран, не принадлежащих к западной цивилизации, были сильно занижены, так как недоучитывали прибыли от производства конечного продукта. В результате значительная часть труда, производимого русским работником, уходила бесплатно за границу. Русский народ беднеет не потому, что мало работает, а потому, что работает слишком много и сверх сил и весь избыток его работы идет на пользу европейских стран.

Великий русский мыслитель был убит еврейскими большевиками на берегу озера Валдай на глазах своих детей.

ISBN 978-5-4261-0011-4

© Институт русской цивилизации, 2012

РАЗДЕЛ III

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ

НАЧАЛА ЖИЗНИ: НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ

(статьи из книги)

Вера в жизнь

I

Вера в жизнь как счастье составляет основной корень существования, самый глубокий и потому темный. «Хорошо жить на свете» – вот смутное, но прочное убеждение, на котором, как сфера на своем центре, держится человеческое бытие. Но в чем истинное благо жизни, для которого стоит жить и для которого можно радостно умереть? Где тот центральный интерес, ради которого можно бы идти вперед бесповоротно? В чем смысл жизни?

Этот коренной вопрос человеческой души имеет мистическое свойство: ответ на него ясен, пока нет вопроса, но как только потребуют точного определения его, сейчас же все путается и сливается в туман. Это как св. Августин[1] выразился о времени: «Я знаю, что такое время, если никто меня об

этом не спрашивает, но я не знаю этого, если захочу ответить на этот вопрос». Поэтому, может быть, лучше всего было бы вовсе не рассуждать о благе жизни, а привести себя в такое состояние, в котором бы это благо *чувствовалось* вне всяких формул и догматов, как оно чувствуется детьми или простыми людьми. К сожалению, умышленно отойти от своей мысли нельзя; приблизиться к наивному и единственно правильному отношению к благу можно только через мышление же, *не отступая*, а идя вперед, через всю ту неизбежную мглу, которая застилает разум в его ранней работе. Утреннее солнце вызывает на полях туман, но только оно же, поднимаясь над горизонтом, в состоянии и разогнать его. От мышления – раз оно возникло – отказаться нельзя, возникает же оно, как все зарождающееся, в неясных формах. Чтобы дать им определенность, необходима долгая отделка этих форм, органический отбор их, художественная чеканка. И только в конце долгого развития породы в голове мудреца мысль принимает снова ту очаровательную прозрачность, то глубокое спокойствие и самоопределение, ту веру в себя и в мир, какими отличается свежее чувство ребенка. Не бесплодны поэтому и те несовершенные попытки мысли о высшем благе, которые каждый из нас посильно делает. Современное же поколение особенно не должно щадить усилий в этих попытках, так как туман, скрывающий от него смысл жизни, особенно густ.

II

На закате нашего столетия, самого блестящего и просвещенного, какой запомнит история, чувствуется глубокая тоска среди наиболее просвещенных и «счастливых» людей. Чувствуется всеми затаенная печаль о наивной вере древности, об утраченных надеждах, печаль по красоте, которою когда-то был обвеян мир. Ни один век не давал человечеству большего удовлетворения и ни один не вел к большему недовольству. Как евреи, получившие манну в пустыне, современные люди, получившие самые роскошные дары цивилизации,

поднимают великий ропот; они разочарованы в достигнутых мечтах и вздыхают тайно о египетском плене древнего своего невежества. Прислушайтесь к голосу талантливейших вождей самого чуткого, самого культурного из европейских обществ. Нет в пределах Франции ни одной надежды, которая не была бы горько осмеяна, ни одной святыни, которая не была бы осквернена. Бог, бессмертие, мысль, красота, любовь, свобода, героизм, прошедшее и будущее – все в жизни и, наконец, самый Источник жизни предан гневному отрицанию.

Бог?.. «Где-то есть великий, обманывающий нас эгоист, пусть это будет природа или Бог… Повсюду эта безымянная сила дурачит индивидуумов… Нечто организуется на наш счет; мы – игрушка высшего эгоизма… Удочка очевидна, и, однако, на нее всегда попадались и будут попадаться… Это видения химерического рая, который лишен всякого правдоподобия, или, наконец, это величайшее заблуждение – добродетель, которой мы жертвуем самыми дорогими нашими интересами ради чуждых нам целей…».

Бог провозглашается существом жестоким, добродетель – заблуждением… разве это не характерные мысли нашего века? А они принадлежат не легкомысленному юноше, не невежде, они принадлежат Ренану*.

«К чему же привязаться? К чему обратиться с воплем отчаяния? Во что мы можем верить? – восклицает Мопассан, этот столь искренний и блестящий ум: – Религия? Но религии могут утешать своими детскими обещаниями только наивных и недалеких людей. Одно только достоверно – смерть». Скептическая философия предшествующих веков вотировала, так сказать, упразднение Высшего Существа, а философия пессимизма утвердила этот votum**, и даже больше того: она приписывает Ему отрицательные свойства. У философов

* В «Философских диалогах»[2]. См.: *Каро*. Пессимизм в XIX в.[3] – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

** Желание, воля (лат.). Решение, мнение, выраженное путем голосования. В государственном праве – «вотум доверия», «вотум недоверия». «Вотум доверия» – выражение парламентом путем голосования одобрения деятельности правительства или министра. – *В. Т.*

это «хитрый эгоист», «обман Воли» (*Шопенгауэр*)[4] , «великое коварство Бессознательного» (*Гартман*)[5], а у дилетантов – отрицательная вера вылилась в культ «черной мессы». «Бога нет», но у нынешних отрицателей нет даже и кумиров, «ни всякого подобия Бога ни на земле, ни на небесах, ни в воде, ни под землею» – кроме единой, всемогущей, жестокой, темной, пожирающей силы, которую современный человек привыкает бояться с тем же трепетом и благоговением, с каким некогда любил благую силу… Даже кумиры светлой веры исчезают.

Наука? Но в нее больше не верят. «Мы не знаем ничего, не видим ничего, не можем ничего, не предугадываем ничего, не воображаем ничего, мы заключены, заточены в себе самих. И люди удивляются человеческому гению!» (*Мопассан*). «Какую пищу приносит душе эта наука, если не хлеб горечи и не напиток смерти?» (*Бурже*[6]. Outre Mer*). «Знаменитое банкротство рационализма, позитивизма и самой науки… Наука теперь не успокаивает ни нашей жажды справедливости, ни нашего желания быть обеспеченными, ни той вековой идеи, которую мы составили себе о блаженстве…» (*Золя*. La Terre**).

Мысль? Но «мысль в этом мире лишь детская погремушка; в слепой вселенной она внезапно рождается, сверкает и слегка всплывает на разбивающейся волне» (*Гюйо*. Vers d'un philosophe***).

Любовь? Но любовь – это простой половой акт, который есть «начало и непрерывное завершение мира» (*Золя*. L'oeuvre****). «On est fils du hazard qui lanza, a un spermatozoide aveugle dans l'ovaire»*****(*Ришпен*. Les Blasphèmes). «Любить безумно можно лишь тогда, когда не видишь того, что любишь, так как видеть – значит понимать, значит презирать» (*Мопассан*).

* За морем (фр.) – *В. Т.*

** Земля (фр.) – *В. Т.*

*** К какому-нибудь философу (фр.) – *В. Т.*

**** Творение (фр.) – *В. Т.*

***** Это сын случая, который метнул слепой сперматозоид в яичник (фр.). – *В. Т.*

«Любовь – это встреча двух пресыщений и состязание двух развращенностей…» (*Бурже*).

Свобода? Она – химера, ведущая ко всеобщему разгрому: «В один прекрасный вечер освобожденный, разнузданный народ пронесется по дорогам; он будет обагрять кровью буржуа, будет носить их головы, будет сеять золото из выпотрошенных сундуков. Женщины будут выть, мужчины будут, словно волки с разверстою пастью, готовой кусать. Да, это будут лохмотья, топот грубых сапог, ужасная, нестройная толпа, грязная, с отвратительным дыханием» и проч. (*Золя*).

Идеалов нет; человек часто смотрит на себя самого, как на «кровожадную и смрадную гадину, позорящую и пожирающую землю» (*Золя*). «Как бы я желал, – мечтает Мопассан, – не мыслить, не чувствовать. Я желал бы жить, как скот, в ясной и теплой стране… в одной из тех стран Востока, где засыпают без печали, где просыпаются без горестей, где умеют любить без страданий, где едва чувствуют свое существование»… жить с тем условием, чтобы было «пять жен из пяти частей света». «Мы все поражены скукой и истощением, побеждены до начала действия, у всех у нас думы анархистов, которым недостает храбрости для действия» (*Доде*).

III

Эти случайные цитаты* – не более как отдельные звуки, не дающие, может быть, и понятия о музыке того глубокого отчаяния, которым они вырваны. Безутешным жалобам на мир и жизнь посвящены не афоризмы, а длинные страницы, написанные как бы отравленною кровью, с искренностью предсмертного вопля. И сколько утонченного и страстного таланта потрачено на эти крики скорби! Поэты и беллетристы как бы вдохнули в себя мрачный гений философов пессимизма, они как бы перелагают Шопенгауэра и Леопарди[7] на язык искусства. Широкое проникновение так называемым «дека-

* См.: *Гиляров А.*[11] «Предсмертные мысли нашего века» и проч. – *Примеч. М. О. Меньшикова*.

дентством» всех областей творчества говорит о силе этого темного настроения, а что такое декадентство, как не пессимизм, проникнувший в мысль до совершенного искажения ее форм? Декадентство есть протест против природы как она есть, несогласие с творчеством Божиим и некоторое отступничество от него. Естественное декаденту кажется неинтересным, красота и истина непривлекательными – без примеси безобразия и обмана. По старинной легенде вечная месть дьявола Создателю не в том, чтобы разрушать творение – этой власти ему не дано, а в том, чтобы *искажать* творчество, извращать его. Этим духом дьяволизма, декадентством, бессознательно проникнуты теперь все формы духовной жизни, и не в одной Франции. Не говоря о Шопенгауэре, в Германии же явилась к концу века философия Гартмана с проповедью всемирного самоуничтожения и Ницше[8] – с апологией зла, и доктрины эти имели большой успех. Из Англии в то же время шла теория «борьбы за существование» и механической эволюции с их мертвящим материализмом.

Каждая культурная страна вложила своего яда в сознание «конца века». И вот наверху невероятного могущества современный европеец, как библейский царь, ощущает немое присутствие неожиданного врага – *скуки*. «Все суета и томление духа, – говорит он себе, подобно Екклезиасту[9], – ничего нет нового под солнцем; что было, то и будет. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не остается памяти у тех, которые будут после… Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа!.. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание – умножает скорбь… И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа…» <Еккл. 1:9, 11, 14, 18; 2:17>.

Разверзающаяся перед человеком всемирная пустота, исчезновение смысла жизни имеют свои периоды. Жалобы Екклезиаста почти буквально повторены были Буддой, хором греческих трагиков, философами древних школ и тянутся, прерываясь, до эпохи пирронистов[10] и скептиков, пока не

распустились пышно в нынешнем пессимизме. «Eadem sunt omnia semper, Eadem omnia restant!..»* – горестно восклицает эпикуреец Лукреций[12], и, как эхо, через два тысячелетия откликается эпикуреец Мопассан. На вершине цивилизации пресыщенный дух человеческий вянет; он сверкает еще роскошью своих приобретений, но, как багряный убор осеннего леса, эта роскошь красок – предвестье смерти. Дальше идти некуда. Пресыщение – продукт материалистической цивилизации – делает жизнь презренной; в ней не остается желаний и потому нет смысла, а все, потерявшее смысл, обречено смерти. Материализм – как возобладавшее миропонимание – оказался именно тою мглою, в которой затерялась ясность жизни. «Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все – суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах» (Еккл. 3:19, 20). Последовательный материализм неизбежно ведет к этому ужасу духа, к чувству смертельного одиночества в пустыне времени… Если жизнь погибает, едва возникнув, если нет вечной души в мире и нашего *вечного* с нею прикосновения, то к чему тогда красота мира, его величие, к чему любовь и совесть, к чему волнения ненасытного разума? Если все мгновенно, то все ничтожно, все – суета и томление духа. Эта тоска – тайное чувство бессмысленности существования – отравляет все начала счастья и ими непобедима. Она обращает в тягость здоровье, силу, молодость, богатство, ум, которые даже в совокупности часто не в силах остановить руку «счастливца», занесенную над собственным сердцем. Тоска – та же смерть, только по сю сторону гроба, постепенное разложение души в еще живом теле. Тягостный разлад этот, щемящее чувство ненужности жизни – хуже страданий, и с ними приходится считаться всякой слишком богатой, слишком материальной цивилизации. Умирание души происходит от той же причи-

* Все всегда то же, все тем же остается (лат.). – *Лукреций Кар.* О природе вещей. – *В. Т.*

ны, как и физическая смерть. Тело умирает, когда нарушается гармоническая связь его с природой. Душа разлагается, когда порваны органические нити, связывавшие ее с высшим благом. Материализм надрывает эти нежные нити, спутывает их. В бесконечности мертвых, неустанно мятущихся атомов, как в тумане, блекнет красота мира, его поэзия. Отвергнутому духу, обращенному в простое рабочее орудие, все становится безрадостным, все скучным, как развенчанному королю; мир родной и милый превращается в необъятную машину, погруженную в вечную тьму, где миллионы колес снуют монотонно, без ропота, но и без желаний, вечно покорные законам, которых они не знают. Материализм за те грубые соблазны, какие он дает, обрекает человека на мертвое рабство и вечное забвение в хаосе. Но тут-то, поклонившись темной силе, человек испытывает бледный ужас: «Зачем же жизнь?» – спрашивает он со скорбью последнего человека, при котором готово погаснуть солнце.

IV

Каким способом развяжется с этим мрачным миросозерцанием современное общество – я не знаю, но в одном я глубоко убежден, что истинная наша жизнь бессмертна, и ее не погасить никакими отрицаниями. У корней дряхлеющей цивилизации нашей рвутся к свету бесчисленные побеги, и я верю, что они разовьются и в новых веках повторят все идиллии и все трагедии теперешнего человечества. Век отчаяния непременно должен смениться веком блаженной веры. Как это сделается – гадать об этом трудно. Выработка нового, более радостного миросознания похожа на работу птицы над гнездом. Как птица выбирает только те былинки, какие пригодны для мягкого ложа, и отбрасывает негодные, так и здоровая душа человека. Когда оплодотворенная свыше душа нашей расы будет готова к творчеству, когда ей *действительно* захочется гнезда, она начнет пренебрегать неразрешимыми сомнениями, грызущими теперь сердце, и просто

отбросит их, как сор, а станет усваивать представления приятные, ясные, покойные, крепкие. Птица никогда не свила бы себе гнезда, если бы захотела ввести в него весь материал природы, со всеми шипами и колючками; человек делает эту безумную попытку и чувствует себя израненным. Здоровая природа, я уверен, подскажет, наконец, что в мире мысли, как и в физическом, то, что больно – то и вредно, и того трогать не нужно. Испытав весь яд прикосновений к некоторым идеям, человек будет инстинктивно отшатываться от них; он будет вить свое миросозерцание из заведомо приятных элементов красоты, истины, добра, какие найдет в природе, и уже затем, как счастливая птица из гнезда, будет поглядывать без страха и на тернии, и на колючки мысли. Я уверен, что только в таком покойном гнезде возможно высиживание жизни, новый рост ее… пока, выросшая, она не покинет старого гнезда, чтобы на осеннем ветре мечтать о новом, возможном лишь будущею весною… В этом чередовании счастливого покоя и тяжких бурь – залог вечного стремления, которое и составляет жизнь. Так как нынешнее общество слишком пестрое и все мы живем в разных веках и настроениях, то для иных, может быть, еще только приближается их зимний период – «томление духа», но для большинства, усталого в материализме, разочарованного поколения веет уже весной и солнцем.

Вы скажете: строить себе миросозерцание исключительно из счастливых элементов – не значит ли закрывать глаза на все ужасы, которыми столь обильна жизнь? Не похоже ли это на реквием, на равнодушие к страданиям человеческим, на нежелание бороться с ними? На это я отвечу, что я далек от подобного взгляда. Напротив: светлое миросозерцание, внутренне чуждое *злу*, тем самым предполагает в себе *добро* как свою основу. Отказаться от всякого влияния зла даже в мысли – не значит изменить добру, а значит отдаться ему бесповоротно. Вся боль человеческих отношений и происходит от отклонения сознания от закона добра, само же добро дает только жизнь и радость. Точно так же в области истины и красоты: отказаться от всего, причиняющего боль,

не значит изменить истине и красоте, а значит утвердиться в верности им. Во всех случаях боль зла, безобразия, лжи не исчезает для человека, но лишь не входит в его собственное существо; боль остается *вне* духа, всегда держа его в опасности, но не заражая его и не делая его заразительным. Только душевно счастливый человек (добрый, прекрасный, мудрый) в состоянии чувствовать истинную меру несчастья и своего, и ближнего, подобно тому как только здоровое тело чувствует истинную меру боли. Организм нездоровый, введший болезнь в свое существо, отвечает на внешнюю боль неверно и часто гораздо слабее, чем здоровый. Поэтому вплетать в свою душу радостные элементы добра, истины, красоты – значит приготовлять просто здоровую душу, не наименее, а *наиболее* чуткую, наиболее способную противостоять влияниям зла. Здесь безошибочно действует великий инстинкт, предохраняющий нас от ненужного в пище, питье и т. п. Клеточки нашего тела берут одно, отбрасывают другое, усвоить же *все* было бы для них обречением на смерть. Органический способ построения всего живого – предоставить себя жизненному чутью, свободному выбору своей первоначальной воли. В этом случае надо уважать громадный опыт человечества, которое в целом есть неисправимый оптимист. Подобно царству животных и растений, человечество не отказывается от жизни и, несмотря на все бедствия, страстно жаждет бытия и считает его самым нужным и ценным, что есть на свете. Принцип столь всеобщий и упорно осуществляемый не может быть ложным.

V

Остерегаться зла, собирать и укреплять в себе элементы блага, доверившись разуму и совести своей, – вот скромный путь для выработки счастливого, то есть осмысленного миросозерцания. Доверимтесь непосредственному, живому чувству, которое, как демон Сократа, подскажет всегда более или менее верное решение. Не следует слишком много мудрствовать, го-

няться за безусловной стройностью открывающихся истин. Понять все тайны мира и связать их – это преимущество Высшего существа. Мир постоянен, понимание же его бесконечно разнообразно. Сознание и человека, и человечества есть стихия, еще только начинающаяся слагаться, крайне неустойчивая и колеблющаяся. Как малейшее движение ветра меняет форму облаков, всякое новое ощущение или новый порядок их путают строй чувств, обрывают одни мысли, завязывают другие. Поэтому постоянное пребывание нашего ума на высоте истины, добра и красоты невозможно; это идеал, достижимый на мгновение и исчезающий, чтобы вновь на мгновение быть достигнутым (см. «Думы о счастье», XIX). Так называемое «систематическое» мышление, строго говоря, безусловно, невозможно и есть выдумка тех прозаиков, которые воображают, что мыслят, если располагают слова в том или ином механическом порядке. Напряжение величайших умов всех времен – дать связное выражение мира – кончилось неудачей: *связность* достигалась, но исчезала ясность, если же гению удавалось дать нечто ясное, терялась связность. Нет ни одной философской системы общепризнанной, столь же бесспорной, как хотя бы математика, и особенно яркий пример неудовлетворительности таких систем дает судьба ученых нынешнего, XIX века – Гегеля[13], Фейербаха[14], Шопенгауэра, Дарвина[15]. Всеми чувствуется, что какая-то доля истины есть в каждом учении, но лишь доля истины, а не вся она.

В каждом учении истинно именно то, что не составляет системы: это случайные проблески света, вырывающиеся из прорех той темной ткани, которую с таким трудом ткут философы в убеждении, что они создают самый свет. Величайшим из мудрецов доступно лишь более частное переживание этих lucida intervalla*, чем обыкновенным смертным, да и то переживание больше чутьем, чем отчетливым пониманием. Истина, красота, добро суть откровения мгновенные, подобно молниям с неба озаряющие разум, но подобно молниям снова погружающие его в темноту. Долг каждого честного челове-

* Светлые промежутки – (*мед.*, лат.). – *В. Т.*

ка – скромно ждать в себе этих молний и только их признавать за небесный свет. Долг наш – разглядывать *освещенную* разумом жизнь, а не ту, погруженную в сумерки, которую мы все видим обыкновенно. От человека требуется не всякое отношение к миру, а лишь озаренное красотою, истиной, добром, то есть благородное отношение. В исследовании мира вся работа идет не вне, а внутри человека: мир неизменен, а меняется только человеческое отношение к нему. По мере углубления в предмет углубляется душа, она делается – смотря по свойствам, которые открывает, – разумнее, прекраснее, добрее. В отдельных вещах, как и в целом мире, душа ничего не находит иного, кроме своих же собственных свойств; мир, каким мы его знаем, есть, в сущности, раскрытие нашей души. Как существа конечные с конечным разумом мы в состоянии мыслить только отдельные вещи сколько-нибудь достоверно, и уже от них только возможен синтез, всегда гадательный… Не нужно поэтому увлекаться механическою способностью рассудка сплетать бесконечные узоры мысли; истина открывается ясным внутренним зрением, «чистотою сердца», которое видит Бога.

VI

Теоретики пессимизма утверждают, что жизнь есть страдание, «естественная история страдания», как говорит Шопенгауэр. Каждая вещь, по мнению этого философа, есть проявление воли, которая сталкивается с бесконечным числом других своих проявлений, и в результате ни одно не достигает своих целей: все стремления взаимно гнетут друг друга и порождают мировое страдание. Если случайно воля удовлетворена, то дальнейшее ее стремление непременно встретит препятствие. «Хотеть, по существу, – значит страдать, а так как жить – значит хотеть, то, по существу, жизнь есть страдание. Чем существо стоит выше, тем более оно страдает. Жизнь есть непрерывная погоня, в которой существа, то преследующие, то преследуемые, оспаривают друг

у друга куски ужасной добычи. Жизнь… резюмируется так: хотеть без мотива, всегда страдать, всегда бороться, потом умереть, и так во веки веков до тех пор, пока наша планета не разобьется на мелкие куски». Всякая радость, таким образом, есть исключение, верховный же закон – страдание. Нет в мире блага или оно проявляется мимолетно, чтобы тем более жгуче ощутилось зло… Из этой пучины зла, в которую ввергает все живущее обман воли, нет иного выхода, как прекращение бытия – не самоубийство, не достигающее цели, а окончательное искоренение всех живых источников природы, *истощение* ее. Бесчисленные поколения веровали, что Бог сотворил мир. Пессимизм проповедует уничтожение мира как достойную цель сознания. «Опротивела мне жизнь моя, презираю душу мою, отпусти меня!» – молит современный пессимист, как древний Иов, – не имея утешения сказать, как тот праведник: «Невинен я!» <Иов 33:9> перед лицом Бога, в которого он не верит…

Вот учение, напоенное смертельной злобой. Изложенное с неподражаемым по блеску гением, оно как бы вдохновлено антихристом. Пессимизм есть настоящее *зловестие*, печальная антитеза Евангелия. Перебираешь страницы Шопенгауэра и чувствуешь, что они как бы опалены адским пламенем: до того от них дышит упоением отчаяния. Пессимизм – мрачная поэзия материализма, патетическое отрицание Бога. Как бы ни было увлекательно это учение по своей форме, содержание его – ложь. Я думаю, что оно в конце концов послужит окончательному торжеству веры во благо и дано именно с целью утверждения истины.

Как всякая ложь, пессимизм полон грубых противоречий самому себе. Например, вместе с Кантом[16] пессимисты утверждают, что видимый, материальный мир не существует, а есть простая иллюзия нашего ума, зависящая от способности его представлять вещи не иначе как в формах времени, пространства и причинности. Настоящая же жизнь мира и нас самих нам недоступна, это «Ding an und für sich»*. По

* Вещь в себе и для себя (нем.) – *В. Т.*

Шопенгауэру, это воля, по Гартману – идея. Если так, то, казалось бы, и не следовало огорчаться непрочностью этого иллюзорного существования, зная, что мы как «вещь в себе» всегда обеспечены и неистребимы. А между тем вся аргументация «зла жизни» построена на страданиях именно этой, мимолетной жизни. Только что утвердив призрачность видимой плоти, Шопенгауэр тотчас строит на ней все свои отрицания. Если допустить, что ничего нет, кроме плоти, тогда ее стремления, конечно, имеют безусловную важность, и преграды для них, вызывающие страдания, суть безусловное зло. Но зачем же это допускать вопреки очевидности, зачем придавать плоти и ее «хотению» не ограниченное, а бесконечное значение? Каждому из нас внутреннее самочувствие говорит, что настоящая жизнь есть не еда, не питье, не сон, не половые и иные плотские потребности, а некоторое состояние духовное вне всего этого. Пусть плотские хотения беспокойны, пусть они выражаются в жизни иногда буйною толпой и производят беспорядок, даже разгром, но есть же средства держать и в повиновении эту орду страстей – в таком повиновении, когда они покойны и удовлетворены. Поразительно то, что сам Шопенгауэр – по преимуществу дух, всю долгую жизнь живший мыслью и иную жизнь презиравший, мудрец, изведавший все блаженства созерцания, все-таки почему-то на первое место ставил *волю* (то есть плоть), хотя и ненавидел ее – до страстного стремления подавить ее, в чем ставил и цель жизни. Казалось бы, в себе самом он мог видеть опровержение своего пессимизма: его *воля*, поскольку выразилась в духе, давала ему только счастье, а тело его, как известно, вело себя очень покорно. Если оно и устраивало ему некоторые неприятности, зато добросовестно служило ему, работало и давало радости. Что такое, в самом деле, «плоть», чтобы делать ей столько чести и из-за нее не видеть себя? В существе плоть – не более как ближайшее домашнее животное человека, предназначенное провести его земною дорогой. По свойствам дороги это животное, безусловно, необходимо, как олень в тундрах; это животное нуждается в некотором уходе, весьма небольшом,

нуждается в узде – и можно бы сказать «и плети», если бы не было доказано, что с животными можно обходиться без помощи этого неблагородного орудия. Не грубым насилием, а лишь одним разумением человек может укротить плоть свою до полного послушания. Для тех, у которых животное слишком распущено, – это нелегко, но поэтому-то и не следует распускать его. Допустим, что плоть ваша, как взбесившаяся лошадь, грозит вас сбросить с себя. Тем хуже для нее! Она погибнет, несомненно, но погибнете ли вы вместе с нею – этого внутреннее ваше чувство не говорит. Напротив, прислушайтесь только к этому чувству, позабыв на мгновение все внушенные понятия, вам покажется, что вы никогда не умрете и умереть не можете, как никогда не рождались. Вы сознаете одно: жизнь, которая в силу того, что она – жизнь – не подлежит смерти. Для человека, сознавшего истинное свое начало – внетелесное, физическая смерть не имеет значения; тем менее важности он придает физическим страданиям или радостям. Есть нравственная высота – и она во власти человека, на которой можно не только без труда переносить, но даже не замечать многого из того, что Шопенгауэр считал злом жизни. Дух бодрствующий не знает страданий; они – дурные сны его, исчезающие с пробуждением.

Есть грубое противоречие также в основной мысли пессимизма, что сущность мира есть *воля*, которая неизбежно ведет к страданию. Но если сущность мира – воля, то все проявления ее суть удовлетворения, то есть благо, а не страдание. Если ничего не существует, кроме *хотения*, то самое хотение должно чувствоваться как благо. Весь безграничный мир как объективация воли составит одно беспредельное удовлетворение, одно безграничное Благо. На шопенгауэровском начале легко было бы построить совершенно обратную философию (и более близкую к истине), почти не меняя аргументов, а давая им только противоположный смысл. Разве нет противоречия в утверждении пессимизма, будто всякая «жизнь есть страдание», будто сумма страданий превышает сумму радостей? Если бы это было так, то не было бы и самой жиз-

ни. Жизнь только потому и возможна, что количество созидающих, благих условий превышает сумму разрушительных, и значительно превышает. Если вспомнить, что достаточно иногда ничтожного повреждения, чтобы повести к смерти, то станет поразительным, до чего редки даже эти «ничтожные поврежденья»: необходимы десятки (а для иных животных и растений сотни и даже тысячи) лет, чтобы сумма повреждений достигла даже этой ничтожной нормы, чтобы, наконец, вызвать смерть. Разве нет противоречия в том, что «жизнь есть несомненное зло, так как она оканчивается смертью, величайшим из зол»? Но если смерть – зло, то уничтожаемая ею вещь – жизнь – должна бы считаться благом, если же жизнь счесть за зло, то прекращение ее – смерть – явится как благо. Грубое противоречие также в требовании искусственной кончины мира. Если мир есть *воля*, то есть хотение жить, то он тем самым не может дойти до хотения не жить и до чудовищных рецептов вселенского самоубийства. Противоречие и в том, что если жизнь есть обман воли, то воля не может выработать *представления*, то есть способности, разрушающей этот обман. Подобными логическими противоречиями пессимизм изобилует, и все это удивительное учение – не что иное, как великая натяжка. Никогда не было потрачено столько сверкающего мыслью гения на доказательство более предвзятой темы.

VII

Вопреки безнадежной гипотезе о вечном торжестве зла, я думаю, что зла вовсе не существует – в качестве, по крайней мере, рока, как понимают пессимисты. В природе нет зла, а есть только органическая доброта. То, что мы называем злом, есть всегда добро, но только одностороннее, отделившееся от своей бесконечной основы и потерявшее смысл. Это прекрасно выражено в древнем веровании о падении Сатанаила. Лучезарный дух, осуществитель добра, пока он был в воле Единого, – он сделался духом зла и смерти только потому, что

отделился от Отца своего, ограничил себя от всего, захотел быть благим *особо*. Действительное благо есть добро ко *всему*, тогда как зло есть добро к себе или к какой-нибудь отдельной вещи во вред другим. Такое отделенное добро всегда жалкое и мертвое, как отделившаяся от дерева ветка, но все-таки оно добро по своей природе. Отделившаяся ветка может считать себя освобожденной от дерева и той работы, которая на ней, как на ветке, лежала, то есть является некоторый выигрыш, некоторое прибавление блага для нее. Но какой в то же время бесконечный ущерб! Увядание и скорая смерть покажут ветке, что это «особое» благо мнимое, что, отделенное от всего, оно даже себе не нужно. В этом ограничении любви – гибельная ошибка эгоизма, всякого эгоизма – личного, группового, сословного, национального и т. п. Все отделяющееся обречено смерти. Гаснут планеты, оторвавшиеся от солнца. Остывают и леденеют спутники планет. Исчезает живое царство, лишенное почвы. Хиреет человечество, лишенное родного ему мира живых тварей и растений. Коснеют народы, отделившиеся от живой связи с человечеством; вымирают касты, отгородившие себя от народа; дичает человек, лишенный общества себе подобных. Организмы умирают от смерти клеток, а клетки умирают от постепенного разъедания, от разрастания межклеточной ткани. В вековечной мировой борьбе частей с Целым, в попытках частей выйти за положенные им пределы и занять самостоятельное существование – остается несокрушимым Целое и неизменно рушатся части. Как волны в океане, они на мгновение приобретают свою особую форму, они ведут кипучую борьбу, из которой ничто не выходит, тогда как океан без всяких усилий остается неизменным, неизменно благим к этим желающим оторваться от него горстям воды: он принимает их в свое лоно по разрушении, не дает уничтожаться сущности их, не устает рождать их снова… Таков и Мир в отношении всех явлений и всех существ: он есть одно Благо и нет в нем зла. Уже то, что какая-нибудь вещь существует, есть проявление к ней Мирового благоволения и торжественное уверение, что она бессмертна.

«Kein Wesen kann zu nichts zerfallen»*, – как говорит Гете. Разрушится форма, но и возникнет, и вечно будет возникать, так как *возможность* ее удостоверена, а все возможное не только существует, но и не умирает. Таково свойство бесконечности, что все возможное в ней уже и живет, и даже не в одной, а в бесконечном числе форм, то есть осуществляется полнота всякой жизни не только во времени, но и в пространстве. Раз я существую, то не могу отрицать того, что бесчисленное множество точь-в-точь таких же *я* где-нибудь рассеяно в мире среди бесконечных сонмов подобных и не подобных мне. Стало быть, моя жизнь принадлежит не этим нескольким пудам плоти и от них не зависит; эта плоть распадается, а мое бытие остается и даже в ненарушенной полноте (так как от бесконечности нельзя ни убавить ничего никаким вычитанием, ни прибавлением к ней). Почему я должен связывать свое *Я* с эфемерным *материалом*, а не с вечным *планом* этого «Я», не с тем творческим началом, которое создало меня по этому плану? Архетипы вещей и их творческая сущность, которая и составляет бытие, вечны, меняется лишь текучий материал жизни, что так ясно было сознано еще Гераклитом. Самое дорогое и заветное верование, к которому приходили великие мудрецы независимо в разных странах и веках, это то, что бытие неуничтожимо, и сам Шопенгауэр дал замечательные по остроумию доказательства этого (в 41-й главе II т. «Мира как воли и представления» и в диалоге между Филалетом и Тразимахом)[17]. Источник шопенгауэровской философии – буддизм – при страстном стремлении к небытию все же не верит в безусловное несуществование и останавливается как на идеале на «ниббане», которая есть нечто среднее между «быть» и «не быть», некоторое слияние с первосущностью мира, Брамой. Всемирный опыт говорит, что «ничего нет нового под солнцем, что было, то и будет», – и в этом великое утешение жизни. Ничто, значит, не уничтожается и не создается, и смерти нет. *Благая весть* была вестью о жизни вечной, которая может быть или вечным

* Никакое бытие не может рассыпаться в ничто (нем.). – *В. Т.*

блаженством, если согласна с благою Волей, или вечным мучением – в отделении от нее.

VIII

Мир в его живой сущности есть Благо, которое открывается в самых разнообразных сочетаниях добра, истины и красоты. Подобно тому как в природе нет зла, а есть только ограничения добра, так в ней нет безобразного и ложного, а только *ограничения* красоты и истины, излишние обособления этих благ в отдельных веществах. Все прекрасно и истинно, пока держится воли Целого, все делается злым и безобразным, отклоняясь от этой воли, вырабатывая свою, независимую. Но так как Целое есть абсолютное благо, то цель его не в том, чтобы порабощать свои части и не давать им жизни, а как раз обратная: цель его – дать *всякой* части ту индивидуальность, какую она в состоянии развить, дать совершенный вид молекуле, растению, человеку, планетной группе, дать всему всю возможную полноту жизни, при которой каждое бытие не мешало бы всем остальным, а восполняло бы их и поддерживало. Единство мира есть не однообразие, а гармония: то высшее согласие частей, где каждая из них не только не теряет личной жизни, но развивает ее до созвучия с бесконечной *общей* жизнью. Как в гармонии, только тот звук прекрасен, истинен и приятен, который уравновешен с хором остальных, так и во всей природе. Истина, добро и красота суть основные, постигаемые человеком тоны мировой гармонии, которая чувствуется как благо, как чья-то великая правящая миром любовь. Могут спросить: почему же, если мир есть абсолютное Благо, в мире все-таки допущены отступления от блага, то что называется безобразным, злым и ложным? На это возможен единственный ответ: все это нехорошее дурно не само по себе, а только *кажется* таким, а это зависит от коренной иллюзии нашего мышления, видящего мир не в его сущности, а лишь в формах, *нам* одним как конечным явлениям свойственных, то есть во времени,

пространстве и причинности. Если бы мы видели мир таким, каков он есть в себе, то есть вне времени, пространства и явлений, то видели бы одну сущность – Благо, и с этой мировой точки все отступления от него показались бы в истинном их значении, то есть благими. То, что *отсюда*, сквозь плоть, нам кажется иногда безобразным, злым, ложным, *оттуда*, сквозь разум, должно казаться столь же *нужным* для общего блага, как все. Так как истинная жизнь наша есть жизнь нашей сущности, которая неуничтожима, то для нее ничего не может быть безусловно вредного, то есть ни безобразного, ни злого, ни ложного, – может быть только то или иное выполнение воли Целого. Все остальное составляет лишь обман плоти, как это ясно чувствовали все философы. Стремления людей, ищущих блага, должны заключаться в том, чтобы выяснить этот обман и привести себя в божественное отношение к миру: иллюзия Зла исчезает тогда сама собою.

Так как высшее благо всякого существования – в слиянии с мировою гармонией, то ясно, что высшее благо з*десь*, в нашем сознании, недоступно во всей его полноте. Мы его достигаем лишь на мгновение, когда нам удается – как частичке волнующегося океана – совпасть с великим уровнем. Достигаем идеала, чтобы тотчас отклониться от него, снова стремимся к нему, достигаем и снова теряем и т. д. без конца. Это бесконечное стремление к идеалу и потеря его есть творческое начало здешней жизни, без чего она остановилась бы. Отделившаяся от Целого часть обречена на бесчисленные колебания, и тело наше есть не более как орган, отмечающий их: то чувством счастья – в приближении к воле Целого, то страданием – в отделении от Нее.

Пока мы чувствуем только жизнь плоти, невозможно полное достижение блага, и ни один праведник не может спастись отдельно, как в волнующемся океане ни одна часть не властна прекратить свое движение. Все мы, родственные части Единого, связаны в материальности своей ответными, неразрывными узами, расторгнуть которые нельзя. Все мы можем спастись в сознании Сущности только вместе; вели-

кое возмущение может утихнуть постепенно, не по очереди, а одновременно для всех молекул. В этом – неизбежное горе личной жизни и вера во всеобщую радость. В этом – непререкаемый закон нравственный: нельзя быть счастливым, пока есть в мире *хоть где-нибудь* страдание и что вы не можете его не разделить. Так мы с острою впечатлительностью делим все радости и беды той ближайшей микроскопической волны, к которой принадлежим, – семьи, которой передаются извне давления более крупных волн общественных, государственных, международных, общечеловеческих. Каждое биение сердца, где бы то ни было и когда бы то ни было, так или иначе доходит до нашего сердца, хотя мы этого и не сознаем. Отсюда долг общей работы, которая в состоянии поглотить без остатка все личные способности к совершенству. Зная, что вечное благо доступно сообща, отдельная волнующаяся часть должна истратить жизнь свою на стремления к уровню, на усилия удержаться на нем и удержать других. Будет ли конец этим усилиям? Достигнем ли мы слияния с высшей Волей?

Я в это верю. Не только достигнем, но и достигаем, и это движение всегда доступно. Пусть не смущает нас видимая реальность. Кто знает, что она такое и что за нею скрыто? Даже и в наивном представлении, оставаясь на почве опыта, мы не можем утверждать, что видимый мир вечен; мы *не знаем* ни начал его, ни конца. Все части мира, некогда возникшие, некогда могут исчезнуть, как волны в океане, как звук в гармонии. Видимый мир, поскольку он отвечает вечному согласию своих частей, может исчезнуть как феномен, согласно надежде всех религий и уверению математиков, которые сумму мировых сил сводят к нулю. Установится ли вечная жизнь как потенциальное бытие, покой Нирваны, или как «новое небо и новая земля» в том блаженном согласии душ, какое было до падения первоархангела, как говорит апокрифическое предание? Во всяком случае это не будет безличное Ничто, не будет однородная, бесструктурная субстанция вроде эфира, в которой нет мысли. Это будет Гармония, бесконечный хор живых уравновешенных в воле Целого неразделенных с ним частей.

Жизнь сущности (а не явления), жизнь просветленная, вечная, святая, будет полна мира и ничем не возмущаемой любви. «И Ангел… клялся Живущим во веки веков… что времени уже не будет» (Откр. 10:5, 6).

IX

Зачем жить? Страшный и странный вопрос; его не задает никакая тварь под солнцем, ни само солнце, ни тьмы миров – кроме человека. Какое грустное преимущество! Оно было бы трагическим, если бы ответ был вовсе невозможен. Ответ этот прочтите в жизни всякой твари, материков и гор, безбрежных морей и лесов, где гнездятся несчетные мириады душ, прочтите в неизмеримом небе или у себя в сердце в минуту покоя. Ответ один: жить нужно, чтобы ощущать блаженство. Жизнь есть и цель, и средство одновременно. Для всего живущего вне блаженной жизни нет никакой *своей* цели. Осуществить данное свыше бытие в возможной полноте, то есть в возможной красоте, истине и добре, – и затем исчезнуть, перейти в другое бытие. Сверх этого мы ничего не знаем. Наш разум требует, чтобы была иная всеобщая, великая цель отдельных существований, но это не наша личная цель, а Того, Кто послал нас в жизнь. Не сами ведь мы вызвали себя к существованию, не сами сотворили элементы, силы, законы, из которых состоим, не сами создали все, нас окружающее и дающее нам жизнь и радость. Все это явилось помимо нас, ясно, что мы не принадлежим себе, что мы кем-то составленный прибор для выполнения какой-то работы, и эту работу называем нашей жизнью. Если бы колесо в машине пришло в сознание, оно сочло бы своею жизнью как раз ту работу, которую выполняет. Ему казалось бы, что так как оно ничего не умеет делать иного и так как всего удобнее для него то, что оно умеет, то это-то его специальное уменье оно и считало бы своею жизнью. И это взгляд истинный. Все в мире должно нести ту работу, которая наиболее удобна, и, подобно колесу, пока эта работа идет хорошо, без отклонения, жизнь хороша, она имеет смысл

и цель. Но стоит колесу обтереться, дать трещину – оно почувствует толчки и сотрясения – чью-то могущественную волю, выбрасывающую его из механизма и заменяющую его новым колесом. Пощады нет, так как не машина для колеса существует, а оно для машины. И я не вижу для самого скромного существа оснований отчаиваться в своей жизни и вопрошать: зачем я живу? Ясно, зачем: чтобы быть на своем месте, пока ты не износишь себя. Лишь бы быть уверенным, что ты принадлежишь к мировому механизму, составляешь нечто нужное для него, и вне этого нужного ты не нужен и не имеешь смысла. Убедись в этом – и ты успокоишься, цель жизни будет найдена, как найдена она у гор, деревьев, животных, светил небесных, которые с доверием безграничным смотрят на свое бытие, находя его как раз таким, каково оно есть. Выполнить хорошо свою роль – вот цель живущего, а какое место эта роль занимает в пьесе мира – это забота не актера, а великого Автора вселенной. А потом что? Когда изношусь, не стану годен для выполнения своей роли в мире, и он выбросит меня из недр своих, – я исчезну… Какой ужас, какая жестокость! На это отвечу я: подумаем немного, прежде чем отчаиваться. Вспомним, что мир не может выбросить нас из себя, и то, что хоть одно мгновение есть, то будет вечно. Разве мы не видим, что все гибнущее воскресает снова, что все повторяется и мир ни в одной ничтожной частице своей не умирает?

Доступное нам начало жизни чувствуется через *веру* в жизнь как благо вечное. Не телесными органами чувств, не зрением и слухом, а всем существом своим здоровые люди осязают это Благо с уверенностью непоколебимой. Надо с благодарностью хранить небесный двигатель жизни – святую веру и источник ее – непорочность души и тела. Начало жизни есть вера в то, что жизнь есть счастье. Жизнь двигается желанием жить, а как не желать этого, когда источник нашей жизни есть само Высшее Благо, обставившее служение его Воле бесчисленными очарованьями. У детей и взрослых и даже у здоровых стариков одно уже ощущение своей жизни есть величайшая, невыразимая словами радость. Она выража-

ется в беспричинном восторге, опьяняющем чувстве самодовольства. Действительно чистому, действительно здоровому человеку хочется петь, играть, работать, любить, благодарно молиться, хочется весь мир заключить в одни объятия. Как хороша жизнь, когда она чиста и неиспорченна! Разве видеть кругом себя бесчисленные толпы существ, вам подобных, одушевленных, понимающих вас и сочувствующих, стремящихся к тем же радостным целям, – разве это не благо? Видеть беспрерывно каким-то чудом откуда-то наплывающие волны все нового и нового человечества, столь пленительного, столь богоподобного в раннем детстве, – разве это не благо? Сознавать при этом, что жизнь бессмертна и цели ее бесконечны, – разве это не благо? А сколько счастья дает природа – этот истинный дом Божий в красоте своей непреходящей! Хмурый пессимист, отравленный злобой, скажет, что человек в глазах природы сто́ит не больше, чем последний камень на мостовой. Ньютон, сброшенный с колокольни, расшибся бы с тою же неизбежностью, как и простая черепица; даже для него природа не сделает исключения. Так ропщет пессимист, а я утверждаю, что человек – все-таки особенный любимец природы, и она ему явно покровительствует. Разве закон тяготения, открытый Ньютоном, не есть исключение, сделанное только для него, прерогатива царственная? А открытая всем людям способность предусмотреть падение и взвесить все его последствия, – разве это не преимущество? Черепица не может удержаться от падения, человек может – разве это не привилегия? Не есть ли разум, данный человеку, доказательство исключительного покровительства ему со стороны природы? И в объеме разума не дана ли мера этого покровительства? Тебе, вечно недовольный, которому одному светят далекие звезды, одному благоухают цветы, одного услаждают голоса всех тварей (ибо тебе одному в полной мере дано их видеть, слышать, осязать), тебе этого недостаточно! Природа не только любит тебя, но даже влюблена в тебя: она раскрывает перед тобою не только все пользы свои, но и всю красоту, явно добиваясь, чтобы ты любил ее не за одну пользу. Она принесла тебе в

дар не только разум, но и чувства – талисманы, открывающие тебе двери в самые разнообразные миры счастья. Зрение вводит тебя в волшебный мир форм и красок, слух – в царство звуков, гармония которых – музыка – есть как бы страстный голос к тебе самой природы, любовный язык ее. Далее, обоняние, вкус, осязание, чувство пола – все это новые и новые миры счастья. И сверх всего этого тебе дан Разум, находящий жизнь и красоту в самом себе и бесконечное наслаждение вне себя. И сверх разума дана еще Совесть, святая любовь ко всему, стремление относиться к природе божественно. И, наконец, дана – если ты слепо не отвергаешь – сладкая уверенность в высшем начале жизни, чувство присутствия великой, благостной, объемлющей тебя Силы, вечно тебя рождающей, родной тебе. Разве жизнь при таких исключительно счастливых условиях не есть благо? Я думаю, всякая душа есть истинная мера любви природы к человеку, мера божественного проникновения в косное начало нашего существа. Не было бы любви, не было бы и души нашей. Мало любви – бедна и уродлива душа, мало в ней чувства блага. Много любви – душа богата и трепещет счастьем. «Никто не придет, кого не приведет Отец». Но заслуживать любовь Отца – указан путь: это покорность своему разуму, служение высшей воле. В этом начало жизни и смысл ее.

Женщина-мать

> И нарек Адам имя жене Своей: Ева [Жизнь], ибо она стала матерью всех живущих.
>
> *Быт. 3:20*

I

Высшее откровение, какое нам доступно, – это то, что есть Бог – истинное начало всякой жизни. Отец вечный. Благородное отношение к этому основному в мире факту, возвышен-

ная вера в него составляет вечное условие жизни. Есть вера, хотя бы и бессознательная, – есть жизнь, нет веры – и жизнь гаснет, как лампада с иссякшим маслом. Раскрыть бесконечность нашего единения с Богом – задача, о которой я могу лишь мечтать, но к которой я не готов. Здесь, в этой книге, я коснусь лишь некоторых временных устоев жизни, ее земных начал. Да будет вера в Вечное светом, дающим видеть истину временного, и да будем мы с читателем удостоены на этих страницах благодати внимания, необходимого для серьезной мысли, как и для молитвы.

* * *

Женщина-мать – первое земное начало жизни. Она – первый земной предмет, о котором хочется говорить с религиозным восторгом. Женщина – первое существо, к которому отношения наши должны быть благородными. От упадка благородства этих отношений истекает, может быть, все зло жизни…

Что такое женщина? «Ошибка ли природы» она, как думал Аристотель, или «венец созданья», как говорят поэты, – последнее существо, сотворенное не из праха, как мужчина, а из одухотворенной плоти? Для австралийского дикаря женщина – домашнее животное, даже менее важное, чем собака. Дикарь заставляет женщину служить себе, отыскивать и приготовлять пищу, таскать тяжести, удовлетворять его страсть и, наконец, убивает и съедает ее, когда она становится ненужной. Может быть, оттого он и дикарь, существо с душою менее благородной, нежели у многих четвероногих. Безграничное унижение женщины не свойственно более одаренным племенам. У великих народов Востока, у римлян, у германцев женщина пользовалась немалой властью. Уже в эпоху Дария Персидского еврейский мудрец доказывал, что женщина сильнее всего на свете. «Женщины господствуют над вами, – говорил Зоровавель[18]. – Не подъемлете ли вы трудов, и не напрягаете ли усилий, и не отдаете ли, и не приносите ли всего женам?.. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и

прилепляется к жене своей, и с женою оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей… Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Многие погибли и сбились с пути и согрешили через женщин… Не велик ли царь властью своею? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Но я видел его и Апамину, дочь славного Вартала*, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя; она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левою рукою ударяла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот: если она улыбается ему, улыбается и он, если же она осердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужи! Как же не сильны женщины?..» (2 Езд. 4:20–22, 26–32). Зоровавель говорил это перед лицом царя и всей его знати, и все согласились с ним. Но страшная власть красоты женской, подвигавшая иногда целые нации ко взаимному истреблению – вспомните битвы народов и богов под стенами Трои из-за «презренной» (по выражению Ахилла) Елены, – эта власть, пред которою иногда умолкал закон, самый суровый, – вспомните суд над Фриной[19], – эта власть не всегда спасала женщин от рабства и крайнего унижения. Через две тысячи лет после Дария ученые люди Европы серьезно думали, что женщина – не человек. Один из средневековых Соборов даже обсуждал этот вопрос. Отцы Собора разделились на партии, и только тот довод, что Иисус Христос, Сын Девы, называл себя сыном *человеческим*, заставил Собор признать, что женщина – человек. Через две тысячи лет после Аспазии Милетской[20], видевшей у ног своих Сократа, женщина в Москве была в таком положении, что отец, выдавая дочь замуж, ударял ее плетью и передавал плеть эту жениху. До последних лет женщина в Англии не имела права ни сделать завещания, ни распорядиться своим имуществом помимо мужа, но трон этой великой империи занимает женщина. Персидский поэт считал кощунством бросать в женщину даже лепестком розы, и в то же время женщина по Корану навсегда лишена рая как существо низшее. Можно было бы привести длинный ряд по-

* Искаж. Вартака. – *В. Т.*

добных противоречий во взгляде на женщину у всех народов и во все времена. Роль женщины все еще не установлена, все еще не ясна душа ее, о которой среди мужчин идет вечный спор. Один великий русский писатель, умирая, назвал женщину «царицей мира», другой, его великий современник, называет женщину существом животным, уверяя, что ни среди кухарок, ни среди графинь он не встречал женщины непродажной. Я отмечаю здесь крайние точки зрения: между ними существуют тысячи промежуточных.

II

К глубокому сожалению, недостойный взгляд на женщин принадлежит не только мужчинам, но и самим женщинам, и даже тем, которые всего жгучее чувствуют боль униженности. Если многие мужчины презирают женщину вообще как существо ни на что более не годное, как для сладострастия, то и очень многие женщины думают, что они ни на что более не годны. Если мужчины полагают, что их преобладание в общественной жизни ставит их выше женщин, то и многие женщины, к большому прискорбию, разделяют это заблуждение и в управлении внешних ролей думают уравнять себя с ними и внутренне.

Во всем культурном мире идет хоть и не сильное, но не лишенное остроты «женское движение»; прежде его называли эмансипацией, теперь – феминизмом. В западных странах уже существуют всевозможные женские союзы, общества, клубы, издаются специальные женские журналы, собираются женские конгрессы, периодические митинги, депутации от которых проникают в парламенты и административные учреждения, подают петиции о пересмотре законодательства о женщине, об уравнении ее прав с мужскими. Ведется журнальная, парламентская, литературная, ученая агитация с целью допущения женщин ко всем политическим и иным ролям в обществе. Немало дам стремятся в образе быта, в костюме, манерах и пр. приблизиться к мужчинам, и как в

эпоху жорж-зандизма женщины стригли себе волосы, надевали очки и курили папиросы, так теперь они носят мужские шинели, цилиндры и в юбках, напоминающих брюки, ездят на велосипеде. На первый взгляд вопрос весь в том, что женщина хочет быть мужчиной.

Многие мужчины разделяют эту мечту, и, может быть, это только и поддерживает внимание женщин к своему вопросу. В женском движении самая серьезная работа ведется мужчинами, им принадлежат все сколько-нибудь ценные труды. Стоит напомнить имена Бокля[21], Мишле[22], Милля[23]. Как и в большинстве брожений нашей сырой эпохи, в феминизме есть доля правды и много долей лжи. Правда – то, в чем есть нравственное основание, все остальное – ложь. Что женщина обижена и что обиду нужно устранить – это правда. Но обижены не нравственные только чувства ее, а чаще ненравственные. И защищать эти последние не следует. Основным предметом спора в области феминизма служит недостойный вопрос: равна ли женщина мужчине во всех отношениях или нет. Очевидности не хотят верить, прибегают к взвешиванью мозга женщины, к счету извилин его, к измерению ее кожной чувствительности и т. п. Противники женщин с торжеством объявляют, что у женщины мозг на полфунта легче мужского: ясно, что женщинам далеко до мужчин. Защитники возражают, что нужно брать не весь мозг, а отношение его к весу тела, и это отношение у женщины большее: ясно, что она выше мужчин! Что ж такое, возражают на это: почти все великие люди были малы ростом и слабы здоровьем! У женщин извилины мозга крупнее! Да, возражают на это, но у баранов… китов…

Все эти споры не только праздны, но и недостойны в самом замысле. Они вызваны всегда соперничеством, чувством недобрым, от них всегда веет молитвою фарисея. Возможен ли вопрос о равенстве между нравственными людьми? Ведь очевидно, что ни физического, ни психического равенства между существами разного пола, конечно, нет и быть не может, и никак нельзя установить такого равенства или удержать. Но

неужели можно спорить о *нравственном* равенстве, о равенстве прав на справедливость вообще всех живых существ, не только мужчин и женщин? Умственно и телесно не только мужчины и женщины не равны, но нет равенства между лицами одного и того же пола, но это никого не лишает прав на всю возможную полноту общественной жизни. Общество или должно быть сожительством нравственным, или не должно существовать вовсе, в области же нравственной чем слабее существо, *тем более* оно имеет правил на услуги остальных существ. Если бы мужчины оказались *в большинстве* сильнее и умнее женщин, то это повод не для притеснений, а для особенной уступчивости женщинам. В мире нравственном не слабое должно служить сильному, а наоборот, и это естественный закон, вне которого физическая сила теряет свой смысл. Если иногда сильное подавляет слабое, то это не закон, а нарушение его. Чем беспомощнее дорогое нам существо, тем неодолимее у нас потребность служить ему, подчиняться его выгодам, забывая свои. И только такое применение силы дает нам счастье. Мужчина мускульно сильнее женщины, и поэтому он должен служить ей. Некоторыми сторонами сознания (но не всеми) он умнее ее, следовательно, он должен помогать ее сознанию, как и она – его. Если женщина нежнее и чище мужчины, она должна смягчать его и облагораживать. Все мужчины в отношении всех женщин – то же, что муж в отношении жены. «Сильному» полу вверяется «слабый» не для угнетения, а для поддержки, для взаимной радости, для проникающей друг друга жизни душ.

III

Возможен ли «женский вопрос» среди святых? А среди грешных этот «вопрос» неизбежен, как и бесчисленное множество других ничтожных вопросов, мучительных и неразрешимых. Пока мы хотим оставаться грубыми, тщеславными, сладострастными, жадными, совершенно естественны беспрестанные столкновения между обоими полами, и если не та,

то другая сторона непременно будет обижена. Раз в условиях жизни допущены умышленные ошибки, невозможно правильное решение ее задачи. Поэтому и в женском вопросе, как и иных, единственный путь к истине – это подняться над анархией фактов, поглядеть не на то, что *есть*, а на то, что *должно быть*. Это вечное, выяснившись, прольет свое сияние и на все случайное, которое иначе и понять нельзя. В вечном своем значении, по закону жизни, мужчина должен любить женщину, как и она его. И если бы существовала любовь эта, не было бы и вопроса о «правах». Но чтобы вызвать в мужчинах чистое поклонение, женщины сами должны быть любящими и чистыми. Итак, обе стороны должны создать в себе чистую любовь друг к другу, те глубокие и святые отношения, которые достойны высших существ. Для этого необходимо стараться быть этими высшими существами или ясно представлять себе совершенство. Пленительный идеал привлек бы нас и к посильному его осуществлению, к отношениям живым и добрым. Тогда многое простили бы женщине, многое бы поняли в ней и к женскому недовольству отнеслись бы справедливее. Ведь и в самом деле женщина в нашем обществе часто обижена и какие-то важные, вечные права ее нарушены.

Нарушено, прежде всего, право женщины на уважение. Как при Дарии, женщина владычествует, но не уважается. Мужчина подчиняется ей как предмету страсти, но смотрит на нее корыстно и нечисто. Поэтому, раз страсть насыщена, мужчина часто забывает о женщине и отказывает ей в разделении жизни своей, держит в отчужденности от себя и мучит пренебрежением. Свои преимущества над женщиной в силе, разуме, знании он применяет к ней неблагородно; он делает из них не источник радости для нее, а источник огорчения; он кичится этими преимуществами, подавляя ими женщину. Она чувствует, что это несправедливо, ей хочется равенства и уважения. Дочери своих отцов, отравленные общими грехами, женщины возмущаются грубо и неумело, они требуют «прав», которые им совсем не нужны; бессильные, чтобы очаровывать красотой, которая дар редкий, они начинают жалко подражать

мужчинам в том, что не заслуживает подражания… Виноватыми оказываются обе стороны.

Обоим полам необходимо восстановить уважение человека к человеку. Необходимо вспомнить вечную красоту наших земных ролей, которым, чтобы сделаться небесными, недостает только того, чтобы мы их хорошо выполняли. Припомним же великую роль женщины, как она начертана от начала мира.

IV

Те, кто говорит о женщинах как о какой-то будто бы низшей породе людей, не понимают, до какой степени женщина владычествует во всей истории человека, вплетаясь в жизнь мужчин своею плотью и кровью в самых разнообразных ролях: матери, жены, дочери, сестры. Для человека религиозного, сознающего свою связь с вечностью, одной роли *матери* достаточно, чтобы привлечь к женщине глубокое уважение. Пусть в отце начинается жизнь наша, но кто дает ей *возможность*, как не мать? В отце существо наше еще мечта; бытие свое мы получаем лишь под сердцем матери. В теле отца мы живем лишь как простая клетка *его* организма и лишь в теле матери, сорганизовываясь с ее клетками, начинаем быть самими собой.

Мужчина начинается женщиной, выходит из *ее* природы. Более того: каждый мужчина девять месяцев, то есть в среднем почти одну пятидесятую часть всей жизни своей, существует одною кровью с женщиной. По времени *всей* жизни это уже заметно, но если вспомнить, что эти девять месяцев человек проходит почти всю историю своего физического развития, что именно в это время он из инфузории постепенно делается слизняком, червем, позвоночным животным, приобретает все органы до единого и затем, выйдя из утробы матери, не приобретает уже ни одного, если вспомнить, какая неизмеримо огромная часть всего развития протекает одною жизнью с женщиной, то вы согласитесь, что даже в мужчине должно оставаться на всю жизнь почти все женское: мужское в нем

является скорее исключением, чем правилом. Л. Н. Толстой определяет так фазисы развития человека: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. От зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость»*. И вот эти-то два фазиса, непостижимость и «пучина», когда жизнь *вся* слагается, хоть и не действует, – мужчина живет одним сердцем с женщиной, одними нервами, одною кровью и составляет часть ее. Не ясно ли, что именно она настоящий творец человека, мужчине же принадлежит лишь какое-то возбуждающее начало, может быть, одна *идея*. Хоть и редко, но в природе встречаются случаи и бесполого размножения, когда производящий организм не нуждается даже в специальном возбудителе.

Женщине мало зачать и родить мужчину, пережить с ним «непостижимость» и «пучину». Ведь она же сопровождает его и следующую стадию – «страшное расстояние», от рождения до пяти лет, вначале кормя своею грудью, т. е. опять-таки нежнейшими соками организма своего питая его растущее тельце. И душевное зачатие, и рождение идет в недрах материнской любви, под напряженным, страстным наитием ее, причем мать ежемгновенно всею душой своей облекает зарождающуюся душу и питает ее собой. Детский крик, беспрерывное утоление голода, жажды, сна. Задолго до того времени, когда малютка начинает что-нибудь сознавать, мать неустанно говорит с ним, своим сознанием неутомимо стучится ему в душу, будя ее самыми нежными ласками, самыми горячими, какие есть на свете, поцелуями. Тратится столько любви, что дух небесный как бы вовлекается в обман и входит в земную оболочку. Появление первой улыбки на лице ребенка встречается, как первый луч солнца после бесконечной ночи. Первый лепет ребенка, его первые движения, игры, наука ходить и понимать… Во все это всюду в мире во все времена влагалась и влагается женская душа, а не мужская. Если нет матери, то всюду ее роль выполняется не отцом, а чужими женщинами – тетками, баб-

* Первые впечатления. Т. XII. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

ками, мамками, няньками и пр. После пяти лет, когда остается «только шаг» до зрелого развития, ребенок все еще долго остается на руках женщин или под ближайшим их руководством. И это считается их обязанностью столько же естественною, как и деторождение. Не ясно ли, что мужчина, как бы он ни кичился своим «превосходством» перед женщиною, – сам есть женщина в самых основах и серьезных чертах, порождение и создание женского тела и духа. Отличие есть, но гораздо меньшее, нежели между цветком и стеблем, его произведшим. Не унижать женщину, а скорее возвеличить ее мы были бы должны, если бы не стыдно было вводить в этот глубокий вопрос безумную страсть «быть больше».

Зачав, вылепив из своего тела, воспитав мужчину, женщина не перестает могущественно влиять на него. Едва кончается влияние матери, начинается новое, страшное по силе влияние жены. Супружество для мужчины есть продолжение материнства. Снова возникает плотский союз, снова совместная жизнь и телесная, и психическая, причем жена снова питает в своей утробе если не самого мужчину, то его лучшую часть, его живое продолжение в мире. Только в старости мужчина освобождается от женской, проникающей его стихии, да и то не вовсе. Если отец имеет дочь, то в ней видит снова женское существо, родное ему по телу и духу, влияющее на него и непостижимостью своего подобия ему, и способностью понести это подобие в глубь вечности. Отец бывает дружен с дочерьми часто более, чем с сыновьями. И то, что дочери чаще похожи на отцов, а сыновья на матерей, показывает опять на тесное проникновение мужского начала женским.

V

По огромной несоизмеримости между участием мужчины и женщины в деторождении и детопитании нужно думать, что в биологическом отношении из двух полов главный не мужской, как принято думать, а женский. Она – *человек* по преимуществу, главный ствол человеческого рода. Муж-

чина – оплодотворительный и трудовой орган женщины, и если он развил большую физическую и умственную силу, то эти преимущества еще не говорят за первенство мужчины. Преимущества эти – служебные, они – средства, цель же жизни иная. Как основою живого организма служат не самые сильные и не самые чувствительные органы, не ноги, не руки, не голова, а пищеварительная система (из которой одной иногда и состоит животное), так и в человеке: основа его типа – женщина, сильный же пол есть только орган более слабого. И подобно тому как органы желудка – голова, ноги, руки и пр., добывая питание, пользуются, по-видимому, большею жизнедеятельностью, большею властью и свободой, так и мужчины в сравнении с женщинами. Но подобно тому как все органы в конце концов служат питанию, так и мужчины служат женщинам, ее потомству.

Женщина как человек по преимуществу потому и кажется отставшей от мужчины, что она не может так далеко отойти от основного человеческого типа, как он. Деторождение удерживает ее в границах этого типа, сколько бы она ни старалась отойти от него. Так ствол дерева по необходимости держится линии более вертикальной, чем сучья. Мужчина – это продукт как бы крайнего напряжения человеческой природы, ее попыток творчества на разные способы. В мужчине собраны запасы той энергии, которая человеку нужна лишь в служебном отношении, как орган. Этим объясняется антропологический консерватизм женщин. Они удерживают тип расы гораздо прочнее, чем мужчины; этим же объясняется меньшая умственная производительность женщин. Как *человек по преимуществу* женщина менее способна специализироваться, и потому на всех поприщах она должна уступать мужчинам. Последние – специалисты, так сказать, по самой природе: свободные от деторождения, они обладают развязанною энергией, которую легко направлять к любой цели. Энергия же женщины связана: ее не меньше, может быть, даже больше, но она хранится скрыто, как запас на случай главной, основной работы женского организма, основной работы че-

ловека вообще. Женщина слабее мужчины, как мягкая глина слабее твердой, уже окрепшей. Женщина пластичнее, всегда свежее, всегда моложе мужчины, потому что из нее начинается жизнь; в мужчине она оканчивается. Мужчина – движущее начало рода, женщина – сохраняющее. В мужчинах природа приобретает новые свойства (хорошие или дурные), в женщинах эти свойства удерживаются и передаются дальше. Женщина – основной капитал природы, мужчина – нарастающий процент. Женщина – скорость, мужчина – ускорение. Женщина – инерция, мужчина – сила. Таких сравнений можно подобрать множество, и все они будут указывать на то, что женское и мужское начала глубоко проникают самое существо природы и что они, не будучи тождественными, связаны неразрывно, как правая и левая стороны, как верх и низ. При этом женское начало в порядке развития первоначальнее. По древней эмблеме мировой жизни (змей, пожирающий себя) женщина ближе к Источнику жизни как отходящее, мужчина ближе к Нему как входящее начало. В вечном своем значении оба пола равножизненны и равнодостойны.

VI

Женщина-мать и теперь часто самый близкий, самый родной и нежный человек, о котором всякий вспоминает с умилением, часто *единственный* человек, встреченный нами в жизни. Глубже и чище материнской любви, религиознее ее нет на свете – даже теперь, когда материнство так испорчено дурными нравами и дурными теориями. Глубокое несчастье современных женщин и истинная причина их неудовлетворенности в том, что они плохие женщины: дурные матери, дурные жены, дурные дочери и дурные сестры. Прекрасные роли, разыгрываемые дурно, вместо самого упоительного счастья кажутся тягостными, неинтересными…

Современная мать – часто очень дурная мать – вот злокачественная рана женского вопроса. Вступая в супружество не для священных целей, а для полового наслаждения или рас-

чета, современная женщина страшится иметь детей; трепет новой жизни у нее под сердцем повергает ее в ужас, в отвращение к ребенку. Ведь он испортит ее талию! Она потеряет свежий цвет лица, осунется, она должна будет страшно мучиться в родах… И затем кормление грудью, и все-таки ребенок «свяжет», оторвет от общества, от развлечений… И когда природа призовет женщину к этому святому таинству – она принимает его как несчастье.

Родив дитя, современная мать сдает его кормилице: она не хочет портить себе бюста, ей нужно поскорее в корсет. Пусть это противоестественно и вредно – и для самой матери, и для ребенка, пусть она лишает себя самого восхитительного общения с малюткой, а его – наиболее здоровой пищи (ибо *матернее* молоко есть продолжение утробного питания и химически ничем не заменимо; молоко другой женщины уже менее пригодно, как от иного организма). Пусть вместо общения в силу этого является разобщение, и ребенок истинной своей матерью начинает считать мамку, пусть нарушено будет счастье и отца, для которого потеряно уже самое трогательное и безгранично волнующее его видение – его жены, кормящей его сына, пусть этот блаженный процесс для всей семьи будет изуродован и расстроен, молодая мать ни за что не согласится пожертвовать выпуклостью грудей, и если нет мамки (которая часто заражает ребенка гнойными болезнями), молодая мать сажает малютку на соску, на кашку, на коровье молоко, часто подписывая ему этим смертный приговор. Ведь пламя жизни в этом крохотном тельце едва теплится… Современная мать часто сдает ребенка на руки мамок и нянек, едва заглядывая в детскую, а сама продолжает «выезжать», «принимать», играть на любительских спектаклях, флиртировать* с друзьями мужа… И несмотря на все это, даже такая мать, бездушная и падшая, даже она для детей составляет что-то близкое и мистическое. Что же было бы, если бы священное служение материнства выполнялось с верою, и благоговением, и страхом Божиим, как подобает ему? А главное – с искреннею лю-

* Флиртовать. – *В. Т.*

бовью, в которой и вера, и благоговение, и трепет вечный? О, такое материнство на всю долгую жизнь для человека – чудесный сон; все самое сердечное, весь восторг свой и слезы, всю душу свою ребенок прячет у матери, у ее теплой груди, вместе с любимою игрушкой своей – и сам прячется, не хочет оторваться. У дурной матери бывают дурные дети: не друзья ей, а холодные, недовольные, не умеющие простить слабостей ее, иронизирующие над неудачами ее флирта. И они лишены друга, незаменимого, родного, и она лишена таких друзей. Но зато что за счастье иметь хорошую, чистую мать! Что за блаженство быть такою матерью! Если некоторые современные дамы предпочитают иметь кучу любовников вместо кучи детей, то это, право, похоже на какое-то помешательство и очень гадкое. От этого надо лечиться. Кощунственно даже и сравнивать между собою эти два счастья: около детей столько светлой беззаветной любви, столько прелести, милоты, беспрерывного взаимного восторга, столько хорошей, святой тревоги. Около любовников столько похотливого раздраженья, столько подлой лжи, притворства, подозрений, мучительной ревности, обмана… *Там* – истинный рай, населенный маленькими херувимами, считающими мать своим богом, *здесь* – хор дьяволов, разжигающих ваше тело, притворяющихся, лгущих, мучающих, влекущих все ниже и ниже, до попрания всего, что Божье. Ведь окончательный результат, до которого добивается женщина, предпочевшая любовников детям, тот, что и ей самой, и всем людям станет ясно ее жалкое ничтожество, ее животность, оплеванная даже теми гадкими людьми, которые ее совратили. Ведь любовники первые считают павшую с ними женщину презренной, и такова она и есть. Но больное безумие многих дам влечет их именно к этому пределу – из объятий ангельских в иные, темные объятия. Чуть только дама не безобразна, то есть не возбуждает невыносимого отвращенья, она уже «хочет любить», она уже ищет кого-то, кто бы осквернил ее… Дамы некрасивые – те ищут иных утех, стремятся быть учеными, писательницами и т. п. Они могли бы иметь детей или уже и имеют их, и этот чудесный мирок

дал бы им то, чего не могут дать мужчины, – любовь (ведь для ребенка его мать всегда красавица, всегда лучше всех на свете), но эти несчастные дамы ищут непременно страстного удовлетворенья и если не в любострастии, то в тщеславии. «Охота быть нянькой весь век! – рассуждает такая дама. – Добьюсь ученой степени, сделаюсь доктором психологии, изучу скифский язык, приобрету известность! Буду печатать статьи, делать рефераты в ученых обществах!» – «Зачем?» – спросите вы. Зачем – ученая дама ни за что не признается, даже лучшей подруге, даже самой себе. Она выставит какую угодно причину, только не подлинную, а подлинная у всех почти дам, стремящихся к известности, – войти в мужское общество, обратить внимание на себя если не телом, то хоть чем-нибудь, и добиться хоть какого-нибудь поклонничества… Но бедные дамы и тут делают грустную ошибку. Мужчины, как известно, мало ценят даже тех женщин, в которых есть действительный талант, те же, у которых дарование сомнительное, возбуждают одно отвращение.

VII

Поборницы «женских прав» страшно не любят, когда им говорят о материнстве как основном долге женщины. «Это все софизмы. Как только женщина заговорит о правах своих, вы, мужчины, тотчас выдвигаете детей. Этими детьми вы связываете женщину и физически, и морально, и экономически. В то время как вы сами, господа мужчины, пользуетесь полною свободою вне дома, живете широкими, общечеловеческими вопросами, мы должны сидеть дома, утирать детям носы да штопать им чулки. Вот ваш идеал жены. Вам, конечно, приятно, вернувшись домой, встретить не пустые стены, а комфорт, ухаживанье подчиненной вам женщины; она вам служит наложницей, ключницей, даровою гувернанткой ваших детей, даровою сиделкой, если вы больны. Вам горя мало, что женщина тупеет в одной и той же однообразной домашней обстановке, что горизонты ее суживаются постепенно до стен детской.

Это вам, мужчинам, на руку: отупевшая женщина подчиняется легче вашему авторитету. О, конечно, вы не лишаете жену счастья своего домашнего животного: она ест из ваших рук, пьет, спит, возится с детьми. Она может даже, как вы великодушно предлагаете, читать в свободное время (если оно есть у нее!) или беседовать с такими же отупевшими невольницами, как сама. Что касается счастья высшего, интеллектуального, вы предоставляете его в удел себе. Ну и пусть находятся дуры, которые довольны такою долей, я не из таких. Я – человек, я хочу быть безусловно свободной и равноправной. Я не хочу быть обязанной никому, я сама сумею добыть свой хлеб. Хочу жить в обществе, в постоянном обмене идей и интересов. Если дети мешают этой моей высшей жизни, я не хочу иметь детей. Экое, подумаешь, счастье их иметь! Вы же, господа мужчины, не рожаете, не носите под сердцем малюток, как вы сентиментально выразились, не кормите их грудью, не нянчитесь с ними – и оттого не чувствуете себя несчастными. Вот и мы хотим быть такими же. Дети – живые цепи для женщины. Нет их – я, когда пожелаю, разойдусь с мужчиной, поищу лучшего. Дети отнимают время, возможность трудиться, возможность быть свободной. Долой цепи!»

Так говорят обыкновенно пылкие защитницы женских «прав». И, к сожалению, не только говорят, но и делают.

«Долой детей!» Мне кажется, ужаснее этой мысли язык человеческий не произносил. Если «долой детей», то что же останется? Оборвите цветы и почки у дерева, что останется от него? Я не говорю о продолжении человеческого рода – это дело Высшей воли, я спрашиваю: будет ли иметь смысл и радость жизнь теперешнего поколения, если исчезнут дети? Маленькие херувимы, они сходят в мир наш как раз, когда мы сами перестаем быть детьми, когда мы выходим из своего Эдема. Как будто сжалившись над падением нашим, духи света принимают наш образ и в омраченную среду взрослых вносят веселье рая, какое-то нездешнее утешение, неизъяснимую надежду, без которой жить нельзя. О великой роли детей, которые, в сущности, воспитывают своею невинностью и спасают взрослых,

я говорю особо (см. «Дети»*), а теперь позволю себе сделать такое замечание. Если дети – живые цепи, то неужели одни женщины ими связаны? Неужели на мужчинах не лежит вовсе тяжести этих цепей? Зарываясь столь часто в тяжелый, каторжный труд, мужчина разве не суживает горизонт своей жизни до стен канцелярий или мастерской с единственной надеждой – дать хлеб семье? Правда, дети – цепи, но не жизненно ли необходимые, как связи здания? Есть иго, которое благо для тех, кто искренно и честно возложил его на себя. Дети являются кандалами каторжника в единственном случае, когда осуществлена мечта «равноправности», когда семья расстроена и отец с матерью ушли из дому на «отдельные профессии». При таком условии дети, действительно, становятся из облегчения жизни тягостью ее. Так ветви дерева, пока оно растет, поддерживают его жизнь, когда же оно подпилено – помогают ему свалиться. Дети – органы, пока цел организм – семья; организм распадается, и естественно, что члены его становятся обузой друг другу. Первый разрушитель семьи обыкновенно мужчина – он первый отходит от семьи, но следует ли женщине подражать ему в этом? Вы говорите: мужчины не рожают, не кормят и не менее счастливы. Но правда ли это? Я думаю, что и мужчины счастливы лишь те, которые несут свою долю рождения и кормления. Посмотрите на бездетных супругов, как они *оба* тоскуют о детях. Глубочайший интерес свой они чувствуют вынутым из жизни. Как печально влачат свои дни старые холостяки, хотя бы и не было недостатка в «подругах жизни». На мужчинах, как и на женщинах, лежит один и тот же властный долг, и если мы отступаем от него, то тотчас же несем за это казнь.

В этом отношении «эмансипация» европейских женщин, дурно понятая, принесла много зла. Желая подражать мужчинам во всем, даже в нерождении детей, очень многие интеллигентные девушки и дамы устраивают себе эту грустную «равноправность», причем всегда находятся развитые и

* *Меньшиков М. О.* Дети // Начала жизни. – М., 1899. – 63 с.; Дети // *Меньшиков М. О.* Начала жизни: Нравственно-философские очерки. – СПб., 1901. – *В. Т.*

либеральные мужчины, чтобы помочь им в этом. Увечат себя в самом таинственном и глубоком свойстве своей природы, не подозревая, что с этим свойством связана вся их психика, все здоровье. Мне случалось видеть щемящие сердце сцены, как бедная «радикалка», когда-то лишившая себя способности иметь детей, в зрелом возрасте изнывает от какой-то скорби, ей неясной, и заводит себе мопса или кота, на которого и изливает весь жар своего сердца, все свое неудавшееся материнство…

Я всегда советую таким женщинам взять чужого ребенка и воспитывать как своего, советую горячо и всегда безуспешно. Какой-то туман застилает у бедных женщин сознание, наводит страх в этом самом жизненном вопросе счастья. Одинокое, никому не нужное существование, горечь сердца затерянного, всеми покинутого, никакой надежды на горячую страсть, на гнездо свое. Но кто мешает вам прогнать это давящее вас одиночество? Сколько чужих детей, которые ждут вас, как родную мать, которые могли бы проснуться к жизни именно на вашей груди и вам одной посвятить всю любовь свою, все восхищение, все надежды. Вы теперь одиноки, ни себе, ни другим не нужны. Но кто мешает привить к своему бесплодному дичку чей-нибудь полный жизни черенок? Кто мешает вам влить все соки души своей в чью-либо ждущую расцвета маленькую жизнь? Воистину все равно, свои дети или чужие, если они выросли около вас как свои? И мне кажется, весь женский вопрос для чистых женщин в том, чтобы отдать себя детям, сделаться матерью, хотя бы и не рожая.

VIII

Свобода и права женщин, как и мужчин, вытекают из честно исполненных обязанностей. Если женщина желает выполнить свой долг дочери, сестры, жены, матери и просто человека, то ей должна быть предоставлена для этого полная свобода, и никто не может оспаривать у нее права на выполнение долга. Но если женщина, соблазненная правами, захочет отступить от своих нравственных обязанностей, то такая

ложная «свобода» должна быть ограничена всеми нравственными средствами. Окружающие должны соединиться, чтобы убеждением, личным примером и отказом в малейшей помощи возвратить женщину на истинный путь. Нельзя, конечно, одобрить какие бы то ни было грубые принудительные меры уже потому, что они – самые слабые меры и не достигают цели. Нельзя насильственно, например, водворять сбежавшую жену в дом мужа, так как этим нельзя уничтожить пропасти, их разделившей. Нельзя ограничивать общественный быт женщин. Если бы это от меня зависело, я предоставил бы женщинам быть всем, чем они желают: адвокатами, прокурорами, дипломатами, генералами и пр., но сам лично не оказал бы им ни малейшей помощи в достижении этих званий. Для меня более чем достаточно мужчин в этих званиях, но если кто предпочитает иметь адвокатом женщину, мне хотелось бы, чтобы он не был лишен возможности удовлетворить это странное желание. В Америке существуют женщины-священники (и у нас есть такие – у староверов), очевидно, есть люди, которые предпочли на этом месте женщину. Если в общем женщины во всех профессиях уступают мужчинам, то возможны блестящие исключения, и почему бы не воспользоваться ими. В истории известны не только женщины-ученые, но и женщины-полководцы и даже государыни, не уступающие в славе мужчинам того же сана. Но именно существование таких женщин, мне кажется, доказывает, что, в сущности, и в этой области нет тех тяжелых стеснений, на которые жалуются феминисты. Какой бы ни явился необычайный талант у женщины, мужчины не ставят ему препятствий. Явилась Бобелина[24] – греки признали ее генералом, явилась Ковалевская – ее признали профессором математики. Но мужчины не желают допускать к некоторым занятиям *заурядных* женщин, и тут они правы; к этим должностям не следовало бы допускать и заурядных мужчин, и раз это зло неизбежно, то хорошо делают, ограничивая его одним полом.

Феминисты нравственно неправы, *требуя* допущения женщин ко всем занятиям. Огромное большинство мужчин,

которые в данный момент несут весь общественный труд, не желают женской помощи. Они не доверяют женщинам, не видя у них достаточных способностей для некоторых родов труда, и поэтому отказывают им в работе, как отказывают несовершеннолетним мужчинам или глубоким старикам. Тут не принуждение, а простой отказ, и со стороны женщин было бы насилием требовать, чтобы мужчины дали им работу против своего желания. Такие виды труда, как администрация, дипломатия, суд и пр., созданы мужчинами и есть их собственность; женщины имели бы, может быть, основание отказаться от услуг этих учреждений, но требовать участия в чужом деле не должны. Можно просить, убеждать, и когда мужчины убедятся в полезности женского участия – они его примут.

Поборники женских прав только потому употребляют термин «порабощение» женщин, что такого порабощения в действительности нет – у нас, по крайней мере, в христианском обществе. Есть ограничения, стеснения и т. п., но до *порабощения* далеко; действительное положение женщин (зажиточных классов) на самом деле так удовлетворительно, что его приходится скрывать, когда хотят пожаловаться на него. Когда-то, правда, женщины были порабощены; рабство их держится и теперь – у дикарей и отчасти у магометан. У нас же они без всякого феминизма, задолго до него признаны равноправными – в пределах предполагаемой их равноспособности с мужчинами. Личность женщины и ее имущество ограждены не менее, а честь – даже более чем у мужчин; она пользуется тою же свободою передвижения (пока не замужем) и труда – с самыми незначительными ограничениями. Женщине никто не мешает ни пахать землю, ни заниматься любым ремеслом, ни любым искусством, наукой, литературой, поэзией. Разве они не в одинаковых условиях конкуренции с мужчинами? Есть женщины-врачи, женщины-педагоги, конторщицы, счетоводы, смотрительницы, сестры милосердия, писцы, начальницы женских заведений и пр., и пр. С давних пор женщинам не запрещается заниматься хозяйством, вести торговлю, хотя бы заграничную, устраивать фабрики и заводы, плавать по морям и

рекам, разрабатывать рудники и пр., и пр. Женщины этим не занимаются, но *право* на это ведь им предоставлено. И кроме всего этого великого множества случайных и необязательных профессий, на женщину возложена самою природой *величайшая* из общественных ролей – деторождение.

IX

«Деторождение – не право, а обязанность, а мы, мыслящие женщины, требуем прав! – говорят иные дамы. – Все, что вы перечислили нам доступное, – это или плохо оплачивается, или требует – как труд писателя, ученого, артиста – исключительного таланта, или не дает положения в обществе. Что делать образованным женщинам, если у них нет таланта? Вы, мужчины, для себя изобрели ряд мест и должностей, которые дают и средства, и почет, не требуя особенных способностей. Вы, мужчины, все сплошь – и талантливые, и заурядные – готовитесь к этим местам и ставите себя начальниками, администраторами, законодателями, дипломатами, судьями, генералами… Чем же мы, женщины, хуже? И почему вы не готовите и нас на эти роли?»

Да потому, хочется сказать на это, что, прежде всего, нет никакой в этом нужды. Разве и мужчины все поголовно готовятся на эти роли? Увы, и для мужчин они доступны лишь в виде крайне редкого исключения. Может быть, теоретически и несправедливо, что женщин не подпускают к слишком лакомым общественным местам, но добиваться восстановления справедливости здесь было бы большей несправедливостью. Во времена крепостного права многие духовные лица были обижены тем, что не могли, как дворяне, иметь крепостных людей. Они считали лишение их этого «права» серьезною обидой себе: «Разве мы менее благородны, чем дворяне? – спрашивали они. – Как служители престола Божия, мы сословие благородное, и, следовательно, благородное право покупать и продавать людей, эксплуатировать их всячески должно быть нам дано». В том же роде

требования нынешних передовых женщин. Они не замечают того, что все их притязания направлены на то, чтобы установить неравенство между собою и большинством народным, установить преимущества свои, которые не были бы преимуществами, если бы не были в чей-нибудь ущерб. Женщины не замечают, что труд администраторов, судей и министров привлекает их не сам по себе, а лишь выгодами, с ним связанными. Если бы этот труд не давал почета и богатства, а считался бы самым скромным, вроде паханья земли, тогда стремление к такому труду женщин было бы прекрасным. Но добиваться труда ради высшего положения, окладов, чинов, поклонов, славы… как хотите, это нехорошо. Нехорошо это, конечно, и для мужчин. И мужчинам, по евангельскому слову, следовало бы избегать этого тщеславия. Вспомните, как мать братьев Зеведеевых просила у Христа высших мест для сыновей, и что ответил ей Христос[25]. Если же мужчины, по нравственной слабости, жаждут высоких мест ради внешнего почета, то хоть женщины-то должны быть свободными от этой страсти. И лучшие из женщин, к счастью, еще свободны от нее. Для лучших женщин многие мужские должности, которых добиваются ревностные «феминистки», показались бы страшно тягостными. На свое «бесправие» в области общественных должностей порядочные женщины должны глядеть как на счастливый удел. Например, лишение женщин «права» быть военными – какая, в сущности, огромная прерогатива! Пусть барышня не будет ни гусаром, ни генералом, но зато ей не надо посвящать себя ремеслу, слишком суровому в окончательном его приложении. Военная служба даже для мужчин называется «повинностью»: это тяжкое бремя, а женщины свободны от него. Какое преимущество!

То же и «право» быть представителями власти вообще. Теперь женщины не ответственны за судьбу преступных и непреступных ближних. Но представьте себе скромную женщину, нежную и кроткую, которой пришлось бы присуждать человека к каторге, к розгам, к повешению. Неужели это соблазнительно? Хорошо еще, если вы живете в стране, где все

законы совершенны, где наказания с точностью соответствуют преступлениям, ну, а если вы гражданка иной страны, где слабость человеческая сказывается на законах? У нас, например, за прелюбодеяние нет смертной казни, но что, если бы вы были судьей где-нибудь в Персии, и вам за этот грех пришлось бы приговорить к отсечению головы? Не вспомнили ли бы вы слова Христа: «Кто из вас чувствует себя без греха, пусть первый бросит в нее камень»? Вы, может быть, вспомнили бы, что в этой сцене даже Тот, Кто один чувствовал себя без греха, не бросил в грешницу камнем и сказал: «И Я не осуждаю». Нет, не только война, но и суд человеческий по человеческому несовершенству есть вещь очень тяжелая, и женщины должны бы благословлять судьбу, что их не заставляют судить людей. Не нарушение это *прав*, а преимущество, предоставляемое, кроме женщин, лишь сословиям особо оберегаемым: духовенству, монашеству или возрастам особенно хрупким – юношеству и старчеству.

X

Нелегка и роль законодателей, министров, администраторов. Люди алчные жаждут этих мест только потому, что представляют себе оклады, чины, ордена и пр. Наплыв подобных людей к рычагам власти во все времена считалось глубоким злом. Люди совестливые, способные представить себе всю глубину ответственности за каждую свою мысль и каждый поступок на этой высоте, смотрят на высокие места с большим страхом. Взять на себя судьбу миллионов живых людей, взять роль Промысла для них – какая страшная задача! Нравственный человек всегда скромен, он знает свою человеческую слабость, он ясно видит, что и за собою одним ему не усмотреть: насколько же труднее распоряжаться участью масс людских! Хорошо, если он вложит в свое дело разум, а вдруг безумие? Хорошо, если отгадает истину, поступит по долгу, а вдруг придется покривить душой? Ведь всякая ошибка, как тысячеголосое эхо, отразится в тысячах человеческих

душ, и кто знает, какие последствия от этого произойдут! На этом основании истинно хорошие, скромные люди не позволяют себе намеренно добиваться власти, и если уступают необходимости, то не с легким сердцем! Прочтите трогательные думы великого императора Марка Аврелия[26] – повелителя тогдашнего мира. Как отягощала его власть!

Женщины до сих пор были освобождены от политики и забот, свойственных власти. Какое преимущество! Поистине можно подумать, что, преграждая своим нежным подругам доступ к войне и власти, мужчины хотели оберечь хоть одну половину человечества от тягостей, слишком трудных для незагрубелого сердца. Я не думаю, чтобы у мужчин был иной, эгоистический умысел. Во всяком случае, обычай недопущения женщин к общественным должностям послужил удивительно на пользу их. Отказываться женщинам от нравственных выгод, которые им теперь предоставлены, – чистое безумие. Очень важно, чтобы хоть половина человеческого рода не знала той тревоги и суеты, которая связывает столько лучшей мужской энергии и столь многих мужчин развращает. Женщина – живая колыбель человечества – должна стоять ближе к идеальному нравственному порядку жизни, где нет ни борьбы, ни власти, ни суда, ни наказания, где все дышит законом царства Божия – любовью непринужденною. Если такого порядка нет на земле, то хорошо хотя бы для половины человечества жить так, как будто этот порядок уже наступил.

Феминисты обоих полов говорят: «Разве не составляет высшего счастья и высшего права человека – служить обществу? Влагать свою душу, свой гений, свое знание в общественные задачи? Что делать женщинам, если она рождена с умом министра, губернатора, прокурора? Она могла бы распоряжаться целыми областями, а ей предоставлены только детская да кухня…»

Служить обществу, замечу я, не значит непременно идти в чиновники. Администратор, судья и пр. занимают едва ли более важный *общественный* пост, нежели мать в своей детской. Верная мужу жена – второе общественное звание, *обще-*

ству нужное, может быть, посерьезнее, нежели какой-нибудь пристав или столоначальник. Хозяйка дома – третий, если хотите, общественный пост, и если иметь уважение к *дому* как к первоинституту общества, как к *кораблю рода*, то лицо, командующее этим кораблем, служит обществу не менее адвоката или ротного командира. Женщина-мать – существо державное в кругу семьи, в кругу того элементарного государства, из тысячей которых состоит народ. И сверх царственной и священной обязанности материнства женщинам предоставлено служить обществу на множестве поприщ – не менее серьезных, чем адвокатура или магистратура. Никто не мешает женщинам быть философами, учеными, художницами, писательницами, учительницами, врачами, благотворительницами всякого рода. «Но я рождена с умом министра!» – вознегодует иная дама. На это со всею почтительностью я ответил бы: «Сударыня, не все и мужчины, родившиеся с умом министра, имеют возможность занять его пост. Например, из шестидесяти миллионов мужчин в России только десять носят звание министра, да и они не по рождению получили это право. Наверное, найдется миллион мужчин, которые столь лестного мнения о своем уме, что не удивились бы назначению своему в министры, но увы! Ни одно общество не выдержало бы и тысячной доли такого обилия умов на министерских креслах. Что делать – употребите ваш ум, если он беспокоит вас, на задачи менее грандиозные».

XI

Женщина-мать, женщина-жена… Кроме этих званий, есть еще два естественных и важных: женщина-дочь, женщина-сестра. Высшая мудрость, устраивавшая быт человека, так создала, что каждому возрасту его есть соответствующий ангел-хранитель в лице другого пола. Ребенку отвечает мать, юноше – сестра, зрелому мужчине – супруга, старцу – дочь. Получается, как венок, благоуханное сцепление чистейших привязанностей, всех цветов и красок. Но Провидением лишь

указаны наши места в этом венке семейном – от нас зависит занять эти места и украсить их. Если девушка имеет братьев, она имеет и обязанности в отношении их. Она уже носит звание священное, как и они. В некотором особом смысле это звание более высокое, чем даже материнство и супружество: оба великие последние союза – плотские, братство же есть союз исключительно духовный и распространяется на весь человеческий род. На дружбе, которая завязывается в семье, малютки должны учиться дружить со всеми людьми. Та же искренняя близость, та же чистота взгляда, то же желание делить вместе все – и радость, и горе, то же чувство, что это свой, родной, должны быть потом распространены на всех. Пока дети – дети, они слишком чисты, чтобы рассуждать об отношениях своих, но юность уже требует сознания своего долга. Сестра и брат – для меня самый прекрасный союз, какой мыслим, чистейший вид духовного супружества. На любви взаимной, бесплотной и бескорыстной оба должны готовиться к будущему браку, если не хватит у них божественности, чтобы обойтись без него. В чистой семье нет для мальчиков более сдерживающего влияния, как нежная близость к сестрам. Те, кто растут без сестер, кто видит девочек издалека, подвержены несравненно большей опасности, нежели привыкшие видеть эти милые существа от колыбели, привыкшие не делать разницы между ними и мальчиками. Эта привычка видеть в девушке только человека предохраняет воображение от ранней порчи и представляет серьезную преграду для половой страсти. Юноша, выросший среди девушек, не станет предупреждать своих хотений, и когда, вполне созрев, они явятся, привычный взгляд на женщин как на сестер удержит похоть в границах неудержимой потребности. Только одной из женщин он отдастся как муж, а все остальные будут по-прежнему в его глазах сестрами. И жене своей, кроме свежести сил, он принесет еще и чувство братства, воспитанное среди сестер, тот благородный оттенок любви, в котором уже заключены и равенство, и свобода. Не было бы и «женского вопроса», если бы между мужем и женой существовало братство: в этом по-

следнем немыслимы никакие ограничения, никакие стеснения. Но чувство братства требует воспитания, и оно дается в союзе сестры и брата еще до выхода из семьи. В странах чистой христианской культуры, в сословиях нравственных брат – естественный друг сестры до замужества ее, и никаких иных «кавалеров» не полагается. Он – для нее, она – для него опора. Литература не занимается примерами любви этого рода: братская любовь слишком чиста для воображения наших беллетристов и беллетристок. Им подавай распаленные, любострастные отношения, все иные кажутся слишком пресными или обходятся как несуществующие. Однако братство существует в жизни, и любовь сестры к брату не менее поэтична, чем девушки к жениху. Ведь и последняя любовь только до тех пор поэтична, пока она – братская. Заговорила плоть – начинается безумие, от которого поэзия отлетает, что бы ни лгали писатели, сами в этом отношении безумные.

XII

Пусть женщины будут равноправны мужчинам во всем, что благородно, но если нужно добиваться общих форм труда и развлечений, то не женщинам нужно подражать мужчинам, а, скорее, наоборот. Не женщины должны стремиться в адвокаты, судьи, губернаторы и пр., а я желал бы видеть этих последних возвратившимися к семейному очагу. Надо так устроить, чтобы наши, мужские занятия приблизились хоть немного к жизни женщин и детей, сделались бы домашними. Теперь мужчина живет вне дома: с утра он в канцелярии, в присутствии, в камере, в конторе, в мастерской и пр. Весь почти день или лучшие, самые свежие часы дня он отдает чужим для него интересам, забыв жену и детей; домой он возвращается голодный, утомленный и ложится спать – то есть опять исчезает для семьи на полвечера. После отдыха гости – и опять он не принадлежит семье. Только ночь, когда все умирают на время, он проводит около близких, да маленькие клочки времени до и после завтрака и обеда. Отец семьи и центр ее является гостем

в ней. Такой порядок жизни вносит глубокое расстройство в семейные отношения. Необходимо было бы возвратиться как-нибудь к тем временам, когда всю свою работу человек делает у себя дома, на глазах семьи или вблизи нее, часто вместе с нею – как и теперь это еще держится в деревенской культуре. Те роды труда, которые совсем не могут уложиться в это условие, должны быть призваны неестественными и ненужными. Я знаю, что было бы *трудно* перенести, например, канцелярский, конторский, фабричный и т. п. труд к себе на дом, но ничего *невозможного* в этом не вижу. Ведь и теперь только низшим и безответным служащим обязательно являться в учреждения, где они служат, и работать там, а не дома; начальство же этих служащих и теперь бывает в присутствии на час, на два, а работает у себя на квартирах. При добром желании это возможно было бы устроить и для мелких служащих – если не во всех, то в большинстве профессий, как это кое-где и сделано уже за границей. Вы скажете, что, работая у себя дома, мужчина был бы все же вне семьи. Но ведь все мы знаем, какая пропасть времени в учреждениях тратится не на работу, а на ожидание ее, на болтовню с товарищами, курение, чаепитие, чтение газет и т. п. Все это потерянное время, все эти полу- и четверти часа были бы возвращены семье – жене и детям, и это был бы лучший отдых среди труда. В промежутки работы отец семьи участвовал бы в жизни милых, помогал бы им – и эта помощь никакою иной не заменима. Почему, в самом деле, мужчине всю молодость, всю свою свежесть, все способности отдавать своей профессии? Какова бы она ни была, стоит ли она такой жертвы? Мне кажется, нужно лучшую часть этого капитала жизни влагать и в семью свою. Но для этого надо жить в семье изо дня в день и по возможности из часа в час, а не навещать ее только под вечер. Я думаю, уже одним этим переселением мужей домой «женский вопрос» был бы решен. Как ни много ошибок в «женском движении», но есть и очень серьезная нужда женщин, нужда вполне понятная – это тяжелая тоска жен, вынужденных целый день оставаться одним. Супружество – сотрудничество, и притом органическое, все-

объемлющее, – а какое тут сотрудничество, когда мужа почти не видишь и не нужна ему вовсе, кроме минутных ласк. Немудрено, что ни он, ни она не чувствуют органической связи, раз ее реально не существует. Супруги только по имени, они поддаются увлечениям на стороне. И трудно не поддаться им, раз посторонний человек становится ближе, чем свой, раз с посторонним ближе делишь жизнь, чем со своим. Профессиональный труд, требующий разобщения членов семьи, разрушает семью, и следует, наконец, заметить это. Но не женщины должны бежать из семьи, чтобы уловить ускользнувших мужчин, а мужчины должны возвратиться в свои семьи. «Это понизит производительность труда», – скажете вы. – Допустим. Но пусть лучше понизится общее богатство, чем живое счастье людей, их любовь и мир. Пусть будет меньше вещей и всяких удобств, но лишь бы были обеспечены покой и радость дома. Гнездо человека, где он живет по преимуществу, есть место священное, но как здание, где нет молитвы, не есть храм, так и квартира, где нет семейной жизни, не есть *дом*. «Дом» в его основном значении как семья, как союз любящих и помогающих друг другу, как группа людей, между которыми нет перегородок ни политических, ни юридических, ни сословных, ни имущественных – все общее, – такой дом есть самое дорогое и самое важное из учреждений человеческих. «Дом» возможен в самой бедной лачуге или даже в открытом поле, как у кочевников, но без чего «дом» невозможен – это без присутствия в нем его членов, без реального их сожительства. Женщина всегда была гением-устроителем семьи; «женский вопрос» должен быть не в том, чтобы выйти вслед за мужчинами из дома, а чтобы их вернуть домой.

XIII

Женщины стремятся быть во всем, «как мужчины». Я желал бы, наоборот, чтобы мужчины подражали женщинам во многом. Когда я вижу барышню в мужском цилиндре, с папиросой в зубах, храбро гуляющую в загородном увесели-

тельном месте, пьющую пиво, то я думаю, что лучше было бы ей оставаться дома, а мужчине лучше бы снять свой цилиндр, бросить папиросу и пиво и вернуться тоже домой, в общество хотя бы этой же барышни, его сестры или жены. Не женщинам нужна «свобода ходить куда угодно», а мужчины должны отказаться от этой «свободы», как, впрочем, и делают все порядочные мужчины. Раз побывав в каком-нибудь притоне из любопытства, они уже обыкновенно не возвращаются туда никогда. Не женщине нужно идти в адвокаты, а мужчина-адвокат должен разделить труд жены по воспитанию детей и хозяйству. Воспитание детей – самое серьезное, самое торжественное, самое милое дело взрослых, и почему же отцы лишают себя радости этого труда? Отец должен находить время делить этот труд с матерью, пренебрегая хотя бы значительною долею «производительности» своих специальных занятий. Мужчина не должен освобождать себя и от других забот по дому: немножко мужской твердости, надзора, ума, серьезности могут существенно улучшить общую жизнь семьи, сделать ее здоровее, удобнее, сознательнее, чище. И тут мужчине следует приблизиться к женской работе. Если муж любит жену искренно и чисто, он не может отказаться и от заботы о ней самой. Он – как помощник ее по слову Божию, как сотрудник в ее жизненном труде, должен входить во все ее тревоги и желания и облегчать их. Муж кроме естественного счастья дружбы должен давать жене – как и она ему – нравственное содержание жизни. Оба должны служить друг другу религиозно, с величайшим тщанием, оберегая, как огонь на алтаре, стремление один другого к Богу. О, если бы союз брачный осуществлялся во всей той поэзии и святости, какими благословила его мысль пророков! Какими ничтожными показались бы все эти «женские вопросы», «требования быть избираемыми в городскую думу» и т. п. Право, иногда кажется, что мы в нашей чересчур сложной и жадной культуре совсем одичали, что жизнь, как дорогая картина пылью, начинает обволакиваться прозой, удушливой прозой приходно-расходной книжки с ее итогами и балансами. Начинают ис-

чезать куда-то краски жизни, ее цвета. И я думаю, если бы мечта феминистов осуществилась (социалистическая мечта), если бы женщины все переоделись, наконец, в брюки и пиджаки и с портфелями отправились в канцелярии, стало бы скучно жить на свете и не нужно. Как ни нелепа во многом современная жизнь, слагающаяся, по-видимому, случайно, но все же насколько она умнее и красивее иных бумажных теорий. В современной семье, как ни обезображен брак (тоже отчасти бумажными теориями), все-таки даже такое расстроенное супружество лучше, чем супружеская чета – оба в брюках и пиджаках, оба живущие отдельными профессиями, на отдельные доходы, оба не желающие иметь детей, связывающих свободу, оба выставляющие свою кандидатуру в округе таком-то… Что тут интересного в этой гадкой карикатуре на жизнь – не могу постигнуть.

XIV

Дорогу к преимуществам, богатству, почету! Весь мир превратился в гигантский ипподром, и все бегут, истощая силы. Но это только теперь как-то забыли, что стыдно искать преимуществ, богатства, почета – и тем стыднее, если указывают на «незначительность» труда, требуемого для достижения всего этого. Большинство мужчин гораздо откровеннее дам. Подобно Скалозубу, они не скрывают, что, собственно, тянет их к синекуре. Но лучшие из мужчин не скрывают также, что это стремление нехорошо, что для блага общего следует бороться с синекурами во всех видах. То, что лучшие из мужчин осудили как несправедливое и отбросили, женщины подхватывают и стремятся присвоить себе будто бы в интересах справедливости. «Давайте нам то, чем сами пользуетесь! Делитесь поровну!» – вот лозунг феминизма, если отбросить пышные фразы о «правах», свободе, равенстве и пр. Женский вопрос – как всякий человеческий – достойно не может быть решен, пока говорят о «правах». В основе его должны быть положены *обязанности*, а не права. Женщины, может быть, и

не вспомнили бы о своих «правах», если бы не забыли о своих обязанностях.

– Какие же это женские обязанности? – спросит меня иная дама. – Быть рабой мужа, его куклой, кухаркой, прислугой, нянькой?

– Не рабой, – отвечу я, – а *другом* (то есть другим его *я*), не куклой, а честным сотрудником ему, центром его забот и радостей, не кухаркой, – хотя почему же это слово бранное? Не прислугой, а Провидением того маленького уголка, где вся семья отдыхает от главного труда жизни и где работает. Благороднее и привлекательнее назначения женщины, как быть матерью, я не знаю, если она не совсем святая. Зачать и выносить под сердцем малюток от любимого человека, жить с ним и с ними одною органическою жизнью – возможно ли иметь более любви, как при таких условиях, и больше радости? По мере роста детей – кто, как не мать, вводит их в мир? Кто составляет им первое общество? Вы фантазируете столь корыстно о губернаторских, министерских, профессорских местах и пр., но кто мешает вам быть губернатором в детской? Первым полномочным министром, законодателем, государем этого крохотного мирка, которому вы дали начало жизни? Не вследствие «борьбы» или книжных теорий, а по необходимости, от самой природы мать является для детей *первым* и самым важным представителем всех возможных обязательных должностей; она – первый профессор их, первый судья, первый врач, первый законодатель, первый поэт и проповедник. Чей авторитет, чье внушение может сравниться с влиянием матери – в особенности, если она добра и справедлива? О, если она добра – ее наитие поистине божественное, ни с каким иным не сравнимое. Ведь этот возраст – *единственный* благодатный для воздействия, это весна жизни, когда только и возможен посев добра и зла. Ведь уже к пяти годам человек почти заканчивается в умственном развитии: все крошечные почки уже развернулись; они миниатюрны, но форма их, как едва распустившихся листочков весной, уже определилась. Повлиять теплом и светом сердца своего на раскрытие этих завязей души, оберечь

эти нежные побеги от окружающей пыли и грязи, от хищных личинок и других врагов – какая задача! Если вы действительно стремитесь служить добру, то на каком ином общественном посту вы найдете столь счастливый случай вложить в труд ваш весь гений, всю любовь, всю душу? Где вы найдете столько неограниченной власти, столько свободы для своего творчества? В то время как весь механизм общества состоит из сплетения зависимостей и подчинений, здесь, в семье своей, вы сразу получаете державные права, ограничить которые никто, кроме совести вашей, не может. И если семья есть *единица* общества, его главный корень, то почему эта *семейная* служба не есть *общественная* в то же время? Она в высочайшей степени и по преимуществу общественная, хотя, как мольеровский мещанин, вы ни разу не заметили, что говорите прозой. Образование человека, государственного элемента есть государственная служба, и если не называется таковою, то потому, что значение ее еще выше. Человек ведь в то же время есть элемент и более крупного союза – *человечества*. Все согласны, что человек, достойный этого имени – чистый, честный, разумный, твердый, – есть драгоценный продукт природы, самое редкое, что есть на земле. Все согласны, что только из хороших людей может сложиться хорошее общество. И вот во власти матери дать обществу сразу несколько хороших единиц. Может ли сравниться какой хотите средний труд – ученого, писателя, администратора и пр. – с подготовкою хоть *одного* хорошего человека? Ведь такой человек, живой, непосредственный источник добра, – неужели он не полезнее для общества целой груды посредственных романов, мемуаров или картин, которые могла бы произвести средняя интеллигентная женщина, отказавшись от семьи?.. Боже мой, кому нужны, в сущности, эти посредственные романы и мемуары?

XV

Жизнь в семье, для детей дает еще то огромное преимущество перед всяким иным служением, что это *жизнь*, а не

служба. На всякой службе, во всяком ином труде приходится действовать лишь некоторыми сторонами души. Они развиваются, тогда как другие, праздные, отмирают. Поэтому-то всякая продолжительная работа делает человека односторонним. Не то семейный труд женщины. Ей приходится упражнять одновременно все способности, откликаться на все явления жизни своих детей. И так как дети – самое дорогое и чистое, что есть для матери, она в присутствии их всегда чувствует себя как бы перед какою-то святыней, она бережется оскорбить их небесную невинность чем-нибудь грубым, она воздерживается беспрестанно и, воспитывая их, воспитывает и себя. Ради них она забывает все грешные помышления. Устраивая жизнь чистую, достойную херувимов, она сама живет этой жизнью в атмосфере постоянной ласки, умиления и восторга. Какой труд иной дает столько для личного счастья? «Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Божие». Женщины вынуждены своею любовью к детям и жизнью среди них быть «как дети» и невольно входят в Царствие Божие. Отсюда их детскость, наивность, нежность – все хорошее, что есть в женщинах. От мужчин у них все дурное.

Не только новые, ненужные «права», но и старые-то права женщин больно наблюдать. В какое бы учреждение вы нынче ни зашли, от питейного дома до министерства, от кассы в булочной до контор редакций, всюду видите молодых женщин и девушек, согнувшихся над столом, сидящих от утра до вечера, точно идолы, на одном месте. Все что-то записывают, считают, пишут, чертят. Все молодые и чаще всего красивые: на некрасивых сторонники женского вопроса, видимо, не распространяют «равноправность». До боли жаль становится этих молодых женщин. Совсем им не место за решеткой, на чиновничьем стуле. Прожить на одном стуле, на пространстве двух квадратных футов всю молодость, променять все очарования и мечты супружества и материнства на пересчитывание чужих денег, на записку какого-то вздора… За что такая казнь? Милые, кроткие ли-

чики склонились над бумагой и сосредоточенно вникают во что-то. В канцелярии шум, отвратительный воздух помещений, где много бумаги, пыль, полумрак, и в этом холодном аду вдруг на вас поднимутся грустные глаза как бы совсем из иного мира. Бедные глазки, думаешь: вам бы глядеть теперь, вот в эту минуту, на солнце, что льет столько тепла и света тут же, за стенами, дышать воздухом голубого неба, среди детворы, среди своего хозяйства, среди живительного труда. Насколько жизненнее – при всей тяжести – труд деревенской женщины! Неужели быть запертой за решеткой каждый день, пригвожденной к стулу, как в тюрьме, составляет «право», которого следует добиваться?

– Зато я человек свободный, ни от кого не завишу, имею самостоятельный труд…

– Так ли? Правда ли? Свободный ли вы человек, сидя на этом стуле по четырнадцать часов? Независимы ли вы, если приходится делать только то, что прикажут, и всегда давать отчет? Нет, уж лучше бы хоть плохенькая, но своя семья, своя квартира, свои дети, свой муж. Уж если убивать энергию, молодость, способности, то на своих милых и родных, а не ради интересов неведомого вам какого-нибудь банкира или акционерной кампании. Куда бы я ни заглянул, где работают женщины, – нигде не нашел им лучше места, чем в семье. «А если семьи нет?» – спросит меня такая женщина. – Заведите ее. Вступите в чью-нибудь чужую семью, если не можете иметь своей. Идите в деревню работать – все же лучше, чем это торчание над бумагой. Для мужчин, для грубых и сильных организмов, – и для них это каторга. И из них многие, если бы, оторвавшись от гроссбуха, опомнились бы, пошевелили мыслью в своих плешивых головах, – и они прокляли бы судьбу свою, загнавшую их из прекрасной природы в эти бумажные трущобы. И для мужчин этот труд – горькая необходимость, оправдываемая только мечтой придти вечером к родной жене, к деткам и побыть с ними около самовара хоть два часа. Если же не иметь семьи, требующей известной жизни, – то и мужчине лучше бы идти… ну, камни бить на

большой дороге, чем путаться в этих «loro»* и «nostro»**, в балансах и кредитах. А женщины, молодые и цветущие девушки, рвутся на эту службу…

XVI

Не вижу я женского счастья и в других «интеллигентных профессиях», куда нахлынули женщины. Раз профессия, то что-то уже изломано в женской судьбе, исковеркано в самом таинственном и важном назначении. Сколько я знаю женщин-врачей, женщин-писательниц, актрис, ученых – ни одной не доводилось встретить вполне довольной, удовлетворенной женщины, а главное, такой, которая казалась бы вполне на своем месте, какою кажется любая дворничиха или прачка. Что-то потерянное, забитое, ненайденное неуловимо сквозит в очень иногда счастливой наружности такой «равноправной» женщины. Что-то затаенно-грустное. Как птица, не успевшая снести своих яиц или у которой гнездо разорили, интеллигентная женщина тревожна без всяких причин. У огромного большинства этих «равноправных» нет семьи, или очень уродливая, без детей, или со сборными детьми, у большинства на совести лежит не одна измена – или с *ее*, или с *его* стороны, или с обеих вместе. Семейный очаг разрушен, нет того человеческого центра, на котором держится радость жизни: нет одной глубокой привязанности и полного посвящения себя ей. «Я вся принадлежу сцене! Сцена – моя жизнь!» – говорит иная актриса. Не верьте ей. Сцена, литература, живопись, наука – все это не жизнь для женщины, а опьянение, в которое она бросается от отчаяния за неудавшуюся жизнь. Я не отрицаю дарований у женщин. Но крупные таланты встречаются между ними редко, и то чаще на сцене, где женщина выражает чужое творчество. У женщин талант почти никогда не достигает гениальных, маниакальных форм и не в силах бывает сделаться *жизнью* женщины.

* Их, им (итал.) – *В. Т.*

** Наш, нас (итал.) – *В. Т.*

На удивительной Жорж Занд[27] мы видим, как мало удовлетворял ее талант и как она, не останавливаясь перед вечным позором для своего имени, искала страстно того, что могло бы ей напомнить настоящую, хорошую жизнь. Маленькие Жорж Занд, за редкими исключениями, прибегают к тому же средству. Жизнь писательниц и актрис, если бы когда-нибудь она была рассказана искренно, ужаснула бы даже мужчин, напомнила бы им самые дурные страницы их собственных падений… Интеллигентные «профессии» не дают женщинам истинного, живого счастья; кто утверждает противное – не знает женщин. Женщина – по преимуществу *человек*, она меньше отошла от родового типа, она консервативнее мужчин, и потому все эти так называемые «высшие» роды деятельности – наука, искусство и пр. – ей наименее по плечу. Женщина натуральнее мужчины (не в смысле правдивости, тут иногда она вся ложь и притворство, а в смысле близости к природе, к непосредственному процессу жизни). Таким образом, даже доступные женщинам роды труда, дающие почет и славу, не приносят им настоящего счастья. Надо заметить, что почет и слава – удел крайне немногих, как и среди мужчин; большинство женщин-писательниц, актрис, художниц едва зарабатывают свой хлеб, и, глядя на таких, всегда недоумеваешь: какое безумие привлекло их к этой горькой равноправности? Что заставило их променять благополучие жены и матери на полуголодное одиночество в редакции или на сцене? А теперь пошли еще женщины-журналистки, на Западе довольно многочисленные. Это совсем уж что-то жалкое. Если журнализм уродует и мужчин, если и для них необходим крупный талант, чтобы можно было оправдать их существование в печати, то журналистки… Именно здесь, где особенно нужен ум и оригинальность, где ничего не сделаешь одною способностью к сплетне, как часто в беллетристике, – здесь женщины особенно пасуют. Эхо мужчин, они не могут стать вне партии, и потому труд их чаще всего ничего не стоит. Их писания печатают как заурядный материал, но и печатают и читают без всякого удовольствия.

Исключения так редки. Но допустим, что женщина «сравнялась» с мужчиной и в этой области – экое, подумаешь, счастье! И мужчинам – огромному большинству – следовало бы бросить это трудное ремесло, совсем ненужное, бесполезное, а часто и вредное в том виде, как оно сложилось у них, – а к нему тянутся еще женщины. Тут опять мы подошли к коренному общечеловеческому вопросу. Прежде чем *делать* что-либо, нужно решить, *следует* ли это делать? Не решив предварительно этого основного вопроса, нельзя решать женский, иначе вы рискуете только удвоить всю путаницу и ложь, которые царят в мужском труде. Ясно, что к женскому вопросу нужно подходить не с правовой, не с экономической, не с биологической стороны, а только с нравственной. И мне кажется, что каждая истинно порядочная женщина, сама того не подозревая, уже решает женский вопрос – и наиболее разумно, разумнее, чем многие мужчины – свою судьбу. Пока в родительской семье хорошая молодая девушка живет для родителей, для сестер и братьев, она их любит и старается быть полезной, как и они ей. В порядочном семействе не может быть и вопроса о неравноправности: все равны и, больше того, всякий готов поступиться своими интересами для всякого. Девушка дает грошовые уроки и содержит брата в гимназии; затем брат дает уроки и отдает деньги на приданое сестры. Истинно хорошая девушка – такая редкость, она так привлекательна, что не остается без дружбы людей и среди друзей легко находит мужа. Начинается новая семья, новый круг любви и траты сердца. Если она будет добрым и верным другом мужа и матерью своих детей – вот и решен ее «женский вопрос». Что ей нужно еще? Если она сумеет быть, по слову Божию, действительным *помощником* мужа, сотрудником его в жизни, то ведь вся жизнь у них станет общею, и кто бы муж ни был – генерал, дипломат, министр, если он искренно полюбит свою жену, он и в этом профессиональном труде своем будет нуждаться в ее помощи. Все самое интересное в любой профессии муж сообщает жене и с нею первою – если любит и ценит ее – советуется обо всем.

Ведь дипломату, министру – каждому, кроме собственного ума и знания, нужна бывает самая драгоценная из всех – нравственная поддержка, благословение чьей-то любви…

XVII

Стремление женщин к образованию было бы очень почтенным, если бы было искренним, но в искренность, а главное – бескорыстность его – я не верю. О редких исключениях не будем говорить, но подавляющее большинство и мужчин, и женщин только притворяются, что хотят знаний. На самом деле хотят «прав» и выгод, со знаниями связанных, – и вот это вовсе не почтенно. По этой именно причине современная школа дает чаще всего или ложное знание, или ненужное, ибо истинное знание с корыстными целями несовместимо. И мужчинам, и женщинам нужно знать, что из бесчисленного множества истин, открытых и проверенных, не все нужны для каждого, а *что* и *сколько* кому нужно для умственного развития – этого определить нельзя. Так как мы все каждое мгновение прикасаемся ко всему в природе, ко всем ее истинам, то все действительно нужное усваивается всеми бессознательно, в меру потребности. Дерево, не зная законов оптики, гидравлики, электричества и пр., впивает в себя столько света и влаги, сколько может, и впивает их именно по законам света, воды, электричества и т. д. Мне кажется, для огромного большинства людей только такое бессознательное усвоение и нужно, всякое же иное, отвлеченное, нужно лишь тем немногим, кого тянет к нему. Архимеда и Паскаля неудержимо тянуло к сознательному выражению природы, для них оно и было нужно. Для них теоремы и формулы были не тем, что для нас – не принимаемыми на веру странностями, которые нужно заучивать, иначе сейчас же забудешь, а живым откровением, отгадкой того, что долго мучило их, как загадка. Миллиарды людей, погружаясь в воду, замечали, что вес их тела делается легче, но только Архимеду это показалось поразительным, страшно интерес-

ным, достойным самого напряженного обдумывания. Только ему найденный закон теоретически и нужен был – другим он может быть полезен практически, но ничего не прибавляет в умственном развитии. Другие интересуются иными загадками, и им нужны иные знания. Только свободная школа, только самообразование *бескорыстное*, по внутреннему влечению и вкусу, дает то, что человеку нужно. Но такая школа доступна огромному большинству женщин, не задавленных черной работой. И только такая, свободно развившаяся, не загроможденная ненужными ей знаниями женская душа в состоянии разделить умственную жизнь мужа, если он сам не безнадежно испорчен школой. Совсем нет надобности много *знать* в этом случае – достаточно только быть способной все *понять*. Прислушайтесь к вашей собственной беседе с друзьями: знания и их, и ваши лежат обыкновенно праздно, обмениваетесь же вы живым творчеством мысли, *пониманием* вещей. Понимаем же мы вещи не столько знанием, сколько жаждою знать, живою заинтересованностью, которая столь редко встречается у цеховых ученых. Цеховые, если это не крупные таланты, ненасытные в своей области, всегда как бы пересыщены и потому равнодушны к своим знаниям; большинству цеховых ученых их знания даже противны. Как сапожник ходит в дырявых сапогах, портной – в засаленном пиджаке, так заурядный ученый забывает о своих знаниях вне кафедры; дома, в обществе он ходит в рубище жалкого, гимназического образования, и тут жена, сколько-нибудь умная и начитанная, часто бывает выше мужа.

XVIII

В современных интеллигентных семьях, где муж-специалист превратился в рабочее животное, жена имеет более досуга и, если хочет, не только догоняет мужа в образованности, но и перегоняет его. В то время как муж защищает какого-нибудь мошенника в суде или составляет доклад о той или иной канцелярской мере, жена имеет в своем распоря-

жении не только живой, благотворно действующий на нее кружок детей, сообщающий ей небесные познания, но и лучшие источники земных сведений. Любимые поэты, беллетристы, путешественники, ученые, философы – женщина может пользоваться их обществом ежедневно. К ее услугам – рояль и произведения лучших мечтателей, лучших выразителей сердца. К ее услугам – мольберт и станок скульптора. К ее услугам – те научные, физические, химические и иные приборы, которые следует иметь во всякой семье, где есть дети. Разве детям не интересен, например, микроскоп или явления качественного анализа в химии? А физика вся есть продолжение детских игр. Со своими малютками мать может изучать все самое интересное в любой науке. А природа? А эти прогулки в саду или в поле с детьми, щебечущими, как птички?

Если женщине хоть немного дано души, то, живя в такой свежести и свободе ощущений самых нужных, какие есть, нельзя быть умственно бесплодной, и только любви недостает, чтобы муж наслаждался и умом ее столько же, сколько сердцем. Даже теперь, при нелепом воспитании, при иссохшей любознательности, женщина, если любит мужа, дает ему умственно больше, чем он ей. Что же было бы при разумном образовании и неослабленной душевной силе! Нет, искренно говорю, я не вижу никакой надобности для большинства женщин добиваться ученых степеней и «посвящать себя знанию». Никакого «посвящения» обыкновенно и не бывает, а одно лишь притворство, как и у большинства мужчин. Если бы обман этих ученых степеней был разоблачен, если бы можно было обнаружить умственную ограниченность цеховых ученых, мужчин и женщин, – все бы ахнули от изумления. Как в древности религиозное, так и нынешнее ученое жречество держится только обманом (иногда искренним), верою толпы в скрытую для нее мудрость ученых, на самом деле несуществующую. Женщинам не следует присоединяться к этому обману. В тех необыкновенно редких случаях, как, например, с Софьей Ковалевской, когда знание неудержимо тянет к себе, когда оно идет навстречу и открывается почти без усилий, – тогда другое

дело, тогда следует только радоваться и помогать такой счастливице, но для массы женщин, как и для мужчин, вдаваться в математику, философию и т. п. – сущее обезьянство. Не служи наука источником материальных выгод и почета, будьте уверены – почти все мужчины отхлынули бы от нее (как все и теперь отворачиваются от нее, добившись диплома), но ведь это отношение к истине безнравственно, и женщинам не следует подражать ему. Женщины-жены, обреченные самой природой на самое живое из всех дел на земле и потому не имеющие досуга на тысячи ненужных дел, должны бы и в виды мужского труда вносить начала оживления, простоты, общности, большей близости к нравственным интересам жизни. Женщины, свободно занимаясь наукой и искусствами, могли бы, я думаю, даже создать более естественные методы, менее специальные и мертвенные, более ясные и простые. Мужские методы этих деятельностей испорчены корыстью и тем рабством, которое сопровождает корысть; женщины же именно, не добиваясь дипломов и ученых степеней, а работая для внутреннего удовлетворения, могли бы вернуть и науку мужчин, и их самих на правильную дорогу. Дорога эта ведет *домой*, к свободе, к семье, к детям, к забытому очагу, у которого достаточно места для занятий всем человеческим, что не ложно.

Героизм

> …Полноте, друзья мои! Я был сумасшедшим, но теперь мне возвращен рассудок. Я был Дон Кихотом, а теперь снова ваш Алоизо, Алоизо Добрый…
>
> *<Сервантес Мигель де Сааведра>*
>
> *Дон Кихот. LXIV*

I

Для человека самое загадочное существо – он сам. Мы знаем, что такое камень, растение, животное, или, по край-

ней мере, не задаем об этом вопроса. Но что такое *человек* в своей внутренней сущности, чем он *должен* быть в идеале, – мы этого не знаем твердо. То нам говорят, что человек – совершеннейшее творение Божие, созданное по образу Его и подобию, с душою, исшедшею прямо из уст Вечного, то утверждают, что он скот (как у Екклезиаста). У поэтов это царь природы, у ученых – потомок обезьяны. Одно время Сенека провозглашает: «Homo – res sacra»*, а его ученик сжигает людей, как факелы, в своих садах. В одну и ту же эпоху наш нежный Жуковский[28] писал и верил, что «священнейшее из званий – человек», ставя это звание выше всех возможных, и огромное большинство людей в стране называлось в самом законе «подлым сословием» и было предметом купли-продажи вместе с домашними животными. Нет прочного, незыблемого, вечного представления – что такое человек, и, может быть, от этого все суждения и поступки наши так страшно шатки.

Человек, входящий в общество, в этот чудесный мир полуодухотворенных существ, полудухов, полутел, непрерывно творит в себе человека и потому не может расти – ни духом, ни телом, не сознавая, чем должен быть человек. Есть творческая, тайная, не сознаваемая работа каждого из нас над собою, внутренняя работа души. Для совершенства жизни она должна быть *художественною*, а художник должен иметь яркое представление о том, что он создает. Перед глазами его должна быть живая натура или видение ее в памяти, должен стоять вечный *образец человека*, окончательный, безусловный, который он мог бы счесть мерою человеческих душ. Где взять такой образец среди столь несовершенных в отдельности, столь слабых созданий? Его может дать чаще всего лишь великое отвлечение, мечта, которая извлекает из действительности лучшее, что в ней есть. Именно в поисках этого лучшего, с целью подражания ему человечество создавало себе богов и героев.

* Человек – это тайна (лат.) – *Сенека*. Нравственные письма к Луцилию. Письмо LXXXIII. – *В. Т.*

Бог во всех религиях есть нравственный идеал человеческой души, тот *образ* и *подобие*, по которому она творит себя. От высоты и ясности этого тайного богосознания зависит благородство человека – телесное и духовное. Принижается идеал – грубеет самотворение человека, душа становится ограниченною, недоброй. Напротив, повышается чувство Бога – молодеет душа людей, распускается красками и благоуханием, как цветок, освеженный влагой. Она делается возвышеннее, тоньше, поэтичнее, добрее. Как будто где-то, в тайниках природы, приподнимаются заслоны, и в существо наше впускается живая сила. Мы все, сами того не замечая, питаемся из этого «источника жизни вечной» – из собственного представления о совершенстве, о божестве. На этом смутном представлении, скорее – чувствовании, как на осях кристаллизации, нарастает и организуется дух наш во всей его роскоши и разнообразии.

Таким образом, идеал человека есть то невидимое, живое начало, из которого оно растет. Вся наша личная жизнь и вся история человечества не имеют иного смысла, как осуществление этого идеала. Все цивилизации суть пробы тех или иных путей к этой единственной цели. Первобытный варвар образцом человека ставил хищное животное. Он считал почетным для себя прозвище волка, медведя, льва, тигра, орла (отдаленное свидетельство чего осталось в геральдике). Он или прямо считал сильных животных богами или богам своим придавал звериные свойства. Боги фиджийцев не только ведут кровавые войны между собою, но убивают и едят друг друга. «Они хвастаются такими именами, как “прелюбодей”, “женокрад”, “мозгоед”, “убийца”», – говорит Спенсер. И всякий фиджиец хотел бы быть подобным своим богам. Греческая феогония полна чудовищных ужасов, до отцеубийства и пожирания собственных детей включительно (Кронос). Бог Марс гордится именами «человекоубийцы» и «запятнанного кровью». Зевс, Афродита и весь Олимп представляют общество развратников, убийц и лжецов; о Ваале[29], Астарте[30] и индийских божествах и говорить нечего.

Таковы были представления древних о верховном существе, об образце человека, об идеальном типе его. Но уже на исторической памяти эти представления решительно изменились. Уже гомеровские боги нравственно выше, чем их предки. Им доступно уже некоторое сострадание к людям. У Эсхила[31] боги имеют грозный характер; у Софокла[32] они только величественны; великий трагик приблизил их к людям, поколение же Еврипида[33] относится к богам уже критически. Оно чувствует себя выше своих богов, недовольно ими. «Если ты всемогущ, – говорит Ион Аполлону, – то будь верен добродетели… Справедливо ли, что вы, давшие законы смертным, сами нарушаете их?» Сократ считает своих богов оклеветанными Гомером и Гезиодом[34]. По Сократу, бог есть источник только блага и причиною зла быть не может; он – источник истины и не может обманывать людей, не может быть нецеломудренным и пр. Еще три-четыре века цивилизации – и у Сенеки и Марка Аврелия языческий бог имеет все нравственные качества христианского Бога.

II

Вместе с облагораживанием понятий о божестве очищалось и представление о совершенном человеке-*герое*. Героический эпос есть как бы вторая религия, более земная, более близкая к человеку, где действуют те же боги, только смертные по плоти. Герои вели свое происхождение от богов и сражались часто с богами. Как третий конь ахиллесовой колесницы во всем был подобием двум другим, бессмертным коням и не отставал от них, так и древний герой был во всем богоподобным, кроме физического бессмертия. Самые древние герои столь же суровы, жестоки и грозны, как первые боги. Они губят жизнь без пощады, упиваются кровью и сладострастием, их величие – разрушительное величие урагана или потопа, стихийной, материальной силы. Но вместе с богами постепенно делается человечнее и человек. Древние надписи на гробницах ассирийских царей, где говорится об

истреблении ими племен и народов, казались архаическими уже их потомкам. Многие черты, которые Гомер приписал аргонавтам и троянским героям, возмущали уже Сократа. «Мы не допустим и не согласимся, – говорит он, – будто Ахиллес был столь корыстолюбив, что мог взять подарки от Агамемнона или выдать мертвое тело не иначе как за выкуп. …Мы не признаем справедливым, что он волочил Гектора около Патрокловой могилы, убивал пленных и бросал их на костер… Мы не поверим, будто Тезей, сын Посейдона, и Пиритой, сын Зевса, вдавались в столь постыдное воровство» («Политика». Кн. III). Даже в те времена, 23 века тому назад, в самый разгар эллинского культа человеческого тела, его красоты и силы, чуткие люди требовали от героев и нравственного достоинства. У Эсхила и Софокла герои совершают еще убийства с невозмутимою совестью, у Еврипида же они колеблются, начинают испытывать внутреннюю борьбу, в них возникает какое-то высшее, нравственное состояние. Орест у Эсхила раз решил, что должен убить свою мать, приступает к этому так же спокойно, как к тому, чтобы зарезать овцу. Он должен отомстить за отца – и никакие чувства – ни любовь, ни сострадание не останавливают его. Столь же холоден Орест и у Софокла: он подговаривает свою сестру Электру притвориться плачущей, чтобы обмануть мать и завлечь ее в засаду, «а когда успешно покончим с нею, будем смеяться и отдаваться к радости», – прибавил он. Электра соглашается, и сын хладнокровно закалывает мать, в то время как она на коленях умоляет его о пощаде. Но тот же Орест у Еврипида уже колеблется перед убийством матери, сомневается, хорошо ли это, сожалеет мать. Он все-таки убивает ее, но тотчас раскаивается и проклинает бога, внушившего ему это убийство. На вопрос Менелая: «Что ты чувствуешь? Какая болезнь тебя съедает?» – Орест отвечает: «Совесть, потому что я сознаю, что я сделал».

Впервые древний грек, этот «смеющийся лев», ощутил в себе нарождение новой страсти – совести. Этой страсти суждено было медленно разгораться; потребовалось несколько сто-

летий после троянских битв, чтобы наряду с героем-борцом выдвинулся герой-философ, но когда это, наконец, случилось, то Пифагор[35], Сократ, Зенон[36], Эпиктет[37], Марк Аврелий в сознании лучших людей затмевают не только Ахиллов, Язонов и Диомедов[37], но даже Ликургов[38] и Катонов[39]. Представление о совершенном человеке вырастало до того, что иногда (как в учении Будды) человек ставился в образец богам, конечно, человек «пробужденный», «мудрый». Как благороднейший плод древнего гения, еще за пять веков до появления Христа возникало удивительное нравственное учение и в Европе, и в Азии – учение, где понятие об идеальном человеке было совсем иное, чем прежде. К несчастью человечества, этот новый нравственный культ был извращен и подавлен грубыми стихиями: в Европе – римского и германского варварства, в Азии – браминами. Ряд богоподобных мудрецов, учивших любви и миру, прошел одиноко в тогдашнем человечестве, успев увлечь лишь исключительно светлые души. На тысячу лет снова возобладал древний героизм – военный, пышный расцвет которого был в феодальном рыцарстве. Роланд[40], Баярд[41], Амадис[42], Астольф[43], Готфрид[44], Артур[45] и пр., и пр. целые века повторяют подвиги Геркулеса, Ахилла, Аякса[46], Тезея[47] и др. Героизм нравственный спасается в пустынях Востока и глухих монастырях Запада; он не замирает, он выдвигает свою плеяду богатырей и способен даже на такое колоссальное явление, каким был Франциск Ассизский[48]. Но этот героизм признавал, что победа не на его стороне и резко отграничивал себя от мира. Нужны были долгие столетия, чтобы культ войн начал вырождаться, чтобы развилась мировая цивилизация, промышленность, наука и искусства. Представление о человеке-герое снова стало изменяться, и снова выдвинулись – хоть и робко – идеалы древних гуманистов. Теперь для нас «божественный» Ахилл решительно противен именно тем, что его когда-то возвеличивало: именно своею звериною силою и кровожадностью. Геркулес производит впечатление циркового атлета, поднимателя чугунных шаров. В далекие времена, когда еще не было никаких машин

и сам человек был машиной, его мышечная сила вызывала искренний восторг, но теперь, когда один человек управляет механизмами в десятки тысяч таких сил, уже нельзя более уважать людей за крепкие мышцы. Телесная сила потеряла всякое обаяние, по крайней мере, среди нравственно развитых людей. Той же судьбе подверглись и другие героические черты: телесная выносливость в страданиях, обжорство, сладострастие, ярость, неумолимость, коварство и т. п. Известный подвиг Геркулеса, повторенный императором Коммодом[49], показался бы теперь большой гадостью, как и способность богатырей наших «выпивать единым духом чару в полтретья ведра» и пр. Не удовлетворяет нравственное чувство и героизм позднейший, времен рыцарства. Роланд и Баярд ничуть не кажутся благороднее других рыцарей, крошивших человеческое мясо. Мы называем «рыцарскими» уже не телесные качества, как и прежде, а нравственные: верность долгу, великодушие, безупречную вежливость к женщинам и слабым и готовность жертвовать собою в защите угнетенных.

III

Сервантес был, кажется, первый великий ум, который понял нелепость соединения новых, действительно благородных качеств рыцарских с древними, отжившими, вытекавшими из телесной силы. Дон Кихот потому только забавен, что прекрасное намерение свое – защищать человечество – желает осуществить насилием, совершенно не свойственным ни натуре «Алонзо Доброго»[50], ни мирной обстановке его века. Если бы Дон Кихот решил быть великодушным, безупречным, самоотверженным защитником несчастных и выбрал средством для этого не заржавленный меч и щит, а современные ему мирные средства, то он нажил бы немало неприятностей, но безумие его показалось бы скорее трогательным, чем смешным. Все безумие его – в вере в бесконечное значение физической силы, когда время ее для действительной жизни уже прошло. В XVI веке мирный быт народов

до того упрочился, что стал правилом, боевое же рыцарство – исключением; рыцари, которые когда-то составляли жизнь, очутились вне ее. Они еще собирались на турниры и сражались впереди войск, но мушкетная пуля, раздробившая позвоночный столб Баярду, красноречиво поставила точку под средневековым героическим периодом. Физическая сила продолжала еще господствовать, но героический элемент ее отпал, ее поэзия, ее святость исчезла. Борьба превратилась из утонченного искусства в грубое ремесло, все менее и менее привлекающее к себе гениальные души. Рыцарство выродилось в солдатчину, которая нигде не пользовалась особенным поклонением. Литература теряет способность отражать героизм физической борьбы; знаменитейшие поэмы этого рода, как, например, «Неистовый Роланд» Ариосто[51], – плохие вещи. У Шекспира лучшие, наиболее возвышенные фигуры – уже не боевые: Гамлет, Лир, Отелло, Ромео и пр. гораздо выразительнее, крупнее и симпатичнее тех свирепых герцогов, вроде Глостера[52], которые рубятся без конца в кровавых его хрониках. Борьба отдельных лиц и даже борьба народов постепенно (и уже у Шекспира) перестает быть единственной, исключительной областью героизма, а в последние два века решительно возобладала драма не боевого, а мирного характера. Выдвинулись другие страсти (по преимуществу – любовь к женщине), другие виды геройства. Трагедия позднейших героев есть борьба не с чудовищами, как у аргонавтов, не с соперниками по мышечной силе, как в «Илиаде» или в средневековом эпосе, не с врагами отечества, а с *самим собой*, борьба древней животной природы с народившимся нравственным чувством. Гамлет, подобно Оресту Еврипида, в этом отношении – родоначальник современных героев: в нем впервые средневековый варвар почувствовал новый нравственный инстинкт, парализовавший зверское чувство мести. Гамлет оскорблен до глубины сердца: его любимый отец убит коварно человеком, который обольстил мать его и завладел престолом, тень отца взывает к мести. Месть! Поколением раньше Гамлет не рассуждал бы ни минуты и ри-

нулся бы на врага с обнаженным мечом; он убил бы врага без тени колебания. Но, очевидно, что-то совершилось в мире, дрогнула какая-то твердыня в сознании людей, героическая злоба их надломлена и отказывается служить…

Thus consience does make cowards of us all!*

– горько восклицает неукротимый рыцарь, потомок норманнов, сын самого конунга. Правда, он был уже в университете, он уже обвеян Возрождением.

Незаметно для героического поколения нравственный кризис настал. В дикой мести, в убийстве новый герой уже не видит чего-то безусловно хорошего и нужного. Ум его еще держится старого гипноза, Гамлет еще убеждает себя всеми доводами, что он *должен* отмстить, но уже одно то, что ему приходится убеждать себя, доказывает, что старый инстинкт надломлен. Гамлет резонирует, говорит прекрасные монологи, но внутреннее его чувство сопротивляется. Оно не хочет убийства и не дает его выполнить. Гамлет поражен этим внутренним сопротивлением, оно ему кажется чудовищным и низким; умственно он весь еще в старой эпохе, но чувство его уже ушло вперед. В раздвоении души – драма, из которой Гамлет, подобно Оресту Еврипида, выходит не победителем, а побежденным; он губит других и погибает сам бессмысленно, как бы против своей воли, против лучшего голоса своей души.

Последнею великою эпопеей борьбы был «Потерянный рай» Мильтона[53], но в ней борьба идет хоть и в физических образах, но между бесплотными силами, и элементы героизма здесь – не физическая, не мышечная сила, как у Геркулеса, не бесстрашие, как у Тезея. Герой «Потерянного рая» облечен нравственною красотой, как заметил еще Шелли[54]. «Ничто не может превзойти энергию и величие в характере Сатаны, как он выражен в “Потерянном рае”. Было бы большой ошибкой думать, что Мильтон когда-нибудь думал сделать из него по-

* «Так совесть обращает всех нас в трусов!» – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

пулярное олицетворение зла». Великая поэма является как бы внутренним отрицанием всякой борьбы, кроме нравственной, сводя победу даже несомненного права и несомненной силы к явлению, не вызывающему симпатии.

IV

Припомним смысл этой поэмы. Рожденный Богом и исполненный божественности, верховный серафим возмущен *неравенством* в этих высочайших сферах и *унижением*, хотя бы пред Сыном Божиим. Он находит такое бытие недостойным для нравственного существа, он осуждает «Того, Кто, будучи равным по разуму, насилием возвысился над своими ровнями» (Песнь I). Сатанаил предпочитает «лучше царствовать в аду, чем служить на небе»*. Но как существо несовершенное, он прибег к тому же средству, которое осудил сам, – к насилию; осудив неравенство и унижение, он сам начал стремиться унизить Создателя; осудив могущество, он стал стремиться к нему. В этом вся трагедия его ослепления и безвыходной борьбы. Если бы он был способен стать выше понятий о равенстве, силе, власти, если бы он удержался на высоте божественной Любви, он увидал бы, что в ней нет неравенства и унижения, что это ошибки низших сфер бытия, и чем ниже падает существо, тем более оно терзается этими ошибками. Трагедия падших духов в том, как говорит Молох[55] на великом совете (Песнь II), что им «врождено стремление к (их) небесной родине, тогда как падать противно их естеству», и, тем не менее, тот же Молох советует «на рев Его всемогущего грома ответить громами Ада и за удары Его палящей молнии – бросить черный огонь ужаса между Его ангелами, и даже самый трон Его окружить волнами адской серы и адским пламенем, теми мучениями, которые Он

* Шелли замечает, что Мильтон значительно отступил в своей поэме от христианских представлений о Сатане, до такой степени, что дать ему даже моральное преимущество перед своим Противником. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

изобрел для нас сам». Трагедия этой борьбы в том, что цель возмутившихся духов не та, чтобы победить Создателя – на это нет надежды, – чтобы, как говорит Велиал, «раздражать Всемогущего Победителя, дабы Он излил на нас весь свой гнев и уничтожил нас, совсем бы уничтожил наше бытие». Но и на это нет надежды; по мысли Мильтона, уничтожение дьяволов было бы слишком слабым для них наказанием, и Всемогущий уготовал для них вечное мучение, они же отвечают Ему вечной ненавистью. В этой величайшей по замыслу трагедии борьбы (как незначительна пред нею «Илиада»!) я не вижу иного смысла, как только предчувствие кризиса в самом *понятии о борьбе*. Что такое в самом деле борьба, когда нет и не может быть нравственного результата ее? Возьмите примеры какой угодно борьбы, и вы увидите только физическую победу, преобладание грубой силы, нравственная же справедливость такой победы (как *зла* в отношении побежденного) невозможна. И не без основания в великой поэме Мильтона сам Вечный не принимает личного в ней участия, как и в битвах под Троей участвуют все боги, кроме отца богов. Тонкий инстинкт подсказал поэтам, что высочайшему совершенству борьба чужда и с достоинством его несовместима. Вызов на борьбу принимается Сыном Божиим только потому, что падшие духи «не признают никакой добродетели, кроме силы» (Песнь VI), и это их заблуждение должно быть посрамлено. Поэт как бы хотел доказать тщету физического насилия, которое как бы ни было велико, всегда может быть сломлено еще большею силою, и окончательная бесспорная победа невозможна среди существ, «созданных равными, и между которыми только грех положил неравенство» (Песнь VI).

V

Героический идеал человека как атлета, воина, богатыря перестал удовлетворять наиболее развитое и мирное человечество. К сожалению, мы живем еще в грубом исто-

рическом периоде, когда сознание человеческого единства не установилось еще. Поэтому эпоха войн еще длится, а иногда разражается целою полосою бурь, среди которых воспитываются ряды поколений, как это было в Тридцатилетнюю войну, в цикл революционных и наполеоновских войн или недавно – войн за объединение. Такие военные периоды снова и снова поднимают культ *борьбы* и идеал человека как телесного героя. Последний печальный пример тому – немецкий задор после разгрома Франции. В такие времена идеал человека понижается снова – от Гете и Шиллера[56] до Бисмарка и Мольтке[57], от Канта до померанского гренадера. Но эти периоды – лишь временные отклонения великого потока, и наряду с воскресающими идеалами человека-зверя держится и крепнет идеал бога-человека.

Девятнадцатый век есть как бы все растущее предчувствие этого нового идеала, и выразителем его является величайший после Гамлета герой в литературе – Фауст. Подобно Сатане, это скептик и эгоист, но скептик, не удовлетворенный своим сомнением, эгоист страдающий, чего-то ищущий вне своего «я». Это еще не новый дух, но несомненные развалины старого. Какая-то неведомая нравственная стихия нежным, как сон, дуновением повалила в нем гранитный идеал ветхого человека. Он уже не борец, не богатырь насилия, но он все еще заражен сатанинским духом возмущения. Он не может помириться со своею долей, он хочет сравниться с Богом в полноте если не силы, то познания. И вот он исследовал всю земную мудрость и не нашел в ней радости. В нем еще не проснулся источник света, который мог бы дать смысл жизни, и все познание его кажется ему обманом. Фауст на распутье; он теряет ступень, на которую поднял его ход времени; от него зависит – стать ли на высшую ступень или опуститься на низшую. И он опускается на низшую. Он не борец; героизм Ахилла отошел от него навеки, но заменивший его инстинкт оказался немногим выше. Вместо борьбы и победы выступает иная, но все же чувственная страсть: Фауст отдается любви к женщине. Это не любовь к *человеку*, а животное опьянение

пола, могучее и сладострастное, как борьба. По замыслу поэта, Господь дает власть злому искушать гордого Фауста:

Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb'ich gern ihm den Gesellen zu
Der reizt und wirkt, und muss, als Teufel, schaffen…*

Фауст сознательно отдается Мефистофелю и погружается в разгар страстей. Он презирал их, пока считал себя божественным, пока верил и надеялся; но, измерив свои силы с Божьими, он дошел до скептического отчаяния:

Den Göttern gleich ich nicht! Zu tief ist es gefühlt…
Dem Wurme gleich'ich…**

Как бы сраженный в умственной борьбе с Богом, герой нашего столетия, скептик и материалист, повергается в прах, и здесь, в грязи низших инстинктов, пытается найти потерянное утешение. Это вторая ступень в развитии героического типа: кровавую страсть – борьбу – сменяет скрытая страсть крови – половая любовь. На этой любви держится до последнего времени весь роман, все изящное искусство; половая любовь составляет в современной культуре центр жизни, все

* Слаб человек; покорствуя уделу,
Он рад искать покоя, – потому
Дам беспокойного я путника ему:
Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!
А вы, сыны небес и рая, –
Пусть вечно радует вас простота святая,
И по всему, что временно, изменчиво, туманно,
Обнимет ваша мысль, спокойно постоянна.
Гёте И.-В. Фауст; из «Пролога на небесах» Ч. 1 // Пер. Н. А. Холодковского. – М., 1935. – *В. Т.*

** Да, отрезвился я – не равен я богам!
Пора сказать «прости» безумным тем мечтам!
Во прахе я лежу, как жалкий червь, убитый
Пятою путника, и смятый, и зарытый.
Гете И.-В. Фауст. Ч. 1… – *В. Т.*

остальное – второстепенно. Эта страсть – как все в природе человека – жила и в древности, но на втором плане; она была – как в «Илиаде» – предлогом для борьбы, но, подобно пище, она не была столь опоэтизирована, столь вознесена в сознании, как в последние три века, и особенно в начале нашего. Фауст – собирательное лицо для бесчисленных любовников; они в душе, может быть, все Фаусты или в значительной мере. Но что же дала Фаусту любовная страсть? Дожил ли он до счастья сказать: «Мгновенье, остановись! Прекрасно ты!». Те «две души» в груди его, которые стремились разойтись, любовь и ненависть, слились ли, наконец, в одном согласии? О, нет! В конце трагедии (я говорю о I части) Фауст несчастен более, чем в начале. Загубив невинность и красоту, растоптав в грязи самое чистое человеческое сердце, Фауст только и может воскликнуть в отчаянии:

O wär'ich nie geboren!..*

VI

Остановится ли этой страсти развитие героического представления о человеке? Останется ли половая любовь навсегда центральным содержанием романа? Я этого не думаю. Вне литературы, в самой жизни, я вижу совсем иных «героев» и совсем иные романы, в которых ни древняя «борьба», ни современная «любовь» или не играют никакой роли, или <играют> весьма второстепенную. И борьба, и любовь эта не исчезнут так скоро; быть может, они в тех или иных перерождениях будут вечно жить, но мне кажется, они оттесняются на задний план новыми идеалами, уже достаточно назревшими. Постепенно в людях нарождается новый разум, новая страсть, которую я не умею назвать иначе как Христианством. Это доброта, кротость, стремление быть нравственно прекрасным. В обществе и народе все чаще появляются новые герои, люди мира, люди нравственного величия, не

* О, если б не был я рожден!... – Там же. – *В. Т.*

скептики, а верящие в правду любви столько же бесповоротно, как Ахилл или Роланд – в правду насилия. Эти «новые люди» являлись, конечно, всегда, даже во времена глубокой древности, но тогда они были, как высокие колосья на тощей ниве, лишь случайными образцами *возможного*, лишь его предтечами. Теперь всегда «грядущее» приблизилось к нам; лучшие люди нашего времени неизбежно, помимо своей воли, признают новый идеал и с величайшим иногда сопротивлением, но тяготеют к единственному Герою, богоподобие Которого несомненно, – ко Христу. Современный герой – в серьезном, не ироническом смысле – не может быть ни *злым*, ни *сладострастным*. Отсутствие доброты обезображивает в наших глазах величайшие иные качества, физические и психические, и ставит их ни во что. Ни Сатана, ни Каин, ни Мефистофель, ни Демон Лермонтова не могут уже пленять наше воображение, чем бы ни оправдывали свою злобу; для злобы у нас есть прощение, но нет оправдания. Человек, *озлобленный во имя правды*, озлобленный против зла, в революционный период кажется истинным героем, но в мирное время это парадокс природы, существо, отрицающее само себя. Мы, правда, все еще злы и грубы, мы мстим врагам, но в глубине сознания все-таки чувствуем величие слов: «Отче, прости им, не знают, что творят»…

Высшее великодушие – подобие безусловному Благу – вот современный героический идеал. Это идеал всякой мирной культуры, достаточно законченной. В Китае в эпоху Конфуция и Лаоси, на берегах Ганга, на берегах Тивериады, под небом древней Греции, как и теперь всюду, даже под холодным небом России вырабатывается мирный человеческий тип бок о бок с воинственным и оспаривает у последнего преобладание. *Мир* как черта этого типа при развитии дает *любовь*, ту высшую, радостную доброту, при которой человек делается сердцем неиссякаемого, бьющего из него родника счастья – для всего, что его окружает.

Вы скажете, такие люди редки. Да, как все законченное, они очень редки. Они – самая утонченная роскошь природы и

потому редки. Однако не настолько редки, чтобы не влиять – и самым могущественным образом – на судьбу людей. Это десять библейских праведников, уравновешивающих зло мира. Такие праведники встречаются во всех слоях, но чаще всего – в глубинах народных, там, где сложившаяся культура еще не разрушена. Именно эти неведомые, «невежественные», как их принято называть, мудрецы составляют истинную народную интеллигенцию, «соль земли и свет миру», хотя ходят в лаптях и пашут. Где-нибудь на пчельнике, на темных палатях, на сеновале, на печи, в дороге за обозом среди глухого леса идут тихие разговоры этих людей, безыскусственная философия, подслушанная ими, так сказать, припав ухом к земной почве. Корявый язык, корявый иногда до бессвязного бормотанья: «тае, тае…», как у бедного Акима во «Власти тьмы». Но к малопонятному иногда тексту их мысли дается удивительная по яркости иллюстрация – самая жизнь мудреца, праведная, прекрасная, кроткий образ его. И свет этой жизни непременно светит и делает свое творческое благое дело. Никому и в голову не придет в деревне, что Аким – человек необыкновенный, что он мудрец; над ним чаще всего подсмеиваются; те, для которых он служит живым укором, считают его даже «дурачком». Он на последней ступени общественной лестницы, он, быть может, чистит отхожие места, как толстовский Аким. Но никто от него не видит зла, не слышит безумия, никому около него не больно, каждому он дает немножко радости – в ласке своей и кротком слове. Таков Платон Каратаев в «Войне и мире», Никита в «Хозяине и работнике», многие типы народные у Тургенева, Глеба Успенского. Каким-то таинственным подбором, какою-то непризнанною культурой вырабатываются эти удивительные люди. Они точно выходцы из древнего «золотого века» или вестники будущего, еще далекого. Они совсем добрые, совсем счастливые люди, люди-дети, которые уже живут в царствии Божием, умудренные всеми блаженствами Нагорной проповеди: смирением духа, чистотою сердца, жаждою правды, любовью к миру, кротостью и способностью легко переносить все беды жизни, лишь

бы оставаться такими, какие они есть – богопроникновенными. Жизнь этих людей никому не известна, кроме ближайшего кружка, где они живут, но и в этом кружке как-то бывает незаметна, не оценена по достоинству. Это как на лугу среди множества обыкновенных трав где-нибудь таится неведомо откуда занесенный редкий цветок; даже ближайшие былинки не догадываются о нем, но невольно проникаются его ароматом, делаются душистыми. Истинный мудрец не может, даже сам того не замечая, не просвещать среду свою – в меру ее восприимчивости, и роль таких людей в народных массах громадна. Они одни дают истинно жизненное внушение и настоящий образец для подражания. Все мы, как известно, непрерывно гипнотизируем друг друга, внушаем ближним свою личность, заражаем собою. Все мы бессознательно повторяем в себе то, что внушено средою. Если так, то большая разница, внушена ли нам идеальная личность или низкая, подражаем ли мы святому или пошлому. Истинный праведник представляет <собой> как бы гениальное усовершенствование человека среди людей зачаточных. Подобно всякому усовершенствованию, он делает все низшие, промежуточные типы невыгодными, ненужными, и люди слабые, глядя на таких праведников, тотчас узнают, какими бы они, эти люди, должны быть. Внушение живого образа неотразимо, оно влияет без слов и даже без определенной мысли. Одно *созерцание* идеала учит и повелительно направляет жизнь. В нашем народе не переводятся такие праведники. Ими держится, не иссякая, понятие о правде, а правдою только и стоит мир.

VII

Гораздо реже новый героический тип встречается в средних слоях – мещанстве и мелком дворянстве – и сравнительно чаще попадается среди старой аристократии. Ведь только простой народ и старинная аристократия культурны, то есть имеют культ (религиозный, нравственный, политический), имеют стойкие традиции, и только здесь возможны

выработанные, отстоявшиеся типы. Средний, промышленный, разночинный класс представляет самый подвижный, самый сырой материал, оторвавшийся от почвы народной и ни во что определенное не сложившийся. Но и здесь встречаются люди высокой души: тургеневская Лиза, гончаровская Вера, Алеша Карамазов, Татьяна Пушкина – все это удивительные образцы людей из среднего дворянства. Праведность их была бы мудростью, если бы не искажалась умствованиями бесчисленных учений, на которые этот класс, как самый сырой и отзывчивый, особенно падок. В этом классе, по впечатлительности своей особенно жадном, чаще всего встречается душевное обжорство, пресыщение, переутомление и как результат их – упадок духа, скептицизм, пессимизм, отрицание вообще, тогда как в народе и аристократии преобладают воздержанность и инстинкты положительные, инстинкты веры. Тип человека, и физический, и духовный, в средних классах чаще всего испорченный: как в беспрерывно волнуемой жидкости невозможна правильная кристаллизация, так и в кипучем водовороте средних сословий. Поэтому здесь особенно часты люди прекрасные, но с какими-нибудь изъянами, люди половинчатые, раздвоенные в самих себе. И хотя литература наша берет по преимуществу героев из средних классов, но, в сущности, должна бы брать их из аристократии и простого народа, как натуралисты берут по преимуществу законченные виды, а не гибридные формы. Тургеневские герои в большинстве случаев духовные ублюдки, как теперь у Чехова.

Старинная аристократия, *если она независима*, представляет благоприятную среду для развития праведного типа, хотя менее благоприятную, чем народ. Принцип аристократии – неравенство, народа – равенство, что ближе к нравственному идеалу; зато в аристократии более действителен другой принцип – совершенство, тогда как в народе он менее заметен. Он не отсутствует и в народе (среди которого подвижничество в таком уважении); здесь он, может быть, даже более глубок, но более узок.

Лучшие люди крайних слоев, народа и аристократии, сближаются; как родные братья после долгой разлуки, они подают друг другу руки. У нас в литературе тип нового героя из аристократии – Левин в «Анне Карениной». Он гордится, что аристократ, что имеет хоть три поколения предков чистой, порядочной жизни, живших независимо, не торгуя совестью, не унижаясь из-за подачек, – предков, имеющих хорошие нравственные предания. И в то же время Левин говорит: «Что такое народ? Я сам народ». Он восхищается трудовою жизнью простонародья, сам работает с ним, умеет находить и красоту, и силу в этой бедной жизни, и глубокую мудрость у простого «дяди Фоканыча», которого бесхитростная жизнь сразу освещает душевный мир Левина, дает разрешение его томительным думам о жизни. Как противоположные полюсы насыщены различным, но на самом деле одним электричеством и стремятся к соединению, так и мудрость старой аристократии, встречаясь с народною, дает искру союза и слияния в одной и той же правде. Припомните эти замечательные главы (особенно XI–XII) последней части «Анны Карениной», где Левин (после Фауста самый крупный «герой» в литературе) прозревает, наконец, смысл жизни. «Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. “Неужели я нашел разрешение всего, неужели кончены теперь мои страдания?” – думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утомления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на скошенную траву». Вы видите, какой поразительный рефлекс произошел от прикосновения мыслящего аристократа к народной почве. Впервые после падения языческого идеала отдаленный потомок Гамлета и Фауста, наконец, находит то, к чему они стремились с такою ненасытною тоской, к чему стремились так или иначе

все поколения последних трех веков, со времен реформации: скептики, идеалисты, революционеры, романтики, реалисты, нигилисты, пессимисты. Константин Левин по своему общечеловеческому, мировому значению – не только один из великих литературных «героев», но и *последний* из них, вместивший в себя вселенскую жизнь своей эпохи.

VIII

Здесь необходимо сделать оговорку. Литература всех времен, не исключая нашего, есть лишь крайне бледное отражение жизни. Это много, если в лице своих верховных гениев ей удается отметить некоторые отдельные точки той великой кривой, по которой идет развитие человеческого духа*. Если гомеровского Ахилла и все группы героев до Еврипи-

* Из известных мне попыток «вычертить» по этим «точкам» самую «кривую» одною из самых замечательных мне кажется книга Карлейля о героях (On Hero worship. – 1840). Он берет не литературные типы героев, а живых великих людей, начиная, впрочем, с языческого бога Одина. Он рассматривает формы героизма не как миросозерцания, не как нравственные идеалы человека, а как типы человеческого гения. За божеством у него идет герой-пророк, герой-поэт, герой-пастырь, герой-писатель и герой-вождь. При всей увлекательности этой книги трудно согласиться со многими взглядами в ней (например, с тем, что: «Всякому делу должно быть предоставлено отстаивать себя в этом мире мечом, словом – вообще всякими средствами, какими оно располагает или какие оно может заставить служить себе. Пусть оно распространяется путем проповеди, памфлетов, отстаивает себя, бросается в самую отчаянную борьбу и действует клювом, когтями, всем, чем только может… То, что лучше его, оно не может смести прочь; оно может подавить только то, что хуже»). С этой точки зрения Карлейль оправдывает не только исторически, но и нравственно истребление Магометом неверных и войны Наполеона I, которого считает «последним великим человеком». Ясно, что Карлейль признает героизм не *целей* человеческих, а *средств*, с чем – я, по крайней мере, – никак не могу согласиться. Оставаясь последовательным, Карлейль должен был бы признать гибель величайших людей, пророков и мудрецов как доказательство их слабости, а торжество их врагов – как доказательство их внутреннего превосходства. Я, напротив, под героизмом разумею величие целей, а не средств, будучи убежден, что истинно хорошие цели *не могут* прибегать к низким средствам. Поэтому я и рассматриваю здесь героев не профессий, а миросозерцания, для чего пригоднее типы литературные, нежели исторические. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

да принять за первоначальный тип, то это будет тип древней веры; Гамлет и Фауст – промежуточные типы сомнения; Левин – опять тип веры. В первой вершине этой трехтысячелетней волны господствует вера в физическую силу, в героизм борьбы. Затем идет постепенный упадок этой веры, начиная с еврипидовского Ореста и кончая глубоким скептицизмом Фауста. Одновременно растет волна новой веры – в нравственную силу, в героизм добра. Все другие бесчисленные литературные герои так или иначе колеблются в этих основных пределах духа. Нельзя сказать, чтобы древние идеалы вымерли и окончательно возобладал новый; напротив, новый героизм едва только начинает слагаться, и в самом обществе и литературе еще господствуют скептики и эгоисты, Гамлеты и Фаусты, и не редкость встретить даже Ахиллов – если не плотью, то духом. Но крайне важно несомненное появление третьего типа – Левина, в лице которого смысл жизни снова возвращается на землю. Левин еще не настоящий праведник, темперамент у него еще грубый, но в нем открылось уже новое, высшее разумение, с которым можно жить легко и радостно, как Ахилл, но без его печалей. Левин знает, что он далеко не совершенен, но чувствует, что и со своим, и с чужим несовершенством теперь жить можно. «Также буду сердиться на Ивана, кучера, – думал он, – также буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли… также буду не понимать разумом, зачем и молюсь, и буду молиться, но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»

Так оканчивается эта последняя великая поэма о духе человеческом. Левин оставляет нас на пороге новой жизни, едва родившись для нее. Эту новую жизнь расскажет нам через десятки лет какой-нибудь новый великий автор, который будет достаточно насыщен этою новою жизнью. Теперь же пока мы еще не имеем вполне законченного героического типа. Он непременно явится, он уже сложился во тьме, но, как

дальнюю планету накануне ее открытия, – мы его предчувствуем, но не видим. Мы можем указать его место и отношение к прежним великим типам, теоретически вычислить его главные черты, но необходим великий художник, чтобы *увидеть* это существо воочию и показать его другим. По силам ли «молодым» талантам нашим эта пророческая задача?

IX

Легко предвидеть, что новый герой – Левин XX века – прежде всего должен быть человеком, верующим в Бога: верующим не так, как мы веруем – с поминутными колебаниями и сомнениями, – а глубоко, бесповоротно, наивно, ясно, как Ахилл в своих богов. Эта потребность, мне кажется, естественная и в законченных образцах человека – неодолимая. Вера в вечность жизни, признание высшей благой Воли даст не только силу переносить страдания и извлекать из них счастье, она даст духу человеческому божественное могущество и красоту. Нечто подобное чувствуют солдаты в присутствии любимого полководца, в непобедимость которого верят, или избранные ученики великого человека, видящие в нем источник истины, или маленькие дети в присутствии любимой матери. Поразительно легко и радостно вы чувствуете себя в таких условиях: знаете, что есть один, любимый и самый дорогой на свете, могущественный, добрый, которому можно вверить судьбу свою вернее, чем себе, с которым не страшно. Знаешь, что Отец жизни вечно бодрствует над вами, ведет вас к вашему счастью – лишь бы вы не противились в этом Ему – какая радость! Законченный человек XX века – новый герой – не будет в состоянии сопротивляться более этой радости. Кроме этой, психологической нужды в новом человеке окрепнет и философское требование веры, потребность в едином метафизическом принципе, в центральном допущении, без которого все, и физическое, и духовное, бессмысленно. Ведь все вещи мы постигаем не иначе как измеряя их, то есть мысленно или реально прики-

дывая их к единице меры, свойственной роду данной вещи. Таких единиц множество, и все они несоизмеримы, как меры веса, протяжения, объема и т. п. Пока мы живем в сфере разрозненных вещей, этих отдельных мер достаточно, но возмужавшее сознание ими не удовлетворится. Полнота мысли потребует некоей единой Меры для всех вещей и всего мира в совокупности. Покажется необходимым одно вечное начало, в котором каждое явление находило бы себе объяснение. И человечество ощупью в лице мудрецов, разбредшихся разными дорогами, давно отыскивает эту вселенскую Меру вещей и приближается к ней с разных сторон.

Вторая черта нового героя, я думаю, будет нравственная праведность, вытекающая из веры. Верить в Бога – значит уже и любить Его, а любить – значит всем сердцем хотеть быть Ему подобным, исполнять волю Его больше, чем свою. Солдат по своей воле не бросился бы в огонь, на явную смерть, но он видит мановение любимого героя – и идет с восторгом. Весь вопрос в том, чтобы бесповоротно знать, что *есть* Бог, с такою же уверенностью, как в собственном существовании. Если Он есть – нельзя не любить Его, не стремиться к истине Божьей, к красоте Его, к добру. Нельзя мириться с несовершенством своим. Вера в Бога, сколько-нибудь ясная и определенная, есть обнаружение Бога в сознании человека, есть величайшее движущее начало. Она требует повелительно, чтобы человек был богоподобным духом, таким же «совершенным, как Отец небесный».

Совершенство Божие мы представляем себе как безграничное развитие наших ограниченных духовных сил: не материальных, конечно, а духовных. Преимущества материальные, количественные поражали когда-то дикаря, но в нас, современных людях, не вызывают никакого уважения; вы не сможете считать высшим существом человека, втрое или вдесятеро более сильного, чем вы, или более тяжелого. Если бы сошел с Сириуса вольтеровский Микромегас в 35 верст ростом, то он не вселил бы в нас еще ничего, кроме страха. Мы не питаем нравственного почтения ни к горному

хребту, ни к океану, ни к вековому лесу, ни к урагану, количественное величие которых перестало казаться нам, как дикарям некогда, – божественным. Бесконечность пространства, времени, вещества и силы понимаются теперь лишь как простые *признаки* бытия, которые сами по себе мертвы, как буквы, составляющие слово. В количестве, как бы оно ни было безгранично, еще нет святости. Она начинается в качестве, в нравственном достоинстве Бесплотного Существа, в премудрой благости Его. Поэтому ничтожный во всех *количествах* своих (в пространстве, времени, веществе, силе) человек все-таки может быть богоподобным *в качестве*. Мы, безусловно, не в состоянии подражать Богу в величинах Его, но это потому, что величины и не суть божественные свойства: это свойства материи или, точнее, нашей материальности в ней. Величин *на самом деле* нет, как доказывает критическая философия; все количества суть иллюзии нашего ума, первичные его представления, разрушаемые его дальнейшим развитием. Если мысль Канта и древних буддистов станет когда-нибудь общим достоянием и войдет в инстинкт людей, то для них в конце концов должна будет исчезнуть эта «сансара» мира, иллюзорность нашего мышления, и, как буддийские мудрецы, мы во всем будем видеть одну сущность. Тогда, может быть, исчезнет всякое количество, человек не будет различать пространства, времени, причинности, силы: бесконечно теперешнее разнообразие будет представляться чем-то Единым. Исчезнут признаки разделения, образующие теперь материю, останется открытым разуму один дух, один Разум, который и есть сама Сущность. Вот в этом Разуме и заключается то богоподобие человека, в котором дано ему совершенствоваться и приближаться к Отцу. Разум человека – не ум его, не логический прибор, а та сила, которая приводит этот и другие приборы души в действие, разум человека есть постепенное раскрытие в нем мирового Разума, развитие в сознании чувства Блага, то есть безграничной любви ко всему, бесконечного признания всего, примирения во всем, покоя во всем.

X

Таким, мне кажется, должен быть новый герой, образец человека, столь нужный для нашего внутреннего творчества: духом богоподобным, прекрасным, светлым, благородным и *благо-рождающим*, – источником одного блага, как Отец, в котором нет зла.

Что такая высота души возможна, доказывает явление в мире богоподобных людей, о которых я упомянул выше. Если хоть один человек *когда-нибудь* и где-нибудь хоть на один миг достигал совершенства, то возможность этого совершенства навсегда доказана, а стало быть, доказана и грядущая необходимость его. А люди богоподобные, как сказано выше, всегда являлись и теперь есть, и если мы хоть немного христиане, то нам нечего долго искать образца человека. При всей божественности его образа нет более реального, более несомненно бывшего Человека, как Сын Человеческий, которого, читая Евангелие, видишь воочию. Не только учение, но само появление Христа было благою вестью: на бесконечные века доказательством возможности такого совершенства и, стало быть, его необходимости. Да, необходимости, так как хотим мы или не хотим, раз мы увидели свет, мы к нему движемся; если истина Христа до сих пор еще не покорила себе весь мир, то потому только, что ее не видят или видят смутно. И уже в смутных очертаниях красота этой правды неотразима; к ней тянутся все, хотя и непрямыми путями.

Нравственный прогресс, повторяю я, не только возможен, но и неизбежен, потому что он есть своего рода линия *наименьшего сопротивления* в механике. Именно в эту сторону движение человечества всего легче. Человек, безусловно, не может перейти, например, за пределы своего количества, увеличить свое тело, рост и т. п. Здесь сопротивление природы безграничное. Но развить свой ум уже возможно, если не вглубь, то вширь, в смысле знаний. И так как развитие идет вширь, то это – сфера вечных блужданий и кривых путей. Еще более возможно развитие Разума и его высшего поряд-

ка – совести. Тут развитие идет *вглубь*, по одному, но верному пути. Тут каждому открыта легкая (то есть наименее трудная из всех) дорога. Никто не может сделаться великим по произволу ни в одном отношении, кроме нравственного, но зато это величие – важнейшее из всех. Нельзя приобрести ни физической силы, ни красоты, ни ума, ни таланта, если не родился с ними. Но поразительную высоту совести приобрести можно, что доказывается примерами нравственного совершенствования. Величайшее из открытий стоической философии заключается в том, что человек нравственно свободен, что он нравственно всемогущ, что если не он хозяин тела своего, то от него зависит быть повелителем своего духа. Все внешнее, говорили стоики, не в нашей власти, но в нашей – то или иное *отношение* ко всему внешнему. Вы не можете создавать чужую жизнь, но от вас зависит ваша внутренняя. Вас, например, могут обидеть, но от вас зависит – обидеться или нет. Вам могут причинить боль, но от вас зависит почувствовать ее только телом, а не душой, то есть все равно как если бы боль причинена другою, бездушною причиной. Вас могут умертвить, но от вас зависит *отнестись* к смерти благородно и спокойно. «Критон[58], если это воля богов, пусть она совершится, – сказал Сократ. – *Умертвить* меня, конечно, могут Анит и Мелитос*, но *повредить* мне не в их власти». На примере великих праведников вы убеждаетесь, что если никому не удавалось сделаться гигантом телесно, то многие делались ими духовно. И все человечество, вопреки мнению Бокля, не только не стоит на одном и том же нравственном уровне, но *всего быстрее* движется именно в этом направлении. Правда, здесь успехи не так заметны, как в области развития знаний, где они материализуются в вещах, но вглядитесь в нравственную жизнь дикарей и сравните ее с такою же жизнью лучшей части хотя бы нашего народа и аристократии. Разница огромная, несравненно большая, чем между топором неолитической эпохи и современным стальным. «Успехи знаний», которыми мы так гордимся, в сущности, доступны лишь крайне

* Обвинители Сократа. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

редким людям, ученым специалистам, толщи же народные нигде не знают очень много, не знают ни математики, ни бактериологии, ни химии; они пользуются «успехами знаний» так же бессознательно, как непонятными стихиями – воздухом, водой. Не только наш, но даже английский крестьянин не мог бы передать слишком много знаний какому-нибудь негру (грамотность не составляет знания, как и множество ремесленных навыков, которыми не бедны и негры). Но и английский, и наш крестьянин могли бы указать негру тысячу нравственных приобретений, начиная с брошенного людоедства. Что в смысле знаний все народы ушли не так далеко, доказывает то, что негр так же скоро научается управлять паровой машиной или телеграфным аппаратом, как и англичанин; разница развитий, конечно, есть, но не так значительна, как разница нравственных миросозерцаний. Знания усваиваются с громадным трудом даже отдельными, особенно одаренными лицами и усваиваются неполно; тем труднее это для народных масс. Нравственные же приобретения в подходящей среде, где действует *пример*, совершаются легко; они прививаются даже бессознательно, путем подражания. И при всем несовершенстве человеческого рода всего дальше он подвинулся в нравственной культуре, дары которой мы потому не замечаем, что слишком прочно усвоили, тогда как научные знания для нас вещь еще новая, сырая.

XI

Возобладание доброго героического типа многим кажется невероятным. Так как доброе слишком уже естественно, чтобы замечать его, то о жизни судят по тому, что более заметно – по страданиям, какие наносит зло. Обобщая редкие случаи, делают заключение, что жизнь есть сплошное зло, что человечество всегда будет в большинстве состоять не из добрых людей, что это «закон». Почему это закон, я не знаю.

«Потому, – ответите вы, – что борьба за существование требует злобы, что победить нельзя, не нанося зла, а не побе-

див, будешь побежден, погибнешь». – «Но разве существует такая борьба *за существование?*» – позволю я возразить. Про зверей я не говорю; я – не зверь, и явления их жизни не считаю для себя подходящими, хотя и их жизнь нахожу оклеветанною без нужды. (Хищные породы по малочисленности своей составляют *исключение* среди животных не хищных, которые поддерживают существование не борьбою, а трудом, отыскиванием растительной пищи. И так как всякий хищник легко приручается и к растительной пище, то кровавое питание, требующее борьбы, следует считать извращением естественного порядка, уродством его. Самые злые хищники – кошки и собаки – в деревнях питаются хлебом, и даже дикие медведи охотно едят его.) Возможность *существовать* без борьбы, мне кажется, доказана даже для животного мира, тем более это неоспоримо для человеческого. Среди людей, с тех пор как я живу на свете, я вижу множество видов борьбы: борьбу за богатство, значение, почет, за власть, женскую любовь, славу и т. п., но борьбы, собственно, за самое *существование* я не видел. Борются за что-то другое, но не за жизнь! Не спорю, что эта борьба за что-то другое очень вредна жизни, но чтобы она была необходима – я этого не вижу. Если у меня сто десятин земли, а я хочу иметь тысячу, то это будет борьба, вредная для других и вовсе не необходимая для меня. «А если я не имею ни одной десятины и желаю иметь одну?» – спросите вы. «В этом случае, – скажу я, – вам придется *заработать* сто рублей и купить эту десятину». Так обыкновенно делается, и иных способов я не видел, но в чем же тут борьба? Тут с вашей стороны потребуется *труд*, а не борьба, труд может быть невыгодный, тяжелый, изнурительный для вас, но вы подчиняетесь ему, никому со своей стороны не нанося ущерба, а, напротив, принося и себе, и кому-то другому благо. Почему же такой труд есть «борьба» *с вашей стороны*? Со стороны вашего эксплуататора – это, пожалуй, борьба, проявление злобы, но разве она для него необходима? Для существования-то его разве она неизбежна? Я думаю, нет. С его стороны это борьба за преимущества, за

комфорт, значение, власть и т. д. – за что угодно, но только не за существование, так как даже вы – эксплуатируемый, и вы существуете, хотя и бедно, он же борется не за вашу участь, а за какую-то лучшую. Он отнимает от других благо и не возвращает его никому – таково теперешнее положение. Но почему же оно «закон»? Я думаю, это хорошее слово больше подходило бы к тому порядку, когда каждый давал бы благо и получал бы его.

Вы скажете: «Борьба идет не за жизнь, а за счастье жизни – она требует злобы». Но, во-первых, надо доказать, что перечисленные выше преимущества действительно составляют «счастье». Что добыть их трудно иначе как ценой несчастья чьего-нибудь – это несомненно, но дает ли это добывание кому-нибудь радость взамен того – это большой вопрос. Богатство, например, само по себе разве дает счастье? Из всех суеверий это мнение – самое грубое; оно особенно решительно опровергнуто Христом. Тысячи глубоко несчастных богачей, как и тысячи счастливых бедняков, опровергают его ежедневно. Дает счастье достаток, соответствующий очень определенному и всегда узкому кругу потребностей человека; все остальное богатство, за исключением этого необходимого, служит только тщеславию, которое, как всякий порок, ненасытно и служит скорее казнью для своего обладателя, чем источником счастья. Богатство обеспечивает праздность, которая изнуряет сильнее, чем труд, давая удовлетворение всем прихотям человека, едва они появились. Освобождая его от усилий достигать цели, богатство лишает смысла все личные способности и силы человека, делает их ненужными. А между тем радость жизни состоит не в самих целях ее, не в удовлетворениях, а в стремлении к ним, *в процессе* их достижения. Цель достигнута – интерес к ней пропадает, хочется чего-то другого, и пока «хочется» – вы живете, имеете цель и смысл жизни. Этот-то процесс достижения жизненных целей упраздняется богатством, и потому нет несчастнее скучающих миллионеров, которым уже все приелось и ничего не хочется, кроме одного: захотеть чего-нибудь, чего они и не могут.

XII

Миллионер похож на породистую, закормленную лошадь, которую везут в вагоне. В ней сил избыток, ей хорошо было бы самой поскакать по широкой степи, испытать все тревоги и радости дикой лошади; она была бы счастлива задрожать от страха перед стаей диких волков и помчаться от них с быстротою ветра, она была бы счастлива поголодать, потомиться жаждой – чтобы найти, наконец, оазис с травою и ручейком. С какою бы радостью она променяла свои дорогие конюшни и тренированных, вычищенных, как атлас, подруг на дикую волю табуна с его постоянною нуждой и работой! Миллионер чувствует это и устраивает себе иногда искусственную бедность, поселяется где-нибудь в домике лесного сторожа, проводит дни на охоте, но счастье, которым пользуется этот сторож, ему не дается. Дело в том, что сторожу *необходимо* встать рано, вместе с солнцем, нарубить дров, настрелять дичи и пр., все эти его занятия имеют, безусловно, осмысленный интерес – существование. У миллионера же нет и не может быть этой цели, пока у него есть миллион: встанет он рано или нет, настреляет дупелей или нет, он не может быть не сыт, не одет и не спать в тепле. Как бы он ни притворялся, в нем будет таиться смутное чувство *ненужности* своей для самого себя. Это чувство ужасное. Всякое живое существо и человек в течение тысячелетий вырабатывались в условиях, когда каждый чувствовал себя бесконечно нужным для себя, когда нельзя было обойтись без этих рук, ног, головы, всех органов и способностей. Эта зависимость от себя, от своей энергии ежеминутно доказывалась и вселяла веру в себя, то уважение, которое составляет основу нашего «я». У богача это *я* бледнеет до призрака, и ему приходится прибегать иногда к чудовищным способам доказать себе, что он еще живет: пускаться в дикий разгул или спорт, навязывать себе искусственную манию, наркотизировать себя и т. п. И в результате все-таки скука, сплин, тоска перерождения из живого, деятельного организма в

какую-то паразитную форму с атрофированными – за их ненужностью – душевными способностями…

Не дает истинной радости и другой вид «борьбы за существование» – борьба за «почет». Если уж приходится *борьбою* вынуждать этот почет, то он получается невысокого сорта. Как бы ни был ограничен человек, добившийся *такого* почета, он не может не замечать лицемерности его, неискренности, зависти и страха, а подчас и ненависти к нему со стороны «почитателей». Он не может не видеть, что искреннее уважение другие приобретают без всякой борьбы, а единственно добротою сердца и трудов на общее благо, и что только такой «почет» дает какое-нибудь счастье.

Едва ли также применима нынче «борьба» и за *женскую любовь*. Обеспечивает ли борьба это «благо» – ясно, кажется, из Троянской войны. Оцените, насколько умно и выгодно было стоять десять лет под Троей всем греческим царям и героям, забросив домашние дела, оставив жен и детей, жертвовать жизнью тысяч отборных храбрецов – и все это с целью вернуть Елену, которая добровольно ушла туда и успела состариться. При теперешних условиях это безумие было бы и вовсе невозможно. В деле женской любви, если она благо, нужна не борьба, а нечто противоположное. Столь же неприменима «борьба» и в обеспечении высшего условия счастья – здоровья; тут и рассуждать не приходится – достаточно взглянуть на миллионера и его дворника, чтобы увидеть, кто из них здоровее. Спрашивается: для каких же форм счастья необходима «борьба»? Не есть ли употребление этого слова – простая неточность языка, его неряшество?

XIII

Если под «борьбой» за существование разуметь борьбу за счастье, то лучшее средство этой борьбы – не злоба, а доброта. В конце концов выигрывает в этой борьбе не нападающий, а уступающий, не злой, а добрый. Представим себе двух героев, которые решили «бороться за существование»:

один – злобой, другой – добром. Один с этой целью раздражает себя, другой старается привести в доброе, благодушное настроение. И вот уже на этой, первой ступени «борьбы», в приготовлениях к ней первый потерял значительный процент счастья: чем он озлобленнее, тем становится недовольнее, то есть тем менее счастлив. Наоборот, другой «борец» приобрел уже одним намерением быть добрым некоторую прибавку к своему счастью. Доброта ведь есть сама по себе довольство, такое состояние, когда все более или менее кажется хорошим. Озлобленный человек уже издалека пугает людей, начинает казаться злоумышляющим; все настораживаются и озлобляются против него. «Борцу» начинает угрожать опасность, которой до этого не было, и эта опасность – враждебное настроение среды – есть тоже ущерб из его счастья. Напротив, та же самая среда, видя добродушного человека, расположенного к ласке и услугам, – сама к нему начинает чувствовать расположение и готовность быть доброй к нему. Это новая и значительная прибавка к его счастью. Озлобленный, старающийся быть злым возможно больше, бросается, наконец, на «врага». Но ведь и «враг» не дремлет, и так как этот враг – среда, то есть значительное число людей, то чаще всего она сильнее нападающего и дает ему жестокий отпор. Поражение несравненно чаще в этом случае, чем победа, и из счастья злого человека делается крупный вычет, иногда погашающий все прежнее благосостояние без остатка. Напротив, человек в этом периоде борьбы отдается людям с искренней дружбой, не желая ничего отнимать, а стремясь сам отдать им все, что есть у него. Люди охотно берут у него, и если возвращают, может быть, меньше, чем берут, зато чувствуют благодарность и любовь к нему, готовность помочь в минуты материальной крайности. Это уже очень большое приращение счастья. Борьба кончается тем, что озлобленный, разбитый в свалке человек чувствует, что он не прав и перед высшим законом совести, что он внес в жизнь зло, а не добро, что он не увеличил сумму общего счастья, а уменьшил его. А добрый человек и в совести своей получает награду – сознание,

что он был безупречен и увеличил общее благо, а не уменьшил его. Сравните следствие того и другого способа борьбы за счастье. Допустим даже, что первый борец в озлобленном натиске на окружающую среду взял верх, нажил состояние и положение в обществе, тогда как второй обеднел и принизился. Но надо доказать, что достигнутые итоги удовлетворяют первого и не удовлетворяют второго. Может быть, – как и бывает чаще всего, – чем богаче человек становится, тем жаднее, чем беднее – тем равнодушнее к богатству.

XIV

Для богача существует инерция, с которой трудно бороться, как катящемуся вниз кому снега; естественные потребности имеют предел, достигаемый в одну минуту, искусственные – бесконечны. Богач часто лишен возможности удовлетворять свои естественные потребности не потому, что их много, а потому, что их *нет* у него. У него не бывает такого голода, такой жажды, такого утомления, удовлетворить которые составляет счастье. Ни одна из физических потребностей не дает богачу того довольства, которое дается бедняку. Что касается нравственного довольства, то и здесь бедняк по существу своему обставлен лучше богача. Чем выше богач поднимается по общественной лестнице, тем более суживается круг его друзей и вообще людей, которых он считает своею «ровней». Богача окружает густая атмосфера недоброжелательства и общего смутного желания, чтобы он разорился. Крах миллионеров встречается обыкновенно чувством облегчения, злорадства. Люди, стоящие наверху, одиноки, как на вершинах гор, но одиноких мудрецов обожают издалека, а богачей a la Ротшильд[59] кто же искренно уважает, кроме корыстных людей, уважение которых – хуже ненависти.

У Пушкина скупой барон говорит:

Как некий демон
Отселе править миром я могу…

……..
И вольный гений мне поработится,
И добродетель, и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.
Я свистну – и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство
И руку будет мне лизать…

Экая, подумаешь, радость – держать в своей власти «окровавленное злодейство», и вольный гений, и добродетель, и бессонный труд! Какая радость сознавать, как барон, что

…Если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп – я захлебнулся б
В моих подвалах верных…

Разве все это хоть сколько-нибудь похоже на дружбу, на счастье видеть в глазах близких людей искреннее к себе уважение и любовь? Чем выше по трупам врагов взбирается озлобленный борец за существованье, тем мир Божий делается для него пустыннее, тем людей-братьев для него становится все меньше. Напротив, чем ниже опускается человек добрый, тем все более ширится круг *равного* ему человечества, и на границах нищеты он находит сотни миллионов братьев. Простой мужик, куда бы ни пошел, всегда найдет простого мужика, с которым без стеснения, как с равным, вступает в разговор, а если характеры подходят, то и в дружбу. Богачу не из кого выбирать друзей: у него всего-то десяток знакомых, равных ему миллионеров, – бедняк может выбирать из всего почти человечества. И так как он не возбуждает зависти, то дружба к нему бескорыстна. Вы скажете, что нищий возбуждает презрение даже среди нищих. Это неверно. Нищий – пьяница, вор, распутник и т. п. – возбуждает презрение, но нищий вполне трезвый, честный, дельный, работящий, дающий больше, чем

берет, – такой нищий внушает к себе общее уважение, а если заметят, что причина его нищенства – доброта, то его считают праведником, и тут ему уже не приходится выбирать друзей, так как все – друзья. Если огромное большинство теперешних нищих несчастны, то только потому, что они дурные люди, нищие поневоле; они не добрые люди, сознательно спустившиеся вниз, а люди озлобленные, оборвавшиеся в свалке с верхних ступеней, как в известной картине Рошгросса[60]. Злые, ленивые, развратные, подлые, искренно презирающие себя и жгуче завидующие стоящим наверху, они, конечно, не могут быть иными, как только глубоко несчастными. И народ наш, как он ни беден, несчастен в меру не нищеты своей, а в меру низкого нравственного уровня, в меру непонимания, в чем истинное, вечное счастье. Не было бы в народе и нищеты, если бы не было неправедного стремления к преимуществу над ближним, к приобретению излишнего. Если бы существовала борьба за *существование*, только за существование, то не было бы никакой борьбы и никаких бед на земле. Борьба идет за ненужное, и тем она ожесточеннее, чем предмет ее наименее нужен. За нужное же нет борьбы; все нужное дается даром или требует полезных для самой жизни усилий. Всего необходимее воздух, без которого нельзя прожить двух минут, и он дается даром. Вода требует уже некоторых усилий достать ее, она требует *труда*, но не *борьбы*, так как воды на всех хватит, если не вмешается чье-то безумие. Хлеб требует еще большего труда, но и хлеба (в источнике его – природе) хватило бы на всех, так что бороться из-за него нет нужды. То же самое одежда, кров, знание мира, любовь ближних – все это добывается не борьбою; борьба может все это отнять, дать же сама по себе, без чьей-либо мирной работы не в состоянии. Борьба начинается за чертою нужного, там, где оканчивается разум наших отношений к миру и начинается безумие их. Чем менее нужна мне какая-нибудь вещь, тем труднее добыть ее и тем тяжелее бороться за нее. Например, избыток хлеба мне сейчас не нужен, но все же он когда-нибудь мог бы мне пригодиться; и добыть такой избыток еще не так тяжело. Но избыток,

например, домов, лошадей, земли, почета, власти и т. п. добывается все с более и более тяжкими усилиями, сообразно с убывающею степенью нужности этих вещей. Добиться самого нужного – любви – ничего не стоит, тогда как самого ненужного, например славы, стоит самых больших усилий. И что особенно печально: чем больше добиваешься ненужных благ, тем крепче строишь себе преграду к нужным: добытое богатство, положение, слава становятся все более тяжелым грузом на пути к здоровому счастью. Слово о верблюде и игольных ушах сказано не праздно.

XV

Как видите, ходячая мысль, будто жизнь доброго человека гораздо менее обеспечена, чем злого, есть большое заблуждение. Исключения возможны, но правило таково, что злому человеку просуществовать гораздо труднее, чем доброму. Злой не довольствуется малым и посягает на излишнее, он растрачивает в борьбе за ненужное столько силы, что их не хватает на необходимое. Правда, он часто приобретает очень многое, но все это «многое» сверх нужного оказывается излишним, между тем оно требует постоянной затраты сил, чтобы удержать его. В этой тревоге душа недоброго человека перегорает раньше времени, и злые люди не отличаются долголетием. Исторические тираны, даже в тех случаях, когда не гибли от мести врагов, не доживали до глубокой старости. Долголетие – награда добрых по преимуществу. Злоба, так называемый «желчный» темперамент, свирепый, жадный, мстительный нрав указывают прямо на расстройство нервов. Может быть, злоба и вообще есть не душевная, а физическая болезнь, накопление боли, наследственное или благоприобретенное. Во всяком случае это – болезнь нервов, а при больных нервах долго не живут; никакая энергия «борьбы» не обеспечивает продолжительности существования и скорее подрывает ее. С другой стороны, посмотрите на глубоких стариков: чаще всего это люди с замечательно доброю душой. Подвижники, на-

пример, живут очень долго; в народе, среди самого бедного и «необеспеченного» класса вы встретите самые удивительные примеры долголетия. Выходит, что даже при крайней материальной необеспеченности люди добрые сохраняют жизнь гораздо успешнее злых; они не удерживают верха в борьбе за *средства* к жизни, за богатство, почести и т. п., но сама *жизнь* им обеспечена вернее и несомненнее. Вы мне укажете на статистические цифры смертности бедных и богатых: первые умирают в большем числе, чем вторые. Правда, но тут нужно принять в расчет, что бедных и абсолютно больше, нежели богатых; затем не все бедные – добрые и не все богатые – злые. Среди бедняков, опять повторяю, очень много крайне злых людей, ведущих по слепоте своей изнурительную «борьбу за свое существование», переживающих все тревоги и страдания этой борьбы, изнуренных и загубленных этой борьбою точь-в-точь, как какие-нибудь Ротшильды под конец их жизни. Разница только та, что Ротшильдам «повезло», а этим беднякам – нет, но участь их одна – умереть на половине своего жизненного пути. Наоборот, и среди Ротшильдов, особенно унаследовавших свои капиталы, встречаются люди, истинно добрые и мудрые, отказывающиеся от свалки житейской и живущие, не истощая нервов, до глубокой старости. Крайние лишения, непомерный труд, конечно, подрывают жизнь и добрых тружеников, но у истинно добрых не может быть ни крайних лишений, ни чрезмерного труда: то и другое встречается у жадных, которые хотят забрать больше, чем им необходимо, или у слишком развращенных, которым, кроме себя, приходится питать еще и свои пороки. Необходимое всегда можно заработать, не подвергаясь ни крайним лишениям, ни чрезмерному труду при условиях даже самого хищнического капитализма. Это необходимое всякий рабовладелец давал своему рабу, как и теперь мы даем даже домашним животным необходимый корм. Бедняки умирают иногда с голоду, однако не чаще, чем богачи от пресыщения. Умереть с голоду труднее, чем выиграть 200 тысяч, так как случаев такой смерти не бывает даже и трех в год; я, по крайней мере, не видал лично ни одного такого случая, хотя

видывал большую нищету. Еда – слишком энергическая потребность и достаточно легко удовлетворяется, особенно при нынешнем многолюдстве и солидарности. Хлеб насущный, конечно, нужен, но истинно добрый человек сводит этот вопрос до той простоты, при которой он почти исчезает. Хлеб насущный есть именно насущный, то есть три фунта хлеба в день на человека. Согласитесь, что это в тысячу раз достижимее, чем если под «хлебом насущным» разуметь обед в восемь блюд, подаваемых солидными лакеями в перчатках. Я не говорю уже, что в понятие «хлеб насущный» (единственное материальное, что позволил просить Христос у Бога) включают и дома, и земли, и капиталы, и всю привычную роскошь, без которой будто бы жить нельзя. Но три-то фунта хлеба, я думаю, заработать можно и добрыми средствами, не прибегая к тысяче уверток хитреца и к прославленной «борьбе за существование». Можно заработать и гораздо больше – я говорю о минимуме. Не считайте, что три фунта хлеба – какое-нибудь лишение: ими живут и бывают здоровы миллионы людей, и эта пища – как показывает пример подвижников – достаточна, чтобы питать и тело до глубокой старости, и великий дух. Да, нужно верить безоговорочно, что хлеб насущный можно добыть всегда без всякой хитрости, без всяких сделок с совестью, без всякого рабства. Если миллионы людей бедствуют, не имея даже этих трех фунтов, это доказывает их душевный упадок и отсутствие доброты. Значит, среди них чересчур много хитрецов или все они хитрецы, вырывающие кусок изо рта друг друга, вместо того чтобы брать его из единого дозволенного источника – от Отца, от природы. Так что если говорить о *жизни*, то вернее считать, что она обеспечена всегда, при самых крайних условиях, и горе человеческое вовсе не в трудности сохранения жизни, а в неумении пользоваться ею достойно.

XVI

Я знаю, что для множества будет трудно привыкнуть к мысли, что истинно добрый человек есть истинный *герой*.

Обыкновенно думают, что добрый человек – существо пассивное, способное быть орудием какого угодно зла. Это большая ошибка. *Истинно* добрый человек может быть орудием только добра. Истинно добрый человек кроток и уступчив во всем безразличном, касающемся его материального благосостояния, но он обладает неодолимою силою сопротивления собственно злу. Его нельзя заставить сделать дурного дела, как нельзя заставить овцу укусить кого-нибудь. Это противно ее природе, и она, если бы и хотела, не может сделать этого. Истинно добрый человек, если попадет, например, в плен к разбойникам и его станут принуждать мучить людей или убивать их, – этого не сделает не по какому-нибудь нравственному правилу, а просто потому, что не сумеет этого сделать и не сможет. Людей *не совсем добрых* – тех можно заставить делать дурное, и в этом, может быть, величайшее проклятие всякой примеси зла. Капля дегтя отравляет бочку дорогого меда. В этом вечный страх не совсем добрых людей, желающих оставаться благородными: они должны ожидать поминутно, что или злые люди, или злые обстоятельства придут и *заставят* их сделать что-нибудь дурное, что на помощь злым влияниям, осаждающим душу, *в самой душе* есть страсти, способные изменить, ввести неприятеля в крепость за выгоду или ради страха. Это ужасно горько, когда не можешь положиться на себя, знать, что не только люди тебе могут быть враги, но и сам присоединяешься к их числу. Может быть, источник большинства несчастий не совсем чистых людей составляет нравственная неуверенность в себе, отчего в критическую минуту человек теряется и теряет время, выбирая в конце концов дурной, то есть преступный и ошибочный исход. Праведник не колеблется и потому счастлив трояко: он не переживает дурных предчувствий (страданий за будущее), сомнений и колебаний (страданий настоящего) и поздних раскаяний (страданий за прошлое). Он знает: что бы ни случилось, он не может поступать иначе, как раз навсегда им решено, то есть честно, и если это обеспечено, то все остальное есть непредотвратимое и неизбежное, к чему следует относиться с покорностью.

Доброта, которая есть истинная *красота* духа и *правда* его, плохо оценивается в нашем обществе. Добряков чаще всего изображают людьми ограниченными, выставляют в забавном виде. Их уступчивость, всегдашняя готовность предпочесть чужие интересы своим кажется глупостью: она смешивается с оплошностью тупых людей, которые всегда зевают и проигрывают на жизненной арене. Но в этом взгляде на доброту – глубокая ошибка. Этот взгляд подсказывается испорченностью современных людей, которые еще слишком близки к варварским временам и в своей крови и нервах еще насыщены злобой, раздражением тысячевековой смуты прошлого. Но сравните жизнь добрых и жизнь злых, сравните, где больше красоты, одушевления, радости, достоинства, и вы увидите, в какой жизни больше *мудрости*. Доброта не только дает могущественную поддержку рассудку, но она укрепляет его и доводит до особенной тонкости. Гоголь справедливо заметил, что в то время как обыкновенные, злые люди со старостью глупеют, теряют и талант, и разум, люди нравственного закала, наоборот, делаются все проницательнее, так что люди особенно праведные, старцы, пустынники, приобретают как бы ясновидение разума, способность разгадывать и решать самые трудные вопросы жизни. Такую же поддержку истинная доброта оказывает и чувству прекрасного. Истинный художник не может не быть добрым; чтобы заметить в мире самое тайное и важное, он должен с бесконечною любовью вглядываться в мир, с величайшим вниманием и интересом, он должен отдаться весь тому, что создает, а это невозможно для эгоиста. Поэтому те же праведники, шедшие в пустыне, отличались, как известно, очень тонким эстетическим вкусом, они выбирали самые красивые местности и жили в постоянном умилении красотою природы. Добро и мудрость, как видите, неразделимы. В древние времена, когда культура добра выдвигала великих учителей жизни, мудрецом считался истинно добродетельный человек, по-нашему – добряк. Так понимали мудрость и Сократ, и Будда, и Конфуций, и все те, имена которых светят из тьмы времен.

XVII

Вглядитесь хорошенько в злых людей: вы увидите, что они бывают иногда очень умны, но никогда – разумны. Больной ум у них является орудием для очень мелких целей, и окончательные результаты получаются ничтожные. Злу недоступна мудрость – ему свойственна *хитрость*. В то время как злая хитрость гоняется за бесчисленными моментами, стараясь каждый из них обратить в свою пользу, доброта решает основной вопрос жизни, после которого все случайности теряют свою важность. Хитрец из сил бьется в достижении тысячи целей и не успевает достичь одной, единственной, которая составляет жизнь человека: способности ко всему относиться благородно. Поэтому хитрец находится в вечной зависимости: каждый случай его связывает особенностями своими, к которым он должен приспособляться, чтобы овладеть ими. Мудрец же свободен, так как ему не нужно приспособляться ни к чему; у него раз навсегда, сознательно или бессознательно решено, что все внешнее не в его власти, а в его власти только одно – отношение его к этому внешнему, и решено также, что это отношение должно быть неизменно добрым, всегда божественным. Это великое решение освобождает человека от гнета бесчисленных мелких решений с их сомнениями и колебаниями, которые измучивают хитреца, с их беспрерывными ошибками и разочарованиями. Мудрец свободен от всяких разочарований, потому что никаких целей и не достигает, кроме одной, зависящей всецело от него.

Единственное, что ему чувствуется как лишение, – это если он поступил дурно. Поверьте, что бывают такие души с этой, не всякому понятной страстью: быть внутренне чистыми, без пятнышка. Есть же люди, которые не выносят грязных пятен на теле у себя и даже на платье; несомненно, есть и такие, которые заражены нравственной опрятностью и единственно чего боятся – как художник, окончивший картину, – чтобы не запачкать этого, самого дорогого своего достояния. И если человек приучил себя к нравственной чистоте и живет так, как

ему нравится, – разве можно назвать его несчастным? Разве можно назвать его глупее тех хитрецов, которые ежедневно вынуждены делать то, что им совсем не нравится и что вдобавок никому не дает счастья, а только вред?

Поэзия

Non merita di creatore se
non il Dio e il Poeta…*
Tasso[61]

I

Самый приятный подарок, какой XIX век оставит нашему далекому потомству, это *роман* – понимая под романом то, что выражает истинную поэзию нашего столетия. Не пар, не электричество, не великие открытия натуралистов, не философские системы – ничто полезное не будет достойно оценено потомством: оно окажется, конечно, таким же неблагодарным к нам, как и мы к предкам. Кто из нас вспоминает о заслуге того варвара, которому первому удалось извлечь огонь из кремня? А это было открытие, перед которым нынешнее электричество меркнет. Все множество оставшихся от нас полезных знаний сделаются как бы стихийными и будут усвоены нашими потомками столь же равнодушно, как усваиваются вода и воздух. На них не останется даже имени XIX века, так как они будут заменены другими, более совершенными; история, написанная по мертвому теперешнему методу, покажется ложной и скучной. Но что будет неизменно интересовать самое отдаленное потомство – это художественные картины нашей жизни. Подобно тому как мы с волнением смотрим на грубый рисунок европейского дикаря каменного периода, на фигуры скифов на керченских сосудах, люди XXX века будут дорожить каждым остатком теперешней эпохи, дающим о нас живое понятие. И я

* Недостойная творца, если только он не Бог и не поэт… *Тассо*. Освобожденный Иерусалим. – *В. Т.*

думаю, ничего лучше изящной литературы не удовлетворит их любопытства. Истлеют картины, развалятся непрочные нынешние здания и десятки раз заменятся новыми – ни одно искусство не выдержит гнета времени, но останется поэтическая литература, то есть те избранные, великие произведения, которые заслуживают этого названия. Эйфелева башня едва ли продержится лет десять, хороший же роман соперничает в долговечности с египетской пирамидой, и это не только сказки и былины (беллетристика каменного века), – вспомните древние романы Индии, Одиссею или римского Апулея[62]. Бесхитростный «Золотой осел» пережил не только века, но и государства, и даже народы, и в чуждой ему цивилизации он – свой. Изящное слово есть единственный прочный памятник современного человечества, самый слышный голос наш в будущем. Если так, то на писателях-поэтах лежит великое призвание и соразмерно с ним – огромная ответственность. Чтобы быть достоверным свидетелем жизни перед вечностью, нужно не только знать жизнь, но и как-то сверхчувственно *понимать* ее: нужно отчетливо различать добро от зла, красивое от безобразного. Только при этом условии поэзия дает неискривленное изображение своего века. Задача значения бесконечного.

Бесполезно, может быть, пояснять, что в область поэзии я включаю и так называемую изящную прозу и, наоборот, выключаю из поэзии все безмерное количество рифмованных строчек, лишенных художественного содержания и представляющих отдел скорее акустики, чем литературы. Поэзия имеет, как природа, бесчисленные ритмы, иногда неуловимые, как шум леса или пение жаворонка. Излишнее слово всегда ритмично, хотя бы укладывалось в неопределенно длинные строчки. Ритм есть внутренняя гармония, изменчивая до бесконечности.

Сделав эту оговорку, скажу, что я считаю в поэзии главным. Истина – вот первое достоинство поэзии, делающее ее основою писательского призвания. Поэтам, правда, с искони предоставлено право «поэтической вольности» (licentia poetica), то есть право отступать от правды в каких-то особых интересах. Но я уже объяснял, как нужно понимать эту поэтическую «ложь»

(См. кн. «Народные заступники», ст. «Нужна ли правда?»)*. Поэт отступает от правды *мнимой* в пользу действительной, от случайного факта – в интересах идеала. Истинный поэт, созерцающий не призрачную внешность мира, а вечное его существо, воссоздает истинные формы явлений, не совпадающие с реальными, всегда испорченными формами. Это подобно тому, как законы добра не совпадают с человеческими поступками, хотя это не значит, что законы ложны. Посредственные поэты – те много лгут, и лгут постоянно, но это же и отличает их от настоящих поэтов, венчанных гением: со священною природою последних ложь не совместима. Душа их есть высшая совесть, стремящаяся к одной цели – к истине. Красота, которая при этом достигается, есть тайное осуществление этой совести.

Поэзия есть истина потому, что она есть *мера* чувств, равновесие их, соответствующее идеалу вещей. Поэзия есть созерцание красоты, а красота есть именно та мера вещей, о которой говорил древний мудрец. Вы стоите перед Венерой Милосской; холодный мрамор кажется вам божественным, вы видите бесплотную красоту. Ничтожное отступление от этой единой, идеальной формы – и красота исчезла, осталось некоторое приближение к ней, но не она сама. То же самое в архитектурном здании: малейшее отклонение от художественного плана – очарование исчезает, глаз оскорблен. То же в картине, в стихотворении, в жесте актера: чуть потеряна *мера* выражения – пропадает красота. То же в *отношениях* человека к природе, к человеку и к самому себе; эти отношения суть также искусства, и в них все выходящее из меры не прекрасно, неблагородно, будь это сама любовь. Чрезмерная любовь недаром зовется *безумной*, она в самом важном отношении меньше любви, в которой сохранена мера: увеличено ее количество, но уменьшено качество. А в *качестве* явлений – вся поэзия, вся ценность жизни.

Поэтический язык сжат до объема мысли, так что вы его не замечаете, как в античной статуе не замечаете мрамора.

* Нужна ли правда? // *Меньшиков М. О.* Народные заступники и другие нравственно-бытовые очерки. – СПб., 1900. – С. 273–307. – *В. Т.*

Пред вами отвлеченный образ, *видение*, материализованная мысль. В непоэтическом языке, наоборот, язык растянут шире объема мысли и напоминает статуи, еще не отделанные. То, что называют точностью обыкновенной прозы, аналитический прием ее есть часто признак величайшей неточности. Нехудожник, желая быть добросовестным, описывает природу или мысль, *постепенно* переходя от подробности, перечисляя все мельчайшие части в последовательном порядке. Но это именно и есть высшая неправда. На самом деле природа входит в сознание наше не последовательно, а *сразу*, причем только одновременное впечатление всех подробностей и составляет картину, как гармонию – одновременное созвучие. В то время как поэт дает пищу приготовленную, не поэт похож на повара, который те же составные части супа – воду, соль, коренья, перец, мясо – дает вам по очереди, «в строгой последовательности». Только поэтическая вещь имеет общий *вкус*, не похожий ни на одну из составных частей, только в поэтической вещи подробности не заслоняют целого. Поэзия есть высший синтез, творчество из разрозненных частей всегда цельного, всегда единого. Поэты поражают дерзостью своих выражений, но эта дерзость ближе к правде, нежели осторожность технической прозы.

II

Тихо камень плачет,
В пруд роняя слезы…*

* Строчки из стихотворения А. Фета «В дымке-невидимке выплыл месяц вешний» (апрель 1873 г.). Полностью строфа из этого стихотворения:

Истерзался песней
Соловей без розы.
Плачет старый камень,
В пруд роняя слезы.
Уронила косы
Голова невольно.
И тебе не томно?
И тебе не больно? – *В. Т.*

Прозаик на том основании, что камень – мертвое тело, не имеющее слезных желез, заключит, что камень плакать не может, и выразится «точно»: по поверхности камня стекают в пруд капли росы. Он сказал правду, добросовестный прозаик, но не *всю* правду: он не показал, *как* появляются и *как*, дрожа, стекают эти струйки, – и я не вижу картины или вижу ее неверно. Только поэт, выразившись нелепо, приписав камню невозможные свойства, показал мне воочию эти капли, которые камень *роняет*, как тихие слезы. Тут в словах, как будто ложных, раскрыта самая сокровенная правда. Поэтому-то всякий живой язык так метафоричен, так переполнен картинами и фигурами, так бесконечно богат в сравнении с книжной и особенно журнальной речью. Книгопечатание, сделав писание книг доступным каждой посредственности, и внесло великую порчу в живой язык. Даже умные и даровитые люди после долгого чтения посредственных книг начинают говорить печатным жаргоном, нищенскою прозой, похожею на ободранный скелет мысли. Нужно иметь немалую силу духа, чтобы бороться с этим вырождением языка. Борьбу эту ведут гениальные писатели, язык которых только тем и отличается, что он не сочиненный, а живой, народный. Гений не мирится с мертвой отвлеченностью выражения: живая мысль в нем требует живого, цветущего тела, полнота которого достигается организованным разнообразием. Поэтому так называемый «поэтический язык» – не роскошь вовсе, а *органическая* потребность речи. Чтобы извлечь из предмета идею, недостаточно увидеть только этот предмет, но нужно припомнить еще другие, *похожие* на него. Отдельный предмет слишком своеобразен, чтобы подметить род, к которому он принадлежит. Только из сравнения похожих предметов улавливается их общий, то есть постоянный вид, который и есть идея предмета, его разум. Фотографы на одной и той же пластинке снимают членов одной семьи или ряд людей одной расы так, чтобы изображения совпадали. Получающийся собирательный снимок оказывается красивее и выразительнее каждого отдельного портрета, будучи на каждый похожим.

Красота каждой вещи принадлежит не ей самой, а роду вещей, к которому она относится. Прибегая к сравнениям, поэт не украшает предмет, а разыскивает его красоту, выделяет ее из хаоса индивидуальных подробностей. Из близких разновидностей поэт создает на ваших глазах *породу* вещи, ее вечное и потому самое прекрасное выражение. Он делает то, что сама природа на протяжении веков: в ней красивы только породистые, законченные формы, вышедшие из взаимной переработки родственных видов. Индивидуальность составляет *жизнь* вещи, тип (красота) придает ей как бы *бессмертие*.

Поэтический способ речи потому очаровывает более, чем прозаический, что он ближе к правде, соединяя жизнь мысли с ее бессмертием, случайную исключительность ее с вечным правилом. Да, как ни кичатся некоторые прозаики *точностью* своего языка, «определенностью», «положительностью», «серьезностью», как ни пренебрегают они поэзией, но настоящая поэзия всегда более точна, более определенна и серьезна, чем самая строгая проза. Вспомните Пушкина – особенно его элегии, где он не связывал себя рифмами, – возможна ли более *точная* речь? Двумя-тремя штрихами у него очерчен пейзаж, который видишь перед глазами, схвачено движение сердца, которое признаешь своим. Так же точен, правдив и потому богат живой, разговорный язык – особенно некнижных людей (вроде «московских просвирен», у которых Пушкин советовал учиться языку). У простого народа речь пересыпана чудесными поэтическими выражениями, и только они и составляют точность, силу и красоту языка. Если бы выбросить поэтический элемент речи, она лишилась бы не только всех своих красок, но и рисунок ее потерял бы самые выразительные черты.

III

Поэзии недостает нам; без нее наша образованность груба и потому бессильна в высшем своем назначении – облагорожении человека. Мы и чувствуем, и мыслим приблизительно, не улавливая самого тонкого, самого близкого к существу

вещей; нам надо слишком мало прекрасных образцов душевных движений, художественных форм их. Совершеннейшее из своих творений – человека – Господь создал «по своему *подобию*». Нам недостает идеальных подобий для ежедневного жизнестроительства. Подобно тому как пока нет художественных моделей для утвари, она груба и тяжеловесна, так и в области ума и чувств. И здесь нужны образцы для подражания, данные высоким творчеством. Необходимо, чтобы для неба нашего и для земли, для долин и гор, для лесов и озер, для дня и ночи, для каждой радости и печали явился прозорливый дух поэта и научил нас, *как* глядеть, *что* чувствовать при этом, заставил бы *увидеть* в том, на что мы *смотрим*, едва заметное, бесплотное, прекрасное. И природа, и жизнь наша нуждаются в опоэтизировании, в привлечении к ним любви нашей вместо унылого равнодушия. Припомните описания зимы и осени в «Евгении Онегине» – и вы поймете, что я хочу сказать. Поэт является Колумбом, открывающим целые миры прекрасного в том же пейзаже, той же будничной обстановке, где все вам кажется серым и скучным. Истинная образованность есть поэтический взгляд на вещи, умение чувствовать на языке великих поэтов, их образами и идеями, умение относиться к миру благородно. Образованность есть *воспитанность* в школе гениев, миропонимание подражательное, но основанное на подражании высокому. Оригинальность мысли и чувства – свойство гения, да и он собственно нового прибавляет обыкновенно немного. И он начинает с подражания, но в отличие от людей бездарных он не останавливается в подражании, а продолжает идти дальше, вглубь и вширь того же впечатления, отыскивая в нем всегда нечто новое.

Если я говорю, что нам нужно учиться у великих людей, как глядеть на мир, в этом нет ничего унизительного для нас. Давно пора отказаться от иллюзии, будто наше чувство, наша мысль принадлежат всецело нашей личности. Они принадлежат нам потому только, что в этот миг находятся в нас, но они столько же наши, как воздух в наших легких или как материя в нашем теле. Тем же воздухом, тою же материей пользовались

и будут пользоваться бесчисленные существа; та же мысль, что явилась вам, приходила в голову множеству людей, может быть, в менее, а может быть, и гораздо более совершенной ясности. История языка показывает, что мысль в человечестве развивалась не сразу, не как откровение свыше, а как бесконечное накопление крайне мелких приобретений личного опыта, как стихийная работа всей расы в течение долгих веков. Каждое усовершенствование делалось образцовым для подражания, пока даровитые люди, идя чуть-чуть дальше образца, не давали нового, еще большего совершенства.

Беда не в подражании, а в подражании *плохому*, тогда как давно уже есть образцы *хорошего*. Эти образцы или забыты, или недоступны народу, или просто недостаточно оценены. Литература хранит в себе следы лишь ничтожной части гениев, приходивших в мир, но и этих следов было бы достаточно для воспитания общества, если бы оно сумело ими воспользоваться. На современных писателях лежит, как я думаю, долг восстановления постоянно забываемой красоты, святая обязанность открывает сокровища веков, возвращая к ним внимание народное. Бессмертие великих людей должно быть не пустым звуком, как теперь, – бессмертием не *имени*, а произведений, и живые писатели должны быть ревностными проповедниками древних, как это и было в эпоху Возрождения. Для истинного таланта прикосновение к чужому гению – лучшая школа и лучшая радость жизни, и если бы наши молодые поэты глубже, чем теперь, усваивали старых классиков, то больше всех выиграли бы они сами. Образцы поэзии – великие открытия в области чувств, и у нас не будет истинной образованности до тех пор, пока эти открытия не будут усвоены, пока не научимся глядеть на мир так же правдиво и ясно, с таким же умилением, как великие поэты.

IV

Пришествие истинного поэта в мир, может быть, самое значительное событие в народной жизни. Такой поэт, пишет

ли он стихами или прозой, или даже ничего не пишет, есть существо всегда особенное. Роль его – быть органом души своего поколения, его зрением и слухом. Несчастен человек слепорожденный или глухой: он как бы падает на ступень животнорастения, утрачивая приобретения своей породы за десятки тысячелетий. Еда и сон – вся радость несчастного, и разум покидает его. Но выдаются и целые поколения как бы слепые, глухонемые, лишенные поэзии, лишенные поэтов, своих высших органов наслаждения красотою. Низшие органы могут у них действовать; до зрительного и слухового центров могут доходить слабые лучи и звуки, может превосходно быть развито чувство осязания, «заменяющее глаза». У поколения, лишенного поэтов, превосходно развита «проза жизни», практичность, умение все ощупать и осязать и найти даже при помощи палки дорогу. Но что не поддается низшим органам чувств – это цвета и звуки жизни, блеск и гармония. Простые смертные, не приди к ним на помощь поэзия в виде дивного языка народного, в виде религии, в виде песен и легенд, а главное – в виде устного откровения живых поэтов, рассеянных тут и там, – простые смертные не видели бы самого замечательного, что есть в мире, не знали бы самых тонких радостей, какие даны человеку. Только через поэтов (к которым я причисляю и истинных мыслителей) люди видят и слышат мир, через пророков, почерпающих впечатления свои прямо из сердца вечности. Старая нянька, рассказывающая Пушкину свои сказки, и Пушкин, их слушающий, деревенский пастух, засмотревшийся на зарю, армейский поручик, остановившийся перед Мадонной… Все рождены быть поэтами. Душа простых людей есть спящая муза, которую будит муза проснувшаяся, душа поэта. Разверните Пушкина; пока вы его читаете, он точно открывает глаза вам, отдергивает завесу. Поэт дает как бы ключ к разгадке красоты, сообщает открытую им *единственную точку* зрения, с которой все прекрасно. Поэт – изобретатель; иногда с величайшими усилиями, а иногда совсем нечаянно он находит тайну благородного отношения к данной вещи, отношения, при котором она

неожиданно делается вам милой, прелестной, истинной, верной самой себе, нужной для вас и для мира. Поэзия – «язык богов» – есть действительно язык *божественного* отношения к вещам, язык любви к ним. Поэзия есть влюбленность во все. Не любя, не заметишь таинственной, проникающей мир до ничтожной былинки красоты, не услышишь живого трепета Начала, отовсюду к себе влекущего. То, что мы называем красотой, есть не что иное, как наша собственная любовь к данной стороне мира, открывшееся нам и единственно доступное постигновение истины. Не умом вовсе мы открываем истину, а любовью; ум не более как министр, контрастигнирующий волю своего государя. Только любовь – очарование перед Богом в его творении – дает смысл всему, и любящему, и любимому. Проза, если она совсем беспоэтична, есть смерть мысли. На прозе жизнь замирает, и каждый раз во всякой области – в науке, искусстве, литературе, обыденной жизни и простом труде – необходим поэтический порыв, чтобы согреть и оживить труп мысли.

V

Поэтому-то великие люди – всегда поэты, будь они изобретатели, ученые, мыслители, герои. То, что дают душе их пламенные крылья, есть не проза! Неудержимо влечь к великой цели может только красота, только любовь. Поэт – духовидец: перед ним раскрыты все дали мира, безграничные горизонты, неизреченные предчувствия и очарования. Он видит и слышит, присутствуя как бы в сердце Божием, совершающееся чудо жизни в ее таинственных глубинах. Вы скажете: всякий человек рожден сыном Божиим, каждый немножко поэт. Да, но большинство людей уж слишком «немножко» поэты, и в цветущем теле их покоится совсем сонная душа. Слишком много в нашей жизни прозы и ее мрачного очарования – злобы! Принесенная херувимом душа ребенка, столь похожего на херувима, быстро забывает «звуки небес», отцветает – и какая, часто зловонная, трясина погребает светлое существо, созданное для

рая! Поэт один не забывает «тихой песни» ангела и передает отрывки ее людям. Поэт служит великим напоминанием своему обществу о том, чем мог бы быть каждый смертный, чем он должен бы быть. Напоминание было бы бесполезно, если бы мы были безусловно несвободны, подобно существам законченным, как дерево или животное, которых эволюция длится в веках. Но человек – существо всегда растущее, в мере свободы духа, и поэт является возбудителем этого роста, оросителем вянущих наших чувств. Те тонкие, благоуханные впечатления, какие веют каким-то чудом от черных строчек на бумаге, не думайте, что они мимолетны. Они, особенно в юношеском возрасте, может быть, самые важные события нашей жизни. Постоянные в душе нашей, они незаметно привьются, расцветут и заблагоухают в нашей собственной мысли, в наших поступках. Душа наша внушена нам: каково внушение мира, такова и душа. Счастлив тот, кто и наследственно, и лично подвергался благим внушениям, в чье сердце лилась поэзия. Поэты – от имени природы – внушают нам лучшее, что есть в природе. Вы видите, что поэт не роскошь, не излишество среди людей, а необходимый орган, и выполняет он самое важное впечатление. Недаром с такою жадностью прислушивается к речи поэта всякое живое сердце, особенно молодое, распускающееся. Юноша чувствует, что в хаос его души, «безвидной и пустой», вторгается творческий луч и вносит стройное одушевление. Мысль поэта, как огонь, заставляет проступать скрытые наши собственные влечения, как нарисованные волшебными чернилами, из невидимых нам они вдруг делаются яркими. Слово поэта освещает неожиданные для нас самих сокровища, мы волнуемся и оживаем до слез, до творческого вдохновения. В то время как общение с прозаиками, людьми бездушными и тупыми, прививает вам грубое, механическое и потому *неблагородное* отношение к природе, один поэт ставит нас на достойное человека место в природе. Приоткрывая прекрасную тайну сущего, внушая непобедимое к ней стремление, поэт превращает мир из скучной фабрики и даже тюрьмы в храм Вечности, а жизнь человека – в гимн ей.

VI

Древний варвар смотрел на природу – горы, моря, леса, планеты – как на нечто живое, такое же, как он сам. Чувствуя в себе жизнь, он не предполагал, что жизнь в нем и оканчивается. Он продолжал ее на весь мир. Не метафорически, как теперь, а буквально человек верил тогда, что леса, реки, горы, ветер, солнце, звезды суть живые, сознательные существа, как он сам. И мне кажется, что в этом взгляде на мир было больше правды, чем в теперешнем, когда все, кроме нас, людей, считается неодушевленным. Дикарь ошибался лишь в том, что уподоблял себе мир даже во внешних чертах, но он прав был в сознании внутреннего своего родства с природой и бесконечности жизни. Ощущая в себе ту же жизнь, которую он видел во всем, он чувствовал себя, как природа, вечным и не знал смерти. Какую незыблемость душе давала эта вера в жизнь!

Мы, современные люди, в этом коренном отношении более дикари, чем наши предки: усвоив внешнюю правду отличия нашей жизни от мировой, мы за нею не видим внутренней правды сходства этих жизней, их единства. Оттого нам скучно в природе, что все «неодушевленное» в ней для нас кажется бесконечно низшим нас. Однако этого «бесконечно низшего» мы решительно *не понимаем*, то есть не можем привести в необходимость разума ни материи, ни силы, ни движения, ни способа, каким мы познаем все это. Что такое атом, эфир, притяжение и пр.? Мы этого, *безусловно*, не понимаем. Но если эти явления *ниже* нас, нашего духа, то почему же мы их не можем постичь? Высшее ведь включает закон низшего. Эта безусловная непостижимость мира наводит на мысль: не делаем ли мы ошибку, ставя свое сознание выше мира и лишая его самостоятельной души? Подобно тому как пришлось оставить заблуждение, что все звезды вращаются вокруг земли, не придется ли когда-нибудь воочию убедиться, что и дух человеческий стоит не в центре мира, а есть лишь один из лучей великого сознания, управляющего вселенной, одна из

бесчисленных волн, толчок которым дается этим центральным солнцем? Не потому ли мы не постигаем природы, что она *выше* нас? Не ниже, а *выше*? Что она в целом *одушевленнее* нас? Что *ее* закон включает наш, а не наоборот?

Вспомните микроскопичность и мгновенную эфемерность человека в природе, его безусловную подчиненность ее законам. Не рассуждениями, а каким-то особым чутьем в лучшие свои минуты вы чувствуете присутствие великой души, нас видящей, понимающей, и не слепо, не механически, а с какими-то ясными соображениями направляющей нас так, как мы идем. Мы не бессмыслица – со всеми слабостями и добродетелями, с рассудком и безумием, мы нужны для чего-то высшего, в природе сущего. При этом – вы скажете – наивном, но, как мне кажется, самом достоверном порыве сознания для скучающего скептика вновь восходят красота в мире и потерянная радость, рождается поэзия.

VII

Не одни искусства – вся природа напоена поэзией, и только она дает всему, что есть на свете, бесконечную привлекательность. Поэзия таинственно связана с нашей жизнью, со священным ее началом. Непостижимо, почему из всех бесчисленных возможных форм лишь некоторые *возбуждают жизнь души*, волнуют ее и трогают. Сознание начинает жить, только прикасаясь к какой-то вечной идее, уловленной во внешней красоте. Начинает жить, то есть само оно на это мгновение сливается с этой вечной идеей. Вспомните эту неизъяснимую радость при созерцании прекрасного, это тихое блаженство удовлетворения. Ощущение идеала, вечной формы бытия есть лучшее наше счастье.

Если так, то не живем ли мы в момент художественного наслаждения именно той вечной жизнью, которая, как говорят, начинается за гробом? Освобождаясь от обманов, в которые вовлекает душу наша плотская ограниченность, необходимость считать *себя* мерилом вещей – что ведет к не-

пониманию их объективной сущности, – не прикоснемся ли мы за гробом уже не на мгновение, а навсегда к тому вечному миру, который *здесь*, до гроба, проступает изредка в красоте природы, в благородстве живых душ, во вдохновении поэта? Вся сущность очарования не в том ли, что мы как бы умираем плотью в момент счастья, на мгновение входим в иную, безграничную жизнь из всегдашней ограниченной?

Стесненный отовсюду мирок нашего тела трепещет маленькими процессами своими, химическими, физическими, обыкновенно не замечая вечной стихии, в которой плавает: только творясь и разрушаясь, он чувствует эту вечную стихию, ее страстный трепет в себе, который и есть наше блаженство. Ощущая красоту, величие, радость, мы познаем на мгновение, как сам мир себя ощущает, живем не личною, а мировою частью нашего сознания. Это сознание быстро погасает в нас, потому что мы индивидуалисты, мы ближе к себе, чем мир к нам, мы заслоняем себе своим *я* вселенную, погружаясь, как слизняк в свою раковину, в оцепенение личности. Но мир нас вечно будит, и мы просыпаемся снова вне своей личности – в красоте, вдохновении, молитве. Для каких-то целей мира нужно, чтобы вечное сознание Его померкло в индивидуальностях, ограничивалось до *я*, может быть, для более яркого разгара, более стремительного движения к Нему…

VIII

Мировая сущность открывается человеку не одним, а бесчисленными способами, в самых разнообразных видах отвлеченного сознания, совести, чувства красоты. Не будучи в состоянии вместить в себя великое Целое, мы ежеминутно прикасаемся к нему теми или иными сторонами души. Но только незагрязненные стороны души способны, как зеркало, отразить в себе частички Вечности. «Чистота сердца» – необходимое условие, чтобы «видеть Бога», – есть свежесть души, инстинктивное доверие ее к Вечности, способность принимать

мир таким, как он есть. Для этого нужна наивность ребенка или поэта. Люди взрослые, «трезвые прозаики» лишены этого чудесного дара. Для всякого впечатления мира у них есть предвзятое чувство; как горький вкус во рту, это чувство искажает истинные качества всего, что льется им в душу. Душа поэта, как зеркало, сколько бы ни отражала в себе картин мира, всегда способна отразить и новые картины с тою же яркостью; душа прозаика – как фотографическая пластинка: картины мира, ложась одна на другую, еще в детстве истощают ее восприимчивость. В этой бедной душе мир фиксирован, неподвижен, ее почти ничто уже не волнует, не трогает. В то время как ребенок полон восторга, увидав пеструю бабочку, или поэт умилится до слез этою радостью ребенка, прозаик окинет их обоих равнодушным взором и лениво зевнет. И ребенок, и поэт могут расплакаться «по пустякам», то есть у них есть и страдания, от которых избавлен прозаик, но скажите: чья жизнь богаче, одухотвореннее, блаженнее?

Поэтическая чистота души есть просто неистощенность ее, тогда как проза – как бы она ни гордилась своею трезвостью – есть, в сущности, банкротство духа, потеря способности «занимать» у мира его сокровища. Мир неисчерпаем, и если мы ничего не умеем извлечь из него – виноват не он. Он вечен, неизменен, нам же дан ограниченный запас жизни, который следует беречь. Как дорогое масло светильника, свою душу можно сжечь быстро, ярким, но ненужным светом, или без света пролить на землю в житейской свалке, или осветить ею весь долгий путь свой на земле. Как часто мы похожи на светильники, померкшие в самый нужный, самый прекрасный час!

Поэзия есть истинная жизнь души, тогда как все остальное – ее умирание. Поэзия есть мера счастья, мера любви, присутствующей в человеке. Попробуйте застать себя в момент счастья, вы увидите, что оно – поэзия. Без этого гения любви все отвратительно, все не нужно. Человеку, лишенному поэтического чувства, не милы ни утренние зори, ни сиянье солнца, ни ночное богослужение звезд; он глядит на них равнодушно, как на жену-красавицу или детей, этих милых

херувимов, делающих землю раем. Такой человек бежит от них в душные залы своего клуба, в общество таких же глухонемых. Все для них постыло, и от самоубийства их спасает только какая-нибудь порочная страсть – карты, вино, разврат – жалкое извращение поэзии и любви.

Могут сказать: поэзия, открывая высшую радость жизни, обнаруживает и самую острую ее печаль: только поэту доступна трагическая сторона существования, злая ирония богов над судьбой человека. Не вносит ли поэзия вместе с цветами и скрытых в них змей? Я думаю, нет. Истинной поэзии не свойственно отравлять счастье. Напротив, как химия получает из зловонной нефти самые чу́дные духи, поэт из печалей жизни извлекает самые нежные очарования. Мучительная сторона страдания чужда поэзии: она всегда смягчается в элегию, в меланхолическую скорбь, благородство которой так прекрасно, что искупляет боль, которою куплено. Греческие трагики, нагромождая ужасы, смягчали их философскою покорностью Року. Поэзии чужды крайности; если посредственные поэты изображают безумное отчаяние, безумную радость, безумную ненависть или любовь, они влагают свое собственное безумие в то, что по природе своей есть разум и полно меры. Истинная поэзия, конечно, есть разум, хотя и невыразимый мыслью; подобно музыке – которая есть поэзия в звуках, – она закономерна. «Бешеное» счастье, как и иступленное горе, одинаково безобразны: их напряжение материально, а поэзия есть дух.

IX

Поэзия *освобождает*. Ограниченные в своей личности, отгороженные от мира иллюзиями нашего *я*, мы в нем задыхаемся: что такое скучная проза наших будней, как не тюремное заключение? Но подошла минута, открылась какая-нибудь красота – и в тюрьме точно распахнулись ставни, и хлынули солнце и воздух. Красота освобождает душу, она сама – свобода. Самое тяжкое рабство, в котором томится

человек, – его несовершенство. Приближаясь к красоте, он приближается к явлениям самым лучшим, самым милым его душе, то есть наиболее совпадающим с его волей. Какое бы горе ни оковало вас – потеря самого дорогого, что есть на свете, – выйдите на берег моря, в горы, в поле, под голубое небо – и вам станет легче. Поглядите в милые детские глазки, послушайте наивные речи добрых людей – и вам станет легче. В душе своей разбудите благородные мысли, вспомните кроткий голос философов, учивших побеждать страдания, и вам станет легче. Поэзия, неотделимая от мудрости, и сама мудрость имеет бесчисленные средства освобождать: перенося нас в вечность, она делает нас божественными.

Поэзия есть высшее примирение. Разум требует признать, что мир как целое прекрасен. Высшая безусловность, он включает в своей вечности высшее совершенство, которое, открываясь сознанию, вызывает к себе любовь. Если мир не кажется таким, причина этому не он, а неспособность наша вместить эту красоту, неправильное отношение наше к миру. Есть только одна точка в пространстве, с которой лучше всего любоваться художественным произведением, с которой сразу как бы раскрывается тайна красоты, отдельные очарования его сливаются в аккорд. И мир, который есть *художественное произведение*, требует для наслаждения им не какой угодно, а определенной точки зрения на него. Как в стереоскопе необходимо найти для каждого зрителя определенный фокус, при котором смутные пятна вдруг сдвигаются в выпуклую, осмысленную картину, так и при взгляде на мир: из всех мироотношений только *одному* открыта *вся* красота и весь смысл мира, и это мироотношение – поэтическое. Все иные миросознания будут разных степеней приближения к этому единому истинному и потому разной полноты счастья. Сколько красоты в миросознании человека, столько и счастья в нем. Рождаясь не по своей воле, мы получаем не самую лучшую точку зрения на мир, а какую придется, и потому-то для большинства мир кажется обыкновенным, прозаическим, скучным.

Только поэт, только гений получает дар от рождения стоять в самой вершине мира и наслаждаться всею полнотою его совершенства. Талантливые люди более или менее удалены от этой вершины, бездарные же, по природе души своей, находятся у его подножия. Как насекомым на поверхности земной, им доступны лишь микроскопические горизонты, всегда разрозненные и потому не интересные частички великого целого. По этой причине их жизнь безрадостна, и мир кажется сплошной прозой. Поэтический взгляд на жизнь бывает у этих людей в раннем детстве (хотя я не думаю, чтобы *все* дети извлекали из мира одинаковую полноту счастья: «все впечатления бытия» пьют жадной грудью только великие дети). Пока душа ребенка не поражена заботами, жизненною суетой и собственными страстями, она ближе к вечности, к созерцанию ее нетленной красоты. В зрелом возрасте золото поэзии разменивается на менее благородную мелочь, и только благочестивая старость собирает его снова – в безмятежной мудрости.

X

Сделать жизнь поэтической – значит сделать ее блаженной. Недостаточно быть молодым, здоровым, сильным, богатым, умным, чтобы хоть сколько-нибудь радоваться жизни. Как часто видишь, что все эти блага есть, а счастья нет, и до такой степени, что люди готовы убить себя, чтобы избавиться от скуки. С другой стороны, бедняки, старики, даже больные чувствуют себя иногда недурно – от них услышишь беспечный смех или песню. Ясно, что и молодость, и красота, и здоровье, и прочие «блага» – не более как элементы счастья, сырой материал его, и как куча глины еще не составляет статуи, так и все блага жизни не составляют счастья. Необходим какой-то гений, чтобы вдохнуть в материал счастья жизнь, расположить элементы в гармоническом, организованном порядке, придать им вид художественный. Этот гений для человека – как я уже говорил не раз – есть культура: многовековой уклад жизни, изящное миросозерцание, изящно сложившееся родное обще-

ство, распределяющее начала счастья каждого в определенную систему. Всякая культура, как бы ни была она бедна, если она прочно установилась, есть художественное произведение, и люди такой культуры, сколько бы ни переживали бедствий (с нашей точки зрения), – люди счастливые… Укрепить в жизни поэзию может только долговременная культура расы, только удачно сложившееся «тихое и безмятежное житие», трудовая жизнь среди природы, вне развращающих соблазнов городской цивилизации. Вдали от грохота той ожесточенной, непрерывной войны, которая зовется «борьбой за существование», вдали от сумасшедшего соперничества с его истощающими душу пороками, среди мирных полей и лесов в течение веков вырабатываются породы людей, физически и душевно здоровых, красивых, сильных, простых, свежих, полных радости жизни, глядящих на мир, как дети и поэты. Здоровая культура – без всяких хлопот – ставит каждого отдельного человека в правильное отношение к миру, на ту магическую точку зрения, с которой все прекрасно. Тут все поэты, все влюблены в мир. В иной культуре, в стенах городов надо родиться гением, чтобы преодолеть все преграды, отделяющие вас от мира, здесь же, в деревне, мир открыт каждой вновь открывающейся паре глаз. Сказано: «Чистые сердцем увидят Бога», «Открыл младенцам то, что утаил от премудрых». Истина этих слов в том, что не всякое отношение к миру открывает Бога, высшую радость, какую мир может дать, а только единственное, строго определенное. «Чистота сердца» – вот что требуется, но это требуется безусловно. Материальные лишения (не влекущие к краю гибели) играют роль не диссонанса, а только паузы в музыке жизни и паузы, часто необходимой. Если же они звучат, то, как низкие тоны, – не нарушая, а усиливая гармонию счастья. Лишения не чрезмерные суть блага, они такие же основы счастья, как и здоровье, красота и ум. Как картина немыслима без теней, поэзия жизни – без лишений. Но тени должны гармонировать со светлыми сторонами, иначе они – простые пятна, портящие картину. Гений культуры в том и состоит, чтобы расположить естественные лишения и естественные блага в целе-

сообразном, жизнеполезном порядке. И как ни была культура низка, она всегда придает жизни картинность, колоритность, поэзию, счастье. Ужаснее всего состояния, когда нет культуры, когда временно нарушен многовековой строй жизни, а новый еще не успел сложиться. Изящество жизни расстраивается; как на плохо натянутой картине, очертания перекашиваются, делаются уродливыми. Каждый человек чувствует, что гармонические отношения его к обществу нарушены, исчезают поэзия жизни, интерес к ней. Человек еще держится на свете – своими личными привязанностями, но изменят они – и скука, как темная ночь, окутывает душу одинокого.

XI

Поэзия занимает в жизни такое же место, какое душа в теле. Как бы ни было здорово и красиво тело, но без души оно труп, обреченный тлению. Непоэтическое существование – холодное и мертвое, чуждое душе тлеет в ней и разлагается на психические миазмы – скуку и отвращение. Только жизнь интересна, и только поэзия есть жизнь. Ведь только она – правда, она – искренность, она – истинное знание, она – красота и разум; только ее можно любить. Все мы должны стараться, чтобы наша жизнь была сплошным увлекательным романом, полным благородного героизма, глубокой мысли и свежести чувств. К сожалению, современные люди (не в пример древним) – плохие авторы своего жизненного романа. Как и те авторы, что пишут книги, все мы иногда недурные *художники*, но плохие *поэты*. Если человек только художник, он в состоянии изобразить лишь внешность предметов; как волшебник, владеющий *мертвою* водой, он в состоянии лишь собрать разбросанные члены мертвеца, и требуется высшее волшебство – вода *живая*, чтобы вспрыснутый ею труп зашевелился и ожил. Современные люди – кроме очень немногих – не владеют этою магическою тайной; они хорошие техники, они умеют тщательно копировать, но оживить свое сознание, одухотворить его не умеют. Для этого нужна великая искрен-

ность поколения полуварваров, детей сурового, долго отдыхавшего века, дух которого не истрачивался в сомнениях, а собирался в вере. Поэзия включает в себя художественность, как целое – часть свою. Истинный поэт легко усваивает безусловно необходимую низшую школу искусства – художественную технику и затем уже совершенствуется в высшей школе – вдохновении, которому нельзя научиться ни у кого, кроме самого себя. Художественность подражательна, поэзия самобытна: в ней одной творческое начало гения. Художественность автоматична: мастер, овладевший орудием своего искусства – кистью, резцом, словом, – действует ими механически, воспроизводя натуру: работают при этом первичные, мимические свойства духа – ощущения и представления. Поэт же всегда работает только сознательно, он ждет *вдохновения*, которое есть не что иное, как высшее сознание. Этим объясняется то на вид странное явление, что хорошими *художниками* могут быть люди слабоумные и идиоты. Они рисуют, играют на рояле, слагают стихи. Высшего сознания не нужно, чтобы подражать. Но *поэтами* они быть не могут: тут требуется не только некоторый ум, но высшая его степень – гений, способность напряженного сознания.

XII

Я настаиваю на строгом различении этих двух стихий как в искусстве, так и в жизни – художественной (подражательной) и поэтической (творческой) – ввиду постоянного домогательства низшей стихии занять место высшей. Так как подражание бесконечно легче творчества, оно расцвело и упрочилось повсеместно – не без явного ущерба последнему – так на лугу изобилие злаков глушит цветоносные растения. Подражание чересчур уж считается правилом, а творчество – исключением, до того исключением, что им привыкают пренебрегать, как почти несуществующею и потому как бы ненужною вещью. Подражание, сделавшись основою точной науки, принесло неизмеримые материальные выгоды

человечеству, которые подкупили в пользу этого метода все современное миросозерцание. Начинают серьезно думать, что гений – простое терпение, а иные идут дальше, утверждая, что то, что считалось прежде гением, есть душевное расстройство, что здоровье духа есть заурядная его посредственность. Сам собою напрашивается вывод, что вне подражания, доступного этой посредственности, ничего нет и быть не может. Но это очень жалкая неправда. Гений не есть терпение, хотя и отличается им, гений не есть сумасшествие, хотя *иногда* и близок к нему (как здоровый человек не есть мертвый потому только, что он иногда близок к смерти). Подражание оказывает огромные услуги гению, но чисто служебные: *весь* прогресс, безусловно весь, есть дело творчества, а не подражания. Ремесленники, художники и в жизни, и в искусстве только *повторяют* созданное, но создавать впервые что бы то ни было могут только поэты. Чрезмерное увлечение подражанием останавливает творчество, особенно у людей с небольшим запасом его. Понижение же творчества в обществе есть понижение самой жизни. Мне кажется, что современный всесветный упадок талантов, засорение науки, вырождение искусства происходят, может быть, именно от развившегося культа подражания в ущерб прежнему культу творчества. Великие таланты последних двух веков своею славою гнетут современные дарования: поучая их своим идеям, они как бы приковывают к ним. Блеск их гения гипнотически притягивает к себе все внимание молодых авторов, и они часто не в силах освободиться от внушенных образов и идей. Им начинает казаться, что великие предшественники «все сказали», исчерпали мир до дна. Из этого духовного рабства современным людям пора возвращаться к свободе, к уважению собственного духа и к уверенности, что *только в нем*, как бы он ни был скромен, можно найти немножко жизни. Все уже созданное, уже добытое должно быть только средством, цель же у каждого должна быть своя, и никакою иною ее заменить нельзя. Только в поэзии жизнь постигает цели свои, свой разум – и вот почему это язык богов.

РАЗДЕЛ IV

ЖУРНАЛИСТИКА, КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРА, О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

О ПИСАТЕЛЬСТВЕ
(статьи из книги)

О литературе и писателях

I

«Литература есть громкое мышление парода», – говорит Колар[1]. Это определение прекрасно, но выражает собою печальную правду. Современная литература – не громкая мысль, не окончательный результат сознания, а именно мышление, то есть сырой процесс мысли, со всем шумом и мусором всякого процесса работы. Огромное большинство мыслей попадает в печать еще в сыром и грубом виде, вместе с их обломками и опилками; мысль вполне обработанная теряется среди неудачных и недоконченных мыслей. Ошибочно также думать, что литература есть работа только лучших умов страны, что в ней, как в священной скинии, хранятся только высокие заветы мысли, собранные веками. Этот взгляд возвышен, но не верен. «Литература есть громкое мышление

народа»: всего народа, а не лучшей только его части. Может быть, и было время, когда письменность была доступна лишь аристократии духа: на камень и пергамент заносились лишь боговдохновенные речи, откровения пророков, законы вождей. Но эти времена давно прошли. Изобретение бумаги, книгопечатание, появление журналистики, паровой скоропечатный станок, выбрасывающий по сто тысяч экземпляров в час, развитие народного образования, общее развитие демократии – все это растворяло шире и шире двери литературы, пока в наше время они не раскрылись настежь: в литературу хлынул народ, хаос мышления которого не перестал быть хаосом, сделавшись «громким».

Да, громкий хаос – вот что в сущности представляет собою нынешняя литература, если брать ее во всем огромном и многообразном ее объеме.

На это могут возразить, что хаос, быть может, и есть настоящее определение жизни. Бесконечное дробление идей и форм, беспрерывная борьба их, быть может, это и есть настоящая жизнь. Неподвижные, вечные идеи – это нечто высшее жизни и с точки зрения мгновенных существований – как бы безжизненное. Сводя бесчисленные мелочи к общему итогу, к общим идеям-формам, синтез уничтожает отдельный смысл мелочей и лишает их самостоятельной жизни. Поэтому так называемая «классическая» литература, дающая вечные типы, вне времени и места, менее жизненна: она неподвижна, как закон, обща, объективна, почти бесстрастна. Она не улавливает мельчайших биений отдельных клеточек общества, их колебаний и отклонений от вечных норм, а в этих отклонениях, может быть, вся драма жизни. С этой точки зрения нынешняя литература, спустившаяся с высот Парнаса и смешавшаяся с толпою, сделалась более близкой толпе, более родной ей, более человеческой. Это правда, но, делаясь более человеческой, литература утратила как бы божественные свойства. Из нее исчезло творчество, она перестала покорять и вдохновлять сердца, разучилась «языку богов» и измельчала до жалкого уличного листка. Приобрев «жизненность»,

литература потеряла свое бессмертие; питаясь случаями, она беспрерывно вместе с ними умирает; не может умереть слово, воплощающее лишь вечные явления: оно живет с ними. И только такое слово могло бы иметь власть над жизнью как верховный ее закон. Приблизясь к толпе и слившись со случайною, беззаконною ее жизнью, современная литература утратила власть над людьми.

II

Да, литература с каждым днем теряет свое прежнее правящее значение, ее облагораживающая сила падает, из хозяина литература делается слугою и даже, как это ни позорно, часто лакеем публики. Не говорите о чрезвычайном развитии журналистики в культурных странах – это-то и есть конец собственно литературе. Журналистика в ее последнем пределе есть репортерство: фотографический снимок жизни, то есть всего хаоса мнений, потребностей и настроений данной минуты. Воспроизвести события, важные и неважные, со всеми подробностями и разобрать их со всех точек – вот задача журналистики. Но важное, как все великое, встречается редко, и журналистика невольно вращается в вихре незначительных, ничтожных мелочей, развевающих внимание читателя и растворяющих его мысль. Всякое внимание требует накопления, чтобы превратиться в мысль, всякая мысль требует сосредоточения, чтобы превратиться в веру, и только в форме веры мысль имеет власть над волей. В противоположность древней литературе, собиравшей мысль общества и укреплявшей ее, современная журналистика рассеивает и обессиливает ее.

Журналистика втягивает толпу в литературу и качество мнений заменяет количеством их; в толпе же как был хаос мысли, так и остается. Литература слилась с журналистикой, сделалась в тысячу раз доступнее, чем прежде; она вошла в ежедневную потребность, как табак, как музыка. Мы нынче читаем почти столь же машинально, как курим или пьем

чай: потребность удовлетворена, нервы приятно раздражены; если книга плоха – мы бросаем ее, как дурную сигару, и берем другую, читаем для того, чтобы сейчас же отвлечься к делам и забыть прочитанное, чтобы вечером снова, ложась в постель, принять дозу чтения. Какого? «Интересного», щекочущего нервы. Тысячи «интеллигентных» людей постоянно «курят», так сказать, книги, оставаясь в то же время удивительно необразованными, грубыми, черствыми и узкими, то есть такими, каковы чаще всего и авторы этих книг. Не будучи выше публики, толпа писателей не может и влиять на толпу читателей сколько-нибудь благотворно, чаще же влияет дурно, как дурное общество. Давно подмечено развращающее влияние некоторых авторов. Есть сорта литературы, насыщенные ядом тонкой, иногда ароматной порнографии, сословного тщеславия, национального шовинизма, денежной лихорадки, мошенничества и всякого рода порока. Спускаясь с вершин жизни и проникая до низменностей и пропастей ее, творчество, как горный ключ, растворяет в себе попутную грязь и, питая искусство, нередко отравляет его. Современная литературная школа – натурализм – есть наиболее жизненная из всех школ, наиболее загрязненная и наименее влиятельная. Она художество низвела до репортерства, она вошла вместе с толпою в ее дома, лавки, мастерские, спальни, заставила читателя присутствовать при болтовне, попойках, еде, спанье и других физиологических отправлениях. Натурализм – не только жизненная школа, но это сама жизнь, оттиснувшаяся (меткое выражение Гончарова) на бумаге. Но зато она столько же вас вдохновляет и учит, как и сама обыденная жизнь, то есть очень мало.

Корифеи натурализма – Золя, Мопассан и др. – обладают огромными дарованиями, из каждой строки их дышит сильный ум и чуткое сердце, способность брать тоны и краски самой природы; но в то же время вы чувствуете, что они не влияют на вас, не очаровывают, не влекут к каким-нибудь высоким целям. Напрасно ждешь от них волнующих, счастливых настроений, они их не дают. В современной литературе

есть свет и теплота, но нет, так сказать, электричества; есть талант, но нет нравственного сознания. Для возрождения новой и яркой жизни в обществе необходимо литературное поколение с новым отцом, похищенным с неба, с совершенно новым словом, которое должно быть пророческим, говорящим не о случайностях жизни, а о вечных ее законах. Это слово освобожденного идеала освободило бы литературу от излишней «жизненности», от порочной склонности приспособляться к пошлым вкусам. Талантливые писатели, наконец, нашли бы в себе горячее сердце, неутолимую жалость к людям, неодолимое стремление увлечь бедный род людской из тьмы египетской в обетованный край достойного человеческого существования.

III

Для благотворного влияния на общество было бы предостаточно сильно поколение даже таких талантов, как Тургенев, Гончаров и Толстой. Сколько бы мы ни были обязаны им тончайшими наслаждениями, по совести мы должны признать влияние этих писателей на общество незначительным, иначе общество было бы вовсе не тем, что оно есть. Наше общество очень мало подвинулось за последние 50 лет, то есть за время литературного на него влияния. Как и во времена Лермонтова, оно «к добру и злу постыдно равнодушно», хотя после великого поэта-юноши прошло полвека, и мы имели целую плеяду больших писателей, и теперь уже нельзя воскликнуть, как Белинский, что у нас нет литературы. Она есть, и даже замечательная. Но в чем же сказалось влияние этой замечательной литературы на общество? В 30-х и 40-х годах, до Тургенева, Достоевского, Гончарова, Островского, Толстого, Некрасова, Щедрина, небольшая тогдашняя интеллигенция была одушевлена более высокими идеалами, чем теперешняя, более отзывчива на призыв к добру, более способна на жертвы. Дальнейшее литературное влияние не усилило, а как бы даже ослабило это горячее настроение, и в конце литера-

турного пятидесятилетия народ так же темен и несчастлив, как и в начале. И я думаю, что в годы общего оскудения следует призвать к ответу и общество – мозг народа, и литературу – сознание общества.

Нам возразят: неужели литература повинна в несчастьях русского народа? Не литература ли, со времен Некрасова и юного Григоровича[2], толковала о народном горе – до того, что даже наскучила публике? Не литература ли предсказывала в лице Успенского и народников народное истощенье? Не она ли со Щедриным во главе ополчалась на разных хищников, заедающих народ? Был ли хоть один самый мелкий вопрос общественной и народной жизни, который печать не тормозила бы по сотне раз? И если из этого ничего не вышло, неужели литература виновна в этом?

Да, виновна. Она виновна, как разум, который не только должен все предвидеть и от всякой опасности предостеречь, но и обязан быть достаточно сильным, чтобы заставить волю повиноваться себе. Литература виновна в недостижении своих хороших целей уже тем, что их не достигла.

Русская литература говорила много, но, очевидно, следовало говорить еще больше. Она говорила иногда правильно и ясно, но следовало говорить еще правильнее и яснее. Иногда вспыхивал в этой литературе яркий огонь, зажигавший чуткую совесть, но следовало разгораться целым пожарам и накалять далее каменные сердца. Предположите, что в надлежащее время и в должном числе у нас явились бы литературные пророки, которые ясно увидели бы ложь жизни и истинный, спасительный путь, которые имели бы силу открыть это людям, поднять их, возбудить, воспламенить, облагородить,– наша история сложилась бы совсем не так, как сложилась.

Мне укажут, конечно, на «независящие обстоятельства», на примеры Радищева[3] или Новикова[4], столь пострадавших за попытки честной деятельности, на примеры Пушкина и Лермонтова, загубленных окружавшим их обществом, на ряд других писателей, подвергавшихся опале. «Независящие обстоятельства», действительно, представляют силу, но она

необорима лишь для слабых душ, «ничем не жертвующих ни злобе, ни любви». Что значат независящие обстоятельства для настоящих пророков, для великих подвижников и страстотерпцев духа? Для них нет неодолимых препятствий: это доказывается историей тех веков, когда «независящие причины» отличались жестокостью, едва вообразимою в наши дни. Вещее слово избранных людей, вынесенное ими из глубины сердца, являлось в мире в виде новой и грозной силы: как атмосферное возмущение, оно опрокидывало не только физические слабые преграды, но и более тяжкие – психические устои рутины, низвергало даже ту всесильную Dummheit*, против которой, по словам Гете, тщетно борются сами боги. Совершалось великое чудо: миллионы «дрожащей твари» людской приходили в брожение, заражались страстной печалью бедняков-пророков, и на многие сотни и тысячи лет грузный ход истории склонялся по новому, неведомому до того пути...

IV

Но, может, быть, я злоупотребляю словом «пророк»? Речь идет, кажется, не о Лютерах и Магометах, а о почтенных современных русских писателях, главное свойство которых – совершенное довольство «самим собой, своим обедом и женой». Одно сопоставление заурядного литератора с пророком звучит забавно. Но это сопоставление древнее и принадлежит не мне. Лучшие из писателей охотно называли себя пророками: вспомните пушкинского или лермонтовского «Пророка» – оба они написаны как Credo поэзии. Вовсе не кокетничая с публикой и не рядясь в театральные тоги, как делают бездарности, великие писатели вполне искренне считали себя носителями какой-то высшей воли, носителями «глагола, жгущего сердца», обладателями пророческого «всеведенья». И эта несомненная для них истина и для нас должна быть несомненной. Это были действительно пророки. Пусть они вели суетную, пустую жизнь, пусть священный дар свой разменивали на де-

* Глупость (нем.). – *В. Т.*

шевую мелочь – осколки разбитого алмаза, – но даже осколки эти горят дивным сиянием, выдающим их нездешнее происхождение. Да, это были истинные пророки, но, к несчастию для общества, они пророчествовали не в меру долга. Ни Пушкин, ни Лермонтов (может быть, вследствие ранней смерти) не сосредоточили и малой доли дарования на своих пророческих задачах. Они владели способностью прозрения в суть вещей, но добровольно или невольно уклонялись от наиболее важных интересов и отдавались наименее важным. На что они ни бросали свой вещий взор – во всем пред изумленным читателем раскрывался новый мир, расцветала жизнь, обнаруживалась неведомая дотоле красота и смысл. Но, к сожалению, этот волшебный луч света, исходящий из великого сердца, блуждал в пространстве без определенной цели; он освещал не темные пропасти, где гнездилось, изнывая, бедное человечество, а красивые снеговые вершины, «где носились лишь туманы да цари-орлы». Напрасно «бессмысленный народ» взывал к поэту: «Свой дар, божественный посланник, на благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй... Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя»[5]. Известно, какою презрительною речью отвечает на это поэт (уже не юноша: ему было тогда 28 лет): «В разврате каменейте смело! Душе противны вы, как гробы... Имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры; довольно с вас, рабов безумных!» Это могучее стихотворение, вылившееся из сердца (иначе оно не было бы так великолепно), было изменою себе, отрицанием своего пророчества, и хотя Пушкин не мог не быть благотворною силой, но значение его было несоразмерно меньше, чем могло бы быть. То же следует сказать и о Лермонтове. Уж если маленькие картинки их сами собою вселяются в память, очаровывают душу, то что же было бы, если бы эти «избранники небес» действительно заговорили о небесных заветах? Уж если так называемые «тенденциозные писатели», часто вовсе не художники и вовсе не великие таланты, – если они в состоянии, подняв слабыми руками скрижали правды, производить могучее впечатление, увлекать за собою целые поколения – то

что же было бы, если бы эти скрижали были подняты высоко и грозно нашими богатырями духа? А что это-то и есть истинное призвание художника-пророка, прекрасно чувствовали и названные поэты: «Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья»[6], – говорит лермонтовский поэт, а Пушкин перед смертью (в 1836 г.) хотел поставить себе единственною заслугой, дающей право на бессмертие, то, что «чувства добрые» он «лирой пробуждал», что в тот «жестокий век восславил» он «свободу и милость к падшим призывал»[7]. Он чувствовал, что это-то и есть истинная заслуга всякого писателя, но именно сами Пушкин и Лермонтов этой заслуги и не оказали. Ни особенно добрых чувств (если не смешивать с добрым красивое), ни восславления свободы, ни призыва милосердия к падшим не заключается в поэзии их как выдающейся черты. В этом отношении гораздо больше сделали второстепенные поэты – Жуковский, Кольцов[8], Никитин[9], Некрасов, дарование которых, конечно, нельзя и сравнивать с пушкинским. При свете ночника сделано не менее великого, чем при свете солнца: скромные таланты поработали для истины не менее, чем великие. Значительнее и благотворнее была роль великих прозаиков – Тургенева, Гончарова, Достоевского. Толстого. Но и прозаики имели нравственное влияние на общество далеко не во всю меру их таланта. Каждая новая вещь великих писателей, особенно если она крупная («Обломов», «Отцы и дети», «Анна Каренина» и т. п.), возбуждает журнальный шум, о ней несколько времени говорят в обществе и даже спорят, но минует два-три года – роман отходит в сторону: уже немногие перечитывают его еще раз, и разве истинные любители, которых не больше горсти, читают его по многу раз, наслаждаясь книгой, как музыкой или стихами. Но и из этих любителей едва ли найдутся хоть отдельные единицы, для которых великий роман представлял бы нечто большее, чем предмет наслаждения. Ни «Мертвые души», ни «Война и мир», ни «Обломов», ни «Преступление и наказание» не были и не могут быть по своей природе тем, чем были для древнего читателя «Илиада», для средневекового – «Божественная комедия», для

Реформации – Библия: они не были благовестием, миром возвышенных образов, могуче влиявших на самую жизнь читателя, на самую жизнь народов.

V

В современном реальном романе нет поэзии, нет нравственного вдохновения, а одно лишь рассудочное. Стихия его – знание, а не вера, знание того, что есть, а не вера в то, что должно быть. Целью натуралистического искусства является действительность, а не идеал. На современной литературе лежит печать положительного метода, печать научного, слишком материального отношения к жизни. Реальный роман в сущности есть ученая работа, выполненная художественными средствами: он дает «тьму низких истин» и очень мало «возвышающего обмана». Как в самой природе для науки есть лишь «действующие силы» и ничего сверхъестественного, так и в реальном романе – «действующие лица», но нет героев. Их пришлось бы создать, извлечь из недр воображения, из глубин совести, как Рафаэль не из жизни, а из совести вынес небесную красоту Мадонны или Шиллер – возвышенное благородство маркиза Позы. Но прибегать к воображению и к его высшему, чистейшему виду – совести (воображению идеала) реальная школа считает тяжким грехом, как и точная наука. В самой жизни героическое встречается слишком редко, до того редко, что современный роман не верит в его существование. В жизни на каждом шагу встречаются люди больные, развращенные, наглые, глупые и между ними типические, законченные образцы их. Вот их-то с научною добросовестностью и берет для себя реальная школа и рисует «жизнь такою, как она есть», то есть пестрою, живописною, интересною, но, в сущности, недостойною существовать: эта пошлая жизнь не может ни вдохновить вас, ни облагородить. Чичиков, Собакевич, Хлестаков, Ноздрев, Коробочка... да, это люди, взятые из жизни, но из жизни разлагающейся, где эти мертвые души, как трупные черви, своею живостью лишь напоминают о

смерти человека. Фамусовы, Молчалины, Тит-Титычи, Карамазовы, Иудушки – все это герои, которым ни подражать, ни поклоняться не тянет. Среди них чувствуешь себя жутко и тоскливо, долговременное же общение с ними удручает и обессиливает. Своим торжествующим присутствием и даже преобладанием в литературе эти типы грязнят ваше представление о жизни; невольно свыкаешься с уродами, теряешь веру в возможность лучших – не только идеальных, но даже просто хороших людей. Привыкнув к дурной среде, как к нормальной, невольно начинаешь к ней приспособляться. Таково нравственное внушение натуралистической школы. Добросовестные художники, правда, знают, что добро и зло перемешаны в человеке и потому, кроме злодеев, создают и добряков, но неизменно слабеньких и дрянненьких; вместе с тем наделяют и самых отчаянных уродов некоторыми человеческими чувствами: Чичиков мечтал о детишках, Иудушка молился Богу, – но это придает только более жизненности уродам, делает их более достоверными. С научною добросовестностью реалисты-художники населяют воображение читателей, в том числе юной и часто невинной молодежи, существами ничтожными, мрачными, отвратительными, как злые духи, причем мир светлых гениев точно не существует. Неистребимому, вечному инстинкту людей поклоняться совершенству и благоговеть в реальном романе не дано никакого удовлетворенья: оно дано для противоположного, в сущности болезненного чувства – отрицания, этого яда, целебного разве лишь в малых дозах:

«То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть...»[10]

VI

Бессилие современной литературы в деле культурного перерождения общества объясняется, таким образом, уже самою природою реального романа как господствующей в ли-

тературе формы. Эта форма, заимствованная из чуждой искусству научной области, дошла в натурализме до крайнего выражения, до отрицания поэзии в искусстве. На Западе и у нас чувствуется литературный кризис, вымирание романа, и сам Золя мечтает о какой-то новой, еще не выяснившейся литературной методе. В нашем романе этот кризис предчувствовался уже давно. Пушкин понимал опасность ограничиться в романе одними отрицательными типами и сумел ввести в свои романы несколько изящных, даже героических образов (Татьяна, Марья Ивановна, старый комендант и пр.). Ту же опасность живо сознавал и создатель нашей натуральной школы Гоголь: в конце «Мертвых душ» он начал как бы задыхаться среди вызванных им к жизни уродливых и пошлых тварей; он мечтал дать положительные, героические типы – и измучился в борьбе с духом вызванной им ложной методы. В современной ему жизни Гоголь не умел найти героического элемента, как находил Пушкин, и, вызывая «видимый смех», напрасно старался вызвать в читателе «невидимые слезы»: они были «невидимы» потому, что их и не было в творчестве Гоголя и не могло быть по самой природе натурализма. Тут же тесноту ее и давящую материальность чувствовали и все другие великие наши художники; они боролись с ней, расширяя эту форму до разрыва и распадения ее, как в некоторых романах Достоевского («Бесы», «Братья Карамазовы»), Толстого («Война и мир»), Гончарова («Обрыв»). Достоевскому приходилось вводить в роман целые отдельные поэмы, и даже трактаты, Толстому – целые исторические и философские отступления. Чуть только писатель захватывал глубже поверхности жизни, чуть задумывал крупную положительную фигуру – являлось расстройство плана, расхождение концов с концами. Для художественной проповеди, для художественного пророчества – высшей миссии писателя – реальный роман – неподходящая форма, и недаром Гоголь сжег свое продолжение «Мертвых душ», а Толстой остановился на «Анне Карениной». Даже Тургенев – искуснейший из художников-реалистов – и он кончил «Песнью торжествующей любви», «Кларою Милич»

да стихотворениями в прозе – вещами менее удачными, но вовсе не в реальном стиле. Под конец жизни великие художники как бы сознают тщету своих реальных писаний, всех этих широких и красивых картин, стоящих слишком близко к жизни, чтобы быть выше ее и вдохновлять ее. Видя, что реальность жизни остается, как и была, печальною, полною боли и мрака, художник поневоле уходит в свой внутренний мир, в царство идеалов, – и только оттуда, из прекрасного далека, он начинает глядеть на жизнь пророчески, с горячею любовью и состраданием к ней. Только этим бегством писателя в глубь себя, из бездушной истины природы в живую совесть ее, и можно объяснить замечательный душевный переворот у Гоголя, у Достоевского и Толстого под конец их жизни. И какое это было великое несчастие, что Гоголь и Достоевский умерли так рано! В лице Гоголя можно было ожидать другого (своеобразного и не менее могучего) Достоевского, перешедшего от смеха к скорби, в лице же Достоевского, может быть, развивался теперешний Лев Толстой – опять таки особенный и своеобразный, но именно с тем пророческим вдохновением, которое дало «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерову сонату». И хотя из всех троих всего ближе к новой, пророческой литературной школе был Достоевский, но если судьба продолжит драгоценные дни Толстого – может быть, мы увидим, наконец, этот новый художественный род писательства, новый метод, способный восстановить влияние литературы. Роман обветшал, и для нового, пророческого слова великий художник найдет, вероятно, новый язык. Роман еще надолго останется в практике искусства и особенно в теории его, но для движения общества вперед, для возрождения его «пророческим» призывом должна явиться другая форма – видоизмененный роман, поэма, драма – я не знаю что.

В сущности, это, как я себе представляю, будет не столько шагом вперед, сколько возвращением к себе – именно к более естественному для нашего времени, более свободному строю от психически отживших форм, для своего времени, может быть, наиболее прекрасных и свободных. Не одна ли-

тература – все искусства теперь более или менее ощущают гнет устаревших стилей, потерявших свои корни в психике людей. Например, в архитектуре: греческий и готический стиль прекрасны, но кто же строит здания (даже храмы) в этих стилях? Если, скрепя сердце, прибегают к ним – за тягостным отсутствием более родственных стилей,– то стараются видоизменить их как-нибудь (в сущности, только уродуя хотя и мертвые, но все же прекрасные системы). В большом ходу, конечно, портики, колонны, капители, зубцы и пр., и пр., но все это не стиль, а обломки его, как, например, модные нынче маленькие рассказы и новеллы – не более как обломки романа. И в живописи, ваянии, музыке с их новыми школами – во всех сферах искусства чувствуется изнеможение от избытка старых средств и до боли, до сумасшествия напряженные поиски новых (вспомните Клода в "L'oeuvre" Золя). Как в животном мире некоторые существа сбрасывают с себя прежнюю, отжившую форму тела, чувствуя внутреннее развитие новой организации, так и гений современного искусства – в том числе литературы – стремится найти себе свою новую органическую форму.

Условия для новых форм духа складываются во всей массе народной. Но необходима великая душа, могучий и страстный импульс для того, чтобы эти условия сложились в результат. В сущности, и здесь, как и для всякого крупного события, решающим актом является подвиг великого человека, в данном случае – подвиг великого писателя.

Литературное бессилие

I

Литература измельчала, опошлилась, смешалась с толпою и потеряла влияние в обществе: не слышно в ней пророческого голоса, не видно подвижников слова, которые отдавали бы ей чрезвычайные труды и напряжения. Литература вырождается: как от богатырей часто идет хилое потомство,

так после блестящей школы писателей середины этого века замечается печальное измельчание.

Где причина этого измельчания? Искать их в самой литературе бесполезно: литературное оскудение есть лишь частный случай более широкого явления – всеобщего, хотя, вероятно, временного упадка духа в современном европейском обществе. Жалобы на отсутствие великих талантов одинаково слышатся и в науке, и в искусствах, и даже в практической деятельности. Замечается как бы всеобщее изнеможение человеческой души после беспримерных ее усилий в последнее столетие. Но объяснить это изнеможение простою усталостью нельзя: к центрам общественной жизни непрерывно притекают народные струи, несущие еще неизрасходованную свежесть. Таланты есть, но они бессильны; нет тех редких условий, при которых расцветает поэзия и мысль общества, а есть условия иные, изнуряющие дух человеческий. Для расцвета высокой интеллигенции необходимо напряженное сосредоточение народного духа и веяние новой чужой культуры – этих двух основных условий и нет в наше время – время великого рассеяния идей, разброда преданий и вавилонского смешения всех культур в какой-то хаос, тягостный и мучительный именно своею механическою безжизненностью.

Основное условие для проявления величия человеческого духа (в литературе или иной области) – это сосредоточение народной души в форме какой-нибудь хотя и бедной, но определенной культуры. Писатели – родные дети общества; их чувства и мысли – это всплески волн народно-общественного настроения. В творчестве раскрывается лишь та энергия, которая сложилась в народе в скрытом состоянии. В горсти пороха, который вы держите, есть и огонь, и свет, и шум, и движение; но чтобы проявить их, нужно, во-первых, чтобы это действительно был порох, то есть определенное сочетание селитры, угля и серы, а во-вторых, необходима внешняя искра. Гений народа обнаруживается лишь в те эпохи, когда дух его приобрел известную напряженность. Для этого нужно, чтобы жизнь народа вливалась долго хотя бы в кривое, но

определенное русло, чтобы целый ряд поколений рос и воспитывался в одних и тех же формах быта и чтобы вследствие повторения и наследственного внушения создалась культура – органический строй верований, знаний и привычек, тесно сжившихся между собою и как члены нераздельного организма сотрудничающих и питающих друг друга. Такая старая культура есть настоящая душа данного времени; она представляет гармоническую систему, которая, слагаясь постепенно, в течение поколений отливается в могучее орудие общенародного, национального духа. В подобные эпохи каждый отдельный человек бессознательно обладает всей мощью своей расы: если он талантлив, то, как острый выступ над землей, он способен проявить все электричество, которым заряжена народная почва. Только в подобные, духовно-сильные эпохи являются цельные, законченные типы: и быт, и нравы, и физиономии, и чувства, и мысль народа отливаются в прочные, родовые формы и, достигая в них высшей степени напряжения, приобретают способность творчества. Талантливый художник в такие эпохи – духовно цельное существо, и весь окружающий его человеческий мир представляет цельность и ту законченность, которую так ценят художники.

II

Подобное скрытое состояние культуры, однако, может и не проявиться в реальном творчестве. Раз сосредоточение духа народного остановилось, он делается неподвижен, и вся мощь его обращается в инерцию покоя. Создается Китай или средние века Европы; создается варварство. Талантливая раса погружается в глубокий сон, в котором бесконечно повторяются раз приобретенные формы жизни. Для творчества нет свободы. Деятель такого века имеет вокруг себя уже целый мир вещей и явлений, отлившихся в неразрушимые формы. Как каменные стены древнего города, с тесными улицами и домами, эти древние культурные формы крайне затрудняют новую постройку. Предшественники талантливого человека, пред-

восхищая его работу, разоряют творчество. Труд, для которого он пришел в мир, оказывается уже сделанным. Рафаэли и Гете, совершая «в пределах земных все земное», исчерпывают всю психику данной эпохи; требуются века выжидания, пока сама жизнь изменится, создадутся новые люди, новые нравы, то есть новый мир, которого художник мог бы быть Колумбом, первым исследователем. Как в океанах не остается уже более неоткрытых островов, так и в других сферах жизни; с каждым веком старой культуры круг неизвестного все более суживается; есть области знаний, где уже невозможны великие открытия, и оригинальный ум, чтобы дать что-либо новое, принужден погружаться в мелочи, в микроскопические, незамеченные предшественниками стороны жизни. Человек старой культуры, вступая в жизнь, получает в наследство все готовое: философию, знание, искусство, типы жизни, зданий, одежды, обстановки, тьму готовых изобретений и машин, лишающих его возможности приложить свое творчество. Самая тонкая из способностей является излишнею; она постепенно отмирает, и человек становится бездушным ремесленником. Старая, остановившаяся культура душит зародыши новой жизни, как в вековом лесу деревья-великаны, заслоняя свет, не дают развиться проросшему у их подножия их же семени. Внутренность такого леса – пустыня: все голо и мертво, и только падение дряхлого лесного старца от времени или бури очищает поляну среди леса; тогда сейчас же вскипает жизнь – лихорадочная жизнь молодой заросли. Но вот заросль поднялась в уровень с лесом и заслонила солнце низам. Снова вянут и отмирают зародыши новой жизни на целые века...

Такая установившаяся, древняя культура есть варварство: не молодость цивилизации, а старость ее. Чем беднее цивилизация, тем скорее она стареет и впадает в варварство, в состояние, где общество берет верх над личностью, обычай – над разумом, предание – над исследованием. Торжество общества есть упадок личности. Живя массовою, общественною душою средние люди как бы теряют свою собственную душу, и даже великие таланты не в состоянии побороть эту

мертвенную, стихийную рутину. Рутина есть создание духа, душа мертвых, отживших поколений, оставшаяся после них на земле. В рутине такие же крепкие устои, как и в живой идее, и чтобы побороть ее, нужно вмешательство сверхъестественной силы, то есть такой, которой в естестве самой культуры не заключается. Этою сверхъестественною силою является гений соседней расы.

III

Как скрытые силы жизни в организме требуют воздействия иного оплодотворяющего начала, чтобы получить форму живого тела, так и скрытое напряжение народного духа для расцвета интеллигенции (поэзии и мысли) требует прикосновения иных родственных культур. Так расцвело древнегреческое варварство в прикосновении с египетско-персидской цивилизацией, римское варварство – в общении с греческою, арабское – в общении с греко-римскою, итальянское (эпохи Возрождения) – с арабскою, устарелые культуры последних веков – с теми же источниками и друг с другом, и, наконец, русское варварство прошлого столетия – с Европою. До тех пор пока бедная, хотя и сильная народным духом старая культура закупорена в самой себе (например, наша московская культура до Петра), она безлюдна; великие силы дремлют, застаиваются и от бездействия отмирают; но стоит напряженному духу народному подвергнуться иному, иноземному веянию – тотчас же, как от сближения разнородных полюсов электрической цепи, зажигается ярким светом народное сознание, проявляется могучий ток до того незаметной психической силы. Инерция покоя переходит в инерцию движения. Внезапно (в несколько десятилетий) во всех сферах поэзии и мысли является ряд великих произведений, отливающих в вечные вещественные формы те состояния духа, которые дотоле существовали в скрытом напряжении.

Все страны переживают эти редкие, счастливые моменты расцвета культуры, оплодотворения души народной иным,

родственным гением. В нашем обществе этот момент выпал на последние десятилетия крепостной России. Эпоха до Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого по цельности своей, психической и бытовой определенности была неизмеримо благоприятнее для появления великих писателей (великих людей вообще), нежели нынешняя. Крепостная Русь благодаря варварству своему и простоте представляла вполне самобытный, прочный, органически законченный мир с отлившимися вековыми формами быта, преданиями и нравами. Это была скрытая культура, определенная психическая система, в которой русский народный дух был уравновешен и сосредоточен. При хлынувшем с Запада потоке света талантливые люди от Фонвизина до Толстого увидели перед собою целый мир своеобразных, резко очерченных явлений, веками сложившихся типов, вполне законченных, которые оставалось заносить на бумагу во всей их неприкосновенности, как художник заносит в свой альбом характерный пейзаж или выразительную физиономию. Для писателей того времени это воспроизведение цельной жизни было тем легче, что в самих себе, в цельности своей натуры они носили способность цельного понимания окружающего. Вспоенные и вскормленные крепостною эпохой, наши великие писатели были плотью от ее плоти; они знали одну только помещичью культуру и превосходно изображали людей только того самобытного и цельного времени. Ни Тургенев, ни Гончаров не могли написать ничего значительного из послекрепостной эпохи; не мог справиться с новыми типами и Достоевский, и даже Толстой принужден, как в «Анне Карениной», или брать крайне обособленный круг общества, еще полный старинных традиций, или отказываться вовсе от изображения современности.

IV

Наша современность, по времени столь близкая к крепостной культуре, психически бесконечно далека от нее, как далека груда обломков разрушенного здания от цельного

вида его. Старая культура разбита на мелкие куски, новая еще не сложилась, и мы живем среди культурного хаоса – вот глубочайшая причина изнеможения человеческого духа, его рассеяния среди развалин. В русском обществе нашего времени (как и в европейском) нельзя найти ни цельного миросозерцания, ни общей веры, ни общих традиций, ни общих надежд – ни одной святыни, которая была бы истинно дорога всем без изъятия. Все подвергнуто сомнению, все переживало отрицание, все более или менее заподозрено и опорочено. Древний, при всем его безобразии, определенный строй рухнул, новые прочные отношения не сложились: нескончаемый наплыв иных, чуждых нашей прежней культуре идей производит невообразимый беспорядок в голове среднего человека. Влияние Европы, плодотворное в самом его начале, пронеслось над русскою душою, как опустошительная катастрофа. Чужая цивилизация должна влиять постепенно, чтобы действовать органически; это влияние требует известного времени, чтобы новое срослось со старым, вошло в кровь и нервы и претворилось в них. Первое прикосновение чужой культуры похоже на вспрыскивание сказочною «живою водой». Оно дает толчок скрытой энергии народа, не рассеивая ее. Но если культура, хотя бы и весьма высокая (и даже чем выше, тем хуже), падает на подготовленную почву не тихим дождем, а целыми потоками – она является настоящим бедствием для страны. Она смывает накопленное в почве удобрение и самые семена, обнажая бесплодные нижние слои. Она обезличивает и духовно разоряет общество. Только первое (и, может быть, второе) поколение, сохранившее свежие наследственные инстинкты, выдерживает наплыв идей. Жадно впивая в себя этот ливень, первое поколение, подобно флоре степной Америки под влиянием первых тропических дождей, – дает роскошный расцвет национального гения; зато следующие поколения, родившиеся уже от ослабленных предков, не выдерживают бури. Духовная «вотчина» их разорена; внутри и вне себя они видят одни развалины. С остатками души они пытаются бороться

с чужой культурой и порабощаются ей. У рабов нет своей воли, нет вдохновения, нет творчества: вся душа тратится на слепое подражание, причем усваиваются наиболее поверхностное; самые заветные, незримые сокровища чужого духа остаются недоступными, оба гения – и свой, и чужой – как бы отлетают. Страна, оставаясь в существе своем прежнею, принимает новый облик – происходит культурное разложение и психический упадок. Такой упадок собственного творчества переживает теперь Россия. При столкновении с Европой она приобрела, конечно, множество важных выгод в развитии знаний, в смягчении нравов и пр.; это столкновение выбросило застоявшуюся Русь из ее исторического кривого русла. Но, выброшенная из него столь стремительно, Россия не нашла пока никакого русла, общественный дух ее утратил определенное направление, рассеялся, обратился в развалины, которые при всей их живописности не годны, чтобы жить в них. Культурные руины, правда, полны своего рода летучими мышами, пауками, мокрицами – странными, уродливыми существами, выродившимися или недородившимися, но они не имеют цельных, высших форм – выражений органической полноты, которая одна типична. Истинное искусство не может довольствоваться полуявлениями или явлениями болезненными, неудавшимися. Творчество требует здоровой оригинальности, а не уродливой, здоровая же оригинальность должна быть не мимолетным случаем, а более или менее постоянным явлением, иначе ни художник не будет в состоянии воспроизвести ее, ни читатель не поймет ее и не признает. Талантливые беллетристы, как и прежние, изображают современные «типы», и если эти типы выходят не типичны, то это потому, что они и в самой жизни таковы: бесцветные, вялые, с неясными, расплывающимися чертами или с такими нечаянностями и вывертами, которые интересны более для психиатра, нежели для художника. Как душевно больные иногда заражают психиатра безумием, так уродливые общественные типы извращают оригинальный талант и гасят в нем вдохновение – сознание идеала.

V

Надо заметить, что сама Европа, этот источник нашего идейного и расцвета и упадка, переживает совершенно подобное же духовное изнеможение, как русское общество, и по совершенно сходной причине. В самой Европе (в ее нынешних всесветных границах) идет великая духовная катастрофа, разгром культур, систем и миросозерцаний. Никогда не было более революционного века, чем нынешний, и не только в политическом и социальном отношениях. Ряд великих открытий (пар, телеграф, печатный станок) сразу сблизил элементы разных культур в Европе, которые, как сера и селитра в порохе, соединившись, произвели настоящий взрыв идей и изобретений. Во всех умственных областях произошел стремительный, необычайный переворот; благодаря общедоступности образования и развитию печати, в общественное сознание был выброшен целый вихрь учений, от древних до новейших, – все наследие старых веков, безмерно умноженное живым поколением. Никогда прогресс не шел столь буйным и мощным бегом, как в наше столетие. Он вооружил человечество средствами, которые по своему могуществу кажутся просто волшебными; подобрав ключи к тайнам природы, человек овладел титаническими силами ее, создал и продолжает создавать бесконечный мир вещей и средств к жизни – в сомнительном предположении, что жизнь нуждается в этих средствах.

В результате прогресс убил культуру – буря новых идей сорвала со всех корней старое дерево прежнего миросозерцания. Ходячее мнение часто соединяет эти два понятия – прогресс и культуру; часто говорят о совершенстве и блеске европейской культуры, хотя, в сущности, такой культуры уже нет, и в этом основная беда нашего времени, причина духовной смуты и того «томления духа», которое подметил Екклезиаст на вершинах всякого прогресса. Нет общепринятой системы мысли, нет общего духовного уклада, того невидимого организма верований и нравов, о котором я говорил выше. Беско-

нечный мир знаний, материальных средств, богатства – мир количественный – еще не есть культура: это только сырой материал для нее, хаос, которому необходимо еще сложиться в определенные качественные формы. Продолжающийся прогресс, выдвигающий все новые и новые средства жизни, заслоняет цели ее. Идейный потоп, подмывший устои древнего, хотя безобразного, но векового здания жизни, смыл оригинальные черты самого характера народного, сгладил все его рельефы. Сняв старинные местные костюмы и облекшись в последнюю моду, горожанин и житель деревни сняли с себя и прежние верования, некогда крепкие, как сталь; душа облеклась в модное сомнение во всем, маленькое всезнание, которое ни в чем не уверено. И городская, и деревенская культура рушились; разве в очень глухих местах в Европе еще можно отыскать последние экземпляры цельных, гармонических типов. Душа народная распадается всюду – об этом в один голос свидетельствуют все наблюдатели деревни.

Вместо сосредоточения духа происходит его рассеяние, и европейский прогресс служит для этого центробежною силой.

Во всех сферах, умственных и практических, провозглашено разделение труда, разделение и общества, и отдельного духовного организма на специальности. Специализм – тайна могущества цивилизации; он доводит всякую отдельную задачу до совершенства, но он же отрывает ее от органической связи с жизнью и губит ее. Из первоначального ствола с немногими ветвями специализм постепенно развил бесконечное число отдельных сучков и веточек, беспрерывно расходящихся по всевозможным направлениям. Как в старом дереве первоначальная правильная система сучьев постепенно превращается в анархию мелких стебельков и листьев, так в современной цивилизации последние слова наук, искусств, литературы, нравственных и практических деятельностей расходятся по миллиону направлений, согласить которые по самой природе их невозможно. Последние стебельки великого дерева цивилизации забывают об общем, питающем их источнике, они хиреют и мельчают; бесконечное дробление,

разбивая на миллионы канальцев общую струю земных соков, в конце концов истощают эту струю. Специализм, развивая все свойства духа, разбивает его и раздергивает, лишая эти свойства органической, кровной связи.

VI

Раздробившаяся на мелочь жизнь дает и мелкое искусство: оно перестает быть чистым искусством и делается прикладным; ничтожная мысль, свойственная мелочи, не требует высокой формы, и художник обращается в ремесленника: он кое-как в состоянии передать на бумаге свои зрительные и слуховые впечатления, но уже не может уловить связи лиц и предметов, того невидимого организма отношений, который виден глазу мыслителя. Окруженные развалинами и осколками, сами натуры половинчатые, внекультурные, беллетристы нашего времени начинают с мелких сцен и рассказцев, ими же и кончают. Они – микроскописты жизни. Привыкнув к микроскопическому исследованию «человеческих документов», они открывают и описывают тьмы двуногих инфузорий, изучают тысячи складок жизни, трещин и пор, но зато общую картину эпохи, человечества и человека не улавливают: поле зрения микроскопа слишком узко.

Таковы общие причины литературного упадка: они коренятся в свойствах теперешней цивилизации, в стремительности прогресса, в отсутствии культуры и невозможности ей сложиться. «Наш нервный век», по свидетельству ученых, носит в самом себе элементы разрушения. Ученые доказывают, что белые расы вытесняют дикарей не столько оружием, водкой и болезнями, сколько чрезмерно быстрым «прогрессом»: страшно сложным строем знаний и идей, строем неустанной деятельности, который не вмещается в нервный организм варвара и, расшатывая его, истощает в конец. Но, очевидно, не одни дикари изнемогают от поспешного «прогресса». Быстрое измельчание европейского населения (продукт казарменной, фабричной и городской жизни): общее пе-

реутомление, развитие сумасшествий, пьянства, распутства, грозное увеличение самоубийств – все это свидетельствует о том, что буйный ход современного прогресса губительно отзывается на психике самих европейских рас, что даже сильная природная интеллигенция не выносит безнаказанно чересчур сложной, изнурительно-мелочной и суетливой цивилизации, безрадостной и беспросветной, лишенной идеалов и надежд – цивилизации без культуры. Литературное оскудение – всего лишь частный случай явления мирового, пределы которого необъятны.

Что же нужно делать литературе для своего возрождения?

Мне кажется, литературе напрасно мечтать о повторении «золотого века» Пушкиных и Тургеневых, неразрывно связанных со старою, отшедшею культурой. Пока не сложится сколько-нибудь прочно новый гражданский быт, новые нравы и верования, пока не образуется новое сосредоточение духа – великие художники едва ли явятся. Даже на несомненных талантах будет лежать печать бессилия и упадка.

Только великое общество, великая культура могут дать великую литературу. Чтобы быть великим, общество должно поставить себе великие цели. Оно должно усмотреть в жизни не бесконечное множество задачей, а одну, в данное время величайшую задачу, которую и следует взять для направления своей деятельности. Вся тайна человеческого величия – искреннее служение не маленьким, не средним, а именно самым великим по данному времени интересам. Литература должна угадать эти интересы в то время, когда они еще скрываются в хаосе, и указать их обществу. Существовали эпохи героические – бесконечных войн за национальность или народную честь – литература пользовалась благороднейшими элементами героизма; явились великие поэмы Гомера, Ариоста, Камоэнса[1], трагедии Шекспира, драмы Корнеля. Эпоха религиозная выдвигает Данте и Мильтона, этих «отцов церкви» католической поэзии. В моменты, когда жизнь общества ветшала, переполнялась отжившими формами, величайший интерес времени состоял в разрушении этих форм, и лите-

ратура выдвигала ряд сатириков: от Сервантеса до Гоголя и Щедрина. Из множества интересов нашего времени необходимо найти самый возвышенный и важный – ту основную мысль, которая могла бы служить именем для готовой сложиться культуры. И эта мысль уже носится в воздухе, уже озаряет отдельные умы.

VII

Бессилие теперешней литературы зависит именно от того, что с распадением старой культуры и при отсутствии новой она невольно утратила сознание величайших задач своего времени и обрекла себя на служение мелким и низким целям, не усиливающим, а ослабляющим дух человека. Теперешняя литература служит интересам праздного любопытства, лакейства, тщеславия, а иногда и прямо-таки порокам толпы. Подметив вкусы и страсти своего главного потребителя – буржуа, его презрение к бедности, из которой он вышел, и благоговение перед знатью, литература наводнила рынок романами из мира графов и баронесс, банкиров и королей, рисуя этот мир в небывалых, очаровательных красках. Подметив в буржуа совершенное безучастие к народной жизни и тайную симпатию к хищничеству разного рода, литература пренебрегла естественным, народным бытом и выбросила на бумагу целый мир мошенников, шарлатанов, воров и убийц, бесконечные приключения которых знакомы буржуа из собственной семейной хроники. Подметив алчность буржуа к богатству – самую жестокую из страстей века, – литература фабрикует целые серии романов с невероятными обогащениями, грудами золота и нечаянными наследствами. Страсть к кутежам, азартному спорту, разврату – все это обильно удовлетворяется современною ультранатуральной и бульварной школой. Если лучшие писатели этой школы – Бальзак, Флобер, Золя и пр. – имеют социальные, философские цели, то подражающая им мелкота несомненно торгует своими грязными картинами. Впрочем, даже и великие таланты, погру-

зившись в тину мелочей, бессознательно приспособляются к низменным вкусам толпы, обращая священное призвание писательства в промышленность; они идут за толпою, вместо того чтобы идти впереди толпы.

Чтобы быть великой, литература должна помочь обществу сделаться великим и верить, что это возможно. Величайший интерес времени вытекает из самого серьезного несчастья времени – отсутствия в мире нового, достаточно определенного культа. Потеря общей цели, анархия направлений духа – вот опасность, преодолеть которую представляет величайшую задачу и для общества, и для литературы. Из современного мира как будто выдернута его великая ось, и общее огромное движение распалось на тысячи мелких, раздробленных, случайных. Современный прогресс имеет слишком стихийные свойства; он оказался в крайнем своем развитии силою столь же губительною, как и застои, силою несовместимою с естественною жизнью человеческого духа. «Народы гибнут от избытка богатств и избытка слов», гласит древнее персидское изречение, и эта великая в своей краткости мысль, отгаданный закон истории, сбывается на современном поколении. Не с неизмеримыми ли богатствами нашего века связано ужасное обеднение народных масс? Не от избытка ли всевозможных, друг друга душащих идей зависит отсутствие «единой, которая есть на потребу»?

Возвращение к простоте жизни, возвращение к природе, к идеалам мудрости всех времен, ныне забытым, – вот верховный интерес времени. Только способствуя созданию великой культуры, литература может снова сделаться великой.

Призвание журналистики

I

В последнее пятидесятилетие во всех образованных обществах появилось новое сословие, еще малочисленное, но, может быть, самое влиятельное из всех, не исключая

даже аристократии крови и капитала. Сословие это крайне пестрое и с крайне неопределенными задачами: оно хлопочет обо всем, оно присутствует везде и, подобно опереточному герцогу, может сказать о себе: «Вижу все! Знаю все! И сую свой нос во все!» «По праву журналиста» маленький представитель печати закусывает у буфета загородного кабачка и не платит следуемого с него двугривенного. «По праву журналиста» столичный репортер появляется на всех решительно собраниях, ученых и общественных, в суде, в театре, в Думе, на выставках, скачках, официальных балах, военных маневрах. Его вы можете встретить в подвалах овощной лавки исследующим свежесть коровьего масла, в мучных складах пробующим муку, на пожаре, на вскрытии трупа утопленника, а также в парламенте, среди министров и дипломатического корпуса, на бракосочетании принцессы крови. Загримировавшись нищим, притворившись сумасшедшим или разбойником, журналист проникает в ночлежные дома, в больницы для умалишенных, в остроги для того только, чтобы описать тамошние обычаи, но очень возможно, что на другой день он является по приглашению ко главе государства и распутывает вместе с ним министерский кризис. Журналист заседает в увеселительном саду, для того чтобы дать отчет о дрессированных крысах известного клоуна, но другой его собрат ведет беседу с Бисмарком, с папою, с бразильским императором, едет на поля сражений, проникает в неизвестные дебри Африки, завоевывая государства, основывая города… Все это люди одной и той же профессии, одного и того же призвания, от бедного народного учителя, пишущего в редакцию: «Ради Бога, не открывайте, что я – корреспондент, иначе меня волостной старшина живьем съест», и до «великого старца» Гладстона, который, заметив однажды на публичном собрании, что журналисты не допущены, гордо поднялся с места и заявил пригласившим его хозяевам: «Я тоже журналист и потому удаляюсь». От скромных обличителей уездных мостовых до корпорации людей, которые на грозное предостережение немецкого императора ответи-

ли от имени страны еще более грозным предостережением, пред которым тот отступил, – все это люди одного и того же, самого юного и самого еще не сложившегося сословия, специальность которого определить нелегко.

Что такое журналист?

Когда говорят о какой-нибудь исстари установившейся профессии – об офицере, священнике, купце, – вы ясно представляете себе, о чем идет речь. Не менее, а может быть, еще и более ясно вы рисуете себе фигуры древние и уже вымершие, например рыцаря, пажа, трубадура. Даже какого-нибудь римского сенатора или египетского фараона вы представляете себе в совершенно определенных, точно вылитых из бронзы типах. «Рыцари» – в воображении сейчас же возникают латы и шлем; «сенатор» – классическая тога; «фараон» – восточное одеяние деспота и сам он, властный и пресытившийся, с пресмыкающимися рабами вокруг. Эти представления могут не соответствовать действительности, но они сложились неподвижно и для всех одинаково бесспорны. Не то с фигурами новыми в истории, с представителями профессий, которые во множестве расплодились в новом обществе и все еще плодятся. Возьмите такие, по-видимому, близкие к обывателю профессии, как банкир, нотариус, инженер. Очень многие образованные обыватели, знающие лично и банкиров, и нотариусов, и инженеров, имеют весьма отдаленное представление об их профессиях. Множество девиц и юношей несравненно более знакомы (по Майн Риду) с делопроизводством у краснокожих дикарей Америки двести лет назад, нежели с делопроизводством у мирового судьи своего участка. Благодаря учебникам, историческим романам, старинным гравюрам, театральным декорациям обстановка какого-нибудь средневекового алхимика известна публике лучше, нежели обстановка современного химика. Мне кажется, что даже сами мировые судьи, журналисты, профессора, техники и вообще «новые люди», хорошо знакомые, конечно, со своей обстановкой, все же не столь ясно представляют себе свое положение, как «старые люди» – люди древних профессий –

генералы, священники, купцы. Определить свое место, свое значение, свое призвание в обществе не так легко нынче, в эпоху всеобщего смешения, снятия сословных, политических, религиозных и всяких иных перегородок. В обществе древнем среди рыцарских лат, сутан, судейских мантий, ученых колпаков, дворянских шпаг и монашеских капюшонов с первого взгляда для каждого человека определялась его роль в обществе, и сам этот человек, закрепощенный особому костюму, наследственным правам, потомственным обязанностям, знал до точности, что он такое, что он должен делать и чего не должен: нормы его жизни и обстановки, от покроя сапог до религиозных убеждений, давались в готовом виде, непререкаемо и нерушимо. Органы и функции общества были строго разграничены, до такой степени разграничены, что, наконец, местами совершенно разобщились и вступили во враждебные отношения. Каждая корпорация выработала себе совершенно специальные цели, специальную нравственность («честь мундира» или «звания»), и за отменно ясными представлениями о воинах, служителях церкви, купцах и проч. начинало исчезать представление о человеке просто, о едином людском обществе как семье.

Наше время страдает, кроме старых, и новыми недостатками. Новейшие профессии при их крайнем дроблении сделались общедоступными, случайными и потеряли свой резко очерченный характер. Профессия нынче ежедневно сбрасывается вместе с вицмундиром или рабочей блузой, и дома или в обществе человек является просто обывателем, человеком, как все, сливается со всеми в общее пятно, и отличить в нем профессиональные черты бывает иногда крайне трудно. Несомненно, что во многих важных отношениях общество только выигрывает от подобного уравнивания людей; но *сознание* общества о самом себе, представление о своих отдельных частях проигрывает; оно делается неопределенным и спорным. Уничтоженные символы общества – сословия, цеха, мундиры, привилегии, как полуистертые буквы надписи, затрудняют разобрать подлинный смысл

общества. Поэтому в наше время и молодому нынешнему обществу, и представителям новых профессий следует почаще напоминать себе основные свои цели и вдумываться глубже в свое истинное призвание. За отсутствием наследственных формул молодые профессии должны сами вырабатывать свое социальное сознание, «признавать самих себя». Эта задача самопознания особенно потребна в наше смутное, полное всевозможных брожений время.

Что такое журналистика? Что есть и чем должен быть журналист?

II

Журналистика есть такое же великое явление нынешнего века, как пар и электричество. Она теснейшим образом связана с этими открытиями, развивалась вместе с ними и от них неотделима. Чтобы понять место журналистики в обществе, необходимо коснуться происхождения современного общества – этой страшной смеси дряхлых развалин прошлого с воздушными замками будущего.

Во многих отношениях цивилизованный мир в последнее столетие как бы перенесся на другую планету. Внезапно, стремительным подъемом знаний и изобретений создался в обществе ряд новых могучих начал, которые в своем развитии должны коренным образом преобразовать человечество – усовершенствовать его или погубить – вопрос для меня, по крайней мере, еще темный. Переворот начался именно с открытия пара и электричества. Никакие великие революции, наполеоновы нашествия и «штурм-унд-дранги»* не могли бы сколько-нибудь заметно изменить физиономию культурного мира, и без железных дорог, пароходов и телеграфов девятнадцатый век так же мало отличался бы от восемнадцатого, как этот последний от своего предшественника. До пара и электричества население разных стран было прочно привязано к земной поверхности. Передвижения

* Schturm und Drang (нем). – *В. Т.*

совершались с необычайною и трудновообразимою теперь медленностью, они были незначительны и редки. Отдельные местности, углы и захолустья жили своею обособленною жизнью, развивавшеюся почти исключительно из местной почвы. Веяния извне были крайне слабы, и необходимо было долговременное, вековое их действие, чтобы хоть сколько-нибудь повлиять на жизнь. В те патриархальные времена всякий сидел дома, как древний Израиль «под своей смоковницей», в небольшом обществе родных и соседей. Почты не получалось, или она приходила «с оказией», газет и журналов почти не существовало. За чертою городских стен и лесов, окружавших родную усадьбу, начинался малоизвестный и малодоступный мир. На всей народной жизни и на каждом отдельном человеке лежал отпечаток девственности – в том смысле, в каком говорят о девственных лесах. Такие леса, с одной стороны, – непроходимые трущобы, где царит мрак, и во мраке – скрежет зубовный пожираемой мелкой твари, а с другой – великолепные картины самородной, безыскусственной природы с вековыми, гигантскими формами, дикий простор и красота.

Теперь представьте себе, что на этот мир организмов надвинулся мир механизмов – пил, топоров, лопат и т. п. Дикая природа необычайно быстро теряет свою физиономию, преображается или в пустыню с торчащими обгорелыми пнями, или в роскошный парк с длинными аллеями на месте трущоб и топей, с обстриженными и выхоленными «представителями флоры», имеющими сверх вульгарного еще и латинский титул и целую историю происхождения. Такой парк – тоже, если хотите, лес, но точно перенесенный с другой планеты, лес, как бы выросший по законам иной природы, сгруппировавшийся не по своей собственной, а по какой-то иной воле. Вторжение механизмов в начале этого века в быт людей произвело невероятный переполох в христианском обществе. Едва ли когда-либо в истории совершался столь стремительный перелом в основных условиях жизни; и в корне всех новых явлений и перемен лежит одно начало: развитие путей сообщения. Из

стадии бесформенного слизняка, части которого не связаны сосудами и нервами, человечество сразу перешло в стадию высшую: прорезались многочисленные артерии – железные дороги и густая сеть нервов – телеграфных линий. Явился в культурном обществе и общий, так сказать, мозг – «интеллигенция», и голос для выражения ее мысли – журналистика. *Интеллигенция* в теперешнем ее значении – явление совершенно новое, и ее никак не следует смешивать со старинною аристократией, с цехами ученых, художников, писателей и т. п. Прежде, конечно, были интеллигентные люди, но не было интеллигентного общества. Разграничение профессий разобщало образованных людей и ставило их вне общегражданской жизни. Обществ было столько же, сколько сословий, цехов, профессий – и не было одного *общества* в теперешнем его политическом смысле. Развитие путей сообщения, сближение центров науки и художеств, сближение разных слоев дали пеструю социальную смесь, которая, несколько отстоявшись, выделила на поверхность совершенно новый и тонкий слой так называемой «интеллигенции» – сословия, связанного не происхождением, не профессией, не совместным сожительством, а исключительно общностью образования. В старину, когда научные и художественные центры были отрезаны большими расстояниями, а соединяющей их печати не было, не могло быть регулярного обмена мнений по текущим вопросам, почему и самых «вопросов» не существовало. Жизнь складывалась и шла сама собою, не отражаясь в чьем-либо заботящемся сознании, не направляясь общей волей. Не было связей, не было общества, не было и журналистики.

III

Очень многие стороны современной жизни зародились еще в глубокой древности, но пребывали в зародыше и не шли дальше по отсутствию путей движения; только с развитием последних и они развивались совершенно пропорционально путям. Такова, например, вся область международ-

ной жизни, путешествий, почты и пр. Сюда же относится и политическая печать.

Зародыши политической печати явились тысячелетия назад в Китае, а также в Древнем Риме, где по повелению Юлия Цезаря издавались так называемые «acta diurna» – ежедневные записи с отчетами о заседаниях сената и о крупных общественных событиях; здесь помещались описания похорон, пожаров, сражений, смертных казней, общественных игр и т. п. По словам Диона Кассия[1], Агриппина[2], мать Нерона, ввела обычай оглашать в acta diurna имена всех лиц, представлявшихся к ней. Экземпляры этих зародышевых газет рассылались по провинциям. Цицерон упоминает о некоем Crestius, быстром переписчике acta diurnal, приобретшем себе этим славу. Но зародыш, несмотря на видимую потребность тогдашней жизни в газете, так и остался в зачатке и вскоре даже захирел. В Венеции в Средние века издавались рукописные «Foġli d'avisi» – листки объявлений, представлявшие собою хронику жизни Венецианской республики. Они просуществовали довольно долго и даже с изобретением печати оставались рукописными в видах большей свободы передачи известий и обсуждения событий. Такие же рукописные листки получили большое распространение в Голландии, Италии, Франции, Англии и Испании.

Но даже изобретение машинного печатания при плохих путях того времени почти не повлияло на рост периодической печати. Во Франкфурте или Антверпене в первый раз такие листки получают название газеты (Gazzetta, Gazeta, Gaceta, Gacceta – по имени монеты, за которую они покупались); они назывались также курантами и т. п. Отрезанная от соседних центров огромными расстояниями, ежедневная печать задыхалась в кругу мелочных, местных интересов. Зачем, в сущности, для небольшого города газета? Ее роль удовлетворительно выполняет сплетня, ежедневное живое общение обывателей, без всякой редакции и цензуры перемывающих косточки друг друга и знающих лучше всякой газеты наизусть всю подноготную своего муравейника.

Периодическая печать сделалась возможна лишь с усовершенствованием путей. До шоссейных дорог типическими представителями печати были книги, эти «корабли мысли», по чудесному выражению Бэкона; как и настоящие корабли, они достигали читателя в неопределенные сроки. Затем являются годовые альманахи и сборники, путешествовавшие до читателя иногда целыми месяцами. Но с развитием путей ритм общественной жизни делается все быстрее. Годовые альманахи вытесняются ежемесячниками, те – еженедельными газетами, выходившими раз, два или три в неделю, и, наконец, ежедневными газетами: железные дороги дали возможность рассылать почту на произвольные расстояния с точностью нескольких минут срока. Там, где журналистика особенно развита, там газеты издаются уже по два раза в день, утренним и вечерним изданиями, а в дни сенсационных событий – парламентских выборов, смерти правителей, возмущений и т. п. – газеты выпускают прибавления по нескольку раз в день. Дойдет, быть может, до того, что день будет считаться слишком долгою единицею для передачи известий и подобно тому, как в квартиры обывателей проводят нынче воду, газ, электричество, сжатый воздух, тепло (а в Америке даже молоко и пиво по особой системе труб), не в далеком будущем будет стоить только прижать кнопку квартирного фонографа, чтобы он пересказал вести последнего часа, последних десяти минут.

Когда паровое сообщение оказывается недостаточным, является сообщение бесконечно быстрейшее – телеграф, деятель, еще более могучий в жизни нынешнего общества, чем железная дорога, которая, сказать кстати, без телеграфа была бы парализована. Телеграф делает газету вездесущим и всеведущим существом; по выражению персидского поэта, «телеграф превращает мир в совещательный зал человечества».

До какой степени журналистика зависит от путей сообщения, доказывает, между прочим, совершенная параллельность в развитии печати и железных дорог. Чем страна богаче дорогами, тем более в ней периодических изданий, и наоборот.

Северная Америка, например, выстроила более 240 000 верст железных путей, и в ней издается до 17 000 газет, то есть в обоих случаях почти столько, сколько во всей Европе, вместе взятой, хотя население Соединенных Штатов немногим больше населения одной Германии.

Впрочем, кроме непосредственного передвижения периодической печати (в одной Америке она весит ежегодно более 12 миллионов пудов груза), пар присутствует, так сказать, при самом рождении печати, и без него она была бы механически невозможна. Во-первых, только пар дает возможность вырабатывать десятки миллионов пудов бумаги ежегодно, а если нужно, и ежемесячно. Во-вторых, только стихийною, космическою силою можно отпечатывать миллиарды экземпляров, облетающие весь свет. Сто лет тому назад типографии работали с помощью ручного гуттенбергова станка и при самой усиленной работе могли отпечатывать всего от 60 до 100 листков в час, так что ежедневная газета уже в силу этого могла иметь не более нескольких тысяч подписчиков. В 1830 году были введены механические станки с обратным движением и маховиком. Эти машины могли печатать до 600 газетных листов в час, и все тогда дивились невероятному прогрессу в типографском деле. В 1851 году была устроена первая скоропечатня Кёнигом и Бауэром[3] в Оберцелле и применена к печатанию лондонского «Times». Но сравните это чудо с новейшим скоропечатным станком американского «New York Herald»'а. Эта машина отпечатывает, разрезает и фальцует в один час *сорок восемь тысяч* экземпляров журнала в восемь страниц. Но вот у той же газеты является новейшая машина – «Гоэ и комп.», отпечатывающая и фальцующая девяносто тысяч экземпляров в час формата 80 х 58 см. Подсчитайте арифметически: ведь это выходит в минуту 1500 экземпляров и в секунду – 25, то есть машина выбрасывает 25 экземпляров, отпечатанных, обрезанных, сфальцованных и сосчитанных в промежуток времени, в который вы едва успеете произнести: раз, два, три.

Если бы не пар и электричество, преобразившие станок Гуттенберга в какой-то фонтан печати, даже, если хотите, в

вулкан, извергающий целые тучи газетных экземпляров, журналистика не имела бы, может быть, и десятой доли своего распространения. Любопытный расчет делает французский экономист Гид (Guide) о том, чего бы стоило издать один номер «Figaro»[4] при первых средствах письменности. Один номер «Figaro», изданный в формат книги in 8°, дает 240 страниц текста; печатая же газету в количестве 100 000 экземпляров в течение каждой ночи (6 часов), типография в общем отпечатывает 23 миллиона страниц. Чтобы выполнить эту работу триста лет тому назад в те же шесть часов, потребовалось бы по крайней мере 500 000 переписчиков и огромный город для их помещения. Теперь же при помощи машин для всей работы требуются лишь сто человек.

Другой подобный же расчет. Редактор одной филадельфийской газеты задался вычислить: сколько требуется времени для того, чтобы превратить дерево, растущее в лесу, в газету. По его расчету, на срубку дерева и распилку в количестве $1^1/_2$ сажен достаточно 3 час. На превращение его в бумажную массу с доставкою леса на фабрику нужно 12 час. На самое изготовление бумаги – 5 час. На доставку бумаги в типографию – 1 час 20 мин., на смачивание –30 мин., на отпечатание 10 000 экземпляров «Philadelphia Record»[5] – 10 мин. Таким образом, на все превращение дерева, растущего в лесу, в газету достаточно 22 час. – быстрота почти овидиевых метаморфоз. То, чего люди не могли бы выполнить и в сотой доле при самых бесконечных напряжениях, новая порода рабов и домашних животных – машины – выполняют с чудесной легкостью и быстротой.

Тем не менее, несмотря на эти условия, дающие возможность произвести бумажный поток в любой местности или стране, журналистика далеко еще не всюду распространена, и колебания цифр в этом отношения поразительны. Живя, например, в России, нельзя составить себе и приблизительного представления о том, что такое газета где-нибудь в Париже или за океаном. Позвольте привести «немножко статистики», оговорившись, что эта «наука точности» и здесь, как во многих других областях, дает только приблизительные сведения.

IV

По приблизительному расчету, число издающихся на земном шаре журналов достигает $70^1/_2$ тыс. – вдвое более, нежели издавалось десять лет тому назад. Насколько быстро растет печать именно в наши дни, показывает развитие на Западе: во Франции, например, перед франко-прусской войной было всего до трех тысяч изданий, теперь же – до пяти с четвертью тысяч. В Соединенных Штатах за тот же период число изданий почти утроилось (с $6^1/_2$ до 17 тыс.). *Половина всей печати на земном шаре издается на английском языке*, что одно уже обеспечивает этому языку мировое преобладание в будущем. Североамериканцы читают втрое более, нежели образованнейшие из европейцев – англичане (ок. 6 тыс. изданий), немцы (ок. $5^1/_2$ и французы (ок. 5 тыс.) и в сорок или пятьдесят раз больше, нежели русские (712 изданий, из них на русском языке 540).

Россия в журнальном отношении стоит на конце хвоста культурных народов, далеко ниже, например, Швейцарии, Канады с ее 3-миллионным населением, Японии и даже Турции, где на втрое меньшее население печатается более 300 изданий. В Соединенных Штатах одно издание приходится на <4,25> тыс. человек, в Швейцарии – на 7 тыс., во Франции и Англии – на 22 тыс., в Пруссии – на 26 тыс., в Италии – на 54 тыс., в Испании – на 75 тыс., в Австрии – на 100 тыс., в России – на 140 тыс. человек. Так как Россия и Австрия охватывают собою почти все славянство, то оказывается, что *слово*, по крайней мере печатное, наименее в чести у *словен* и наиболее – у *немцев*, которых наши предки считали, судя по названию, бессловесными. По чистой совести мы должны бы называть теперь, наоборот, себя немцами, а их – «словенами».

В предыдущем расчете изданий речь идет об их количестве; если же пошла бы речь о качестве, то припомним, какой огромный процент у нас составляют губернские, епархиальные, областные и т. п. неудобочитаемые ведомости, выводы оказались бы еще менее в пользу русского слова. Они ока-

зались бы еще скромнее, если бы подсчитать число не изданий, а выпускаемых экземпляров их у нас и за границей, а также объем изданий наших и тамошних. Из какого-нибудь одного экземпляра английского или американского левиафана печати, «Таймса»[6] или «Геральда»[7], можно бы накроить целую сотню «политических, общественных, литературных и ученых» чухломских вестников или пошехонских листков. За единицу сравнения в журналистике следовало бы брать даже не число изданий, не число страниц или строк, а, как в типографиях, – число букв; тогда ввиду чрезвычайно мелкого шрифта англо-американских изданий и крупного шрифта наших общие выводы журнальной статистики получились бы еще более грустными для нас.

При нашей малоразвитой культуре и всего нескольких десятках ежедневных политических газет, питающихся преимущественно от стола иностранной же печати, мы и представить себе не можем размеров влияния газет на Западе, их социальной и государственной роли. Печать в передовых странах входит в самые основы общественной жизни, в организм ее; внезапная приостановка печатных машин повергла бы, например, Америку в настоящую катастрофу. Это было бы ужаснее, нежели уничтожение парламента, так как истинный парламент демократических стран – не палаты, где говорят несколько сотен представителей народа, а именно печать, где говорит весь народ, откуда идут направляющие правителей течения, где критикуются, сочиняются и отвергаются законы, прежде чем они попадут в палату; в палатах, собственно, все дело сводится к утверждению уже состоявшегося решения, к приложению подписей. Печать на Западе – всенародное вече, перенесенное с улиц и площадей на бумагу. Как на древнем форуме, среди дружеской болтовни, шуток, смеха, гремели речи ораторов, раздавались аплодисменты и проклятия враждебных партий, нередко кончавшиеся потасовкой, и как среди этого пестрого шума решались важнейшие вопросы законодательства и войны, так и в современной печати из хаоса газет вырабатывается общественное мнение,

эта верховная воля демократии. Остановите газеты – невозможна будет выборная агитация, невозможны будут выборы, никакая ни внутренняя, ни внешняя политика, ибо, если в старину, когда население было втрое-вчетверо меньше, а правящий класс состоял из десятков тысяч дворян и кучки придворных, править страною было можно без затруднений, то теперь, когда на сцену выступают несметные, прежде безгласные массы, когда в стране чуть ли не столько же владык, сколько и подданных, между ними, безусловно, необходим непрерывный обмен сношений, необходима густая нервная сеть, покрывающая страну и методически отражающая в себе и объединяющая все отдельные мнения и воли. Ритмический характер журналистики, ежедневный, подобно морскому приливу, наплыв газет на читателя именно и доказывает, что печать вошла уже в организм общества, что она отправляет важную функцию, сходную с ролью сердца, если говорить об идейном организме нации, об общественном сознании.

Но, кроме собственно политической роли, печать на Западе играет и огромную социальную роль. Там, где каждый гражданин призван судить о больших и малых интересах отечества, где борются за власть огромные партии, вторгаются эгоистические, вооруженные чудовищною силою интересы капитала, – там борьба за существование есть уже не борьба, а битва, и в этой беспрерывной свалке вы поминутно рискуете попасть под чьи-нибудь колеса. Некогда скрепленные насильно и закрепощенные друг другу общественные элементы теперь освобождены, и в результате получилось невероятное брожение, до крайности облегченное усовершенствованными путями передвижения. Прежде человек не слишком отличался от растения: где кто родился, там, не выходя из родного околотка, и умирал. Нынче сидят на месте одни больные да глупые. Все ищут лучшего спроса, спешат наперебой с предложением, и здесь печать является могучим средством для общения между людьми. Питаясь электричеством телеграмм и летая на крыльях пара, газета представляет совершенный из путей сообщения – она дает возможность почти даром

(2-3 копейки в день) следить за всем, что делается на нашей планете (и даже на соседних), дает возможность слышать тысячи требований на всякий труд и заявлять свое предложение сразу в сотне тысяч углов государства. Газета – агент каждого своего читателя, представитель его в политике, науке, литературе, искусствах, она постоянный посредник между единицею и обществом. Для недостаточного, рабочего человека газета является истинным благодетелем, и в Америке, например, огромное большинство читателей газет – низшие классы; с развитием грамотности и элементарного образования то же замечается и в Западной Европе.

Но кроме политической и социальной роли, газеты выполняют попутно еще одну великую – *просветительную.* Газета – истинный университет новейшего времени, бесконечная энциклопедия, бесконечный курс школы по всем отраслям знаний, дающий в растворенном, так сказать, состоянии массу легкоусвояемых сведений. Эти сведения, многократно повторяясь во всевозможных сочетаниях, наконец, заучиваются. Ежедневное чтение хорошей английской газеты, например «Herald'a», где текст пересыпан бесчисленными пояснительными рисунками, не только упрочивает школьные знания, но поднимает их и держит на уровне современности. Внимательный, интеллигентный от природы рабочий через несколько лет чтения такой газеты делается совершенно образованным человеком: более образованным, нежели иные педанты-профессора, очень ученые в своем предмете, но круглые невежды во всех остальных. Такой рабочий более универсально образован, чем заурядный университетский слушатель, долбящий «право» или ассирийский язык. Газета – я говорю о хорошей, настоящей газете – является, таким образом, агентом самой науки, органом высших откровений человеческого духа, передающим эти откровения в глубь народной массы. Как желудочные ворсинки извлекают питательные элементы из пищевого груза, так газеты извлекают из ученого сырья то, что имеет действительный интерес и значение. Журналистика – такое же продолжение науки, как продолжение политики, столько же кафедра, сколько трибуна.

Впрочем, трудно было бы очертить поистине безграничную роль журналистики, если вспомнить о специальных журналах – от философских и религиозных до охотничьих и кулинарных, от посвященных бессмертию души до парижских мод – какой только потребности не удовлетворяет этот гений современного общества – периодическая печать! Каждый специальный журнал есть настоящая академия по своему предмету с тем отличием, что академия чаще всего собирает ученый материал для архивных крыс, тогда как журнал передает его в живое обращение публики. Нелишне заметить, что и ученые академии поставлены в необходимость издавать свои журналы («Бюллетени», «Труды», «Ежегодники» и т. п.), и отнимите у них журналы – они тотчас превратятся из копей науки в кладбища ее. Следовало бы сказать два слова об огромной услуге, которую оказывает журналистика литературе, поэзии и искусствам, служа их ежедневною пропагандой. Удовлетворяя всем культурным целям в отдельности, печать выполняет в то же время великую нравственную миссию: в наше переходное время, полное хаоса и развалин, среди общего брожения умов печать в качестве общей школы, общей almae matris, служит могущественным объединяющим началом. Чтение создает одно миросозерцание, одну культуру; оно сплачивает человечество в одно великое братство.

V

Журналистика – профессия молодая и могущественная (по крайней мере, на Западе), но уже в достаточной степени опороченная в глазах общества. Слово «журналист» звучит как нечто сомнительное. «Ах, журналист! – мелькает в уме читателя. – Пять копеек за строчку» – нужды нет, что есть журналисты, получающие генеральские и министерские оклады, есть и такие, которые не берут вовсе платы. Ряд представлений, слившихся в понятие «журналист», звучит далеко не тем благородным аккордом, каким до сих пор звучат, например, понятия «рыцарь», «пророк», «поэт», – а каким-то

жидким и странным диссонансом. «Журналист» еще ничего, а вот слово «газетчик» – иного, кроме ругательного, значения и не имеет, если применяется не к разносчикам газет. Надо заметить, что не одна журналистика опорочена. Выражения: «Ты, брат, однако ж, художник!» или: «Ты, я вижу, артист, любезнейший!» – доказывают, что служителям муз вообще не везет во мнении публики. Не так давно, после ряда скандальных процессов, где героями являлись продажные адвокаты, после ряда крушений и хищений на железных дорогах, после появления в обществе алчных врачей, тупиц-педагогов и т. п. – звания адвоката, инженера, педагога на известное время приобрели неблаговидный оттенок. «Балалайкин», «софист XIX века», «прелюбодей мысли», «кукуевец», «инквизитор» (в применении к учителям) – столько же известны, как «разбойники пера» и «мошенники печати». Новая аристократия, интеллигенция всех родов не только не пользуется тем глубоким почетом, каким пользовалась старая аристократия, но, наоборот, довольно часто терпит пренебрежение и даже презрение со стороны публики. Впрочем, и древние, и, казалось бы, особенно почетные профессии, какова, например, духовная, не пользуются подобающим уважением.

В этом пренебрежении публики есть, конечно, много несправедливого, объясняемого тупостью толпы, но есть большая доля и справедливого. С одной стороны, большинство людей постигают только внешнее превосходство, давящее и кричащее, превосходства же интеллектуального, тонкого, часто не замечает вовсе. Мешок денег, мчащийся на рысаках, приводит обывателя в восторг, возбуждает благоговейное желание поклониться, без тени какой-либо корысти, тогда как заслуженный ученый в порыжелой шляпе или художник, плетущийся пешком, для обывателя нечто вроде бродяги. Идейные профессии дают «пророков в отечестве своем»: их внутреннее достоинство слишком шире среднего понимания и потому не вмещается в нем.

Чувство одиночества всех истинно одаренных людей вылилось у Пушкина в удивительном стихотворении: «Поэт, не

дорожи любовию народной». Чем выше гений, говорящий в человеке, тем он менее осязаем толпою. Взирая с вершин мысли, небожители иногда видят коленопреклоненную толпу, но чаще замечают восторг перед каким-нибудь золотым идолом. «Боги» одиноки; они недоступны пониманию и потому миру чужды. Журналисты по призванию своему принадлежат, несомненно, к «небожителям», они стоят у вершин сознания, и возвышенный смысл их работы не всем понятен. Вот одна из причин, почему не ценят журналистов. Но только одна из причин. В гораздо большей степени, как и другие идейные профессии, журналистика несет заслуженное пренебрежение. Она, как она есть, и действительно не привлекательна. Вместо «небожителей», как и среди ученых, поэтов, монахов, учителей, публика подмечает в журналистах довольно-таки пошлых, земных полубогов, сатиров и фавнов, родство которых с олимпийцами очень сомнительно. Большинство журналистов – совершенно те же, как и публика, «простые смертные», с такими же животными, растительными и даже минеральными, если угодно, инстинктами (если припомнить каменное по черствости сердце иных публицистов и бытописателей). Виноваты в этом не сами профессии, а люди, вторгающиеся в них без призвания, без заветных целей, с одними лишь низменными аппетитами, люди, подрывающие корни дуба, который их питает. Журналистика плоха потому лишь, что она не есть журналистика, что она изменила самой себе, что, будучи орудием великих общественных задач, она часто превращается в орудие мелких и личных интересов.

VI

Журналистика разделяет участь всех великих приобретений цивилизации. Благотворными открытиями быстрее успевают пользоваться не светлые силы общества, а темные, для борьбы с которыми эти открытия и придуманы. Возьмите книгопечатание, компас, гражданскую свободу, железные дороги и пр., и пр. Книгопечатание имело в виду распространять

истину, компас – сближать народы в одну семью и т. д., и эти благие цели в некоторой мере достигаются. Но еще, кажется, успешнее достигаются цели противоположные. В течение веков большинство распространяют ложь, а не истину. Компас указал людям не столько друзей и братьев, сколько жертв истребления и хищничества: благодаря магнитной стрелке стерты, как плесень, с лица земли целые расы и целые племена были повергнуты в жестокое рабство. Открытие пара, развитие машинной техники и проч. не столько обогатило земной шар, сколько разорило: не только у нас, но и в Америке, Австралии и в самой Европе идет губительный разгром природы, разорение вековых лесов и степей, истребление животного мира, из которого множество пород уже исчезли навсегда. Наконец, возьмите гражданскую свободу, этот благодетельнейший из даров нашего века. Эту свободу выносили в своем сердце благороднейшие из людей, но когда это благо явилось в свет, его сейчас же пристроили к своей пользе не столько добрые, сколько дурные элементы общества. Из всех углов общества и щелей поднялись хищные инстинкты, сейчас же овладевшие всеми средствами свободы, чтобы связать общество. Вместе с другими великими средствами прогресса подчинилась темной власти в обществе и печать. Истинная интеллигенция и здесь выпустила из рук то, что принадлежит ей по праву; журналом овладели средние люди, и они внесли в печать то, что в себе имели: низменные цели, жалкие вкусы, всю ложь и суету, против которых, собственно, печать призвана бороться. В тех странах, где печать, как в Америке, вошла в организм толпы и сделалась предметом первой необходимости, она представляет материальную ценность, как всякий товар, и конкуренция держит этот товар, как и прочие, на известной высоте даже идейного совершенства; но и отличная печать с талантливыми, образованными сотрудниками, как и дорогой шелк или бронза, – к услугам каждой партии и способна продаваться кому угодно. Есть, конечно, небольшое число журналов и газет серьезных, помнящих свое нравственное и просветительное призвание. Но ни капитал, ни талант далеко не всегда на их стороне.

VII

Да, как это ни печально, журналистика есть лишь известный промысел, торговый обмен мыслей на деньги, на комфорт или общественное положение. Печатание газет не только внешним образом напоминает печатание ситцев: здесь есть и внутреннее, общепромысловое сходство: то же подлаживание под вкусы потребителей, тот же дешевый и гнилой товар, выбрасываемый в толпу целыми массами для очень недолгого употребления. Типическая газета или журнал представляет фабрику, где на капитал издателя приобретены машины, наняты рабочие – добывающие (репортеры) и обрабатывающие (хроникеры, случайные сотрудники), нанят главный мастер – редактор, сам не работающий, а лишь направляющий работу, и в результате работы получается столько-то пудов или вагонов товара, ежедневно отправляемого постоянным заказчикам или для продажи случайным покупателям. Все характерные черты промышленности налицо, как и конечная цель всякого промысла – нажива. В патриархальной провинции есть еще милые читатели, которые до сих пор не утратили старинного, почти религиозного почтения к печатному слову. Сказать такому читателю, что основное побуждение, двигающее, за редкими исключениями, печатью, – это нажива, он сочтет <эти слова> за кощунство, а между тем это горькая правда. В доказательство этой правды позвольте привести несколько фактов из закулисной, бухгалтерской стороны печати, из тех сфер, где подсчитываются итоги словопромышленности. Эти сферы обыкновенно облечены непроницаемым туманом, но я воспользуюсь теми данными, которые уже проникли в печать. Они и не проникли бы, пожалуй, в печать, если бы по существу торгового дела не требовалась некоторая огласка. Для издания газет, как и для фабрикации ситцев, часто устраиваются акционерные общества, правления которых обязаны отчетом перед акционерами. Заглянем же в отчет одной подобной акционерной газеты – парижского “Petit Journal”[8] – типической представительницы промышленной газеты вообще.

Основал эту газету прогоревший на биржевой игре банкир Милло, в котором едва ли можно, конечно, заподозрить «призвание» к литературе или просветительные цели. Руководителем газеты он взял известного Эмиля де Жирардена[9] – талантливого журналиста, который мог бы издавать вполне порядочную газету, но предпочел продать себя для издания уличной газетки. Жирарден первый применил к печати коммерческий расчет удешевления товара. Он сразу понизил розничную цену до $1^1/_4$ копейки за номер (5 сантимов) и сразу уловил несколько сот тысяч новых читателей. Редакция совершенно сознательно приспособилась к вкусам своей публики. Она начала печатать пустенькие элементарные передовички, отнюдь не задевая больших вопросов, никогда не примыкая ни к одной партии и ко всем сильным мира проявляя почтительность. Главным содержанием газеты была скандальная хроника: убийства, грабежи, разоблачение интимных тайн; но кроме розничной поставки скандалов, редакция открыла у себя еще целую Калифорнию уголовщины. В фельетонах газеты начали печататься знаменитые романы à la Рокамболь с невероятными мошенничествами, смертоубийствами, подлогами, ограблениями и пр., и пр. Изо дня в день в течение круглого года и целого ряда лет Эмиль де Жирарден с компанией талантливых подмастерьев слова (Понсон дю Террайль[10], Ксавье де Монтепен[11], Эмиль Ришбург[12]) держали миллионы читателей в напряженном состоянии, как Шехеразада своего шаха, развертывая бесконечную нить чудесных приключений любовно-уголовного характера. У читателей, как у сказочного шаха, успевали нарождаться дети, а конца приключениям не было. Когда же уставший автор Рокамболя пробовал было поставить точку и заставил своего героя умереть, на другой день сотни тысяч читателей “Petit Journal” чуть не произвели бунт, и редакция принуждена была по соглашению с автором объявить о начале нового романа – «Воскресший Рокамболь». Коммерческий результат этой газетной операции был блестящий. До сих пор “Petit Journal” – самая распространенная во Франции газета; в 1889 г. она выпускала более миллиона

экземпляров, и валовой доход ее превысил 14 250 000 франков – бюджет маленького королевства. Любопытны и отдельные стороны баланса. Из $14^1/_4$ млн. франков 11,5 млн. дала розничная продажа и только 0,5 млн. франков – подписчики. Вы видите, что газета превращается совершенно в мелочный товар, который покупают, как папиросы в первой лавочке. Далее: $2^1/_4$ млн. дохода (почти 17%) получалось от объявлений; расходы по изданию достигали $9^3/_4$ млн., причем всего дешевле стоила литературная сторона – редакция и сотрудники, обошедшиеся не больше чем объявления (866 тыс. франков), и несравненно меньше, чем бумага и печатание. Бумага стоила около 3 млн. франков, рассылка и разноска – более 2 млн., печатание – 1 ¾ млн. и т. д. Мизерный расход на сотрудников показывает ничтожную литературную ценность газеты; очевидно, газета может процветать и без участия сколько-нибудь порядочных литературных сил. Акционеры «Petit Journal» получили по 75 франков дивиденда на 500-рублевую акцию и распорядительный совет – более 100 000 франков. Тем не менее, так как это дело коммерческое, то жадности предпринимателей нет предела. Они придумали новые приманки для публики: редакция объявила, что берет на себя труд покупать и продавать на бирже процентные бумаги своих подписчиков. Приманка подействовала: в следующем, 1890 году, чистый доход “Petit Journal” достигал $5^1/_4$ млн. франков. За “Petit Journal” тянется целый хвост менее уличных изданий не лучшего, если не худшего сорта: “Petit Parisien”*, “Gil Blas”[13], “Petit Marcellais”*** и др.

Но, может быть, *большая* пресса отличается серьезностью и достойно служит обществу? Из большой печати всех распространеннее не серьезный «Temps»***, «Journal des Dèbats»[14], а виляющий и беспечный «Figaro», орган бульварной интеллигенции. Он тоже принадлежит акционерной компании и тоже

* «Маленький парижанин» (фр.). – парижская газета, выходила с 1876 г. по август 1944 г. – *В. Т.*

** «Маленький марселец» (фр.). – *В. Т.*

*** «Времена» (фр.). – *В. Т.*

дает (как в 1889 г.) шесть миллионов франков чистого дохода, причем и здесь собственно литературные расходы на издание составляют наименьшую статью.

В 1889 г. во Франции издано 197 млн. экземпляров периодических изданий, и число их быстро растет, прибавляясь ежегодно почти по десяти миллионов в последние годы. Даже по внешнему механизму журнального дела оно все более и более принимает фабричный тип. Если наши российские редакции все еще ютятся в частных квартирах из одной-двух комнат для редактора и конторы, то на Западе даже второстепенные редакции занимают целые здания, куда сотрудники приходят не только для того, чтобы занести статью, а как в мастерскую – чтобы сесть за свою рабочую конторку и в определенный срок «сдать» определенное число строк. В Америке, где фабричность вошла в жизнь еще глубже, там редакции – настоящие фабрики. Недавно нью-йоркский “World”[15] построил себе помещение для редакции в *восемнадцать* этажей – здание высотою в Исаакиевский собор (50 саженей) и стоимостью в несколько миллионов долларов. В центральной башне здания находится кабинет редакции; тут же художественная мастерская и ресторан для служащих. Подземный этаж занят паровыми и электрическими машинами и типографией. Около ста пятидесяти квартир предоставлено в распоряжение служащих и сотрудников, штат которых достигает 1758 человек. Шесть подъемных машин – в постоянном движении, разнося по всем этажам громадного здания эту рабочую толпу. Как настоящая фабрика, редакция делится на отделения, которыми заведуют шесть специальных редакторов. На содержание одной редакции расходуется до миллиона долларов ежегодно, а стоимость всей фирмы оценивается десятками миллионов. Между тем основатель газеты, венский еврей И. Пёлитцер[16], еще в последнюю русско-турецкую войну был простым корреспондентом в Вене без всяких средств. На газетном деле, как видите, разживаются точь-в-точь с такою же быстротою, как на свеклосахарном, нефтяном и т. п. Лопаются, конечно, иногда с тою же быстротой. У нас в России при ничтожном

слое читающей публики, при отсутствии политической и промышленной жизни большинство издателей еще не вышли из кустарного производства, но и у нас бывали отдельные примеры значительных состояний как наживаемых, так (гораздо чаще) и проживаемых на газетах.

VIII

Промышленный дух летучей печати сказывается во множестве некрасивых явлений, свойственных рынку. Если конкуренция в области духа, среди великих людей, иногда сопровождается злобою и завистью (примеров тысячи), то в соперничестве материальном борьба – уже не турнир, а потасовка, где допускаются всевозможные низости. Торговля словом, как и всяким товаром, обращается сплошь да рядом в жалкое торгашество. На какие только увертки не пускаются издатели дешевых газет, чтобы уловить лишнего подписчика! Это еще самый невинный способ, если газета, как, например, “The Evening News and Post”[17], печатается на темно-розовой бумаге и патентованною благовонною типографскою краскою. Менее невинна, но все же безобидна приманка варшавского издания, предлагающего в виде премии сорок восемь билетов для входа в лучшие бани. Но, например, биржевые операции «Petit Journal», о которых упомянуто выше, – вещь посерьезнее. Даже собратья предприимчивого журнальца были возмущены этим маклачеством. “XIX Siécle”[18] прямо утверждал, что “Petit Journal” под видом услуги подписчикам систематически разжигает их инстинкты алчности; бесконечными объявлениями разных аферистов и посредничеством между ними и читателями газета разоряет сотни тысяч простаков, втягивая их в пасть Ваала. Возникали судебные разбирательства по этому поводу. На недоумение судей – что общего между газетой и биржевыми сделками, хозяин журнальца заявил, что это не более как прием привлечения подписчиков, и насколько он удачен – доказывает зависть журнальных собратьев; эти собратья последовали бы, конечно, его примеру, да капитала у них нет для этого.

Крупные столпы французской прессы тоже не чужды бирже; их заискивания перед публикой чище, но все же ничего общего не имеют с литературой. “Figaro” устроил у себя, например, бесплатное театральное агентство и даже открыл собственное почтовое отделение. Подобно тому как в больших гостиницах вы всегда можете придти в приемную, написать письмо и опустить в ящик для пересылки на вокзал, так и в редакции “Figaro” – она обязывается безвозмездно отправлять на поезд запоздавшие письма. “XIX Siécle” и “Intransigeant”[19] устроили у себя справочные конторы, которые бесплатно и печатно дают всякие сведения и даже медицинские и юридические советы. Газета Рошфора сверх того страхует своих читателей от несчастных случаев на железных дорогах. Наследникам всякого погибшего пассажира, в кармане которого будет найден номер “Intransigeant”, редакция уплачивает 500 франков, потерявшему способность к работе при том же условии – от 100 до 200 франков; постоянные же подписчики в обоих случаях получают впятеро бóльшие премии. Газета “National”[20] в виде премии выдает подписчикам револьвер. “La Cocarde”* предлагает подписчику сняться бесплатно в хорошей фотографии. “Paris” предоставляет подписчикам 25%-ную скидку в одном оптическом магазине, “Mati”[21] – такую же скидку при покупке вина в одном погребе, и т. д. Странная связь газет с оружейными и оптическими магазинами, фотографиями, винными погребами, банями и т. п. объясняется часто тем, что издатель органа общественного мнения оказывается в то же время и содержателем бань, пайщиком в оружейной или винной торговле. В Париже затевается в качестве fin de siécle** газетного дела небывалый орган: газета-копилка или газета-лотерея. Называется она “L’Assurance Populair”. В каждом экземпляре листка, в верхнем углу под заголовком года, месяца и числа будет отпечатан билетик с номерами серии и билета. Каждый четверг будут разыгрываться все номера недельной серии проданных экземпляров. Двадцать из числа вышедших в тираж получают

* «Кокарда» (фр.). – *В. Т.*

** Конец века (фр.). – *В. Т.*

из редакции по выигрышу в 500 франков. Секрет расчета следующий. В розничной продаже газета будет стоить по 10 сантимов (2 ½ коп. золотом), но собственно на покрытие издержек набора, печатания, редакции и бумаги в Париже достаточно 5 сантимов на экземпляр, если принять в расчет объявления, которыми наводнены все сколько-нибудь распространенные издания. Итак, получается 1 ½ коп. барыша на экземпляр. Но для этого нужно очень много подписчиков, и газета рассчитывает иметь их, по крайней мере, сто тысяч. А при ста тысячах подписчиков чистый доход – 1 825 000 франков, из которых редакция и выделит 520 тыс. на еженедельные тиражи, по 10 тыс. на каждый четверг. Таким образом, каждую неделю 20 человек каких-нибудь бедняков рабочих становятся маленькими капиталистами, а в год таких счастливцев наберется больше тысячи. При известном помешательстве всех французов на рантьерстве газета рассчитывает на блестящий успех. Издатель газеты не останавливается только на выигрышах: в видах рекламы или серьезно он из оставшейся от выигрышей суммы чистого дохода обещает жертвовать 200 тыс. на особую сохранную кассу для рабочих, 400 тыс. – на кассу ссуд и 400 тыс. – на кооперативную кассу, для выдачи пособий при вступлении в ремесло. На второй уже год капиталы этих касс удваиваются, на третий – утраиваются и т. д., а с увеличением подписчиков (так как только они будут иметь право пользоваться всеми описанными благами) капиталы эти все будут расти. Основатель газеты, или великий пройдоха, или великий фантазер, – человек во всяком случае остроумный – мечтает ни более ни менее как об искоренении посредством своей газеты-лотто пауперизма*.

IX

Наша русская периодическая печать при всей зачаточности своей усердно подражает порокам заграничной; за-

* Пауперизм (книжный термин) – бедность, нищета трудящихся масс вследствие безработицы, экономических кризисов и т. п.

зыванье публики в свою лавочку соблазном всевозможных премий практикуется и у нас, конечно, насколько позволяют тощие карманы издателей. Плохими олеографиями посредственных живописцев запружена вся Россия до Берингова пролива. За потоком олеографий шло подобное же наводнение акварельной мазни, отдельные, недурные исключения из которой терялись в хаосе лубочной бумаги. Один издатель в числе премий обещал роскошные рамы для них, но рамы оказались *нарисованными* на самих картинах. Когда этот хороший способ был исчерпан, печать-дешевка налегла на «бесплатные литературные приложения» и на комиссионные слуги. Один серенький журналец за четыре рубля обещает, например, следующий воз бумаги: еженедельный иллюстрированный журнал, еженедельную политическую и общественную газету, ежемесячный журнал романов и повестей, ежемесячный модный журнал, ежемесячный музыкальный журнал, ежемесячный детский журнал, ежемесячный сельскохозяйственный журнал, ежемесячный журнал путешествий. Кажется, довольно, но редакция идет дальше: за те же четыре рубля она сверх восьми журналов дает неизбежные: ежемесячные листы модных выкроек и выпиловки, ежемесячные листы раскрашенных узоров для тамбурных и канвовых работ, стенной календарь, иллюстрированный календарь (книжка). Но и тут не конец редакционной щедрости; все за те же четыре рубля, которые редакция домогается от вас приобрести, она выдает еще: полное собрание сочинений Лермонтова, портрет Высочайшей Особы почти в аршин длины и большую историческую картину-олеографию. Правда, подписчик вместо ожидаемых «журналов» получает жиденькие листочки и тетрадочки из расползающейся на пальцах серой бумаги с полуграмотным, младенческим текстом, с печатанными, точно грязной подошвой, гравюрами, – но что же вы хотите? «Пирог, правда, с тряпкой, но за пятак не с бархатом же вам подавать!» Фантастическая реклама вылавливает из провинциального омута десятки тысяч «читателей». И издатель, тощий, как сухая палка, вдруг расцветает, как

жезл Аарона. Тотчас же у него заводятся дома, роскошные экипажи, запряженные чуть не львами, две дамы в бриллиантах и т. п. Все удивляются «успеху» нового журналиста, и большинство явно ему завидуют. Но благополучие издателя продолжается иногда очень недолго. На третий-четвертый год подписчики пропадают, точно по команде. Тщетно издатель выпускает рекламы, проспектусы и манифесты, где приглашение к подписке представляет уже вопль утопающего. Тщетно он обещает за три рубля «все, все земное»: кроме знаменитой газеты, иллюстрированного, модного и прочих журналов, олеографий, портретов, он обещает: «Даром! Полное собрание сочинений Пушкина. Даром! Собрание сочинений Лермонтова. Даром! Историю государства Российского. Даром!» – и пр., и пр. Один подобный манифест заканчивается великолепными по скромности строчками: «О направлении и достоинствах наших изданий распространяться не будем. Кто читает наши издания – сам осудит (sic!) нашу работу, а рекламировать себя самих – это не наш обычай».

Любопытно, что читатель, обжегшийся на одном фиктивном издании, не теряет веры в рекламу. Стоит выскочить свежему аферисту и сделать несколько магнетических пассов пред глазами провинциального читателя – и он снова гипнотизируется, *верит* в то, что предлагаемый кусок мела есть сахар, что грошовая оберточная бумага, замаранная типографской краской, есть «политический и литературный журнал художеств». В Москве как-то появился журнальчик, задумавший в один год ухватить сто тысяч подписчиков. Издавать его вздумал не какой-нибудь «великий писатель земли русской» с могучим притяжением таланта, а простой магазин галантерейных товаров. Магазин пустил в ход бесхитростный купеческий прием, который всегда и неизменно обманывал простодушную публику: объявить о дешевой продаже. Хозяева магазина прокричали на всю вселенную, что дают изящный иллюстрированный журнал за *два рубля* в год, цену не только низкую, но бессмысленную по дешевизне. Из двух рублей ведь нужно уплатить (по расчетам самого же издателя) восемь

гривен на почтовую пересылку, семь гривен на бумагу: значит, на гонорар сотрудникам, содержание обширного штата служащих, на иллюстрации, набор, печать, рекламы, погашение процента на капитал и проч. и проч. – на все остается полтинник с экземпляра. Все ахали и недоумевали, что же это такое: не думает ли издатель собрать подписные деньги да и утечь в Америку – бывает ведь и это. Однако дождь объявлений об издании шел непрерывно, высылались колоссальные проспектусы, первые страницы больших газет гремели колоссальными рекламами о журнальце, что указывало на громадные затраты со стороны издателей. В программе издания приводился ряд известных живых писателей. Публика не долго крепилась, очарование подействовало, и она беспорядочным стадом рванулась в Москву, в *галантерейный магазин* покупать *журнал*… Еще до выхода первого номера подписка достигла до 40 тыс. Ежегодно прибавлялось до 3 тыс. новых подписчиков – ни одного учреждения в России, не исключая Сенат и Государственный совет, не получало такой почты. Московский почтамт сбился с ног от работы с громадными тюками из типографии журнальца. Розничная продажа в первый день превзошла 12 000 экземпляров, точно это был не простой лист бумаги с плохими иллюстрациями, а манифест об объявлении войны или каких-нибудь великих реформах. Перед помещением редакции в пассаже купца Попова толпились тысячи народа, играл оркестр военной музыки и проч.

Фокус с журнальцем скоро раскрылся. Издатели цинически заявили, что журналец, конечно, будет им в убыток, но они все-таки сорвут с него барыш, так как рассчитывают, что в нем будут печатать свои объявления как галантерейный магазин издателей, так и другие коммерческие фирмы. Другими словами, предполагается не журнал, а собственно сборник реклам, к которому для приманки публики прилагаются иллюстрации и немножко литературы. В первый же год участвовать в таком поругании литературного слова нашлось $113^1/_3$ тысяч подписчиков. На второй год, правда, они схлынули; купцам-издателям пришлось увеличить вдвое подписную плату, обещать баснос-

ловные премии, наконец, пуститься на отчаянное средство: в числе премий объявить даровую раздачу купонов благотворительной лотереи. Но и это не вывезло, и «Царь-колокол» (имя журнальца) быстро рухнул со своей колокольни.

Большая русская пресса пока еще остерегается торгашеских приемов, хотя, к сожалению, почти каждая газета заводит ту или иную лавочку: то книжный магазин (в лучшем случае), то «залу депеш» (выставку галантерейных, мебельных и других товаров), то справочное бюро. У кого нет средств для торговли оптом, торгует в розницу; одна захудалая политическая газета, которая кричит ежесекундно о дворянстве и неистовствует за наше сближение с мещанской Францией, первая заимствовала оттуда самые непристойные приемы рекламы. Чтобы хоть чем-нибудь обращать на себя внимание, она печаталась задом наперед, то есть начиная заголовок с последней страницы. Рекламы папиросных фабрик печатались внутри газеты. Между двумя политическими статьями вы вдруг читаете: «Попробуйте папиросы фабрики N.! Адрес такой-то». Подписчиков издатель набирал чуть не теми же способами, как прежние прусские короли солдат: таща их чуть не за шиворот. Он ежегодно рассылал циркуляры по уездным захолустьям, довольно прозрачно намекая, что газета его – будто бы орган самых высоких сфер, что подписаться на нее – лучший признак политической благонадежности, и не нравиться газета может только изменникам отечества. Циркуляр подписывался княжеским титулом издателя и чином действительного статского советника, чтобы повлиять на уездную среду. Одно время издатель открыл при редакции справочную контору. В уезды, по волостям, земствам и пр. были разосланы циркуляры с приглашением направлять в редакцию «всякие поручения, кроме операций с деньгами и бумагами; принимаются всякие заказы, равно как и отправки их с наложенным платежом». В передовом отделе газеты печатались отчеты о поручениях; издателю приходилось разузнавать в разных учреждениях о ходе поданных прошений, высылать бритвенные принадлежности,

заказывать модные шляпки, священнические облачения и т. п. Зазывая публику, захолустные листки обещают, нимало не краснея, исследования по науке, литературе, общественной жизни, искусствам, технике, земледелию, финансам, военному и морскому делу, промышленности, торговле и т. д., и т. д. Более простодушные обещают «обратить внимание на фельетоны игривого содержания, столь нравящиеся публике», а какой-нибудь скромный «Костромской листок объявлений» заявляет, ничтоже сумняшеся, что он «представляет собою самый дешевый и удобный способ рекламировать себя артистам и всякого рода штукмейстерам».

Вместе с рекламою, заманиваньем публики и т. п. журнальное дело насквозь проникнуто и другими язвами торгашества: фальсификацией, взаимными подвохами, литературным воровством – всеми качествами, вытекающими из основного свойства промышленности – «продажности». Истинное призвание журналистики, высокий долг ее перед обществом часто служат ширмами для мошеннический оргий.

X

«Газетная утка» – это выражение сделалось нарицательным. Журналистика обогатила психологию новым видом лжи – специальной газетой. Иногда эта ложь – ошибка, небрежность, излишнее доверие к источнику передаваемых сведений, но часто это просто намеренная ложь из шутовских, а иногда и преступных целей. До каких размеров может доходить такая ложь, показывает следующий факт. Два года тому назад на дальнем Западе, в Соединенных Штатах, появилась газета «New Rome Advertiser» («Новоримский листок объявлений»). В течение целого года газета рассылалась всем желающим даром. В ней описывались настоящие чудеса относительно роста только что основанного города «Новый Рим» – одного из тех, которые американцы зовут «грибами». Обширные поляны, по словам газеты, покрывались фабриками с огромными машинами и электрическим освещением.

В первом номере газеты был напечатан вид местности и самого города, где основались уже редактор, почтмейстер, два мельника, учитель и двадцать семейств рабочих. В десятом номере сообщалось, что уже несколько тысяч семейств успели переселиться на плодородную почву. Постройки росли не по дням, а по часам; число подписчиков на газету дошло до 1500. Далее передавалось, что земля около города быстро раскупается. Через год жителей в Новом Риме считалось уже 50 000 человек. Газета нового города отличалась талантливостью; в ней были отделы: хроника местной жизни, разработка местных вопросов, борьба местных партий, судебные отчеты и пр., и пр. Заинтересовались, наконец, новым городом и в Нью-Йорке. Нью-йоркская газета “World” решила послать туда своего корреспондента. К крайнему удивлению корреспондента, на карте железных дорог он не отыскал ветви, идущей в Новый Рим; указано было только почтовое сообщение до форта Ворт в Техасе, в соседстве с новым городом. Корреспондент добрался, однако, до форта и убедился, что об искомом городе и там не имели понятия. Корреспондент отправился все-таки с упрямством янки отыскивать этот «город с 50 000 населением». После трехдневных скитаний в степи он нашел, наконец, Новый Рим. Это был одиноко стоящий блокгауз, в котором помещалась редакция, почта и все правление Нового Рима, сам же город существовал пока… в фантазии почтенной редакции. Общество, купившее землю, как оказалось, купило одновременно и газету, рассчитывая привлечь с ее помощью необходимых жителей и дельцов.

Современная газета является орудием всевозможных промышленных и коммерческих предприятий, органом финансовых королей и тузов, банкиров и т. п. Эти денежные мешки или имеют собственные газеты целыми дюжинами, или подкупают чужие в свою пользу, подкупают или очень щедро оплачиваемыми объявлениями (род взятки, практикуемый и в русской печати), или, попросту без затей, определенными субсидиями. Владея газетами, биржевики при их посредстве ведут ажиотаж – эту вечную войну, где вместо

крови льется золото, где в битву втягиваются сотни тысяч народа, где катастрофы, разорения, бесчестье сменяются чудесными обогащениями. В войне древнего типа секрет победы заключался в доблести; в современной биржевой войне он состоит в лжи и низости. Газета – этот поверенный от общества – охотно вступает в заговор против общества, изменяет ему и набрасывает на сограждан самую сеть обмана. Нужно ли устроить «твердое» или «слабое» настроение, поднять бумаги или повалить их, внушить безусловное доверие или панику – газеты за известную мзду устраивают, что требуется. Газеты, в сущности, владеют рынком не только промышленности, но и интеллектуальных профессий. Не академии, не университеты раздают дипломы на известность, а газеты. Они, рекламируя хорошо заплатившего (деньгами или натурой) артиста, художника, музыканта, могут поднять его на какой угодно пьедестал и, наоборот, могут и снять его с какой угодно высоты, для чего им достаточно одного молчания об известном деятеле.

Особенною продажностью отличаются парижские журналисты: они буквально облагают налогом в свою пользу все, что добивается карьеры или состояния. Это до того поразило нашего знаменитого художника В. В. Верещагина, устраивавшего какую-то выставку в Париже, что он не выдержал и даже «съездил» по чьей-то журнальной физиономии, предлагавшей рекламу. По словам художника, наделавшая столько шуму продажа картины Милле[22] по баснословным ценам есть простой мошеннический подвох, где путем дутых цифр, несуществующих покупателей, при помощи печати публика вводилась в стадный обман и попросту обиралась продавцами. К услугам же печати для внушения своих идей публике прибегает и дипломатия, для которой «язык служит лишь затем, чтобы скрывать свои мысли». Против общественного мнения выдвигается иногда хитро обдуманная и последовательная система официальной лжи. Припомните «панамскую историю». Акционерная компания со знаменитым Лессепсом[23] во главе задумала прорыть Панамский перешеек,

соблазнившись успешным прорытием Суэцкого <канала>. Потребовался огромный капитал, чтобы привлечь его, нужны были объявления, рекламы, поддержка печати. Хозяева предприятия обнаружили готовность «благодарить» журналистов за услуги, и вот целый ряд газет («Petit Journal», «Semaine Financière»[24] и др.) бросились на подачки с алчностью собак. В бюджете компании открылась особая ассигновка на подкуп печати (frais de publicité)*, достигшая в общем *двадцати миллионов* франков! Треть каждой подачки платилась заведующему биржевым отделом газеты, треть – редактору и треть – издателю. Заведующий раздачей взяток Фонтань пробовал платить только одному редактору каждой газеты половину всей положенной дани, но газеты так набросились на компанию, что пришлось сменить Фонтаня и вернуться к прежнему порядку. С каждою неудачею компании требования газет становились все более наглыми. *Молчанием* об известном предмете журналисты зарабатывали больше, чем писанием статей о нем. Один хозяин газеты регулярно являлся в кредитные учреждения и объяснял, что он желал бы увеличить капитал своей газеты, что у него есть свободных акций тысяч на 50-60, которые он «предлагает» купить. Другой приходит и говорит, что у него есть на 25 000 векселей, которым наступает срок. Если он не уплатит – газета погибла. А сегодня утром ему принесли статейку, которую он не пожелал напечатать, но оставил рукопись у себя… Третий прямо требует подачки. Лессепс на суде говорил: «Мы сделались жертвами настойчивых вымогательств, которым нельзя было отказать, как нельзя отказать разбойнику в лесу, когда он требует у вас часы». «Этому разбою, – говорил защитник Лессепса, – подвергаются не только частные учреждения, но и государство, которое дает ему своего рода санкцию, упрочивая за ним характер постоянной службы: ассигновывается ежегодно секретный фонд для раздачи газетным редакциям и отдельным журналистам». Подобная же постоянная ассигновка на подкуп печати существует у множества подозри-

* Издержки на рекламу (фр.) – *В. Т.*

тельных учреждений, банков, игорных домов и пр. Знаменитая рулетка в Монако платит парижской печати миллион франков ежегодно… Немудрено, что и панамская компания назначила 1% всех расходов по выпуску бумаг специально на подкуп печати. Первым редактором, введшим продажность в обычай, был Эмиль де Жирарден, давший теорию «la presse industriell», теорию «publicité»*. Газеты стали заводить особых агентов, caurtiers de publicité, которые добывают объявления и «платные» статьи**. Чтобы имя редактора оставалось неизвестным, употребляются безымянные чеки. Чеки и деньги по ним передаются в глухо запечатанных пакетах. Кроме правильной дани, большие суммы тратятся на зажимание рта отдельным шантажистам. «Всякий раз, когда производится выпуск облигаций любого финансового или промышленного предприятия, целые оравы газетчиков бегали по бульварам и толпились перед кредитными учреждениями, где производилась подписка. Здесь они выкрикивали самые сногсшибательные заголовки статей, направленных против предприятий». Пришлось запретить подобные приемы особым законом.

От «панамского скандала», как перла в своем роде, потянулось целое ожерелье журнальных разоблачений. Фирма «Аллэ» пыталась обмануть военное министерство в поставке уже забракованных вещей. Попытка была открыта, обществу грозило преследование за мошенничество. Тогда пять парижских газет составили «синдикат» и предложили фирме за взятку в 100 000 франков замять дело. Фирма согласилась и уплатила часть денег. Но тут вмешались завистливые собратья – и предприятие не удалось. Редакциям пришлось возвратить взятку. Главный редактор газеты “XIX Siécle” Порталис[25] проведал через выгнанного из разных клубов шулера о тайнах этих клубов. Директор одного из них Бертран, замешанный в крупной истории о ростовщичестве, испугался; он собрал других обличаемых директоров и предложил им составить особый фонд для подкупа печати. Директора от-

* Промышленная (коммерческая) пресса, теория рекламы (фр.) – *В. Т.*

** Рекламных агентов (фр.) – *В. Т.*

казались, и тогда на них была поднята травля. Бертран же заплатил Порталису 40 000 франков и обязался уплатить еще столько же. Один из обличаемых подал жалобу на Порталиса, и когда тот увидел, что не миновать тюрьмы, он бежал из Франции. Следствие открыло целую шайку шантажистов, к которым принадлежали шесть редакторов газет (и в том числе одной официозной). Раскрылось, что Порталис держал при редакции специального шантажиста, который в случае неудачи и отсиживал все тюремные сроки. Порталис пользовался услугами даже сыскной полиции для сообщения компрометирующих материалов. Уловленные жертвы давали по 200–400 000 франков «за молчание». В кассе “XIX Siécle” оказалось до 1 800 000 франков, полученных от разных фабрикантов, содержателей игорных домов и разных притонов. По утверждению “Figaro”, Порталис ухитрился получить с генерала Буланже[26] 25 000 франков с поручением нападать на правительство и столько же – с министра внутренних дел Констана[27] с поручением защищать правительство и нападать на Буланже. Прокурор назвал на суде почтенного редактора прямо «разбойником, ни заслуживающим ни малейшего снисхождения». По утверждению Бловица[28], корреспондента “Times”, все иностранные правительства, кроме английского, держат парижскую печать на откупе; например, при германском посольстве было устроено особое бюро печати, там известный немецкий писатель Рудольф Линдау[29] несколько лет состоял на службе со специальной целью – держать открытый дом для французских журналистов.

До чего доходит журнальное мошенничество – показывает следующий случай. Появились не так давно два издания: “La France Commerciale”* и “L’Union Sociale”**. Оба близко походили друг на друга по программе и содержанию с тою лишь разницею, что это были смертельные враги и держались абсолютно противоположных мнений. Стоило редактору одной газеты Дюшателю сказать «да», чтобы ре-

* «Деловая (коммерческая) Франция» (фр.) – *В. Т.*

** «Социальный союз» (фр.) – *В. Т.*

дактор другой – Дюмон ожесточенно провозгласил «нет». Газеты держались отдельных промышленных округов и искусно сеяли раздоры между ними. Дюшатель отстаивал один округ, Дюмон – другой; полемика между ними отличалась крайней страстностью и переходила в личные оскорбления и ругательства. Наконец, Дюшатель в своей газете обозвал Дюмона литературным мерзавцем и пригласил к барьеру, обещая в случае отказа надавать ему пощечин при первой встрече. Но так как оба редактора усиленно вымогали субсидии с отстаиваемых промышленных округов, то тут случился какой-то грех, заинтересовавший и прокурорский надзор. Возникло дело, и тут обнаружилось, что г. Дюшатель, редактор “La France Commerciale”, и г. Дюмон, руководитель “L’Union Sociale”, – *одно и то же лицо*; что он единолично основал обе газеты и в одной распинался за то, что в другой горячо опровергал; что не кого иного, а самого себя он ругал литературным мерзавцем и самого себя же вызывал на дуэль, все с нехитрой целью брать субсидии как с одного промышленного округа, так и с другого*. Таковы нравы французской печати. За этими разоблачениями последовал ряд других – и им конца не видно. Если наука и литература прославили Францию на весь мир и поставили ее впереди цивилизации, то журналистика опозорила эту прекрасную страну и нанесла ее репутации самые тяжелые раны…

XI

Германия – родина Шиллера и Гете, страна протестантской культуры – менее развращена, но и там журналистика загрязнила себя корыстью. Вспомните хотя бы наиболее разительный пример – бисмарковский «фонд пресмыкающихся». Бисмарк[30] не первый из государственных людей ввел обычай держать журналистику на откупе. Стоит вспомнить эпоху Наполеона I с его двойною системою воздействия: железом

* Этот же пример М. О. Меньшиков приводит в рассуждении о заграничной печати. См. с 418 наст. изд. – *Ред.*

и золотом, причем горсти золота было достаточно, чтобы купить и тело, и душу большинства журналистов. Бисмарк, не уступавший Наполеону в цинизме, только усовершенствовал его систему, придал ей немецкую солидность и отчетливость. Берлин во время Бисмарка сделался своего рода центральным «фабричным районом» для печати, которая вся целиком отдавалась политике в самых разнообразных видах и формах. Телеграфное агентство Вольфа[31] ежедневно занимало своими телеграммами целые газетные столбцы. «Телеграфная служба этого учреждения, сенсационного, лукавого, продажного, но искусно и тонко организованного, свежа, исправна и недорога», – говорит один русский турист. В тесной связи с ним находилось особое Zeitung-Bureau*, негласно устроенное Бисмарком при своей канцелярии. Это бюро всевозможными способами «инспирировало», вдохновляло и корректировало немецкие удаленные от центра органы печати. Во главе бюро стояли опытные и талантливые журналисты, владевшие блестящею формою, прозорливостью, остроумием. Официозные статейки и сообщения прилетали в провинциальные редакции очень часто, никого и ни к чему не обязывая; их можно было сокращать, переделывать, перекраивать, хотя литературная техника бюро, по отзыву редакций, была восхитительная.

Более крупные и влиятельные органы, вроде «Koelnische Zeitung»**, стояли еще ближе к бюро печати; берлинский редактор «Кельнской газеты» ежедневно аккуратнейшим образом появлялся у графа Герберта Бисмарка и, кроме сведений, которые желательно было распространить, получал вполне готовые заметки, в которых редакция не имела права изменить ни слова. Передавались часто для опубликования такие документы, которых независимые газеты не могли бы получить ни за какие деньги. Кроме помощи «натурой» – статьями и фактами, – бюро выдавало в известных случаях и денежные суммы из «Reptilienfond»***. Падение Бисмарка

* Пресс-бюро (нем). – *В. Т.*

** «Кельнская газета» (нем). – *В. Т.*

*** «Фонд пресмыкающихся» (нем.). – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

вызвало страшный переполох в немецкой печати; многие большие газеты сразу потеряли всю свою содержательность и вес; некоторые пробовали перекинуться на сторону «новой независимости» – Каприви[32], но не всем это удалось. Каприви не обладал ни организаторскими способностями железного канцлера, ни его блестящим журнальным талантом. Очень долго сказывалось глубокое развращение печати, и хотя «фонда пресмыкающихся» уже, по слухам, не существует, но сами «пресмыкающиеся» еще остались, готовые служить кому и чему угодно. Германская печать в течение двадцати лет привыкла служить не общественным интересам, а одному лицу, канцлеру, не брезговавшему никакими средствами для своих целей. Как бы в благодарность журналистам железный князь отзывается о них с величайшим презрением, в особенности о своих бывших официозах. Он характеризует их как продажных лакеев. Самая сильная и красноречивая статья в немецкой газете, по мнению Бисмарка, не более как Druckerschwarze, типографская краска, и придавать ей значение можно не больше чем «ветру, воющему в трубе». Вильгельм II[33] также относился презрительно к печати; журналистов и литераторов вообще (а их в Германии около 20 000) он называет «жалкими писаками» и «кандидатами голода» (Hungerkandidaten).

При страшном перепроизводстве образованных людей в Германии редакторы самых захолустных изданий – непременно доктора наук. Хотя диплом еще не гарантирует ни таланта, ни нравственности, однако он все же говорит, по крайней мере, о грамотности обладателя, о прикосновении его к культуре. У нас же редакторами бывают иногда табачные торговцы, содержатели бань и извозного промысла и т. п. Сотрудники немецких изданий не всегда даровиты, но всегда достаточно образованы. Не только столицы Германии, но и провинция кишат интеллигентным пролетариатом, который ежегодно пополняется двумя дюжинами немецких университетов. «Предложение на газетном рынке, – говорит г. Василевский[34] в своих «Путевых очерках», – в Германии в десятки раз

превышает спрос. У «Hannoverische Zeitung»*, например, все три корректора – университетские люди. Они принуждены довольствоваться месячным содержанием в 100 марок. Старательный и опытный газетный сотрудник, служащий при редакции, то есть имеющий при газете постоянные занятия, редко вырабатывает более 200 марок в месяц. Построчный гонорар колеблется в провинции между 5 и 15 пфенигами. Многие журналисты вынуждены искать поэтому разные побочные занятия и воспособления. Они сочиняют куплеты и водевили для открытых сцен и маленьких театриков, нередко сами примазываются к актерским труппам, служат агентами страховых компаний, мастерят по частным заказам торгово-промышленные брошюрки и рекламы, часто разъезжают в звании commis voyageur'ов**, возя с собою в той же дорожной сумке образчики материй, гвоздей или красок и книжечку с подписными билетами на газету, в которой работают».

XII

Русская печать продажна не в такой степени, как французская и немецкая, но по причинам, от нее «не зависящим». Русская журналистика и по количеству, и по значению ничтожна в сравнении с западной. Правовое положение нашей печати совершенно несоизмеримо с положением печати западной, так что даже и при обилии зародышей рептилий у нас нет таких роскошных условий для их развития. Надо заметить, что западная интеллигенция несравненно сильнее русской, несравненно образованнее, а пожалуй, и нравственнее. За немцами, например, стоит старая, могучая культура, не совсем остывшее религиозное одушевление (со времен Реформации), расцвет оригинальной науки, философии, искусств, политическая свобода и, наконец, материальное сравнительное богатство. В Германии – огромный читающий мир, огромный рынок для журнального труда. В России, где слой

* «Ганноверская газета» (нем.). – *В. Т.*

** Коммивояжер (фр.). – *В. Т.*

читателей так тощ и количественно, и качественно, где печати горсточка, где она существует так недавно, журналистика выродилась в скудное дешевое ремесло. Есть у нас большие, влиятельные газеты, есть между ними вполне достойные, но уже водятся и весьма печальные исключения. Все еще помнят громкий скандал с одною архидворянской и охранительной газетой. Издатель ее, титулованный князь[35], уличался в том, что посредством связей приобрел для своей типографии казенные поставки по двойным ценам и наказал казну на сотни тысяч рублей. Князь не постеснился оправдывать себя тем, что устроил себе эти деньги в виде вознаграждения за свою охранительную деятельность. О другой, московской охранительной газете, Old Gentleman[36] в «Новом времени» (1895 г.) писал следующую быль. Во время болезни Александра III биржа переживала большую тревогу, «Берлин и Вена усиленно подрывали русский кредит. Москва по этому случаю жестоко негодовала, негодовали и частные лица, а пресса прямо захлебывалась благородным негодованием против немецкой подлости». После смерти Государя Old Gentleman случайно был в одном крупном московском банке и разговорился с его директором. «Да-с, – сказал мне между разговором этот директор, – пережили мы горячее времечко… Кто не зевал, хватал денежки… Вот, например, NN… – Он назвал мне издателя газеты, величающей себя архипатриотической, и действительно, по поводу берлинских биржевых безобразий печатавшей статьи, полные патриотического негодования, – и какого еще! Гром и молния! Ад и смерть! – В начале октября мы его считали в четырехстах тысячах, а сейчас считаем его далеко за миллион». – «Как же он играл?» – Дело ясное: куда немец, туда и он… Ах, какие заказы на Берлин мы от него получали! Даже вкусно было!» – «А патриотические статьи?» – «Ну, что же! Газета сама по себе, дело само по себе. Статьи пишут дети и для детей, а мужское дело – играть на бирже и держать ухо востро…».

Петербургская печать оказалась также прикосновенной к биржевым бурям 1895 года, и до такой степени, что разда-

лись протесты со стороны более чистых изданий. Что иногда совершается негласно и передается с уха на ухо – об этом и вообразить себе трудно. Если столичная печать столь падка на наживу, то что же винить провинциальную! Существуют могучие условия вне журналистики, стихийные условия самого общества, извращающие благородные стремления интеллигентных профессий, делающие их орудием темных сил. Наш век одержим тяжелою болезнью прогресса, болезнью всеобщей, безоглядочной конкуренции, которая, как мне кажется, вовсе не есть нормальное и желательное явление, а именно «болезнь роста». Наша цивилизация лишена настоящей культуры, она болеет над созданием новой, и ожесточенная конкуренция есть лихорадка этого процесса.

«Что делать, батенька, – борьба за существование!» – оправдывается иной бойкий журналист, когда вы замечаете ему, что он уж слишком «переиграл», отделывая своего собрата по перу. И если вы вздумаете доказывать, что бороться позволительно только честными средствами, – журналист только весело рассмеется. “Struggle for life, сэр!”* – повторит он вам. Сегодня я его, завтра он меня – чья возьмет. В этом состоит конкуренция, вечный закон природы, источник совершенствования. Побеждает сильный, погибает слабый – и это справедливо».

Эта дарвиновская мораль нынче в большом ходу; она покоится якобы на незыблемой научной почве, но в сущности есть грубейшее извращение знаменитой теории и представляет сущий нравственный яд для общества. Ни одна из интеллигентных профессий не заражена этим ядом в такой степени, как журналистика. Загрызть во что бы то ни стало противника – это своего рода «категорический императив» для некоторых слоев печати. Поглядите же, какое «усовершенствование» вытекает из этой конкуренции, какой получается «отбор сильных». Предположим, в известном городе явился замечательный человек и начинает издавать в первый раз газету. Он благороден, полон желания просветить сограж-

* Борьба за существование (англ.). – *В. Т.*

дан, он служит подъему высших, захиревших инстинктов общества и борется с низкими. Газета ведется со среднею талантливостью, как это бывает обыкновенно. Конечно, она покажется согражданам скучноватой. Но хотя она и скучновата, все же за неимением другой ее будут читать, начнут привыкать к ней, развиваться под ее влиянием и по мере развития входить во вкус направления газеты. Но вот в городе завелась другая газета, уже менее порядочная. Издатель ее, положим, также талантлив, но без особых нравственных качеств и «отнюдь не миссионер». Высоких вопросов он не поднимает, а склонен удовлетворять требованиям публики. Газета его выходит и «свежее», и интереснее для сограждан – она касается родной, всем близкой обстановки, всем понятна и мила. От первой, «идейной» газеты большинство читателей, несомненно, перейдет ко второй, безыдейной. Но предположите, что появляется третий издатель, тоже талантливый, но, что называется, «свободный от предрассудков». У него нет не только великих задач первого издателя, но даже и обыкновенной порядочности второго. Его задача – нажить деньгу и забрать в руки влияние в городе. Этот выпустит совершенно веселую газету, из каждой строчки которой будет дышать стремление угодить обывателю, позабавить его, польстить, развлечь. Не надо быть мудрецом, чтобы сообразить, какие инстинкты и какие вкусы у публики преобладают. Вместо длинных, горячих передовиц первой газеты «по городским вопросам» является коротенькая передовая болтовня, не лишенная, однако, перца. Вместо серьезных «злоб дня» являются «Маленькая хроника», «Маленький фельетон», «О чем говорят», «Обо всем», «На скорую руку», «Раек», «Моментальные снимки» и пр., и пр. Вся газета сплошь превращается в балаган, где перед обывателем по очереди выскакивают постоянные сотрудники газеты и выкидывают всевозможные коленца. Если только не стесняться совестью, то в эти коленца можно внести все слухи, факты, сплетни, скандалы, можно присочинить кучу небывалого, невозможного и при известном таланте дать из всего этого кое-что «сногсшибательное». Простейший рас-

чет говорит, что большинство публики хлынет к третьему издателю. Пусть за первым насадителем гласности останется общее уважение, пусть у него останутся десяток-другой поклонников из местной интеллигенции, которые «наперекор стихиям» будут неизменно подписываться на идейную газету, – с двумя десятками или двумя сотнями подписчиков существовать невозможно, и измучившийся в непосильной борьбе идеалист-издатель сходит со сцены. Второй издатель – не идейный, но все же опрятный человек, попробовав бороться, отлично видит, что порядочностью ничего не возьмешь, что публике требуется материал хоть и поплоше, но позабавнее, что необразованное, неинтеллигентное и, в сущности, безнравственное большинство не понимает высоких материй и не нуждается в них. «Угадай меня, или я тебя съем», – говорит издателю этот вовсе не таинственный сфинкс, которого и разгадывать нечего. Издатель-оппортунист обыкновенно «не противится злу» и, не долго думая, начинает идти по стопам своего счастливого соперника. «Ты даешь передовичку с перцем, хорошо же: я засыплю перцу вдове. Ты держишь вместо хроникеров шутов – ладно: я заведу на эти же отделы настоящих клоунов. Ты много выигрываешь описанием мировых разбирательств, скандалов, расхваливанием кафешантанных певичек – я сочиню такие разбирательства и скандалы, какие тебе и во сне не снились. Я привлеку к участию в своей газете все элементы, терпимые и едва терпимые, войду в непосредственную связь с загородными кабачками, трактирами, цирком, полицейскими участками, я направлю в редакцию все водосточные трубы…» Но третий издатель сейчас замечает маневр соперника, и вот тут начинается конкуренция не на живот, а на смерть… Как вы думаете, какого рода «усовершенствование» явится в результате такой конкуренции? Хорош ли будет «отбор» победителей? В мире интеллигентных профессий, как и вообще в природе, действительно идет борьба за существование, но побеждают далеко не всегда самые сильные, самые совершенные формы. Отпадение высших свойств часто является результатом интеллигентной

конкуренции. Возьмите живопись, музыку, беллетристику – что угодно. Истинно хорошие вещи не имеют спроса, оплачиваются несоразмерно дешево. Пусть талантливый писатель получит тысячу рублей за два листа, но он писал их год, а в это время посредственность нафабриковала двадцать листов и получила пять тысяч. Не удивляйтесь, если талантливый писатель захочет писать тоже по двадцати листов, падая ниже бездарности, или если он начинает чахнуть и преждевременно умирает на чердаке как раз в то самое время как посредственность приобретает виллу где-нибудь около Ниццы.

XIII

О том, что делает конкуренция с нашею печатью, позвольте рассказать словами одного талантливого одесского журналиста, который, видимо, пережил все мытарства провинциальной прессы. Я беру одесскую прессу как наиболее типическую представительницу русской журналистики. Одесский журнальный мирок тем удобен для изучения, что он представляет тип провинциальной прессы, совершенно развившейся, выросшей до пределов возможного как с внешней, так и с внутренней стороны. Одесские газеты – не какие-нибудь курские или псковские эмбрионы, не крошечные идейные органы вроде «Волжского» или «Смоленского» вестников, не харьковские или киевские старомодные газеты «с направлением», одесские огромные восьмистолбцовые простыни с бесчисленными объявлениями, с собственными заграничными корреспондентами, с полдюжиной фельетонов ежедневно – эти газеты fin de siécle во многих отношениях стоят впереди даже столичных. Они более петербургских «газетны», более приспособлены к толпе и ближе к последнему фасону новейшей журнальной моды. И при этом они ведутся не только литературно, но и достаточно талантливо; при редакциях заметно присутствие профессиональных литераторов, ушедших в это дело целиком, на всю жизнь. По первому впечатлению, обозрев одесскую почту за любой день, можно

возрадоваться и подивиться росту нашей журналистики; можно предположить, что этот рост печати есть показатель культурного подъема самой провинции и т. д. Но сами одесские журналисты далеко не столь отрадного мнения о своем положении. Талантливый «Бедный Йорик»[37] в «Новороссийском телеграфе»[38] даже возмутился как-то, прочтя горячую статью Я. В. Абрамова[39] именно о росте провинциальной журналистики. «Не разделяю я радостных чувств по поводу печати, – говорит он, – и в многочисленности провинциальных газет не усматриваю ничего отрадного. Изобилие в провинции “листков” и “вестников” не вызывается вовсе запросами жизни; иначе листки процветали бы, а между тем они прозябают и, за редкими исключениями, лишь влачат жалкое существование, периодически переходя из рук в руки… На кой черт, с позволения сказать, в Одессе ежедневно выпускают столько печатной бумаги? В Одессе политической жизни нет, нет партий и никаких особых мнений быть не может. Решительно никакими особыми приметами одесские газеты не отличаются друг от друга, если не считать иногда инородческий вопрос. Контингент одесских литераторов постоянно перетасовывается. Вчерашние сотрудники одной газеты сегодня сотрудничают в другой, не изменяя ни своих убеждений, ни духа своих писаний, несмотря на то, что вторая газета относится к первой, как сода к кислоте». «Определить, какие из газет консервативнее, какая либеральнее – довольно трудно». «Затеявши хотя небольшое издание, заручившись бесплатным участием сочувствующих лиц и устроившись самым экономным образом, провинциальный издатель все-таки не может в течение первых годов избежать дефицита… Свести концы с концами, не терпеть убытков – это идеал провинциальных издателей, пойти дальше которого им и не снится». Обыкновенная история газеты такова: «Выпускается анонс, выбрасывается “знамя”. Благих предначертаний, серьезных задач и высоких целей – на пять поколений хватит. Зачастую в этом, однако, нет ни малейшего шарлатанства, и только одна маниловщина самой чистой воды. Газета начинает выходить в свет. Шрифт,

бумага, направление – все, как сказано. Публика интересуется газетой, но сочувствие ее больше “розничное”. Провинциальный читатель чрезвычайно туг на подписку местной газеты. Для этого нужны особые причины: знакомство с редактором или сотрудниками, “отделка под орех” известных лиц и т. п. Проходит некоторое время. Начинается издательская агония. Сборных капиталов хватает ненадолго, а сочувствующие заимодавцы и компаньоны при вопросе о новых “вкладах” кряхтят и жмутся. Издатель им и славу обещает, и признательность отчизны гарантирует, и золотые горы сулит. А они кряхтят да жмутся. Во имя святого дела иногда удается выжать из них крошечное пособие. Проходит еще некоторое время; помощники и покровители уже не кряхтят и не жмутся, а просто говорят “нет”. Начинается новый род литературы – небольшие заметки с автографом и эпиграфом “по сему моему”. Потом идут заметки с двойными автографами и т. д. Завтра выпускать номер газеты, так удачно составленный, с такими статьями, что отдай все да мало, а в типографии чернь непросвещенная рвет и неистовствует! Работы приостановлены. “Нам тоже, говорят, кушать надобно”… Бедный издатель, обличитель Бисмарка и Беланже, гроза всех лихоимцев и эксплуататоров, гнет спину, шаркает, извивается, лебезит пред заведомыми плутами и проходимцами. Проходимцы, “оказывающие поддержку” такому издателю, не допустят, конечно, остановки газеты. Это не в их выгодах. В опасную минуту они все-таки “придут на помощь”, но выжмут перед этим из “руководителя общественным мнением” все живительные соки и превратят в послушное орудие своих целей. В конце концов фактическими хозяевами делаются закулисные дельцы, низводя орган печати на степень суфлерской будки для известных лиц, групп и кучек».

Издатель органа «общественного мнения» попадает, как видите, в отчаянную кабалу именно тех темных сил, с которыми рассчитывал бороться. «Сознавая безвыходность своего положения, – продолжает далее г. Бедный Йорик, – издатель обращает все свое внимание на “хлеб насущный” газетного

дела – объявления. Организуется целая шайка агентов для добычи объявлений. Понижается тариф. В конторе производится торг, как в любой лавочке; постоянному подавателю объявлений делается скидка, какую он пожелает, лишь бы не выпустить из рук покупателя. Для приманки печатаются даровые объявления спереди и сзади газеты, а в середине – многочисленные редакционные уведомления о бесчисленном количестве подписчиков». Так как объявления – «хлеб насущный», то каждая фирма, компания, частный делец, которые дают эти объявления, становятся тем самым особами священными и неприкосновенными. Газета принуждена быть их союзником, литературным защитником всех их афер и гешефтов. Для привлечения читателей самые употребительные средства такие: «Громогласно объявляется об увеличении формата газеты до 8 столбцов. Когда это средство исчерпано, объявляется полное обновление редакции. Далее идут новая типографская машина, новый шрифт, новые отделы в газетах и пр., и пр. Местная газета мало-помалу совершенно теряет свой основной характер; из органа для обработки местных вопросов она превращается по виду в заграничную бульварную газету. Огромное пространство бумаги каждый день надо же чем-нибудь заполнить. И оно заполняется массой ничтожных фактов, слухов, сплетен и пустяков без всякого разбора и объединяющей идей». В этих огромных провинциальных простынях столько газетного балласта, что добрых три четверти напечатанного смело могли бы быть выброшены без ущерба для читателей. Балласт этот загромождает и обесцвечивает газету, лишает возможности обрабатывать обильный серьезный материал и, как бурьян в поле, вытесняет собою дельные статьи. В напряженном стремлении залучить подписчика и не отстать от конкурента издатели начинают приспособляться не только к сословиям, группам и кружкам, но даже к отдельным лицам, задабривая их дешевою рекламой, печатая о семейных событиях их, как это делается относительно замечательных лиц, и т. д. В расчете, что у такого-то влиятельного обывателя есть большой круг знакомых, которые могут

подписаться, газета начинает льстить этому обывателю и выставляет его за образец добродетелей. Относительно думских и других заседаний даются чуть не стенографические отчеты, и все выходки, пошлые остроты, вся, не идущая к делу, околесица, на которую такие мастера в провинции, – все это отпечатывается целиком. «Ради “окурана”, – говорит г. Бедный Йорик, – провинциальные газеты завели особый род литературы – маленькие фельетоны, имеющие целью ловить на лету всякие злобы дня и подносить их читателю в легкой отделке “с инкрустациями”. В Париже, откуда заимствован этот обычай, – этот литературный жанр имеет смысл: там имеется широкая политическая жизнь и масса талантливых сотрудников при прирожденном у французов искусстве к causerie*. У нас же, за отсутствием всех этих условий, этот обычай обращается в какое-то болезненное шутовство. Литераторы, набившие руку, берут подряд у издателя – поставлять для этого отдела определенное число строк, заключают даже форменный контракт и затем, чтобы выполнить этот контракт, готовы залезть хотя бы под чужую кровать, если там можно найти пикантный материал. В погоне за материалом подрядчики не задумываются ни над стилем, ни над качеством работы. И к прочим слоям балласта прибавляется новый, состоящий из кучи грязи, площадного шутовства, дурацких шуток, шарлатанства, пустословия и бесцеремонности. Все это вместе взятое с мировыми событиями, “специальными телеграммами” и разнообразными справочными сведениями, развозится, разносится, рекламируется и навязывается желающим. За пятачок обыватель, столь склонный к сомнительным известиям, имеет целый альманах новостей, скандальных приключений и сплетен об известных лицах»… Дело доходит до того, что, например, фельетонист одесской «Правды» как-то вступил в горячий спор с фельетонистом «Новороссийского телеграфа», и затем оказалось, что оба фельетониста – одно и то же лицо, г. К., которому пришлось после этого оставить Одессу. Одесский журналист, которого я цитирую, в конце

* Болтовня (фр.) – *В. Т.*

концов в этих печальных явлениях открывает некоторый бесспорно одуряющий элемент, «газетный яд», отравляющий и журналиста, и читателя*.

XIV

Все эти явления, конечно, не специально одесские и могут характеризовать и другие очаги печати. В Киеве, Самаре, Нижнем, Казани печать скромнее одесской, но – за редкими исключениями – следует той же «эволюции». И это простицирование печатного слова – явление чуть ли не всеобщее. Вот, например, какую характеристику польской прессы (как достаточно развившейся) делает польский же публицист варшавской газеты «Prawda». Речь идет о корреспондентах газет. «Пробежит через двор кошка, а за нею собака – сейчас картина эта вырастет в воображении захолустного корреспондента до размеров трагического происшествия, в котором является загадочное преступление, злодей, преследуемый стражником, «производится следствие» и тому подобные ужасы. Г-н Скирмунт вышел гулять не в обычный час – летит сообщение в газеты, что на фабрике в Поречье прекращена работа. Черномазый мужик возвращается из города, продав уголь для самоваров, – пускается известие, что весь околоток встревожен появлением замаскированных убийц. Вот наши провинциальные корреспонденции. Они могли бы быть ценным материалом для печати, а на самом деле составляют для нее Божеское наказание. Едва одна из десяти содержит факты достоверные и добросовестно переданные. Остальные – это куча сора и сплетен, на которых нельзя основывать серьезных заключений: при малейшей проверке все здание выводов рухнет. В самых обыкновенных делах преобладает фантазия, легковерие или прямо вранье. Один импровизатор сообщает из Згержа, что в производстве господствует небывалый застой; другой из Томашова – что проявилось необычайное оживление. Кто-нибудь из Казимира станет уверять, что овсы совсем

* «Новоросс. Телегр.» 1890. – Май. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

пропали, а другой, из Новой Александрии, в 10 верстах расстояния, – что овсы обещают весьма обильную жатву. Ежели у шляхтича на плохо обработанной земле не уродился клевер, он станет заверять, что в целом крае не будет клеверу. Дело не в шутках и пустых выдумках горсти сплетников, дурачащих периодическую печать, но в прирожденном нашем недостатке, мешающем точно исследовать всякий факт и добросовестно его представить. Мы еще не способны писать таких корреспонденций, какими располагает заграничная печать, где они составляют достоверные документы. Там 100 случаев смерти от оспы записали бы как сто случаев, мы прибавим к этому один или два нуля, выведем на сцену призраки губительной заразы, которая убивает целые семьи, выдумываем "ночные похороны" с трагическим освещением и т. п., и т. п.».

Хотя польский автор ссылается на заграничную печать как образцовую, но это, в общем, совершенно неверно. Только редкие, единичные представители печати, «Таймсы» и «Геральды», отличаются добродетелью точности. Более же мелкая пресса, как уже рассказано выше, – едва ли далеко ушла от польской. Во Франции появились, например, недавно два издания…*.

Ложь, говорит Шопенгауэр, бывает в отдельных случаях не только невинной, но и нравственно обязательной: в сношениях врача с пациентом, в соблюдении профессиональных тайн, – и позволительна, по мнению философа, даже просто в том случае, когда вам нужно отделаться от наглого вторжения в вашу жизнь чужого любопытства. Я не разделяю этого грубого взгляда. Я допускаю, что можно *ничего* не говорить в тех случаях, когда правда влечет за собою опасность для ближнего, но говорить *неправду* под видом правды, мне кажется, всегда гадко. Невозможно отделить «исключительные» случаи от неисключительных; привычка ко лжи, выходя из узкого круга допустимых случаев, вносит отраву в духовное существо общества, разлагая его. Ложью подрывается доверие человека к человеку, то таинственное свойство,

* Об изданиях "La France Commerciale" и "L'Union Sociale" см. с. 410. – *Ред.*

выработанное десятками тысячелетий, на котором держится вся общественность как на гранитной основе; извлеките этот элемент из жизни – мгновенно рухнут все связи, и общество превратится в хаос. Не только отсутствие доверия, но даже некоторое уменьшение этого драгоценного связующего начала представляет страшную болезнь, сопровождающуюся разложением нравов и самого общества. Журналистика должна бы стоять на страже правды, должна бы отстаивать эту основную святыню общества, но, к несчастью, выходит наоборот: журналистика вносит в жизнь, богатую ложью, новую и всепроникающую ложь, становится могущественным орудием лжи. Подобно утонченному организму, печать, попав в среду низшую, начинает приспособляться и терять свои высокие свойства, терять благородные органы чувств – зрение, обоняние, слух, вкус, и сводить все свои функции к голому питанию. Конкуренция, действительно, – великий закон природы, но, как и все законы, – о двух концах. В иных случаях она ведет к усовершенствованию, в других – к упадку. Журналистика вместе с другими интеллигентными профессиями относится ко второй категории, может быть, временно, до тех пор, пока не установится какая-нибудь прочная культура, не народится влиятельная и многочисленная интеллигенция, пока не образуется необходимая для процветания высших форм более высокая общественная среда.

XV

Что такое репортер? Это человек, перед которым в цивилизованном обществе распахиваются все двери, если нельзя их затворить, и которого никто на порог не пустит, если для этого есть какая-нибудь возможность. Вездесущий и всепроникающий, этот присяжный нарушитель тайн напоминает агентов инквизиции или Совета Десяти. Как некогда тиран Дионисий[40] в Сиракузах устроил себе помещение, из которого было слышно всякое слово, сказанное в крепости, так современное общество в лице репортера имеет странствую-

щее ухо, орган тирании общественного мнения над самим обществом. Репортера боятся, его не уважают. Это самый микроскопический литературный чин, которого настоящие писатели, особенно метящие в «генералы от литературы», ни за что на свете не признают за своего коллегу. «Составить протокол какой-нибудь драки или пожара – какая же это литература? Этак все околоточные – литераторы!» – говорят такие генералы. Репортер обыкновенно и не притязает на высокий сан писателя; в обыкновенное время он довольствуется званием «представителя печати», чего оспаривать у него уже никак нельзя. Но под этим именем он еще неудобнее для литературного сословия. Отдельный писатель сам и несет ответственность за свои деяния, не марая литературу; безвестный же аноним как представитель прессы целиком передает свою репутацию самой прессе. А репутация эта очень неприглядна. Печать в современном обществе – сила, и, как всякая сила, она играет роль власти; репортеры, самые мелкие представители этой власти, отличаются всеми тайными и явными грехами мелких агентов всякой власти: взяточничеством, продажностью. Как некогда всюду, а в иных странах и теперь, представители общественной правды – судьи и полицейские – продавали закон с молотка, кто даст больше, так и теперь агенты гласности при случае без стеснения торгуют печатным словом.

Заграничный репортер, как я уже докладывал, развращен в этом отношении больше русского: там общество зависимее от печати и покупной рынок больше. Однако и наш репортер достаточно опорочен. «Взяточничество давно уже свило себе гнездо в так называемой уличной прессе», – говорит одна маленькая петербургская газета, сама принадлежащая к такой прессе, и, значит, сведущая по этой части. «Прорекламировать ли какого-нибудь шарлатана или бездарность, смешать ли кого с грязью за известный куш – в этой прессе ничего не стоит». Газета, впрочем, спешит прибавить, что и в большой прессе наблюдается то же самое. Репортер большой газеты, конечно, пренебрежет какою-

нибудь мелкою взяткой, но крупную возьмет без зазрения совести. Это подтверждает и сама большая пресса в минуту откровенности. «Гражданин»[41] рассказывает, как «одно из высших ответственных лиц в петербургской большой газете заявило некоему предпринимателю: “Или вы мне заплатите столько-то, или я вас выругаю”. Коротко и ясно. Чаще, однако, взятка принимает вид роскошных ужинов, поднесений (со стороны художников) картин, ценных подарков, тройной и четверной платы за объявления, одолжения взаймы без отдачи и т. д. Являются не только отдельные лица – содержатели загородных кабачков, певицы, банкиры и аферисты, – находятся целые учреждения, «влияющие» на печать. Форма влияния следующая: журналисту предлагают место, хорошо оплачиваемое жалованьем и наградами, и не требуют от него занятий. Журналист обязан, в свою очередь, рекламировать учреждение и лиц, стоящих во главе его. «Кроме того, – говорит маленькая газета, – за хорошую мзду такой журналист раздобывает заинтересованным лицам копии с производящихся в учреждении дел». Несколько таких господ некоторое время эксплуатировали одно учреждение. Но вот явилось новое начальство, и репортеры-чиновники полетели с мест при довольно внушительном циркуляре. Большинство газет не только не гнушаются сомнительными рекламами, но наиболее охотно дают им приют, так как подобные рекламы оплачиваются дороже. Одна газета заявляет открыто, что «рекламы в тексте газеты помещаются по соглашению с редакцией»; за рекламами некоторые редакции устраивают целые охоты, нанимая для этой цели особых агентов или поручая это дело репортерам. Лихоимство и здесь, как и в других сферах, граничит с вымогательством и шантажом. В начале 90-х годов петербургский градоначальник привлекал к ответственности шестнадцать репортеров четырех столичных газет за взяточничество с содержателей разных увеселительных заведений. С репортеров была взята подписка в том, что впредь они вымогать за свои рецензии не будут. Через некоторое время, однако, явилась необходимость в особом

циркуляре от главного управления по делам печати. В циркуляре говорилось, что «все чаще и чаще стали появляться разные статьи и заметки, которые под видом критической оценки игры артистов наполняются почти исключительно всевозможными инсинуациями против личностей артистов и доходят даже до вторжения в их частную жизнь».

Но петербургские репортеры еще не самые продажные.

«Пальму первенства» (говорит другая газета) по наглости в шантаже и вымогательстве «нужно отдать московской “помойной” прессе, пышно расцветшей, как микробы в питательном бульоне, среди патриархальных московских нравов». Успех этой прессы повлиял немало на провинциальную печать, которая во многих местах перестраивается на гривуазно-шантажный жанр. В Нижнем Новгороде дело доходило до открытого протеста ярмарочного купечества против одной местной газеты из-за арфисток. Арфистки и открытый разгул с ними – одна из особенностей знаменитой ярмарки; при помощи арфисток купеческие сынки и папаши спускают в кассы кабатчиков целые состояния. Об искоренении этой грязи хлопотали уже давно более солидные из купцов, но масса купечества, приезжающая в Нижний специально поразвратничать, отстаивали арфисток. За них же горою стояла «помойная пресса» Москвы и Нижнего. Газетки этого типа, создавшие издателю огромное состояние, как бы специализировались на нижегородских притонах. В каждом номере своем они давали описания трактирных скандальчиков, «взимая двойную дань: с читателей и с купеческих саврасов, прожигающих там “тятькины деньги”». Наконец, безобразия дошли до невозможного, и купечество решило изгнать как арфисток, так и одну газету. В биржевом собрании купечества было заявлено, что отчеты, даваемые этой газетой, не могут быть «терпимы не только уполномоченными всероссийского купечества, но даже в трактирах, где за подобные выражения корреспонденту давно бы надели намордник». Этой фразе громко аплодировало и собрание, и публика на хорах. Купечество подало коллективную жалобу главноу-

правляющему ярмаркой, прося защитить его от репортеров газеты. Дошло до того, что нижегородские домовладельцы начали отказывать репортерам в квартирах. «Газетчики – люди с вольными взглядами, а таких квартирантов мне не надо», – заявил один домохозяин.

Всего крепче укоренилось журнальное взяточничество в Одессе. Однажды там судились и были осуждены за шантаж два репортера, которые и угодили в тюрьму. Дело было так. К трактирщику Сафонову явился однажды молодой человек и назвался репортером «Одесского листка»[42]. С подобающею таинственностью он сообщил трактирщику, что в редакцию «Листка» прислано обличительное письмо на его заведение. Трактирщик, как водится, струхнул. Репортер Лейзер Табачников заметил, что за известную сумму он берется похитить из редакции это письмо. Трактирщик согласился и просил устроить это, но когда Табачников ушел, купец почему-то усомнился в его словах и отправился прямо к редактору «Листка», г. Навроцкому[43]. Тот объяснил, что никакого письма нет. Чтобы уличить шантажиста, редактор и трактирщик устроили ему засаду. К назначенному на другой день часу, когда собирался придти Табачников, в трактир прибыли и спрятались в соседней комнате редактор с секретарем. Табачников явился, прочел хозяину какое-то обличительное письмо и добавил, что, если оно будет напечатано, трактиру несдобровать. Тут явились из засады редактор с секретарем, и произошло «оскорбление действием» (за что редактор и судился потом). Оказалось, Табачников действительно был репортером «Одесского листка». Письмо дал ему другой репортер, Ровенский, с которым у них был заключен союз по части шантажа: Ровенский составлял обличительные письма о безобразиях в трактирах, а Табачников являлся с ним к трактирщикам и вымогал отступное. Содержатель трактира «Ардаган» заявил, что к нему несколько раз являлись лица с письмами, из которых одно письмо было от имени редакции «Новороссийского телеграфа». Лица эти требовали денег, торговались и ничего не уступали из требуемой сум-

мы. Подобные же визиты засвидетельствованы и другими трактирщиками. У Табачникова оказалась записная книжка, в которую были записаны имена обманутых трактирщиков с обозначением суммы, полученной с каждого из них, а также подложное письмо, адресованное редактору «Новороссийского телеграфа». Адвокат подсудимых заявил, что его клиент, г. Ровенский, – «талантливый молодой человек»; в течение восьми лет он сотрудничал в журнале «Пчелка» и почти один вел журнал; «его псевдоним “Домино” известен почти всем», но вот «Пчелка» лопнула, Ровенский пошел шататься по одесским редакциям, зарабатывая по 2 копейки за строку, а всего в месяц – от 2 до 8 рублей. А тут семья, голод…

XVI

Подобные деяния, доходящие до суда лишь в крайне редких случаях, когда репортер начинает «брать не по чину», предательски роняют значение гласности при первом же прикосновении ее к жизни. О печати публика, в особенности серая публика трактиров и увеселительных мест, привыкает судить по живым представителям прессы. Помимо шантажа, сочиняя небывалые происшествия и размазывая до чудовищных размеров ничтожные случаи, эти представители прессы лгут изо дня в день, из года в год, являясь как бы профессиональными лгунами. Прибавьте к этому воровство друг у друга известий и заметок или тут же в трактирах открытый дележ скандальною хроникой, отчаянную потасовку «газетчиков» друг с другом во враждующих газетах и сверх всего – ужасную власть, данную этим сомнительным личностям, – власть гласности – и вы поймете отвращение и страх к репортерам даже порядочных людей, не говоря о непорядочных. «В публике, – говорит известный парижский журнал “Revue Bleu*”, – стало распространяться мнение, что в последние годы печать оказывает скорее вредное, нежели полезное влияние. Злоупотребляя своими разоблачениями,

* «Синее обозрение» (фр.). – *В. Т.*

она вызывает личное раздражение и усиливает раздор между общественными классами, она служит казнью для многих и опасностью для всех». Это во Франции, где печать составляет одну из коренных основ растущей демократии, где свобода слова – одна из неприкосновеннейших святынь.

В Германии, – там еще меньше уважения к писателям. «Писатели по профессии, – говорит “National Zeitung”*, – если они не имеют другого звания или титула, стоят очень невысоко в обществе; но в самом низу на иерархической лестнице почета стоят журналисты, если не занимают при этом какой-либо государственной или общественной должности, дающей известное положение». Журналист – «газетный писака», рептилия, “Hungerkandidat”, по выражению Вильгельма II, не пользуется никаким доверием и уважением в берлинских кругах, может быть, благодаря отчасти растлевающему влиянию бисмарковской политики, создавшей продажную прессу и целую плеяду клеветников на жаловании.

Значительная, а местами и преобладающая часть журналистов в Европе (и у нас на юге) – евреи, что одно уже в глазах публики кладет на прессу известный оттенок. По альманаху Киршнера, из 16 000 немецких литераторов только 50 пользуются некоторою известностью и лишь всего 10 знамениты.

Но в Германии и других культурных странах звание писателя еще не столь опозорено: даже захолустная, деревенская масса знакома с Шиллером и Гете, с сокровищами литературы и «за заслуги отцов» до известной степени прощает выродившемуся потомству. У нас же, в обществе полуобразованном, где даже грамотность часто в редкость, где члены общественных учреждений иногда ставят кресты на документах по неумению подписать свою фамилию, где о заслугах литературы часто и не слыхивали, у нас мелкому журналисту не жизнь, а каторга. Перед корреспондентами захлопывают двери даже публичных собраний (дворянских, и земских, и городских дум), на корреспондентов устраивается травля, их не только на квартиру не пускают, но просто «бьют смертным боем».

* «Национальная газета» (нем.) . – *В. Т.*

«Из села Хохлова кто-то написал корреспонденцию в “Смоленский вестник”»[44]. Хохловцы зашевелились. “Кто написал? Кто посмел?” – раздались крики. Хохловскому учителю пришлось зачем-то идти в волостное правление как раз в то время, когда там сидели волостной старшина, его помощник и бывший церковный староста и рассуждали, кто бы мог написать корреспонденцию. – “Да вот кто! – закричал старшина, ткнув пальцем по направлению входящего учителя. – Окромя его некому. Ведь он же про вас тогда написал, помните… – И тут зычным голосом закричал: – Ты опять пришел писать в “Вестник”! Вон отсюда! Вон сейчас! Сторож, выведи его, чтобы и духу его не было». Учителю оставалось поспешно ретироваться. Это – глухая волость. Но в заседаниях городских дум бывали такие сцены. Председатель вдруг заявляет: «Господа, тут у нас в зале сидит какой-то проходимец, корреспондент (такой-то газеты). По закону я имею право его удалить». Дружно поднимаются один за другим гласные черной сотни: «Удалить! Непременно удалить!» Назначались даже экстренные заседания целых учреждений для обсуждения мер преследования корреспондентов. Самая жизнь корреспондента, пишет один из них, не может считаться в безопасности. «Устраиваются разные западни и засады на корреспондентов *по подозрению*, по одному лишь подозрению. Рискнешь ли после этого проходить по узким и темным закоулкам? Напишешь что-нибудь в редакцию, спрячешь в карман да осторожно опускаешь в почтовый ящик, чтобы кто-нибудь мельком не прочел на конверте: “В редакцию газеты NN”. Что, если узнают? Остается одно из двух: пулю в лоб или бежать в Америку. А то раз нарвешься на целое собрание почтенных граждан, и сразу мороз по коже подерет. Так и думаешь: вот сейчас раздастся хором: “Вот он, вот он, выноситель сора из избы. Бей его!” И, поборов внутреннее волнение, спешишь каждому подать руку и даже приятно улыбнуться – Бог, мол, с тобой, только меня не трогай! Что прикажете делать? Смейтесь, господа, а с поломанными ребрами, чай, всякому неприятно быть!» Даже дамы (как недавно было в Ленкорани) собираются иногда «избить

писаку». Заподозрили в писании корреспонденций некоего N. Несмотря на его уверения и клятвы, что он решительно неповинен, общий голос указывал на него. «Вся жизнь г. N. обратилась в сплошную каторгу: куда бы он ни показался, всюду его встречали оскорбления без конца. Не ограничиваясь этим, негодующие ленкоранцы собрались на тайное заседание и порешили довести до сведения начальства о “поведении” г. N. и просить о переводе его куда-нибудь, так как он будто бы никому не дает покоя своими корреспонденциями и манкирует службой. В то же время г. N. получил анонимное письмо, наполненное всевозможной отборной бранью и угрозами до убийства включительно, если только он не перестанет писать». Подобными гонениями на корреспондентов можно было бы наполнить целые тома.

Обыкновенно думают, что все эти провинциальные гонения на местных журналистов есть следствие «жестоких нравов», заскорузлой дикости, которая боится света, как населяющие ущелья летучие мыши и совы. Не будь жизнь обывателей безобразна, не изобилуй она скандалами и пошлыми историями – чего бы обывателю бояться гласности? Корреспондентам оставалось бы воспевать прекрасную действительность: великодушие волостного старшины, самоотверженность урядника, бескорыстие целовальника. Если же добродетелей не хватает, а налицо одни лишь уродства, то «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива».

В этом рассуждении не все правда. Что жизнь полна болью, язвами и ранами и что их следует указывать, обнажая, – об этом нет спора; но, обнажая рану, надо делать это осторожно, надо делать это с приемами доктора, а не коновала. Вот этой-то осторожности в обличениях, достоинства и серьезности и недостает корреспондентам, как и вообще репортерам. Вместо того чтобы рассказывать безобразную историю беспристрастно, в ее естественных красках, корреспондент обыкновенно становится в позу Ювенала[45], начинает издеваться над героями истории, называть их Колупаевыми, Держимордами, Плюшкиными, Иудушками и т. п., ругает их «саврасами», «выжи-

гами» и т. д., и т. д. Плохо рассказав само дело, корреспондент отводит душу на обывателе с тою же грубостью слова, с какою обыватель отводит душу на корреспонденте при помощи кулаков. У всякого свое оружие. Прибавьте к этому, что, наиздевавшись над личностью «отделываемого под орех» героя, нарисовав с него уродливую карикатуру, разболтав часто интимные, семейные делишки и, как водится, приврав половину, газетный Ювенал отнюдь не называет своего имени и старательно прячется за плечи редакции. Как настоящий шпион, среди обывателей он и виду не подает, что «собирает материал», а любезно разговаривает с намеченною жертвой, жмет руку, улыбается. Все это похоже на предательство и, кроме страха, внушает справедливое презрение.

XVII

Является вопрос: не есть ли репортерство – незаконное детище в журналистике, уродливый нарост, который следует отсечь от обезображиваемого им тела? Не есть ли сама гласность в теперешнем «переразвитии» нечто больное и вышедшее из нормы?

Мне кажется, ни то, ни другое. Репортер нынешний ничтожен и часто вреден, это правда, но он уже составляет силу, силу растущую в печати и вытесняющую другие разновидности журнализма. Это еще эмбрион, зародыш нового литературного типа, но местами он уже выпорхнул из кокона, и где выпорхнул, там завладел почти всем полем печати. Репортер на Западе уже главный деятель в каждой не отстающей от века редакции. От «протоколов какой-нибудь драки или пожара» репортер уже перешел к «протоколам» театральных представлений, художественных выставок, ученых заседаний; как протоколист, он уже *необходимый* член общественных собраний, а на Западе – непременный член парламента, который без содействия репортера нынче уже немыслим. Репортер, немножко переменив обличье и назвавшись «интервьюером», составляет «протоколы» мнений великих людей и является необходимым

органом и для них; папа вещает urbi et orbi* через репортера, Бисмарк воюет с политикою своего императора через репортера. Переменив еще раз название, под титулом «корреспондента» репортер составляет «протоколы» общественного настроения, умственных движений в соседней стране, зарождающихся бурь в политике и великих кризисов в хозяйстве. Вы видите, до каких необъятных пределов расширяются рамки первоначального «протокола о какой-нибудь драке». Репортер в большой газете до крайности стеснил своих гордых коллег, «настоящих литераторов»: передовика, хроникера, фельетониста. Передовику, который лет двадцать-тридцать назад был премьером газетной труппы и первым любимцем публики, пришлось сильно сократить свои длинные, как проповеди, величавые статьи и, что всего обиднее, перенять от репортера манеру писания. Как и репортер, современный передовик принужден в пятидесяти строчках высказывать весь суточный запас идей, излагая их не высоким, как прежде, а «средним штилем», ясным и простым, с блестками даже «подлого», разговорного языка. Передовик старого типа, «проповедник», теперь уже наводит скуку на читателей; мелькнув глазами по аршинным столбцам, они с удовольствием останавливаются на хронике. Но и хроникер ужасно обижен репортером: и ему пришлось перенять у репортера и стиль, и манеру писания, да мало того: пришлось самому записаться в репортеры, из пыли библиотеки и своего кабинета отправиться за сведениями в сегодняшнюю текущую жизнь, или отдаться во власть репортера и обрабатывать материал и впечатления, которые тому заблагорассудится доставить. О фельетонисте – третьем коренном журнальном типе – и говорить нечего: он обречен или чахнуть от мучений чем-нибудь наполнить пустоту столбцов и наполнять их глупостями, или опять-таки превратиться в репортера, в непосредственного наблюдателя жизни и собирателя «человеческих документов». Современный читатель – не прежний: он требует не глубоких вдохновений, зная, что ежедневно фабриковаться они и не могут, не гоголевского смеха сквозь слезы, не мрачного сарказма

* Граду и миру (лат.). – *В. Т.*

Байрона или нарядной печали Гейне – он требует того, что осуществимо, что может поставляться каждый день: свидетельства о текущей жизни со стороны умного и нескучного человека. Чтобы говорить о сегодняшнем дне, нужно жить этим днем и видеть его не только в четырех стенах кабинета, а там, где вскипает общественная жизнь: в правительственных, ученых и художественных собраниях, на вечерах, в городе и деревне, в студии и казарме, в будуаре и в руднике. Фельетонист должен либо сам все это видеть, либо довериться, как и хроникер, вкусам и мнениям того же репортера. Как видите, журнальный «протоколист» внес в журнальное дело настоящий погром; как библейские тощие коровы пожрали жирных, репортеры, в сущности, наполовину уже пожрали старинные журнальные типы, переварили их в нечто новое, репортеровидное.

Чем же вызвано это перерождение журналистики? Почему она опротоколилась, не приобретя единственного достоинства протокола – точности? Причины этому лежат в самой психологии современного общества. С одной стороны, всюду замечается стремление к реальному факту, с другой – стремление пользоваться этим фактом ради корысти. Вспомните, что и в художественной литературе царствует протокол, собирание «человеческих документов», и вся наука основана на протоколе, и даже в области искусств – живописи, музыке, драме – вырабатывается протокольное направление. Живописец и скульптор вооружаются фотографическим аппаратом, музыкант и драматург – фонографом: подметив характерный пейзаж, характерную голову, мотив или выражение голоса, художник fin de siécle открывает крышку своего инструмента – и протокол готов. Из своих экскурсий современный художник везет не записные книжки, не кроки и картоны, а фотографии, стенограммы, фонограммы и т. п., и затем вся работа художника состоит лишь в том, чтобы подобрать эти документы, «подшить» их в общее «дело»: роман, картину, статую или драматический монолог. Стремление к натурализму есть особенный признак нашей эпохи, и журналистика в качестве прикладной науки и прикладного искусства всего ярче выражает в себе этот при-

знак. Один французский публицист пишет, что перерождение журналистики вызвано перерождением самого общества. «Изменились вкусы публики. Она создала другие газеты, потому что не читает и не интересуется тем, чем некогда… Длинные фундаментальные статьи публику больше не удовлетворяют: она оказывает прежде всего любопытство к фактам, а не к общим идеям; если временами ей и нравится рассуждение, то только коротенькое. Ничто не затрагивает так глубоко читателей, как беспорядочный ворох «происшествий», – будь то из салонов, судов, театров, палат, бульваров. В больших городах, где приходится знать о многом и где нужно читать скоро и мало, большие статьи наводят ужас. Им предпочитают заметку в десять строк и от писателя начинают требовать, чтобы он выражался как можно короче. Только в одном случае дозволяется распространяться – это когда излагается interview, которая есть в сущности разговорное репортерство. Это любимейший материал для чтения, это открытое окно в кулисах, к которому публика допускается заглянуть своими глазами в интимнейшие подробности жизни и мнений героя дня, великого или просто любопытного человека».

Таким образом, формирует журналистику, как и другие интеллигентные профессии, сама публика, «рынок сбыта», регулирующий всякое производство. Но, с другой стороны, нельзя отрицать и обратного могущественного влияния – влияния товара на рынок, вкусов фабриканта на вкусы публики. У полуобразованной, безыдейной толпы настроения и взгляды ежедневно подсказываются газетами; хор газет составляет внушение, противиться которому дремлющий мозг обывателя не в силах. Выходит circulus viciosus: публика развращает писателей, они – ее. Но нужно помнить, что такими «волшебными кругами» проникнуты все явления жизни. Две среды, взаимно связанные, всегда пропитывают одна другую по законам космоса, всегда приспособляются одна к другой, и весь вопрос в том, которая с бóльшим удельным весом и будет в состоянии наложить свой цвет на общую смесь. Некогда публика была в большей зависимости от печати, чем печать от нее; теперь вли-

яния уравновесились и толпа местами даже подчинила себе слово, опошлила его и оподлила. Но это продолжаться долго не может. Мы должны верить, что возрождение возможно, что рассеянное теперь, как пар в пространстве, обессиленное творчество воспрянет из хаоса, соберется и отвоюет свой потерянный престол в человечестве.

XVIII

Возрождение журналистики бесполезно обсуждать отдельно: как упадок ее есть лишь частный случай общего упадка интеллигенции, так и возрождение ее есть вопрос об общем подъеме человеческого духа. Когда явится поколение сильное, талантливое, вдохновенное – сейчас же расцветут и науки, и искусства, и печать. Я уже говорил (см. «Литературное бессилие»), почему не является такое поколение. В нашей цивилизации, в нашем бурном прогрессе недостает *культуры,* установившихся норм, своей *религии*, в которой дух человечества мог бы сосредоточиться. Стремительный прогресс наук внес анархию в область духа, растлил народную душу, рассеял складывавшуюся веками народную психологию. В цивилизованном обществе, при неисчерпаемых приобретениях духа нет того, что «единое на потребу»: успокоения, самочувствия силы и здоровья, которое является в уравновешенном и строго организованном теле. Вот это-то уравновешение, организация духа нашего и есть величайшая из потребностей нашего времени. Из хаоса сокровищ цивилизации, из анархии идей и настроений мы должны создать себе *завет*, новые формы, новое миросозерцание. Мы не должны отступать перед этой задачей: в ней вопрос – жить ли возвышенно и достойно, как только стоит жить, или только существовать, в мизерном прозябании, без радостей и высших целей. Эта задача не впервые выпадает человечеству, и оно уже решало ее не раз – доказательство, что задача разрешима, что откладывать ее нет причин, и что мы, живущее поколение, в состоянии ее решить. Не с неба, конечно, свалится нам новый порядок жизни, новый строй созна-

ния; мы должны найти его элементы в нас самих. В настоящем очерке мне хотелось отметить роль журналистики в этом великом деле – построения культуры, указать «призвание» печати в ряду других интеллигентных призваний, место ее на поле уже идущей великой борьбы «за веру и отечество» духа.

Всякое возрождение начинается *восстанием* духа. Приниженный материальными целями, усталый от несвойственной ему механической работы, изнуренный подлостью, в которую он впал, дух человеческий очнется, вознегодует, устыдится; он сделает великое напряжение, чтобы сбросить с себя оковы. Интеллигенция – носительница духа – сознает свое право, свою силу и долг свой. Все полки и отряды интеллигенции – истинные ученые, художники, писатели, журналисты, – все, кто отмечен благородством развития, все, кто служит теперь и угождает инертной массе, – сбросят это, в сущности, добровольное иго; до сих пор коленопреклоненная и потому в уровень толпе интеллигенция поднимется и увидит, что она выше толпы, что быть выше – естественный ее рост. Интеллигенция и толпа поменяются ролями; править жизнью будет первая, подчиняться – вторая. *Править*, конечно, не насилием физическим, а очарованием духовного превосходства, красотою разума.

То, что я говорю, может показаться отрицанием основного принципа нашего времени – господства демократии. Но мне кажется, что главный интерес человечества – не господство, а счастье; счастье же народных масс может быть достигнуто лишь при господстве интеллигенции – не «так называемой» интеллигенции, не теперешнего «образованного общества», а истинной интеллигенции, нравственно и умственно одаренной. Все интеллигентные профессии теперь переполнены людьми бездарными и низкими, которым в здоровых условиях общества место внизу, в подонках. Но, кроме них, во всех сословиях и профессиях есть люди великие, люди сильные и вдохновенные; они теперь рассеяны, часть их связана невежеством, часть – развращена лакейством перед толпой; но возможно освобождение этой, настоящей интеллигенции, которая одна настолько одарена, чтобы отличать важное от

незначительного и настолько благодарна, чтобы отдать себя важному. Такая интеллигенция, аристократия духа, безусловно, необходима для благоденствия средней массы людей, необходима не как слуга, а как старший брат. Теперешняя интеллигенция (так называемая) служит толпе, и, приспособляясь к низменному уровню ее, падает часто ниже уровня: подслуживаясь, она холопствует, и этим совершает гибельную измену самой толпе. Роль интеллигенции – подчинять себе (духовно) толпу, приспособлять ее к своему уровню, и только это и есть действительная служба интеллигенции народу.

Мне кажется, демократия охотно и без всяких споров уступила бы господство настоящей аристократии, и это было бы истинным устроением общества, естественною организацией, для всех наилучшей. Древняя аристократия оттого и пала, что перестала быть истинною аристократией, «отбором лучших». Предки этой аристократии – начальники дружин и князья – были действительно аристократами: превосходство тела и духа без труда дало им господство над бродячими толпами, организованные шайки которых были первыми завязями общества. Это древняя аристократия потому была истинной, что она была аристократией духа: ее отличало геройство, беззаветная храбрость, способность ставить идеальные цели выше жизни и достигать их хотя бы ценою жизни. Превосходить толпу, приспособлять, а не приспособляться – вот девиз древней интеллигенции, который должен бы служить девизом и нынешней. Древней интеллигенции удалось покорить себе первобытную анархию и в среду рассеянных, единоличных целей ввести общие направления, без которых не возник бы и прогресс. Талант и самоотверженность – секрет победы малых сил над большими – позволили аристократии удержать власть в ряде поколений; эта власть держалась даже тогда, когда в народившемся потомстве исчез талант, но все-таки держалась самоотверженность, обратившаяся в неподвижный культ чести, и только когда и это свойство исчезло, произошла катастрофа. Дряхлевшая вместе с отмиранием аристократии система жизни рухнула, все отслоения в обществе переме-

шались, и началась анархия, которая длится до настоящего времени. Эта анархия, как взбалтывание химической смеси в реторте, сближая элементы, «способствует реакции», жизнь принимает кипучий, лихорадочный ход, появляется энергическое брожение; среди хаоса нарастают и распадаются чудовищные явления, вроде капитализма, обнищания народных масс, милитаризма и т. п. Демократия, то есть народ как он есть, очевидно, бессилен разобраться в этой анархии; по своей природе всякая толпа пассивна; каждый отдельный член поглощен микроскопическими интересами, и собрание таких членов есть сброд, сырая куча, сама не ведающая, что с нею творится. Только аристократия (истинная) в состоянии вдохнуть в эту сырую массу сознание, только она создает культуру, раскрытие всех сил и богатств духа, на которые способна данная раса. Нарождение истинной аристократии есть нарождение нервной системы в организме; для блага тела решительно необходимо присутствие в нем мозга – органа тончайшего строения с высокою возбудимостью и отзывчивостью, со способностью напрягать материю до ее самосознания.

Современная интеллигенция оказывается бессильной победить анархию только потому, что она есть не настоящая интеллигенция, а носит один лишь герб ее и титул. За дипломом ученого или художника чаще всего содержится столько же гения, сколько за иною шляхетскою грамотой – благородства. Самые дорогие элементы в жизни оказываются поддельными; как в плохих часах, оси общественного механизма вращаются не на рубинах и агатах, а на простом стекле. А между тем есть же в жизни и драгоценные алмазы, и их хватило бы для центральных точек опоры. Мне кажется, рано или поздно – и ждать этого недолго – из среды общества и народа явятся талантливые люди, которые составляют истинную, отсутствующую теперь аристократию духа. Почувствовав, каким бессилием поражены центры жизни, эти талантливые люди хлынут к центрам – к очагам духовного творчества, они загорятся желанием победы – в сущности, нетрудной; они вытеснят отжившие, вымершие клетки в этом обществе и со-

ставят новую силу, которая и победит анархию. Может быть, это будет длинный и утомительный процесс; но если новые люди будут истинною аристократией, если они понесут с собою талант и отвагу – успех их несомненен. Новые люди, быть может, уже идут, но мы, увлеченные широким потоком, не замечаем движения. Перерождение некоторых интеллигентных профессий, быть может, есть лишь предвестник появления из недр народных новой аристократии.

XIX

На пороге нового века каждая интеллигентная профессия должна уяснить свое общее и свое специальное призвание. Умственные силы, стремящиеся к рычагам власти, должны изучить эти рычаги, узнать их механику и меру действия. Если обратиться к *общему* призванию журналистики, то конечная цель ее совпадает с целью всех наук, учений и искусств. Эта верховная цель – установление «Царства Божия» на земле, торжество правды. Зло жизни не есть что-либо роковое и прирожденное ей; всякое зло есть только недосмотр и недопонимание. Ничего нет утопического в примирении бесчисленных враждебных теперь начал, в уравновешении счастья, в удовлетворении вовсе не широкой нормы здоровых потребностей. Стоит лишь образоваться истинной аристократии духа, чтобы океан народа вошел в спокойные и счастливые берега. Стремиться к этой заветной цели есть долг всех сознательных призваний. Но, кроме общей цели, журналистика имеет и свою особенную.

Особенное призвание журналистики, мне кажется, есть не творчество духа, а собирание его, *объединение* всех истинных умственных профессий на задаче духовного служения народу. Журналистика – всеобщий посредник; как нервы в теле, журналисты вбирают в себя все впечатления жизни и доводят их до общественного сознания. Журналисты служат науке, искусствам, верованиям, политике, общественной жизни. Как первые должны сообщаться с мозгом, журналисты обязаны сообщаться с наукой; чтобы дать читателю обдуманный и точ-

ный ответ на любой из заданных злобою дня вопросов, журналист должен знать, где наука хранит все сведения по этому вопросу и какие сделаны выводы из этих сведений. Если недобросовестный журналист черпает эти ответы из собственного невежества, то это вовсе не есть необходимость. Наука необыкновенно доступна всякому, кто хочет открыть ее ларчик просто, без хитрых усилий. При сколько-нибудь толковой постановке журнального дела всякий журналист имеет возможность сообщать публике не только ходячее мнение, но мнение, взвешенное с данными науки и общечеловеческого опыта. Выдающиеся журналисты имеют в своем кабинете хорошо подобранную справочную библиотеку, постоянно освежаемую, и ни на час не расстаются с лучшею энциклопедией. Ежедневное заглядывание в эти обширные книгохранилища мысли делают талантливого журналиста не только «сведущим» по всем отраслям знаний, но и всесторонне образованным, так что даже ученым приходится удивляться отчетливости и связности представлений какого-нибудь «интервьювера» в их специальных областях. Конечно, черновая работа ученых и даже прикладная часть наук журналисту, может быть, незнакома, но все идейное содержание наук, все философское откровение их журналист должен знать не хуже, чем сами ученые, так как ему постоянно приходится говорить человеку от имени человечества, пересаживать общее знание в отдельный мозг читателя. Как я заметил раньше, журналистика является необходимым органом проникновения научных идей в глубь народную; школа оставляет человека еще в молодости, и только журналистика, сопровождающая его до гроба, путем ежедневного чтения поддерживает образованность читателя на уровне времени.

Чтобы быть учителем толпы, журналист в некоторой степени должен быть педагогом. В такой же мере он должен быть и художником, чтобы быть посредником между публикой и художественным творчеством. Толпа по природе своей неинтеллигентна; она не имеет не только своих понятий, но и вкусов; сами чувства должны быть ей внушены. Кажется, чего бы проще публике составлять самой мнение о картинной

выставке, о новой пьесе или новом романе – стоит посмотреть или прочитать эти вещи. Но оказывается, этого недостаточно; публика требует «отзыва», и отзыва не узкого специалиста, говорящего на каббалистическом специальном языке, а отзыва *третейского судьи*, лица, которое не есть ни публика, ни художник. Это особое лицо, этот проводник, соединяющий электрическую цепь между вдохновением художника и сердцем зрителя, есть журналист, художественный критик. Правда, у нас обыкновенно поручают музыкальные рецензии музыкантам, отзывы о живописи – живописцам и т. п., но это обычай нелепый, он объясняется отсутствием талантливых журналистов, которые являются реже, чем любая специальная талантливость. Публике, в сущности, малодоступны отзывы специалистов о своем ремесле. Как на ученых диспутах о каких-нибудь греческих частицах публика зевает и недоумевает, ради чего горячатся профессора, так и в полемике, например, между музыкальными рецензентами публика не понимает тарабарщину контрапункта или в отзыве живописца те оттенки, которые видит лишь изощренный глаз. Специалисты пригодны для школы, для передачи сведений в системе их; для передачи же публике общих впечатлений необходимо третье лицо, не порабощенное определенной методе или стилю. Едва ли, конечно, нужно прибавлять, что бездарный, не сведущий в данном искусстве журналист не может ни сам получать надлежащее впечатление о трактуемой вещи, ни передавать это впечатление. *Понять* – значит стать в уровень с идеей вещи, то есть овладеть главным секретом искусства.

Еще важнее роль журналистики в политике – как внешней, так и внутренней. Народный трибун, журналист есть первый страж общественных интересов; он первый поднимает крик о надвигающейся опасности; язык его, «как колокол на башне вечевой», собирает рассеянное общество на одном деле и объединяет его внимание. Журналист поэтому должен быть политиком; все большие влиятельные газеты представляют собой как бы дипломатические станции, где политика разрабатывается ничуть не меньше чем в зданиях посольств. С тех

пор как народы сделались богаче и трусливее, и война постепенно превращается в систему мирных угроз, увеличивается роль дипломатии, а ей приходится иметь дело с “sa Majésté l’opinion Public”*, истинным министром которого является пресса. Печать недаром зовется «Седьмою великою державою». Такие «владетельные» органы, как “Times”, имеют свои телеграфные проволоки, а в каждой столице – даже таких захолустных государств, как среднеазиатские ханства, – своих корреспондентов; иногда эти «постоянные корреспонденты» – настоящие послы по своему значению в политике. Что касается политики внутренней, то трудно указать профессию в этом отношении более влиятельную, нежели журналистика. «Политические деятели во Франции прямо зависят от общественного мнения, – говорит “Revue Bleu”. – Большинство из них только и обязано своим положением балагурству репортеров и существуют лишь благодаря шуму, который поднимает кругом них печать». Могущественно влияя на мнение общества, журналист создает «веяния» и разрушает их; как машинист на поезде своего времени, он или подбрасывает огня и увеличивает пар, или, выпуская его, нажимает тормоз. Политика прикасается к нравственности, к состоянию нравов, к миросозерцанию эпохи. Здесь роль журналистики до того очевидна, что едва ли нужно о ней распространяться. Все специальности в профессии журналиста сходятся, сбрасывают свою узкость и сливаются самыми ценными сторонами в одно целое неделимое общественное сознание. Журналистика, вы скажете, дилетантизм. Пожалуй, но не забудьте, что дилетантизм – более живое, более естественное состояние, чем специализм. Вне своего ремесла мы все дилетанты и иными быть не можем. Журнализм есть усовершенствованный, изощренный дилетантизм, идеал которого – универсальное всеведение. На такой высоте дилетантизм превращается в философствующее мышление, то есть высшее, какое возможно.

Журналистика в своем облагороженном виде могла бы быть центральным органом образованного общества. Вну-

* Его величество общественное мнение (фр.). – *В. Т.*

треннее призвание ее – связывать и объединять расходящиеся силы таланта и знаний, переваривать разнородные идеи и интересы в некоторое всем нужное настроение и затем разносить эту кровь мысли по клеточкам общества для его психического питания. Журналистика – самое могущественное из всех современных орудий для создания новой, недостающей нашему времени культуры. Она одна владеет всеми средствами цивилизации, одна соприкасается со всем содержанием общественной жизни. Гласность – верховный девиз нового общества; она выше liberté, égalité и fraternité*, так как заключает в себе свободу мысли – драгоценнейшую из свобод, равенство мысли и братство мысли – основы всякого равенства и братства. В слове «гласность» заключены все «права духа», как в соответствующей политической формуле – «права человека». Гласность, не ведающая тайн, есть закон Царства Божия, царства добра, которое в секретах не нуждается. Вооруженная этим могучим оружием, срывающим забрала и зубчатые стены в психической жизни людей, журналистика является в новом обществе, может быть, самым деятельным началом прогресса.

Но для того, чтобы это великое орудие совершило великую работу, необходимо, чтобы оно попало в надлежащие, *чистые* руки. Необходимо, чтобы к журналистике как к наиболее утонченной общественной функции прихлынули благороднейшие элементы общества и освежили бы теперешний сомнительный состав писателей, не умеющих воспользоваться и малой долей громадной врученной им власти. Это вопрос величайшего значения для общества – сблизить талант и благородство с орудием влияния на массы. В настоящее время вследствие культурной анархии не существует естественного распределения талантов: к профессиям, наиболее интеллигентным, часто устремляется жадность и бездарность, тогда как у чернорабочих станков или в канцеляриях видишь даровитых, бесполезно хиреющих людей. Как в прежние времена военная и придворная служба, так теперь разросшийся бюрократический механизм, а в последнее время – промыш-

* Свобода, равенство, братство (фр.). – *В. Т.*

ленность, техника, железнодорожная, адвокатская служба и т. д., – отвлекают от просветительных профессий наиболее энергичные и способные элементы. Конечно, способности нужны всюду, но, однако, не везде в одинаковой степени. Где необходим талант, а где достаточно и простого усердия. В огромном большинстве прикладных профессий только на высших руководящих постах необходим талант: все низшие инстанции с определенною раз навсегда деятельностью представляют мертвые части машины, винты и рычаги, от которых требуется только крепость и исполнительность согласно намерениям двигателя. Между тем к этим инстанциям в ожидании занятия центральных мест и блестящих карьер приливает масса талантливых лиц, обладающих способностями высшими, чем требуется, и непригодными для чернорабочих функций. Как часто видишь даровитого и образованного человека, погрязшего из видов карьеры где-нибудь на заводе и изнывающего долгие десятки лет, всю свою молодость и зрелость, на третьестепенных должностях, где он, талант, не выдерживает конкуренции даже с бездарностью, так как у него нет ни деревянного автоматизма и безразличия к делу, ни умеренности и аккуратности. Такой талант путается в рутине, где ограниченность чувствует себя привольно, ему несносно быть орудием чужой мысли, он постоянно выходит из своей роли и, как зарвавшийся скакун, отстает иногда от несомненной клячи. И сколько таких талантливых людей пропадает по затхлым конторам, мастерским, железнодорожным станциям, в степной глуши, за прилавками магазинов, за столом адвоката или доктора! Пойми они в годы юности, какое преступление совершают над собою, погребая свои таланты, как евангельский ленивый раб, от какого высокого счастья они отказываются из жалкого соблазна карьеры или денег, покупаемых столь дорогою жертвой, отдайся эти люди возвышенным влечениям – мы имели бы в просветительных профессиях, в науке, литературе, журналистике, искусствах, вместо теперешнего оскудения обилие талантов, и насколько от этого выиграл бы духовный подъем общества – может судить всякий.

Но те юноши, которые почувствуют в себе власть духа и обрекут себя на счастливую, хотя часто подвижническую дорогу, должны нести к центрам жизни не только талант и не только энергию. Есть нечто еще более драгоценное и даже более могущественное: это *совесть*. Ни в чем и никогда жизнь не нуждалась более, чем в этом органическом, творящем элементе. Всякое оскудение, если разобрать его, коренной причиной имеет нравственный упадок. Именно бессовестность обессиливает журналистику, и, наоборот, сознание долга возводило бы ее, – не то смутное, колеблющееся сознание, которое готово на всякие компромиссы, а сознание, уясненное до степени воли, до степени страсти, где достижение цели долга ставится выше жизни. Ведь только совести и недостает всем этим униженным и опозоренным репортерам и корреспондентам, чтобы сделаться уважаемою и полезной силой. Вообразите себе, что захолустный, прячущийся корреспондент решил в один прекрасный день «говорить правду, одну только правду», как говорится на суде, и говорить ее открыто, с достоинством и серьезностью, не отказываясь защищать эту правду, как свой личный интерес, – какое бы впечатление произвело появление этого человека в обществе! Какое бы бодрящее влияние оно оказало на местные честные элементы, запуганные до молчания! И один такой отважный человек был бы уже «воин в поле»: ведь в союзе с ним была бы половина общества, а вообразите себе появление целого ряда таких людей, рыцарей честной гласности. Это повлекло бы за собою нравственный перелом общества, то воскресение к жизни, в котором все и всегда нуждается.

Призвание журналистики, как видите, есть призвание великое, но еще непонятое.

О литературе будущего

I

Какова будет литература будущего? Чем станет зачитываться образованное общество в 2000 году?

Вопрос этот, как и всякие гадания о временах грядущих, иной солидный читатель сочтет праздным: говорить о том, чего не было и чего нельзя проверить – не значит ли бредить, рассказывать какие-то сны? Пусть так, но ведь бывают и вещие сны, бывает и вещий бред. Иногда этот «бред» в устах художника или мыслителя дает такие очаровательные, полные жизни предчувствия, что ими зачитывается и розовый юноша, и седовласый старец. Вспомните грезы утопистов, от пророка Исаии[1] до Томаса Мора[2], от Платона до Карла Маркса. Наш дряхлеющий век материализма не менее иных веков не удовлетворен настоящим и не менее их мечтает о рае будущего. Посмотрите, какое громовое впечатление в Северной Америке – ультраматериальной, промышленной и архикультурной стране – произвела фантазия Беллами о социальном строе общества через сто тринадцать лет[3]. Не говоря о бесчисленных изданиях книги и переводах ее на все языки, в Америке возникло особое общественное движение: образовались общества, союзы, кружки лиц, преданных идее Беллами, возникли целые учреждения, особая пресса и т. п. Фантазия романиста взволновала ученый мир и возбудила полемику среди экономистов, явились в литературе подражания и т. д., и т. д. Не одни романисты позволяют себе мечтать о будущем. За ними с более значительными минами выступают политики, – стоит назвать предсказания покойного Дизраэли[4] или живущих – Чарльза Дилька[5], Бьернсона[6], Вамбери[7], Бисмарка. Политика, впрочем, вне грез не имеет смысла. За политиками идут уже вполне серьезные люди – ученые-натуралисты, вроде Шарля Рише, Крафта-Эбинга, Фламмариона[8], Ломброзо, Мантегаццы и др., которые описывают будущее с подробностью завзятого романиста. Да и как не мечтать о таинственных, не существующих, но где-то слагающихся, наплывающих откуда-то временах, которым, как и прошедшей вечности, – нет конца? Если уж прошлое, невозвратное прошлое нас столь волнует и умиляет, то как же оставаться равнодушным и не вперять глаз в загадочное грядущее, в эту несуществующую реальность, которая на момент захватит и нас и будет нашей сущностью,

нами самими? Только вообразите: если судьба пошлет вам еще хотя бы двадцать-тридцать лет жизни – тысячи недель, десятки тысяч дней с их шумом и пестротой, – дней, из которых каждый, по выражению мудреца, представляет «маленькую жизнь»! Как все это огромно, неожиданно, интересно! Нет, я не согласен с солидным читателем, отрицающим грезы, «верующим только в то, что он есть», как выразился на суде один революционер. Мечты о будущем не только приятны, они даже необходимы: наша текущая действительность только грезами о будущем и одухотворяется. В будущем – цель, в будущем – идеал, то сердце души, которое мечтами связано, как нервами, со всем существом настоящего, чтобы дать ему движение и сознание. Народ, перестающий мечтать о будущем, теряющий надежду, превращается в стадо двуногих, в движущийся лес. В самом деле: что влечет человека вперед, как не надежда, и что такое надежда, как не воображение? Мы, русские, не отличаемся фантазией, и оттого-то, может быть, наша действительность так бедна и прозаична. Народы с пламенным воображением создавали себе картины лучшего и по открытым совершенным образцам пересоздали жизнь: мы умели только созерцать настоящее, только о нем имели понятие и потому мирились со всякою действительностью...

Какова будет литература в будущих, более разумных веках?

Вы помните, конечно, как достопочтенный мистер Джулиан Уэст*, внезапно проснувшийся от своего стотринадцатилетнего сна в доме доктора Лита, знакомится при содействии очаровательной мисс Эдиты с социальным строем и учреждениями XXI века. В числе прочих чудес мистер Уэст узнает, что первая половина XX века – время неслыханного развития литературных талантов и что едва ли человечество когда-либо делало в такой короткий промежуток столь огромный шаг вперед. В человечестве проявится такой подъем духа и всех способностей, о каком средневековая эпоха Возрождения может

* Беллами. Looking Backward. (В русском пер. – «В 2000 году»). – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

дать лишь слабое понятие. В государстве будущего, по Беллами, единственным издателем книг будет государство, хотя и насчет авторов. Никакой цензуры не будет; в искусстве, как и в литературе, единственным судьей будет публика, вотирующая (?) принятие предметов искусства в общественные здания; правительство же будет издавать газеты, редакторы которых будут выбираться подписчиками ежегодно; вдобавок великие писатели будут награждаться красными лентами (!) по народному голосованию, и такая лента будет высшею национальною почестью – выше даже звания президента.

К сожалению, талантливый автор “Looking Backward” литературе XXI века уделил всего две-три странички, да и то, как видите, не особенно удачных фантазий. Почти ничего он не говорит о внутренней стороне литературы; узнаем только, что и в будущем веке появятся великие романы, но «они будут построены без всяких эффектов, даваемых контрастами между богатством и бедностью, образованием и невежеством, возвышенными и низкими чувствами и т. п.». В романе будущего «если и будет любовь, то любовь, не стесненная никакими преградами, которые создаются различием общественного положения». И все. Для фантазии, согласитесь, это чрезвычайно мало. Можно даже усомниться, будет ли еще существовать литература в 2000 году? Слишком правильный и обдуманный социальный строй, в котором очутится мистер Уэст, не давая места ни ошибкам, ни увлечениям, ни драме, ни комедии чувства, – не даст, пожалуй, вовсе никакой пищи беллетристике. В огромной машине, в которую превратится человеческое общество, установятся неизменные отношения, и описывать тысячу раз любовь гайки к винту или рычага к точке опоры будет так же скучно, как и читать все это. Даже в наше время некоторые серьезные мыслители пренебрежительно смотрят на изящную литературу. Морлей, например, допускает ее лишь как отдых от труда, называя «прозаической фикцией» и «элегантным пустяком». Макс Нордау утверждает, что беллетристика в будущем станет забавою исключительно женщин и детей, как танцы. Карлейль[9]

шел еще дальше и предсказывал совершенное исчезновение в будущем беллетристики, а один из талантливейших русских публицистов утверждал, что настанут времена, когда поэт, даже такой великий, как Пушкин, если и появится, то будет посажен в банку со спиртом, как редкостная диковина...

Таковы предсказания о литературе будущего. Но, возможно, что мир и не стремится сделаться машиной, и люди грядущих веков будут теми же, как и мы, капризными, изменчивыми существами, для которых «тьмы низких истин» будут дороже, чем «нас возвышающий обман». Человеку, пока он человек, всегда захочется время от времени оторваться от действительности, продолжить свое бытие за грань факта, поволноваться в мечтах, помучиться, порадоваться без причин. Если так, то будет и литература; в своем усовершенствованном Бостоне мистер Уэст найдет, вероятно, и усовершенствованную литературу. Из стихии теперешнего натурализма и торжества «человеческих документов» – физиологических и психологических – он попадет, вероятно, в иную, менее архивную, более свежую атмосферу. Между прелестною мисс Эдитой и ее возлюбленным возникнут сравнения тогдашней и теперешней литератур, горячие споры, и победа останется, конечно, за XXI веком. Хотя Беллами не приводит, к сожалению, ни одного подобного спора, но я искренно присоединяюсь к аргументам прекрасной мисс Лит и даже беру смелость подсказать ей некоторые соображения – в укор теперешнему и во славу грядущего искусства слова.

II

– Расскажите, – спросит барышня XXI века, – какая в ваше время преобладала литературная школа?

Мистер Уэст принужден будет, по совести, указать на натурализм, так как мелкие школки символистов, неоромантиков, психологов, декадентов, эстетов, магов, выскочив, как грибы у корней дуба, едва ли и не исчезнут с такою же стремительностью. Натурализм – вот крупная, характерная

школа, отцом которой совсем неправильно назвался Золя. Это незаконное детище не может указать в точности своего родителя, так как и Шекспир, и Боккаччо[10] могут заявить свои права, не говоря о ближайших: маленьком Поль де Коке[11] и великом Бальзаке. Натурализм – только взрослая форма существа, народившегося очень давно, многие годы бродившего по парижским бульварам, называвшегося реальною школой, пока губительное время не отняло у него юношеской свежести и идеального оттенка, свойственного юности. Натурализм – состарившийся реализм, школа грубая и циничная, школа рассудительная, холодная, знающая грязь жизни и не боящаяся ее. Что такое писатель по формуле этой школы? Поставщик «человеческих документов». «Писатель – тот же свидетель судебных дел, который должен показать все, что ему известно, и не скрывать ничего ни по родству, ни по дружбе, ни даже страха ради». Так определяет писателя один талантливый русский натуралист.

Американская барышня заметит, конечно, что слова «натурализм», «натуралист» имеют в XIX веке два значения: как научный метод и как школа в беллетристике. Натуралистом называются одинаково ботаник, собирающий цветки и травы, энтомолог, разыскивающий и изучающий насекомых, и беллетрист, разыскивающий человеческие разновидности.

– Но не одно ли это и то же? – воскликнет барышня. – Если и цели у натуралистов одни и те же, и средства одни и те же, то почему один из натуралистов звался литератором, то есть как бы художником? Ему правильнее было бы называться ученым, антропографом или социологом.

На это замечание мистер Уэст едва ли возразит что-нибудь основательное. «Но если беллетристы в ваше время были, в сущности, ученые, вроде зоологов, ихтиологов, то существовала ли словесность, как искусство? Была ли у вас литература как искусство, а не как отдел естествоведения?»

Не знаю, что ответит на это мистер Джулиан Уэст. Сказать, что литература не существовала, – будет грешно. В незначительном, крайне малом числе в литературе были

не только научные, но и истинно поэтические вещицы, и даже сами натуралисты, не исключая Золя, – не выдерживая научного тона, иногда подчинялись художническому, творческому инстинкту и давали полные прелести страницы. Но на основании этих исключений из правила мистер Уэст, пожалуй, не решится утверждать, что в конце XIX века существовала литература. Вернее, ее не было. Золя – физиолог и социолог, Бурже – социолог и психолог, Доде – все это вместе. Это, так сказать, профессора своих наук, то есть не только ученые, но немножко философы, немножко поэты. Огромное же большинство заурядных натуралистов – те даже и не пытаются строить какие-нибудь «здания» в науке, а обрекают себя на роль собирателей и описателей. Едет, например, такой натуралист по Волге, описывает все встречи, сценки, типы, как естествовед описывает новые разновидности растений, характерные формации, редких животных. Приходится свернуть на Каму – наш ученый описывает свои впечатления и на Каме; повернул на Чусовую – и ту описывает, и т. д. Куда бы ни забросила судьба натуралиста пера – во дворец или рудники, в каюту парохода или на деревенский сенокос, – он на все смотрит глазами фотографа, все примечает, отмечает и печатает; подобно своим собратьям, собирателям естественно-научных коллекций, он думает только о том, как бы побольше собрать образчиков и сдать в музей – то бишь в журнал, а нужно ли это вообще и насколько нужно – вопроса не задается. В результате – как и в науке, в литературе появилась необъятная масса «материала», который требует разборки, сам же по себе не имеет никакой ценности. Как музеи и кунсткамеры завалены тлеющими дубликатами червей, жуков, попугаев, змей и пр., и пр., так журналы, книжные магазины и библиотеки переполнены описаниями многочисленных «героев»: Иван Петровичей, Петр Иванычей, Вер Павловн и пр., и пр., обитающих на обширном пространстве, например земли русской. В музеях, впрочем, это наводнение коллекциями не столь опасно: зоологу стыдно предложить в дар музею чучело простой кошки или описать в ученом журнале какую-нибудь капусту.

Считается, что то, что уже известно, не требует вторичного открытия. В литературе не так. Ту же кошку, тот же человеческий тип открывают сотни и тысячи раз, ту же любовь или ревность описывают без конца, комбинируя только названия героев и места действия, и единственная оригинальность – это описать неверно явление, которое давно имеет уже верное описание. Беллетристы оправдываются тем, что человеческое общество столь пестро и разнообразно, жизнь так изменчива, что ничто в точности не повторяется: хоть маленькая, хоть ничтожная разница, а все-таки существует. Non bis in idem*,– стало быть, списывать можно со спокойной совестью: пусть одного Ивана Ивановича отличает от другого только родимое пятнышко на щеке, все же это будет другой человек. Зоологам в последнее время, кажется, становится обидно, глядя на беллетристов; и они начинают придерживаться того же принципа. Пусть в зоологии описана кошка серая, но описал ли кто кошку серую с белым пятном на левой стороне нижней части задней правой ноги? Нет. Так давай-ка, думает зоолог, я опишу: начну с общего вида, числа лап, ушей, зубов и т. п., повторю все, что всем известно о кошке, и прибавлю новую черту, попадающуюся на отдельных особях, – белое пятнышко на ноге. А сколько еще кошек останется с пятнышком на хвосте, на левом боку, на правом ухе и т. д., наконец, с оборванными ухом или хвостом! На целый век ученого хватит подобных описаний – и все «особых», оригинальных.

Таков натурализм в науке, таков и в искусстве. Американская барышня заметит, что подобная – в полном смысле бесконечная – работа едва ли имеет не только художественную, но даже и научную ценность, так что беллетристов натуралистической школы, занимавшихся только повторениями, нельзя назвать даже и учеными. Так кто же они? Мистер Джулиан затруднится что-нибудь ответить на это. Я отвечу за него.

Это не художники и не ученые, а ремесленники обоих цехов. Их работа носит все признаки ремесленной вещи: делается она по шаблону, спешно, неопрятно, непрочно, удо-

* Не двух (два) в одном и том же (лат.). – *В. Т.*

влетворяет минутной потребности и пропадает, как старые калоши или перчатки, бесследно в памяти потребителя. В то время как истинно научное или художественное произведение есть всегда unicum*, нечто единственное и на все прежнее не похожее, всегда открытие, всегда новость, – произведение ремесленное есть всегда повторение, пересказ, подражание тому, что неподражаемо. Эта ремесленность душит и литературу, и науку XIX века... Нынче уже нет произведений, а есть только воспроизведения, съемки, бесконечные слепки с лиц, вещей, мыслей и чувств...

III

В самом деле, что такое натурализм? Это есть изучение природы, познание ее такою, как она есть. Для ученого – а литератор-натуралист есть ученый – решительно все на свете имеет одну цену: с одинаковым любопытством он разглядывает голову Бисмарка или голову дождевого червя, одинаково тщательно описывает профиль гор или трещину стены. Как мертвое зеркало отражает все, что бы ни явилось перед ним – от небесных светил до пыли, приставшей к стеклу, так и натуралист: он хочет увидеть и затем изобразить на бумаге или полотне всю природу. Для науки нет низкого и высокого, красивого и некрасивого, умного и глупого: даже на здоровье и болезнь она смотрит с одинаковым бесстрастным любопытством, даже рождение и смерть для нее только «явления» – и не больше. Верховная цель науки – установить факт, добыть средства для вывода, добыть изображение действительности. Со всей природы, со всего общества и с души человеческой наука стремится снять точный вид, всемирный паспорт с мельчайшими приметами. Читатель, конечно, имеет понятие о так называемых ученых каталогах – в астрономии, ботанике, зоологии и пр., и пр. Огромные тома состоят из перечня звезд, их относительного положения, блеска, цвета и пр., и пр. или из перечня букашек, инфузорий (в науке слон и ин-

* Уникальный (лат.). – *В. Т.*

фузория имеют одну цепу), с описанием их родины, нравов, привычек и занятий, а наружность их отмечается с большею точностью, нежели описываются в полицейских бюро замечательные преступники.

Таковы стремления научного натурализма. Я не отрицаю, что такая точность, такая погоня за мелочами в науке необходима; по крайней мере, в отдельных случаях она оказывает ученым большие услуги. Но переносить эти стремления в искусство мне кажется безумством, все равно что строить музыку на алгебраических уравнениях (чему бывали попытки) или железо превращать в золото. Идея алхимиков даже менее, пожалуй, нелепа, нежели посягательство ученых обобщить искусство с наукой. Тут две независимые природы, две вечно свободные стихии, не сливающиеся, как метафизические порядки качества и количества, причины и цели. В то время как наука показывает природу как она есть, истинное искусство ищет, чем она должна быть. Наука дает типы, искусство – идеалы. Наука снимает все явления, совершенные и несовершенные, правильные и уродливые; искусство же оценивает их, давая почувствовать все совершенство или всю уродливость этих явлений. В нравственной оценке – вся суть искусства, которое показывает в том, что есть, то, что должно быть. Искусство должно делать открытия в мире красоты такие же, как наука – в мире истины. Оно должно приобретать прочные, вечные факты красоты и обогащать ими человеческое сознание, развивать его. Как Леверрье[12] на основании кабинетных вычислений открыл Нептуна, как химики на основании атомной системы открывают в теории новые тела, прежде чем найти их в самой природе, так истинный художник, мне кажется, в состоянии возвыситься до прозрения неизвестных, но возможных и совершеннейших форм красоты. Мейсонье[13] удалось дать ракурсы, которые потом были подтверждены моментальной фотографией; Альма Тадема[14] в своих античных картинах из древней жизни сделал открытия, которые потом подтвердились археологией. Античные лошади на фризах Партенона дают тип породы, никогда не существовавшей, но несравнен-

ной по красоте. Поэзия в искусстве имеет цель приблизительно ту же, что философия в науке. Изучив мир, философия хочет постичь его скрывающиеся в тумане возможности, его будущие формы. Но эти формы могут быть и хуже теперешних: развитие бывает не только поступательным, но и обратным. Поэзия как бы вмешивается в этот неблагоприятный человеку процесс. Она, опираясь на действительность, познанную научно, прозревает совершеннейшие формы, открывает красоту и, покоряя ей, приглашает человека идти – не к отдаленному факту, а к отдаленному совершенству. Это как бы протест бессмертного духа, увлекаемого реакцией материи. Наука вводит в наше сознание знание вещей, искусство вводит критическое отношение к ним, вкус – драгоценнейший элемент души, средоточие ее жизни. Именно искусству принадлежит движущее начало в человечестве; оно – элемент прогрессивный, тогда как наука имеет, в сущности, инертный характер. Наука – открытие факта, каков бы факт ни был – безразлично: только инстинкт искусства – вкус – заставляет нас быть недовольными фактом и толкает вперед. Наука своими открытиями одинаково бесстрастно служит как герою, так и злодею. Кто первый овладел мертвым оружием науки, тот и прав. Не то – искусство; всюду, куда бы оно ни проникало, оно вносило дух критики, стремление к лучшему; оно облагораживало человека раскрытием идеала. Даже в тех случаях, когда искусство служило дурным страстям – гордости, сладострастию и пр., оно искало прекрасного выражения этих страстей, то есть форм смягченных, утонченных, интеллектуальных, которые отнимали у страстей их жестокость. Под влиянием науки общества становились богаче, промышленнее, сильнее, но часто – несчастнее прежнего: грубее и жесточе. Под влиянием искусства люди становились благороднее. Что нужнее для человечества – доказывается тем, что ни один народ не создал науки; она – явление сословное, тогда как в народном эпосе, музыке, танцах, одежде и утвари народная масса дала памятники искусства, не превзойденные профессиональными художниками. Такова, по моему мнению, природа истинного искусства; оно – выше науки, как идеал

выше факта. «Поэзия, – говорит Аристотель, – философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о единичном». А история вещей ведь и есть наука.

Я боюсь, что некоторые читатели сочтут, что я унижаю науку. Прошу не приписывать мне и тени желания унизить ее. Науке – свое место, искусству – свое. Я хотел только отметить здесь губительное вторжение факта в область идеала, науки – в искусство и в том числе в литературу. Тирания науки распространяется через искусство на все наиболее интимные сферы жизни, внося в них холод и сушь, дух консерватизма и грубости. Да, наука – тиран, хотя в некоторых отношениях и очень полезный для общества, как тираны древних греческих городов. Беспутное веселье, беспорядок, сумятица, бедность этих городов, их невежество с воцарением тирана сменялись хотя и скукой, но порядком, зажиточностью, образованностью, великолепными сооружениями. Но все же эти блага не покрывали отсутствия свободы, и граждане охотно сбрасывали с себя эти золотые цепи. Наш век, мне кажется, изнывает в рабстве у такого благодетельного тирана. Бесцельность жизни, безбожие (в философском смысле), современное бездушие человека, мне кажется, есть продукт науки, излишнего вторжения натурализма в области, где ему не должно быть места, результат подстановки механических начал на место органических. Раскрыв все двери и окна наших чувств для науки, для голого факта, выгнав из сознания все недоказанное, потеряв доверие к творчеству духа, – мы впустили в свой внутренний храм материю со всею ею сыростью, со всею ею мертвою, хотя и достоверною тяжестью. Материя залила нас изнутри и поглотила извне, как лава Везувия – помпейские трупы. Голое знание, заполонив душу, вытеснило стремление к лучшему, чувство выбора. Мы ужасно материализовались; набитые фактами, как чучела сеном, мы имеем, как и чучела, вид живых существ; но троньте нас нравственно – мы валимся, мы оказываемся без нервов и соков, без способности нравственного движения. В самом деле, сравните душевную силу тех поколений, которые создали классическую цивилизацию,

эпоху Возрождения, Реформацию, политическое движение в конце прошлого века. Ведь все эти подвиги были совершены донаучными временами, поколениями ненатурализованными, так сказать, неточными: материализм расцвел позже. Эти поколения были полны иллюзий и суеверий; в науке царствовал флогистон*, философский камень; все от мала до велика боялись ада и верили в ведьм. Поколения дикие и буйные, столь широко тратившие кровь свою на достижение великих целей, были жизненнее нас, сильнее духом...

IV

Наука в смысле натурализма есть детище исключительно нашего века, хотя идею его дал Бэкон и еще ранее Лукреций и Аристотель. До нашего века то, что называлось наукой, было отраслью поэзии, было несомненной ложью, но ложью, по-видимому не противной жизни: из нее, как из навоза, выросли роскошные цветы мысли, тогда как наша точная наука напоминает подчас химический песок – по чистоте и бесплодию. Натурализм, внедрившийся всюду – в науке, искусстве, литературе, – могущественно отвлек внимание людей от внутренних вечных вопросов к внешней и случайной действительности.

Я сказал – могущественно, и мистер Джулиан Уэст будет вправе извлечь отсюда оправдание натурализму. Если он – могущество, а это несомненно, то не значит ли это, что в нем – правда? Не правдою ли своей он восторжествовал над веками лжи и тьмы? Где секрет его страшной власти над самыми просвещенными поколениями в истории? На это мисс Эдита может возразить, что великий успех свойствен одинаково как правде, так и заблуждению, и последнему даже в большей мере. Натурализм имел громадный успех не потому, что он выше прежних настроений, а потому, что его цели бес-

* От греч. «phlogistós» – воспламеняемый, горючий. Согласно опровергнутой А. Лавуазье гипотезе химиков конца XVII – начала XVIII века, «начало горючести» – составная часть веществ, которую они теряют при горении и обжиге. – *В. Т.*

конечно достижимее прежних, работа его – бесконечно легче. Прежние настроения ведь тоже были могущественны – они в истории преобладают, – но их сила – в высоте целей, тогда как сила натурализма – в низменности, то есть общедоступности их. Прежний, донатуральный человек задавался целью не меньше как узнать Господа, мировую душу, разрешить суть вещей. Натуралист же задается исследованием фиалки или бабочки. Согласитесь, что задачи неодинаковы. В то время как старинный человек ни на вершок не подвигался к решению, мучился, страдал, громоздил вымыслы на вымыслах и погибал под их развалинами, человек новый успеет в один час закончить исследование: сосчитывает лепестки, тычинки, листики, отмечает их форму, цвет, расположение, записывает все это и, сложив работу в ящик, идет прогуляться с сознанием успеха. Старинный человек взывал к небесам, вопрошал подземные силы, бредил и спорил без конца, а нынешний тихохонько, без спора, приступает к исследованию подснежника, потом ромашки, майского жука, кузнечика... Возможен ли спор по поводу истины, что у бабочки три пары ног? Такое открытие каждый может проверить и убедиться, что это святая, бесспорная истина, как и то, что эти ноги или крылья покрыты роговыми чешуйками, и пр., и пр. Из таких истин стали вырастать огромные тома, целые библиотеки; классифицируя эти истины, философы и поэты начали делать умственные построения, поразившие своею стройною оригинальностью... Эти построения, взятые из факта, казались фактом же, то есть святою истиной, хотя выяснилось, что из одних и тех же фактов можно построить, как из груды кирпичей, не одно, а много самых разнообразных зданий мысли, самых несходных между собою «истин». Но тем не менее это был громадный успех в сравнении с трагическими терзаниями старинного человека, явно несшего вздор. Наконец, когда к маленьким истинам науки подступили предприимчивые люди, когда раскрыты были внешние, валявшиеся под ногами тайны природы, и из них, как из тысячи открытых фонтанов, брызнули из земли ее богатства, – тогда культурный человек

был окончательно ошеломлен и без слова сдался натурализму. Наука не лжет; есть ли бессмертие, нет ли, не узнаешь, пока не умрешь, а наука то, что обещает сегодня, дает вам завтра, да еще с лихвой. Нет, натурализм не лжет, в нем истина, а стало быть, во всем остальном ложь. Обрадованный, восхищенный человек весь облекся в натурализм; он вооружился наблюдением и опытом и смело двинулся... к вечным вопросам, в область поэзии, философии, религии. Оказалось, однако, что в таком вооружении нечего и делать в этой области. Это все равно, что микроскопом рассматривать свод небесный – ничего не увидишь. Не увидев ничего нематериального внутри себя и природы, человек решил, что, стало быть, ничего там и нет: натурализм не лжет.

Но тут его восторг начал проходить. На натуралиста стали нападать безотчетный страх и тоска. «Где же я? Кто я? Мир велик и бесконечно пуст – пустыня без конца, без края, и я – брошенный в ней мертвец. Дерево и я, улитка и я, песчинка кварца и я – одна нам цена, один смысл, и даже никакого смысла ни им, ни мне...» Тут, может быть, впервые натуралист с завистью поглядел на своего отца, суевера. Тот все еще нес «сущий вздор», не верил своему рассудку и безумно верил в то, что мир – не пустыня, а сплошная жизнь, что человек жив и никогда не умрет. Какая великолепная мания! Сколько счастья в этом помешательстве! Но помешаться не в воле человека, да он этого и не захочет. Жалкий колодник, навсегда брошенный в рудник, не променяет этого положения на воображаемый трон сумасшедшего, хотя последний столь же счастлив, как и настоящий король, если не больше. Но что, если король вообразит себя колодником? Если великий властелин, потеряв что-то в голове, уверует, что он раб и нищий? Это – драма, пожалуй, ужаснее первой, и кто поручится, что современное, опустошенное натурализмом общество не страдает этим видом мании? Не есть ли безнадежное отчаяние пессимизма – сумасшедшее отчаяние?

Итак, достопочтенный мистер Джулиан, внешним успехом научного натурализма нельзя определять его внутреннее

достоинство. В сущности, натуралистический метод как в науке, так и в искусствах потому успешен, что доступен каждому, что это механический, чернорабочий труд. Требуются глаза, уши, нос, руки и очень мало мозга. Требуется внимание к минуте и забвение в вечности. Талант, воображение, обобщение – все это является скорее помехой для присяжного наблюдателя; это сбивает с почвы факта, привносит посторонний элемент. Полезнее ограниченный, рядовой человек, который бы машинально отмечал все, что видит. Идеальные наблюдатели – автоматические, самозаписывающие приборы, и в последнее время это сословие грозит вытеснить немалое число живых натуралистов. В самом деле, индуктивный метод – все равно что рельсы железной дороги: стоит попасть на них, и только вертите колесами, экипаж непременно докатится до всех станций, до всех открытий, лежащих на пути. Мне укажут на великие обобщения Ньютона, Дарвина, Лайеля[15], Мейера[16] и т. п.; но это уже не наука в строгом смысле, а философия: как Ньютон, так Дарвин, Мейер и др. сначала открыли свои законы и уже потом обставили их доказательствами из сырого материала науки. Да и то нужно сказать: успех в этой области довольно скромен, если вспомнить, что те же великие обобщения делались и без помощи натурализма, поэтами и мудрецами еще дохристианской эры. Правда, кроме великих обобщений, сделано чрезвычайно много средних, добыта масса драгоценных практических истин, которые приносят большую пользу – если не всему человечеству, то хоть маленькой части его. Этого я не отрицаю. Заслуги натурализма громадны; я хотел только указать на провинности его перед человечеством.

V

Натурализм в искусствах (не исключая словесности), как может настойчиво утверждать мисс Эдита, есть тот же научный натурализм, в сущности упраздняющий искусство. Вообразите четырех современных натуралистов: живописца, скульптора, беллетриста и этнографа, увидевших одновременно

интересный человеческий тип. Все хватаются за свои орудия работы, и каждый начинает снимать портрет. Сделать на бумаге, в глине или в красках возможно точное, возможно верное изображение субъекта – вот общая цель всех. Но в таком случае почему же при равной талантливости снимок скульптора будет менее научен, нежели письменный снимок этнографа? Раз сам человек – предмет науки, то и точное изображение его из глины – такой же научный предмет. Что касается беллетриста и этнографа, то возможно, что они совпадут в описании предмета слово в слово. Психиатры утверждают, что по некоторым этюдам Достоевского и Гаршина студенты могут изучать душевные болезни, как по научным клиническим картинам. По-видимому, ничего нет печального в этом совпадении: науки и искусства. Что ж дурного, что художники придут на помощь науке и то, что ботаник или этнограф снимают каракулями, воспроизведут во всей выпуклости, во всей телесности живого предмета? И я не вижу здесь ничего, кроме пользы. Великий вред я вижу только в том, что такое приуроченное к науке художество продолжает называться искусством и даже объявляет себя истинным искусством. Это уже грубая ошибка, похожая на то, как если бы математик, приспособившийся к какому-нибудь вычислению процентов в банке, вдруг заявил, что это и есть истинная математика; и что чистой, свободной науки этого имени не существует. Это была бы великая ложь. Как помимо вычисления процентов, градусов спирта, аршин сукна и т. п. есть беспредметный численный строй, бесконечно видоизменяющийся по строгим законам, так и в искусстве, помимо приложения его к разрисовке обоев или описанию населения, есть независимая, великая задача: отыскание совершенных форм. Это – поэзия, философия чувства; признавать только один натурализм – значит исключать из жизни чистое искусство во имя прикладного, признавать в яйце только скорлупу и отрицать содержимое его.

Натурализм как в науке, так и искусствах – великий метод, и он должен будет жить и в XXI веке, но следует стараться, чтобы он не выдавал себя за философию и поэзию. Я, как и

все, читал с удовольствием, местами с восхищением, Гоголя, Золя, Достоевского, Щедрина. Признаю большие политические заслуги этих писателей для своего времени, советую их читать всем и каждому, но не признаю их вполне свободными художниками. Наполовину, на три четверти это – ученые, собиратели редких коллекций в искусстве. Полезная сторона этих натуралистов всем известна: они дают, так сказать, анатомию данного времени, картину людей и жизни, какова она на самом деле. Разоблаченный во всей наготе, вскрытый со всеми внутренностями организм обнаруживает все свои язвы и болячки – остается лечить их. Социальная медицина – вот роль натуралистической школы. Другая полезная сторона – развлечение, которое дает такая литература. Она заменяет до некоторой степени общество тем одиноким людям, которых так много в нашей шумной жизни и которые часто не переживали лично ни любви, ни ревности, ни дружбы, ни вражды. Книги дают этим одиночно-заключенным в обществе – старым девам, холостякам, вдовцам и сиротам – содержание жизни, иллюзию радостей и печалей. Бесспорно полезна натуралистическая школа и для истории: это – живая история, отрывки из живой, шумной толпы, «народ in folio*», как выразился Бальзак о газетах. Будущие историки при воссоздании нашей эпохи найдут в «человеческих документах» натуралистов приятнейший из всех архивов, какие существовали. Но этим и исчерпываются полезные стороны натурализма как науки. Как искусство, как литература в строгом смысле, эта огромная школа, конечно, тоже даст несколько бессмертных образов и типов, несколько страничек, написанных творчески, вдохновенно, но это будет, как сказано выше, – ничтожной частичкой целого, контрабандой, проникшей из души художников сквозь заставы точных наблюдений и описаний. Насколько натуралистический метод полезен для науки общества, настолько он вреден для истинного искусства. В чем, в самом деле, задача литературы, если отбросить все уродующие ее побочные цели – развлечение читателя, подделку

* Народ в большом формате. – *В. Т.*

под вкусы и тому подобное? Как я сказал выше, настоящая коренная задача литературы, как и всякого чистого искусства, – открывать прекрасное, изобретать истинные формы жизни, истинные типы красоты, угадывать в туманной дали будущего те цели, к которым жизнь должна стремиться. Призвание искусства – соединить человечество, вести его вперед, раскрывая идеалу, как Эос* пред богом света, двери в темный мир людской. Литература, вместо того чтобы заниматься научными целями – раскапыванием и раздергиванием существующего, изучением его анатомически, – должна заняться синтезом, творчеством еще не существующих явлений. Существующее – лишь материал, лишь средство для создания более совершенного, получившего бытие в душе художника. Художник, конечно, нуждается в действительности и изучает ее самым тщательным образом, как и ученые, но публике дает лишь немногое из этого изучения. Все несовершенное он отбрасывает и успокаивается тогда лишь, когда:

«...мир мечтою благородной
*Пред ним очищен и омыт...»***

Художнику не нужно уродливое, он даже не мог бы понять то, что не истинно и не красиво, если бы потерял представление об истинном и красивом. Он не ищет явлений случайных, бледных, не типических, он не увлекается разновидностями, вариантами вещей. Художник ищет основные, законченные типы, чтобы продолжить их творение, чтобы одухотворить их еще более, нежели они одухотворены. Разновидность – полуматерия, нечто сырое и грубое; чем ближе становится тип к окончательной, неподвижной форме, тем он духовнее, пока материя не отольется, наконец, в идеальные, вечные формы. Художник в минуту вдохновения есть душа природы в ее восьмой день, как бы возвратившаяся после от-

* В древнегреч. мифологии – богиня утренней зари. – *В. Т.*

** Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1839 г.). – *В. Т.*

дыха субботы к великому акту творчества. Мир вечно полон сырого материала и бесконечно-разнообразных возможностей, которые развертываются то в приятные, очаровательные для человека формы, то в отвратительные и ужасные. Постоянно изменяется и мир людей. В расах свежесмешанных тип человека не красив, не ясен, но иногда, долгим подбором – как в древней Малой Азии – путем войн, систематическим истреблением жителей, причем в живых оставлялись лишь самые прекрасные и сильные женщины, скрещиванием красивейших типов природа заставляет формы тела утончиться, приобрести благородство, одушевленность выражения, и, например, в некоторых древних расах красота отлилась в формы почти неземные. Красота... Что она такое – никто не знает; никто не объяснит, почему такое-то сочетание линий, красок или звуков неотразимо приятно, а иное отвратительно. Люди мудрые чувствуют, что в красоте скрыта важная тайна жизни, что красота есть не случайность, а изображение чего-то вечно необходимого, что красота есть иероглиф истины и добра, неразгаданный, но имеющий какое-то глубокое и священное значение. Одни думают, что красота – это целесообразность, то есть высшая разумность в строении типа, другие – что «прекрасное выше доброго, так как оно включает в себе доброе», что «красота есть высшая гуманность», что «красота спасает мир» и т. п. Все это – предчувствия того, что именно в красоте выражается совершенство и что только она дает идеалу бытие. Не отсюда ли то могущество, то непобедимое очарование, какое имеет иногда совершенно «бесполезная» и даже часто недоступная красота?

Вот этим-то могуществом пренебрег натурализм, заменив его орудием более модным, но далеко не столь сильным. Вместо того чтобы давать только образцы вещей, натурализм стал воспроизводить обыденное, пошлое, приевшееся людям в самой действительности. Зачем человеку со вкусом читать натуралистический роман, если он встретит там тех же почтенных обывателей, которых видит воочию, которые душат его в самой жизни своею ограниченностью и душевной

хворью? Все эти их кривлянья и гримасы, мелкое мошенничество, нечистые радости и глупая печаль – все это может в романе только расстроить его, возмутить и раздосадовать, как подобное же общество пошляков в живой жизни. Нет, уж лучше такому человеку не раскрывать современного романа, не ходить в театр или позволять себе это в редких случаях, когда есть уверенность, что вещь действительно художественная. Так истинные любители литературы и делают: по известной литературной марке, по букету, как знатоки вин, они угадывают содержимое и чаще всего отказываются от удовольствия его попробовать. Современная беллетристика (за небольшими исключениями не слишком строгих, как натуралисты, художников, например гг. Чехова, Короленко[18], г-жи Микулич), как и современный театр, – достояние средней публики; настоящая интеллигенция им не пользуется. Став ниже требований умственной аристократии, литература утратила власть над обществом. Добросовестное, научное изображение несовершенств жизни не вдохновляет читателя, не окрыляет его никаким стремлением, а скорее обессиливает его. Тот, кто в глубине сердца не переставал верить в себя как в образ Божий, хотя и омраченный земным прахом, – вдруг увидел себя в изображении натуралистов низким животным, валяющимся в грязи вместе с подобными же животными. Типы Гоголя, Достоевского, Щедрина, Флобера, Золя и прочее – я придаю им величайшую цену как научным открытиям; но как предметы искусства, они явились изменою идеалу и сущим ядом для общества. Доктору необходимо видеть болезнь, чтобы лечить ее, но видеть эту болезнь самому больному иногда бывает опасно; потерять веру в свое здоровье иногда хуже тяжелой болезни. А Достоевский, Щедрин, специализируясь, как настоящие медики, только на болезненных типах общества, рисовали такой ужас и позор, которые в состоянии обессилить и здоровые нервы. При помощи громадного таланта они населили литературу мошенниками, злодеями, хищниками, сластолюбцами – и только ими, они обессмертили эти чудовища и позволили им пережить их эпоху. Получилось отборное общество негодяев,

в котором приходится воспитываться и умственно вращаться целым поколениям читателей. Я глубоко убежден, что такое общество – почти живое по художественной правде – влияет так же дурно на читателей, как и живое общество негодяев. «Скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты». Добро и зло одинаково заразительны; каждый из нас находится под внушением своей среды, и даже совершенно честный человек, случайно попавший в тюрьму, в компанию воров, выходит оттуда испорченным. Наша гоголевская школа (я не причисляю к ней Тургенева, Толстого и Гончарова) играет роль именно такой тюрьмы для читателя. Сосредоточив все внимание на Чичиковых, Ноздревых, Молчалиных, Иудушках, Колупаевых, Карамазовых и пр., и пр., не видя среди них здоровых типов, читатель бессознательно привыкает считать их нормальными, то есть такими, с которыми следует мириться. Все воры, все мошенники, все развратники – таков, значит, порядок вещей, такова естественная жизнь. Читатель свыкается с этою жизнью и не протестует против нее: лучезарный образ человека-бога, героя и подвижника меркнет в его сознании и даже начинает казаться искусственным, сочиненным. Тип порядочного человека в литературе начинает считаться ложью, сентиментальной выдумкой. Вкусы настолько извратились, что от художника стали требовать не возможно прекрасных образов, как некогда в классическую эпоху, а возможно безобразных, и чем безобразнее, грязнее являлся тип, тем ему более рукоплескали. Вспомните героев Достоевского или Щедрина; откровенный Золя никогда не разоблачал уродства в таком апофеозе, с таким сладострастием позора.

VI

Казалось бы, литературное инквизиторство над современным обществом не должно бы иметь успеха в нем. Обличение, опозорение – разве это приятно? Однако обличительная, натуральная школа имела огромный успех и до сих пор господствует. Чем объяснить это? А вот чем.

Прежде всего, повторяю, литературный натурализм явился наукой, и как всякая наука, он имеет свою бесспорную цену. Ведь большою и заслуженною популярностью пользуются и вообще естественные науки, описания животных и растений. Если Брэм[19] получил громкую известность, то как ее было не получить зоологам человеческого общества – Гоголю и Щедрину? Этой доли заслуженного успеха у них никто не отнимет, как и некоторой заслуги в политическом развитии общества. Но все остальное поклонение обличительною школой несправедливо заслужено. Как в науке натурализм обязан своим распространением тому, что его задачи мелки и всем доступны, так и в искусстве. Копировать готический собор легче, нежели создать готический стиль. Рисовать портреты, говорят художники, вещь очень легкая и по плечу простым рисовальщикам: это не то, что угадывать характер, внутреннюю жизнь данного типа. Н. Н. Ге[20] как-то подвел меня к портрету, который он снимал с профессора К. – Ну, как вам кажется? – спросил он меня. – Очень похож, – заметил я. Художник смутился: – Ну, конечно, похож, еще бы! Уловить внешнее сходство – задача нехитрая. Я спрашиваю: верно ли я схватил выражение, нутро самое? Светится ли душа в лице? – И престарелый художник жадными, напряженными глазами начал всматриваться в свое полотно, заходя то с одного, то с другого бока, ища, очевидно, не линий, не красок, а чего-то прячущегося в глубине их, в их отвлеченном значении. Художник-натуралист за этим не погнался бы: сфотографировал бы – и отлично, дело в шляпе. Натурализм в искусстве настолько же легче истинного творчества, насколько в науке анализ легче синтеза. Оттого, вслед за некоторыми большими талантами, в натурализм бросилась целая орда посредственностей в искусстве. Но большие таланты – Гоголь, Достоевский, Щедрин – инстинктивно чувствовали, что натурализм скучен, что если применить его к литературе в чистом виде, то искусство в ней исчезнет. Поэтому для целей успеха они сдобрили натурализм или карикатурой, как Гоголь, или политическою злобой, как Щедрин, или психическими ужасами, как Достоевский, или физиологическою

откровенностью, как Золя. Толпа падка на все ненормальное и повалила на редкое зрелище. Гоголь признавался, что секрет его был в том, что он «старался писать как можно смешнее», то есть изображать людей не в их естественных пропорциях, а в карикатуре. То же стремление и часто с явной грубостью бьет и у Щедрина. Само собою, что подобные карикатуры, да еще служащие обличением действительного зла, имели не только успех, но даже «фурор», говоря театральным жаргоном. Уродливость забавляет и смешит. Помещица Коробочка волнует толпу сильнее, нежели Сикстинская Мадонна. Первая – в уровень толпе, понятнее ей, величие же Мадонны могут понять только люди редкие, возвышающиеся сами, хотя минутами, до величия. Толпа способнее падать, нежели возвышаться, способнее к отрицательным типам, нежели к положительным, и литература пошлых типов всегда будет ее родною литературой. Огромное большинство читателей рукоплескало не художественному гению Гоголя, не его идеализму в «Тарасе Бульбе», «Миргороде» и пр., а его карикатурным, низким типам, кривляния и хохот которых заставляли кривляться и хохотать читателей: так радуется обезьяна, увидев в зеркале свое точное отражение. Толпа восхищалась у Гоголя тем, что заслуживает скорее осуждения – балаганною стороною сатиры; любители и знатоки любовались мастерством работы, как любуются всякой отлично сделанной вещью; читатель средне-интеллигентный упивался политической подкладкой – изображением общественного упадка при равных условиях; но ведь все это – вещи побочные, посторонние искусству. То психологическое впечатление, которое вызывают мастерски написанные отрицательные типы – Скупой рыцарь, Чичиков, Фальстаф, – это впечатление статуэток, а не статуй; в них запечатлены патологические черты человеческого духа, то есть предмет психиатрии, а не поэзии.

Идолопоклонники науки утверждают, что вторжение научного метода в искусство обогатило последнее. Наука, конечно, очень нужна для искусства, но лишь как средство, как пособие, а не метод. Полное подчинение искусства на-

турализму – передача при помощи слов, глины и красок тех явлений, какие есть в природе, – принизило все искусства, материализовало их. Художник как бы отказался от участия в творчестве самых явлений в художественном процессе природы, он взял на себя лишь грубо-рабочую роль – плавить металл и отливать его в готовые формы, все равно, хороши они или нехороши. Даже наоборот: в угоду низким вкусам общества художник стал нарочно искать наиболее несовершенные, наиболее неудавшиеся природе образцы, те, над которыми она, по выражению Гоголя, не мудрила долго: ударила раз топором – вышла голова, другой раз – вышел нос, и затем пустила в дело. Как бы ни был благороден металл и до какой бы температуры он ни был расплавлен в горячем сердце художника, его приходится выливать в грубые, зачаточные формы. И хотя натурализм выставляет лозунгом естественность, но в сущности получались уродливые, больные, неестественные люди. Что естественного в Плюшкине, Иудушке, Ионе-цинике, Карамазове-отце? Они существуют, но на самом деле противоестественны, как сиамские близнецы, как бородатые женщины и т. п. Естественною по праву может называться только идеальная, только наиболее законченная, наиболее целесообразная, словом, прекрасная форма, насколько может постичь ее наш инстинкт красоты, который, быть может, есть говорящий в нас голос мировой воли.

Натуралистическую обличительную школу считают передовою, но это грубейшее заблуждение. Напротив, это самая первобытная, самая отсталая школа в искусстве, школа дикарей, которые, подражая природе, извращают ее, человекообразных истуканов изображают в виде свирепых чудищ, на которых взглянуть страшно. Я назвал бы эту «передовую» школу также своего рода византизмом, только византизмом наизнанку. Вспомните истощенные, уродливые изображения на древних византийских иконах; мне приходилось видеть такие иконы в тысячелетних маленьких монастырях Греции. Страшно смотреть, до какой степени святые изображены изувеченными подвижничеством. Это скелеты, обтянутые темной

кожей, живые мумии – и все это делалось для того, чтобы показать торжество духа над плотью, отнять телесность у изображаемых людей. В современном византизме – натуральной школе – наоборот: искажение является в силу разнузданности плоти, отнятия у нее всякой духовности. Старые византисты рисовали аскетов, нынешние – обжор и развратников. Мне кажется, что наиболее талантливые натуралисты сами чувствуют неправильность своей дороги. Вспомните загадочный процесс, которому подверглись в конце жизни Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев, во Франции – Флобер и Мопассан, начинавший впадать в идеализм. По природе своей – это великие художники; по природе художества они должны были открывать вечные истины, а не случайные факты, красоту, а не безобразие, – но могучее течение материалистического, научного миросозерцания отклонило их с дороги. В применении к Гоголю часто встречаешь выражение его: «смех сквозь слезы». Полагают, что это высокая формула. А если вдуматься – в ней две крайности, двойное отрицание поэзии. Высшая красота исключает и смех, и слезы, ставя игру грации между улыбкою и печалью. Улыбка и печаль украшают лицо, смех и слезы – безобразят его, даже лицо красавицы, даже лицо ребенка. В смехе и рыдании – конвульсии сумасшедшего, и одинаково как в физическом смысле, так и в духовном.

VII

Такова наша современная литература, о которой придется мистеру Уэсту вести споры с барышнями XXI века. Я не сомневаюсь, что ложь натурализма будет выяснена к тому времени полнее, нежели я был в состоянии это сделать. Но если это ложь, то она очень распространенная, она чуть не вера нашего времени и покоится в основах современного миросозерцания. Это миросозерцание превосходно определил Базаров[21] в «Отцах и детях». «Природа, – говорит он, – не храм, а мастерская, и человек в ней – работник». Вот первый догмат нынешнего Credo. Я, признаюсь, некогда был очарован этою формулой.

В ней есть великая правда, хотя и на подкладке столь же великой лжи. Правда – то, что человек, если хочет быть царем природы, должен завоевать это царство; он должен подчинить себе слепые силы, освободить себя из-под гнета голода и холода, губящих вместе с телом и душу. Правда и то, что мы заброшены в этом бесконечном мировом пространстве, как дети на необитаемом острове, и если мы сами как-нибудь не устроимся, то никакие силы вам не помогут. В своем сознании, в своей душе человек должен искать разрешения всех вопросов и не слагать ни на кого этой задачи, иначе она будет вовеки не решена. Я не отрицаю, что помощь свыше дается, но думаю, что она уже дала там, раз навсегда, и она – в нас самих, в нашей совести и разуме; остается только применять их. Базаров – сознательный и сильный тип нашего столетия (Брандес[22] считает его единственным мировым типом в русской литературе, равным Гамлету, Дон-Кихоту и т. п.). В Базарове, в его вере в могущество человеческих средств как бы проснулся древний, задавленный гневным богом титан. И почему же не верить в человеческие средства, если вспомнить их божественный источник? В одном из утопических романов предсказывается, как некогда люди поколеблют землю на ее оси и передвинут полюсы в другое место; автор даже вычисляет, во что это обойдется. Вы скажете: это сказка, фантазия, но сказочного в ней только обстановка, сама же идея разуму ничуть не противоречит. Я, признаюсь, всей душой верую в возможность полного подчинения разуму земной природы. Знание – ключ к природе, который уже почти в кармане у хозяина. Знание, даваемое наукой, – именно та точка опоры, которой недоставало древнему геометру, чтобы перевернуть мир.

Все это правда, но в этой правде есть и ложь. Достаточно ли верно в этой необъятной силе ее направление? Если человек превратит природу в мастерскую, фабрику, завод, то прежде чем овладеть недрами и высями ее – не задохнется ли он от копоти и смрада этой фабрики? Назвав себя только работником, не превратится ли человек постепенно в раба – в отношении машин, этих новых, железных существ, которыми вытесняют-

ся прежние сожители человека – животные? Покоряя природу, человек всегда становился рабом своего промысла: рабом звероловства, скотоводства, земледелия. В самые ранние века он прикован был к своему лесу или рыбной тоне; затем, в кочевой период, порабощался стаду; в позднейший отдавался «власти земли», о которой говорит Успенский[23]. Не повторяется ли это и теперь, в начале грядущего культурного периода – машинного? Все наблюдатели машинной жизни поражаются разрушением, вносимым в человека этой новой формой рабства. Приставленный к рычагу, человек сам превращается в рычаг; паразит машины, он, по известному физиологическому закону, теряет свои неупотребляемые, ненужные органы, быстро вырождается и дичает; как и всякий паразит, обрекая себя на однообразное сосанье того места, к которому прилип, человек осуждает себя на потерю всех высших свойств и затем уже на вечное зачаточное бытие, состояние дикарей. По новейшим взглядам науки, теперешние дикари стоят не в начале культурного развития, а в конце его, – представляют не первый, а последний фазис каких-то неверных, неудавшихся культурных процессов. Машинизируясь около машин, грубея и мельчая, сохранит ли человек необходимую для победителя духовную высоту и не превратится ли из завоевателя в мелкого разбойника, палача природы?

К несчастию, и для этого возможность уже доказана. Всюду в свете, и особенно у нас в России, идет неистовый погром природы, торопливое расхищение ее органического хозяйства, причем, как всегда бывает при разбое, ради ничтожной добываемой пользы человек губит бесконечно большую. Не превращается ли подчинение природы в убийство ее? Огромным напряжением сознания человек вызвал из недр своих целый мир железных механизмов – существ, лишенных сердца; механизмы, как злые демоны, ринулись в организмы и готовы пожрать их, стереть с лица земли. Уже значительная часть природы рухнула под топором и пулей «человека-работника», и остановится ли он вовремя – большой вопрос. Разрушая храм, чтобы создать мастерскую, человек, может

быть, очутится на одних развалинах, бессильный воссоздать нарушенный строй вселенной.

Ложь материализма как нравственной системы заключается во взгляде на человека как на существо только материальное, только тело в физическом смысле. Физическому телу, действительно, все равно – пребывать ли в храме, или мастерской, служить ли низким, или высоким целям: для него все цели нравственно одинаковы. Но это значит страшно принижать человека, отвергать драгоценнейшие свойства, которые выработались в нем в бесконечные века, может быть, благодаря случайности, которая возможна была лишь один раз. Материализм низводит человека к уровню растения, минерала; как философская система, при возникновении своем на один момент материализм был огромной прогрессивной силой, но только на один момент: отвлекши человека от противоположной крайности, он, подобно маятнику, перешел линию нормы и явился новою, не менее страшной реакцией. В самом деле, разве это не реакция – отодвигать человека до минерала? Не думайте, что это только идея, отвлечение: всякая идея – душа, стремящаяся облечь ее в плоть, и идея безусловной материальности человека, помимо воли его, материализует его, огрубляет. То нравственное изнеможение, тот всеобщий упадок духа, на который всюду жалуются, – продукт философского внушения человеку, что он – вещь. Великая ложь материализма в убеждении, что царство человека – исключительно от мира сего, что сущность жизни – в ее внешности, что радость ее – вне человека, а не в нем самом. Ложь – в смелом отрицании того, что смело утверждать нельзя, в отрицании тех великих, центральных возможностей, которые прямо не познаются, но как величины, неизвестные в математике, безусловно необходимы для определения смысла самих же известных. В благородном порыве к правде человек решил, что правда только в известном, и из формулы своего миросозерцания начал выбрасывать все x, y, z... Она рассыпалась.

Природа, говорю я великому тургеневскому материалисту, мастерская, но человек во что бы то ни стало должен

превратить ее в храм, иначе она превратится в логово зверей. Для того чтобы превратить ее в храм, недостаточно быть работником, недостаточно быть машиной, хотя бы и двуногой. Прежде всего человеку нужно отрешиться от мысли, что он – вещь и своей воли не имеет. Стоит спасть этому материалистическому гипнозу, чтобы человек снова ощутил себя тем, что он есть – полубогом, стремящимся все к большему и большему обожествлению, к принятию в себя Вечного начала, которого присутствие, сознанное на миг, превращает природу в храм, дает ей поэзию и смысл. После всех великих открытий в области металла, пара и электричества человек должен открыть идею, которая могла бы упразднить все предыдущие, как высший закон упраздняет все частные, в нем кроющиеся формулы. Такая идея будет, как это бывало в истории, источником высшего блаженства. Не прихоть это, не роскошь, а жизненная необходимость, без которой в будущем – мрак и отчаяние, беспросветное отчаяние в тот именно момент, когда человек «покорит природу». Что необходимо, то возможно, и я уверен, что в недалеком будущем чувство горячей веры в неизвестное охватит благороднейшие умы нашей расы. А чувство, инстинкт при широте наших научных знаний могут перейти и в научное убеждение. «Я верю в Бога, – говорит Эдисон[24], – и бытие Его могу доказать химическим путем».

VIII

Искание потерянного Вечного начала, путем ли «химическим» или умозрением, – вот основная черта грядущей эпохи, которая ляжет и на науку, и на искусство, и на литературу. Прелестная мисс Эдита покажет выходцу из старых веков не пеструю, грубую литературу, разбросавшуюся по всей внешности природы и бессильную связать ее, не сырой и скучный натурализм, играющий на низших инстинктах человека, а нечто стройное, вдохновенное, пробуждающее в человеке божеские свойства. Искание вечности должно начаться внутри человека. Натурализм, не выпуская читателя из пределов

действительности, учит мириться с нею; это – школа застоя. Новая литература поднимет человека над его пошлой жизнью, поразит картинами возможного, увлечет его к совершенству. Девятнадцатый век, говорят, век прогресса, стремительного движения вперед. Это ошибка. Наш век действительно кипуче движется, только не вперед, а стоя на месте, мечась, во все стороны разбрасываясь, рассеивая свою силу. Великое множество отдельных, мелких прогрессов и отсутствие общего, который характеризовался бы усовершенствованием самого человеческого типа. Мы топчемся на месте и двинемся вперед лишь тогда, когда действительность нам опротивеет, когда захочется иных, более высоких форм жизни, более отдаленных целей. Я уверен, что наш век только потому полон мерзостей, что он влюблен в себя, что в общем он доволен действительностью. Отдельные люди, отдельные кружки, партии недовольны, но стихия удовлетворена, а если заявляет недовольство, то неискренно. Говорят иногда о лучшем будущем, но не желают его сколько-нибудь настойчиво. Большинство людей борются даже против признаков лучшего, упорно борются. Только этим сопротивлением добру, считанному за зло, зло и держится, и в этой борьбе – самая суть человеческой драмы. Отчего же люди так страшатся лучшего?

Основная причина этому, мне кажется, – в материальности человека, в коренном свойстве мертвой материи – инерции, которую дух не всегда в состоянии преодолеть. Лучшее есть нечто новое, требующее некоторого усилия, чтобы выйти из прежнего положения. Сама материя, безусловно, не способна на это усилие, которое есть чудо Божественной воли. Чтобы побороть мертвую тягу материи, человеческий дух должен сосредоточиться, собрать все свои средства на своей высшей цели, а не рассеивать их на бесчисленных мелочах, как это делает натурализм. Богопроникновение – вот высшая цель всего, что составляет дух.

Новая литература, мне кажется, вместе с новой жизнью посвятит себя именно этой цели: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Для совершенства же человека ему не-

обходимо знать не столько то, что он есть, сколько то, чем он должен быть. Я думаю, что человеку иногда полезно не знать слишком низких сторон действительности, слишком грязных свойств своей души. Всякий, например, способен убить человека, но лучше, если бы люди считали, что они на такой ужас не способны. Женщина способна пасть, но предположение, что это невозможно, удерживает многих от падения. Слишком яркое представление себе грехов превращается в соблазн осуществить их, в умственную привычку к ним, во вторую природу человека. Литературный натурализм тем и опасен, что он, обобщая исключительные, уродливые явления, дает живой пример порока, а пример всегда заразителен, как бы порок ни был ужасен. Человек – зверь, а не Бог: в тот момент, когда натуралист докажет человеку эту «истину», человек – даже святой – мгновенно обратится в зверя. Ведь литературное внушение есть самое могущественное из внушений, кроме самой жизни. Наоборот: уверьте человека, что он не так уж ничтожен, что он благороден по своей природе – и он станет благородным. Докажите ему, что в него Господь вдунул свое дыхание и дал свой вечный образ, и убеждение это сделает человека святым. Люди вообще крайне несовершенны, но среди угнетающих внушений низости они могут потерять всякую веру в себя, всякую надежду на лучшее, даже всякую любовь к людям, – потому что, что же любить в людях, если они все-таки гадки? И стоит утратить этот священный идеал человека, чтобы нравственно умереть. «Если все это позволяют себе, значит все позволено». Нынешняя натуралистическая литература невольно ведет к такому выводу.

Литература будущего должна, мне кажется, взять на себя совершенно иную цель. Не докладывая читателю, что есть на свете бесчисленные промахи природы, недоделки человека, литература будущего станет отыскивать в жизни самые совершенные типы, самые светлые явления. Идеальные люди – живые цели общества; докажите, что они возможны хотя бы отвлеченно, и вы сразу же подвинете общество далеко вперед. Человеческий тип не закончен, не закончены расы,

темпераменты, нравы. Увековечить в искусстве все моменты этого творческого процесса природы и невозможно, и не нужно. Если скульптор не дорожит всеми промежуточными формами, какие принимает его статуя, а добивается одной совершенной, так литература будущего из всего пестрого материала жизни будет извлекать лишь наиболее возвышенные формы и отливать в них лишь благородный металл слова. Хотя очень редко, но, несомненно, между нами, как верили греки, в толпе смертных ходят боги в образе человека. Встречаются, например, до того красивые люди, что покоряют своей красотой в одно мгновение всех, кто не лишен зрения. Встречаются люди до того добрые, чистые сердцем, до того изящные умственно, до того могучие волей, что вас охватывает благоговейный трепет, как перед кем-то не здешним. Законченные, ангелоподобные типы встречаются крайне редко; они встречались чаще, когда в ангелов верили и их мысленному образу подражали. Но и теперь – как после разгрома Древнего мира варварами почва его была усеяна художественными обломками, – в нашем материалистическом обществе встречаются обломки человеческих типов редкого совершенства. Скрещивание пород разрушает божественные формы, но как среди развалин акрополя, полузасыпанных землей и поросших репейником, вдруг встречаешь благородную голову кариатиды из нежного, как морская пена, пентеликийского мрамора, так в дурном обществе, в злом и жалком человеке вспыхивают иногда свойства высокой породы, последняя капля крови каких-то великих предков. Грязный циник иногда оказывается недюжинным мыслителем. Вор поражает необыкновенною приветливостью. Человек мелочный вдруг оказывается переполненным любовью к своим детям.

Все эти обломки идеальных типов, отдельные прекрасные черты художник слова должен собирать, как скульптор – мраморные обломки, изучать, подобно ему, типы радости и гнева, улыбок и печальных настроений. По этим отдельным захваченным у природы обломкам идеального человека художник может, так сказать, реставрировать всю его фигуру,

угадать весь его душевный и нравственный облик, как Кювье[25] по одному зубу допотопного животного воссоздавал все его туловище. Это задача нелегкая, она несравненно труднее писания портретов со знакомой кухарки или канцелярского писца, – но в этой-то трудности и заключается высота призвания художника. Страшно трудна задача, – простым смертным она не под силу, но вот поэтому-то вы, талантливый художник, и возьмите на себя эту задачу. Бог послал вам талант для подвига, а не для грошовой спекуляции. Пусть лучше мир лишится изображений дюжины кухарок и десятка расфранченных барынь, но вы создайте одно святое, чистое лицо, которое, раз заглянув в душу зрителя, не умирало бы в ней. Литература вместе с другими искусствами должна поставить пред человечеством прекрасные образцы людей и отношений, и это было бы могущественнейшей школой воспитания общества. Созерцание делает чудеса. Вспомните известный случай, как в глухой деревушке турист встретил целое поколение рафаэлевских головок, и оказалось, что это поколение принадлежало той хижине, где была хорошая копия Рафаэля. Вспомните закон приспособления к окружающей среде в мире животных, и т. д., и т. д. В последнее время Тард[26] распространил законы подражания на всю природу от колебания эфира до движения звездных миров. Все явления сводятся к толчку и движению, к открытию и подражанию; все остальное – сочетание их, борьба волн, исходящих из отдельных центров жизни.

Великий человек – мыслитель или художник – есть великое сердце, дающее толчки; благородными биениями этого сердца движется общество и народ. Ученые, художники, литераторы, и последние но преимуществу, должны знать, что на их ответственности лежит красота и совершенство жизни. Они должны ввести в наш темный мир, населенный эмбрионами, неудачными, незаконченными созданиями, – те светлые призраки, те бесплотные, идеальные образы, необходимость которых ощущалась в более чуткие, простодушные времена. Нет совершенных характеров – создайте их в искусстве; нет совершенной, достойной жизни – дайте образцы ее. При гро-

мадном таланте тех же натуралистов они могли бы дать своим созданиям бессмертное правдоподобие, они могли бы вытеснить мрачные, болезненные представления, гнетущие ум средних людей, и населить его сильными, светлыми идеями. Искусство может быть и в уровень с жизнью, и ниже ее, но оно должно быть выше ее, чтобы руководить ею. Искусство есть как бы пробуждение самой природы в сознании художника, уяснение ею не случайных, а конечных своих целей, развитие форм до несуществующей, но мыслимой стадии. Как спектр луча не ограничивается радужною полосой, а в обе стороны дает невидимые продолжения тепловой и химической гаммы, так и в природе: в ней заключены неизмеримые возможности, но они открываются не простым зрением, а проникновением искусства. И эти выдуманные, открытые формы могут быть истиннее существующих, как идея усовершенствованного механизма истиннее того, который он заменяет.

Таковы задачи будущего искусства, и особенно верховного из искусств – литературы, объединяющей в себе все высокие стихии духа: науку и совесть, поэзию и религию. Люди XXI века будут с состраданием смотреть на XIX век, на поколение, стремившееся все знать и не знавшее самого важного, – поколение рассеянное, замученное специализмом. Люди XXI века придут к убеждению, что жизнь «века чудес» была печальна, что у нее не было высшей цели, что литература, одержимая злым духом натурализма, вела общество не вперед, не к красоте и счастью, которых и сама не знала, а удерживала умышленно в омуте греха и мрака. Где-то в таинственных глубинах вечности крылся образ человека-бога, но люди его не видели; скрывались где-то загадки истины и красоты – и люди не искали их. Жизнь была страшно бедна, но природа богата. Как примирялись люди со своим смрадным, больным существованием, когда было открыто им столько великих средств, когда мир был полон гармонии и величия, как всегда, как в первый день творения?

Над этими вопросами мистер Уэст и мисс Эдита задумаются с большою грустью.

О критике

I

На русскую критику в последнее время* сыплются громы, к счастью, лишенные молний. Критику старую – Белинского и его преемников – стараются уничтожить новейшие критики, молодые обскуранты и декаденты; критику современную – и того хуже: ее бичуют поэты и беллетристы, обыкновенно сами составляющие предмет критических операций. Рассердившись на критиков, не замечающих их творений, господа художники занялись превосходным делом: доказать, что критики ничего не смыслят, что замечательные художественные таланты у нас есть, а если их и нет, то виноваты те же критики, не умеющие создать эти таланты, и, наконец, что, пожалуй, критика и вовсе не нужна: изящная литература обошлась бы и без нее.

Как видите, приговоры ставятся критике самые противоположные. То критике приписывается всемогущая роль – чуть ли не самое рождение талантливых художников, власть жизни и смерти над ними; то роль их низводится до нуля, до отрицания самого права критики на существование.

«Характерный признак критики, – пишет один сердитый на нее беллетрист, – ее служебная роль в литературе, потому что, не обладая творческою способностью образного миросозерцания (?), она поневоле принуждена ограничиваться разложением на элементы чужих картин и присвоением себе той скрытой идеи, которая лежит в основе картины... Художественная литература без критики могла бы быть, а критика без художественной литературы немыслима. Художественная литература есть, критика может не быть. Если она может не быть, то, очевидно, она и не нужна». Но так ли это?

Оговорюсь: под словом «критика», как и под словом «искусство», я разумею талантливую критику и талантливое искусство; то, что не носит на себе печати дарования, в обеих об-

* Сентябрь. – 1893. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

ластях я считаю одинаково ненужным, именно тем, что «могло бы не быть». Речь может идти только о явлениях типических и сильных, о настоящей критике и настоящем искусстве.

При этом необходимом ограничении, мне кажется, критика имеет самостоятельное и важное значение в литературе. Она способна не только заимствовать у искусства идеи, но и сообщать ему свои собственные. Она «может не быть» в той же мере, как может не быть и художественная литература; но раз последняя явилась, с нею неизбежно является и критика как органическая принадлежность искусства. Критика есть самый разум того прекрасного, живого и чувствующего тела, которое зовется литературой: говорить о служебной роли критики можно с тем же правом, как и о служебной роли разума вообще.

Критика не только не есть нечто постороннее искусству, но входит в самый процесс творчества на всем его протяжении. Ведь первый и самый строгий, неумолимый критик – это художник. «Творческая способность», «образное миросозерцание» состоят именно в умении выбрать из многих сходных образов самый жизненный и яркий, а выбор предполагает суждение. Лишенный критической способности художник тотчас же превращается в помешанного, у которого разрушены координирующие центры. Через его сознание мчатся вихрем образы и картины, создаваемые воображением, но он не в силах ни на одной остановиться и распределить их: он галлюцинирует, бредит, а не творит.

Возвращается разум и, как настоящий хозяин, сейчас же водворяет порядок в душе художника: он начинает распоряжаться воображением так, как это сообразно с его целями. Таким образом, не критика является служебной частью «образного миросозерцания», а наоборот, последнее служит средством для критики, как краски на палитре или как глина на станке скульптора.

Говорят, художник творит вдохновением, необычайным, бессознательным подъемом чувства, то есть разум как бы и вовсе не участвует в творчестве. Но это вовсе не так. Вдох-

новение художника есть не просто взволнованное чувство, а чувство, взволнованное гармонически, то есть в некотором целесообразном порядке, наиболее отвечающем разуму того явления, которое возбудило чувство. Вдохновение не только не бессознательно, но само оно есть наиболее яркая вспышка сознания, подобно молнии освещающая художнику целый ряд картин и образов в его памяти и дающая возможность увидеть то, что ему всего нужнее в данный момент, по ходу логики творчества. Величайшие художники были, несомненно, и величайшими критиками в своей области: они, может быть, не всегда умели выразить свои требования, но инстинктом угадывали, что хорошо и что слабо в их родном искусстве. Этим объясняются столь меткие замечания Шекспира о театре, Гете или Пушкина – о литературе. Если иногда они восхищались слабыми вещами, как Тургенев, который часто рекомендовал редакциям плохие повести, то это объясняется просто: в слабой вещи находилась какая-нибудь одна черта, одна мысль, один образ, действительно редкие, которые до того восхищали художника, что он судил о вещи уже не такой, как она есть, а о такой, какою он сам создал бы ее из данной черты. Небольшие критические заметки того же Тургенева (о Гамлете и Дон-Кихоте), как заметки об искусстве Л. Н. Толстого, Гончарова, Достоевского и др., свидетельствуют о том, что выдающиеся художники обладают не только сильным критическим чутьем, но и выражают его прекрасно.

II

Художник – «сам свой высший суд», и этот род критики не «может не быть»: он составляет самый творческий акт искусства, само оплодотворение материи. Но есть и другая критика, которая тоже не «может не быть», – это суд «толпы холодной». Если искусство есть вызов впечатления в душе зрителя, то критика есть само вызванное впечатление. Вы увидели картину и что-нибудь почувствовали – вот первоначальная форма критики. Она есть, если хотите, то же искусство,

но перешедшее в сознание зрителя, искусство – не в производстве, как в душе художника, а в потреблении. Раз в человеке явилось то или иное впечатление, оно есть уже и суд над вещью, и сказать, что «критика могла бы и не быть», значит сказать, что впечатление от художественной вещи могло бы и не быть. Хороша была бы художественность такой вещи! Искусство существует не только для самих художников, а и для публики: желание передать свой труд современникам или потомству могущественно поддерживает всякое духовое творчество. Читатель для писателя, зритель для художника или актера психически необходимы, и без них творчество замирает. Искусство, наука, литература суть явления общественные по преимуществу и, может быть, единственные, в которых выражается истинная общественность. Робинзон на необитаемом острове, обладай он всеми талантами, не мог бы проявить ни одного из них, как актер, навсегда обреченный играть в пустой зале, не сыграл бы ни одной роли. Бэда-проповедник*, правда, оживлял своею речью камни пустыни, но он мог поднять свое вдохновение до такой силы лишь в убеждении, что эти камни – люди. Как бы публика ни была ограничена, как бы ни были дики и нелепы ее суждения, для всякого общественного деятеля это воздух, которым он дышит и вне которой не может жить ни одной минуты. Этим объясняется желание известности, так называемой «славы», которой добиваются все без исключения талантливые люди, впадая подчас в настоящую болезнь, своего рода delirium**, при котором неутолимая жажда внимания напоминает пьяницу в последней стадии. Но в своей здоровой норме потребность славы есть просто потребность общества для общественного деятеля, органическая необходимость перенести свою личность в чужие души, которые, по учению некоторых философов, суть наша же собственная душа. Жажда иметь свою публику как для актера, так и для всякого духовного производителя есть отыскивание пределов своей же собственной рассеянной в толпе души. При

* Лирический герой одноименной поэмы Я. П. Полонского. – *В. Т.*

** Бред (лат.). – *В. Т.*

этом требуется собственно не похвала, а именно внимание, то есть критическое отношение людей, лишь бы оно было справедливо; незаслуженная, несправедливая похвала честному человеку неприятна более, чем отзыв порицательный, но верный: требуется лишь искреннее подтверждение тому затаенному мнению, которое сам деятель составил о своей работе. Если это даровитый человек, то в большинстве случаев и его мнение о себе, и мнение публики будут благоприятны. Очевидно, «слава» удовлетворяет какой-то хотя и загадочной, но очень важной потребности духа, если ощущение ее составляет такую радость для увенчанных ею. Сколько ни говорят замечательные люди о тщете людской молвы («Что слава? – яркая заплата на ветхом рубище певца» и пр.), но именно они-то особенно одержимы славолюбием и, повторяю, не без глубокого психологического основания. Ни «глумленье низкого невежды», ни «восхищение глупца» не останавливали великих людей в попытках найти среди «толпы холодной» хоть одно родное, великое и пылкое сердце, способное понять их и оценить, способное пережить ту жизнь, которая горит в их творчестве. Может быть, эта могучая потребность есть смутное понимание того, что только совершенная душа способна войти в другие души и наполнить их; стремление же к совершенству – самое высокое свойство в человеке, и желание казаться совершенным даже при бессилии быть им – трогательно. Конечно, вид жалких пройдох, ищущих славы, шумно кричащих о себе и нагло выхватывающих из рук толпы лавровые венки, неприятен; он компрометирует инстинкт, заставляющий проделывать такое бесчинство; но на самом деле инстинкт остается и здесь, как все инстинкты, прекрасным, – дурна его разнузданность и бесчестное приложение. Я уже объяснял (в очерке «Талант и публика»), что если писатель или художник одушевлены действительно правдой, если они несут нравственное откровение людям, то им не только позволительно искать известности, но это даже составляет их обязанность – долг светильника, который не должен быть скрыт под сосудом. Таким образом, неодолимая потребность

общественных деятелей в суждении общественном совпадает и с обязанностью стремиться к нему.

Из каких бы мотивов художник ни искал публики, ее критика для него, повторяю, безусловно необходима. Чем обширнее и выше круг публики, чем утонченнее суд ее, тем он справедливее и тем роскошнее процветает всякая общественная деятельность, в том числе и искусство. Суд просвещенного и благородно-настроенного общества – высшее благо, о каком может мечтать всякий общественный деятель, сколько бы он ни закутывался в тогу «царя» в той или другой области («Ты царь, живи один» и пр.). Ведь понятие «царь» необходимо предполагает «царство», то есть мир, признающий художника своим властелином. Непризнанный гений испытывает терзания развенчанного короля – вспомните Шопенгауэра, которого толпа бездарностей замалчивала десятки лет.

Насколько просвещенное и тонко чувствующее общество благоприятно для развития таланта, настолько теснит его публика грубая и равнодушная. Как живой организм, из свежего воздуха опущенный в азот, быстро задыхается, так всякий талант в неподходящей ему среде хиреет и умирает. В самом деле, жить кипучей жизнью в тесноте лишь собственного сердца, пламенеть любовью к человеку и не видеть ни в чьих глазах отражения этой любви, возвещать истину, которую считаешь великою и святою, и встречать грубый смех и тупое непонимание – это убийственно. Посланец Божий чувствует себя горьким сиротою, одиноким, как пловец, выброшенный на необитаемый остров. Как и этот пловец, тщетно он жаждет человека и, ломая руки, ждет его: необъятная толпа людей, как океан, грозна и безответна. В этом живом человеческом океане всюду, а особенно у нас в России, потонуло множество великих душ, неведомых никому, множество прекрасных дарований и благородных, отягощенных любовью сердец. «Среда заела», погрузила в себя, потопила... Вся история нашей скудной культуры представляет почти сплошную повесть о рано погибших талантах – погибших от крайнего равнодушия и даже гонения толпы, от неодолимых безнрав-

ственных влияний, которыми опутывала среда эти редкие чистые души. О, если бы все то богатство души, которое таит в себе народ наш, было не загублено и сохранено! Не все богатство, а хоть бы сотая его доля не пропадала – и то жизнь наша процвела бы и вскипела бы счастьем...

III

Гибель талантливых людей от общественного равнодушия и злорадства доказывает, что критика толпы сама по себе недостаточна; она не может быть справедливой критикой, и автор не достигает своей затаенной цели – слияния души своей с чьею-то родственною душою. Даровитый беллетрист, легкомысленно полагающий, что «художественная критика могла бы не быть», обрекает в этом случае и самого себя печальной участи: весь труд его, весь жар сердца были бы оценены не «в садах академии», а на рынке, и цена им была бы назначена не выше, чем болтовне балаганного деда. Может быть, среди читателей и нашлись бы отдельные тонкие ценители, но если вы их именно обречете на молчание – останется одна уличная критика, смутный хор толпы, рокот стихии, поддерживающей на своей поверхности лишь то, что легко и не превышает ее удельного веса. Всякий суд должен быть судом справедливым, если же художественная критика исчезла бы, то художники должны были бы подчиниться суду тех, художественно судить которых они сами призваны.

К счастью, раз существует изящная литература, тотчас же, как хор греческой трагедии, является и художественная критика, хотя бы вначале устная. Среди читателей всегда находятся более других одаренные и отзывчивые, и они, не спрашиваясь разрешения у автора, начинают судить его, и в обществе, и в печати. Если судья талантлив и умеет разоблачить все достоинства и промахи автора, суд делается любопытным, и к нему начинает прислушиваться равнодушная публика. Пред тупыми взорами ее незамеченная было картина вдруг приобретает значение и интерес: развертываются, точно по

волшебству, перспективы, которых никто дотоле не замечал. Как натуралист в капле воды покажет вам целый мир жизни, даровитый критик вынимает из обыкновенного на глаз толпы романа необъятное содержание – иногда к величайшему изумлению самого автора романа. Гоголь, например, был не только изумлен, но даже испуган глубокими и обширными выводами, сделанными тогдашней критикой из «Ревизора». По замыслу автора, эта знаменитая комедия должна была идти не далее благодушного изобличения уездных взяточников, а критика ее символизировала как картину общего упадка русской жизни. Не менее изумлены были, вероятно, и Гончаров, и Островский известными статьями Добролюбова и Писарева[1] об «Обломове» и «Грозе». Талантливый критик не только спасает художественную вещь от невнимания публики, он вооружает ее новым интересом и удваивает ее цену. «Обломов» и без добролюбовских статей был бы замечательным романом, но вместе с ними он является целым курсом изучения русской жизни и ее психологии. «Гроза» не имела бы и сотой доли ее значения, если бы предположить, что знаменитая критика о ней «могла бы и не быть». В меньшей, но значительной мере то же относится и к романам Тургенева, тогда как некоторым авторам – Достоевскому, Л. Н. Толстому, Щедрину, Гончарову – и до сих пор еще недостает достойной их критики, не достает проводника, который ввел бы читателя в величественные здания их мысли и показал бы скрытые в них сокровища. Далеко не древние только классики требуют комментариев; для средней публики мало доступны и современные великие произведения: пережить ту умственную бурю, продуктом которой явилась «Анна Каренина», может быть, просто не под силу среднему мозгу. Для овладения столь крупным и трудно уловимым содержанием читатель нуждается в чьей-нибудь сильной помощи, и эту помощь должна оказать ему критика. Посредница между художником и зрителем, она продолжает работу обоих до взаимного слияния: работу художника критик продолжает, теоретизируя образные идеи, работу зрителя – вооружая этими идеями его внимание как ключом к рас-

крытию картин художника. Заставить человека увидеть то, на что он смотрит, – иногда очень трудная и хлопотливая задача. Но это еще не все: принудив зрителя рассмотреть картину и понять ее, критик не оставляет его в покое: вынесенное понимание он побуждает сейчас же пустить в оборот, в применение к живой действительности с безграничными последствиями всякой новой точки зрения. И только исчерпав всю область настроений, вызываемых художественною вещью, критик успокаивается, отстает от читателя.

IV

Неужели все это труд ненужный, бесполезный для художественной литературы, который «мог бы и не быть»? В древние времена, когда литература представлялась лишь сказками да былинами, художественная критика была, как и сама литература, устной; но ведь современное искусство так же далеко от первобытного, как «Война и мир» от сказки о сером волке. Чтобы овладеть громадным содержанием современной жизни, недостаточно сил ни художника-автора, ни толпы читателей. Автор, как замечено выше, не всегда может видеть все бесчисленные связи, соединяющие его работу с организмом жизни. Как изобретатель парового котла не предвидел и тысячной доли применений своей идеи, художник не может предвидеть всех следствий из своей мысли в умах читателей, а между тем эти-то следствия и составляют жизнь художественного произведения, и она в сильнейшей степени зависит от критики. Кроме мозга творящего, необходим равносильный мозг, воспринимающий и дающий идее развитие и рост; как гибнут усилия электрического аппарата, посылающего телеграмму, если нет подобного же приемного аппарата на следующей станции, так тратится бесплодно художественный гений в обществе, лишенном критического гения. Все согласны, что для искусства необходимо исключительное призвание, но пора понять, что и для понимания искусства нужно призвание столь же исключительное. Толпа нуждается не только в том, чтобы

явилась перед нею картина (природы или искусства), а чтобы кто-нибудь перед нею возбудился этою картиною, и вот это-то возбуждение и заражает. Если бы не было великих поклонников красоты, которые когда-то пришли в восторг от Шекспира, Рафаэля, Моцарта и пр. и заразили этим восторгом простую публику, то большинство публики никогда не догадалось бы, что это великие художники. Огонь гения воспламеняет не всех, а лишь немногих, и нужно разгореться сначала этим немногим, чтобы вся огнеупорная масса почувствовала тепло и свет творчества. В этой роли критиков навязывать толпе свои мнения есть и огромное неудобство – в том случае, когда эти мнения фальшивы. Лучше вовсе ничего не чувствовать, чем чувствовать ложно. Но помочь этой беде нельзя ничем, кроме достаточно громкого уравновешивающего влияния другой критики, талантливой и искренней. В борьбе внушений в конце концов берут верх внушения истинные, иначе не было бы возможно духовное развитие человечества.

Один из авторов, воюющий с критикой, выразил любопытную мысль, что критика должна создавать художественные таланты. Я этой смелой мысли не высказал бы из уважения к прерогативам Высшего Существа. Создать талант! Достаточно, если бы критика сумела только поддержать талант и выдвинуть его уже готовые труды.

Замечательно, что претензии к критике предъявляются чаще всего маленькими, третьестепенными авторами; писатели с талантами Чехова, Короленко и т. п. не позволяют себе этого малодушия. Зато мелкие авторы все свои беды и невзгоды целиком возлагают на совесть критиков. Наши молодые дарования, плачутся они, не встретили одобрения, не удостоились авторитетных советов; нам не хотели указать, что мы должны писать и как, – вот мы и захирели, не успев расцвести! Критика, видите ли, должна чутко следить за новыми всходами в литературе, и чуть обнаружатся в ком-нибудь хоть маленькие задатки, она должна бережно ухаживать за ними, не жалея сил, и пр., и пр.

Я, признаюсь, не понимаю этих претензий со стороны маленьких авторов. Во-первых, этих авторов бесчисленное

множество, и у всякого, если взглянуть чрез микроскоп, найдутся кое-какие задатки; во-вторых, ухаживать за этими задатками – все равно что стараться раскрыть наливающиеся весною почки. Критика не может, не впадая в сумасшествие, заменить природу и создать зрелость таланта ранее, чем она сама не явится у автора, и тем менее она в состоянии почку чертополоха превратить в бутон розы. Еще Гете советовал честолюбивой литературной молодежи не волноваться, а подождать, предоставить времени решить, есть ли у кого сто́ящий внимания талант. «Если это розы – они зацветут», – говорил он. Огромное большинство «задатков» – именно не розы, и если бы критика выбивалась из сил, чтобы заставить их цвести, весь этот труд пропал бы даром. Критика не может быть материнскою утробой для беллетристики и поэзии; она может быть только школой, да и то в ограниченном значении. Взваливать, например, на злосчастных аристархов просмотр несметного числа «литературных ученических тетрадок», попадающих в печать, – жестоко. Критика существует для действительных художников, уже закончивших свое техническое образование, – все же зародышевые поэты и беллетристы лучше бы вовсе не печатались. Но раз уже, к несчастию, они печатаются, то долг критики... по возможности дальше держаться от этого мусора, набирающегося в литературу. Занятая великим делом претворения художественной правды в мысль общества, критика должна брать для этого возможно зрелые и здоровые материалы. Все, что неорганизованно, сыро и грубо, только засоряет душу общества и, может быть, именно этим-то духовным засорением страдает более всего нынешний переутомленный интеллигент. Миросозерцание его расстроено неорганическими идеями, мысль опутана грязными картинами, чувство отравлено, как родник, бьющий из земли, наваленными на него отбросами, и значительную долю этих отбросов составляют лженаука, лжепоэзия и лжебеллетристика. Если бы боги послали критике силы Геркулеса, то ей следовало бы прежде всего повторить подвиг этого героя при дворе царя Авгия[2].

<V>

Особенно разобиженные критикой молодые авторы в конце концов начинают утверждать, что собственно критики у нас не было и нет, за самыми малыми исключениями. Критика настоящая, видите ли, должна бы заниматься исключительно эстетикой, вопросами «чистого» искусства, тогда как наша критика занимается главным образом нравственным содержанием литературы. Тяжким грехом Белинского и его преемников грызущие их прах литературные черви считают стремление сблизить литературу с жизнью, с ее нравственными задачами. Белинский, действительно, под конец своего поприща сознал, что, витая в области отвлеченностей и эстетических гроз, критика обращается в изящную болтовню, далекую от серьезных человеческих интересов. Возмутившись филистерством «Егор Федорыча» (Гегеля), его знаменитым «все обстоит благополучно» (действительное – разумно), Белинский ввел в критику требования общественной морали, а последующие критики выдвинули принцип общественного служения, широкого участия литературы во всех так называемых «проклятых вопросах» жизни.

Объяснить этот поворот нетрудно: он представляет лишь частный случай великого нравственного переворота, совершившегося в Европе в течение этого века. Вспомните время, когда явились названные выше критики. Почти все они жили в мрачную крепостную эпоху, вышли из народа и были молоды, когда писали. Полные живых народных, то есть общечеловеческих инстинктов, озаренные гуманною европейскою мыслью, они устыдились видеть литературу на послугах горсти счастливцев, в роли усладительницы их скуки, в то время как земля коснела в невежестве и рабстве. Чуждые кастовых предвзятостей, названные критики яснее всех видели, что литература принимает кастовый дух, обособляется в слишком узкие интересы. Они видели, что эстетика в искусстве стремится быть тем же, чем иногда благородство в аристократии, – элементом отчуждения от человечества и пренебрежения к нему. Они ви-

дели, наконец, что как обособившееся благородство обращалось в нечто противоположное, так и обособившаяся эстетика принимала уродливые формы, вырождалась в ложь. И для блага забытого в то время народа, и для возрождения самой эстетики покойные критики настаивали, чтобы литература вошла в связь с жизнью, причем утверждали, что только этим путем искусство может поднять себя и зачерпнуть свежих почвенных сил. Молодые идеалисты, выходя на арену жизни, встречали в ней много низости; возвышенные, одушевленные горячей верой в милосердие и братство, они видели кругом унижение человека, возведенное в систему, в общественный закон, огражденный всем народным могуществом. Они чувствовали себя в стране, где «не было нации», как говорил Н. Милютин[3]: рабы не могли составлять нации. Эти рабы были люди одной крови, одного языка, одной веры, одной истории с появившейся тогда интеллигенцией. Родившись в такую эпоху, что должны были чувствовать просвещенные юноши с душой Белинского или Добролюбова? Они испытывали такую скорбь, о какой поколения счастливых времен не могут составить и понятия. Голос совести говорил, что страдает родина, что не до метафизики и не до эстетики людям, едва отстаивающим свое существование, более жалкое, чем даже у лесных животных, которые были свободны. Идеалисты того времени, и первый из них – Белинский, были чутки к красоте, но жизнь угнетала своим безобразием, жизнь томила несправедливостью, а гибель справедливости всегда чувствовалась людьми с пророческою душою как величайшее несчастие, какое только может постичь общество: это отшествие как бы самого Бога, верный предвестник смерти. Как на корабле, давшем течь, уже не время развлекаться музыкой, и все должны бежать к помпам, так и в тяжелые моменты общественной жизни все живые силы должны сосредоточиться на общем спасении. Литература, если она мысль народная, то, отдалившись от великих общечеловеческих нужд в годину горя, она обрекает себя на позор; она недостойна названия литературы. В первую половину нашего века, в четвертое и пятое его десятилетия, все, что только было жи-

вого в России и благородного из всех сословий, было охвачено страстной жаждой правды, страстным отрицанием дряхлого, душившего жизнь рабства. О «воле» изнывал в своих молитвах народ, но той же воли жаждали и лучшие представители аристократии и среднего круга. Той же воли жаждало и само правительство. В лучших, наиболее одаренных совестью умах того времени, как и теперь, держалось убеждение, что крепостной строй касался не только крестьянства, но проникал все классы без исключения, всю страну со всеми ее общественными органами. Все понимали, что освобождение крестьян должно быть только первым шагом к преображению России на началах, достойных христианской и европейской страны, на началах справедливого порядка. К этой великой цели всеобщего освобождения были тогда направлены все умы, и неужели одна молодая литература наша не должна была принимать участие в освободительном подвиге?

<VI>

Критиков старой школы часто обвиняют в том, что они создали у нас обличительное направление. Это совсем не верно. Критики-публицисты вовсе не создали нового движения, а только примкнули к нему. Движение литературы к пониманию жизни как она есть, к критическому обсуждению ее началось с Фонвизиным, Пушкиным, Грибоедовым и Гоголем. Высвободившись из пут псевдоклассической эстетики и романтизма, которыми были парализованы сильные таланты Державина и Жуковского, молодая наша поэзия в прикосновении к реальной жизни почерпнула невиданную мощь, расцвела и дала плод сторицей. Пушкин был завершителем старого периода литературы и зачинателем нового; в нем новое течение обнаружилось еще не столь определенно, но уже в Лермонтове и особенно Гоголе оно приняло вполне законченный вид. Критика школы Белинского (последнего периода) только присоединилась к направлению, созданному самими художниками, стараясь лишь расширить для него русло. Критика только потому при-

няла нравственный характер, что еще раньше этот же характер усвоила сама беллетристика в лице наиболее ярких своих представителей. «Горе от ума», «Ревизор», «Мертвые души», даже «Евгений Онегин» в его картинах русской жизни – разве это не обличение, разве это не отрицание? Эти вещи никак не могут назваться созданиями «чистого искусства», эстетическими по преимуществу: они глубоко захватили нравы времени и общественные недуги. Искусство в них явилось не довлеющею себе целью, а тем, чем оно и должно быть – средством для просвещения людей, пробуждения их совести и сознания. Чувствуя, что это-то и есть величайшее призвание литературы, критика школы Белинского встретила с восторженным одобрением реальный роман и реальную драму как давно жданный приговор над жизнью, прогнившею в грехах своих. Этот приговор был тогда необходим. Первобытную, полуварварскую Россию душил тогда затхлый византизм, и было жизненно нужно, чтобы раздался, наконец, освежительный гром обличения и укора. Необходим был искренний, открытый суд над повреждением нравов, над темными суевериями, считавшимися святыней. И этим судом могла быть, по условиям нашей жизни, только литература, единственный доступный русскому обществу орган некоторого выражения своих желаний, хотя и слабый, связанный орган. В древности, во времена упадка, являлись пророки и напоминали народу о вечной правде Божией, о том, что переполнилась чаша беззаконий и близко возмездие. В наш сложный век роль древних обличителей народной мерзости перешла к писателям. Не напрасно же природа некоторым избранникам ниспосылает особый дар истины и проникающего сердце глагола! Не напрасно были наделены и наши знаменитые писатели их яркими талантами и не менее, если не более, великою совестью. Не какая-нибудь партийная предвзятость, не составление себе карьеры, не холодный расчет руководили ими, а непобедимая внутренняя потребность, не личная, а строго общественная, общенародная, накоплявшаяся в ряду поколений. Кто хоть сколько-нибудь знаком с жизнью покойных критиков, знает, насколько лично для них их деятельность

была невыгодна и с какими опасностями сопряжена; но, тем не менее, они стремились высказаться неудержимо, как бы покоряясь какому то внутреннему повелению свыше.

Нынешние декаденты и обскуранты утверждают, будто прежняя критика всегда шла вразрез с беллетристикою и не помогала ей, а воевала с нею. Утверждение вполне невежественное, обнаруживающее грубое незнание истории нашей новой литературы. Что тогдашняя критика воевала, и воевала жестоко с уродливыми явлениями в литературе, это бесспорно; но что она не поняла великих романистов и враждебно отнеслась к ним – это совершенно неверно. Ведь в основной сущности критики и романисты были одних воззрений, одних задач: как те, так и другие были обличители, судьи своего времени и, держась этой метафоры, между ними было такое же согласие целей, как между судьями, ведущими следствие, и присяжными, обсуждающими следственный материал. Гоголь был не менее обличитель, чем Белинский, как и Тургенев – не менее критик своего времени, чем Добролюбов. И художники, и критики составляли неразрывное, органическое целое: первые давали верную картину жизни, вторые давали то яркое впечатление от нее, которое как бы открывало глаза публике. Только благодаря потоку света, направленному критикой на таких писателей, как Гоголь, Тургенев, Гончаров, Островский, читающая публика могла впервые разглядеть и рисунок, и краски, и самую перспективу русской жизни.

<VII>

Здесь позвольте сделать оговорку. Стародавняя, но лишь в последние годы особенно громко заговорившая ненависть к покойным критикам имеет два источника: один – в тех проторях и убытках, которые потерпели толпы неудачников в столкновении с этой могучей силой, другой – в том, что за выдающимися четырьмя-пятью критиками тянулся длинный хвост бесталанных критиканов, которые, подпевая знаменитым собратьям, нередко впадали в грубые и даже пошлые крайности.

Неразборчивые враги реальной школы все это ставили на счет неповинным вождям, и в силу этого Писарева сплошь да рядом укоряют в том, что говорили когда-то разные Зайцевы[4] и Ткачевы[5], ныне забытые. Надо заметить, что чем возвышеннее деятельность, тем несноснее участие в ней людей непризванных; лишенных артистического чутья, они сейчас же самое тонкое искусство превращают в ремесло. Нет ничего на свете возмутительнее, как ремесленная критика. «Кто не умеет ничего сам написать, делается критиком», – заметил кто-то; «критика – это когда глупые судят умных». Профессионализм делает человека вообще узким, но когда он соединяется с бездарностью, получается самое удушливое педантство. Несносны присяжные стихотворцы и кропатели повестей, но еще ничтожнее их критики, претенциозная бесталанность которых уж слишком обнажена. Конечно, такие критики ничего, кроме вреда, не вносят в литературу, – впрочем, вреда незначительного: кто читает маленьких критиканов? Если же отделить талантливых критиков от бездарных, то первые из них, хотя и не безусловно безгрешные, совершенно совпадают своей работой с истинными задачами наших великих художников, именно с теми их трудами, где выразилось их высшее призвание. Систематически замалчивая или бичуя разный литературный вздор, борясь с иными, не лишенными таланта, но ложно направленными художниками, выдающиеся критики верой и правдой служили нашим классикам романа и драмы. Лишь в очень редких случаях замечательные критики ошибались (как Белинский, считавший талант Тургенева не выше, чем у Даля[6], или как Писарев, советовавший Щедрину писать научные статьи). Ошибки эти относились к тому времени, когда непонятые авторы еще только начинали свое поприще и далеки были от периода зрелости. Случалось, что лучшие критики расходились с великими художниками, но расходились честно, во имя оспариваемой истины, и в этих случаях правда была далеко не всегда на стороне художников. Воинствующий характер тогдашнего Sturm und Drang'a* вовлекал критиков, хотя и крайне редко, может

* Буря и натиск (нем.). – *В. Т.*

быть, и в прямую несправедливость относительно некоторых авторов, но это – неизбежное несчастие, постигающее, как видно, даже и такие высокие характеры, какими обладали названные критики. Не в случайных ошибках значение «публицистической критики», а в ее общей работе, которая была нужна и благотворна. Это как-то странно даже и повторять, но повторять приходится; за последнее десятилетие мы «все позабыли и ничему не научились»: мы позабыли о столь недавних еще ужасах крепостного строя и подвигах долгой борьбы с ним; мы не научились ценить даже тот маленький простор, который был отвоеван геройскою нравственною борьбою лучших людей общественной мысли, а среди них критики были далеко не последними. Влияние Белинского на свою эпоху позабыто, а между тем какое это было громадное и прекрасное влияние!

Позвольте здесь привести отзыв об этом влиянии из письма Ивана Аксакова к своему брату Константину в 1856 году. (Письмо это находится в очень интересном III томе собрания писем Аксакова[7].) Надо заметить, что Аксаковы, как строгие славянофилы и националисты, не только не любили Белинского, но прямо ненавидели его, считали дерзким и легкомысленным человеком, не понимающим чувства народно-русского. Иван Аксаков, отлично изучивший Россию в своих бесконечных поездках, сам вынес, судя по письмам, удручающее, почти безнадежное впечатление о том времени, но, тем не менее, успехи европейских идей в обществе ему крайне не нравились. «И Полевой[8], и Белинский, – пишет он, – имели огромное влияние на общество, вредное и дурное, но все же громадное влияние». Посмотрим же, в чем состояло это «громадное, но вредное» влияние. «Много я ездил по России, – пишет Аксаков, – имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю; в отдаленных краях России только теперь еще проникает это влияние и увеличивается число прозелитов. Тут нет ничего странного. Всякое резкое отрицание нравится

молодости, всякое негодование, всякое требование простора, правды принимается с восторгом там, где сплошная мерзость, гнет, рабство, подлость грозят поглотить человека, осадить, убить в нем все человеческое. “Мы Белинскому обязаны своим спасением”, – говорят мне везде молодые честные люди в провинциях. И в самом деле, в провинции вы можете видеть два класса людей: с одной стороны – взяточников, чиновников в полном смысле этого слова, жаждущих лент, крестов и чинов, помещиков, презирающих идеологов, привязанных к своему барскому достоинству и крепостному праву, вообще довольно гнусных. Вы отворачиваетесь от них, обращаетесь к другой стороне, где видите людей молодых, честных, возмущающихся злом и гнетом, поборников эмансипации и всякого простора, с идеями гуманными. Они часто несут всякую чепуху и сами не видят, что путь их логически оканчивается подлостью петербургского практицизма, но порицание и отрицание их понятны. И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, ищите таковых в провинции между последователями Белинского».

Таково было влияние Белинского по отзыву завзятого консерватора и партийного врага его критики. Если бы в какое угодно время и где бы то ни было явился человек, способный нравственно «спасать» людей во всех углах государства и делать их честными, – такой человек поистине заслуживал бы названия «пророка», и таким был Белинский, первый придавший критике нравственный характер. Следующие знаменитые критики, к сожалению, несколько извратили эту новую черту, впав в материализм, но лозунг их был тот же, что и у Белинского. Искусство – сила, которая должна служить правде, и правде не только действительности, но и идеала.

<VIII>

Чем же должна быть критика? Педанты эстетики утверждают, что критика должна быть только эстетической. Мне же

кажется, что она прежде всего должна быть интересной. С какой точки зрения критик взглянет на предмет – это его дело, лишь бы он сумел открыть вам нечто важное и неизвестное. Пусть критик будет эстетик, филолог, историк, психолог, социолог, моралист, – он одинаково нужен, если дает нужное. По самой природе своей литература как мышление народа, как его разум, оттиснутый на бумаге, способна входить во все жизненные процессы, где участвует разум, а где же он не участвует? Если критика занимается в частности нравственным устроением общества, то это не вследствие злого умысла, а по законной потребности литературы. С падением романтизма нет писателя в Европе, который, рисуя человека, не имел бы в виду общества. Даже новейшие психологи не в состоянии сойти с этой почвы, притягивающей к себе искусство как земное тяготение. И на Западе критика работает совершенно в том же духе, как и наша в лице лучших представителей, но работает, конечно, одушевленнее и глубже: это уже общий секрет западной жизни. Собственно эстетическая критика и в Европе давно уступила свои исключительные права критике общественной, социальной, научной (то есть филологической, исторической, философской, общественно-бытовой, психологической и т. п.). Кузен[9], Сент-Бёв[10], Тэн и его ученик Брандес – все смотрят на художественную вещь как на общественное явление, как на продукт известного времени, места, нравов и обычаев, характера самого писателя, его расовых и личных свойств и т. п. И авторы, и произведения их для западных критиков интересны лишь как документы жизни, причем Тэн превратил свою критику уже целиком в отрасль истории. Как археолог по развалинам, палеограф по старым рукописям, нумизмат по монетам и т. п. – критик тэновской школы по литературным произведениям восстановляет всю психологию данного общества, весь его быт. В последнее время на Западе делаются попытки перейти к еще более объемлющей форме критики – к эстопсихологии, как ее назвал Геннекен[11].

Критика, как видите, ветвится и ширится, стараясь овладеть быстро растущею образованностью. В работу критики

влагаются все элементы духа, все оттенки знания. Но верховным принципом критики, как и всякой человеческой деятельности, должно стоять удовлетворение нравственного чувства. Средства у критики могут быть всевозможные, цель же должна быть одна: послужить добру.

Пределы литературы

Ты думал: я – волна?
Нет, я поток всемирный
В. Гюго[1]

I

Нужна ли поэзия? Нужна ли изящная литература? Нужна ли критика? И т. д. Вопросы эти и слишком смелые решения их, вроде предпочтения сапог – Шекспиру, показывают, до какой степени мир умственный еще не закончен в своем творении. Здесь еще все неустроенно и пусто, и дух создания еще носится над безднами сырых, не сложившихся теорий. Но как бы ни было резко отрицание писательства, оно не может устранить самого существования литературы. Она существует и растет; это не только одно из явлений жизни, но явление, колоссально растущее и проникающее в глубь самого духа нашей цивилизации. Где предел этого роста? Где естественно заканчивается литературное влияние?

Если, как справедливо сказано, литература есть «прикрепленная к бумаге мысль» (Летурно), то внутренние пределы ее, как пределы мышления, безграничны. Литература как выражение гения человеческого свободна по своей природе: «Дух дышит, где хочет»; это черта божественности, отличающая его от материи, неподвижной даже в ее движении, лишенном воли. Литература есть искусство, а истинное искусство, несомненно, свободно, как свободен источник его – чувство. Только жалкие подражатели, ремесленники искусства работают без свободного вдохновения, без горячей страсти к своей работе. Они – рабы, они ждут указания или урока. Пристроив-

шись, например, к литературному станку в качестве простого двигателя, они ворочают рычагом – то бишь пером – известные часы и приготовляют вещь заранее определенного качества и количества. Роман ли это, стихотворение ли, картина – можете быть спокойны, что в условленный день к такому-то часу работа поспеет, если «малый не загуляет» или не приключится с ним какой беды. Но это уже так и называется ремеслом; тут цель работы – корысть, а не молитвенное наслаждение, как у настоящего артиста. Всякий истинный, Богом венчанный художник – царь своего труда, а не раб. Наития свои он получает свыше; он работает лишь для собственного удовлетворения и иначе работать не может. Тяжелая нужда заставляет иногда и его становиться за станок и вертеть колесом, но в эти горькие, проклятые минуты он – царь развенчанный, он несчастнее последнее мастерового, привыкшего к своему рабству и не замечающего его. Кроме нужды, и жадность, и тщеславие иногда тянут художника к работе, но в этих случаях он падает еще одной ступенью ниже: из раба превращается в лакея и работает, как лакей, обыкновенно льстя и угождая толпе. Это труд низкий, и плоды его ничтожны. Все истинно великое является на свет «Божьей милостью», самодержавным изволением духа. Из предвзятых мотивов, из-под принуждения или по заказу создается работа холодная, безличная: дочь мертвой матери-машины, в которую столь часто превращается человек. Все живое требует зачатия и развития, влияний таинственных, до того тонких, что они граничат со случайностью; зачать по произволу нельзя.

В этом внутреннем смысле искусство свободно; но эта свобода составляет лишь частный случай свободы как необходимого условия для всякого творчества: научного, философского и морального. Всякий истинно живой и успешный труд нуждается в просторе, всякий такой труд имеет цель в самом себе и вытекает из потребности в нем. Если одни «художества» называются вольными (les arts liberaux), то это показывает лишь то, что все остальные профессии искони приняли рабские, каторжные формы и что лишь на верхах жизни

возможен настоящий, свободный труд – исключение, которое должно бы быть правилом.

Гений свободен в своем источнике, но внешняя свобода проявлений его не безгранична. Абсолютная свобода – понятие безумное, и в природе ее нет. Все, что существует, существует в меру ограничения; снимите пределы вещей или понятий, как они тотчас исчезнут. «Форма дает бытие», – сказал Аристотель, а ведь *форма* – и в вещах, и в идеях – и есть ограничение. Признавая, что *источник* всего сущего бесконечен, я считаю и гений явлением трансцендентным, но его жизнь начинается для нас лишь в ограничении: в известном, *определенном* сочетании слов, красок, звуков, линий и т. д. Художник не свободен в том же смысле, в каком он и свободен: его нельзя заставить ощутить в себе то или другое чувство, но он и сам не может себя принудить к этому. «Wie der Vogel singt…»*, – да, но соловей не может петь малиновкой или скворцом. Он поет лишь как соловей. Закон для художника – его воля, но воля, не ему подчиненная: он не может по произволу менять ее, и первый подчиняется ей. Художник зависит от природы и души своей, и в этом смысле искусство несвободно. К сожалению, у нас нет привычки различать естественные пределы, и мы всегда страдаем то избытком, то недостатком свободы.

Например, первыми и самыми опасными нарушителями «святой свободы искусства» являются… ее упорные защитники. Так называемые чистые эстетики», по насмешке судьбы, всего крепче и неумолимее связывают искусство. С настойчивой, но странной логикой они доказывают, что чистое, *свободное* искусство *должно* служить лишь *двум* целям: красоте и любви. Всего две цели. Но если *только* две цели, то какая же это свобода? Если творческая мысль ограничивается раз навсегда двумя мотивами, то не есть ли это ниспровержение свободы искусства и грубейшая из тенденциозности? Красота и любовь, конечно, могут вдохновлять художника и быть предметом искусства. Всем известны великие и искренние произведения,

* Строка из баллады И. В. Гете «Певец», 1783 («На божьей воле я пою…» – *Пер. Ф. И. Тютчева*, 1830). – *В. Т.*

посвященные любви и красоте. Но неужели мир и исчерпывается весь этими двумя явлениями? Правоверные эстетики, создавшие из нее своего рода талмуд, смело заявляют: да, больше ничего, стоящего внимания поэта, не существует.

В жару сердечных вдохновений
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений[2].

II

Любопытно происхождение подобной эстетики. Я думаю, оно восточное. Преимущественно на Востоке расцветали от времени до времени замкнутые культуры, где идеалы счастья приурочивались именно к любви и красоте, а все остальное теряло способность вдохновлять человека. Это случалось обыкновенно на так называемых «вершинах цивилизации», накануне упадка, когда масса народная окончательно бывала подчинена той или иной форме рабства, а высшие касты уединялись в своем эгоизме. Укрепив за собою право на народный труд, эти касты окружали себя безумной роскошью, культом любви и красоты. При этом любовь (половая) и красота (телесная) были еще наиболее возвышенными элементами счастья; большинство погрязли в более грубом материализме: в пьянстве, обжорстве, распутстве, жестоких играх и охоте. Царила грубая чувственность во всем: лишь то, что тешило органы чувств – зрение, слух, обоняние, вкус и т. п., считалось достойным внимания. Мир духовной радости был скрыт: сознание земных небожителей боялось прикоснуться к философским и нравственным интересам, чувствуя, что последние поруганы именно самими же небожителями, и, раз коснувшись, им пришлось бы отказаться от эгоизма. Обеспеченные от всяких бед, пресыщенные счастливцы понемногу теряли все великие качества предков: военный героизм, любовь к славе, гордость и чувство свободы – все это было не нужно в Эдеме; не нужна была даже вера в Бога при незыблемом счастье. Все идеаль-

ное понемногу отпадало, и оставалось разрабатывать лишь сладострастие да аппетиты разнеженных чувств. Такая чувственная культура переживалась в свое время всюду. Вавилон, Палестина после Давида, Греция после персидских войн, Рим времен Империи, XVI век в Италии, XVII – в Испании, XVII, XVIII – во Франции, наконец, fin de scècle теперь в Европе. Основы жизни того, что теперь называется la haute gomme*, всегда были одинаковы. «Золотая молодежь» никогда не стареет и не меняется; теперь она та же, что была и во времена цезарей. Культура этого чувственного мира бедна и материальна, но она отличается необыкновенной цельностью и в силу этого способна вдохновлять поэтов. И нельзя сказать, чтобы к столу тонущих в роскоши классов теснились исключительно бездарные и своекорыстные пииты; – этих, правда, большинство, но между ними попадаются и искренние, и даже великие художники, нелицемерно восхищенные культом физического счастья, любовью и красотой. Анакреонтическая поэзия бедна, но она есть истинная поэзия, так как рождена искренним вдохновением. Отрицать ее, как делают слишком строгие противники чистого искусства, нельзя. Но нельзя же и утверждать за нею исключительное господство. Эротическое искусство есть выражение случайной, временной культуры; но для других эпох и миросознаний оно не годится: те имеют свой душевный строй и иную музыку чувств.

«Чистые эстетики» – которые поразумнее – сами догадываются о крайней узости эстетизма: они не могут не видеть, что в пределах половой любви и телесной красоты искусства, как одалиски в гареме, вянут и замирают. Любовь и красота – самые благоуханные цветы телесной жизни; но даже роскошный цветник способен сделаться тюрьмой, если сидеть в нем безвыходно. Счастье требует смены впечатлений; самое утонченное удовольствие, продолженное на минуту долее своей меры, превращается в тягость и томление. Этот простой психологический закон отравляет существование чувственных людей: он заставляет их спасаться от естественного счастья в

* «Золотая молодежь» (фр.). – *В. Т.*

область противоестественного или ведет даже к полному отвращению от жизни, к taedium vitae*, к английскому сплину. Сознавая это, некоторые эстетики расширяли понимание своей формулы. Красота, говорят они, заключается не только в гармонии тела и природы, а объемлет собою и мир человеческих отношений; «прекрасное выше доброго, потому что включает в себя доброе» (Гете), точно также любовь; искусство должно заниматься не только половой любовью: любовь – явление всемирное, от притяжения атомов до тяготения звездных систем: «L'Amor che muove il sol e altre stelle» **(Данте). Если такова красота и любовь, то искусство, основанное на них, имеет бесконечный простор, исчерпывает всю мировую гармонию и весь круг ощущений в природе.

Такое расширение понятия «чистого искусства» покажется чрезмерным, но оно близко к действительному объему искусства. Но распахивая двери искусства в мир Божий, «чистые эстетики» не уничтожают ли самих себя? Ведь они впускают в свою темницу в числе других стихий и ту, которой они так страшатся, – стихию личной и общественной морали. В самом деле, если искусство отражает *всю* гармонию жизни, то оно непременно должно отражать гармонию и совести человеческой. Если «прекрасное включает в себя доброе», то все нравственные интересы – личные, общественные, народные, международные – становятся законным предметом искусства. Но если так, то в чем же спор? Ведь противники «чистой эстетики» не отрицают искусства; они только добиваются, чтобы к хору иных сил, защищающих названные высокие интересы, привлечь и огненный меч поэзии – этого небесного серафима, приставленного чистыми эстетиками охранять Эдем лишь чувственного счастья. Что серафим этот сам никакой склонности не чувствует к роли евнуха, доказывается тем, что он охотно отлетает от Эдема в иные сферы, и именно те, которые так ненавистны правоверным эстетикам. Не спрашивая разрешения

* Скука жизни, отвращение к жизни (лат.). – *В. Т.*

** Любовь, что движет солнце и другие светила (итал.). *Данте А.* Божественная комедия. Рай. – *В. Т.*

у последних, поэзия давно берет для себя такие общественные явления, как любовь к отечеству, героизм, верность долгу и т. п. Как бы назло эстетическому талмуду искусство включило в себя не только все доброе, но и недоброе: вместе с героизмом оно «воспело» и «злодейство», вывело на позорище характеры и нравы подчас во всем их безобразии. Искусство чувствует, что цель поэзии – благородное отношение к вещам – достигается созерцанием и прекрасного, и безобразного, что восторг перед идеалом требует возмущения уродством и что живая поэзия есть не один или два, хотя бы и верных, тона, а полная гамма всех звуков жизни. Поэтому истинно великие художники никогда не ограничивались красотою и любовью – этими элементами они пользовались лишь в той мере, в какой они входили в существо данной культуры. Поглощенные правдой жизни, ее формой, «дающей бытие», они искали эту правду во всем, что доступно чувству, не только не чуждаясь важнейших интересов времени, но именно им-то и посвящая свой гений.

III

Гомер был тенденциознейшим из поэтов, если стать на точку зрения педантов эстетики. В самом деле, его знаменитые поэмы посвящены кровавым битвам, распре героев и богов, путешествиям и описаниям стран, удивительным и страшным приключениям. То, что всего интереснее было для греков, то Гомер и писал. Народной страстью была война, она составляла нерв тогдашнего общества, – и Гомер вдохновлялся войной. Не менее тенденциозными покажутся Данте, Шекспир, Гете: все они служили не только любви и красоте, но и разнообразнейшим и глубоким общественным настроениям. Все они, сознательно или безотчетно, своим высоким духом удовлетворяли главной жажде своего века: политической, нравственной, религиозной, философской. Все это настолько очевидно, что бьет в глаза даже совершенно окаменевшим «жрецам чистого искусства». Чтобы как-нибудь примирить свое слепое отвращение к «общественным интересам» с фактом постоянного вле-

чения к ним художников, педанты эстетики заявляют, что эти художники описывают не характеры и нравы, а лишь вечные их типы; искусству дозволительно изображать тип ревнивца, изменника, скупца и т. п., потому что эти характеры вечны; напротив, политические и нравственные настроения будто бы преходящи и потому не могут быть предметом искусства. Так ли это, однако? Удобно ли раздергивать человеческую душу на вечные и невечные элементы? Почему это Рудин, целующий Наташу, «вечен» как тип, а тот же Рудин, возмущающийся общественною неправдою, – минутен, преходящ? Почему же возмущение неправдою не есть общечеловеческое явление? Господа «чистые» эстетики слишком дурного мнения о человеческой душе, если думают, что общественные и нравственные инстинкты менее распространены, чем любовная страсть. Конечно, не у всех людей эти инстинкты развиты, и еще реже встречается их яркое проявление, но ведь не у всех людей развит и эротический инстинкт, а примеры пылкой, возвышенной любви, как и все прекрасное, крайне редки. Огромное большинство мужчин и женщин не знают любви, заслуживающей внимания художника; они довольствуются сожительством и зародышевыми увлечениями, которые ничуть не выше зародышевых нравственных инстинктов. Не каждый из нас

Горел полночною лампадой
Перед святынею добра[3],

не каждый волновался чувствами Базарова, Рудина, Инсарова, но не всякий был и Ромео или Отелло. Справедливее было бы любовную страсть называть «преходящею, минутною»; даже типическая любовь, по уверению сведущих людей, длится не долее двух лет, а отношения, которыми пробавляются большинство героев и героинь в течение десятилетий совместной жизни, основаны именно на преходящих порывах. Не то общественные или какие-нибудь нравственная страсть: раз она охватит человека, она длится долгие годы, к концу жизни часто разгораясь даже в фанатизм. В годы Гладстона и Бисмарка

о чувственной любви не может быть и речи (если не смешивать любовь с дружбой), но в эти годы возможно могучее политическое увлечение. Общественные и нравственные инстинкты временами могут ослабевать, как может выходить из моды и любовное волокитство, но затем снова разгораются. Подобно земному магнетизму, который имеет суточные, годовые, вековые колебания, – душа человечества колеблется в веках и десятилетиях, причем – как океан – она играет всеми красками, всеми настроениями ума и сердца. К чему же сводится утверждение, будто общественные интересы не вечны? Ничто не сохраняется, это правда, но все *повторяется*; вечность состоит не в непрерывном бытии, а в повторении явлений; нравственные же движения повторяются, с тех пор как человечество помнит себя, с неизменной правильностью. Были герои и будут герои; пусть они будут называться не Рудиными, пусть будут громить не крепостное право, не взяточничество и т. п., а другие формы общественной неправды – разве не все равно? Ведь это одежда, декорация. Самый тип общественного деятеля, проповедника, реформатора, борца вечен ничуть не менее, чем тип влюбленного. Скажите, когда этот тип отсутствовал в обществе? Начиная с древних пророков, громивших нечестие вождей израильских, можно бы привести множество имен из истории всех народов; но даже у нас в России в самые глухие, варварские времена этот тип не умирал. Пока общество сохраняло в себе жизнь, всегда находились люди, заявлявшие о поруганной правде, говорившие горькую истину в лицо народу. Князь Курбский[4], митрополит Филипп, протопоп Аввакум, князь Яков Долгоруков, боярин Кикин[5] – люди этого типа водились в самые суровые времена. Всякое живое поколение неизменно выдвигает некоторую часть людей с повышенными общественными инстинктами, и было бы большой ошибкой думать, что их нет уже в наши годы. Стало меньше поклонников одного настроения, но зато умножились сторонники другого, – и такое чередование имеет вполне определенный периодический характер. Человек, понимающий природу общества, может на протяжении какой-нибудь сотни лет с

большою точностью предсказать возвращение той или иной моды, того или иного вкуса. Если в истории человечества это видно недостаточно ясно, то потому лишь, что история как точное знание едва началась, и мы в состоянии увидеть не более одного лишь склона великой волны нашей цивилизации. Если бы не было смены настроений и их чередований, не было бы общества как живого организма, движущегося, растущего. Остановившись в одном миросознании, общество кончает неизбежно тем, что теряет всякое миросознание: обращается в стадо, безмятежное, но почти лишенное духовной жизни. Такое стадо изображали собою народы, лишенные общественности, народы Востока, охотно подчиняющиеся завоеванию. На Востоке гаснут за ненадобностью таланты и умы, гаснут и общественные характеры. В какой-нибудь Персии рождается не меньше политических людей, чем в Англии, но они не обнаруживаются, как не обнаруживаются там природные математики, живописцы, философы. Их нет, но отсутствие их вовсе не служит доказательством отсутствия этих способностей у персов. Способности есть, но нет почвы для их развития, нет *общества*, то есть разнообразно мыслящего круга людей с необходимым кругообменом настроений. Если персы окончательно не вымрут, то когда-нибудь у них сложится общество, снова заблестят таланты и явятся могучие общественные характеры, как это было когда-то в старину. Снова выступят политические деятели и поэты. Теперь же, при омертвении общества, нет *никаких* героев, ни даже героев любви, потому что и любовь может принимать героические формы лишь в обществе живом, разнообразном, волнующемся, а не заснувшем. В человеческой душе нет «минутного, преходящего»: в ней все вечно, все страсти, как лепестки у цветка, даны в том же точно числе, как и тысячелетия тому назад, только одни страсти у отдельных людей развиты больше, другие – меньше. Настроение Рудина столь же природно, как и настроение героев из «Песни торжествующей любви». Авторов, изображающих не «любовь», а какую-нибудь иную, более духовную страсть, обвиняют в тенденциозности, но, в сущности, нет

тенденциозных произведений, а есть неудачные или бездарные. Поэт без дарования любую шекспировскую фигуру сделал бы тенденциозной (как Сумароков[6], переводя «Гамлета», заставивший датского принца сочетаться с Офелией законным браком), тогда как художник тургеневской силы в состоянии и весьма сложному идейному брожению придать реальную жизненность, какую она имеет в самой натуре.

IV

Нравственная стихия, как видите, столь же законна в литературе, как любовь и красота. Я думаю, что она даже более законна, чем телесная любовь и телесная красота. Нравственное – совершенно, оно ближе к внутренней правде жизни – к идеалу ее. Если сущность искусства есть выражение правды, то ясно, что лучшие откровения свои литература должна искать в области нравственного. Так называемое *безнравственное* дурно не потому, что оскорбляет совесть, но потому также, что оно оскорбляет и разум, и чувство красоты, – словом, все, что есть в человеке божественного. Совместно ли искусство с ложью в какой бы ни было области? Такое искусство, при всей искренности заблуждения, не может быть высоким; оно существует, но как существует все зачаточное, несформировавшееся. В интересах не чего иного, а самой красоты и любви, в интересах правды их выражения общество должно стремиться к нравственному искусству, признаки которого – чистота, благородство настроений, трезвость мысли. Предъявляя к искусству строгие требования – не только вкуса, но также здравого смысла и совести, – общество требует лишь того, что составляет самое глубокое выражение его культуры, выражение святыни ее, а это именно и есть верховная цель искусства. Если бы эти требования были достаточно настойчивы, то незрелые, не знающие жизни художники, рассеивающие свое внимание на явлениях, чуждых эпохе, были бы удержаны в ее границах; они поневоле были бы принуждены сосредоточиться на действительности и обработать ее своим творчеством; каждое поколение имело бы свой

орган выражения своей души. Теперь не то: целые поколения и эпохи пропадают в тумане прошлого безвестно, как бы не бывшие, а то и хуже – остаются в памяти потомства искаженными искусством, которое их не поняло, не охватило.

В ряду других искусств художественная литература, бесспорно, – самое могучее средство выражения культуры. Она до такой степени всесильна, что ее не хочется даже и называть искусством: она – нечто особое и высшее, нечто самостоятельное, вроде науки или философии. Я в известных отношениях ставлю литературу даже выше философии и науки как единственного явления, где все мертвые стихии духа – искусства и науки – сливаются в живой организованный состав. Литературу можно назвать изящною наукой или философским искусством: вы чувствуете, что в ней сливаются две правды, внутренняя и внешняя, этика и эстетика, чтобы дать «третью правду» – постижение вещи в самой себе, поскольку это доступно. Чтобы пояснить это, позволю себе напомнить родословие искусств и место в их семье изящной литературы.

V

В простейшем своем виде всякое искусство есть *изображение* жизни. Постепенно развиваясь, оно делается *преображением* ее. Элементарное искусство довольствуется возможно близким подражанием вещи, вполне удовлетворяясь подобием формы; искусство развившееся ищет идеала вещи, ее совершеннейшего вида. Восхищая тленные формы на высоту идеала, дух художника заставляет их преображаться, сиять высшею красотою. В этом преображении материя как бы исчезает, форма делается видением, бесплотным образом, то есть как бы претворяется в зримую мысль. Вот это стремление форм к мысленному состоянию и сопровождает развитие искусства: последнее тем выше, чем оно духовнее. Не все искусства достигли одинаковой высоты в этом отношении; у иных ход развития навсегда задержан природой самого вещества, служащего для постройки форм. Так, например, архитектура, орнаментика

и музыка навсегда остались искусствами материальными по преимуществу; если и говорят об идейном содержании их, то лишь условно. Как архитектурные, так и музыкальные произведения при всем их совершенстве в состоянии возбуждать лишь настроения, а для перевода этих настроений в мысль они требуют текста (как в музыке) или надписи (в архитектуре: надписи на фронтонах, эпитафии и т. п.). В скульптуре материал еще преобладает над мыслью, но последняя, видимо, начинает уже освобождаться от власти материи. Скульптурное изображение тела, в особенности лица человеческого, имеет столько разума само по себе, что тут мысль является почти досказанной, почти свободной.

Еще более духовное искусство – живопись, материал которой – краски – позволяет расширить область впечатлений на самые нежные оттенки действительности. Живописец оживляет полотно – как волшебною мертвою водою – до состояния как бы сна природы: пред вами действительность во всей ее правде, но лишенная движения – главного признака жизни. Искусству необходимо последнее усилие, горсть живой воды, чтобы одарить изображения свои движением. И этого достигает изящная литература. Только в ней искусство становится живым существом, достигшим полноты бытия. Только в литературе содержание искусства становится духовным, как сам разум. Тут символы искусства – изображения – почти исчезают за быстро угадываемым их значением. Если архитектура и музыка остаются вечными загадками, смысл которых мы ощущаем смутно, то литература – символ раскрывающийся: форма здесь исчезает, как для читателя буквы при беглом чтении. Только несовершенство литературной вещи, как грубая опечатка в книге, заставляет обратить внимание на форму ее; в обоих случаях – как при процессе чтения, так и при восприятии поэтического образа внимание ищет мысли и считает ее главной сущностью вещи. Пластические искусства непонятны потому, что слишком уж просты; чрезмерная простота столь же необъяснима, как и чрезмерная сложность. Эти искусства имеют, как загадочные спиритические существа, всего одно

измерение: музыка существует только во времени, архитектура – только в пространстве; немудрено, что мы, мыслящие и во времени, и в пространстве, не понимаем тайны этих искусств. В скульптуре и особенно в живописи (при помощи перспективы) искусство начинает овладевать второю категориею быта – временем; но только в литературе доканчивается эта победа благодаря чудесным свойствам материала этого искусства – слова. Сравните камень, глину, краски, звуки – этот мертвый физический состав других искусств – со *словом*, благородным веществом литературы, которое уже по природе своей есть мысль или элемент мысли. Грубая физическая природа материала мертвит низшие искусства, делает их слепыми, как музыку, или немыми, как пластические художества. Материя еще связывает здесь дух в глубокой мистической дремоте. Чтобы стряхнуть с себя инерцию вещества, дух должен был взять средством своего выражения не камень, не краски, не звуки, а элемент самого себя – мысль или ее символ – слово. Вот почему изящная литература является верховным в искусстве: она единственное вполне *живое* искусство.

VI

Но этого мало: я думаю, что изящная литература и для науки является такою же единственною, вполне *живою* формою выражения, какою она служит для искусства. В художественном слове одинаково приобретают полноту жизни обе правды, свойственные каждой вещи: то, что *есть*, и то, что *должно* быть, истина бытия (идея) и истина идеала (красота). Художественность – в ее высшем творчестве, поэзии, – есть оживление бытия, освобождение духа, как бы заключенного в каждой вещи. Все науки выработались из искусств; литература занимает как бы пограничную линию этого процесса. В то время как низшие искусства дают представления, литература, кроме них, дает понятия, то есть то, что служит предметом науки. В низших искусствах форма отделена от мысли, в отвлеченной науке мысль отделена от формы, и в обоих случаях прервано

дыхание жизни, два естества ее разобщены. Дух человеческий в знании вполне освобождается от материи, но при этом, несомненно, мертвеет: чем отвлеченнее, общее мысль, тем она дальше от действительности, сплошь состоящей из частностей. Лишь в постоянном взаимном оплодотворении этих двух стихий заключается тайна жизни, одинаково не разрешимая ни чувственным, ни философским сознанием. В то время как образная мысль есть личная собственность человека, отвлеченная мысль – общее достояние человечества, каждому одинаково чуждое; мы пользуемся отвлеченною истиной, как мертвою стихией, – водою, воздухом, не ценя и не замечая ее. Безусловные истины, глубоко философские, вроде 2 × 2 = 4, не трогают ничьего сердца – признак, что они мертвы. Они необходимы, конечно, – без мертвого мышления, как без мертвого (в органическом смысле) кислорода мы не можем жить ни минуты. Но как кислород ни благодетелен, до поступления в мою кровь он для меня чужд; то же отвлеченная мысль: она начинает жить, лишь сливаясь с личностью человека, с его воображением. Совершенно отделившись от воображения, дух быстро замирает, превращаясь в те развалины мышления, которые под названием схоластики составляют неизбежный удел всякого умственного периода. Как и все на свете, и ум, и чувство, и науки, и искусства, свежи и сильны только в пору своей молодости, когда они еще близки к своему первоисточнику – воображению; отделяясь от него, они вянут, дряхлеют и, наконец, распадаются: философия – в бред идей, искусство – в бред образов, характерные примеры которого дает современное декадентство. Из всех областей духа самая жизненная поэтому есть та, где мысль и чувство неразрывны, а такова изящная литература. Ее я назвал бы вечною юностью духа – самою прекрасной его порой, несравненно более богатой, нежели детство – период чистого искусства, и старость – период чистой философии. Поэзия есть воображение, в ней вечно «новы все впечатленья бытия»*, так как представления в ней неизменно претворяются в мысль и истина облекается красотой. Вот этот-то момент слияния дей-

* *Пушкин А. С.* Демон (1824 г.). – *В. Т.*

ствительности с ее разумом и есть момент жизни духа, его пробуждения из стихийного сна.

Если все это верно, то можно ли ограничивать значение литературы лишь «любовью и красотой» и отвергать интеллектуальное ее содержание? Подобно пению, для которого недостаточно одной музыки, но нужен и текст, для литературы недостаточно образов, но нужна и мысль, их связывающая. Те, кто пытается сделать изящную литературу «чистым», безыдейным искусством, обнаруживают печально незнание того, что они творят. Воображая, что они поднимают поэзию, они страшно ее роняют – сводят к уровню элементарных искусств, свойственных детству человечества. Они настолько же ее роняют, как и те тенденциозные критики, которые низводят ее до уровня голой науки и метафизики (политической и иной), то есть до уровня, свойственного старости человеческого духа. Поэзия есть *организм* созревшей души, а «чистые эстетики» предъявляют к ней механические требования. Соединяя в живой связи все элементы искусства, науки и философии, поэзия воспроизводит в сознании человека живое течение природы в его ненарушимой цельности. Требовать, чтобы литература служила только «красоте» или только «идее» – так же противоестественно, как требовать от здорового организма, чтобы он ограничился только одним отправлением, когда у него их множество. Придерживаясь этого сравнения, нетрудно видеть, что как «чистые искусства», так и отвлеченные науки суть лишь механизмы, работающие всегда одинаково для узкой, определенной цели. Как машины, эти науки и искусства специальны, тогда как поэзия в качестве организма универсальна: она годится на все и объединяет в себе жизнь всего сущего. Как бы чувствуя это могущество изящной мысли, к ней прибегают за помощью все механические способности духа: и музыка, и пластические искусства, и драма, и всякого рода культ, и мораль, и сама философия. Великие философы и проповедники давали жизнь своим идеям, лишь облекая их в художественную форму. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны

им верно» (Еккл. 12:10). Оттого-то «слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди» (<Еккл. 12:11>): только красота, только идеальность мысли дают ей такую силу прикосновенья. Если бы Сократ учил языком Евклида[7], его учение не было бы столь жизненно и оставалось бы достоянием специалистов, как учение Канта. Если бы Магомет проповедовал, прибегая не к вдохновенным образам, а к отвлеченными сентенциями, едва ли он собрал бы и двух последователей. Всякую влиятельную философию и вероучение, несомненно, следует отнести к области изящного слова: если уже записанная речь мудрецов дышит красотою, то какова же была устная! Народный разум долгие века укладывался в легендах; в последние века он снова стремился к изящной форме. Начиная с энциклопедистов, великие мыслители бросают «дурную латынь», схоластическую, ультраотвлеченную манеру выражения и, например, Шопенгауэр, Ренан, Тэн, Карлейль, Бокль и пр. дали образцы прекрасного художественного языка.

Отвлеченная философия и мораль в последнее время всюду стремятся сделаться публицистикой, то есть ораторской речью, которая всегда считались высоким искусством. Публицистика отвлекает к себе художественные таланты, а это возможно только потому, что она сама есть искусство, и художественный инстинкт находит в себе здесь достаточное удовлетворение. Вспомните вдохновенные статьи некоторых славянофилов и критиков старой школы: читая их, выносишь очарование не одной глубокой мысли, но и красоты ее. В отвлеченной, то есть как бы научной речи их чувствуешь мелодию и гармонию, видишь образы и краски во всей их свежести. Тем же взаимным тяготением науки и поэзии можно объяснить пророческий тон некоторых великих стихотворцев, давших удивительные образцы общественной и нравственной проповеди. Впрочем, еще лучше примеры того же стремления можно наблюдать на малодаровитых авторах. Обилие популярных философов вроде Мантегацци, Фламариона и т. п., пишущих псевдохудожественным языком, как и обилие мелких стихотворцев, резонирующих в рифмах, подчеркивает взаим-

ное неудержимое влечение идеи к форме, истины – к красоте выражения. Развитие мысли далеко еще не закончилось; она в состоянии еще многое заимствовать в своих приемах от пластических искусств, как те – от нее. Посредником этого обмена влияний, как мозг в теле, может быть только художественная литература. Шопенгауэр считает высшим родом литературного произведения интеллектуальный роман.

VII

Замечательно, что как бы наперекор педантам эстетики изящная литература обнаруживает постоянное развитие умственного и нравственного содержания. В самом деле, вспомните, насколько лирическая поэзия беднее драмы и особенно романа. Великие поэты, начиная уже с Гомера, чувствуют скудость личной, чувственной поэзии, ее эгоистическую замкнутость. Всякому искреннему сердцу скучно возиться долго со своими собственными настроениями; оно ищет другого сердца, чтобы разделить их; да и вдвоем скучно: требуется третий свидетель, то есть нужно общество. Личные настроения преходящи, половая любовь и красота отлетают вместе с юностью. В возрасте же зрелом – наиболее продолжительном – личные страсти принимают общественный характер, проникаются политическим инстинктом – честолюбием; ведь только в обществе человек может проявить полноту своей личности. Выдвигается на сцену стремление к разным формам власти: богатству, знанию, святости и пр. При этом завязывается борьба: сильные соединения индивидуальности не терпят преобладания над собой. Все борющиеся стороны берутся за самое сильное орудие души – образную мысль, нередкостные молнии которой создают новый, более сложный дух и общественное настроение. Литература, выражая эту новую, общественную душу, превращается в общественную лирику: в героическую поэму, трагедию, наконец, в интеллектуальный роман. С развитием обществ и слиянием их в международную семью являются мировые, общечеловеческие интересы, а вместе с этим

расширяется и общественная лирика, возвращаясь постепенно к древней форме своей – эпосу, проникнутому теперь уже не племенной, а общечеловеческой нравственностью.

В истории нашей собственной литературы всего ярче видно развитие искусства в зависимости от нравственного роста общества. Нет сомнения, что и до Пушкина, и до Гоголя рождались замечательные таланты, но они вяли в узких формах тогдашней наносной, не сложившейся культуры: общества еще не было, не было и общественного содержания, да и самые зародыши его были не доступны искусству. В те времена, когда, казалось бы, были налицо все условия для расцвета «чистой», безыдейной, безобщественной поэзии, когда единственными незапертыми вещами были любовь и красота (да еще лесть вельможам), не создалось никакой поэзии, и сколько ни напрягались тогдашние пииты, у них не выходило из сердца ни одного искреннего звука, а ведь сердце у них было. Именно любовь та и красота и остались не воспетыми сколько-нибудь звучно вплоть до Пушкина и Тургенева, до эпохи, когда эти явления отошли уже на второй план в задачах искусства. Почему не было у нас поэзии в XVIII веке, хотя и были налицо поэты, и даже талантливые? А потому, что не было общественности, не было общества в нравственном смысле этого слова. Крепко взнузданный «любовью и красотой», с шорами на глазах, закрывающими весь остальной мир, «российский Пегас» не мог «взлететь на Парнас», столь ни трепетал крылами. Необходимо было наступление иной, более свободной поры, нарождение своей, самобытной культуры и более широких общественных интересов, и такою была эпоха Пушкина. Чем бы она ни казалась в наши дни – в сравнении с эпохою Новикова и Радищева, это было время более развитой общественности; в XVIII столетии «Ревизор» или «Записки охотника» были бы сожжены палачом. Русская литература, достойная этого названия, народилась лишь под освободительными влияниями Запада в начале нашего века. Цвет общественной жизни – поэзия – мог распуститься лишь вместе с известным возрастом того дерева, которому принадлежал, с достаточною возмужалостью самого

общества и не раньше, чем повеяло на него весною более мягкой, гуманной цивилизации.

VIII

Из всех форм современной литературы роман является последнею и наиболее удовлетворяющею общество: в нем серьезное содержание уже, безусловно, необходимо. Как бы ни была превосходна техника романа, но если она прикрывает скудную мысль, то роман кажется ничтожным. Современный читатель охотнее читает книги даже с неуклюжим слогом, но в которых встречает богатство мысли, горячее сердце и широту взгляда. Несовершенство внешнее терпится, как плохое издание серьезной книги: даже дурно изданная, она драгоценна. В классических романах внешняя форма потому только и кажется прекрасной, что вполне отвечает прекрасному содержанию; то же мастерство, приложенное к ничтожной теме, не заслуживало бы внимания. Если бы Гоголь, Достоевский, Толстой посвятили свой гений лишь на то, чтобы «красу небес, долин и моря, и ласки милой воспевать»*, то при тех же великих средствах не создали бы великих вещей, и их жизнь представляла бы мелкий интерес. Многие наши прежние замечательные таланты, принужденные сузить горизонт своего творчества, оказались потерянными для литературы. Высокие дарования Державина, Батюшкова, Фон-Визина, Жуковского, Крылова оставили по себе слишком незначительный след. У писателей пушкинского времени – Языкова, Баратынского[8], Марлинского[9], Сеньковского[10] – таланта было несравненно больше, чем нужно было для их бесплодной работы, и будь эти таланты применены к более широкому содержанию, мы имели бы ряд крупных писателей еще задолго до тургеневской эпохи. Такие поэты, как Языков и даже Бенедиктов[11] ничуть не уступали Некрасову в силе художественного дара; Марлинский едва ли уступал Григоровичу, Сеньковский – Добролюбову; но кому же придет в голову сравнивать значение

* *Некрасов Н. А.* Поэт и гражданин (1855–1856). – *В. Т.*

Некрасова, Григоровича, Добролюбова с названными их предшественниками? Нет сомнения, что в позднейшее время не только второстепенные, но и великие наши таланты много терпели от роковой необходимости суживать содержание своего творчества и отдаваться не самым великим задачам времени. В поэзии Пушкина и Лермонтова мы видим гораздо больше незначительных вещичек, чем это достойно таких дарований; слишком много потрачено золота для ювелирной мелочи вроде посланий, альбомных стишков, эпиграмм и т. п. Все эти воспевания кутежей и волокитства и даже такие крупные вещи, как «Руслан и Людмила», «Граф Нулин», «Домик в Коломне», заставляют жалеть о потраченном на них высоком искусстве. Только в последнее десятилетие своей жизни Пушкин начинает освобождаться от легкого жанра, и лира его принимает строй возвышенный и серьезный, хотя едва ли он отрешился бы вполне от навязанной ему культурою его эпохи некоторой поверхности. Писатели следующего, «тургеневского» периода, создавшие русский роман, по содержанию несравненно богаче своих предшественников – Пушкина, Лермонтова и Гоголя, глубже их, серьезнее их. Тургенев счел бы ниже своего дарования тему вроде «Домика в Коломне» или «Носа», не говоря о Л. Н. Толстом, в лице которого роман достиг высшей своей зрелости, какая возможна при условиях нашей культуры. Внимание великих представителей романа останавливалось на все более и более важных явлениях, на внутренних интересах общества. Искусство в их руках всегда служило содержанию, а не игре бездушных форм, как бы следовало по рецепту псевдоэстетиков. В конце XIX века литература снова мельчает, но не в технике искусства, а в содержании его. Молодые таланты умеют выразить что угодно, но не знают, что нужно выразить: рассеянная жизнь нашего времени не дает достаточного содержания. Причина этому, как я уже замечал, в отсутствии стройного общественного миросозерцания, определенной культуры. Как дух общества – в половине века более выработанный и сильный – разбился на мелкие куски, так и целостное его отражение – роман – разбился на свои элементы: очерки, эпизоды,

рассказы, сцены. Эти мелочи иногда удаются беллетристам, свидетельствуя о крупном таланте; но нет важного содержания – и нет великого произведения. Успокоится взволнованное море нашей цивилизации, сформируются устойчивые типы и отношения, то есть явится определенное содержание, – и если литература будет свободна, она снова станет великою. Ясно, что безусловный интерес литературы – содействовать всестороннему развитию общества, так как с культурою его связано и ее собственное процветание.

IX

Значение изящной литературы в жизни общества громадно, хотя и едва началось. Литература есть наиболее общественное из искусств, единственный вполне законченный организм духа, имеющий не только тело, как низшие искусства, не только душу, как наука, но и тело, душу вместе. С каждым поколением литература будет все теснее и теснее сливаться с обществом, пока не превратится в полное и притом художественное выражение его сознания и воли. Пределы влияния, до каких может дойти изящное слово, необъятны. Если когда-нибудь сбудется мечта пророков, если настанет вечный мир и «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»*, то в этом идеальном будущем литература соберет в себе всю нравственную власть общества. Она будет школою общества, судом его, законодательством. Охватив собою «общество мыслящих», беспрерывно растущее, она явится как бы духовною государственностью, не менее повелительно, чем, например, современная государственность на Западе, где власть уже принадлежит общественному мнению. Если уже теперь это «мнение», при всей его невежественности и грубости, зовется там «Sa Majésté l'Opinion Publique», то какую власть оно приобретает при всеобщем просвещении, вооруженное мыслью величайших своих умов, притом художественной! Нравственные силы литературы невидимы, но они совершили завоевания самые блестящие,

* *Пушкин А. С.* Он между нами жил… (1834 г.). – *В. Т.*

какие знает мир. Литература ведь также обладает войском – бесплотными полчищами идей, покоряющих разум, и ярких образов, покоряющих гражданина, – эту не всегда доступную для физической власти цитадель. Сравните бесследную – хоть и страшную – работу Цезаря и Наполеона с мирною работою некоторых великих книг. Удалось ли всем победителям в мире покорить такое несметное множество людей, какое объединила даже такая книга, как Коран? Величайший из древних героев, Моисей, был в силах только освободить народ свой от тяжкого ига и указать ему обетованную землю. Быть же вождем этого народа на протяжении всей истории он поручил своей *книге*. Что такое *Пятикнижие* для евреев, как не душа Моисея, этот столб света, ведущий их вот уже четвертую тысячу лет по пустыне времени? Сравните же, насколько автор книги пережил завоевателя. Власть великой литературы тем безмерна, что она непрерывна. Покоряя себе все народы, литература могущественно объединяет мнения, нравы, обычаи, вкусы – все то, что образует миросозерцание и чему писаный закон дает только санкцию. Respublica litterarum* представляет как бы всечеловеческое вече мнений, ничем не поддерживаемых, кроме силы внутреннего убеждения, а это поддержка всесильная. Основные заповеди жизни во все времена даются не в законодательных учреждениях, а в семьях, и все жизненные отношения суть лишь сочетания этих немногих заповедей.

Литература, как «народ in folio», уже и теперь представляет беспрерывный суд над нравами. Преследуя не совершившиеся только преступления, а самую преступность в обществе, самые семена порока, литература, несомненно, уже и теперь содействует задачам справедливости, в будущем же, когда литература проникнет во все слои общества и соединит его в одном сознании, эта роль усилится.

Уже теперь законодатели начинают приходить к взгляду, что для борьбы со злом нужны не столько суды и остроги, сколько хороший склад жизни, который воспитывал бы душевно здоровых и настроенных на добро людей. Нужна хоро-

* Литературная республика (лат.) – *В. Т.*

шая семья, хорошая школа. «Чем больше детей на школьных скамейках, тем меньше взрослых на скамьях подсудимых». Преступник, говорят ученые, есть продукт своей расы, воспитания, общества, культуры. Если вековые, неисчислимые влияния спаялись в нем в преступное побуждение – чем виноват несчастный человек? Он сам является жертвой как бы какого-то преступления, над ним совершенного, жертвой невидимых дурных внушений своей среды. Недаром тонкое, прозорливое чувство народное угадало в преступнике «несчастного»; таким же несчастным начинает признавать его и новейшая наука. С перерождением взгляда на преступление совершенно изменяется взгляд и на наказание. Единственною достойною государства целью, по учению новой школы, должно быть предупреждение преступлений, как в медицине – предупреждение болезней. Сознавая собственную вину в порождении преступника, общество должно окружить падшего брата любовью и благостью, светлыми внушениями, которые в состоянии были бы перебороть темные; общество обязано возвратить преступнику человечность, которую тот утратил. Таково направление, в котором развивается современный уголовный принцип. Теперешний суд стремится перейти в будущем в какую-то иную форму – в форму, может быть, исключительного влияния. И вот здесь-то значение литературы необъятно: она, выражая просвещенное общественное мнение, когда-нибудь явится верховным трибуналом, предписывающим законы и карающим за их нарушение.

«Где кончается суд уголовный, – говорит Шиллер, – там начинается суд театра». За театром, который есть ведь та же литература, только переложенная в картины жизни, давно и всеми признано значение судилища нравов. Но театр, давая только картину жизни или *судебное следствие* ее, самый *приговор* предоставляет зрителям, то есть самим же подсудимым. Как бы для полноты судебного значения театра древние греки вводили хор, а современные драматурги подчеркивают тенденцию драмы, заставляя героев говорить нравоучения. В драме это элемент фальшивый, разрушающий иллюзию,

но он исходит из доброго намерения автора – подсказать публике надлежащее «судебное решение». Как суд над *характерами* по преимуществу, драма недостаточна в смысле суда над *нравами* – продуктом социальных, слишком сложных условий. Для постоянного, непрерывного суда над нравами пригодна более широкая форма искусства – изящная словесность, в частности роман, допускающий возможность соединять пред глазами читателя картину преступления, судебный анализ этой картины, обмен защиты и обвинения и приговор. Не думайте, что приговор этот «не обязателен», слишком «мягок»; напротив, никакой формальный закон, поддерживаемый всеми средствами устрашения, не выполняется столь неукоснительно, как даже простая мода, не говоря об обычаях вековых, вошедших в нравы.

Никакое законодательство не имело столь решающего и долговременного значения, как вначале совсем необязательное влияние некоторых великих книг (а *малые* книги, сколько бы их ни писалось, в сущности, есть пересказ великих, и значение имеют в меру повторения последних). Литература по временам уже играла в истории роль не только обязательного закона, но закона божественного. Ни одно искусство, ни одна наука не приобрели названия *священных*, а писания некоторых избранных авторов удостоились этой чести. Все искусства служили религии, но только в литературе у всех народов преподано Откровение. Высший закон начертан был в письменных знаках и начертан самим Господом (Исх. 24:12). Ни одна из других форм искусства – ни архитектура, ни музыка, ни живопись, ни ваяние – не освещены, по преданию, личным участием Божиим, кроме письменности. Столь высокое представление древности об искусстве слова должно, мне кажется, повториться в веках грядущих. Мечта Платона о государстве, управляемом мудрецами, должна сбыться. Изящное слово тогда будет единственною формою мудрости, литература явится единственным органом общества, которое управлять людьми будет исключительно духовною властью. Все это мечты будущего, однако и в настоящем литература – в лице лучших представителей ее во

всех странах – существенно помогает обществу в его главной задаче – миру внешнему и внутреннему. Гуманизируя общество, смягчая нравы, разъясняя предметы споров, литература уже и теперь является серьезным деятелем порядка.

X

Если литература как громкое мышление народа в состоянии быть *судом* его, то тем более она может быть *школой*. Все влияние литературы в свойстве ее просвещать: она сама есть просвещение.

По общему признанию, современная школа всюду в свете не удовлетворяет своей цели – образованию. Всюду слышится вопль о недостатках школы, о чрезмерных жертвах, которые она требует для себя, о потере лучшей поры жизни, о затрате здоровья и целого состояния на то, чтобы обучить ребенка вещам, не прибавляющим ему ни ума, ни чувства, вещам, быстро забываемым и, в сущности, ненужным. Всего ужаснее, что наука движется вперед, и уже теперь нет никакой школы, которая в состоянии была бы дать полное не только общее, но хотя бы и специальное знание. После высших школ всякому специалисту приходится учиться всю жизнь, сумма же всех знаний не доступна даже нынешним философам. Наши школы распространяют ученое невежество, выпуская людей, сведущих лишь в одной какой-либо науке и глубоко невежественных во всех прочих. Стремительный рост знаний подавляет истинную образованность, как сильный ливень смывает семена вместо того, чтобы орошать их. Образованность есть *организованность* духа. Как небольшое тело животного не мешает ему иметь свой образ, свою стройную организацию, так сравнительно небольшое количество знаний при согласованности их могут дать высокую интеллигентность – вспомните древних мудрецов. Нынешняя школа, механически нагружая знаниями, лишает возможности владеть ими; современный человек – не более как сторож при музее редкостей, в который обращается его память: он знает только названия да внешний

вид собранных предметов, не постигая их внутреннего значения. Желая знать многое, он узнает поверхностно, причем ненужное заслоняет необходимое. Теперешний склад культуры требует современной, насильственной школы; но я думаю, что это лишь временное явление, вызванное характером цивилизации. Западные народы сами себя лишили драгоценной свободы – учиться или не учиться, знать или не знать те или иные предметы. Там школы быстро растут в числе и уже всюду составляют самое распространенное учреждение. Весь народ насильственно проводится через школу. Это вызвано, конечно, не столько жаждой просвещения, сколько материальным расчетом: при теперешней кромешной борьбе за существование всякий должен быть вооружен «до зубов», а знание – одно из сильных оружий. Это кипучее соперничество между нациями, сословиями, классами, отдельными людьми породило современную горячечную деятельность, лишь малая доля которой направлена на извлечение богатств из недр природы: большая часть энергии тратится на вырывание этих богатств друг у друга. Школы являются своего рода гладиаторскими училищами, где юноши готовятся к почти смертельному бою на арене государственных, общественных и иных профессий. Во времена оны школ не было или они существовали для ученых, но это не мешало многим из наших предков быть образованнее нас, то есть иметь более определенный *образ* духа, более разностороннее и тонкое развитие. В века грядущие, когда стихнет теперешний бурный процесс цивилизации, когда struggle for life перейдет в life for love, когда *вооружаться* знанием будет столь же бесполезно, как вооружаться железом, тогда океан человечества отхлынет от ненужной более науки ко всегда нужному образованию; науке отдадут себя лишь те, которых повлечет к ней неодолимая страсть, то есть именно те, которые только и могут сделать что-нибудь серьезное в науке. Школою образованности будет не наука, как это по глубокой ошибке установилось теперь, а литература, как это уже было на заре истории, когда народный эпос был единственною школою народного образования.

О просветительном значении литературы я говорил выше (См. «О чтении»[12]). Во все времена лучшею школою развития служит хорошо поставленное чтение, курс литературы, понимая последнюю в смысле лучшего, что написано на свете. В сущности, и теперь школа есть курс чтения (или слушания, что все равно), только чтения плохого, до крайности отрывочного, а главное – не свободного. В отдаленном будущем, когда изящная литература закончит свое развитие и впитает в себя стихии более грубых явлений – искусств и наук, она сделается единственною стихией образованности. Каждый тогда будет вдыхать в себя образование, как воздух, сколько захочет, из среды просвещенного круга взрослых людей и из высокой и всем доступной письменности.

Если литература стремится объединять народы, законодательствовать, судить общество и просвещать его, то где пределы ее? Они необъятны, как пределы разума. По Священному Преданию, *словом* сотворен мир. *Слову* же принадлежит и устроение мира во все века.

КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
(статьи из книги)

Работа совести
(По поводу статьи «Неделание» гр. Л. Н. Толстого)[1]

La magnanimité méprise tout pour avoir tout.
La Rochefoucauld[*]

I

В литературе редко выпадают солнечные дни, когда над читающим миром взойдет какое-либо великое произведение – роман, поэма, драма, в тепле и свете которых нежится целое

* Великодушие презирает все, чтобы иметь все (фр.). – Ларошфуко. – *В. Т.*

поколение. Таковы были полные цветущей жизни романы Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, поэмы пушкинской школы, веявшие поэзией и радостью существования. Обыкновенно же в литературе держится серенький, истинно петербургский климат: не переводятся сырые и пасмурные романы, унылые, с воем ветра и дождем чувствительных слез стихотворения, холодные, темные рассказцы… Тоску наводит такая поэзия; если и блеснет из-за тучи свинцовых листов луч таланта, вдохновения, если и покажется кусочек настоящего, лазурного неба, то разве на полчаса, и затем снова тянется серенькая, назойливая непогода. Но бывают иногда и бури в литературном мире – благодатные грозы для ранней и гибкой мысли и сокрушительные для старого леса суеверий. Шумят, колеблясь всеми ветвями, молодые умы, чтобы затем, освеженные энергическим движением, выпрямиться еще стройнее; шумят, покачиваясь и скрипя, старые настроения, чтобы если не рухнуть, то дать новые трещины в одряхлевшем теле. Такою бурею проносились некоторые романы Достоевского, сатиры Некрасова и Щедрина, комедии Островского, статьи знаменитых критиков и публицистов. Таким же грозовым характером отличаются и произведения Л. Толстого после «Анны Карениной». Все они – и те, которые доходят до русских читателей, и те, которые проносятся далеко по горизонту, появляясь лишь в иностранной печати, – все они насыщены не солнечным светом, а напряженным электричеством, громами и молниями мысли, как-то загадочно родящимися из тех нечистых испарений, которые поднимаются к душе писателя с поверхности жизни. Статьи Толстого производят резкое впечатление, о них много и долго пишут, много говорят и даже спорят без конца. Стоит вспомнить появление «Крейцеровой сонаты» или «Плодов просвещения». Менее резкий, но все же сильный шум вызвала статья Толстого «Неделание».

Несомненно, хоть немногим читателям эта статья понравилась, но огромное, подавляющее большинство – против нее. Автора не только оспаривают, но и *бранят*, точно так же, как и после «Крейцеровой сонаты», «Исповеди» и т. п. Бра-

нят иные сдержанно, иные – неистово и неприлично. Вообще никак нельзя сказать, чтобы Толстой в своей роли «пророка» встретил теплые объятия в литературной семье или среди читателей. Сторонники у него есть, но есть и противники, да еще какие! Несколько лет тому назад, когда этот писатель высказал мысль, что настоящее призвание женщины – рожать детей и кормить их, одна либеральная и образованная дама сейчас же заявила в печати, что на эту мысль следует отвечать пощечиной Льву Толстому… И подобных «дам обоего пола» находится немало среди читателей, хотя не все, конечно, сообщают свету свои проекты. В современной литературе, кажется, кроме Страхова[2] и Лескова[3], нет видных защитников Толстого; разве еще один г. Буренин[4] иногда замолвит словечко за великого писателя в своих очерках. Один еще недавно пылкий поклонник Толстого – г. О., и тот выступил против него в поход; он называет мысли Толстого «удивительными наивностями», «каламбурами», «игрою слов», «плодами недоразумения, недостаточного знания» и т. п., а самого престарелого автора «Войны и мира» называет… «гениальным *ребенком*» и, кажется, без надежды, чтобы этот «ребенок» (ему уже седьмой десяток идет) когда-либо созрел. Но г. О. все же не отказывает ребенку, о котором идет речь, хотя бы в гениальности. Значительное большинство журналистов и публицистов встретили «Неделание» еще жесточе, и именно вроде названной «дамы обоего пола». Не успела статья появится в свет, как в нее просто со сладострастием каким-то вцепились газетные рецензенты – и ну кувыркаться с нею по подвалам печати. Слово, написанное великим старцем, уже глядящим в вечность, выношенное в его сердце, как плод долгого жизненного опыта, оказалось, видите ли, необыкновенно подходящим для острот и каламбуров – до того, что даже известная умная голова русской критики – г. С. – не воздержался от искушения лягнуть старого льва русской литературы, благо это совершенно безнаказанно. Автор «Войны и мира», как известно, ни на какие журнальные вызовы не отвечает, идя невозмутимо своею дорогой, и не как лев, а скорее, как слон басни. Но это-то, может

быть, «и духу придает» разным критикам; они смеются и язвят своего великого собрата очень звонко. Например, в «Неделании» он неосторожно сослался на учение Лаодзы[5] – китайского философа, на его принцип Тао (что значит добродетель, истина). Это словечко «Тао» оказалось просто находкой для уличной прессы. Тао! Ха-ха! Что такое Тао? Да это вот что: это «таё, таё»… помните, у толстовского Акима из «Власти тьмы»… Так скоро и просто решен был смысл «Неделания». Но и не только уличные листки: одна большая и либеральная петербургская газета, поиздевавшись над автором статьи, выпустила в своем рекламном журнальчике даже карикатуру на «Неделание», где человечество представлено одичавшим и отпустившим обезьяньи хвосты под непосредственным влиянием идей Толстого. Легион провинциальных фельетонистов просто со смеху помер, разбирая эту статью. Но, может быть, это только в печати, почему-то недолюбливающей Льва Толстого, обнаруживается такая вражда к нему? Нет, совершенно такое же, по серьезности и приличию, отношение к великому писателю замечается и в обществе: общественное мнение – резонанс печати. Мне приходилось слышать в весьма интеллигентных семействах, от лиц с учеными степенями буквально площадную брань на Толстого, не говоря уже о пренебрежительных кличках вроде «профан», «недоучка», «невежда». Толстой, как известно, упустил единственный случай сразу на всю жизнь, в один миг сделаться ученым – дождаться в университете билета на образованность. Он вышел с третьего курса и, конечно, с тех пор, в продолжение 40 лет, не прочел ни строчки, ничего не наблюдал и ни о чем не мыслил. Развязное мнение Макса Нордау, будто Толстой – «вырождающийся» вместе с Золя, Вагнером, Ибсеном и т. п., противники нашего писателя подхватили, как манну небесную; вот оно, желанное слово: Толстой – психопат, сумасшедший, которого следует посадить в сумасшедший дом. Смутно чувствуя, однако, что в столь решительном приговоре не все благополучно, ругатели не настаивают непременно на горячечной рубахе, а пробуют убедить всех только в глупости Толстого. «О, да, конечно, – говорят они, – Толстой великий

художник, но зато плохой мыслитель». Эта фраза повторяется неизменно всеми противниками великого писателя, которые, «конечно, не великие художники, но»… Досказывать вывод, щадя их скромность, я не буду.

II

Таково господствующее отношение в обществе ко Льву Толстому и именно к тем его трудам, которые цензура допустила беспрепятственно, не находя в них ничего безнравственного или противозаконного. Само читающее общество оказывается несравненно придирчивее цензуры; оно обнаруживает удивительную нетерпимость к оригинальной мысли; оно не прочь было бы «зажать рот» даже таким людям, как Толстой: именно этот смысл имеют вопли, что он «сумасшедший», что он «Велиал, князь тьмы», и т. п. Редакции завалены рукописями в обличение Толстого; на одной из подобных рукописей мне встречается такой эпиграф: «Надо всеми мерами стараться спасти общество от взбесившегося человека, хотя бы это был сам Гомер». Слышите: доказывается необходимость *спасти* общество от *взбесившегося* яснополянского Гомера. Однако в чем же проявляется «бешенство» этого писателя? Быть может, он проповедует восстание, убийства, динамитные взрывы и т. п.? Нет, он их сурово осуждает: он учит не бороться дурными средствами даже со злом. Или он учит воровству, разврату и т. п.? Нет, он учит оказывать всем деятельную помощь и придерживаться, по возможности, безусловного целомудрия. Но, может быть, все это теория, за которую, как за ширмою, скрывается самая ужасная практика? «Практика» Толстого известна: живет он десятки лет в деревне, долгое время учил деревенских ребят и писал превосходные романы, а недавно устраивал столовые для голодных. В тяжкие, черные дни, когда обнаружился небывалый голод, когда общество растерялось и не знало с чего начать, не кто иной, как именно «взбесившийся Гомер» указал, что нужно делать, и первый, несмотря на старческую немощь, отправился кормить народ. Именно по *его* мысли сразу раски-

нулась на тысячи верст сеть столовых, частных, правительственных, удельных и земских, которыми удалось спасти миллионы жизней. За одну эту мысль, за это изобретение, оказавшееся столь пригодным в минуту большой опасности, Толстой заслужил благодарную память; не менее удивителен и личный пример самоотверженного, полного нравственных мук и опасности труда (опасности в смысле заразы: вместе с голодом ходили тиф и цинга). У нас как-то мало заметил эту страничку жизни Толстого, но в набожной Англии, например, она оценена высоко. И вот, когда такой человек захочет сказать что-нибудь обществу, оно не терпит этого. На Западе – если включить Америку и колонии – живут четыреста миллионов жителей, из которых каждый может публично рассуждать о чем угодно, и опасности особой от этого незаметно. Там считается, что человек, как бы невежественен и глуп он ни был, не может быть лишен права обратиться к обществу, к своим братьям-людям, со своею мыслью, и общество терпеливо выслушивает ее: вздорною мыслью пренебрегает, хорошею пользуется. У нас же общество возмущает свобода мысли даже великих его писателей, даже тех, кто и по преклонному возрасту своему, и по положению, и по жизненному опыту, и по гениальному таланту имеет некоторое особое, заслуженное право на внимание к себе. В самом деле, господа, если бы Лев Толстой был даже *только* великий художник – а этого *никто* не отрицает, – то ведь и это что-нибудь да значит. Великие люди так редки! Кто-то вычислил, что они рождаются в количестве всего *одной десятитысячной* доли процента, и это на Западе, среди самых даровитых и образованных рас на свете. У нас, если вспомнить 120-миллионное население (этой цифрой мы почему-то ужасно гордимся), – великих людей еще меньше. У нас их поразительно мало. Даже не только великих, а и просто выдающихся так немного, что стон стоит о безлюдье, о невозможности для сколько-нибудь серьезной работы найти живого, даровитого человека. Из века в век у нас нет «ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Не говоря о бесконечных материальных потерях, – ведь все материальное рождается сначала в

мысли, – общество лишено бесценного идеального блага, бодрящего и облагораживающего влияния великих душ. Россия обездолена в отношении замечательных людей, но если они и появляются, то часто умирают в молодости, «оклеветанные молвой», – как Пушкин и Лермонтов, или задушенные бедностью, болезнью, непосильным черным трудом. Нежный стебелек иной, высокой породы, попав в суровые наши условия, вянет и гибнет. Разве не жаль, в самом деле, великих названных поэтов и разве мы не дали бы много, чтобы возвратить их? Однако если бы они явились снова, мы, пожалуй, снова сочли бы их «бешеными», «опасными» и подвели бы какую-нибудь интригу, чтобы погубить их. Если некоторым великим писателям 40-х годов удалось избежать этой участи, то нужно вспомнить, что середина этого века была благоприятнее для замечательных людей, нежели теперь. Цензура была, может быть, и строже, но в самом обществе под конец крепостной эпохи господствовало заметное уважение к величию, заметная потребность мысли и потому терпимость к ней. Как бы ни была нова и неприятна мысль, она встречала более сознательное и просвещенное к себе отношение. Впрочем, и тогда великие писатели или жили за границей, как Тургенев, или вынуждены бывали уединяться от света, как Гончаров, или изнывать в непосильном труде, как Достоевский. Под конец XIX века психические условия общества изменились к худшему. *Единственный* оставшийся из семьи великих и, как многие утверждают, даже величайший писатель земли русской, слава которого соединена с именем России во всем свете, он не в чести у нас. Он послан к нам свыше и ненадолго и уже отходит, близится к закату. Мы, живущие, как бы не замечая этого «в век Толстого» (как будет говорить потомство), могли бы ощущать присутствие этого редкого духа, способного вдохнуть и в нас часть своей жизни. Пусть нам не нравятся многие его мысли – отвергнем их, но будем же ценить хоть то, что бесспорно ценно. Зная, что великий человек не вечен, что он необычаен, что он единственный в своем роде и никогда не повторится, общество, мне кажется, должно было бы окружить его благоговейным вниманием, ста-

раясь вникнуть в великую душу и вселить ее в себе. Будь это Толстой, Тургенев, Достоевский и т. п. – великий человек всегда есть святыня народная и современное ему общество ответственно за него перед историей: скорбь, ему нанесенная, ляжет черным пятном на нашу память. «Но, – воскликнет иная пылкая дама, – если великий человек начнет говорить глупости и мерзости? Неужели и нам соглашаться? Вздор! Долой авторитеты!..» – и прочее. На это я отвечу, что соглашаться и не нужно. Не подчиняйтесь ничьему слову, если ваш разум и совесть запрещают это, но ради всего великого и святого убедитесь *достоверно*, точно ли *разум* и точно ли *совесть* восстают в этом случае. Ведь, может быть, восстает не разум, а неразумие, не совесть, а бессовестность. Может быть, навстречу свету из души вашей поднимаются не светлые, а мрачные демоны. Торопливое сопротивление какой-либо не нравящейся мысли чаще всего – только желание заглушить свою совесть и заставить скрыть явившийся призрак правды. Глубинами сердца смутно чувствуя, что это именно правда и что она обличает нас, мы решительно объявляем ее ложью. Великий человек – и это самая печальная вещь на свете – не свободен от ошибок, но у него они исключение, тогда как у маленьких людей они – правило. Соловей, заболевший или сдавленный за горло, может издать воробьиные звуки, но вообще они ему не свойственны. Поэтому, не подчиняясь авторитету, мы должны быть крайне осторожны: не сами ли мы ошибаемся или даже сознательно лжем? «Долой авторитеты». Эта фраза когда-то, в шестидесятые годы, имела некоторый смысл – слишком уж много к тому времени развелось авторитетов и надо было проверить их, – но, несомненно, это гонение на авторитеты имело и дурную сторону. Подхваченное людьми невежественными и ничтожными, не способными отличить великое от низкого (для этого требуется собственное благородство), это гонение повело к пошлой моде на отрицание всего высокого; распространилось наглое фамильярничанье с великими именами, грубейшая манера третировать их как имена своих однокорытников. Совершенно под стать названной выше «даме с пощечиной» в печати вы-

ступали мужчины, кричавшие, например, что они, дескать, и «плюнуть-то не хотят» на такое убожество, как тургеневский роман. Величие ума и чувства не только не встречало подобающего уважения, но принципиально отрицалось как все аристократическое; внимание привлекло только мелкое и плоское. Вот эта-то дурная манера и теперь еще сказывается в обществе как грех родителей до седьмого колена. Заведомо великому человеку – едва он рот раскроет – уже готовы тысячи возражений, крикливых, резких, оскорбительных. “Ayant une excellente occasion de se taire”*, по французской пословице, подобные господа поднимают невообразимый гвалт, стараясь *физическим* шумом преодолеть противника, что иногда и удается. «Помолчать» – это слово многим не понравится: скажут, что не следует молчать ни перед каким авторитетом, что это рабство мысли. Иногда это действительно рабство – как раз в тех случаях, когда мы обыкновенно молчим. Но в споре с великим человеком, и особенно тогда, когда он, по вашему мнению, явно ошибается, молчание благородно. Это молчание старших сыновей библейского патриарха, молчание, полное любви к отцу и скорби за его случайную ошибку. Ошибки гения редкие. Не соглашайтесь с пророком, но оставьте в покое каменья…

III

Что касается художественного дара Льва Толстого, то все – и с подозрительною поспешностью – соглашаются, что это яркий, несравненный талант. Если так, то он, следовательно, обладает в высшей степени способностью художественного прозрения, то есть хоть с внешней стороны, но видит подлинную правду вещей, настоящую их суть. По крайней мере, половина истины ему доступна, чего нельзя сказать об обыкновенных смертных, которым часто недоступна и четверть, и сотая доля истины. Но кроме художественного, необычайно тонкого зрения, автор «Анны Карениной» обладает и очень сильным умом. Пусть ум этот ничто в сравнении с велико-

* Имея прекрасную возможность промолчать (фр.) – *В. Т.*

лепными умами господ X, Y, Z и проч., утверждающих, что Толстой – плохой мыслитель. Я не смею против этого спорить, но лично нахожу у Толстого и величие, и обилие мысли в степени, для меня удивительной. Прежде всего, он говорит *свое*, то есть говорит *искренно* – основная черта гения. *Свое* нельзя говорить иначе; неискренно говорить можно только чужое, что и обличает бездарность в вечном ее воровстве. О чем бы Толстой ни завел речь, она всегда остается первоисточником: *первым* наблюдателем высказанного, даже и в тех случаях, когда мысль его «не нова». Как и всякий выдающийся ум, Толстой неизбежно повторяет уже открытые когда-то великие слова, но повторяет не подражая, а творя их заново, отчего они в его устах так свежи и молоды. Пусть те же мысли говорил когда-то Руссо, ранее его – Мабли[6] и т. д. до Моисея, Лаодзы и Будды включительно, но, как и эти мудрецы, наш писатель *сам увидел* те же мысли в царстве невидимого и сам дал им жизнь. Те же мысли пусть перескажет обыкновенный, мелкий ум, и от них повеет мертвечиной, затхлостью заношенной и облинявшей вещи. Придут вновь они в голову большому уму – и расцветут, и оживут снова. В этом, быть может, коренное призвание великих душ: не *создавать* новые мысли, а *воскрешать* забытые, задушенные толпой. Нравственно-философские сочинения Толстого (XI–XIV т.) полны этими старыми оживленными идеями, и они у него относятся к самым важным и тонким вопросам человеческого существования – вторая черта гения.

Но кроме художественного дара и замечательного ума, в Льве Толстом есть нечто, по-моему, еще более великое: это *совесть* его. Она в нем поразительна; трудно встретить писателя более правдивого и нелицемерного. Как ни крупен художественный талант его, но он совершенно исчезает перед его необычайною нравственною чуткостью. Аполлон Григорьев говорит где-то, что красота есть высшая гуманность. Быть может, художественное провидение обостряет у Толстого нравственное чувство, подсказывает ему правду вещей, но это чувство достигает в нем гениальной силы. Обыкновенно об этом элементе писательского темперамента – совести – не говорят,

но мне кажется, он не менее важен, нежели и само творчество, и даже входит в последнее самою глубокою своею сущностью. «Гений и злодейство – две вещи несовместные». Чуткая совесть решительно необходима для того, чтобы художник мог держаться на высоте идеала, вне всего низкого и грубого. Талант есть благородное отношение к вещам, отношение правдивое, то есть совестливое. В области мысли совесть столько же необходима, ибо что такое мысль, как не сознание истины вещей. В мире же человеческих отношений даже обыкновенный ум, вооруженный совестью, достигает гениальности. Совесть в ярком проявлении встречается крайне редко, гораздо реже художественного таланта и сильного ума, а между тем она есть то «единое на потребу», «к чему все приложится». Писатель, одаренный совестью и даром выражения, говорит нечто неземное, от каких-то тайн, лежащих в основе природы и в основе жизни. Во всяком случае сто́ит его послушать, и если что встретится неясное, странное, даже возмутительное – сто́ит подумать над этим, крепко подумать: он ли ошибается, стоящий на вершине, видящий необъятную даль, или ошибаемся мы, суетящиеся у подножья горы с своими идолами, мелкими радостями и печалями.

IV

Чем же провинился Лев Толстой в своем «Неделании»? Да только тем, что как свидетель достоверный сказал «правду, одну только правду», как он ее подметил в великих вопросах о науке и труде. Имеет ли он право высказать свое мнение о науке? Ведь он даже не приват-доцент и не мог бы, хоть и Лев Толстой, быть даже учителем русского языка в гимназии. Да, он не «ученый». Но это еще не значит, чтобы он совсем не был знаком с наукой. Напротив, все, что известно из биографии этого человека, и все им написанное говорит о том, что он до сих пор не перестал учиться – в самом серьезном значении этого слова. В то время как огромное большинство патентованных ученых, позубрив четыре года плохенькие конспекты

и записи, сфабриковав наскоро плохенькую компилятивную диссертацию и заполучив «степень», на этом и успокаиваются, лишь изредка перелистывая ученые журналы, – Толстой, можно сказать, никогда не начинал своего образования и не может окончить его по самой своей природе. Как натура гениальная, крайне впечатлительная, жадная до ощущений, ненасытная, с пытливостью неизмеримой, он уже родился с огромной способностью вбирать в себя все сведения и из самого драгоценного источника – из самой природы. В то время как мозги обыкновенных людей похожи на гуттаперчу, которая выталкивает из себя проникающие в нее тела и их приходится вбивать в нее силой, мозг гениального человека похож на губку в отношении знаний: он впитывает их, как губка воду, помимо своей воли, захватывая в сто раз больше собственного веса. К страстной пытливости Толстого прибавьте то, что он с детства был вооружен знанием трех европейских языков (так что под старость ему ничего не стоило изучить даже греческий), примите в расчет то, что великие литературы Запада ему были так же доступны, как и русская, вспомните его материальную обеспеченность, дававшую безграничный досуг, – и неужели же он за семь десятилетий своей жизни не мог составить себе понятий о том, что такое наука? Надо заметить еще, что, кроме своих университетских наблюдений и упорных занятий разными отделами знаний, он всю жизнь вращался в обществе, где было довольно и ученых, и учащихся, и перед ним, кончая его детьми, прошло много поколений «людей науки» – от профессоров до гимназистов. Ему самому – для написания «Войны и мира», «Декабристов» и его трактатов по нравственной философии и эстетике – приходилось выполнить груду кропотливейшей ученой работы, как редкому из профессоров. И неужели его свидетельское показание о науке ничего не сто́ит?

То же и в вопросе о труде. Лев Толстой потрудился в своей жизни довольно и испробовал, кажется, все роды труда: и пахал землю, и воевал, и шил сапоги, и кормил голодающих, и писал романы, и проповедовал, и учил детей; *он знает*, что такое труд, чего нельзя сказать о множестве спорящих с ним

защитников труда. Никто больше Толстого не сделал для того, чтобы облагородить ходячие взгляды на народный труд, снять с него клеймо рабства во мнении просвещенного общества. Великий писатель, человек прославленный, знатный и богатый, на удивление всему свету взялся за соху, за шило, за топор и косу. При полнейшей возможности отказаться от всякого труда или выбрать наиболее пустой и выгодный, Лев Толстой на всю жизнь запряг себя в труд «черный» и тяжелый и всех зовет к нему как к выполнению потребности личной и общественной. Человек ограниченный на этом бы и покончил, но Толстой не забывает, что есть нечто выше труда – как бы последний ни был возвышен, и это *высшее* не должно быть заслонено *высоким*. Труд – необходимость, но часто превращается в излишество и ненужность. Так не делайте же себе идола из труда и не поклоняйтесь ему слепо.

В центре нравственного учения Толстого, как я его понимаю, лежит трагическое сознание: жизнь у каждого человека только одна, да и ее он проживает среди страданий и невыразимых низостей. Это горькое сознание посещает каждого, но мимолетно; люди со слабым рассудком, а особенно со слабою совестью, почти не останавливаются на этой мысли и легко утешаются. Людей же с чуткою душою мысль о загубленной жизни тревожит вечно. Пришедши в мир с мечтами о блаженстве, со «звуками небес», со стремлением к истине, любви, красоте жизни, высокий дух видит себя в какой-то мрачной пропасти, где царит кромешная борьба, немолчный стон побежденных и тоска победителей. Он ужасается и видит, что и сам вовлечен в эту жестокую свалку, что не только его давят – это было бы выносимо, – он видит, что и он кого-то давит среди необозримого поля жертв задушенной, затоптанной жизни. Но что ужаснее – он сознает, что идут дни и годы, из юноши он превращается в мужа, наконец, он стареет – золото жизни быстро сыплется из скудного запаса, – а великая битва идет, битва алчности, лжи, похоти, и он до изнеможения опутан этими темными силами…

Чувство исчезающей во мраке жизни заставляет людей вроде Толстого мучиться невыразимо и искать выхода. Они

напрягают свой разум и свое сердце, чтобы остановить эту гибель. Существует же, думают они, высший закон для всякой деятельности человеческой, или он должен существовать – закон для объединения людей и очеловечения их, для обожествления их природы, для утверждения святого счастья на земле. Скорбит душа таких людей смертельно, и в сверхъестественном порыве, полном мольбы к Вечному, они начинают провидеть этот закон. Он – таинственный и природа его доселе не разгадана, но он – истинный, неподвижный закон – любовь. Ни мудрее, ни проще до сих пор ни один из высочайших умов не придумал, и все они вот уже три тысячелетия заканчивают свои душевные муки заветом: любите друг друга. В этом – все: и тяготение к верховному началу сущего, и отыскание святынь, без которых жизнь земная так печальна. К этому закону, утвержденному на Кресте, пришел и наш великий писатель и проповедует его со всею силою глубокой веры. Но если это верховный, основной закон человеческих отношений, то он должен руководить *всеми без исключения* поступками человека, как бы малы и ничтожны они ни были, так как нет поступков, которые не имели бы отношения или к самому человеку, или к его ближним. Вот и нужно проверить с точки зрения этого верховного закона все роды и виды человеческой деятельности, весь процесс ее на земле. При такой проверке уничтожилось бы великое множество сфер труда, которые *кажутся* честными, будучи бессовестными, множество верований, считаемых высокими, когда на самом деле они ложны. Закон этот, заставляющий всякого ежеминутно спрашивать своего тайного судью – совесть: что я делаю? Хорошо ли это? – закон этот обрек бы небытию целые области из числа благороднейших теперешних деятельностей – науки, искусства, литературы…

V

«Не нарушить закон пришел, а исполнить». Не «химеры», как уверяет наивно Золя, а именно отвращение к химерам проповедует Толстой, находя одинаково химеричными

суеверия древнего и современного знания. Не невежество, не лень, не праздность проповедует наш писатель, как жалко извращают его мысль недобросовестные люди, он проповедует лишь упорядочение труда, направление человеческой энергии в жизнеспособные формы. Рассеянные силы современной жизни уничтожают самих себя. Вспомните условия высокоорганизованных западных обществ, где формы труда столь разнообразны. Там идет кипучая борьба между отдельными сословиями. Постоянно случается, что дети одной и той же семьи отдаются враждебным одна другой профессиям. Один сын, например, член правящей партии, другой составляет ему оппозицию. Один устраивает винокуренные заводы, другой – общества трезвости. Один едет миссионером в дикие страны, другой едет туда же сбывать искусственных идолов, сфабрикованных при помощи чудес цивилизации: пара, электричества, химических весов. Все говорят и не наговорятся о благодеяниях мира, и, по крайней мере, треть всех сил народных тратится на приготовление к войне и на самую войну. Блестящие ряды талантливых людей отдают себя профессии суда и защиты, но еще более длинный ряд и не менее сильных людей посвящают себя подготовке преступлений: устройству кабаков, притонов, соблазнительных зрелищ, выставок безумной роскоши, наконец, прямому обездолению невежественной массы, хищной эксплуатации ее, доводящей до нищеты и нравственного падения. В литературе одна часть деятелей проповедует чувственное счастье, искусство «пользоваться молодостью», «срывать цветы удовольствия», другие подслуживаются инстинктам наживы и тщеславия, третьи разжигают политические страсти, четвертые уединяются в недоступном эгоизме. Всемирный раздор раздергивает слагающиеся ткани – культурные, международные, междусословные, причем, как в механике, результат хаоса всех сил, в отдельности иногда могучих, равен нулю: в важнейшем из всех вопросов на земле – духовном счастье – общество не движется вперед.

Наш век как бы помешан на развитии сил, на скорейшем исчерпании природы, причем держится убеждение, что чем

шире раскроется мир возможного, тем человек будет счастливее. Но это глубоко печальная ошибка. В безграничном мире искусственных условий ограниченное существо должно растеряться и исчезнуть. Обамериканизировавшиеся европейцы с восторгом отзываются о неслыханном развитии труда в Новом Свете, о дроблении его в технике, об обычае американцев чуть не ежедневно менять свои профессии. Но и самое явление, и восторг от него внушают тревожные мысли. Труд – вещь прекрасная, это не только источник удовлетворения телесных потребностей, но сам по себе есть условие здоровья; упражняя мускулы, мозг, нервы, труд укрепляет все ткани тела; он есть организующее начало и самого духа. Но именно потому-то и следует относиться к этой крайне важной стороне жизни с величайшею осторожностью. Воздух необходим для дыхания, но не *всякий* воздух, а лишь чистый, с вполне определенным содержанием составляющих его газов, в точных пределах температуры, влажности, плотности и т. п. Точно так же и труд: он необходим, но не всякий труд и не во всякой мере. Вне особенных, строго взвешенных условий его полезности он уже приносит вред.

Чрезмерное разнообразие труда делает его более тягостным, чем когда-нибудь. При огромном выборе занятий человек, прежде чем нащупает самое подходящее, тратит множество времени на то, чтобы испробовать все неподходящие, а время есть предмет бесценный, невознаградимый; время – не деньги только, это сама жизнь. Обыкновенно случается, что человек, попавший в водоворот профессий и начавший пробовать их, тут же и увязает на одной из первых встретившихся – пусть она ничуть не соответствует его призванию, но «жена, дети… привычка ежедневно обедать»… А главное: чем же лучше обжигание кирпичей сушенья кожи или выгонка селитры – телеграфной службы? Дремучий лес профессий скрывает от человека единственное «древо жизни», род труда, отвечающего характеру. Очень часто не нравящееся дело выгоднее, чем любимое, и вот музыкант в душе остается за прилавком бакалейного магазина, философ поступает в та-

можню. При чрезмерной современной специализации знаний профессии уже теряют способность быть призваниями. Они до того дробятся и мельчают, что дух человека теряется: он еще помирился бы на выделке машины, но не может найти счастья в шлифовке отдельных винтиков. Химия как наука может увлечь человека, но выпаривание соды и соды, соды без конца, до гроба – труд бездушный, гнетущий. Самая природа труда с дроблением его изменяется: он машинизируется, мертвеет. Химия – живой труд, но очищение нефти – уже мертвый: это элемент труда, орган, оторванный от живого тела. Невыгоды крайнего разделения труда (вместе с выгодами) превосходно исследованы еще в «Республике» Платона (гл. II), и распространяться о них нет нужды. Но раз такое дробление труда гибельно, и раз оно требуется современной сложною деятельностью, что же отсюда следует? Я думаю то, что и советует Толстой: нужно тщательно пересмотреть все виды труда и гибельные из них отбросить. Профессий должно быть меньше, и они должны быть шире. Как около плохой проселочной дороги часто идут боковые тропинки и объезды, так и около одного жизненного пути, раз он не ясен, стелятся многие кривые и узкие, заставляющие человека бесполезно блуждать. Рассеянная энергия жизни должна найти себе определенные, более глубокие русла – и для этого следует сократить сеть магистралей и мельчайших разветвлений духа, где он истощается и высыхает. Жизнь должна сделаться проще, внешность ее – беднее, внутреннее содержание – богаче. Человеку пора «опомниться, остановиться», возвратиться к самому себе; духовный капитал, выбрасываемый теперь с такою расточительностью наружу, на развитие комфорта, должен оставаться дома и совершать необходимую, великую внутреннюю работу: цивилизовать человеческую душу.

В самом деле, душа человека, кажется, последний предмет забот современного общества. «Англичане, – говорит <Чарльз>Спенсер, – гораздо более стараются о воспитании свиней, нежели своих детей». Школа всюду в Европе плоха, проникнута схоластикой или основана на хищнической обра-

ботке мозга. Еще хуже внешкольное, общественное воспитание: с падением религиозности и аристократизма подорваны старые дисциплины совести и чести, традиции помутились, – и веками создававшийся духовный облик европейца расшатан. Цельные, мужественные натуры, шедшие на костер, как Гус, за толкование текста, наивные и могучие натуры стали до крайности редки; они вымирают, как беловежские зубры. Вымирают убеждения, распространяется равнодушие к высшим благам и, как у дикарей, – погоня за украшениями. Наукою, искусствами, философией уже не наслаждаются, а лишь *татуируются* ими из тщеславия или *вооружаются* для борьбы. Татуировка не проникает глубже поверхности, и у очень многих раскрашенных образованием людей душа крайне жалкая, остывшая для всего божественного, больная душа. Бесчисленные психозы и неврозы, маньячества, помешательства, самоубийства – признаки массового падения душ; это падение выказывается не только в повсюду остановившемся прогрессе науки, литературы и искусств (если они и движутся, то остатками старых сил – достойной смены которым не видно); духовный упадок сказывается в небывалом и неразрешимо-тягостном международном положении, в застое социальных реформ (то, что называется «кризисом парламентаризма»), в унынии и пессимизме, завершающемся бредом декаданса. Да, итог таков, что при стремительном материальном прогрессе европейское общество значительно упало в идеальном; населив природу миром новых, полуживых существ – машин, создав в их лице новую касту – хотя бы и железных – рабов, освобождающих нас от благотворных, жизненных форм труда, мы как бы уступили этим полусуществам часть своей энергии, часть души своей. Как и живое рабство, это полуживое, железное начинает уже развращать нас: вспомните ужасы, описываемые Золя, этим Гомером французской буржуазии. Упадок душ свидетельствуется появлением жестоких философских доктрин, вроде эгоизма, теории «огня и железа» или учения Ницше. Признаков этой душевной хвори множество, и мне кажется верным замечание

Толстого о «пропасти, перед которой уже стоит человечество и в которую, продолжая идти по тому же пути, оно неизбежно должно рухнуться». Да, если в европейской расе не окажется запаса сил, чтобы стряхнуть с себя кошмар теперешней нездоровой цивилизации, катастрофа возможна: вспомните могилы благороднейших народов юга, изнемогших душевно гораздо ранее наплыва варваров; вспомните Китай, где дух замер давно в отношении своих высших форм. Для предотвращения грозящей нам духовной смерти (что особенно сознают английские мыслители) необходимо именно то, что рекомендует Толстой: «опомниться, остановиться» на время и строго обсудить: на настоящем ли мы пути, не заблудились ли мы? Ведь если заблудились, то чем быстрее мы будем стремиться вперед, тем это будет гибельнее для нас, тем дальше и дальше мы будем уклоняться от надлежащей цели. Если труд, которому мы отдаемся, не дает нам истинного счастья, если он безнравствен по своей природе, то чем усерднее, неутомимее мы будем работать, тем печальнее окажутся итоги жизни, тем глубже будет отравлена ее радость. Значит, *прежде всего,* нужно осмыслить свою роль в жизни, осветить ее совестью. Мы все увлечены потоком массы, к которой мы принадлежим, мы движемся чужим движением, мы не имеем своего сознания, мы – слепое орудие стихийной воли, и эта воля нас давит, порабощает. Пора вспомнить, что мы свободны; мы не только *обязаны*, но и *можем* устроить свою жизнь согласно с совестью; хотя бы вся масса человечества мчалась к пропасти – каждый в состоянии остановить себя. Себя остановить – вот высшая и притом возможная задача человека, единственно вполне возможная.

VI

Разобраться в формах труда, чтобы освободить свою жизнь от ложных забот, – величайшая задача времени. Но как отличить труд истинный от ложного? Мало дать одно лишь мерило – то, что истинный труд должен быть согласован с за-

коном любви: большинство ложных энергий прикрывается знаменем любви. Энергию хищную и низкую разоблачить не трудно: приглашать к «неделанию» в области, например, грабежа, убийства, устройства притонов и т. п. – не стоило бы труда. Легко было бы разоблачить также множество бесполезных, хотя и невинных форм труда, вредных тем лишь, что они отвлекают внимание человека от более высоких целей. С Толстым, скрепя сердце, соглашаются, когда он отрицает труд биржевого игрока, банкира, фабриканта тех производств, где «тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки». Многие согласились бы, если бы наш автор доказывал суету роскоши или даже отрицал низшие формы техники, науки, искусств, политики. Но Толстой с мужеством, свойственным гению, поставил вопрос не только о низших, но и о высших формах человеческой деятельности. Он пришел к *условному* отрицанию современной промышленности, науки, искусства и политики вообще, хотя бы техникой занимались Лессепсы, наукою – Дарвины, политикою – Гладстоны. Вот этого-то отрицания, действительно резкого и, на первый взгляд, поразительного, не понимают и не прощают Толстому его противники. Оно кажется призывом к праздности, невежеству и дикости. Когда я прочитал «Неделание» в первый раз, мне тоже показалось странным отвержение таких форм труда, как гладстоновский гомруль или как дарвинское исследование работы дождевых червей. Гладстон и Дарвин – деятели, которых я привык, с тех пор как узнал о них, носить в своем сердце как образы несравненной нравственной красоты. Люди со столь благородными характерами, столь бескорыстные, оба – пророки своих истин, одушевленные чувством правды, они украшали мое сознание в числе тех бессмертных, на созерцании которых я отдыхаю. Их деятельность я привык читать как высокую, хотя смутно понимал всегда, что возможна деятельность и выше, как, например, призвание апостолов. «Неделание» с категорическим отрицанием Гладстона и Дарвина меня удивило; я подумал, что Толстой неправ. Но потом я всмотрелся в мысль его, и она мне стала ясна. Я понял, что

личности Гладстона и Дарвина нужно отделять от их профессии, отделять их намерения, энергию и талант – от природы самого дела, которому они служат. Прекраснейшие частные цели могут быть не согласованы с верховною потребностью времени, могут заслонять собою эту потребность и отвлекать от нее внимание людей на временные, условные нужды. Наука и политика пользуется давним и безусловным поклонением общества; благам науки и политики поются дифирамбы и слагаются оды; и наука, и политика приобрели как бы священное значение, право неприкосновенности. И действительно, в отдельных случаях и наука, и политика оказывали человечеству великие услуги. Но не нужно забывать, что те же энергии – наука и политика – в других случаях приносили не менее великий вред: все зависело от того, добрая или злая воля ими двигала. Значит, основная суть не в орудии, а в воле, орудием владеющей, и прежде чем загромождать себя орудиями, необходимо добиться, чтобы воля людей сделалась доброй. Вот основная цель, которую следует неустанно достигать, так как все остальное «приложится». Противники Толстого, опираясь на ходячее мнение, утверждают, что именно наука и политика и ведут к облагорожению человеческой воли, и остается только ждать: когда-нибудь, через сотни или тысячи лет, когда все сделаются просвещенными и богатыми, Царствие Небесное само собою явится на земле. Толстой же думает, что для счастья не нужно ни богатства, ни условной просвещенности, а нужна любовь к людям и воздержанность в жизни. И я думаю, что Толстой прав. О великих благах науки, делающей богатство, и политики, дающей мир, говорится так много, что это похоже на идолопоклонство. Весьма полезно взглянуть и на обратные стороны этих благ. Начнем с материализованной науки – с промышленности, с воплощенного знания – богатства.

VII

Богатство, конечно, удовлетворяет чувственные потребности человека, но увеличивает ли оно радость жизни и спо-

собность к счастью? Перестраивает ли нашу нервную систему, создает ли новые органы чувств? Нет. Пресыщая органы тела, оно переутомляет их, ослабляет. Вообразите, что стихии покорены и житница человечества полна. «Разуйся, душа, пей, и ешь, и веселись». Душа обрадуется, я думаю, лишь на самое малое время и затем умрет с тоски. Естественные потребности насыщены, но что же дальше? «Счастливцам» неизбежно останется изобретать искусственные потребности, «утонченные» привычки и доходить до греческой любви, до римских жестоких зрелищ, до китайского опия и гашиша, до клуба обжор или клуба самоубийц в Америке. Ведь самая безумная роскошь только и имеет цену, пока существует безумная нищета: при равенстве условий бриллиант дает не больше удовольствия, чем капля росы, драгоценный шелк – чем грубая холстина. Привычка сейчас же роняет цену всякого физического счастья, и Цезарь в объятиях Клеопатры был не более счастлив, чем любая пастушеская пара. Богатство, конечно, дает возможность «пользоваться всем», но самое пользование-то это не дает удовольствия. Пресыщенные земные боги – английские лорды и американские крезы – тщетно слоняются по земному шару, ища развлечений в трущобах Индии, в городах Пиренеев, в снегах Сибири: им скучно. Тщетно они едят и пьют – по цене продуктов – за тысячу человек каждый: оказывается, любой дровосек с бóльшим аппетитом ест свои щи и хлеб, нежели эти боги – свою амброзию. В конце концов «боги» расстраивают себе и желудок, и мозг пресыщением; и тело, и душа начинают отказываться от жизни или исчерпывают ее остатки в безумствах. Хандра, сплин, жажда исчезнуть со света одолевают этих «счастливцев» – и они умирают или долгой, или быстрой агонией, во всяком случае, печальнейшей из всех. Таков неизбежный, логический предел материального счастья. Уже и теперь примеры бесчисленны, а когда равенство уничтожит тщеславие, призрак мнимого величия богатства, тогда последнее потеряет всякую цену. В чем же секрет несчастия богачей? Да в том, что у них нет ни физического, ни психического аппетита: нет ни потребно-

стей, ни *любви* к людям – единственного вечного источника счастья. Ротшильд на необитаемом острове. Зачем ему безмерное богатство? Ведь лично ему достаточно двадцати су в день, какой-нибудь бутылки молока. Если и бывает Ротшильд счастлив, истинно счастлив, то не у себя в подвалах, набитых золотом, и даже не на бирже, где пресмыкающаяся пред ним подлость уже надоела ему, а только у себя в детской, где помогает строить своему ребенку карточный домик, или в дружеской беседе с одним-двумя старыми знакомыми. Только немножко любви, доступной нищему, скрашивает серенькое существование этого калифа биржи, в передней которого толпятся более герцогов и rois en exil, чем при дворе Людовиков. Если вспомнить этих Людовиков, то и у них в жизни не было счастья выше и чище, чем привязанность к кому-нибудь: к детям, фавориткам, жене, приятелям. Какую бы вы ни взяли физически счастливую обстановку, психически она несчастна, если нет в душе того же загадочного талисмана – любви… Откуда нисходит оно, это божественное настроение? Почему оно посещает чаще хижины бедняков, нежели раззолоченные палаццо? Отчего нельзя его купить ни на какое золото и отчего оно дается даром еле лепечущему ребенку? Любовь, как я думаю, есть *дар*, и с нею нужно родиться, как и со всяким дарованием, но это дар, наиболее распространенный, подобно здравому смыслу: он удел всех людей, хотя и в различной степени. Если всякий дар обязывает им пользоваться, развить его до совершенства, то тем выше долг развивать в себе и лелеять любовь – этот первоначальный, из самой сущности мира текущий источник радости. Богатство само по себе не вызывает и не увеличивает симпатии в людях. Оно скорее разъединяет, нежели сближает людей, более плодит вражду, нежели мир. Я думаю, что чрезмерное развитие богатства на Западе – одна из могущественнейших причин упадка душ, о котором я говорил выше. Простые, мужественные, глубоко религиозные и нравственные населения Англии, Германии, Америки, Франции были развращены появлением на сцене золотого идола. Когда-то эти населения вели бедную, трудовую жизнь, с физически-

ми лишениями, но со спокойною, свежею душой. При всех материальных недостатках было психическое довольство. Не было обманчивого призрака блаженства роскоши, так как не было самой роскоши, или она была в зародыше, или, наконец, скрыта от народа. Теперь она открыта, и открыты пути к ней; в души пахарей и рабочих вселился алчный бес, отрывающий от родного поля, влекущий за океан, в шахты, в рудники, во всевозможное рабство – *добровольное*, в отличие от прежнего, насильственного, при котором *внутренне* человек оставался свободен. Худшее из рабств – порабощение души грубому, материальному идеалу – вытекло из чрезмерного уже и теперь развития промышленности. Задавшись целью разбогатеть во что бы то ни стало, человек, конечно, должен оставить другую цель – служение правде жизни – и любовь к людям должен припрятать подальше. Трудно быть богатым, не эксплуатируя ближних, не отчуждая у них силой или хитростью часть энергии в свою пользу. Развитие безумных богатств на Западе сопровождается обездолением низших масс или в самой стране, или в колониях, или в соседних странах. Идеалисты материализма (если позволено будет так выразиться) думают, что, когда техника разовьется до своих пределов, все для всех станет дешево и доступно. Исторический опыт это решительно опровергает: уже и теперь большинство отраслей промышленности достигло пределов. Хлеба производится более чем нужно для того, чтобы накормить досыта все человечество, так что американцы откармливают пшеницей скот; однако целые миллионы людей умирают от голодного истощения. В самарский голод весь правый берег Волги был завален хлебом, а левый – погибал от голода. В 1891 году в Тульской губернии народу было нечего есть, и из той же Тульской губернии везли хлеб на продажу *в Москву*, где хлеба было своего довольно – на месте, голодным, было нечего покупать. Англичане откармливают сахаром свиней: до того он дешев, но для сотен миллионов людей сахар – еще роскошь. Возьмите другой товар – ситец. Его выделано столько, что им можно одеть опять-таки весь земной шар; однако в соседстве с фабриками, в обнищавших

деревнях, пока мать моет детям рубашонки, они сидят голые, так как нечем переменить. Возьмите железные дороги: они могли бы возить вдесятеро более народа, но вынуждены часто катать пустые поезда, в то время как вдоль рельсов тянутся тысячные партии рабочих, у которых нет даже и трех рублей, чтобы заплатить за проезд.

Но допустим, что когда-нибудь капиталист, как говорят, и превратится лишь в «управляющего своих капиталов», фабрикант – в «директора фабрики». Этот момент застанет человечество обремененным множеством искусственных привычек, привитых техникой. Как бы ни был правильно распределен труд, как бы ни был он машинизирован, все же на бесчисленное множество искусственно «нужных» вещей потребуется страшно много труда, и все время рабочего будет занято, а «время – предмет благородный», как справедливо заметил Шопенгауэр: время – это сама жизнь. Человек из рабства капиталистам попадет в рабство своим материальным привычкам и удовлетворению их станет отдавать золотые дни и годы, данные каждому лишь однажды. Все будут богачами, и все будут работать без конца, чтобы удержаться на этом уровне, и работа эта будет безрадостна. Психически нормальный тип труда, связывающего человека с жизнью природы, будет разрушен, богач с «утонченными» физическими привычками явится с огрубевшею, опустошенною, материализованною душою. Когда человек выйдет из бедности, где любовь *упражняется* необходимостью взаимной помощи, в сферу богатства, где помощь никому не нужна, божественное чувство симпатии к человеку должно ослабеть; может развиться не теперешний эгоизм, а нечто худшее: равнодушие людей друг к другу, неспособность любить, даже желая этого. Человечество, поработив себя материальному труду, обеспечив себе чувственное благополучие, омертвеет до уровня растений, превратится в своего рода лес организмов, хотя и живых, но душевно-неподвижных. Поэтому нормою труда материального следует считать тот, который удерживает человечество на известном уровне бедности, на уровне естественных, здоровых потреб-

ностей, на уровне энергетических желаний, которые для блага людей не должны быть никогда осуществлены. Только бедность может (при социальном равенстве) обеспечить досуг и свободу, необходимые для духовной жизни, только бедность может поддерживать вечно святой пламень любви человека к человеку. Этим я проповедую не нищету, а бедность, то есть известную середину между двумя, по моему мнению, одинаково ужасными крайностями.

VIII

Материализованная наука – промышленность – есть лишь *средство*. Как средство она полезна. Но стоит ей превратиться *в цель*, как она становится вредною: она не увеличивает счастья, а уменьшает его. Если труд только средство, то человек поработает сколько нужно и перестанет; если же это цель – ему приходится работать сверх нужного, без устали и без конца. Труд требует жизни, а жизнь дается одна. Совершенно то же отношение к счастью имеет и нематериализованная наука, богатство которой – знание. Знание оказывает бесчисленные услуги, пока остается в роли средства, но как цель сама по себе оно превращается в того же вредного идола, как и богатство. Знать – природная потребность мозга, как работать – потребность мускулов. В силу этого все люди обладают знанием в меру своего мозга: ошибочным или вредным – это другой вопрос, но и ошибочное знание, раз его считают за истинное, доставляет столько же удовольствия, сколько истинное, а иногда и больше, так как в первом случае участвует вкус каждого и его фантазия, а во втором приходится узнавать безразличные или даже неприятные вещи. Единственное преимущество знания истинного – в его полезности, в его способности быть орудием обогащения. Все это хорошо чувствуют, и, кроме немногих гениев, увлекающихся наукой бескорыстно, все остальное человечество восхищается ею, как иной бедный дворянин богатой купчихой – за деньги. Исключительно корыстолюбие заставляет людей смотреть на знание как на *достоинство*, почти как

на добродетель. Однако в таком случае и товар, которым вы владеете, есть ваше достоинство и добродетель. Знание, как и товар, может приобрести всякий (здоровый, конечно) человек; как и товара, знания можно лишиться, перезабыть выученное, и примеров подобных банкротств бесконечно больше, нежели купеческих. Знание передаваемо; оно может увеличиваться и уменьшаться; оно служит практической жизни, оно – предмет тщеславия купцов науки – «купцов» я говорю потому, что знанием торгуют, – словом, полная аналогия с товаром. Не то всякое истинное *достоинство*: ум, гений, доброта, сердце, красота, сила. Все это – дары природные, с ними дóлжно родиться, их приобрести нельзя; попытки ограниченных людей пополнить свою душу из учебников ничуть не выше хитрости девиц, черпающих свой румянец из коробки. *Достоинства* не передаваемы и неотъемлемы; они действуют постоянно, составляя органическое целое с человеком. Наконец, всякое истинное достоинство никогда не бывает в тягость человеку или его ближним, тогда как знание – очень часто. Нахватавшийся знаний, как и нахватавшийся вещей, иногда делается несчастным, теряется и не знает, как в них разобраться, куда их пристроить. Не пристроенное к делу знание странно, как брошенный в поле товар, тогда как ум, красота, добродушие сами себе довлеют. Как бы ни были велики истинные достоинства, человек пользуется ими всегда в полной мере, тогда как в отношении знаний – всегда лишь частичкой: остальные сведения лежат праздно. В достоинстве нельзя пресытиться, в знании – можно, как и в богатстве. Средний мозговой аппетит имеет свою норму насыщения; поглощаемые сверх этого сведения ведут к умственному неварению – к запору знаний, превращаются в своего рода фекальные массы в голове педанта или к извержению водянистых и расплывчатых трактатов, полусырых, непереваренных компиляций, чем хворают так называемые графоманы. Итак, знание не есть достоинство, а лишь имущество, идейный предмет, и в мере естественной потребности знанием обладают все. Благоговеть перед знанием нет причин, как перед хотя бы драгоценным товаром или по-

лезным орудием. Знание (даже истинное), как всякое орудие, совершенно нейтрально и столь же охотно служит как разуму, так и безумию, как праведнику, так и злодею. Я не буду говорить о ядах Локусты, об адской машине и тому подобных, требовавших очень редких знаний, предметах. Я спрошу только: не последнее ли слово знания составляют митральезы и мелинит? Или электрокуция – смертная казнь посредством электрического тока: разве это не последнее слово – и не одной науки, а целого их ряда – наук естественных, математических, юридических и социальных? Не только самый блестящий отдел физики участвует в этой операции, но и уголовное право, и гигиена, и медицина, и этика, и даже эстетика. Несчастный, приговоренный к смерти на основании «гуманных наук», тщетно просит, как милости, чтобы его повесили или отрубили голову, лишь бы не подвергали загадочной, невыразимо страшной смерти от какого-то ему неизвестного электричества. Его все-таки вяжут и сажают на стул; ему, цепенеющему от ужаса, прикладывают ко лбу патентованные проводки… Раздается треск, лицо и фигура преступника искажаются в невероятной судороге, так что веревки прорезывают тело до костей. Слышен стон, и разносится запах жареного мяса. Заметьте, человек умирает не где-нибудь в лесной трущобе, в когтях голодного зверя, а в Нью-Йорке, центре самой прогрессивной, передовой, блистательной республики, президент которой клянется, «положив руку на Библию, которую подарила ему в детстве его мать». Дело происходит в богато устроенном кабинете со всеми гигиеническими приспособлениями, телефонами, телеграфами, среди бела дня и в обществе отборной интеллигенции: тут и ученый профессор электротехники, следящий за действием законов природы, ученый законовед, соблюдающий интересы права, несколько врачей, следящих за здоровьем (!) преступника, и между ними женщина-врач (я описываю действительный случай); тут же ученейший пастор-богослов, шепчущий молитву, фотограф, старающийся отчетливо снять сцену, «представители печати», старающиеся записать ту же сцену. Тут, как видите, целый маленький

конгресс от всех областей знания, каждый из представителей которых блюдет интересы своей науки. «Господа ученые, цвет человечества, братья-люди! – мог бы вскричать несчастный, если бы рот у него не был завязан. – Вы меня зажариваете, как краснокожие своего пленника! Где же ваши истины, величие ваших наук? Неужели Франклин сводил молнию из туч для палачей? Неужели Христос шел на крест для того, чтобы пастор имел возможность благословить подобием этого креста мои муки?» – Монолог подобный был бы возможен, так как при недостаточной изученности этой отрасли электротехники – электроубийства – несчастный еще долго корчится, и необходимо бывает прожигать его током еще и еще раз.

– Чем же знание виновато? – воскликнет читатель. – Виноваты люди и пр. Чем же виновата физика, химия, физиология, право, гигиена, и пр., и пр. – ряд наук, вошедших в это событие? – Ничем не виноваты, но все же, господа, ничего и возвышенного в поведении этих наук в данном случае не видно. Не видно, чтобы они предостерегли своих носителей, заставили бы их смутиться, бросить это страшное дело. *Достоинства* именно и не видно в знаниях; впрочем, его не видно даже и в тех случаях, когда знания служат благородной цели. Изобретение Уатта[8] и Стефенсона[9] одинаково равнодушно мчит на себе героев, как и мерзавцев; изобретение Морзе[10] передает со всех концов света и чувства дружбы, и замыслы хищников. Пожалуй, в этом есть свое величие: «как солнце освещает праведников и грешников», знание освещает дорогу и злу, и добру. Но это величие стихийное, то есть мертвое, как солнце, которому нет дела до человеческих радостей и печалей. Пользоваться стихией можно как средством, но делать ее *целью* – безумно: это значит вносить в свою живую душу смерть, что и заметно на тех гелертерах*, у которых знания перевесили ум, и другие, более живые инстинкты: «Слоны, лошади, собаки гораздо интеллигентнее многих немецких ученых», – с грустью замечает Геккель[11]. Механическая природа

* От нем. гелертерство – книжники, оторванные от практики и условий реальной жизни, ученые, ученость; педанты в науке. – *В. Т.*

знания выказывается и в том, что оно легко усваивается даже животными и совсем незрелыми детьми. Как простой материал ума, знание имеет, конечно, свое абсолютное значение, но о нем господствует тот же предрассудок, как и о богатстве: чем больше его, тем будто бы для человека лучше. Это – суеверие бедности, воображающей, что желания ее бесконечны; на самом деле, переходя определенную, небольшую, *необходимую* органически норму знаний, наполнив ум, все остальное знание, как и избыток богатства, является безразличным и ненужным. Знания для людей с необъятно поместительными умами, для гениев, могут еще быть источником постоянного удовольствия – не как цель, а как средство работы мозга, как чугунные гири для сильных мускулов; вообще же знание не ведет к радости, а скорее отравляет ее, что замечено еще в начале мира, в библейском сказании: «А от древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Ту же мысль выражает Екклесиаст: «Во многой мудрости много печали» <Еккл. 1:18>. Знание, насыщая пытливость, убивает интерес вещей, радость узнавания. Неведение – синоним невинности – психическое условие блаженного состояния как животных, так и людей: каждый человек, выходя из неведения детства, теряет свой очарованный рай. Ежедневный опыт убеждает, что самое темное невежество не мешает счастливому настроению: самый искренний смех вы услышите в людской комнате, в подвалах рабочих, самое безумное веселье – в детской, да разве еще среди резвящихся на воле животных.

Знание поднимает покрывало Изиды[12], за которым, в сущности, оказывается пустота. Знания абсолютные, вроде математических, мертвы, бесстрастны, и чем точнее они, тем менее интересны. Кому, кроме специалистов, радостно сознание того, что дважды два составляет четыре, что квадраты времен обращений планет пропорциональны кубам больших полуосей орбит? Знание интересно, пока оно еще недостоверно, и раз утвержденное, теряет свое обаяние обратно с чувством, которое и при повторении дает свойственную

ему радость. Если знание природы не дает счастья, то знание жизни раскрывает столько прикрытых цветами язв, столько гнусных мерзостей, столько коренного, лежащего в самой природе зла, что, несомненно, отравляет сознание. Недаром последнее слово философии – пессимизм, опровергнуть логику которого, не имея веры (которая есть чувство, а не знание), невозможно. Единственное утешение на вершинах знания, какое встречает мудрец, это вывод, что он «знает, что ничего не знает», что «истина есть дочь времени» (Бэкон), что она условна и эфемерна, что ни одно знание не раскрывает своей последней тайны. Философ на этой лишь стадии высшего неведения постигает блаженство «нищих духом» или детей, которым «открыто то, что скрыто от мудрецов».

IX

Знание по природе своей не свободно от ошибок, и чем возвышеннее деятели, тем печальнее их увлечения. Всякая ошибка вооружается здесь всею мощью великого человека, его обаянием и делается для масс неодолимой. Она увлекает за собою людскую толпу и сильнее, чем всякая иная преграда, заслоняет истину. Условность знания делает то, что *высокая* идея заслоняет иногда *высшую*, и часто замечательный человек с величайшей энергией преследует цель, которую человечество потом будет проклинать: сто́ит вспомнить завоевателей, вообразивших, что они совершают великое дело, нагромождая груды трупов на своем пути, истребляя племена и народы. Завоевать мир – мысль исполинская, но она превращается в ничто перед лицом высшей правды. Точно так же и изучить весь мир, завоевать его научно или обогатить весь мир – все это задачи величественные, но с верховной точки зрения – незначительные. Высочайшая, божественная задача не во внешнем мире, а внутри нас – задача завоевать наше сердце для Царства Божия, его познать, его обогатить. К сожалению, работа многих благороднейших гениев, увлеченных второстепенными, побочными целями, не смягчала людей, а часто еще более

ожесточала. Дарвиновские гипотезы, необычайные по остроумию и близкие к истине, не сделали добрым ни одного сердца и не способствовали примиренью людей. Напротив, кроткий и скромный философ дал людям знамя для вечной борьбы, дал девиз, за который ухватилось все злое и алчное в просвещенном свете. До Дарвина зло не имело своей мирообъемлющей теории, своей религии, которая оправдывала вражду: Дарвин дал ее. Если все слабое обречено на гибель, если борьба за существование есть непререкаемый закон, и если эта борьба есть единственный источник совершенства, то да здравствует борьба! А в борьбе годится всякое оружие: оно тем лучше, чем вреднее для противника, и все равно – будет ли это рыцарский меч или веревочная петля, мужество или подлая измена. Vae victis!* Теория Дарвина произвела потрясающее нравственное впечатление, повлекла за собою переворот не только в науке, но и в значительной степени в миросозерцании европейских обществ. Открытие Дарвина совпали, к несчастью, с эпохою узурпаторов во Франции, с эпохой Бисмарка и рядом блистательных побед немцев. В то время как авторитет науки провозглашал борьбу как вечный и *благодетельный* закон, авторитет политики объявлял, что «сила выше права» и что великие народные цели должны решаться «огнем и железом». Ошеломленное человечество видело и закон, и его немедленное, страшное подтверждение. Оно видело двух гениев, вдохновленных: один – исканием мировой правды, другой – вековыми народными мечтами, пришедших к одному и тому же выводу. Оно видело, с каким восторгом наука приветствовала Дарвина и как воспет был Бисмарк. Все это не могло не отразиться на настроении современного общества и отразилось чрезвычайно вредно. Гуманным инстинктам – продукту долговременной и трудной культуры – был нанесен страшный удар, грубо-материальные – восторжествовали. Все европейское, а затем и «наше общество и преимущественно молодое поколение весьма твердо пошло по тому пути, который создал европейскую буржуазию», – писал Шелгунов[13]. Он объяснял

* Горе побежденным! (лат.) – *В. Т.*

это грубо-эгоистическое превращение молодежи экономическим прогрессом, но едва ли это верно: виноваты были могучие идейные влияния, более яркими выразителями которых явились Дарвин и Бисмарк. Идеи Дарвина могли быть условно истинными, но они для своего времени были вредны. Всякий яд есть несомненная химическая истина, но, будучи введен в тело, производит в нем страшное опустошение. Существуют, как я думаю, и в психическом мире свои яды – известные открытия и идеи, которые входят в организм души, разрушают его. Множество теорий имели вредное значение – достаточно вспомнить инквизицию, иезуитов, феодальное право, научные заблуждения Аристотеля, Птоломея[14] и т. п. Я думаю, и гипотезы Дарвина для своего времени были не менее вредными, нежели идеи Игнатия Лойолы[15]. Ведь что такое знаменитая формула «цель оправдывает средства» как не предсказание “struggle for life”*. Сравнительно высокий строй души европейского общества первой четверти этого века был, несомненно, расшатан двумя величайшими представителями науки и политики, и следует пожалеть, что эти замечательные люди, придя в мир, не направили своих могучих сил на служение другим целям. Мы не узнали бы, быть может, «достоверно», что происходим от обезьяны, что только борьбою совершенствуется жизнь, мы не имели бы в Европе лишней великой державы, но мира и счастья, пожалуй, было бы больше. Мы подавлены теперь вооружениями – плодами политики, но и в нравственной сфере дарвиновские законы продолжают угнетать совесть людей. Не могу забыть того душевного разлада, какой выносил я когда-то из университетских лекций зоологии. От 10 до 11 часов утра у нас читал профессор Н. П. Вагнер[16], пламенный *сторонник* Дарвина, а сейчас же за ним, от 11 до 12 часов – покойный теперь профессор М. Н. Богданов[17], столь же упорный *противник* Дарвина. Один читал курс беспозвоночных, другой – курс позвоночных. Оба профессора были не только ученые, но и писатели, замечательные художники слова, оба – в философской части курса – разбирали Дарвина не только с ученой, но и

* Борьба за существование (англ.). – *В. Т.*

философской точки зрения и в сильных, возвышенных определениях отрицали друг друга… Надо заметить, что защитник Дарвина (в литературе – «Кот Мурлыка») хотя и провозглашал гробовым голосом, что «природа только сильному дает право жизни» – сам всю жизнь проповедует милосердие к слабым. Разве это не разлад?

X

Кроме науки (охватывающей в широком смысле и мир искусства), есть еще род духовной деятельности, заманчивой и почетной, но обильной ложью, – это политика. Политика – та же промышленность, товар которой – национальные или групповые интересы. Она так же эгоистична и ненасытна, как и коммерческое дело. Цели ее так же материальны и чувственны, в ней столько же фальсификации и даже больше. Как и промышленность, политика вся основана на сделках, условиях, компромиссах, случайных требованиях: никаких «категорических императивов» в ней не бывает. В науке хотя *полагаемая* цель – всегда истина, в политике и того нет. В ней «язык дан для того, чтобы *скрывать* свои мысли», – по знаменитому определению Талейрана[18]. Величайшие политики, вроде названного или его достойных преемников – Меттерниха[19], Бисмарка, Биконсфильда, – откровенно сознавались, что не брезгают никакими средствами для блага своих стран. В европейских сношениях слишком грубые средства повывелись (хотя еще сто лет тому назад соседние государства держали на жаловании министров соседних держав), но в отношении к язычникам до сих пор практикуются, например Англией, подкуп, обман, захват, система ловушек и т. п. Принципы, установленные в классической книге Макиавелли[20] («Государь», особенно 18-я глава), далеко не забыты. Вспомните Австрию, «удивившую мир неблагодарностью», Англию, державшую сторону рабовладельческого Юга, принудившую Китай отравляться опием, вырезавшую Судан под предлогом порядка; вспомните Пруссию, разгромившую свою союзницу

в датской войне, нынешнюю Италию с ее ненавистью к Франции, и пр., и пр. Современная внешняя политика большинства держав кишит изменою и насилием, как и всегда. Даже гуманнейшие политики, вроде Брайта или Гладстона, вынужденные преследовать второстепенные цели, работали довольно бесплодно. Даже такие возвышенные задачи, как национальное объединение, как освобождение своей родины, развитие политических прав и т. п., если всмотреться в них глубже, не то, чем они кажутся: в основе их вы видите замену одного эгоизма другим. Народности, лишенные политических прав, мечтают о них, как о некоем высшем благе, тогда как, в сущности, благо получается чаще всего условное, корыстное, непрочное. Что нужно для счастья немца, итальянца, венгерца, ирландца или кого хотите на свете? Нужно не более того, чтобы у каждого был свой уголок под небом среди любящих людей, чтобы каждый мог отдыхать глазами на красоте природы, мыслью – на тайнах мира, чувством – на сочувствии всех ко всем. Задача счастья – в ощущении в себе хорошего человека и в окружающих – таких же милых, добрых людей, которым хотелось бы помогать и оказывать знаки душевного расположения. Вот и все счастье – здоровое и достойное человека. Другой вид счастья – чувствовать себя или близких сильнее, богаче, умнее и т. д. окружающих, счастье превосходства над ними и даже насилия. Это счастье нездорово: оно на злой подкладке и так или иначе отравляет душу тончайшим ядом зависти и ненависти к людям. Эгоистическое счастье разъединяет людей и плодит бесконечную вражду. Национальные и освободительные движения, как они ни кажутся благородными, обыкновенно основаны на эгоизме, почему и разрешаются в новые формы насилия не лучше старых. Возьмите Венгрию с ее угнетением славян, Германию, Италию, балканские страны *после* осуществления их национальных идеалов. Даже сами немцы – кто потрезвее – соглашаются, что объединение в общий, великий фатерланд им обошлось ужасно дорого: из патриархальной страны философии и искусства, добродетельной и мечтательной, обогащавшей мир такими явлениями, как

Реформация и немецкая философия, Германия превратилась в грубое и задорное казарменное государство. Интеллектуальный и нравственный уровень понизился: даже философы, вроде Гартмана или Моммзена[21], мечтают о походах и победах; прогресс знаний и искусств затих, явилась необходимость бесконечно вооружаться, создавать небывалые коалиции, подавлять налогами и себя, и соседние державы – до полного истощения некоторых; вместо роста дружеских чувств и обмена просвещением идет обмен угрозами; мрачный призрак грядущей истребительной бойни, как кошмар, мучит все народы. Точно такая же порча народного характера замечается в Италии, в славянских странах: всюду за освобождением развивается шовинизм и национальная алчность. То же будет и с маленькой Ирландией, если благородная мечта Гладстона осуществится. Никто, конечно, не имеет права удерживать маленький народ в связи с чуждой нацией, раз он этого не хочет. Но *не хочет* он этого больше из других, нежели хороших чувств. Возмутительны притеснения английскими лордами фермеров, и с этим нужно было бороться, но автономия может сделать ирландцев не менее несчастными, нежели теперь. Вместо английских хищников найдутся свои, туземные, и сверх того, с самостоятельностью начнется эра тревоги и жертв, чтобы отстоять ее. Всякий маленький народец, получивший политическое бытие, не мирится со своими соседями, а начинает их бояться и ненавидеть пуще прежнего: венгры – славян, итальянцы – французов, сербы – болгар, норвежцы – шведов и т. п. У маленького народца, чувствующего свою незначительность, развивается страшная зависть, лихорадочное желание себя отгородить и обособить, обставиться крепостями, пушками и т. п. «Нации» при населении какого-нибудь Парижа или даже части Парижа приходится заводить громоздкий государственный аппарат, министерства, департаменты, армию, флот, посольства и т. п. Все это требует массы средств от населения. Боевой аппарат готов – является искушение испробовать его против слабейшего соседа. Растут, конечно, внешние и внутренние долги, население беднеет, а

главное – грубеет нравственно. Все это ожидает и Ирландию; и она, как все другие обособившиеся страны, будет тяжело наказана за подъем недобрых чувств, движущих национальным брожением. Я лично уважаю всякую национальность и считаю, что «разделение языков» принесло свою пользу в истории, как в органическом царстве – разделение пород. В национальности раскрылась вся роскошь человеческого типа, все разнообразие его, вся возможность, в него заложенная. И пока национальность слагается естественно, она прекрасна, но когда начинают нарочно ее создавать, часто сочиняя, она является только злом. Естественное распадение некоторых народностей, раз оно идет не путем насилия, только желательно, как достижение общения более широкого, чем племенной союз. Хорошо, когда национальности слагаются, но еще лучше, когда они сливаются между собой. Ведь с высшей, всемирной точки зрения, национальная отчужденность есть как бы измена человечеству, отрицание его идеи. Как религия некогда разделяла страны, а теперь уже не разделяет (например, католическую Германию от протестантской), так и национальность уже, видимо, утрачивает это свойство. Итальянцы, немцы и французы в Швейцарии составляют своего рода «тройственный союз» несравненно крепче бисмарковского создания, а главное – чудеснее: три племени, в другом месте ненавидящие друг друга, здесь составляют один народ и одну страну. Точно так же и в Америке в еще более грандиозных размерах идет претворение двудесяти языков Европы в одну семью. В самой Европе теперь уже установилось как бы общее отечество: иностранец всюду пользуется совершенно одинаковым покровительством законов, как и в своей стране, и на совершенно равных правах с туземцами может посвятить себя всякому труду. Более того, гражданин малокультурной страны, вроде Турции, заехав в Англию, находит даже несравненно лучшие условия, нежели в своем отечестве: он пользуется за границей большею свободою деятельности, и в гостях он чувствует себя не «как дома», а гораздо лучше. И вот в такое-то время, когда идет великий процесс слияния народов, в раз-

ных странах раздувается национальный вопрос; маленькая Финляндия или Ирландия желают быть во что бы ни стало особыми государствами, а благородные деятели, вроде Гладстона, посвящают подобным мечтам всю свою энергию. Суетность этой «национальной» политики еще ярче видна на примере южноамериканских, пиренейских и скандинавских государств. В указанных враждующих странах все одинаково: племенное происхождение, язык, вера, культура, даже история. В силу лишь случайности эти народцы обособились когда-то и ненавидят теперь друг друга, ведут борьбу. То же самое было в феодальное время в Европе и у нас – в удельную эпоху. Я лично всем сердцем желаю Ирландии, как и всякой стране, счастья и свободы, но не думаю, чтобы путь к этим благам шел через политическую обособленность. Ведь гомруль Ирландия уже имела и даже больше того: она некогда имела и полную независимость, но это не избавило ее от ига англичан, как и самих англичан их свобода не избавила от ига лендлордов. Политика с ее условною, сегодняшнею правдой бессильна разрешить великие исторические вопросы, как и наука с ее относительным знанием. Необходимо участие в жизни иного, более верховного деятеля со значением вечным и абсолютным. Этот деятель есть совесть.

XI

«Отречься от политики, – говорят противники Толстого, – значит отказаться от участия в самых дорогих и важных интересах общества, значит эгоистически запереться в своей личности». Я думаю, напротив: принцип Толстого не разобщает людей, а соединяет, делает их, собственно, *более политическими* существами, чем они были. В самом деле, современная политика, в сущности, отрицает истинную общественность: разделяя человечество на коалиции, государства, сословия, партии, фракции и оттенки фракций; дробя общество, политика дробит и общественный интерес; член партии, обязанный подчиняться кружковому мнению, приобретает

механическое, узкое миросозерцание и поступает машинально, по команде вождей. Такой член, отдав свой голос представителю, может преспокойно оставаться дома и уже целые годы, целую жизнь не вспоминать об общественных интересах. Даже парламент при всем его относительном совершенстве как формы общественной жизни дает пока одну иллюзию народовластия; властью пользуются только крайне немногие и преимущественно эгоистические элементы – честолюбцы, не брезгающие никакими компромиссами или глядящие на политическую борьбу, как на спорт. Благороднейшие деятели в парламентских странах сторонятся от политической сцены, и чем порядочнее человек, тем затруднительнее он себя чувствует в этом хаосе сделок, условностей и dos-á-dos*. При всем желании отнестись честно к своим обязанностям и даже именно вследствие этого желания они являются не у места, они торчат в качестве «диких» где-нибудь на верхних скамьях парламента, возбуждая насмешки и презрение своих товарищей. В парламентском государстве каждый член его обязан подчиняться решению большинства, то есть высшим авторитетом является не совесть, а арифметическая цифра. Существуют, однако, вопросы, и именно самой глубокой важности, которые сделок не допускают: решающим голосом в них может быть только совесть. Уступать ближним – долг, но не только в области материальной; в сфере нравственной каждый должен быть неподвижен, как скала. В таком искреннем, могучем проявлении совесть не только не разрушает ни политики, ни науки, ни искусства и т. д., но именно она-то и создает возможность истинных форм этих деятельностей.

В самом деле, только нравственность дает содержание истинной политике. Только совесть – если она сильна – вовлекает каждого человека в круговорот общественной жизни. Совесть есть абсолютный закон, не разрешающий человеку оставаться равнодушным или поступаться своими убеждениями ни в общественных, ни в государственных, ни в международных делах. Нравственный человек не мирится ни с каким

* Спиной к спине (фр.) – *В. Т.*

злом, где бы он ни встретил его: в своей ли душе или душе ближнего, в семье, обществе, человечестве. Он не должен непременно «вступать в бой с неправдой», как напыщенно выражаются маленькие поэты. Исход физического «боя» всегда сомнителен, а главное – он уничтожает одну из сторон, он что-то насилует, кого-то обижает, а нравственному человеку жаль ведь даже своего врага. Борьба физическая вызывает ненависть – вещь невыносимую для совестливого человека. Поэтому, не прибегая к грубым средствам, он тем обязательнее считает для себя борьбу нравственную мольбою, увещанием, лаской, убеждением ума, доводами знания (истинная роль знания), материальною помощью жертвам зла (истинная роль богатства). И сверх того, у него есть радикальное средство повлиять на зло – устраниться от него. Не входя ни в какие компромиссы со злом, совестливый человек отходит от него, отказывает ему в своем участии. Бегите от зла: это всем доступно, и если бегущих будет много, то зло останется в пустоте и задохнется как бы в безвоздушном пространстве. Физическая борьба, говорит Толстой, только плодит вражду, подбрасывает огню злобы горючий материал; удаляясь же от неукротимой ненависти, нравственный человек обуздывает ее. Путем простого «неделания», отказываясь быть прямым и даже косвенным орудием целей, которые его совесть не признает, истинно добрый, гуманный, мягкий человек является крайне полезным деятелем, вносит в окружающую среду чрезвычайные, необъятные перемены. Никакие насильственные перевороты не вносили в жизнь людей и сотой доли тех изменений, какие вносят подобные добрые, совестливые и в силу этого неуступчивые люди – неуступчивые до конца. Скажите, что, кроме совести, в состоянии дать человеку – каждому, как бы он ни был мал и незаметен – такую всеобъемлющую роль в обществе, такую долю существенного участия в политической жизни? Тут *голос* гражданина никогда никому не передается, он никогда не смолкнет в угоду партии, он полновесно идет в итог общественного настроения. В то время как современная политика не только допускает отсутствие

многих голосов, но даже и требует этого, совесть не делает исключений: раз «все виноваты за всех» (Достоевский), все *обязаны* подавать голос свой, хотя бы его и не спрашивали. В то время как современная политика делает граждан простыми нулями, имеющими значение лишь при единице – вожде партии, совесть считает каждого человека единицей со всеми реальными и неотъемлемыми ее правами. Только совесть дает *объединяющее* начало. Идея добра все же симпатичнее и понятнее всем людям, чем какой угодно частный интерес – сословный, профессиональный, национальный, личный. Современная политика, основанная на компромиссе, лишена этого объединяющего начала. Во всех странах замечается падение парламентского большинства, дробление партий, решение вопросов случайным, коалиционным большинством, причем из каких бы элементов последнее ни составилось, меньшинство сейчас же начинает дорастать до большинства – с явною и единственною целью его низвергнуть. Вопросы, решаемые крошечным большинством, дают идеал разногласия, где половина нации должна подчиняться другой половине. Только совесть способна объединить огромное большинство: пред голосом Божиим разногласие исчезает.

XII

То же животворное влияние производит советь и в области всякого иного труда, в области науки, искусств и пр. Совесть дает указание, что истинно и что ложно в этих областях, что нужно людям и что не нужно. Если сделано что-нибудь великое в истории, то только благодаря лишь участию нравственного чувства: расширение свободы, смягчение нравов, развитие сострадания к несчастным, развитие просвещения – все это работа совести. Навеянная эволюционной философией теория, будто «все сделается само собою» – дайте время – и цивилизация без всяких наших усилий подкатит человечество, как по рельсам, к золотому веку – есть печальное заблуждение, своего рода фатализм, развращающий сознание культур-

ных народов не менее, чем вера мусульман в предопределение. Если «не следует спешить», если «все сделается постепенно», то каждый человек отдельно может творить все, что ему нравится, хотя бы крайнюю мерзость. Есть простодушные философы, оправдывающие свои мерзости даже статистикой: надо же кому-нибудь заполнять известные клетки статистических таблиц, так как это будто бы непререкаемый социальный закон, и т. п. Все это пустые и жалкие бредни, тем более опасные, чем более они вооружены аппаратом науки.

Общество действительно подвинулось в последние века, но обязано этим движением совсем иному методу, нежели рекомендуемый постепеновцами. Общество двигалось не ежедневным отправлением своих маленьких дел, а могучим напряжением совести, порывом в области новой, более справедливой жизни. «Со времени Иоанна Крестителя, – сказал Христос, – Царствие Божие *с усилием* дается». Для движения требуется *постоянная* затрата сил, и ни один человек, ни одно поколение не может ни на минуту освободить себя от вечного долга движения. Прогресс совершается работою бесконечно малых единиц: значит, каждая единица должна работать, и работать не «немножко», не ограничиваться «кое-какими попытками», «взносами», «участием» в каких-нибудь благотворительных, научных, художественных учреждениях – нужно работать много и сильно, нужно «спешить делать добро», по прекрасному выражению доктора Гааза[22]. Надо верить, что дело нравственного перерождения есть живое дело, *осуществимое* при нашей жизни, что каждый из нас может увидеть новую эру. Царствие Божие всегда близко: оно наступает теперь же, в каждую минуту, когда вы ощущаете в себе доброе движение сердца, и весь вопрос о том, чтобы этих добрых движений вызывать в себе и других как можно больше.

Нет более опасного заблуждения, будто отдельный человек – ничто в социальном потоке и что поэтому не стоит бороться за истину в доступных каждому будто бы «микроскопических размерах». Странное и грустное заблуждение! Пусть на протяжении тысячелетий, в массе несчетных милли-

ардов человеческих единиц отдельная жизнь ничтожна, хотя и здесь имена Будды, Моисея, Конфуция и др. до сих пор еще живы и творят свое дело. Но мерилом своего значения нужно брать не тысячи лет, а лишь срок своей собственной жизни – 30, 50 лет деятельности, а на таком тесном участке времени отдельная личность уже заметна. И пространством нужно брать не весь земной шар, а лишь то общество, где вы живете, круг из какой-нибудь сотни лиц; и здесь-то уже никак нельзя сказать, что отдельная личность *тонет* в таком кружке. Здесь личность не ничтожна, и если захочет, то и *может* быть значительной, сильной, великой. Замечали ли вы, что с кем бы вы ни познакомились, вам ничто не стоит сделаться человеком близким, интимным, влияющим существенно на жизнь вашего знакомого, недавно еще совершенно вам неизвестного? Стоит лишь искренно захотеть сблизиться и подойти к человеку с братскими чувствами. Все мы нуждаемся в участии и охотно допускаем в наш внутренний мир всякое сочувствие. При нынешнем каком-то механическом онемении общества (признак чрезмерной его организованности) отдельная личность скована ложным представлением о своем ничтожестве; огромное большинство людей просто из трусости не идут на великие и вполне безопасные дела, хотя были бы вполне для них пригодны. Ведь, в сущности, всякое великое дело – поразительно просто и внешних условий требует не более, чем иные ничтожные предприятия. Тайна великого дела – в нравственной решимости создать его, в работе совести. Чаще всего эта решимость является как преодоление гипноза трусости большою страстью или большим талантом, но очень многие великие дела совершены обыкновенными, заурядными людьми. Надобно заметить, что наибольшею осуществимостью отличается именно *доброе*: бесконечные неудачи обыкновенных смертных, если рассмотреть их хорошенько, зависят от недоброй подкладки их попыток. Неудачам подвергаются карьеристы разного рода, люди, добивающиеся богатства, власти, почета и т. п. В свалке с подобными же искателями они ослабевают и часто не доходят до своей недоброй цели. Наоборот, кто ищет добрых целей –

любви к людям, служения им, тот не встречает препятствий. Но если добрые цели и сопряжены иногда с преградами, то для преодоления их нужен не редкий талант, не трудно добываемая наука, не богатство, еще труднее приобретаемое, а нужна всего лишь деятельная совесть. Только это, – но это безусловно необходимо, и при этом условии даже один человек получает громадное значение. Он «заражает мир людей своей печалью страстной, он увлекает их навстречу бурь и гроз». Маленький, скромный человек может быть Моисеем своего маленького народа, кружка знакомых и родных, пророком, способным вывести их из психического плена тех или иных суеверий в область более светлого миросозерцания. Вспомните основателей некоторых нравственных учений, устраивавших прекрасный, чисто райский быт в своих общинах.

Но если чудо нравственного перерождения общества доступно темным и средним людям, руководящимся только совестью, то что же бы вышло, если бы на подвиг любви выступили высшие гении человечества, земные «начала, господства, власти»? Труд Гладстонов и Дарвинов и теперь возбуждает заслуженное удивление, теперь невольно благоговеешь пред этими исполинами духа, но что же было бы, если бы эти великие старцы вооружились благовестием правды, проповедью не условных, меняющихся мнений, а истины вечной, безусловной, всем и каждую минуту необходимой? Что если бы все эти громадные энергии, рассеивающиеся теперь в промышленности, искусствах, специальных науках, политической борьбе и пр., сосредоточились на *работе совести*?

Две правды

I

Быть *талантливым* писателем в наше время, мне кажется, должно быть мучительно. Что касается бездарных, – они счастливы, как всегда. Сидя в своем крошечном горизонте, защищенные от всякой внутренней тревоги своею простотой,

они плетут свою скромную паутину, как пауки, по унаследованному, подражательному инстинкту и радехоньки, если залетит к ним мелкая читающая букашка. Сколько бы раз жестокая рука редактора или зоила-критика ни сметала паутину, автор-паучок вновь принимается выматывать из себя слабенькие нити рассказов, стихотворений, статей, лепя их к поверхности чего угодно: зданий или деревьев, камней или заснувшего человека. В силу своей автоматичности такой писатель невозмутим, какая бы эпоха его ни застигла: мирное процветание общества или кровавая распря, кипучий подъем народных сил или голодный мор. Роль такого писателя – найти первые попавшиеся выступы жизни и связать их своими ниточками якобы в одно целое. Пусть ничего *целого* из этой эфемерной связи не выходит, так как ничего общего между связанными точками нет, писатель доволен, ибо читатель соответствующей все-таки запутывается в строчках и часто дочитывает автора до конца. Такой писатель блаженен, и настичь его может разве только физическое несчастие: например, зубы заболят или закроется журнал, где он примостился. Другое дело – писатель одаренный, и чем выше его дар, тем тяжелее крест. Ясновидением пророка, тонким предчувствием будущего, проникновением в законы волнующейся жизни такой писатель присутствует как бы на страшном суде своей эпохи, перед ним вскрыты все язвы ее и тайные грехи. Тяжелая эта картина и мучителен жребий сознания:

…Сердце негодует,
Жизнь снимает маску – исчезают грезы,
Соловьи не свищут и поблекли розы…

– как говорит старый знаменитый поэт Я. П. Полонский в поэме, посвященной героическому движению середины этого века. Вспомните другого великого старца с его «исповедью» и всею деятельностью после 1885 года. Разве это не мученичество, не самоистязание? А Достоевский, этот «жестокий талант», по выражению одного критика, терзавший, конечно,

прежде всего свою собственную душу? А Тургенев? Менее убежденный, он мучился, может быть, более Достоевского и Толстого. У тех была религия, вера в окончательное великое, перед чем бледнеют все случайности, – у Тургенева ее не было. Новое молодое поколение талантов не счастливее предыдущего: вспомните, ограничиваясь последними десятилетиями, В. М. Гаршина, С. Я. Надсона[1], А. П. Чехова, В. Г. Короленко. Не говоря о первых двух, так сказать, истекших кровью сердцах, – чем, как не страданием мысли, объяснить сумрачное раздумье Чехова, злую нервность Дедлова[2] или тихую, затаенную печаль, разлитую в поэзии Короленко? Появляющиеся новые в литературе таланты оказываются уже захваченными скорбью своего времени. Один автор, живой и жизнерадостный по натуре, ищет правды в деревне, ездит благодетельствовать мужиков, разочаровывается в них и снова поступает… на службу; другого автора страдание мысли, поиски свежести и тени для истомленной души загоняют в дебри метафизики; выдающийся талант третьего еле просвечивает сквозь туманные испарения души разлагающейся, агонизирующей. Есть род скорби, свойственный гению, как заметил Аристотель, но, кажется, никто никогда еще не страдал так, как мучатся даровитые люди нашего времени.

Чем же вызывается это писательское мученичество, разделяемое, конечно, всеми вдумчивыми интеллигентными людьми? Мне кажется, причина его – глубокое недовольство действительностью и психический разрыв с нею. Даровитый человек нашего времени, какого бы склада и воспитания ни был, живет неизменно, отрицая настоящее. Если он «консерватор» по темпераменту, он признает прошлое; если «либерал» – признает будущее. Беру эти устаревшие и неточные термины только по их общепринятости; мне хочется сказать, что мало в жизни друзей *настоящего*, и все вздыхают о прекрасном несуществующем. Разрыв со своею природой, отрицание своего времени и места – разве возможно более утонченное мученье? Как существа, попавшие в чуждую для них стихию, медленно задыхаются в ней, так одаренные люди нашей эпохи тоскуют

и грезят о том, что прошло или еще не пришло… Являются две каких-то тайных веры, две правды, разделяющие общество на два враждующих лагеря; одинаковое отвращение к настоящему, как бы болящая рана, не дает срастись краям его, не позволяет слиться образованным людям в мирную семью. Возьмите лучших представителей обоих лагерей. Оба могут быть искренними, чувствующими иногда одинаково тонко, но они разошлись навеки. И это раздвоение духа в европейском обществе – роковая черта всей христианской эпохи. С тех пор как «галилейские рыбаки» провозгласили, что истинная жизнь есть жизнь будущего, дух человеческий колеблется между земным и небесным, между древнею привязанностью к преходящему и влечением к вечности, и никогда эти колебания не были чаще и больнее, чем в наше столетие, столетие зари – утренней или вечерней, – об этом идут бесконечные споры.

Мне кажется, раздвоение правды в нашем сознании происходит оттого, что идеал слишком возвышен, а действительность слишком от него отдалена. Многие прекрасные люди признают идеал, но отрицают возможность развития его из столь несовершенной действительности. Посмотрите, какое глубокое недоверие к человеческой природе проникает поэму Полонского «Собаки». Поэма эта – сатира на идеалистов, сатира благодушная, благоухающая поэзией природы, но, тем не менее, сатира решительная и местами даже злая. Прочитал я ее, и мне сделалось грустно. Вот писатель талантливый, тонко чувствующий, родившийся в далекие крепостные времена, помнящий сороковые годы, видавший воочию наплыв того горячего, возвышенного настроения, которое сняло с народа цепи, писатель, переживший героический период в жизни нашего общества. Он и сам участвовал в ликующем хоре, он жил и работал в это время, отвечая шуму веселых волн жизни созвучиями песен. Неужели же к склону дней он из этого душевного порыва не вынес никакой надежды? Неужели так-таки одно разочарование, одно отрицание?

Познакомлю читателя хоть в самых кратких чертах с содержанием этой поэмы.

II

«Вдохновением, – говорит автор, – я обязан псарне и ее героям». Дело происходит в некотором царстве, на усадьбе воеводы или мирзы Сивого, на широком, очевидно, крепостном раздолье. У воеводы большая свора собак различнейших пород, наслаждавшаяся вместе с барином охотой. Но вот грянула беда: мирза увлекся какою-то красавицей и забросил охоту, а собак, чтобы не беспокоили лаем, велел загнать на псарню и удвоить сторожей. Следует описание псарни, праздной, тоскливой жизни взаперти, очень похожей на жизнь нашей провинциальной интеллигенции полвека тому назад. Метко нарисованы также портреты героев: Трезвона (радикал), Барбоски (умеренный либерал), Сокола, Вопилы (народник), Марса, Волкодава, Водолаза, Валетки и пр. Тщетно ждали собаки, что вот-вот их выведут на охоту, – истомились только. «Близкое соседство сумрачной дубравы и привольной степи навевало думы – чувствовались цепи праздности и рабства…» Обеспеченная жизнь стала казаться острожной. Между собаками начали бродить «толки, что собаки, дескать, те же волки и что запирать их вряд ли благородно…» «В лес дремучий, на простор, тянуть их стало так, что ныли их собачьи души – и собаки выли…» Странички, посвященные этой тоске по свободе, написаны превосходно – картинно и тонко изображен этот немой могучий призыв природы. Автор замечает, что «слух людей их (собачьим) воем не был озабочен», – замечание важное для характеристики «людей». Неволя и близость простора измучили собак:

Даже *амки* (то есть наши дамы), тоже
Чуя дух свободы, волновались лежа.

В двух «потерянных» главах автор говорит, как собаки прорыли себе лазейку в лес и как однажды ночью на псарню вбежал оборотень. Вырвавшись на волю, собаки отдавались счастью, но автор спешит доказать, что свобода эта насолила

собакам хуже доезжачего. Одна из амок, прошмыгнувшая в сени, получила по боку ухватом, борзого Ахилла увела цыганка, Марса лесники приняли за волка и подстрелили ему ногу, Сокол, гоняясь за зайчихой, заблудился… «Поняли собаки, что блуждать опасно». Составляется заговор, происходит заседание. Описываются стычки и споры о благосостоянии, мире, просвещении. Радикал Трезвонка подбивает к бунту во имя братства и свободы. Под влиянием рассудительного Барбоса либеральное брожение разрешается, однако, опытами «самопомощи»: описывается, как изящная Стрелка ищет себе работы, «и трудиться хочет, и никак не может, и чужую корку поневоле гложет», тогда как «Берфин сын другую отыскал работу: стал ловить лягушек и, трудясь до поту, сотнями давил их; для чего, признаться, сам того не ведал». Описывается «Трезорка – двух кротов отрывший, и Карай, седую крысу задавивший», за что и снискали себе славу дельцов. В таком жалком виде поэт рисует «самопомощь», увлекавшую наше общество после известного романа «Что делать?». Собаки-либералы не покинули, однако, псарни совершенно, так как получали корм в ней. Черта тонкая и, к сожалению, слишком верная.

Вслед за «самопомощью» выдвинулся «женский вопрос»: собаки подметили у кур свободу любви и завели у себя то же. Затем пошло дробление партий, и стали появляться «вещие пророки», поднята была идея *зверчества*, в которой соединялись все четвероногие от слона до мыши, выступили славянофил Вопила с теорией народности, побиваемый западником Водолазом, представитель служилого дворянства – карьерист Валетка и т. п. От этих споров собаки стали «вдвое, втрое развитее… и у них явилась если не идея, то хоть хвост идеи, за который можно жадно уцепиться и кое-как тащиться по следам прогресса…». Далее описываются любовные интрижки на почве пропаганды. Все это, очевидно, снято с натуры 60-х годов и снято точно и правдиво. Радикальные элементы, подхватив идею «зверчества», решили войти в союз с волками, медведями, лисицами и пр. для ниспровержения власти человека и домашних животных, поддерживающих

эту власть. К хищным зверям засылаются послы, но терпят разные приключения, в которых обрисовываются животные инстинкты революционеров. Заговор не удался. Хитрая лисица под покровом союза передушила на курятнике кур, волки стали резать коров и баранов, медведи опустошали пасеки. Но тут старый мирза умер. Явился молодой наследник, снова завел охоту. Собаки, начавшие жить без идеалов, вдруг ожили, в них проснулась их природа, и революционного брожения как не бывало: «Псарня ликовала».

Я пропустил все романтические узоры поэмы, любовные и политические эпизоды, под которыми поэт, по-видимому, скрывает какие-то позабытые истории 60-х годов. Опускаю язвительные карикатуры тогдашних либералов в лице собак (например, либеральная Сайга: «Никого не знаю, кто б тянул так лямку, как она тянула новую идею, ту, что ей надели, как хомут, на шею. Вся она служила делу безотчетно, но прямолинейно и бесповоротно»). Собакам-либералам не удалось переиначить мир – «собачьи нравы остаются те же, даже хуже стали, *потому что мысли не соединяли нас, а разобщали,* страсти те же: тщеславие, зависть, похоть, жадность – явно довели нас и до истощения сил, и до бесславия». Так терзаются благомыслящие собаки Маг и Пижон (автор поэмы): «А еще хотим мы вековой идее послужить – добиться братства и свободы! Я вздохнул глубоко и сказал: “Злодеи!” Он вздохнул и тихо вымолвил: “Уроды!”».

Таков суровый приговор поэта политическому движению середины этого века. «Нельзя быть зверем иль собакой, даже злым двуногим и назло породе видеть верх прогресса в зверческой свободе. Нет, свобода наша пахнет своевольем, братство – лицемерьем, равенство – бездольем; всюду – или вздохи, или непотребство, самообожанье или раболепство»… Поэма оканчивается лирическим диалогом, где добрый Дух, вызванный Магом, предвещает собаке-мудрецу, что она «родится человеком» – не тем плотоядным двуногим зверем, каково большинство людей, а человеком в духовном смысле. «Быть им, – говорит Дух, – ты всю жизнь стремился»:

Жаждая любви и мира, ты затеял
Зверчество; но тщетно семена ты сеял.
Никакие звери не пожнут их. Вечность
В очередь за зверем ставит человечность:
Людям лишь дается Богом и природой
То, что вы зовете братством и свободой.
Люди только чужды гнева и боязни,
Только им не нужны ни суды, ни казни…

Такова поэма Я. П. Полонского, писанная им на протяжении двадцати лет и изданная как бы с Синайской вершины жизни его, в виде скрижалей завета потомству. На такой смысл поэмы намекает сам автор, говоря в предисловии, что сам не знает, откуда у него взялась настойчивость продолжать этот труд, не имевший успеха, и что его одушевляла идея, которая хотя и не составляет миросозерцания, но примыкает к нему как плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Таким образом, эта поэма имеет особенно серьезное значение – это не шалость пера молодого поэта, а чуть ли не исповедание веры.

О художественной стороне «Собак» я распространяться не буду; даже из приведенных отрывков читатель видит, что в поэме есть сильные, выразительные места, что в ней много остроумия и метких характеристик. Я добавлю, что, кроме того, поэма – в общем немножко длинная, разбросанная и не свободная от вялых мест – изобилует яркими, напоенными воздухом картинками природы, от которых, как от нежных акварелей, дышит прелестью жизни, и психология характеров верна, и правды в поэме много, и мысль возвышенная, но…

III

Все же грустно, господа, когда у такого прославленного писателя, как Полонский, не нашлось доброго слова для того памятного поколения и той удивительной эпохи! Неужели так-таки ничего и не дало то время, кроме звериных инстинктов?

Что эти инстинкты и тогда были, кто же об этом спорит! Но какое время от них избавлено? Неужели, однако, эти «молодые годы русской интеллигенции», этот гром освобождения и сбрасыванья цепей, это впервые восторжествовавшее и пронесшееся по земле слово человеческого братства – неужели все это настолько выдавалось вперед другими, соседними временами своим «зверчеством», что понадобилось подчеркнуть эту черту, увековечить в целой большой поэме – книге в одиннадцать печатных листов? Ведь были же у нас и пятидесятые, и сороковые, и тридцатые годы, которые захватил еще на своем веку почтенный поэт, помнит же, вероятно, он ту тяжелую истому, в которой коснели и общество, и народ. Крепостные гаремы и конюшни, шпицрутены и кнут, «неправда черная» судов и чиновников, пожизненная солдатчина, безобразный разгул и самодурство сильных, забитая до подлости приниженность слабых – неужели это мрачное время было менее обильно «зверчеством», чем эпоха «правды и милосердия», хотя бы и с ошибками, свойственными всякому увлечению? По совести, почтенному поэту следовало бы мягче отнестись к этой поре, и уж если брать в ней самую характерную черту, то не ту, которую он взял. Я ничуть не думаю вступаться здесь за 60-е годы: лично я их не помню и сужу о них по отблеску на дальнейшие десятилетия, по случайным, до сих пор кое-как сохранившимся типам того времени, по документам в истории и литературе. Эпоха эта – буйная и молодая – не была лишена грехов, но грехи эти большею частью были наследственные, исторические и даже первородные: «тщеславие», «похоть» и т. п. – стары как мир, и упрекать за них только 60-е годы немножко несправедливо. Новизна, присущая этим годам, как их особенная черта – подъем гуманных чувств и стремление к справедливому порядку жизни, – вовсе не грех, и если даже и не хватило душевного порыва у того общества, не нам вышучивать эту неудачу. Сам Полонский в заключительном монологе словами Духа, беседующего с Магом, признает, что источник либерального движения был добрый. Собаке, поднявшей идею «зверчества», Дух говорит: «*Человеком* быть ты

всю жизнь стремился; жаждая любви и мира, ты затеял зверчество». А если так, то неужели заслуживает осмеяния хотя бы и неудавшееся движение из столь чистого источника?

Надо заметить, что в самом существе поэмы Полонского лежит некоторое противоречие. Он хочет доказать, что люди – звери, и пока не сделаются *людьми* в возвышенном значении этого слова, великие начала добра, свободы, истины останутся им чужими. Но ведь это – тавтология, повторение одной и той же посылки. Это все равно что сказать: до тех пор пока я не выучусь по-турецки, я не буду понимать турецкого языка. Люди только тогда будут совершенны, когда будут совершенны. Это верно, но не заслуживает утверждения. Такая же тавтология – часто встречающаяся обратная фраза: «пока люди не устроят жизнь на началах добра и свободы, они не будут людьми в истинном смысле слова». Все это само собою разумеется и одно другому равносильно – посвящать подобной мысли целую поэму не было необходимости. Следовало бы рассказать о том, как нужно достигать осуществления правды и любви или как достигать совершенства, что одно и то же. Полонский доказывает, что либералы хотели достигнуть этого искренно («Человеком быть ты всю жизнь стремился»), но потерпели неудачу в силу своей природы, и эта неудача роковая, вечная, зависящая от самого типа человеческого существа. Люди – звери, и пытаться быть истинными людьми для них так же бесполезно, как рыбе пытаться летать или птице жить под водою. Стремление к идеалу, по смыслу поэмы, выходит противоестественным. Может быть, никто не ожидал такой мысли от столь возвышенного и нежного лирика, как Яков Петрович, вся поэзия которого – влечение к идеалу. Однако факт налицо. Вот как характеризует Полонский человека (это подобие Божие, по словам Святого Предания): он зверь, да и из зверей-то самый низкий: «Суетный, ревнивый, ненасытно жадный, вечно похотливый. Раб ли он, тиран ли, все равно – *преступней всякой Божьей твари*, во сто раз доступней всякому соблазну». Если поверить почтенному поэту, то все люди – в сущности оборотни из зверей: «Лев, лисица, кот,

собака, крыса, тигр, овца и волки, вид людей приемля и друг друга видя и друг другу внемля, не позабывают, что они сошлися есть и пить и, если не передралися и не истребили до конца друг друга, то кому спасибо? Только сила власти – страх перед законом укрощают страсти зверские…» В другом месте поэт подтверждает, что, «перерождаясь в человека, звери тем же остаются, чем и были».

Из всего этого как бы следует, что Полонский в самой основе отрицает все попытки подвинуть человечество вперед и написал поэму просто, чтобы позабавиться над этими жалкими попытками. Но на деле этого нет. В той же поэме Яков Петрович энергически зовет на проповедь правды всех бескорыстных людей, стало быть, не сомневается в успехе такой проповеди. Предупредив, что

Все же и доныне цельным человеком
Быть в народе страшно; чтоб идти за веком
Или с ним бороться, надо быть титаном.
Чтоб из состраданья прикоснуться к ранам
Ближних и сказать им: исцелитесь, братья!
И затем спокойно выносить проклятья –
Надо быть блаженным…

Предупредив, что

…Участь человека
Чистого быть жертвой зверческого века,

автор устами Духа возглашает:

Но гряди, счастливец! На словах, на деле
Будь сотрудник Божий и в согбенном теле.
Силу вечной правды и любви постигнут
Только люди; только вера и усилья
Пробиваться к свету придадут им крылья
Быть везде со всеми; лишь они достигнут

Цели – формам жизни дать то совершенство,
Что создаст народам высшее блаженство
Знать, любить, и верить, и искать дорогу
В бездне бесконечных переходов к Богу…

Но если все это верно (а можно ли не согласиться с этим вдохновенным, пророческим призывом?), то значит, «не один страх перед законом укрощает страсти зверские», а укрощает их и гуманная мысль. А из таких гуманных мыслей отчасти и состояло движение половины XIX века. Лучшие из героев его поэмы были одушевлены именно теми целями, какие указывает Дух, именно «людьми стремились быть», а если так, то смотреть юмористически на некоторые странные, неудачные средства этих героев несправедливо.

Как видите, поэма Полонского не лишена противоречий. Однако нельзя ни на минуту сомневаться, что эти противоречия – искренни, что поэт в одно и то же время, выражаясь ходячими определениями, и консерватор, и либерал в душе – не сочувствует прогрессу и в то же время жаждет его. Это раздвоение, как я заметил выше, – черта, характеризующая современное общество, составляет физиономию и отдельных людей, и таких очень много. Отшатываясь душой от настоящего и ища жизни лишь в прошлом или грядущем, поэт не выносит, когда его признаки воплощаются, переходят в действительность. Мечты, сведенные с эфирных высей в земную, бледную обстановку и преображаясь в вещи, становятся слишком простыми и неинтересными, как «тучка золотая», столь прелестная издалека, вблизи оказывается холодным и противным паром. Свобода, один звук которой зажигал благородным пламенем сердца лучших людей, раз она добыта, начинает казаться своевольем, добро – ханжеством и т. д. Одним этим секретом исторической перспективы – скрашивать далекие предметы, облекать их таинственною дымкою – объясняется устойчивость двух основных настроений нашего времени – консерватизма и либерализма, чередующихся с довольно строгою правильностью, а иногда и проникающих друг в друга.

IV

О политических течениях в обществе нынче не принято говорить; насколько прежде это было в моде, настолько теперь как бы предано забвению. Для одних это старая, незаживная рана, для других же духовная сторона названных явлений даже и не существует: вопрос сводится к циническому рассуждению на тему «наша взяла!». Если же и заходит иногда речь о заветных целях того или другого настроения, то как-то так случается, что на поверхность споров выплывают не перлы и янтарь, а сор и мутная пена, выдаваемые за *существо* учений.

Мне кажется, консерватизм и либерализм, сколько ни были бы затасканы их клички, должны всегда и неизменно интересовать общество. Это явления органические, неотделимые от умственного строя, и как люди говорят прозой иногда не зная этого, подобно мольеровскому мещанину, так точно каждый человек со сколько-нибудь оформленным сознанием, независимо от своей воли, или консерватор, или либерал, или романтик, тоскующий по величавой старине, влюбленный в ее живые остатки, или утопист, грезящий о Царстве Божием (или «Солнечном Царстве» – суть не в оттенках). Натуры широкие и утонченные способны обнять оба настроения и постичь обе правды, таящиеся в них и как бы отрицающие друг друга. Получается третий, на вид весьма странный и трудно разгадываемый тип – консервативно-либеральный, если можно так выразиться. В литературе к такому типу принадлежат почти все наши великие писатели, даже Тургенев, называвший себя «постепеновцем». Читая, например, Достоевского или Толстого, и ярый консерватор, и отъявленный либерал могут найти и то, что им нравится, и то, что их возмущает. Обоих великих писателей то называют ретроградами, то поражаются их радикализмом. В смягченной степени то же представляет из себя и Полонский. Другие, мелкие писатели определеннее, одноцветнее, так как самостоятельною жизнью не живут, а лишь придерживаются готовых формул, делая из них себе талмуд. Это, впрочем, ничуть не обеспечивает их от совершенного непо-

нимания истинной сути «своего» направления, и как человек, называющий себя «убежденным либералом», так и «строгий консерватор» часто представляют одно и то же: людей, тягающихся за кусок общественного пирога, только один тянет справа, другой – слева. Консерватор очень часто отстаивает вещь, которая при большей вдумчивости является враждебною интересам консерватизма, а либерал часто отрицает то, за что он должен был бы ухватиться, как за знамя именно своего миросозерцания. Оба лагеря, не вдумываясь в самих себя, а тем более в истинный смысл противника, борются не умственно, а почти физически, поражая друг друга заготовленными еще в давнее время положениями и выводами, которые, как артиллерийские снаряды, часто разбивают логику противника, но ничего на место ее не создают. Тут нет органического воздействия двух стихий, а есть только столкновение, почему нет и роста, нет развития обоих принципов, а происходит лишь взаимное ослабление. В конце концов, мысль общества видит себя среди замолкших лагерей, превращенных в развалины, где на вой шакалов отвечает вой гиен.

Истинная суть консерватизма и либерализма… Вы скажете, что эта тема не литературная. Но, увы, «нелитературной» она была *когда-то*, когда не было общества в теперешнем смысле этого слова, когда в психологии человека не было особых, теперь столь острых брожений. Я лично из опыта жизни вынес к политической страсти такое же предубеждение, как и к другим страстям, но мы живем в век очень широкого распространения этой страсти, до того широкого, что она дает тон эпохе. В литературе нашего времени политика почти столь же важна, как и эстетика: в этой области политика теперь играет ту же роль, что и религия для живописи Возрождения или история для эпохи романтизма. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Писемский – не говоря о более мелких – создали политический роман, до сих пор преобладающий, и даже Лев Толстой в «Анне Карениной» и «Плодах просвещения» является выразителем общественных течений. Но не понимая ясно подлинной сути консерватизма и либерального направления, можно

ли понять Рудина, Инсарова, Базарова, героев «Дыма» или «Бесов», интригу «Обрыва» или «Плодов просвещения»? Мне кажется, нельзя понять, а потому я считаю законным правом критики говорить и об этом столь важном элементе литературы – психологии политической страсти.

V

Консерватизм и либерализм, когда они принимают болезненные формы, похожи на озноб и жар одной и той же хвори. Если в тридцатые и сороковые годы общество было погружено в озноб, заставлявший кутаться, топтаться на месте, ограждать себя от внешних влияний, то в следующие десятилетия мы видим целые поколения с явно повышенной температурой, горевшие огнем и часто бредившие, точно в пароксизме лихорадки. Кто из нынешних пожилых людей не пережил хоть несколько лет своей юности в этой душевной буре?

Но кроме лихорадочных, страстных форм консерватизм и либерализм встречаются и как спокойные, здоровые состояния. Здоровый консерватизм есть охранение жизни общества. Здоровый же либерализм есть усовершенствование этой жизни, развитие ее начал. Очевидно, оба направления в их чистом виде решительно необходимы для общественной жизни, как в механике для движения нужна не только сила, но и масса. Консерватизм есть сохранение настоящего. Если представить себе, что настоящее, безусловно, прекрасно, то всякое стремление изменить его будет преступно, и либерализм заслуживает всяческих стрел сатиры. Наоборот, если настоящее дурно, то отстаивающий его консерватизм вреден, а сила, стремящаяся дать другое, лучшее настоящее – благодетельна. Вот и все, поставленные в их пределы, главные условия этого вопроса. Таким образом, одно и то же направление может быть или добром, или злом, смотря по обстоятельствам. Правда, консерватизму иные, безусловно, отказывают в праве на существование. Как бы порядок вещей ни был хорош, но непременно возможен лучший, а если так, то нужна реформа. Жизнь долж-

на быть непрерывным, бесконечным прогрессом, шествием по «бездне вечных переходов к Богу», говоря словами Я. П. Полонского. Как бы жизнь хорошо ни сложилась, стоит ей остановиться, чтобы сейчас же превратиться в Катай – нечто мертвое и затхлое; порядок, повторяющий самого себя, есть машина, и люди, живущие в нем, – автоматы. Поэтому консерватизм существовать не должен, а люди неустанно должны стремиться к развитию форм жизни.

Я не думаю, чтобы этот взгляд был верен. Бесконечное развитие, безусловно, непонятно; все эти «переходы к Богу» – очень звучные аккорды, но не более того. Мир существует вечно, и если бы он все время развивался, то имел достаточно времени развиваться до какого угодно совершенства. И я думаю, что все сущее в плане своем настолько совершенно, насколько это возможно, и весь мир в своем целом идеален. Поэтому для дерева нет иного идеала, как дерево, для животного – животное, для человека – как человек. Мир вовсе не развивается, а все сущее в нем колеблется в известных пределах, «их же не прейдеши». Человеческое общество и сам человек в состоянии прогрессировать, но лишь до известного, определенного свойствами природы предела. Далее следует либо остановка, либо обратное шествие. Если остановка, то либерализму нечего делать и всецело властвует консерватизм. Во втором же случае, при реакции, этот консерватизм, старающийся отстоять высшую ступень культуры, есть начало благодетельное, борющееся с вредным движением. Определить в каждый момент – которая из партий на истинном пути, нелегко. Как в океане, здесь необходим компас, и имя ему – совесть.

Чтобы оценить роль истинного консерватизма, нужно припомнить великое значение культуры. Культура – это наследственный опыт данного народа, создающий – безразлично – дикий или цивилизованный образ быта, но прочный и привычный. Такой прочный быт стеснителен, быть может, для отдельных, гениальных натур, но для массы человеческой он решительно необходим. В самом деле, средний человек по природе уже есть массовый человек, единица чего-то цело-

го, с чем он кровно связан, как клеточка с телом; для счастья его жизни необходимо, чтобы вся остальная масса клеточек заняла вполне определенное положение, собралась в определенный бытовой организм. Раз такой организм общества сложился, каждый отдельный член чувствует себя прочно на своем месте, поддерживаемый и направляемый окружающими членами. Существуют готовые движения, готовые указания – простора нет, но зато не может быть и колебаний. Отдельная личность направляется внешнею волей – неизменными условиями быта; не имея личной настойчивости, человек кажется сильным, двигаясь в общем потоке и достигая в нем далеких целей. В готовом русле государства, сословия, веры, профессии человек сосредоточивает всю энергию в данном направлении, как пар в трубе, не разбрасываясь в пространстве. В культурном обществе каждый человек имеет свою судьбу, свое предопределение, и это удивительно упрощает, облегчает жизнь. Вы живете так, как все, одеваетесь, как все, едите то, что нравится другим, разговариваете, даже думаете так, как все, то есть вам не приходится самому придумывать тысячу вещей и форм отношений, а все это вы получаете готовыми. Человеку выдающемуся, оригинальному можно задохнуться в такой обстановке; зато средний счастлив вполне; каждый шаг его направлен по определенному пути: ни сомнений, ни мучения выбора, ни необходимости решаться. В этом отношении дореволюционная эпоха была несравненно культурнее теперешней, быт людей определеннее, общественное сознание тверже. В старину кто где родился, там обыкновенно и оставался: в том же округе, сословии, профессии, при тех же общественных связях, условиях и привычках. Для огромного большинства доступен был лишь ближайший околоток, для всех была одна и та же школа, все воспитывались по одной программе – а это составляет первое условие нормальной общественной конкуренции. Все ходили в церковь, всякий в известный возраст непременно женился, и так как, благодаря неподвижности, у каждого был обширный круг знакомств и наследственных связей, то выбор невесты делался легче и

удачнее. В силу того, что профессии и права были более или менее наследственны, каждый отдавал себя известному делу еще с юных лет, каждый воспитывался в своем ремесле, имел в нем долгую школу практики и совершенствовался до пределов всех способностей. В старину принцип разделения труда и вообще всех условий жизни был проведен с цеховой строгостью. Словом сказать, рождаясь на свет, всякий попадал в каждом важном отношении жизни на готовые рельсы, и ему оставалось только катиться по ним; сила характера, сосредоточенная volens-nolens* по данному направлению, целиком выливалась в силе действия – храбрости на войне, благочестии в келье монаха, усидчивости в мирных промыслах. Культурное общество может быть очень нецивилизованно и невежественно, как наша Древняя Русь; эта культура может быть близка к варварству, но невежество не мешает образованию общего духовного уклада, общего миросозерцания, сплочения в «едино тело и едину душу». Вследствие долгого уединения среди соседей и долгого внутреннего мира общество отливается в огромный монолит; отдельные элементы его, как зерна кварца, шпата и слюды в граните, вкраплены в него неподвижно, создавая могучее сопротивление всяким внешним влияниям. Таков Китай, такова «прекрасная Франция» в XVI–XVII веках, «старая Англия», «святая Русь» тех времен, когда это выражение еще не звучало фальшиво.

Когда такой крепкий порядок утверждался среди звериных нравов и в невежественном обществе, культура была гибелью благороднейших элементов, и хотя средний человек жил недурно, но таланту и развитию не было простора. Душно и жутко существовать в таком обществе человеку оригинальному – культура отрицает оригинальность, принося ее в жертву посредственности. Но зато когда культура устанавливалась на достаточно высокой ступени образованности, заставала добрые обычаи, – жизнь принимала прекрасный облик, и каждому родившемуся была обеспечена известная доля достатка, уважения, любви сограждан и равное участие в общем

* Волей-неволей (лат.). – *В. Т.*

капитале духа. Консерватизм, свойственный каждой культуре, могуче поддерживал общий строй жизни на раз достигнутой высоте, не давая ему падать; не только средним, но и лучшим людям жилось легко, так как уровень «посредственности» в таком обществе очень высок, и она не слишком тянет выдающиеся головы книзу. Такая культура – счастливейшая пора в истории народов, и добиваться ее – долг их.

Надо заметить, что культуре в смысле закрепления хороших привычек у нас придают обыкновенно слишком мало значения, а между тем это – все. Даже люди высокооригинальные и одаренные, как бы от природы просвещенные, и те без воспитания гибнут или выходят уродами, главная же масса человечества, подавляющая большинством, шагу не могла бы ступить вне своей культуры; она могла бы не только трудиться (всякий труд требует выработанной техники), но даже развлекаться, обмениваться мыслями: ведь все решительно, до мельчайшего жеста, до оттенка чувства или мысли – все это в среднем человеке не его, а общественное, воспринятое им или путем подражания из внешней среды, или наследственностью. Добр ли человек, зол ли он, вежлив или груб, даже умен ли он или ограничен (если говорить о среднем человеке) – все это продукт известной культуры, взаимного воздействия, которое столь могуче, что почти совершенно придавливает личное творчество души, отпускаемое заурядному человеку лишь в ничтожной дозе.

VI

Возьмите эпоху какого-нибудь культурного расстройства, например время после нашествия варваров на образованные страны или хотя бы наше столетие – время развалин после великого взрыва цивилизации последних двух веков, особенно же теперешнюю Россию, которая от Азии отстала, а к Европе еще не пристала. В такие времена общество не кристаллизовано, аморфно, строй духовный и даже внешний разбиты. Как будто в живом, сложившемся теле порваны артерии

и вены, и клеточки крови свободны течь по какому им угодно направлению. Вы родились, например, где-нибудь в глухом уезде, в какой-нибудь помещичьей семье. В прежнее, хотя и варварское, но культурное время вы обыкновенно оставались на родине, сплетая свои молодые корни с вековыми корнями своей фамилии, своей «вотчины и дедины», поднимаясь от родной почвы вместе с поколением сверстников, столь же неподвижных, сплетая свои ветви с их побегами в одно дружное и цепкое сообщество и своевременно давая жизнь новым и новым отпрыскам, теснящимся у ваших ног. Так было прежде; не то теперь: родители из всех сил бьются, чтобы выбросить ребенка из родного гнезда, из наследственной колеи, без пощады рвут нежные корешки, пускаемые им в почву, его завязывающиеся связи и знакомства, начинающуюся дружбу и любовь, – и выбрасывают, предположим, в уездный город, в приготовительный пансион какого-нибудь немца или француза. Юный, неокрепший еще в домашней культуре организм попадает в совершенно новый мирок, в чужое общество с пестротой чужих обычаев и привычек. Но юность берет свое: тотчас же прорастают новые корешки в новую почву, завязываются новые отношения, устраивается известный уклад жизни. Но прошло два-три года, мальчика пора везти в гимназию, в губернский город, за сто верст от уездного. Снова рвутся завязи и побеги и разбивается духовная постройка юноши. Пусть читатель вспомнит свое детство и ту невыразимую боль души, с которою приходилось отрываться от родной семьи: это была боль разрыва по живому, так сказать, телу, разрыва органических, кровных связей. В губернском городе маленький организм опять кое-как приспособляется, неистребимая жажда жизни заставляет его и здесь искать тепла и света среди товарищей и учителей, пускать отростки чувств в местное общество, тем более что подходят годы для таинственного процесса любви, завязывания вечных связей. Но в губернском центре столько разбрасывающих, центробежных влияний. Тут есть и реальное училище, и кадетский корпус, и какая-нибудь техническая школа. У родителей на-

чинаются колебания: что окончательно выбрать? Как бы не промахнуться! Путей столько и все с такими далекими, заманчивыми перспективами, и все они расходятся так далеко, что раз пошел по известной дороге – сворачивать поздно. В гимназии мальчик хиреет, засиживается по два года в классе: не он одолевает латынь, а она его. Является у родителей соблазн: не перевести ли его в реальное училище? Ведь оттуда можно в тот или другой институт – карьера прекрасная… И вот едва мальчик начал устраиваться в гимназии, входить в колею, его часто снова вырывают оттуда и бросают в новую обстановку; а случается, что юноша перебывает в целой полдюжине училищ, прежде чем добьется высшего образования. Это последнее снова требует ломки жизни: из губернского центра с только что начавшимися, неокрепшими связями юноша прямо переносится на совсем иную планету – в столицу. Все, что сложилось в ранней молодости – знакомства, привязанности, привычки, – или совсем, или на очень долгое время отходит, исчезает. В огромном большинстве случаев молодой человек, ухвативший, наконец, диплом – цель стольких терзаний и разрывов, – уже не возвращается в родное гнездо, как упорхнувший в пространство птенец. Да и где его настоящее гнездо? Родительский дом, может быть, уже опустевший за долгие годы разлуки, дом, окруженный незнакомыми, новыми людьми? Или уездный пансион, или губернская гимназия, где тоже похоронено много сладких и грустных воспоминаний? Или, наконец, место последнего приюта, «святые стены» almae matris? Оказывается, «гнезд» много – и все разоренные для юноши, опустевшие. Но пойдем дальше. С окончанием высшего курса (который часто меняется: выбор учебных заведений и кафедр – большой, и тут ошибиться еще непростительнее, то есть направление жизни ломается еще раз), молодой человек не остается в столице – иначе она была бы мгновенно наводнена интеллигентным людом, – а отправляется «на место», в огромном большинстве случаев совершенно для себя неожиданное и далекое. При обширности России и обилии окраин, которые требуют обрусения и

охраны, – молодому «интеллигенту» приходится заезжать Бог знает в какую даль и глушь, совершенно в иной мир, в иное общество, порывая окончательно связи и направления, сложившиеся в столице. А затем переводы еще с места на место в видах карьеры и движения по службе. Посчитайте, сколько раз, сколько десятков раз ломается жизнь современного культурного человека и начинается новая жизнь, которую начать – все же не то, что надеть на себя свежую рубашку.

Не чем иным, как именно этим постоянным раздергиванием русской интеллигенции в последнее столетие и невозможностью сложиться человеку я объясняю себе изобилие у нас всех этих «лишних людей», гамлетиков, нытиков и слабняков, потомство которых получил в наследство от Тургенева и значительно приумножил в литературе А. П. Чехов – этот Гомер расслабленного нынешнего поколения, поколения не героев. Разброд интеллигенции есть расстройство культуры, расхищение веками складывавшегося типа расы, который служит фундаментом каждого отдельного характера.

VII

Эта сторона культурного быта у нас еще не изучена, но крайне любопытна. Непрерывная перетасовка населения, не дающая ему нигде сложиться в прочные, сильные общественные группы, – условие, разъясняющее многое в русской истории. Человек живет обществом, а общество у нас постоянно расползается и разбредается. Я, например, уроженец Псковской губернии, но мои товарищи детства и друзья молодости разбросаны теперь по всему свету, от Царства Польского до Сахалина включительно. Один из них, например, родился в Луге, воспитывался в Пскове и Кронштадте, служил в Финляндии и Петербурге, пока не попал во Владивосток. Другой родился в Таганроге, учился в Полтаве и Петербурге, служил в Кронштадте, переведен был в Казань, а оттуда в Семиреченскую область, теперь же собирается попасть на пятитысячный оклад в Читу. А ему всего еще тридцать лет. Третий родился

в Петербурге, воспитывался под Петербургом, служил в Москве, Варшаве, Одессе, странствовал за границей и основался «пока что» снова в Петербурге. Четвертый друг, уроженец Одессы, воспитывался в Петербурге, хозяйничал в Подольской губернии и собирается на службу в Баку. Пятый, уроженец Архангельска, воспитывался в Кронштадте, попал на службу в Николаев, перевелся в Архангельск и затем снова в Николаев. Утомительно перечислять всех; замечу только, что еще очень недавние близкие мои знакомые – теперь в Средней Азии, кто в Сибири, один очутился в Лондоне, другой – в Нью-Йорке, и из тех, с кем я вырос, никого уже нет возле, и это за какие-нибудь десять-пятнадцать лет. Каждый читатель, я думаю, может подтвердить на круге своих связей этот закон рассеяния русской интеллигенции, кроме разве немногих, особенно удачно устроившихся счастливцев. Те, кто нынче остается на месте, где вырос, обыкновенно – самые ограниченные люди, на которых нигде нет спроса: эти врастают в почву и живут довольно крепко и благополучно.

Спрашивается: есть ли возможность при таких условиях сложиться какой-нибудь сильной и единодушной корпорации, какой-нибудь прочной собирательной единице? Возможно ли живое общение между полузнакомыми или вовсе не знакомыми людьми, возможны ли общие интересы и задачи, взаимная поддержка и совокупные усилия? Возможно ли живое, настоящее общество? Невозможно, и такого общества у нас нет, так же как нет и крепкой общественной культуры. Все мы живем «по запечью», каждый по себе и все враздробь, и ни до чего общественного нам поэтому и дела нет. Живое общество в настоящем смысле его складывается там, где каждый «знавал вашего папеньку, вашу почтенную матушку, хлеб-соль их кушал», где все знают ваши корни, и вы знаете корни всех – не по формуляру только, а живым общением с давних времен. Теперь в расстроенном, смешанном быту даже и при знакомстве не образовывается общества: все знают один другого лишь одной точкой, знают формально, все homo novus'ы друг для друга. Этого достаточно для делания взаимных визитов или даже для

партии карт, но не более того. Глубоких исторических связей, преданий, опыта отношений нет, а без них нет и общества, – вот почему наша молодая интеллигенция столь бессильна и наша образованность столь бесплодна. У нас есть заимствованные идеи, но нет характера или, говоря языком Шопенгауэра, у нас, может быть, и есть «представления», но нет «воли», нет могучих накопленных рядом людских наслоений общественных привычек, перешедших в инстинкт, нет живой истории из рода в род, нет достаточно крепких ни хороших, ни дурных традиций: большинство из нас чувствуют себя приезжими, чужими в своей стране, так как родная связь с местностью, стихия кровных отношений к людям не успевает сложиться.

Наплыв западной цивилизации в течение последних столетий не только не упрочил нашу культуру, но страшно ее расстроил, решительно выбив из колеи все сословия, все миросозерцания, все старые формы жизни. Я говорю это не для того, чтобы превознести старую жизнь, но чтобы напомнить, что мы вышиблены из колеи, что хотя прежняя дорога была кривая и узкая, но теперь мы сброшены вовсе с дороги и плетемся вне ее, по целине болот и лесов. Бывают, конечно, случаи и в истории, когда дороги до того непроездны, что громадные обозы объезжают их прямо по полю, по ступицу в земле; но нормальный путь – все-таки дорога, пробитая рядом поколений и которая постепенно должна расширяться и выпрямляться. Нынешний момент истории особенно дает это чувствовать. Взрыв открытий и изобретений двух веков потряс до основания весь европейский мир – и в особенности Россию: человечество переживает страшный культурный перелом, историческое бездорожье, когда древний путь разрушен, а новый не проложен. Но в Европе, по ее небольшому пространству, переполненному людьми, издавна культурными, нынешнее расстройство быта не так чувствительно: слишком глубокие корни имела там старая культура, сама по себе достаточно высокая. У нас не то: на необъятном пространстве России население беспрерывно растекалось, рассеивалось, бродило, не будучи в состоянии сколько-нибудь насытить со-

бою это безбрежное пространство и испаряясь в нем, как разлившаяся по степи лужа. То печенеги и половцы, оттеснившие нас еще на заре истории от наиболее удобного для гражданской жизни берега моря, то удельная система с постоянною перекочевкою князей и их дружин, то татары, оборвавшие завязи культурного быта, то затем собирание земель, тщательно стиравшее местные особенности, то эпоха немцев при Петре и после Петра, то крепостное право, раскол, кровавые войны, жестокие поборы и притеснения, то, наконец, разорение и безземелье расстраивали и постоянно сгоняли русскую народность с насиженного места. Даже наш государственный центр – столица – каждые 200–300 лет перекочевывала с места на место (Новгород – Киев – Владимир – Москва – Петербург), и даже последний ее привал как раз пришелся среди финских болот, в негостеприимнейшем, отдаленном захолустье, так что весьма возможно, что наша столица снова будет перенесена куда-нибудь, о чем уже множество раз заходила речь.

<VIII>

При подобной неустойчивости истории, беспрерывном взбалтывании ее наша народность не успела кристаллизоваться, отлиться в свойственные ее природе грани и до сих пор пребывает бесформенною, с крайне слабо выраженным национальным типом. Возьмите англичанина, француза, немца: куда бы они ни попали, они остаются самими собой; точно отлитые из бронзы, они не подчиняются чужой культуре, и нужно несколько поколений, чтобы, например, обрусить такого европейца. Наоборот, русские очень охотно сливаются со всеми народами: в Париже – офранцуживаются до потери языка, в Якутской области – объякучиваются и даже до того, что бросают избы и становятся кочевниками; в Эстляндии и Финляндии – очухониваются, и в Гельсингфорсе, например, в двух шагах от Петербурга, дети православного купца Синебрюхова уже не понимают по-русски. Достоевский, влюбленный, кажется, до самозабвенья в русского человека, считал эту черту

«всечеловечеством», хотя правильнее было бы понимать ее как «недочеловечество», недоразвитие, зоологическую невыработанность, – словом, некультурность. Русский человек – «недочеловек», tabula rasa*, сырой, недоконченный человек, в которого слишком мало вложено извне исторической обработки: «природа не мудрила долго: хватила топором – вышел нос, ударила другой раз – вышли губы, да так и пустила в свет: живет, мол». И в городе, и в деревне, как справедливо замечает Леруа-Болье[3], русские массы не чувствовали над своими головами веяния ни эпохи Возрождения, ни Реформации, ни других течений – все это для них как бы не бывшее. Отчего европейский человек так прочен, силен и развит, отчего земля его, дом, обстановка столь упорядочены, устроены, когда русский человек так рыхл и ненадежен, а земля его истощена, дом и обстановка подперты кольями, еле держатся? Да все оттого, что в европейца очень много вложено всякого капитала, умственного и материального, тогда как в русского вложен грош. В европейца вложено наследство античной цивилизации, которое он затем постоянно приумножал, накапливая тысячу или полторы лет, обращая в нетленное золото искусства, науки, законодательства, промышленности. Весь этот огромный капитал постоянно вкладывался в почву, возвращался с лихвой и снова вкладывался и т. п. Как в электрическом аккумуляторе, в среднем европейце наследственно накоплялась энергия, выдержка, неутомимость, сознание своей силы и подобающих силе прав. Как огород французского крестьянина ценится в сто раз дороже русского и дает в сто раз больше дохода, так и сам француз в среднем несравненно работоспособнее русского – по одной общей причине: француз и его почва – культурны, русский же со своей землицей еще дики, несмотря на ровесничество с Западом.

Этим я вовсе не хочу сказать, что мы совсем некультурны, что у нас нет никаких нравов, никаких обычаев, никакой наследственности. Все это есть (иначе мы давно бы сошли со сцены истории), но все это или некорректно, или еще перво-

* Чистая доска (лат.). – *В. Т.*

бытно и потому обречено роковым образом уступать и отставать. Мы и уступаем, мы и отстаем, и едва ли во всей нашей истории, даже при татарах, мы отставали от Европы больше, чем теперь. Европа уже завладела главною твердыней нашей национальности – миросозерцанием верхнего нашего слоя, его образованием, идеалами. Наша интеллигенция психически уже не русская, почему она так плохо понимает народ и народ так плохо понимает ее. Начиная с Петра I, мы уступили более сильному Западу, и сколько бы ни сопротивлялись остатками своей старинной самобытной культуры, неудержимо будем подчиняться и уступать: сила солому ломит.

Таков смысл исторического воспитания, духовной выработки, культуры: она вооружает каждую отдельную личность силою рода, психическими свойствами целой расы. Только в определившейся расе человек является в расцвете своей природы, в полноте типа. Но всякое накопление, всякая организация требует известного спокойствия, постоянства условий, то есть консерватизма. Это требование до такой степени, безусловно, важно, что индусы освятили его в виде божества. Второе лицо индусской троицы – Вишну – бог консерватизма равносилен Браме – творящему богу. Эта основная важность консерватизма составляет его правду, чувствуемую всеми, и только этою правдою консерватизма – какой бы он ни был – и держится. Только в силу этого бессознательного признания огромное большинство людей столь недоверчивы к новизне и до того консервативны, что эта черта иногда принимает даже болезненный характер. По словам Ломброзо, большинство людей страдают *мизонеизмом*, то есть отвращением к новизне, какова бы она ни была, и болезненною приверженностью к старине, опять-таки не разбирая – хорошей или дурной. Всем известный пример – наши старообрядцы. Убедившись в ряду поколений в безусловной важности накопления опыта и хороших навыков, люди свое уважение к культуре переносят из сознания в инстинкт, то есть самую культуру делают предметом культа. Но раз она становится священной и неприкосновенной, она останавливается и из живой, движущей силы становится

энергией задерживающей, тормозящей. Как поезд, в котором вы едете: пока он движется, он несет вас как бы на крыльях ветра, но раз он испортился и стал – он является главным препятствием дальнейшему вашему движению. Прикованные к поезду своей истории, люди чувствуют себя беспомощными вне его; они делаются до того консервативными, что срастаются сердцем иногда даже с уродливою, противоестественною культурою, отстаивают рабство, невежество, насилие, нищету, подобно тому как старообрядцы отстаивают явно искаженные тексты и священные изображения. Привычка – вторая природа. Только идолопоклонством пред истиной консерватизма можно объяснить странную непоследовательность некоторых высокогуманных, утонченных наших писателей, вздыхающих о временах заведомо мрачных, заведомо несчастных (если говорить не об отдельных лицах или сословиях, а обо всей земле). Истина очень часто защищает ложь, и я думаю даже, что только правдой, вступившейся за зло, по великодушию или простоте, зло и держится, и, лишись оно поддержки жизненного, любовного начала, – оно бы рухнуло.

Возвращаясь к «Собакам» Я. П. Полонского, я с грустью думаю, что мы имеем перед собою именно такой случай, когда знаменитый и возвышенный поэт побуждается внутренней, глубокой правдой – к несправедливости, к одностороннему отрицанию эпохи, наименее этого заслужившей, имевшей на своем знамени свою не менее великую истину.

IX

В нерасположении к либерализму Полонский не одинок среди поэтов. Почти все наши великие и даже просто талантливые художники слова были консерваторами. Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Майков, Фет (не говоря о более мелких созвездиях поэтов), как настоящие светила, держались *тверди* – вполне твердой и установленной традиции. Чтобы не подтверждать это излишеством примеров, ограничусь Пушкиным и Лермонтовым. Титаны поэзии, они стоя-

ли целым корпусом выше современного общества, глубоко и тонко презирали это общество, задыхались в нем и даже задохнулись – и, тем не менее, оставались верными этому обществу до мелочей, до пожертвования жизнью перед призраком qu'en dira le monde*. Ведь ни более ни менее как кровью своей оба великих поэта засвидетельствовали свою беззаветную преданность общественному консерватизму, и это свидетельство тем ярче, что жертва была принесена не за величайшие принципы традиции, а за мельчайшие. С одной стороны, вы видите удивительно свежее, облагороженное чувство и лучезарный ум, глубокий и ясный, а с другой – тут же, рядом, их покорное рабство самым мизерным суевериям тогдашнего общества. Нужды нет, что оба великие поэта будировали, подвергались ссылке и в едких – впрочем, весьма немногих – стихах изливали свою желчь: это не мешало им самим оставаться строгими консерваторами, не только любившими, но просто влюбленными в первоначала тогдашней жизни. Быть может, в молодости Пушкин (в 1821 году) и позволял себе повторять ходячие либеральные взгляды («Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию Царя» и пр.), но, войдя в полноту развития, в возрасте за 30 лет, он уже открыто защищает то же самое рабство**. Такова уже была тогда эпоха, возразит на это читатель: консервативное время – и поэты были консервативные. Я это именно и хочу доказать: что поэты только выражают эпоху, а не ведут ее вперед. Хотя этот период действительно был погружен в гипноз т. н. «реакции», однако до полного ее «транса» ни Пушкин, ни Лермонтов не дожили и в течение всей их жизни в том же кругу, где они вращались, довольно ярко мерцало и либеральное настроение. Пушкин был даже близкий приятель многих декабристов, хотя они и остерегались посвящать его в свои планы как человека «легкомысленного». Точно также не сошелся Пушкин и с предтечами либерального движения «сороковых годов» и даже, на-

* Что скажет мир (фр.). – *В. Т.*

** См.: «Александр Радищев», «Мысли на дороге», «Разговор с англичанином» и пр. заметки Пушкина. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

против, враждовал с ними (с Надеждиным[4] и Полевым). Что до декабристов, это были кровные аристократы, превосходно образованные и возвышенного характера, нельзя отказать и предтечам «сороковых годов» в замечательных дарованиях и благородстве души. И тем не менее Пушкин не сошелся ни с тою, ни с другою партией: прекрасные люди этих партий были настроены отрицательно к окружающей действительности, а Пушкин – положительно. В минуты душевного подъема Пушкин иногда проклинал свое общество («Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом» и пр.), но в обыкновенное время он самым нелицемерным образом погружался «в забавы света» и растворялся в массе. Он был глубоко проникнут и верою, и суевериями своего века. Услышав о готовящихся событиях в 1825 году, Пушкин решил было ехать и пристать к движению (по долгу дружбы) и даже выехал из Михайловского, но на дороге встретился поп – дурная примета, перебежал дорогу заяц – это уж совсем было плохо, и смущенный поэт приказал повернуть назад… Вот до каких глубин своего существа это был приверженец традиции, плоть от плоти своего времени. Мятеж 14 декабря впоследствии он порицал вполне искренно и даже горячо (известный стих в «Послании» к декабристам: «Темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам подадут» – всего проще понимать как картину возвращения арестованным шпаги). Хотя в высшем же свете, по словам кн. Вяземского, был кружок лиц, благоговевших пред поэтом за его талант, Пушкин неизменно оставался в надменных, пренебрегавших им слоях или среди кутил самого беспечного пошиба. Почему это? А потому, что все эти возвышенно настроенные люди тянули в сторону от действительности, отрицали ее – конечно, в очень условной степени, – тогда как Пушкин всем сердцем принадлежал ей. Увлечение Карамзиным, погружение в историю, создание «Бориса Годунова» – национальнейшей русской драмы, патриотические оды последних лет жизни – все это говорит за то, что Пушкин – живи он до наших дней – явился бы искренним противником либеральных движений как скрытых (сороковые года), так и

открытых (шестидесятые). Подобно Тютчеву, Фету, Майкову и самому Полонскому, Пушкин или отошел бы от нового течения, или стал бы во всей силе огромного таланта, чтобы, подобно Алексею Толстому, вызвать «течение встречное». Он выполнил бы свою заветную мечту – написал бы классический роман или ряд романов из русской жизни первой четверти нашего века, где отразилась бы вся поэзия тогдашней дворянской культуры, еще только чуть тронутой скептицизмом (мечту эту до известной степени осуществил гр. Л. Н. Толстой в «Войне и мире»). Пушкин создал бы национальную драму и комедию, до сих пор, строго говоря, отсутствующие; он, может быть, дал бы героическую эпопею, – но все, что он ни оставил бы, было бы лишь отражением лучших сторон существовавшего, закреплением их в чарующие образы, в ясную формулу тогдашней патриархальной культуры. Нет сомнения, что Лермонтов – хотя более отзывчивый к влияниям Запада – остался бы далеко позади общественного настроения, как остался позади его и Гоголь, переживший обоих поэтов. Огромною силою таланта эти столь рано отошедшие великие писатели тянули бы назад, к красоте существующего; они «воспели» бы и закрепили эту красоту, придав крепостной культуре художественную, так сказать, чеканку в национальном стиле и блеск своего гения. Не будучи в силах задержать освободительный порыв общества, великие поэты со своею школою значительно умерили бы его или, лучше сказать, урегулировали бы, уравновесив стремительность как разгара, так и охлаждения общества к реформаторам. Если бы старая, дореформенная эпоха получила всестороннее свое выяснение в литературе, сознание образованных людей 60-х годов оказалось бы более воспитанным, нежели заимствованным, и, может быть, период реформ прошел бы спокойнее, полнее и длился бы дольше: не было бы преувеличений либерализма, но не было бы и сменившего их паралича интеллигенции.

Надо заметить, что не одни поэты, но и замечательные романисты наши, в большинстве – консерваторы: не враги либерального движения, но далеко и не друзья. Вспомните

«Переписку с друзьями» Гоголя, политические романы Достоевского, Гончарова («Обрыв»), Писемского[5], Лескова. До девяностых годов и гр. Л. Н. Толстого считали консерватором, и как художник он и есть таков. Даже Тургенева упрекали, как известно, в отсталости, в том, что он мало сочувствует своим либеральным героям, почти осмеивает их. Правда, «крепостные типы» у него тоже отрицательны, но на лучших из них, особенно на женщинах, как и на всем дворянском быте, положена печать глубокой поэзии и прелести. Как «постепеновец» Тургенев был консерватором культуры иностранной на русской почве. «Передовых людей», Чернышевского, Добролюбова, Писарева он терпеть не мог. Дальше английской системы общества он не шел, а под конец жизни отдался, как Гоголь и Достоевский, мистике.

X

Мне кажется, эта склонность к консерватизму изящных писателей объясняется, прежде всего, характером их дарования. Художник – консерватор уже в силу своего художественного темперамента, как философ должен быть новатором по природе. В самом деле, художественный инстинкт есть повышенное чувство прекрасного; прекрасное же заключается в форме, а не в содержании вещей. Прекрасная форма (эстетика вещи) есть некоторая прочно установившаяся, гармоническая видимость, которую я позволил бы себе назвать *внешнею* истиной данной вещи в отличие от *внутренней* истины или этики ее. Эстетика далеко не всегда совпадает с этикой; прекрасная наружность, по народному опыту, бывает обманчива. Аполлон Бельведерский прекрасен, но когда вы разгадаете содержание его позы и жеста (истребление детей Ниобеи), то они внушат вам иное чувство. Можно любоваться древними стенами какого-нибудь величественного здания, но если вы узнаете, что это тюрьма, восторг ваш поубавится. Для художника прекрасна какая-нибудь боевая сцена, и он вполне удовлетворяется красотою яркости человеческой, но на мыслителя она

производит гнетущее впечатление. «Делибаш уже на пике, а казак без головы»*… Поэт срисовал этот момент, не скрывая своего восхищения: «Каковы?!» – восклицает он. Известный художник Верещагин, как сам признается, очень желал, чтобы повесили в его присутствии двух турецких шпионов, и страшно досадовал на то, что их простили: он потерял случай подглядеть редкие и выразительные позы.

Чистый художник вполне удовлетворяется внешностью вещей, их формой, и проникновение в глубь вещи скорее вредит его работе. В то время как методом мыслителя служит анализ, методом художника – чистое созерцание, вполне освобожденное от условий времени и места. Задача художника – в бесформенной действительности каким-то наитием отыскать форму, некоторый средний, вечный тип меняющейся вещи и воплотить это видение в красках, звуках, мраморе или другом материале искусства. Вечный тип вещи и есть красота ее, элемент устойчивый, неизменный. Самая красивая форма есть в то же время и самая уравновешенная и пригодная для тела. Органический мир полон примерами борьбы форм, причем победившая – наиболее красивая форма – становится типом породы или вида на несчетные века. Художники, мне кажется, служат выражению именно этого свойства природы, ее формирующего начала. Проникнутые духом формы, поэты по самой своей натуре полярно противоположны мыслителям, задача которых – постичь отношение вещей, вечно меняющееся и условное. Дух истины есть в существе своем «дух отрицанья, дух сомненья»; это ангел познавший, возмутившийся, смятенный в отличие от светлого ангела, блаженного одним лишь созерцанием небесных высей. Анализ философа есть разложение, род смерти, при которой из распавшегося явления или вещи исходит их чистая душа, их идея, тогда как созерцание художника есть как бы нарождение идеи в свет и воплощение ее в материальной форме. Но подобно тому, как и в воплощении человеческой души (по древнему верованию)

* *Пушкин А. С.* Перестрелка за холмами (1829 г.). Делибаш – удалец, сорвиголова (тур.). – *В. Т.*

она погрязает в теле, как в тюрьме, скованная плотью, – так и идея, материализовавшаяся в предмете искусства, является прикрытой, часто загадочной и спорной. Одна и та же картина художника часто толкуется на множество ладов: в лице Сикстинской Мадонны находили и чистоту, и милосердие, и любовь, и божественность, и человечность, а один великий русский писатель нашел в нем даже чопорность и ханжество. Вспомните также бесчисленные толкования Гамлета или Фауста. Как художественные картины, они ясны, но в качестве символов философии жизни до сих пор составляют предмет споров. Каждое поколение, являясь в мир и находя в нем великое произведение искусства, влагает в него некоторый особый смысл, особое понимание: для Вольтера[6] – тонкого ценителя и знатока литературы – Шекспир был «пьяный дикарь», а лет через сто Шекспира называли царем и богом поэзии, превзошедшим природу и т. д., а может быть, мы еще доживем до того времени, когда это странное идолопоклонство сменится более трезвым взглядом на английского драматурга. Точно так же изменились взгляды на Расина[7] и Корнеля, на романтизм и т. д. Давно ли торжествовал натурализм, а нынче и его значение уже отрицается, то есть понимается иначе, чем десять лет тому назад.

Таким образом, переменною величиною в искусстве, как и в органической жизни, является содержание, а постоянною – форма. Правда, часто говорят, наоборот, об *изменчивости* форм, но это неточность понятия и языка. Формы не меняются, а лишь *сменяются*, что совсем не одно и то же. Одна школа в искусстве может сменить другую, но если это были истинные школы (то есть выражались великими талантами), то они неизменны, как установившиеся породы животных или растений. Готический стиль может сменить греческий или византийский, но это не изменение, а только смена, и пока человечество существует – великие стили будут неизменны и как бы замкнуты в самих себе.

Таков консерватизм истинно прекрасных форм; неистинные, ложные формы – дело плохих и ложных поэтов, и о них

нет речи. Настоящий, так сказать, химически чистый поэт – консерватор поневоле; это – свойство его природы. Не только наши, но и все великие поэты мира были лишь выразителями, но не реформаторами своих эпох. Данте в своей великолепной поэме излил религиозный дух Средних веков, дал для нее бессмертный и бесспорный документ. Тут же задачу выполнил Мильтон для последующей эпохи и для стран германских. Шекспир отразил всю светскую сторону тех же веков. Но Реформация вытекла не из Данте, английская революция – не из Шекспира, французская революция – не из Корнеля и Расина. Начиная с Гомера и афинских трагиков, закрепивших ионийскую культуру, продолжая поэтами двора Августа[8] и т. д., кончая поэтами двух последних веков до Гюго[9] и Теннисона[10] включительно, – все поэты являлись певцами существующего или существовавшего, носителями национального духа, пророками традиции; как древнееврейские пророки, они формулировали и уясняли законченную национальную культуру, группировали ее жизненные черты в созданиях искусства, чтобы передать в отдаленные века семена прекрасных форм, содержание которых было близко к увяданию. Все великие исторические эволюции произведены не художниками, а философами: ни Моисей, ни Будда, ни Зороастр, ни Конфуций, ни Сократ, ни иные еще более великие учителя и начинатели новых течений не были поэтами, не исключая Магомета. Лютер и Руссо[11] не были поэтами, а поколебали вековые миросозерцания. Гете едва ли уступал Дарвину в степени гениальности (автор «Происхождения видов» вовсе отрицал свою гениальность, утверждая, что его ум не выше, чем у среднего адвоката или учителя), а между тем, кто же станет сравнивать «землетрясение» душ, произведенное Дарвином, с тихим и – в общем – незначительным влиянием на них веймарского олимпийца? Очень может быть, что Гете, как Гомер и Гораций[12], будут читаться и через тысячу лет, когда о Руссо и Дарвине будут знать лишь ученые, но это не меняет вопроса: идеи Гете всегда будут закреплять жизнь, успокаивать ее, тогда как идеи Руссо и Дарвина – раскреплять жизнь, выводить ее из строя. Поэты

вечно будут консерваторами – в лучшем смысле, как мыслители – либералами в лучшем же смысле.

XI

Многие никак не согласятся с таким распределением ролей в обороте человеческого духа. Поэтов, одно имя которых звучит, как нежная мелодия, – просто жаль выпустить из лагеря прогрессистов, учителей и двигателей человечества, из дружины передовых вождей цивилизации. «Поэт – пророк, и в этой роли все поэты себя настойчиво рекомендуют: как же они могут быть консерваторами?» – воскликнет читатель. Вспомните, наконец, Байрона, Гейне, Шиллера, Гюго, Лонгфелло[13], а у нас – Некрасова. Разве это консерваторы? Разве Гете с его насквозь идейною поэзией, обнявшею все скорби века, консерватор?

На все это я замечу, что и эти сейчас названные певцы свободы и скорбей – консерваторы. То, что у них истинно ценно и бесспорно художественно – это картины окружавшей их жизни, картины старой культуры или новых течений, но уже достаточно упрочившихся и отвердевших. То, что воспевали эти поэты как элемент свободы, была мораль, то есть вещь очень старая в своих общих формулах, а именно общими-то местами поэты и ограничивались. Байрон, Леопарди являются, правда, пессимистами, то есть как бы отрицателями жизни. Но, во-первых, обыкновенный пессимизм – не новаторство, а простая болезнь духа, встречавшаяся еще в эпоху Екклесиаста. Этой болезнью названные поэты были заражены от мыслителей английской школы (Гоббс[14], Локк[15], Юм[16]): роль Байрона состояла лишь в разнесении этой заразы по Европе, и если зараза кое-где оказалась благодетельной, то это дело случая. Байрон жестоко осмеивал ханжество и узость тогдашней Англии, сражался за свободу греков, но это не мешало ему гордиться своим лордством больше, нежели талантом, и соответственно тому и жить. И Байрон, и Гете попали в эпоху небывалого возбуждения мысли, я сказал бы, даже воспаления мысли, до

такой степени прилив идей был обилен и кипуч. Как отражатели существующего, поэты не могли не отразить и идейного брожения своего века, причем своеобразно культуре каждого должны были отразиться и либеральные мысли. Они и отразились, но доказательство того, что они были не рождены поэтами, а лишь отражены – эти либеральные идеи вошли в их поэзию механически, во всей своей отвлеченной необразности, как инородные тела в совершенно чуждой стихии. Попробуйте сделать опыт: отделите у либерального поэта его либеральные идеи и посмотрите, много ли их наберется, и богаты ли они качеством? Все это – мораль или повторение ходячих, хотя, может быть, и «забытых слов». Подобные опыты, без ехидной, правда, цели, проделывались многими компиляторами, извлекающими из великих авторов «мнения», «изречения» и «мысли» по разным вопросам. Сборники таких мыслей – именно в отношении новизны последних – поражают своею скудостью. Замечательно также, что так называемые либеральные поэты как у нас, так и за границей – второстепенные и даже третьестепенные величины, а некоторые даже – просто стихотворцы с поэзией, не имеющей ничего общего. Более крупные из них, вроде нашего Некрасова, сами признавали себя слабыми поэтами («Нет в тебе поэзии свободной» и пр.), гордясь лишь ролью гражданских деятелей. Освободительное движение, созданное Христианством, западною культурой и философией XVIII века, заключает в себе слишком много красивых моментов, чтобы не привлечь к себе художников; роли учителей человечества – пророка, провозвестника, жреца, мыслителя – слишком заманчивы, чтобы поэты не захотели примерить к себе ту или иную величавую тогу. Иным эти тоги были если и не по фигуре, то хоть под рост: огромный созерцательный талант казался не слишком странен и в роли абстрактного мышления; но огромное большинство менее даровитых поэтов оказались совсем неудачными мудрецами. Даже Шиллер и Гюго при выдающемся уме только портили свою поэзию модной претензией того времени поучать общество. Дидактические – и в сущности заурядные – мысли не растворялись в их

поэзии, как кремни в воде, и остались в ней навсегда в сыром виде, к великому неудобству читателя. Постоянно взвинченные, возвышенно-вычурные риторические рассуждения на меня, по крайней мере, наводят уныние. К несчастью, и наши молодые поэты заразились этой дурной манерой изображать из себя философов и пророков. Гг. Минские, Мережковские и множество менее известных стихотворцев изо всех сил бьются, чтобы открыть какие-то тайны природы и загадки мудрости, нечто непостижимое и трансцендентальное, они ежеминутно перемножают вечность на бесконечность, громоздят религию на философию, буддизм на психологию, произносят страшные малопонятные слова и вообще сильно ломаются перед публикой. Результат выходит настолько жалкий, даже прямо отрицательный: при назойливейшем желании «дать идею» именно идеи-то и не получается, а выходит иногда явный набор слов, лишенный всякого подобия мысли. Чуть только поэты захотят высказать верную мысль, она оказывается старой и в устах поэта – холодной, рассудочной; а раз попробуют высказать непременно новую идею – она выходит сумбурной и даже противоестественной; словом, обнаруживается декадентство, эстетическое помешательство. Нет сомнения, некоторые из наших молодых поэтов обладают художественным дарованием, и отдайся они своей природе прямо и просто, из-под их пера могли бы выходить серьезные вещицы, правдивые и *умные* картинки окрепших сторон теперешней жизни. Не взваливая на себя «бремена тяжкие и неудобоносимые» – миссию проповедников, философов, вождей человечества, они сразу почувствовали бы себя сильнее и ближе к истине: они подошли бы к ней с им свойственной *внешней* стороны, преимущественно им доступной. Для жизни необходимо знание, но необходима и красота, которая есть то же знание, только образное. И у мыслителей, и у художников одна верховная цель: открыть абсолютную правду жизни, благороднейшее содержание для нее в наиболее возвышенной форме. Мыслитель, как и художник, достигает своей задачи или наитием, или путем анализа, и если нет налицо желаемого содержания, он создает его

в возможности, могуществом воображения, как ученый дает несуществующие в природе, но возможные математические, механические или биологические обобщения. Действительно великие поэты обнаруживают огромный ум, как и настоящие мыслители – недюжинное чутье к красоте, но в обоих случаях второстепенное качество находится в служебном отношении к специальному. Ум великого художника – не более как подмастерье его таланта, как художественное чувство у мудреца. Пушкин обладал сильным и светлым умом, но бессмертие его основано не на образцах мысли, а на образцах поэтического творчества: этот ум менее заметен в стихотворениях и выступает в блеске лишь в дневниках, литературных заметках и т. п. Точно так же и Руссо или Шопенгауэр, несомненно, обладали художественным темпераментом, но заслуга их заключается не в изяществе их творений, а в их глубине. Люди вообще думают неодинаковым способом: одни – в зрительных представлениях, другие – в слуховых, одни помнят вещи как картины, другие – как их названия. Мне кажется, первый разряд людей обладает по преимуществу художественною натурой, тогда как второй – идейною. И те, кто рождены со зрительным сознанием, хорошо сделают, если удовлетворятся этим типом его и не станут во что бы ни стало напрягать зародыши своей слуховой памяти. Каждый может стать во весь свой духовный рост только по главной, так сказать, своей оси, в направлении главной способности, а наши поэты хотят быть во все стороны одинакового диаметра – претензия праздная.

Как человек, разрабатывающий еле заметную серебряную руду, в то время когда кругом богатейшие залежи железа, неизменно проигрывает, так и поэт, эксплуатирующий свое мышление вместо художественного инстинкта. Правда, в последнее пятидесятилетие мыслительные способности в европейском обществе взяли верх над созерцательными, развитие политической жизни, журналистики, науки отодвинули поэзию на задний план (как и другие созерцательные настроения). Поэты и художники, игравшие когда-то при дворах роль любимцев, посланников богов, потонули в толпе новой интел-

лигенции равных сортов и званий. Пророки и судьи общества, они видят себя развенчанными; они боятся, что, отказавшись от поучений на манер философов, они навсегда уступят последним скипетр духовной власти. Я думаю, что опасение это неосновательно. Поэзия – не прихоть известного времени или страны; она составляет в организме духа неотделимое отправление, и человечество всегда будет нуждаться в сладких ощущениях красоты. Истинные поэты всегда останутся пророками и вождями, но их пророчество не в том, чтобы давать отвлеченные формулы природы или общества, а в том, чтобы уже действующим идеям давать полноту развития, служить сложившейся культуре раскрытием ее тончайших свойств и тончайших возможностей. Пусть основной смысл жизни дают великие вероучители или философы, роль поэтов – разработать этот смысл и отыскать ему прекраснейшее выражение. Все великие художники закрепляли свою культуру – и в этом их прямая миссия; великие мыслители расшатывали омертвевшие устои – и это их призвание. Поэты как консерваторы по природе не могут пожаловаться на скромность их роли в живом организме истории, и если бы они этою ролью ограничивались, было бы прекрасно.

XII

Как человек старой дворянской культуры и свидетель ее расцвета, теперь увядшего, Полонский, помимо таланта, имеет огромное преимущество перед поэтами-молодежью. Последние явились во времена развалин, ничего цельного и крупного не застали, ни к какой культуре не приобщились. Ему есть что сказать, им, может быть, и нечего. Он заканчивает собою известный исторический процесс, а они являлись в самом начале нового, выросли среди груды строительного материала. Русская молодежь – и даже поколение среднего возраста – почти не помнит старых хором русской жизни, а Полонский их помнит. Он мог бы порассказать многое в жанре Пушкина, Лермонтова, Гоголя или хоть в жанре Тургенева и

Фета, которые, выражаясь языком спиритов, извлекли из своей эпохи астральное ее тело, ее невесомую субстанцию, способную принимать все телесные образы прежней жизни. Видения этой жизни – самое дорогое, что сохранила из прошлого память русской интеллигенции. Нынешние поэты и рады бы повторить подобный сеанс с теперешней эпохой, и, может быть, как медиумы поэзии, они достаточно сильны, да нет существа, дух которого можно было бы вызвать. У теперешний эпохи еще нет духа, потому что не сложилось еще и тело ее, нет культуры, организующей бытие в живое существованье. Но уж если молодые поэты не в силах отразить в себе духа времени, истолковать его (за его отсутствием), то почтенному Я. П. Полонскому это тем труднее: он и родился, и сложился совсем под иными небесами, под иными созвездиями.

Что у Полонского, как у всех старых писателей, есть наклонность идеализировать старину, это в высшей степени естественно и доказывает только чистоту его поэтической природы. Как поэт и консерватор, он и должен быть влюбленным в старину, какова бы она ни была, лишь бы это была прочная система жизни. А крепостная старина, если на минуту забыть о ее пороках, и сама по себе была явление красивое и колоритное. Во множестве усадеб завязывался прочный и изящный быт, создавалось глубокое миросозерцание и свойственная всякому культу поэзия. Так называемые «крепостники» не без основания полагают, что тридцатые и сороковые годы были эпохой единственного в истории и самого высокого подъема нашей национальной культуры и что едва ли в ближайшие века повторится сочетание таких редких условий: патриархального «лона природы» с утонченностью образованного быта, сурового рабства с семенами гуманной цивилизации. В особенности трудно ждать повторения рабства в прежней его наивной форме, а между тем такое рабство – род живого идолопоклонства – придавало старинному быту мифический облик. Тогда жили не только простые смертные, но как бы живые полубоги, существа какой-то иной природы, иного, высшего происхождения. Это мистическое неравенство исповедовалось

как вера и вверху, и внизу и возвышало верхи культуры так, как никогда уже не поднимет их никакое другое неравенство – экономическое, образовательное и т. п. Для поэзии жизни не будет в ней чудесного элемента безграничной власти человека над человеком, элемента человекобожия, отмеченного Пушкиным в «Анчаре». Не повторится также и глубокое невежество народное, и девственность природы – все элементы молодые, со свойственною юности способностью очарования. В старину земля наша была велика и обильна, природа еще была девственна и не расхищена, еще целы были «леса, поля, долины, горы, воды», таинственная жизнь которых, сливаясь с жизнью человека, придает последней столько величия и красоты. Не было фабрик, казарм, заводов, трактиров, лавок, ситцев и самоваров. Народ был еще не тронут гноем городов, сидел дома, пахал землю, пел тысячелетние песни, слушал вековые былины и сказки, ковыряя в досужие вечера при неровном свете лучины свои липовые лапти. Миросозерцание было сведено до двух-трех формул, но зато прочных и неподвижных, как три кита, на которых в то время земля держалась. Мужик был глубокий варвар, но варвар культурный, установившийся, и притом свежий и непосредственный, как дикая степная лошадь, как крепкий дуб, купающийся в солнечном воздухе. Мужик был явлением природы и входил в разряд стихий. Среди этих не отравленных еще стихий стояла усадьба – колыбель русской поэзии и литературы. Просторный старый дом с тесовою крышею, осененный вековыми липами, с разбегающимися полями вокруг и зубчатою стеною леса на горизонте, куда ни взгляни, с соломенными крышами деревень вдали и сияющими крестами церквей над зеленью. Таинственные темные сени, террасы, лестницы, балконы, вышки, светелки, горенки, терема, дорожки, сбегающие в сад, с его насыщенною медом растений атмосферою, глухими уголками и беседками, с вьющейся за садом речкой, заросшей тростником и лозою, со старою банею над обрывом и легендами о леших и утопленниках. В доме – старинная мебель, ряды темных портретов предков, сияющие в ризах образа, старинная утварь, толпы преданных слуг, ла-

сковых нянюшек и дядек, – стихия покорности и угодливости. Какие предания передавались в этих дворянских семьях, какие сказки рассказывались в долгие зимние вечера при сальной свечке в детской, какие сентиментальные романы читались в горенках и светелках, как горячо молились перед освещенными лампадкой серебряными ризами! Кто помнит в своем детстве то простое, но широкое изобилие, деревенский простор, цветущие майские утра, летние долго гаснущие вечера, прогулки в лунные ночи среди призраков и волшебных заклинаний соловья, «певца любви, певца своей печали»*, – кто не забыл росистые зори, шумные охоты, зимние вьюги, кто помнит веселое, беспечное общество с играми и затеями, дышащее здоровьем, верой и простотой семейного патриархального быта, – кто все это помнит и сравнит с унылою прозой теперешнего оскуденья, с недостатками и недохватками, с необходимостью работать что прикажут и работать много, с нынешней жизнью в тесноте городской сутолоки, в противном, загнившем воздухе, «на втором дворе» где-нибудь, – тот поймет чувства старого, уже сходящего со сцены поколения.

XIII

Не мудрено, что наши выдающиеся поэты – консерваторы. Как поклонники красоты, они должны предпочитать прошлые, феодальные времена теперешним. В отношении форм жизни те жестокие и темные времена были несравненно богаче и ярче теперешних, как старинные средневековые города – красивее нынешних с их утомительною правильностью и опрятностью. В старую крепостную эпоху, по пословице, что ни город, то был норов, что деревня, то обычай. При крайней затруднительности сообщений отдельные страны и провинции был замкнуты и вырабатывали волей-неволей свою особую культуру, свой стиль, одежду, образ жизни и образ души. Тогда образовалось несколько характерных, неподвижных человечеств, отдельных миров, где все было свое и все особое.

* *Пушкин А. С.* Певец (1816 г.) – *В. Т.*

Из страны шелковых камзолов, готических соборов и мрачных замков вы могли попасть в страну живописных тюрбанов и фустанелл, в край минаретов и куполов, увенчанных луной. Оттуда вы могли отправиться в землю колоколен и золотых маковок, боярских шапок и сарафанов; далее шли таинственные царства халатов и тюбетеек, многоэтажных фарфоровых башен, каменных идолов и плоских крыш. Сравните тогдашний необычайно пестрый и разнообразный мир с теперешнею монотонностью цивилизации, при которой всюду вас встречают те же каменные крытые железом дома, те же мостовые, конки, телеграфы, те же котелки, цилиндры и пальто с одинаковыми тросточками и зонтиками – как в Париже, так и в Нагасаки, как в Архангельске, так и на Мысе Доброй Надежды. Конечно, кое-где на Востоке еще осталось немножко национальных черт, и я, например, еще видел на придворном балу в Афинах министра в белой юбке (старинный греческий костюм), но это была своего рода дерзость: тот же министр в другое время одевался по парижскому журналу. Даже султан турецкий из всего национального обряда жизни сохранил только гарем да феску, да и то одалиски в гареме одеваются уже у Ворта и играют на рояле. Даже японская микадесса, судя по портретам в иллюстрациях, из прелестного, художественного керимона переоделась в безобразнейшее европейское платье и даже с более громадным, чем требовалось модой, турнюром. Королева Мадагаскара Ранавало, курчавая негритянка, тоже надела корсет и пышный шлейф. Я боюсь даже, что загадочный Далай Лама, когда до него, наконец, доберутся европейцы, предстанет перед ними во фраке… Индийские раджи ведь уже облачились в этот «вертихвост».

Так более сильная, может быть, более хищная цивилизация стирает все особенности духовно ею покоренных стран, устанавливает однообразные, обязательные шаблоны. При этом исчезают целые миры красивых, картинных форм – и не только костюмов и зданий, но и идей, преданий, обычаев, настроений. Заметьте, что не всегда высшая форма побеждает низшую, так как борьба идет между содержаниями культур, а

не формами их. Если более сильное и молодое существо одной культуры одолеет обветшавшую или болезненную суть другой, то неуклюжая внешность первой – например, фрак – может вытеснить более живописную второй – как в одежде, так и в духовном обличье. Черный сюртук Франклина – представителя честной, трудовой культуры – вытеснил розовые и голубые кафтаны французских маркизов с кружевами и золотом их, а отсутствие всякой прически, нынешняя безвкусная стрижка под гребенку заменила пышные парики и букли. Новая эпоха – несравненно бледнее и монотоннее прошлой; художнику и поэту, когда-то видевшему воочию иную жизнь или, по крайней мере, изучившему эту жизнь на сцене, в музеях, литературе, – более чем кому-либо ясно разорение, внесенное протестантской цивилизацией в области красоты как вещественной, так и идейной. Саксонская раса, наиболее вдумчивая, не отличается вкусом, и печать этого безвкусия легла на весь современный культурный мир, подавив изящество духа католической, арабской и японской цивилизации. Внутренняя правда немецкой культуры разрушила в области идей еще более живописных форм, нежели в области внешнего обряда. Рационализм протестантства, неизбежно приведший к отрицанию всякого рода культа – политического, религиозного и даже национального, – рассеял множество иллюзий, психических вековых привычек, суеверий и предрассудков, имевших одну дорогую человеку черту: они ему были *милы*. Эти суеверия составляли часть психического организма человека, и отнятие их оставляло в его сердце пустоту и раны. А протестантизм отнимал у старого общества самые интимные верования, не заменяя их ничем. Вся идея протестантства, постепенно развившаяся в политике и философии, заключается в слове «нет», которое, каким бы громовым голосом ни было произнесено, никогда не заменит самого крошечного «да», хотя бы вполне ошибочного. Атеизм в религии (продукт крайней левой отрасли гегельянства), анархия в политике (продукт той же отрасли: Бакунин[17] воспитался на Гегеле), материализм в науке, натурализм в искусстве – все это великие отрицания немецкого духа, вытекшие

из протестантства. Общий итог этих отрицаний – гартмановский пессимизм – всего глубже выражает суть современной по преимуществу германской цивилизации; он буквально повторил отчаянный вопль буддизма и воскресил для человечества гнетущий призрак смерти, рассеянный было Христианством. Может быть, это – истины, все эти отрицания, но от них человеку не легче, а тяжелее. Ведь азотная кислота – тоже истина, но, соприкасаясь с телом, она его жжет и убивает. Микроб холеры – тоже истина, но вводить его в организм гибельно. Есть идеи-яды, идеи-микробы, которые, войдя в миросозерцание человека, в организм его души, пожирают его и убивают. Таковы эти детища протестантского рационализма. Как мышьяк в малой дозе – не яд, а лекарство, идея отрицания сослужила свою пользу, но в больших дозах это сущая отрава, остановка творческого процесса жизни. Что может взять для своего счастья жизнь у философии, доказывающей, что лучше не жить вовсе? А ведь это – в своем роде заключительное слово прогресса – amen протестантской культуры.

Итак, художники со своей точки зрения совершенно правы в недоверии к новой эпохе и в консервативной привязанности к старой. Там больше красоты, больше надежды, жизненного начала; здесь же пока – пустыня, холод… Задолго до «Собак» Полонского, более полувека тому назад, великий поэт предвидел печальную участь поколения, вступавшего тогда в новую эпоху, предсказал пустоту и тьму, ожидавшие его в будущем, и, наконец, бездействие «под бременем познанья и сомненья»*. Относительно того поколения (40-х годов) это была ошибка: именно то поколение и оказалось наиболее деятельным и светлым, может быть, потому, что в новый мир внесло одушевление, собранное еще в старой, крепостной колыбели. В нем еще жили в инстинктах и вера в мировую тайну, и чувство долга, и умиление к прекрасному, и чувство самоотвержения – все то, что дает человеку культ и чего не может дать ему нынешнее бескультурное время. Именно этою силою духа и совершилось все хорошее в России за последнюю половину

* *Лермонтов М. Ю.* Дума (1838). – *В. Т.*

века: создались литература, искусство, начала наук, и этою же в старину сложившеюся силою были подняты реформы и поколеблены вековые устои. Некультурное поколение, вроде нашего, воспитавшееся на развалинах, не смогло бы выполнить, быть может, и этой задачи – не только задачи творчества, но даже разрушения. Поэты правы в своем консерватизме.

XIV

Однако пора показать, в чем они и неправы, выпуская, как это сделал Полонский, «Собак» на либералов. Либерализм или – возьму более широкий термин – реформация не есть произвольное измышление злоумышленников, заговор кучки горячих голов. Это тоже продукт культуры, да, пожалуй, еще и лучший продукт. В этом огромном историческом движении на пространстве четырех веков, взволновавшем все христианское человечество, были глубокие и справедливые причины, была самая заслуженная необходимость. Кроме внешней правды, красоты вещей, есть, как я сказал выше, и внутренняя правда, нравственность вещей, а ее-то и недоставало старой эпохе. Культура – дело великое и святое, но она должна быть основана на великом и святом начале, а этого-то и не было в феодальном строе: он держался на греховном принципе, безусловно, противоположном Христианству. Либерализм в его жизненной, средней мере не отрицает культа ни в религии, ни в политике, ни в искусствах, он только требует, чтобы это был добрый культ, а не злой, чтобы сердцем его была не языческая, а христианская правда. Феодальный мир, далеко еще не весь исчезнувший и до сих пор, был основан на завоевании, на праве сильного, на римском и древнегерманском обычае; основною осью его тогдашнего общества было поставлено насилие, и к ней уже пристраивались все бытовые подробности. Даже само Христианство (католическое) перестроилось на этот языческий принцип и пыталось внести в область совести тот же произвол силы, какой господствовал в политическом устройстве. Но это было уже покушением не только на тело, но и на душу людей,

и дух человечества восстал. Как ни предана старине людская масса, как ни глубок был тысячелетний гипноз средневековой культуры, но Европа пробудилась и пожелала свежего воздуха. Отчего произошло это чудесное пробуждение? Вопрос крайне интересный, но трудноразрешимый. Перелом духа приписывают влиянию античной культуры, вошедшей в моду; но, мне кажется, еще более глубоким источником Возрождения была религия. Наряду с торжествующими языческими принципами во все Средние века подавал свой божественный голос и Христос – через Евангелие, книги апостолов. Этот кроткий голос среди звона мечей о железные шлемы говорил о красоте любви, о красоте братства человеческого, об отраде жертвы за ближних, о том, что это-то и есть царство небесное, всем и всегда доступное. При всем стремлении пап заслонить собою небесный авторитет, Церковь настойчиво говорила о существовании вечного и великого Бога, перед властью которого – ничто все земные власти и тленные величия. У язычества не было этой единой для всех людей верховной инстанции, к которой могло апеллировать все обиженное и возмущенное, а у христиан она была. Вспомните слова Тэна относительно воспитания человечества Христианством. Со времен язычества, по его мнению, изменилась *самая глубина душ*, явились психические требования, непримиримые с древними порядками. Создались два великих, чуждых язычеству инстинкта: *совесть* и *честь*. Что касается чести, она еще могла сосуществовать с несправедливостью, но совесть вступила с ней в великую борьбу. «Один в присутствии Бога, – говорит Тэн, – христианин почувствовал, что в нем, как воск, растаяли все связи, соединявшие его с жизнью его общества; он увидел себя пред лицом непогрешимого Судьи, который видит души и судит их каждую отдельно, а не в общей куче. Перед судом Божиим ни одна душа не отвечает за другую, и ей вменяются лишь ее поступки. Эти поступки имеют бесконечное значение, и сама душа, искупленная кровью Божией, имеет бесконечную ценность, и, смотря по тому, оценила она или нет жертву Божию, ее ожидает вечная награда или такая же казнь. Очевидно, это величайший интерес души,

перед которым ничто все другие интересы: главная забота души – оказаться праведной не перед людьми, а перед Богом. Каждый день в душе начинается трагический разговор, в котором судья спрашивает, а грешник отвечает. Диалог этот тянется восемнадцать веков; совесть изострилась, и человек постиг безусловную справедливость».

Так в душе средневекового человека зарождался инстинкт гуманности и протеста против порядка, основанного на насилии. Высший авторитет подавлял все низшие, высший долг – все земные обязательства. Я позволил бы себе прибавить к приведенной мысли Тэна, что собственно инстинкт совести, могуче развитый Христианством, в своем зерне вообще прирожден человеку как естественный продукт лучших начал общественности. Еще задолго до Христианства этот инстинкт проявлялся на верхах язычества; тоска по божеству души своей, по потерянному внутреннему раю томила пифагорейцев, стоиков, эпикурейцев, неоплатоников, и благороднейшие элементы язычества выдвинули такие «апостольские» фигуры, как Будда, Зороастр, Конфуций, Пифагор, Сократ, Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий – эти языческие предтечи «благовестия правды». Истинное Христианство бросило свои семена не на бесплодную почву; хотя тысячу лет эти семена лежали *озимью*, несозревшей нивой, но в последние четыре века из-под стаявших снегов римско-германского варварства показалась святая зелень и зреет уже, хотя жатва ее еще впереди. Что такое либерализм? Я не понимаю и не признаю этого явления иначе, как то, чем оно называлось при своем появлении – иначе, как гуманизм, человечность в благородном значении этого слова. Может быть, под термин «либерализм» подставляли разные содержания, и иногда бессовестные, но я считаю это таким же злоупотреблением, как подстановку инквизиции под Христианство. Истинный либерализм, по моему мнению, есть развитие нравственного лозунга, данного две или две с половиной тысячи лет тому назад и неисчерпанного еще до сих пор. Либерализм, как я его понимаю, есть стремящаяся воплотиться совесть. Рожденная вместе с человеком, вскормленная религией,

совесть явилась в XV столетии силой, требующей себе права жизни. Совесть потребовала, чтобы «Слово плоть бысть» и явилось в мир как дело, как реальный факт. Человек увидел, что праведным перед Богом он может быть только среди праведного общества, что грех поддерживать то, что есть грех, и что несправедливые формы жизни, как бы они ни были милы сердцу и привычны, должны быть изменены. Честь первого нравственного пробуждения принадлежит именно самой безвкусной расе – саксонской, более всех чуткой к добру, более всех одаренной совестью. Германия – родина восстания против мертвящего духа католичества, Англия – родина обновления феодального строя; XVIII век Франции – порождение XVII века Англии. Наша либеральная эпоха, «особаченная» Я. П. Полонским, есть не что иное, как дуновение немецкой совести на холод нашей жизни, на суровость крепостного быта. Европа не всегда оделяла нас полезными дарами, но, в общем, играет роль духовного Гольфстрима: принося иногда бури, как эта океанская река, западная культура обвевала приполярные условия нашей истории теплом и влагою, веяниями справедливости и свободы. И в особенности мы должны быть благодарны Германии. «Люди сороковых годов» были духовным порождением немецкой философии. И до сих пор, несмотря на временное омрачение национальным эгоизмом, в недрах немецких масс совесть продолжает свою работу, медленно и постепенно выдвигая новый вид Реформации – социальной. А взгляните на Англию с ее грандиозною по нравственному значению ирландскою реформой. Единственный источник этой реформы – возмущенная совесть. Что в Англии нашелся государственный деятель и даже правитель, отказавшийся от права насилия, – это не удивительно: благородная страна эта – родина целого ряда Канингов и Уильбефорсов; но что на сторону великого старца встала целая половина нации – это мне представляется удивительным. Это явление огромное и красноречивое, крайне новое в истории и знаменательное. За реформацией социальной, лишь в виде зари показавшейся на Западе, уже предчувствуется торжество света и наступление нового,

может быть, уже окончательного вида реформы: нравственного преображения людей. Что означают эти недавно возникшие, но быстро развивающиеся движения вроде университетских поселений в Лондоне, сальвешионистов, трезвенников, вегетарианцев, союзов вечного мира, этических кружков, интеллигентных земледельческих колоний, кочующих университетов и пр., и пр.? Воздержание, милосердие, мир, целомудрие, самопожертвование в пользу темных классов – эти девизы из прекрасных книжек уже вышли в жизнь и творят свое дело. Все это, как мне кажется, доказывает одно: что недавно явившаяся на сцену истории сила – совесть – растет, как зерно горчичное, ведя передовое человечество к цели, предсказанной Христом.

XV

Гуманизм есть не разрушение, а восстановление жизни. Как пробившаяся у отжившего древесного листка почка выпускает свой зеленый листочек, новое направление, в сущности, есть возродившаяся молодость старого и отличается от нее лишь целомудренною чистотой юности, яркой зеленью, сочностью и *внутренним* ростом. Распускающийся листик построен по тому же плану, как и его предшественник, хотя и не повторяет его буквально, все отличие в том, что он не покрыт еще дорожной пылью, не вырос, не загрубел еще под солнечным зноем и холодом ночи. Либерализм ведь тоже признает и власть, и порядок, и закон, и заслуженную аристократию, и свою семью, и религию – все «основы», но живые, еще не увядшие и не засохшие. Либерализм считает эти основы такими же священными, как и консерваторы, но требует, чтобы эта святость истекала изнутри самого явления, а не придавалась ему насилием извне: только то может быть священно, что действительно безупречно. Порядок только тогда порядок, когда основан на нравственной истине, иначе это узаконенный беспорядок. Закон тогда лишь нравственно обязателен, когда вытекает из совести, иначе он превращается в обязательное беззаконие. Вы – аристократ, так будьте же им, то есть чело-

веком выдающейся души (так как человека составляет не тело его, а душа), человеком возвышенной совести прежде всего, затем таланта, ума, образования и энергии. Истинный аристократизм – лучшая роскошь природы, проявление великого духа – пророка, апостола, мудреца, поэта и, во всяком случае, благодетеля общества. Но что такое аристократизм, приобретаемый, например, покупкою баронских прав в Германии? Точно так же и семья. Если мужчина и женщина связаны сердечной связью и действительно составили «плоть едину», если союз их безупречен не по принуждению, а по любви и дает одно счастье – кто из либералов усомнится в святости и ненарушимости такого брака? Но ведь в жизни нередко видишь иное: брак без влеченья, лишь вид торговой сделки, брак имуществ и общественных положений, в лучшем случае лишь одних тел, а не душ, брак, основанный на систематической измене, с истреблением детей еще в утробе или забрасыванием их. Что же это за «основа», что в ней святого? То же и с каким хотите культом, в религии, политике, искусстве: вместо благодати, когда-то вложенной в то или иное верование, видишь иногда пустое место – и даже не пустое, а наполненное «мерзостью», то есть тем содержанием, отрицать которое культ и призван. В древней, иногда прекрасной форме, окаменевшей до неподвижности, царит дух смерти и разложения. И вот когда это обнаруживается, является освободительный порыв, который приходит «не нарушить закон, а исполнить».

Чтобы понять опасность неистового, ложного консерватизма, нужно вспомнить общий органический закон для всего живущего. Культура (то есть вся система культов) подчинена закону зарождения, развития и одряхления. Даже самая лучшая, самая совершенная культура не вечна. Раз установившись и исчерпав логику своей основной мысли, изжив все творчество живых клеток, великий организм постепенно превращается в механизм, то есть движущуюся систему, абсолютно постоянную, несравненно более правильную и уравновешенную, чем организм, даже более сильную, но лишенную одного характерного свойства живого тела – способности

восстановлять свои части, энергию их и волю. Механизм может все, кроме этого, а в этом-то и есть жизнь, брожение, отличающее одухотворенное тело от вещи. Слишком старые культуры обыкновенно превращаются в мертвые машины, где человек – уже не клеточка тела с ее особою замкнутою жизнью, с микрокосмосом идей, а лишь частица материала, сжатая, как молекула, в железных формах общества. Такая участь может постигнуть и нашу культуру, по крайней мере, многие мыслители с печалью предсказывают подобный исход. «Если, – говорит Милль[18], – индивидуализм не устоит против стремлений нынешнего режима, то Европа, несмотря на все свое прекрасное прошедшее и несмотря на весь свой христианизм, сделается вторым Китаем» («О свободе»). Эту же мысль разделяет Тард в своем замечательном труде («Законы подражания»): «Современное государство, – говорит он, – пережив состояние подвижности, благоприятное развитию индивидуума, стремится перейти в состояние неподвижного обычая, которым и закончится работа всеобщего объединения». Вот какую угрозу заключает в себе консерватизм даже для либеральнейших, демократических обществ. Это будет подобие психической смерти или одичания на вершинах культуры. Что такое дикарь, как не окостеневший психически человек? Душа его неподвижна; все, что он знает, что он любит и чего он хочет, – из года в год, из века в век остается в одинаковом качестве и объеме, как у каменного идола его черты. Может быть, с космической точки зрения это и есть настоящее *бытие*, устойчивый покой, блаженство растения или минерала, ощущающих нирвану, но для человека теперешнего типа в Европе этот исход ужасен. Вечная неподвижность, хотя бы в высоких и совершенных формах, претит даже непримиримым консерваторам. Европейская раса слишком индивидуальна, слишком гениальна в семье народов, чтобы помириться с остановкой навсегда. Надо надеяться, что все развивающееся образование народных масс, сближая таланты с источниками знания, будет выдвигать все больший процент оригинальных людей, гениев и новаторов, так что творческое начало, может

быть, будет достаточно для борьбы с косностью, для преодоления того вечного сна, к которому клонит человечество.

XVI

Но может случиться еще горшая опасность от возобладания консерватизма: гипноз традиции может застать общество и не на вершинах цивилизации, а на средних и даже низших ступенях, как, например, у нас в московское время или теперь в Абиссинии. В таких случаях на целые тысячелетия застывают порядки, мрачные и жестокие, нравы грубые, техника первобытная, наука зачаточная. Возникает даже движение назад, к давно пройденным формам, так называемый регресс. В мире органическом, особенно в зоологии, есть закон физиологической инерции, по которому любой орган или его отправление, бывшие вначале необходимыми, иногда развиваются сверх нужного, перерастают потребность и становятся уже обременительными, мучительными и даже гибельными для организма. Есть маленькое животное из мягкотелых, волоски которого с нижней стороны до того разрослись в течение бесчисленных поколений, что превратились в щетку, которая страшно затрудняет движение животного; ученые предсказывают, что еще ряд поколений – и тип этого животного исчезнет, вытесненный более стройными и деятельными формами. Существуют моллюски, выделяющие из себя так много известковых солей, что скорлупа их превращается постепенно в увесистую раковину; последняя делается до того тяжелою, что животное уже не в силах сдвинуть ее с места и умирает, замуравленное в своих доспехах. Многочисленные примеры этого странного, трагического закона встречаются в самых различных областях, не исключая и истории народов. То, что некогда было источником крепости и величия государств, впоследствии, перерастая меру, становится причиною их упадка. Греческая цивилизация погибла от изнеженности, вытекшей из культа прекрасного; Рим был возвеличен завоеваниями и ослаблен их же последствиями; религиозный фанатизм дал османам могущество, но он же и

погрузил их в замкнутость, поведшую к спячке, и пр., и пр. Как отдельная личность, так и почти каждый народ может сказать:

«Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей…»[19]

Закон инерции применим, конечно, и к либерализму, и те крайние отрицания, о которых я говорил выше, есть именно продукт этой инерции; но особенно опасен он в консерватизме. Все либеральные крайности по природе своей не долговечны и не могут войти в кодекс жизни. Может ли, например, шопенгауэровский пессимизм сделаться настроением масс? История не дает примера широкой распространенности отрицаний, тогда как примеров консервативных крайностей в ней сколько угодно. Я уже говорил о положительных и ценных сторонах консерватизма, гения-охранителя культуры, но в силу инерции это охранительное свойство постепенно превращается в раковину тридакны или в броню черепахи, душащую организм в его собственном теле. Из ложного чувства страха за свое существование нация развивает, например, огромные средства внешнего могущества, доводит их до чудовищных размеров, постепенно подрывая все свои жизненные источники; внешнего завоевания нет, но незаметно наступает внутреннее завоевание, домашний плен, ничуть не легче иноземного. По мнению Пушкина, ходячему в его время, крепостное право было необходимо для рекрутских наборов; ему и в голову не приходило, что не пройдет и тридцати лет, как право это рухнет, а армия, тем не менее, увеличится втрое и рекруты сами будут являться в призываемые участки. То же крепостное право держалось ложным чувством страха за внутренний порядок: на помещиков смотрели, как на «сто тысяч полицмейстеров» (выражение императора Павла), однако внутренний порядок, несомненно, возрос с падением крепостных уз. «Сначала образуйте народ и тогда уже давайте ему свободу», – кричали в пятидесятых годах, однако опасения бунта и истребления дворян вследствие реформы, безусловно, не оправдались: невежественный народ и

пальцем не тронул своих бывших господ. Точно так же из преувеличенной заботливости о порядке в иных странах введена чрезмерная централизация; вся государственная деятельность вручена бюрократии, классу наемных чиновников, далеких и чуждых живому течению жизни. Все остальное население, то есть вся нация, лишена прикосновения к самым возвышенным интересам своей общей судьбы, отчуждена от благороднейших задач жизни – политических и культурных, а это сильно понижает народную самодеятельность, низводит общество к низкому и грубо-материальному уровню. Бездействующие высшие способности нации, согласно общему биологическому закону, атрофируются, отмирают. Все это очень ярко можно наблюдать на прекрасных некогда странах Востока, «род людской, где спит глубоко уже девятый век»*. Чем объяснить себе, что расы, столь высокоодаренные, доказавшие уже свои государственные способности, на целые века делаются ленивыми, вялыми, нищими и беспомощными, ожидающими завоевателя как избавителя? Я думаю, тайна этого странного упадка духа заключается именно в чрезмерном развитии консерватизма. Надо заметить, что инертное по своей природе человечество охотно поддерживает всякий консерватизм. Упорно противясь всякой новизне, массы, бесспорно, признают все установившееся, даже собственное несчастье: огромное большинство обращенного в рабство народа свыкается даже с рабством и находит его естественным, чем и объясняется его прочность. Таким образом, консерватизм всегда имеет простор не только для развития, но и для переразвития. Одна из постояннейших черт этого явления – потеря духа общественности, более или менее полное отделение власти от народных масс. На Востоке народ совершенно лишен самоуправления. Делаясь безвольным, он в силу этого постепенно теряет всякий интерес, всякое внимание к своему государственному бытию. Как бы кастрированные в отношении способности высшей общественной инициативы, эти народы-евнухи теряют инстинкты общественного творчества, лишаются широкой предприимчивости и, как кастраты, коснеют в низменном эгоизме,

* *Лермонтов М. Ю.* Спор. (1841). – *В. Т.*

в кромешной грызне, в хищничестве, ведущем к нищете. Вся воля, весь импульс, все зачатие народной судьбы сосредоточены где-то в Тегеране, в неведомой для народа дали; государственная душа как бы отделена от ее естественного тела и управляет последним извне: не органически, а механически. Машина ведь и отличается от живого тела тем, что управляющая сила в ней – вне ее. В психическом отношении такое упразднение народной воли существенно изменяет народный характер, обездушивает его и автоматизирует. Вспомните известный физиологический опыт лишения животных больших полушарий мозга. Когда эти полушария вынуты, животное не теряет способности к жизни: оно ест, пьет, рефлекторно двигается, даже работает (исключительно в привычных формах), идет, куда его ведут, хотя бы в пропасть, – но все это бессознательно, безотчетно. У народов глубокого Востока как будто вынуты большие полушария мозга; это – народы-сомнамбулы, у которых общественное сознание замерло в виде неподвижного фатализма. Довольно близка к подобному состоянию была Европа средних веков, и чудо ее возрождения говорит, что и Восток проснется.

В самом деле, нельзя не подивиться быстроте и роскоши расцвета жизни на старом Западе, лишь только повеяло духом свободы. Двести-триста лет тому назад Европа была погружена в настоящее варварство; народ был почти поголовно безграмотен, города тонули в грязи, ни больниц, ни вообще медицины не было, голодовки и эпидемии истребляли население столь же неотвратимо, как и теперь в Персии. Ни путей сообщений, ни библиотек, ни музеев, ни выставок, ни даже школ не было: редкие университеты и монастыри давали схоластическую начитанность лишь ничтожной части населения. Промышленность была, правда, местами развита (ведь и до сих пор Персия славится коврами и шелком), но служила спросу лишь высших классов. Страшная грубость нравов начиналась тотчас же за стенами дворцов; крайнее суеверие освещалось кострами инквизиции; тишина мысли нарушалась лишь лязгом оружия да воплем разоряемых деревень. Аристократия увядала в распутстве, простонародье – в рабстве. Но Европу спасло ее политическое

разъединение. Консерватизм при всех стараниях католичества не мог централизовать эту бесконечно пеструю, разноплеменную, разноязычную семью народов, раздробленных феодалами на десятки и сотни тысяч независимых единиц. Власть хотя и была отделена от народа, но была слишком близка к нему: всякий виллан* видел чуть не ежедневно своего сеньора, знал его душу и мысли, знал всю политику своего миниатюрного государства и участвовал в ней ежеминутно. Кроме феодалов, жили и развивались множество городских общин, торговых союзов, цехов и т. п., почти независимых республик, где власть и, следовательно, свобода была еще ближе к народу. Эти мелкие самостоятельные державки стремились превзойти друг друга, были одушевлены горячею любовью к своему маленькому уголку, который каждый гражданин лично знал вдоль и поперек и где он сознательно участвовал во всех интересах. Все население втягивалось в круг священных задач своей родины, политических и культурных, а это удивительно облагораживало всякое сознание – и единичное, и общественное. Народная мысль, будучи выведена из области будничных, узкоэгоистических целей на высоту горизонтов общего блага, расширяется, одухотворяется и дает могучую природную интеллигенцию, которая никаким иным путем народиться не может. Всюду в христианском мире известная доза свободы не разрушала жизни, а возрождала ее: вызывала творческие силы, которых никто до этого и не предчувствовал. Развязанный от оцепененья, гений народов разливался над хаосом старого быта и оплодотворял его.

XVII

В настоящем беглом очерке я, конечно, и не пытаюсь исчерпать всю глубину обеих «правд» – истинного консерва-

* Виллан (villanus, vilan) – сельский житель; название от слова villa, которым римляне времен Империи обозначали село, сложившееся около усадьбы крупного землевладельца. Термин «виллан» становится общеупотребительным в Средние века. Смысл термина изменяется: сначала поселянин или крестьянин вообще. В феодальную эпоху это уже полусвободный или крепостной крестьянин.

тизма и истинного либерализма. В особенности стеснительно говорить о последнем. Мне только хотелось, говоря о литературных нападках на эпоху освобождения, заметить, что литераторам – особенно столь почтенным, как автор «Собак», – не следовало бы относиться односторонне к тому или другому великому настроению в истории. Я. П. Полонский дает понять, впрочем, что он осмеивает не самый либерализм, что он против него ничего, пожалуй, не имеет, а не доверяет лишь быстрым переворотам, которых будто бы добиваются либералы. Маститый поэт предпочел бы постепенное движение вперед, растянутое на бесконечность, на «бездну бесконечных переходов к Богу». Но кто возьмется разрешить, что такое постепенность в ходе прогресса? До Бертольда Шварца[20] стреляли из луков, а сейчас же после него стали стрелять из ружей. До <изобретателя> Флавио Джойо плавали без компаса, а после него сейчас же стали употреблять компасы. До Уатта и Стефенсона ездили на лошадях, а потом поехали на машине. Возможно ли проследить здесь «бесконечность переходов» от одного порядка явлений к другому? Между вчерашним и сегодняшним днем в истории часто нет никакого промежутка, но иногда залегают настоящие пропасти и неизмеримые пространства. Припомните все действительно великие открытия: Ньютона, Галилея, Лавуазье, Фарадея, Дарвина, Пастера и пр., и пр. – все эти ученые совершили не только блестящие, но и стремительные перевороты в своих специальных областях. Великая идея – плод могущественного напряжения человеческого духа – есть *откровение*, ключ к природной тайне, позволяющий легко и быстро раскрыть то, что еще накануне считалось недоступным, непостижимым. Исторические результаты, как и геологические, могут быть продуктом и крайне медленного нарастания причин, и быстрого подъема земных сил. Совпадение внешних условий с внутренними иногда очень быстро изменяет столь тонкую стихию, какова культура данного народа; в течение двух-трех поколений один культ сменяется другим, невежество превращается в образованность, глубокое рабство – в равноправность. Появление всего одной крупной

личности иногда сдвигает ход истории на совершенно новый путь; между Петром I и Пушкиным промежуток всего семьдесят лет по времени. Припомните, во что обратились Соединенные Штаты всего в одну сотню лет из довольно жалких колоний, или Австралия из места ссылки каторжников, или, наконец, все западные наши соседи. Из невежественных и нищих стран с неосвещенными грудами лачуг вместо городов они перестроились в цветущие хозяйства с центрами наук и искусств, где в ином переулке больше чудес света, чем было во всем Древнем мире. Жизнь, конечно, может двигаться крайне слабо и даже стоять на месте, как где-нибудь в центре Африки. Но она может идти и сильным, жизнерадостным ходом, как курьерский поезд, обгоняющий крестьянскую клячу, как электричество телеграфа, обгоняющее пешего земского почтаря. Раз мы имеем великое изобретение, в нашей воле или пренебречь им, как китайцы железными дорогами, или пустить сейчас же в дело, и мне кажется, нужно торопиться вводить великие идеи в жизнь, если народ не хочет отставать от соседей. Как золотая руда, нечаянно открытая, подобная идея должна сейчас же разрабатываться, и каждый год отсрочки есть прямой убыток. Пастер открыл прививку бешенства, причем в лечении этой болезни произошел бесконечно быстрый скачок. Предположим, что, испугавшись этой быстроты, мы стали бы вводить какую-то постепенность пользования этим средством: начали бы со средневековых лекарств, проделали бы все советы латинской кухни и лет этак через тысячу позволили бы лечить мужика прививкой… Но ведь решительно то же самое и во всех областях жизни: всюду существуют великие открытия, ключи к счастью, – и весь вопрос в том, пользоваться ими или не пользоваться? Еще Наполеон I считал идею пароходов сумбурной. Тьер[21] хохотал в парламенте от одной мысли, что железные дороги можно будет применить к перевозке тяжестей и пассажиров. Как видите, даже замечательные люди часто боятся нововведений и иногда при этом делают грубые ошибки ко вреду своих народов. Но если простительно колебаться пред идеей, хотя бы и великой, но новой,

не испытанной, то тем печальнее пренебрежение старыми великими открытиями, всесторонне испытанными…

Изящная литература уже по природе своей консервативна. Но консерватизму этому пора уже обратиться к выражению *новой* культуры, установившейся в христианском мире, к защите хотя еще слабых, но истинно народных и гуманных начал освободительных. Начала эти еще не вылились в стройную и сильную культуру, но это вопрос не столько времени, сколько наших усилий. Литература – слишком дорогой продукт национальной жизни, чтобы тратить ее на вздохи о невозвратной, да притом еще и недоброй красоте: когда же, господа, мы начнем создавать *свою собственную* и красивую, и добрую культуру? Когда же мы разберемся среди развалин?

Я думаю, что освободительная эпоха, осмеиваемая «Собаками» Полонского, плохо ли, хорошо ли, именно задавалась этой высокой целью: построить новое, просторное и светлое здание для великого русского племени, вывести его из развалин в дом с «европейскими удобствами», не исключая удобств сердца, ума и совести. Либерализм желал создать то, что консерватизму стоило бы защищать.

Литературная хворь

<I>

Н. С. Лесков по поводу моих взглядов на консерватизм искусства («Две правды») прислал мне письмо, в котором выражает недоумение, как связать с консерватизмом художников такие явления, как «Хижина дяди Тома» или «Записки охотника», «воспитывавшие умы и сердца».

Я позволю себе заметить, что и эти, столь гуманные, содействовавшие низвержению рабства книги, были глубоко консервативны. Они явились продуктом долгой нравственной культуры, голосом весьма прочной, хотя и не господствующей традиции. В самом деле, в Америке хотя и существовало рабство со всеми его ужасами, но одновременно с ним существо-

вал и дух благочестия. Коренные североамериканцы – потомки религиозных, некогда гонимых в Европе общин. Эти общины еще на старой родине выработали в ряду поколений нравственное миросозерцание, до такой степени устойчивое, что им пришлось искать себе новое отечество. Это была культура старая, слагавшаяся постепенно в Средние века и отлившаяся в стройные формы в век Реформации. Американизм начала этого века, кроме торгашества, был еще сильно проникнут пуританизмом. Возвышенное и строгое настроение пуритан, этого нового Израиля, от поколения к поколению предавало заветы совести, вынесенные из Библии. Старый пуританизм – расцвет души самой совестливой из рас – германской. Никогда – если не считать времен апостольских – бóльшие массы населения не охватывались столь жгучим, пламенным стремлением к Божьей правде, и как ни тяжки были цепи противоположной традиции – рабства и насилия, – возмущенная совесть переборола их. Бичер-Стоу[1], как и множество других, менее известных «мятежников совести», явилась не либералом, не новатором, а выразительницей старого, окрепшего уже течения – иначе ее книга (в художественном отношении слабая) не произвела бы столь необъятного волнения. Доброе семя упало на добрую почву и дало плод сторицей, но и само оно могло появиться лишь из доброй почвы, а не из бесплодной.

То же самое и «Записки охотника». Несомненно, они проникнуты состраданием к крепостному рабу, но это сострадание во времена молодости Тургенева и в обстановке, где он воспитывался, было уже традицией и довольно прочной. Нельзя забывать, что Тургенев, как и Л. Н. Толстой и большинство наших классиков, явились детьми далеко не одной лишь русской стихии, как совершенно неверно, хотя и весьма настойчиво утверждают некоторые современные критики. Наши великие писатели имели большое счастье явиться не только среди установившегося родного быта, но и в эпоху могущественных западных веяний, которые они впитывали в себя чуть не с колыбели. Безобразная сторона крепостного рабства в благоустроенных дворянских усадьбах

была удалена от детских очей; ни тяжкий труд на барщине, ни истязания в конюшне, ни оргии в домашних вертепах, ни горькая судьба ссылаемых в Сибирь, заковываемых в солдаты, продаваемых, как скот, крестьян не оскверняла их глаз и не входила в души как элемент воспитания. Кое-что доходило до ушей, а иногда и до глаз детей, но полуприкрытое и неразъясненное. Зато в своем гнезде, в детской, в классной, в спальне, в библиотеке, в кабинете отца и комнате матери маленькие Тургеневы и Толстые дышали совсем иным воздухом, иным светом. У Тургенева, правда, была несчастная семья, но и около него были, по обычаю, с самых юных лет представители иной цивилизации, посланники иного мира: дядька-француз, гувернантка-англичанка, учитель-немец. В более счастливых семьях сама мать, воспитанная в институте в правилах религии и морали, на иностранных сентиментальных романах, любвеобильные чувствительные тетки окружали подраставшее поколение стихией гуманности; в том же духе влияли нянюшки, гувернантки и гувернеры. Что бы ни говорили о низком уровне развития прежних иностранных гувернеров, о том, что барабанщики великой армии становились у нас чуть не профессорами, но все же это были люди иной культуры, иного миросозерцания. Надо помнить, что даже маленькие люди той эпохи, какие-нибудь капралы великой армии, были одушевлены передовыми идеями; выброшенные из кипучего котла тогдашней Европы, воспламененные теми или иными идеалами, начитавшиеся популярных писателей, они являлись и «в снегах России» апостолами свободы, прав человека, человеческого достоинства, сострадания к несчастным и т. п. То огромное влияние, которое имел Лагарп на Александра I, в миниатюре повторялось во множестве дворянских усадеб. Внося немало глупых западных обычаев и привычек, приучая к пороку слепого подражания, эти немцы, французы и англичане, вздыхавшие о своей родине, давали своим воспитанникам и все лучшее, что сами вынесли из родной культуры, в общем все же более гуманной, нежели тогдашняя русская. А главное, они давали детям

свой язык, т. е. если не плоть, то кровь своего духа, несущую, как кровь в теле, кислород свежего воздуха Запада в самые потаенные уголки русской души. Для дворянских детей того времени иностранные языки были такими же родными, как и русский, а иногда и роднее его: Пушкин выучился по-русски уже после того, как начал говорить по-французски. Конечно, между иностранными гувернерами попадались и настоящие негодяи, но те не уживались долго на скромных педагогических должностях – они пристраивались к более доходным источникам, в камердинеры, управляющие, секретари пожилых барынь, в чиновники или, проворовавшись, изгонялись. На бедно оплачиваемых местах дядек и учителей оставались обыкновенно честные, добросовестные, недалекие субъекты, неудачники-идеалисты, вроде толстовского Карла Ивановича или тургеневского Лемма, столь трогательно и нежно описанных великими их учениками. Они вносили вместе с прописной моралью, с tenez vous droit и sei artig*, может быть, бессознательную, но уже прочную нравственную традицию западного человека – отвращение к рабству. Тургенев и Толстой явились только выразителями этой тенденции, не новаторами ее, а как бы продолжателями.

Я намеренно поставил влияние этих маленьких, незаметных человечков – нянек и гувернанток – на первом плане, так как, по моему мнению, никакая школа, никакой университет, никакое общество не кладут своей печати на человека в такой степени, как кучка лиц, окружавшая его детскую кроватку и детский столик. Но чрезвычайно важны, конечно, и дальнейшие влияния юности, и дворянская усадьба давала их в том же роде, как и европейцы-воспитатели. Надо вспомнить, что, кроме дядек и гувернеров, многие из наших писателей встречали иностранцев в детстве в лице близких родных. Пушкин и Лермонтов – внуки немок, Жуковский, Григорович, Герцен, Некрасов, Фет и многие другие были полурусские по крови, и в чисто русскую культуру их детства все же вторгалась заметная иная стихия. Дворянство наше, никогда не отличавшееся

* Держитесь правой стороны и будьте вежливы (послушны) (фр., нем.). – *В. Т.*

чистотой крови, со времени Петра сильно перемешалось с нахлынувшими к нам немцами, остзейцами, шведами, французами и теперь, например, трудно встретить дворянина, у которого не было бы какой-нибудь примеси. Вместе с кровью наше дворянство заимствовало от иностранцев нечто и от культуры Запада. Воспитание укрепляло эти влияния. Вооруженный иностранными языками и согретый симпатиями к родине рассказанных немцами чудесных сказок и преданий, юноша отправлялся в домашнюю библиотеку и наталкивался там на таких же немцев, французов и англичан, лучших выразителей цивилизации. Он встречал там сентиментальные романы, героические драмы и поэмы, нежные баллады, пламенные речи энциклопедистов, религиозные, философские ученые откровения – и ото всего этого веяло отрицанием рабства, воззванием к чести и совести человека, к его разуму, права которых были попраны тогда в жизни слишком резко. Чем талантливее был юноша, тем теснее он прилеплялся к книжным шкафам с иностранцами и в свою русскую душу вливал иную, забытую, хотя и родственную своей расе стихию. Тогдашние университеты продолжали эти влияния: в них уже ровно ничего не было русского; это были уже настоящие посольства от западной культуры, где все было, начиная с языка, иноземное. Вступив в самую жизнь, талантливый юноша того времени оказывался более чем полуевропейцем: художнически он мог быть влюбленным в свой родной общественный быт, но в то же время влюблен был и в начала своей второй родины – западноевропейские. «Тело мое принадлежит России, – говорит один из героев Фонвизина, – душа же – короне французской». Если в прошлом веке и начале нынешнего преобладала еще старая, московская культура (не слишком далекая от тогдашней западной), то в нынешнем столетии в русском человеке выросла как бы вторая душа, начинавшая теснить первую и временами даже вытеснять ее. В Пушкине еще довольно крепко держался москвич старого типа, в Тургеневе преобладал уже новый европеец, консерватор того, что в Европе уже перестало быть «новостью».

II

Таким образом, как мне кажется, прирожденный консерватизм художников не мешает им являться в качестве зачинателей новых движений: для этого им нужно только быть представителями культуры *высшей*, нежели та, среди которой они действуют. Художник-писатель как выразитель своей культуры представляет ее лучшую энергию; если эта культура высока, она приподнимает и общество читателей до своей высоты. Художник в этом случае даже могущественнее мыслителя. Он покоряет своему внушению несравненно бóльшую массу людей и несравненно крепче, нежели философ, проповедующий то же самое, только в символах мысли. Язык отвлеченных понятий, как алгебра, не свойствен толпе, тогда как картина понятна каждому. Картина художника действует, как сама жизнь, на чувства; как и жизнь, она – происшествие, событие, разоблачение, а все разоблаченное потому лишь притягивает к себе, что оно дает *полное* понятие о вещи, верное и почти научное по точности. Созерцая в картине художника как бы раскрытый механизм жизни, толпа следит за ходом бесчисленных колесиков и пружин жизни, и только такое рассматривание может дать настоящее понятие о механизме, его идею. Люди воочию должны видеть ту культуру, которую писатель носит в себе, ее точные контуры, черты и краски, трепет ее живого тела, что очень трудно объяснимо отвлеченным способом. Можно прочесть сотни томов истории и законодательства старой России, но вы извлечете из них менее живое и верное представление о тогдашнем быте, нежели из одного рассказа Пушкина или Гоголя. Сколько бы вы ни читали описаний, например океана, египетских пирамид или Везувия, но один взгляд на них в несколько мгновений даст вам бесконечно более точное о них понятие. Но все видеть и все наблюдать самому невозможно. Тут и приходят на помощь художники. Как настоящие органы чувств общества, они отражают в себе формы, цвета, краски, всю картину жизни и ставят эту картину перед гла-

зами отдельных людей, продолжая ограниченное зрение их во все стороны на необъятные расстояния. Не сходя с места, вы видите жизнь кавказских горцев или общество генералов, обедающих в Баден-Бадене («Дым»), вы видите пир во время чумы и слышите хватающую за сердце песенку Жени; раскрыли другую книгу – перед вами бегство французов из Москвы, Пьер Безухов и солдатик Каратаев, причем вы видите самую глубину их душ, куда собственный ваш взгляд при встрече с ними и не проник бы. Другой художник раскрывает вам жизнь принца датского и свирепых английских лордов, третий дает перед вами сражение с маврами, воскрешает Сидов, Роландов, Баярдов и т. п. Как великий живописец или скульптор дают возможность видеть иные миры и иные существа, как великий музыкант позволяет подслушивать такие движения души, которые иначе никогда не услышал бы сам, – талантливый писатель-художник переносит вас в ту эпоху, в то общество и культуру, которыми он сам проникся. Талантливые художники, подобно индийским факирам, обладают чудесною способностью вызывать галлюцинации у совершенно трезвых и здоровых людей. Как факир, взмахнув несколько раз палочкой, заставляет вас видеть человека, идущего по воздуху, так истинный поэт, взмахнув пером, заставляет вас переживать совсем несуществующую жизнь, любоваться природой и людьми, отделенными от вас и временем, и пространством. Чу́дная, могучая власть! Но секрет ее не так прост, как кажется. Чтобы навевать чары, необходимо самому быть очарованным, одержимым духом, необходимо самому до иллюзии сосредоточить в себе образ, который желаешь вызвать. Некоторые люди с сильным воображением, напряженно представляя себе известного человека, в состоянии вызвать галлюцинации у этого человека за тысячи верст, чем и объясняются призраки. Нечто подобное этому происходит и в художественном творчестве. Овладевшая художником иллюзия отражается, как свет или звук в физике, под тем же углом и в душе читателя. Но чтобы такая иллюзия создалась в первоисточнике – воображении художника – необходимо,

чтобы с его памятью органически срослись все стороны его культуры, чтобы он сотни раз наблюдал лично или наследственно, через предков, каждую ее черту и заучил бы ее совершенно отчетливо. Только при этом условии иллюзия получится яркая; иначе при неполном знакомстве художника с жизнью, которую он взялся изображать, отражение получится неполное, уродливое, не явится настоящей иллюзии ни у самого художника, ни у читателя. Вот этою-то причиною – невежеством иных талантливых художников в отношении «натуры» – и объясняются их неуспехи. Невежество это всегда невольное; если художник даровит, он имеет потребность изучать жизнь, но не всегда это возможно, не всегда налицо есть *натура*, пригодная для изучения.

III

Лучшая школа для художника – такая обстановка, которая облегчает ему запоминание постоянных форм существующего. Не всякая действительность есть «натура», а только та, которая сложилась в определенных и прочных формах, сорганизовалась и приняла «бытие». Хаос недоступен наблюдению; мы не в состоянии ни запомнить, ни передать ничего бесформенного. В жизни общества, чтобы она отразилась в искусстве, необходимо постоянство форм, необходим прочный бытовой уклад, – словом, культура. У нас нет, к сожалению, такой культуры. С конца прошлого столетия и особенно в последние пятьдесят лет в просвещенном свете происходит настоящий разгром бытовых форм, верований, законов, миросозерцаний и даже внешности жизни. Такая жизнь – плохая школа для художника; как «натура», она не дает себя запомнить, беспрерывно меняется, рассыпается, и дело дошло до того, что каждые десять, даже пять лет появляются новые общественные типы, новые характеры и течения. Кроме рухнувшего древнего здания жизни, развалины которого стоят неубранными, со всех концов света, из всех эпох и народов свезены груды нового идейного материала, может быть, до-

рогого и даже драгоценного, но не связанного в общий план. Какого быта художник возьмется быть выразителем, «певцом» какой культуры? Какая иллюзия возможна для картины, меняющей и краски, и тени, и самое содержание? Немудрено, что художники держатся за то, что осталось еще от великого крушения, за более крупные уцелевшие обломки, за более грубые части, в силу грубости своей менее потерпевшие. Когда рушится храм, прежде всего дробятся самые тонкие, дорогие его части – так и в старой культуре прежде всего исчезли интеллектуальные типы; менее пострадали средние слои и еще менее фундамент здания – народ. Среди мелкого чиновничества и купечества нынче более цельных и характерных явлений, чем среди интеллигенции, а в народе и еще больше. Но едва ли хватит надолго этих обломков прошлого. Нашему поколению пора создавать свое настоящее, свою культуру, и так как для художников это еще важнее, нежели для простых смертных, то они и должны стать впереди этого дела. Необходимо разобраться в строительном материале, что-то такое выбрать оттуда, собрать хаос в новые стройные формы, которые, по выражению Гончарова, «повторили бы древность». Необходимо показать воочию тот храм жизни, который должен подняться на месте развалин былой культуры.

К сожалению, среди наших художников не заметно *сознательного* стремления к этой великой работе. Как подмастерья среди заготовленного материала, растерявшиеся без архитектора, художники не знают, с чего начать, какому общему плану следовать; прежним художникам этот план давала прочная культура их времени, теперь же ее нет. Но так как инстинкт и нужда требуют дела, художники начинают работать, что попадет, отражать в своем объективе без всякого выбора весь мусор, каким полна эпоха развалин. Литература вместо застроенного, возделанного мира жизни, как некогда, превращается в свалочное место бесчисленных обломков, в обширный строительный двор, еще мертвый в ожидании строителей. Их нет, а они нужны. Необходим какой-нибудь руководящий, обобщающий принцип, который собрал бы рассеянные силы искусства.

Мне кажется, этим руководящим принципом, этим Духом, носящимся над хаосом, служит *нравственное начало* новой жизни, та назревшая в старину новая совесть, работа которой превратила старую жизнь в развалины. Работа совести не должна останавливаться на разрушении зла: ее цель – созидание добра, осуществление нравственного идеала, иначе эта работа бесплодна. Для создания же добра необходимо брать только лучшее, только совершенное, что можно найти вокруг в неисчерпаемых материалах цивилизации по примеру наших классиков, впитавших в себя только лучшее молоко своей матери-России и только лучший воздух Запада. Для постройки прочного, векового здания необходим лучший камень, лучшая известь, лучшее железо. Свойствами материала в значительной степени определяется самый план здания, его архитектура: нельзя из дерева строить готического собора или из глины – Эйфелевой башни; даже для камня и железа существуют пределы давлений, из которых выходить нельзя. Трудно, невозможно наперед начертить здание будущей культуры – как стихия, она строится массовыми, стихийными силами всей расы. Художники не должны смущаться тем, что им самим не ясны контуры того великого целого, которое они призваны во главе общества создать: лишь бы они искренно верили в основной закон своей работы – тот, что жизнь есть жизнь постольку, поскольку она – осуществление совести, так как только совесть указывает лучшее и совершенное, наиболее жизнеспособное и счастливое.

Не то мы видим в современном искусстве вообще, и в литературе в частности. Для отражения в искусстве берут далеко не лучшее, а иногда дурное и даже худшее. Дети своего времени – художники – выражают главную черту его – расстройство; проникшись смешением форм, они дают бред идей и образов. «В конце века» в душе европейца замечается нездоровое, странное настроение. Появились декаденты, символисты, мистики, порнографы, эстеты, маги, визионеры, пессимисты – множество мелких школ, несомненно, психопатического характера. Как всякая психическая зараза, эта гниль души быстро

овладела как европейскою, так и нашей интеллигенцией, влияя даже на огромные таланты вроде Ги де Мопассана. Общая черта всех этих болезненных оттенков – противоестественность, отрицание жизни, извращение природы. Как в кучке сумасшедших архитекторов, одни из художников (крайние натуралисты) отрицают всякий план и признают только материал, другие (декаденты) разлагают его на молекулы и атомы, наслаждаясь распадением вещества, третьи (мистики) задаются в чертеже здания бесконечною осью и материалом берут туман и дым, четвертые (пессимисты) отрицают и материал, и план, и самую возможность какой-либо постройки, воспевая величие пустоты. Связанные общею чертою – недоверием к природе как она есть, эти помешанные разных оттенков проникаются маниями друг друга: декаденты – в то же время и мистики, крайние натуралисты – декаденты, даже пессимисты, в сущности, – не что иное, как вывороченные наизнанку мистики. Творения некоторых нынешних поэтов, беллетристов, философов и даже ученых-естествоведов свидетельствуют о несомненном наваждении на них душевной «порчи», как говорит народ. После ясного и строгого языка, выработанного бесконечными усилиями классиков, в литературу начинает вводиться язык нашептываний и наговоров, жаргон заклинателей и сивилл, приемы и обстановка средневековых сказок с заколдованными принцессами, гномами, ведьмами, демонами. Талантливые и искренние поэты начинают грезить, как лунатики; подобно нашим юродивым, они стараются произвести впечатление странным и страшным набором слов, беспрерывно мешая молитвы с цинической грязью; из самых возвышенных эмпиреев неба они бросаются в самые смрадные подонки праха и в противоестественном ищут своего лучшего меда. Здравый и трезвый смысл, простая логика, здоровое чувство кажутся им пошлыми и неприятными; они ищут идей вне разума, ощущений вне нормальных чувств. Болезненные сладострастники духа, декаденты влюблены в безумие, в призраки, в наркоз человеческой речи, превращенной в пар, разложенной на элементы. Каждое слово есть идея или элемент идеи; сделайте такой опыт: на-

режьте из картона вычурные и звучные слова, страшные заклинания, проклятия и благословения, всыпьте в обыкновенный калейдоскоп и вертите его: арабески слов дадут вам понятие о самой модной поэзии символизма. Поэзия ли она? Увы, да, по крайней мере, один из элементов поэзии – упоенье:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы…
Все, все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…*

IV

Декадентство есть единственная возможная поэзия упадка культуры, разложения общественной жизни. Разве развалины не имеют своей поэзии? В диком, стихийном потоке слов у декадентов нет мысли, но есть музыка, есть какой-то тонкий и сладкий яд, вызывающий у привычных к нему нездоровые, но пленительные настроения. Ведь и в обыкновенной музыке нет мысли, но известный набор и ритм звуков заставляет дрожать ответно самые интимные струны человеческого сердца. Ведь и музыка в известном количестве – яд, особенно культурная, переутонченная до вагнеровской «диссоциации звуков». На этом основании декаденты и строят свою школу и очень быстро, в течение одного десятилетия, завоевали огромные области искусства, поднимая флаги свои даже на неприступных твердынях философии, морали и науки. Отбросив шутовство этой школы, ограничившись бесспорными талантами, следует признать в декадентстве серьезную потребность нашей эпохи. По какой причине совершается этот поворот вкусов? Почему

* *Пушкин А. С.* Пир во время чумы (1830). – *В. Т.*

после увлечения ясным, законченным, реальным начинает нравиться туманное, сырое, блеклое, загадочное? «В поэзии, – как утверждает один поэт-декадент, – то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами»; «мысль изреченная есть ложь»; «людям нужно священное безумие героев и мучеников» и т. п. Новое искусство имеет, по его словам, три главных элемента: «мистическое содержание, символ и расширение художественной впечатлительности». Другой поэт в своих «Сонетах» признается, что «есть мысли – в них зияет разрушенье, есть музыка безумно-дерзких слов» и что, «лишь внемля им», он «жив и жить готов». Третий, самый выдающийся из наших молодых поэтов, временами буквально заговаривается, доходит до голубых и розовых звуков, до полной бессмыслицы, хотя звучащей и красиво. За этими молодыми известностями тянется длинный ряд поэтиков меньшей величины (между ними, впрочем, есть искренние и значительные таланты); следуя необоримой моде, и они предаются оргии звуков, поэтическому распутству.

Чем объяснить это явление? Я объясню его глубоким расстройством вековой европейской культуры. Когда старая культура начинает дряхлеть, то есть становится для новых поколений чуждой, то как бы она ни цвела когда-то, как бы ни казалась прекрасной, она начинает не удовлетворять. Самый возвышенный культ начинает казаться бездушным, самые лучшие вкусы в искусстве – натянутыми, предвзятыми. Хочется чего-то более простого, непосредственного, наивного, первобытного, как изнеженному городской жизнью селадону хочется деревенской природы и пастушеской любви. Декадентство в лице лучших представителей есть влечение к первобытному. Поглядите на картины этой школы, послушайте стихи или музыку. В картинах – почти рабское подражание лубочной живописи: те же яркие без полутонов цвета, те же резкие контрасты между ними, тот же наивный детский рисунок и детская незаконченность. После академической, выделанной живописи, где видишь вполне серьезное, как бы окаменевшее подражание природе, на выставке декадентов

чувствуешь себя точно перед ларем простонародных картин или за ребячьею тетрадью рисования. Тут дикая свобода воображения, неподчиненность натуре, желание сказать не все, а только то, что мелькнуло в душе художника, как бы странно, отрывочно, примитивно оно ни было. Никакой иллюзии, как на детском рисунке, где кружок и две палочки вниз изображают человека. Тут всего намек, одна вырванная из природы черта. Взрослого зрителя эта подделка взрослых под ребячество кисти возмущает; в этой деланной растленности кисти, желании выдать бред красок за облик живой природы иногда кажется что-то мошенническое. Невольно спрашиваешь себя: да не простые ли это шарлатаны, бьющие на простоту публики, на тиранию моды? Но хотя между декадентами есть и шарлатаны, лучшие из них искренне подчиняются неодолимому требованию духа своей эпохи. Прежняя остановившаяся культура давит своею мертвою законченностью, дух общества ищет первых начал жизни, жаждет свежести полубытия, неумелости, безыскусственности. Пусть нам, которые родились и выросли в культуре старой, эта погоня за новизной кажется крайне искусственной и безвкусной, для молодых людей это живая потребность *своего* творчества. Они родились среди развалин, они впитали в себя впечатления хаоса, и, как детям или народу, едва начинающему искусство, им хочется отразить то, что в них есть: душу неоформленную, стихийную, для которой все в природе еще живет, и говорит, и дышит, все символизирует что-то неизреченное и на языке чувств, принятом в старой культуре, – непонятное. Декадентство – школа промежуточная; оно – явление вовсе не нашего только времени. Оно встречалось во все века на переломе цивилизаций, при смене религиозных культов и философий. Как упадок от изысканного до первобытного, декадентство неизбежно заканчивает одну органическую эпоху и начинает другую. Нет никакого сомнения, что пройдут десятки лет и дух европейского общества во всех областях жизни выработает себе новые законченные формы, столь же стройные, закономерные, отчетливые, ясные, как в античную эпоху или в век Возрожде-

ния, но иные, и в иных из современного декадентства многое останется упроченным. Как ни уродливо, как ни болезненно, как ни глупо многое в этой школе, от нее, как от новорожденного ребенка, веет почти минеральной свежестью природы. В старых школах чувствуешь, что творящий дух исчерпал свои источники, здесь – он начинает их. Проследите историю развития какого-нибудь эмбриона: какие странные, чудовищные, иногда отвратительные формы принимает он прежде чем созреть в существо живое. Декадентство вернее было бы назвать эмбрионизмом: это искусство не одряхлевшего, а едва лишь возникающего, первобытного творчества.

V

Что декадентство не есть настоящее искусство, несмотря на завлекающую свою силу, это понятно без объяснений: иначе пришлось бы к искусству причислить и такие виды «упоений», как пьянство, курение опия и разврат, которые втягивают в себя еще большие массы людей и бороться с которыми еще труднее. Физиологи учат, что сознание людей есть продукт внешних ощущений, тогда как *аффекты*, эмоции имеют источником внутренние ощущения растительной жизни. Поворот от сознания к чувству, от увлечения идеями в середине этого столетия к увлечению иллюзиями «конца века» есть признак возобладания растительной природы человека над высшей, духовной природой, и трудно охарактеризовать это явление иначе, чем словом «decadence». Макс Нордау обобщает всю перечисленную группу психопатических веяний в слове «Entartung» (вырождение), причисляя сюда и другие виды общественного брожения (анархизм, толстовство), но одно слово «вырождение» столь же мало объясняет, как и «упадок». Отчего вырождаются расы и что такое вырождение? Сказать, что люди вырождаются от крайней нищеты – нельзя, так как вырождение начинается ранее нищеты, и эта последняя является следствием, а не причиной упадка. Антропологическое вырождение встречается особенно часто среди старой аристо-

кратии, то есть в классе, далеком от нищеты; наоборот, наименее обеспеченный слой – простонародье – часто поражает своим цветущим видом. Правда, и среди простонародья вырождаются целые миллионы населения, но отчего? От причины, общей с аристократами: ведь и народ – «аристократ» по древности своего происхождения. Еще сильнее вырождаются дикари, но это уже совсем аристократы по чистоте расы. Я думаю, что общая, глубокая органическая причина вырождения состоит в том, что выработавшийся в течение веков тип породы, как законченный, останавливается и начинает теснить живое начало духа. Самый благородный, совершенный, утонченный тип, самый сильный, красивый, самый, наконец, здоровый становится не вполне своим; он делается чуждым, и переродившемуся духу хочется его сбросить, как созревшему насекомому – совершенно здоровую кожу гусеницы. Прекрасное тело, прекрасная душа (животная) начинают не удовлетворять дух расы, и в стремлении стряхнуть с себя эту материальную культуру, чтобы создать из себя какую-то иную, дух начинает работать на разрушение тела. Развивается – как среди аристократов, так и простонародья и среди дикарей – неутолимая потребность пьянства, всевозможных наркозов, распространяется половой разврат, азартные развлечения, бесчисленные способы «прожигать» жизнь, и нищета является только следствием этого процесса, а не причиной его. В чаду грубой чувственности, в страданиях страстей, пороков, преступлений дух человеческий, может быть, набирается нужных ему стихийных ощущений, окунается в материю, в хаос, чтобы вынести оттуда элементы для постройки нового тела, нового типа расы. Пусть порода «выродится», «вымрет»; от каких-нибудь уцелевших клеток разовьется новое поколение, которое вернется к трезвости и добродетели далеких предков и выработает новые формы красоты и силы.

Современное декадентство – может быть, лишь частная черта всеобщего и *неизбежного* вырождения европейской расы, всеобщей перестройки человеческого типа, физического и душевного. Нам, еще не изжившим этого типа, носителям

старой культуры, этот процесс кажется диким, страшным, болезненным, но пройдут десятилетия, и если не мы сами, то дети наши, вероятно, будут вовлечены в это новое течение. Может быть, вся великая эпоха скептицизма, отрицания прошлого, искания новых идеалов в общественной жизни была предвестием не подъема, а окончательного упадка старых форм, всеобщего декаданса, из которого, как феникс из пепла, должна родиться новая цивилизация.

VI

Один из видов декадентства – возрождающийся мистицизм. Это не возвращение к религии, как иные думают: религия (христианская, по крайней мере) отрицает мистицизм и считает его хуже безверия. Религия есть вера, то есть хотя недосказанное, но прочное знание известных конечных данных, тогда как мистицизм есть незнание, возведенное в принцип. Для мистика все – тайна, все – загадка; он не верит ни разуму, ни совести, ни чувству – все для него нереально, даже сама тайна, которая очаровывает его лишь неизвестностью, – существует ли еще она. Мистик – не тот, который верит в духов (как спирит), он был бы страшно раздосадован, если бы сверхъестественная сила обнаружилась когда-нибудь: она перестала бы уже быть сверхъестественной; для него важна лишь дымка, скрывающая что-то, хотя бы пустоту, но лишь бы он не был уверен, что это пустота. Мистики наслаждаются неуверенностью, как религиозные люди – верой. Как декаденты влюблены в противоестественное, так мистики – в сверхъестественное; в сущности это одно и то же – одинаковое отвращение от естества. Мистицизм есть как бы недоверие к Создателю, творение себе кумиров помимо Его – почему Церковь так энергически и осуждает всякое волшебство.

Опять и здесь, в неестественном, нездоровом чувстве есть оправдывающее его очарование. Человек не может не ощущать своей ничтожности на земле и узких пределов разума. Самый спокойный и трезвый материалист не может не видеть всю-

ду великих тайн, и если относиться к ним иначе, чем мистик, именно как к тайнам естественным, то глубина их от этого не исчезает. Многие серьезные мыслители думали, что разум человека достаточен для постижения загадки мира, что это вопрос лишь времени и науки, однако до сих пор это только предположение. Огромное большинство мыслителей, и притом наиболее мощных, признавали вечную недостаточность разума для уяснения основной тайны и что не по размерам разума, а по самой его природе существо мира для него скрыто. Действительно, законы природы не связаны с человеческим рассудком, основная категория – время, пространство, причинность – безусловно, понятны, как и само движение, основа жизни, как и материя – ее плоть, как и сила – ее душа. Стоя в центре двух бесконечностей – времени и пространства, – человек, вроде Канта, думающий серьезно об этих вещах, на всех пределах мышления видит нелепость и даже двоякую, безвыходную. Как тут успокоиться, не сделаться мистиком? Бездна, как известно, увлекает, а для вдумчивого человека каждый атом представляет бездну. И, мне кажется, вполне нормальный человек должен быть немного мистиком: не бросаясь в бездну, он не должен отрицать ее существования. Игнорировать мировую тайну может разве уж слишком ограниченный человек или слишком беспечный, вроде Лапласа[2], который «обследовал телескопом все небо и не нашел там Бога». Предчувствие великого неизвестного, с чем человек всем существом своим связан, ощущение бесконечности и населяющих ее чудес – может быть, и естественных, но для нас сокрытых – вносит в душу человека самую важную черту естества – полноту сознания, благородство его и величие. Можно не верить в демонов, гномов, загробный мир и т. д., но не верить в Вечность, quia absurdum*, вообще нельзя, хотя немецкие философы (Дюринг) покушаются и на это. Напоминать почаще нашей бедной жизни, ее слабому, еле мерцающему сознанию о мировой загадке полезно, как напоминать плохому ученику, чтобы он не забывал икса в алгебраических уравнениях.

* Потому что абсурдно (лат.). – *В. Т.*

Несомненно, как и декаденты, мистики имеют право на существование, но они до крайности им злоупотребляют, превращая потребность в порок, в болезненное преувеличение. Мелодия слов прекрасна, когда входит в состав гармонии мысли, но декаденты отбрасывают мысль и ограничиваются одними словами, одной материей мысли, если можно так выразиться. Точно так же мировая тайна мистиков имеет великое значение, но лишь в согласии с частью самой этой тайны – человеческим разумом, то есть, как и его, ее следует считать естественной. Что бы *там* ни существовало, раз оно существует, должно быть естественно, закономерно и, стало быть, *не страшно* для человека. В этом отношении образованные мистики могут позавидовать здоровому чувству простонародных суеверий. Простой народ до того свыкся с мыслью о лешем, домовом и т. п., что считает их уже совсем естественными явлениями, как и колдовство, и боится их не более, чем всякой естественной вещи, которая может быть и опасной, и полезной. Мужик бросает корку хлеба домовому под печь или поросенка водяному на реке, считая себя затем обеспеченным от козней духа, точь-в-точь как если бы дело шло о взятке уряднику. Это – суеверие, но не мистицизм; в нем нет страха неведения – основной черты мистицизма, а, напротив, есть спокойствие уверенности. Допуская неизвестное и непонятное, здоровый человек не боится его, а старается пристроить к своей потребе: заставляет ветер ворочать крылья мельницы, огонь – печь хлебы, домового – стеречь лошадей. У язычников даже боги имеют определенную роль в хозяйстве, вместе с людьми они специализируются: одни заведуют погодой, другие – скотом, третьи – войной, охотой и пр. И эта точка зрения самая правильная: доходит до черты, отделяющей нас от пропасти неизвестного, но не переходит ее. А мистики бросаются в пропасть. Увлекаясь игрою мысли по всем направлениям возможностей, они всюду доходят до абсурда, до иррациональных выражений, до многомерных пространств. Видя, однако, что абсурд мыслим, мистик охватывается страхом неизвестности; если он мыслим, то не существует ли он и на самом деле? Разум,

перейдя свою черту, отказывается служить далее, как лоцман в неизвестном ему море, и человек чувствует себя перед таинственным чем-то, что, может быть, и не существует. Нет ужаснее ощущения этого загадочного страха; без всякой видимой причины настроивший себя мистик испытывает как бы гибель свою и даже нечто несравненно ужаснее гибели. На смерть идут бодрее, нежели здесь: там причина опасности известна, а здесь нет. Вспомните, как Мопассан под конец жизни измучил себя этим мистическим ужасом (прочтите его рассказ «Le chien»* или «Horla»**. Тут уже начинается душевный распад, мания, и всего опаснее из всех видов умственного наркоза шутить именно этим ядом – опием страха.

<VII>

Мистицизм как разновидность декадентства от времени до времени овладевает литературой; он отвечает брожению переходной эпохи и исчезает вместе с нею. Спорадически, конечно, он встречается всегда, так же как и все переходные моменты духа. В наше время мистицизм захватывает широкую область – живописи, музыки, литературы. Печатаются уже романы под диктовку духов, романы, наполненные видениями, призраками и волшебством в старинном вкусе.

Возьмите последний роман г. С. «В конце века. Любовь»***, где и герой, и героиня, и несколько второстепенных лиц видят призраки, к героине слетает ангел или дьявол в виде ангела и т. д. Правда, эти призраки обрисованы как бы на истерической почве, но в такой увлекательной, соблазнительной обстановке, что возводятся в норму, если не в идеал. Героиня, дочь богатого помещика, – обольстительная красавица, имеет «гибкий стан и необыкновенно грациозную шею», жгучие глаза, нежный и звучный контральт, и пр., и пр. Сверх того, она необыкновенно

* «Собака» (фр.). – *В. Т.*

** «Орля» (фр.). – *В. Т.*

*** *Суворин А. С.* В конце века. Любовь. – 1-е и 2-е изд. – СПб., 1893; 3-е изд. – 1898; 4-е изд. – 1900; 6-е изд. – 1904. – *В. Т.*

умна, необыкновенно образованна, знает ботанику, геологию, астрономию, жития отцов, философию, много поет и играет, прекрасно рисует, пишет стихи, до крайности религиозна, превосходно ездит на лошади и… что еще? Ну, словом, совершенство; а главное, она – какой-то таинственный, загадочный человек. Уже в минуту ее появления на свет отец ее видел вещий сон, будто какая-то необыкновенно яркая звезда скатилась с неба и обожгла его. Уже семи лет Варенька «говорила на нескольких языках и удивляла взрослых своими умными вопросами и заключениями». Она обладала зоркостью «решительно необыкновенной и видела звезды, которых никто не видал»; она не чувствовала страха, когда ей рассказывали о страшном, и молила еще и еще рассказать, – все фантастическое ей казалось естественным. Ангела-хранителя она даже чувствовала на своем плече, говорила с ним, как с братом. Когда она увидела впервые на картине разные странные существа допотопного мира, она нисколько не удивилась и сказала, что уже видела их. Мать ее убежала с одним итальянцем, и Варенька видела эту сцену бегства во сне, находясь в противоположном конце дома. Еще девочку, ее соблазнял к погибели какой-то дух, и она чуть не утонула. Когда ей было 17 лет, пожираемая каким-то внутренним беспокойством, она поступила в монастырь, в послушницы, работала, пела на клиросе, «молилась, как вдохновенная, никого в церкви не замечая и вся уносясь к Богу», читала «жития святых», спала на голых досках, морила себя голодом, не спала по обету целые ночи, читая молитвы и молясь. В одну из таких ночей ей и ее подруге Ане явился ангел, увлекший их к реке, где их встретили другие ангелы, оказавшиеся, впрочем, злыми духами, желавшими утопить девиц. Видения продолжали являться, но все мужские, хотя сама Варенька решила остаться в девстве, будучи уверена, что она призвана Богом на особое служение человечеству. Затем она ушла из монастыря, но и дома продолжала обнаруживать волшебные свойства, так что народ прозвал ее ведьмой. Дома она знакомится с петербургским молодым карьеристом Видалиным, приехавшим в командировку. Происходят бесконечные

разговоры о религии, о Ренане, о звездах, он ей признается в любви, она отталкивает его, но является психологический момент, когда оба были охвачены страстью, и… Затем идут три недели плотского блаженства. Видалин уезжает в Петербург. Для приличия он предлагает брак, но она гордо отказывается, признавшись во всем игуменье. Снова начинаются чтения отцов Церкви, философов и поэтов и внутреннее брожение, вызванное ее несчастием. Тут выступает на сцену герой романа – Алексей Мурин. Как и она, он не человек, а совершенство: молодой, красивый, богатый помещик, образованный, высоконравственный, *целомудренный* даже физически и тоже провиденциальный, с великими целями в жизни. Отказавшись от блестящей карьеры, Мурин поступал в духовную академию, чтобы затем пойти в простые священники своего села. Происходят бесконечные разговоры о религии, Мурин подавляет Вареньку своей богословскою ученостью и нравственной чистотой, молодые люди влюбляются друг в друга, происходит признание, но она, терзаясь тем, что уже не невинна, отказывает ему в своей руке. Вся эта вычурная фабула расцвечена яркими сценами, видениями, галлюцинациями, участием полупомешанной монахини, едва не зарезавшей Вареньку в мистическом припадке; драма ведется в высоком и бурном тоне, в вихре глубочайших душевных ощущений, где знание, вера, любовь, служение человечеству, возмущение против человечества оспаривают друг друга. Не помню, чем оканчивается роман, да и не в этом дело: он интересен лишь как знамение времени. Даровитый и влиятельный журналист за целое почти десятилетие до конца века спешит уловить его психопатию, выставить ее, изукрасить цветами и распространить в публике. Нужно ли это? При средствах, которые дает писателю талант, образование, знание вкусов публики, можно обставить мистическую тему еще соблазнительнее, но нужно ли это?

За писателями и ученые понемногу заговорили о чертовщине, о сверхъестественном, загробном, хотя именно в последнее десятилетие точной науке удалось сделать в этой области свои величайшие открытия. Передо мною, например, лежит

книга астронома Фламмариона «По волнам бесконечности». Напыщенным языком в этой книге разговаривают двое: автор и душа астронома Люмена. Душа рассказывает, что с нею случилось с последним вздохом ее тела, описывает свои путешествия по мировому пространству и т. п. Тут излагаются самые невероятные вещи. Во всей вселенной, например, а также и в человеке действуют три отдельных начала: тело и две души – жизненная сила и собственно душа. Первая душа есть таинственное нечто, заставляющее материю группироваться и действовать, но оно смертно, тогда как настоящая душа, проживающая в теле, как на квартире, бессмертна. Смертная душа изображается в форме веретена, тогда как бессмертная – в форме параболы. Душа остается в том самом месте пространства, где ее застигла смерть тела: земля уходит от нее со скоростью 26 800 миль в час (книга вообще изобильно снабжена цифрами с целью придать ее сумбуру ученую доказательность). Передвигаются души в небесном пространстве с быстротою мысли, мгновенно и даже с «отрицательной скоростью», то есть раньше, чем начнут куда-нибудь двигаться, они уже у цели. Поймите это, пожалуйста, если можете. Прибыв на Капеллу – главную звезду в созвездии Возничего, Люмен наблюдает за развитием Великой французской революции на земле, наблюдает свое собственное появление на свет, свою молодость, женитьбу и т. д. до момента смерти. На Капелле астроном встречает свою Сильвию, и пр., и пр. Из дальнейших путешествий оказывается, что миры населены воплощенными духами высшей и низшей человека организации, что есть люди с крыльями стрекозы или в виде плавающих в розовой атмосфере тюленей. В одном из воплощений астроном, по его словам, был женщиной, был среди одушевленных растений, думающих и говорящих, и сам «имел честь быть рассуждающим деревом» (!). На звезде фита Ориона люди похожи на канделябры или кактусы и передвигаются при помощи щупальцев. Есть миры, где мужчины не переживают дня свадьбы, а женщины несут яйца, и т. д., и т. д. Все это рассказывается не в сказочном, не в сатирическом и вообще не в предвзятом тоне, а искренне, вдохновенно, мо-

литвенно, очевидно, веруя, что все это не просто бред больного воображения. Фламмарион написал уже несколько подобных пустых книжек, и они у нас обязательно переводятся и распространяются. Очевидно, есть спрос на эти мистические россказни, и представители как изящной, так и ученой литературы спешат удовлетворить этому спросу. Хорошо еще, что большинство мистиков плохо пишут: если бы их заманчивую и втягивающую ложь вооружили большим художественным талантом, она могла бы натворить немало кутерьмы в слабых головах заурядной читающей массы. Ведь масса – существо загадочное, инертное, ее так легко настроить на всякий нелепый лад, особенно нашу русскую малообразованную толпу.

<VIII>

Не менее мистицизма омрачает нынешнюю интеллигенцию и верхи ее, философию и литературу – пессимизм, стародавний «порок сердца» европейского общества. Детище безбожия, грубого материализма, эта хворь была, может быть, первою стадией декаданса; она мучила некоторые благороднейшие умы, которые заразили ею и образованное общество. Вспомните век Чайльд-Гарольда и Печорина. Самые дюжинные, благополучные люди, видя скорбь великих душ, начинали тоже скорбеть, воображая, что так и надо, что это не болезнь, а признак высшего здоровья. А между тем, к несчастию, эта болезнь, если взглянуть ей прямо в глаза: ведь она – страдание, боль. Человека не радует его существование: ему не мил сияющий, полный жизни мир, золотое солнце, голубое небо; ничего не говорят ему вечные звезды, ни ропот волн, ни шелест дубровы; равнодушно слушает он и лепет ребенка, и стыдливые признания женщины, и голоса друзей, и молитвенные гимны в храме – все это для него пустая, бездушная видимость, буддийская майя. Отравленный, кислый бродит пессимист «в людном мире, как в глухой пустыне», заживо погребенный в нем, как в склепе, снедаемый какими-то душевными червями. Люди заурядные, захваченные этим недугом,

впадают в меланхолию, ипохондрию – словом, уже начистоту сходят с ума. Люди с сильною душою начинают в меру таланта служить демону отчаяния – таков Шопенгауэр и его школа. Они находят своеобразное наслаждение в бесконечной хуле на мир, в неустанном отыскивании всех его язв и болячек и раскапывании их до нервов, до мозга костей. В их глазах нет света – все сплошное страдание, а если есть радости, то они презреннее страданий. Самое лучшее, что может сделать человек, – это не родиться вовсе или возможно быстрее умереть, и мир оказал бы себе величайшее благодеяние, исчезнув вовсе. Гартман договорился, как известно, до необходимости вселенского самоубийства в человечестве. Эта философия нечто вроде предсмертной тоски, длящейся всю жизнь: как и всякие иные психические иррациональности, пессимизм имеет свою логику, свою дозу полезного действия на здоровый, слишком благополучный организм, но в большом количестве это то, над чем в лабораториях наклеивают ярлык с адамовой головой – эмблемой смерти. Яд это, и самый подлый из ядов, томящий без сладострастия декадентства, без грез мистики.

Так как пессимизм есть омертвение чувства по преимуществу, выдохлость аромата жизни, ее поэзии, то тем шире простор в нем холодному рассудку, и на почве рассудка бороться с этой философией нельзя. Против каждого вашего плюса она выставит минус, и в результате получится то, чего она добивается – нуль, небытие. Сражаться с пессимизмом можно лишь в области чувства, где он бессилен. «Хочу жить!» Этими двумя словами самый крошечный ребенок, даже последняя инфузория, если бы она говорила, могла бы свалить все грандиозное и мрачное здание пессимизма. В этой простой формуле простейшего чувства лежит всесильная правда жизни. Пусть мир ужасен, пусть он сплошное зло, люди – звери, небо – бездонная пустота, земля – глыба камней. Пусть нет ни бессмертия, ни воздаяния, ни смысла, ни цели, но «жить так хочется!» – и этого достаточно. Пусть вся жизнь состоит в проглатывании и выбрасывании окружающей стихии, как у медузы, но пока это нравится живущему – он прав. А ведь, кажется, большинству

человеческого рода, большинству всего живого нравится жить. Пусть это будет победою «воли» над «препятствием», низшего начала над высшим и т. д., не мудрствуя лукаво, род людской хочет жить, и мне кажется, следует снизойти к его скромному желанию и даже следует украсить цветами эту, как думают пессимисты, бесконечную похоронную процессию человечества – его мимолетную жизнь земную.

Философский пессимизм – отрицание жизни – отразился на литературе и искусстве весьма печально. Из этого источника, которому предшествовал скептицизм последних столетий, выросли, в сущности, все литературные хвори и самая крупная из них, которую можно назвать иронической школой, аналитической, обличительной. Эта школа восторжествовала с падением романтизма, хотя первым ее блестящим дебютом следует считать «Дон Кихота» и еще ранее – роман Петрония[3]. В нашем веке эта школа упрочилась и господствует вот уже второе пятидесятилетие. Она воюет с декадентством, не подозревая, что сама составляет одну из его разновидностей. Если основная черта декаданса – неестественность, то она же характеризует и ироническую школу. В качестве сатиры эта школа постоянно сбивается на карикатуру, то есть в искажение не только идеала, но и действительности как она есть. Карикатуру можно назвать отрицательным идеалом – и что же это такое, как не декаданс, хотя бы еще в не полной фазе разложения? Обличительная школа в погоне за правдой жизни именно эту-то правду и потеряла. Поэты и беллетристы этого душевного склада пишут или в озлобленно-бравурном, или в негодующе-минорном тоне. С особенной радостью они останавливаются на уродливых явлениях жизни, привязывают к ним внимание читателя, бережно списывают все нравственные бородавки, прыщики, шишки и искривления человека, выворачивают его грязное белье, скрытые раны под бельем, раздвигают края ран и любуются мясом в них, а если находят червей, то тем превосходнее. При этом одни (юмористы) ехидно подсмеиваются, издеваются над пойманным уродцем, ставят его в глупые и неприличные позы; другие (сатирики) озлобленно смеются и дразнят его, честят и

позорят; третьи (натуралисты) смотрят на него с мрачной укоризной и не прочь прочесть бедняку проповедь: «Свинья, брат, ты! Образа человеческого в тебе нет» и т. п.

<IX>

Все оттенки пессимистической школы имели своих выдающихся и даже великих представителей. Все они имели громкий, побеждающий успех, и все признаны вполне законными, здоровыми и даже единственно здоровыми видами словесности. Я же позволю себе думать, что это – больные и, стало быть, незаконные формы искусства, что они сродни декадентству. Побеждающий успех и признанность на протяжении нескольких десятилетий ровно ничего не доказывают или говорят даже не в пользу обличительной школы: для писателя или для писателей понравиться сразу большой толпе современников – признак плохой, это значит подойти к посредственному вкусу большинства. Истинность той или иной школы в искусстве должна выдержать испытание веков: наиболее великие произведения толпе обыкновенно вовсе не нравятся и признаются великими спустя много времени, да и то лишь со слов более интеллигентных ценителей. Выдержит ли господствующая обличительная школа испытание веков – большой вопрос.

Из живых представителей обличительного жанра у нас самый крупный А. П. Чехов, изящный и сильный талант которого составляет гордость России. Так как я ценю очень высоко его замечательное дарование, то тем грустнее видеть его на не совсем верном пути. Г-н Чехов просто мучит русских читателей. Напечатает он маленький рассказец – перл, полный тонкой и высокой красоты, – читатели в восторге и раздражены желанием большого такого же рассказа, а г. Чехов в ответ напечатает действительно большой, но вялый рассказ. Читатели в досаде. И малые, и большие рассказы посвящены неизменно одной мысли: показать, до какой степени дрянен и дрябл современный русский интеллигент. Из-под творческого пера родят-

ся один за другим пошленькие, слабенькие, дрянненькие герои без малейших признаков какого-либо героизма. В маленьком рассказе-перле, уже по размерам его, можно поместить только одного дрянненького, и он в сиянии солнца и торжествующей природы кажется не таким несчастным, его можно любить, на него можно надеяться и хоть немножко верить в него. Но в длинном, вялом рассказе, где природа отходит на второй план, где выступает сложная интрига, появляется сразу целая толпа пошляков, и вам делается тошно. Надо быть уж очень благополучным, чтобы прочесть длинный рассказ г. Чехова и вынести приятное чувство. Но, может быть, автор вовсе и не задается целью вызывать приятное настроение? Может быть, он умышленно старается вызвать в читателе мучительные чувства, болезненные, неотвязчивые вопросы? Если это так, то нужно спросить, зачем это проделывается. Если для пробуждения читателя, то это цель благая, но я сомневаюсь, чтобы она была достигнута этим путем. У художника слишком могучие средства, чтобы выдержать при мучительной операции с читателем необходимую осторожность, полезную норму действия, перейдя которую мучение делается уже вредным. «Мы ослабели, мы опустились, – говорит герой одного рассказа г. Чехова, – мы пали, наконец. Наше поколение всплошную состоит из неврастеников и нытиков; мы только и знаем, что толкуем об усталости и переутомлении…» «Мы слишком мелки, чтобы от нашего произвола могла зависеть судьба нашего поколения…» «Мы неврастеники, кисляи, отступники», – повторяет он. «Нашему поколению – крышка», – подчеркивает он энергично свое отчаяние. Как капля точит камень, г. Чехов точит русское общество внушениями, что оно ни на что не годится, что оно сгнило до корня. Средства у г. Чехова большие: сила таланта, глубокая вдумчивость и знание русского человека. Если он задается целью внушить что-либо обществу, то он в состоянии это выполнить. Но предположим, что его заветное желание исполнилось: внушение подействовало – все теперешние интеллигенты убедились насквозь в своей негодности. Я желал бы знать, что последует дальше. Подъем духа, вы полагаете? При-

лив энергии? Прояснение совести? Конечно, нет! Это противоречило бы самой элементарной психологии. Человек, которому доказали, что он безнадежно погиб, что ему – «крышка», действительно погиб, и как завороженный в гипнозе, он уже не может подняться. Ведь убеждение в чем-нибудь есть уже первая половина действия и даже все действие в своем зачатии. Общество наше, конечно, одержимо многими и опасными болезнями и должно знать это; но представьте себе, что у постели не совсем здорового человека явились серьезные физиономии, да еще докторов, да еще знаменитых докторов, каждое слово которых – голос оракула; представьте, что этому человеку начинают говорить: «Что с вами? Эге, дело-то плохо. Давайте-ка я вас послушаю… Хм! Неладно – тиф или воспаление легких, а не то и оба вместе». Подобными разговорами можно сразу раздуть искру болезни в целый пожар, чему существуют бесчисленные примеры. Бывали случаи смерти от внушения – вспомните смерть Климента V и Филиппа. Несомненно, то же самое и в области более широкого внушения – литературного. Настойчивые утверждения пессимистов бесповоротно убеждают толпу – существо, находящееся как бы в вечном трансе, в ее бессилии и ничтожестве. Художники полагают, что беспрерывным обличением они доведут общество до раскаяния, за которым, если оно искренно, следует обыкновенно подъем духа. Но у раскаяния совсем иная психология. Раскаяние невозможно без надежды, то есть без уверенности, что еще не совсем погряз, что еще есть силы бороться с грехом. Только такое раскаяние искренно, не лицемерно и только такое благотворно. Кто отчаялся, тому уже поздно каяться: последняя ступень его падения становится для него нормальной и даже удовлетворительной; несчастный на дне отчаяния почерпает спокойствие. Посмотрите, как спокойны бездомные бродяги, закоренелые пьяницы, профессиональные воры и проститутки и т. п. Это спокойствие людей, как бы умерших для прежней, высшей жизни, потерявших и тень надежды к возврату в нее. Вот почему в практике христианских подвижников, как и у стоиков, отчаяние считалось одним из смертных грехов и

кощунством перед Богом. У Ефрема Сирина дух *уныния* стоит вместе с духом праздности во главе пороков. Уныние есть паралич воли и совести. Ничего нет опаснее такого состояния, и поднять народ или общество, павшее до привычки к неуважению себя, к безнадежности, ужасно трудно. Тут уж потребуется совсем иное, великое внушение, потребуется громкий голос расслабленному: «Встань, возьми одр свой и иди! Ты вовсе не расслабленный, ты здоров!»

<X>

Что наитие духа талантливых людей на общество действует неотразимо, каково бы оно ни было, хорошее или дурное, – это общеизвестно, на этом держится вся история, и способ этого наития – подражание. Наши молодые беллетристы оказали бы себе большую услугу, если бы внимательно изучили книгу Тарда о подражании. Это книга секретов влияния на общество. Не только отдельные, незначительные поколения, но целые народы и группы народов бывали заворожены какою-нибудь одной идеей, одним созерцанием. Привязывая внимание народов к блестящим точкам человечества – Цезарю, Александру Великому, Наполеону и пр., удавалось погружать его надолго в настоящий гипноз. Литература, именно изящная, дает для созерцания читателей подобные блестящие точки – типы героев, людей совершенных. Если эти типы нарисованы творческою рукою, они жизненны и действуют, как живые, все равно – хорошие это типы или дурные. Вертер, изображенный Гете, вызвал к жизни целые тысячи живых Вертеров; Чайльд Гарольд и Печорин наплодили поколение себе подобных. Надутость и напыщенность наших псевдоклассиков, приторная чувствительность сентименталистов, разочарованность байронистов, злобная ирония гоголевской школы – все это очень быстро, почти сразу же по проникновении книг в толпу, вызывало бесчисленные живые слепки с модных героев: появлялись даже в уездных захолустьях бедные Лизы, Амалат-беки, Глинские, Милославские, Вадимы, Онегины, Чацкие и пр., и пр. И особен-

но устойчивы модные настроения отрицательные. До сих пор еще, например, в среднем кругу и ниже донашивается пустейшая мода на иронию, на колкое остроумие, на саркастический тон; о чем бы вы ни заговорили с одержимым этою модой, он делает вид, что не принимает этого серьезно; насмешка кривит его губы, язык ищет желчного каламбура, острого словца и, не находя их, разражается какою-нибудь резкостью, парадоксом, а то и прямо грубостью. Разговаривать с таким человеком, иногда хорошим по природе, ужасно тяжело: ни словечка у него не выходит без ужимки, ни одной мысли искренней. Вы можете на него даже обидеться, хотя следует пожалеть его: это жертва старой литературной моды, уродливого стиля эпохи отрицания и обличения. Помимо его сознания, он настроен на известную тональность, и выйти из нее ему нелегко: потребуется «настройщик из Петербурга». Для всех очевидно, что люди одеваются по моде, но хотя менее очевидно, но столь же верно, что и душу свою людская масса одевает по моде же; подобно articles de Paris* или венской мебели, английским смокингам и вздутым рукавам, вывозятся из заграницы и из столиц в провинцию модные идеи, фасоны мысли и даже фасоны чувств и вкусов. Особенно печального в этом нет, раз это уж неотъемлемое свойство среднего человека; но нужно стараться, чтобы из центров культуры подавалась хорошая мода, а не дурная, чтобы фасон мысли был естествен и красив, чтобы не было стесняющих дыхание мысли корсетов, неприличных обнаженностей, безвкусной пестроты.

Беллетрист – присяжный arbiter elegantiarum** духа своего времени; владеет ли он тонким и высоким вкусом или неуклюжим и бедным воображением – это сейчас же отражается на толпе. Художник как человек тонко-впечатлительный улавливает новый тип еще в предчувствии, иногда задолго до его упрочения в обществе; он берет еще его зародыш, который, может быть, в обществе и не развился бы, и уже сам дает ему силою творчества законченный образ. Общество, конечно,

* Парижские статьи (фр.). – *В. Т.*

** Арбитр изящности, арбитр изящного (лат.). – *В. Т.*

предрасположено к развитию данного типа, но оно предрасположено обыкновенно ко многим возможностям одновременно. Талантливый писатель, которому доступны откровения всех культур и цивилизаций, вся роскошь человеческой природы может издалека перенести новое зерно в народную почву; он может выбрать вовсе не выдающуюся черту своего общества и, излюбив ее, одухотворить, облечь плотью, и эта черта, поражая внимание общества, становится уже господствующей. В кипучей борьбе за существование разных идей, мод, настроений сейчас же получает страшный перевес та идея, на помощь которой приходит могучий талант. Кажется, ясно, что уж если приходить чему-нибудь на помощь, то хорошему, если подчеркивать какую-нибудь черту и вводить ее в моду, то для этого нужно брать сильное, доброе, благородное, героическое настроение. Вы скажете, что брать то, чего нет в действительности, будет ложью: что если общество состоит из людишек слабых, пустых, низких, то рисовать героев будет грубою неправдой. «Почему?» – отвечу я на это. Литература вовсе не обязана быть художественной статистикой и изображать все подряд. Литература должна изображать достойное созерцания, недостойным же пренебрегать. В обществе самом дурном встречаются всегда удивительные характеры, благородные сердца – ведь ими и держится жизнь. Не толпа, а именно эти светлые души, затерянные в толпе, составляют *правду* жизни; люди слабые и пустые – как бы ни было многочисленно их скопище – составляют *ложь* и не заслуживают внимания.

<XI>

Искусство, чтобы помочь обществу в величайшей задаче времени – в создании новой культуры, определенного духовного уклада, должно отказаться от ложного теперешнего принципа – быть отзывчивым на все без разбора: «ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром»*. Поэт как живое зрение и живой слух природы не может, конечно,

* *Пушкин А. С.* Эхо (1831). – *В. Т.*

не видеть и не слышать тех или иных вещей, но как живая совесть той же природы он может те или иные вещи оставлять без внимания, не давать им дальнейшей жизни, поскольку от него зависит. Искусству конца века недостает нравственного сознания, недостает взвешенного решения – что следует поддержать и чем пренебречь. Недостает понимания того, что литература и не в силах охватывать все настроения, все веяния в обществе, больные и здоровые. Литература никогда не исчерпывала всех общественных явлений и типов, всех зачаточных и неудавшихся форм, да и не в состоянии это сделать: ведь их несметное множество. В громадном бассейне народной жизни кишат непрерывно творческие и разрушительные силы, вступая в бесконечные сочетания. Великое множество редких и странных характеров, нравов, оттенков исчезло навсегда и исчезает поминутно; нарождаются и умирают постоянно новые радости и печали – где тут уследить за всеми? Да и зачем это? В том, что погибло, многое заслуживало бы сохранения в искусстве, и жаль, что оно не уцелело, но большинство форм, характеров, разновидностей не стоили внимания. Это неудавшиеся наброски природы, lapsus'ы* ее, ошибки и недоделки. Это – хлам, который не стоит даже регистровать: как от сора в жилище, от иных явлений духа следует освобождаться возможно поспешнее, выметая навсегда из своей памяти. Оставаться в сознании, как и в жилище, должно только пригодное, удачное, прочное, изящное, и чем больше внимание общества занято совершенными формами, тем более эти формы становятся его собственностью, органическою частью духа. Талантливый художник, прежде чем создать свою вещь, делает множество эскизов, и в самой работе каждый удар резца, каждое движение кисти меняют вещь. Какой интерес было бы сохранять каждое из бесчисленных приближений и попыток их? Довольствуются вещью оконченной, так как в нее вложено все лучшее и отнято все худшее, что возможно. В художественном отражении жизни нужно держаться того же правила: воссоздавать не все,

* Ошибки (лат.). – *В. Т.*

а лишь значительное и достойное нравственного внимания. Не думайте, что его нет: прекрасное неисчерпаемо, и от нас зависит вызвать его к жизни и населить им мир. Оставаться обществу среди уродов нельзя безнаказанно: вид уродов только уродует; совершенствует же и общество, и отдельного человека лишь созерцание совершенства, общение с ним. Та черта, которую излюбил и «возвел в пафос» г. Чехов (и не менее талантливые его товарищи), – черта дряблости и безволия русского человека, – несомненно, существует, но не заслуживает ни закрепления, ни увековечения. Если бы эта черта сейчас исчезла, сам г. Чехов первый был бы очень рад, а между тем он делает все, чтобы задержать ее исчезновение. Он выпускает одного за другим дряблых героев и натворил их уже легион, напрягая свой гений, чтобы этим фикциям вдохнуть жизнь, заставить их войти в интимное общество читателя, в круг его семьи, к домашнему очагу. Будь г. Чехов бездарный автор, эти фигурки были бы безжизненны: совершенно безвредно, подобно фарфоровым китайчикам на этажерке, они кивали бы головками, никого не смущая. Но, к несчастью для данного случая, г. Чехов – большой талант, и его герои не игрушки, не куклы – их нельзя выселить из своей памяти, и приходится поневоле жить с ними, заражаясь их психическою дряблостью: влияние среды неотразимо.

Нашей эпохе нужно, как и всякой эпохе, *органической* силы прежде всего. Необходимо, чтобы общество в целом и отдельные люди создавали около себя здоровье, красоту и счастье, а не только кривлялись в декадансе, обличали да отрицали. Природа не терпит пустоты, и за отрицаемым сейчас же должно стать нечто утверждаемое, иначе первое возвратится на прежнее место. Только могучим ростом положительного, обильным нарождением новых и более здоровых явлений, нежели теперешние, можно постепенно освободиться от душевной гнили и хвори. Литература может сделать далеко не все, но она много значит в психике общества: она уясняет, указывает, ставит пример, то есть то, что всего нужнее во всяком общественном прогрессе. Необходимо удовлетворить

основному инстинкту в обществе – инстинкту подражания, которым строится всякая культура, а для этого нужны не отрицательные, а положительные образцы. Необходимо для подъема жизни, чтобы в ней присутствовали реально живые образы желательного, совершенного, идеального, и если их нет, то недочет должна возместить иллюзия искусства. Такая иллюзия есть святыня, ведущая жизнь вперед. Многие ли видели в самой жизни образ Мадонны? Многие ли встречали героев, людей божественных? Вообразите же, что из нашего мира навсегда исчезли картины великих художников, античные статуи, величественные храмы, грезы поэтов, композиторов и мудрецов. Мир обеднел бы и осиротел. Почувствовалось бы отшествие куда-то бесценных, хотя и бестелесных благ. Но если так, то следует не только сберегать, но и увеличивать это святое одушевление, необходимо самим создавать побольше света, красоты и правды и населять ими нашу мрачную жизнь. Бог не создал тьмы, она была дана от века; первое же начало творчества: «да будет свет!».

Больная воля
(«Палата № 6». Рассказ А. П. Чехова[1])

I

Нигде на свете для образованных людей нет более широкого поприща для работы, чем в России. От своей древней, вековой культуры мы отступились, чужой же пока еще не приняли сколько-нибудь прочно. Когда не существует условий, при которых слагается организованный быт, то человеческая энергия не накапливается, не переходит в творчество, не осуществляется в вещах. Она рассеивается бесследно, как сила сырая, стихийная. Россия, несмотря на тысячелетие своей исторической жизни, все еще не сложилась окончательно. Неустроенная, огромная страна с почти первобытным населением, с почти нетронутыми богатствами почвы, с едва народившимися наукою, искусством и литературою… Казалось бы, какое

необъятное поле для труда, для творческой, созидательной работы! Тут возможны во всех областях открытия и первые начинания: стоит захотеть – и вы во множестве захолустий можете явиться своего рода Кадмом или Кекропсом – одним из тех мифических насадителей культуры, которые «научили жителей ковать железо и пахать землю», «научили письменам и музыке». В самом деле, в любом уездном городе вам расскажут не одну историю о том, как еще в недавние годы не было ни одного медника: пришел немец с инструментом, и с тех пор пошли слесарные мастерские; или о том, как недавно еще и помину не было о книжных лавках – явился ссыльный поляк и завел библиотеку; не было парикмахера – приехал еврей и пр., и пр. Таких Кадмов и Кекропсов в течение этого столетия, особенно с войны 12-го года, рассеяно было по России великое множество, и все они вышли в купцы, разбогатели и теперь ворочают миллионными делами, исподволь забрав у нас всю хлебную, всю нефтяную, каменноугольную, железную, сахарную и всякую иную промышленность и торговлю. И времена Кадмов еще далеко не прошли; во всех сферах жизни у нас благодаря отсталости таятся целые пустыни, девственные леса и дикие трущобы, «где не ступала нога европейца». Я говорю не о каких-нибудь вятских и пермских захолустьях, а мог бы указать их на самых вершинах нашей общественности, где цветут будто бы науки и искусства. Всюду непочатые углы работы и почти полное отсутствие работников. Когда вышел в русском переводе том известной «Всемирной географии» Реклю[2], посвященный России, русские профессора приложили к нему особый томик дополнений и обзоров. Один профессор говорит о русской метеорологии, другой – о почвах, третий – о хозяйствах и пр., и пр. И каждый профессор, поговорив о своем предмете, грустно замечает, что подробных данных еще не имеется, что та или другая сторона еще не изучена, ждет исследователей. До такой степени все у нас еще не тронуто культурой, что даже в самом Петербурге ученые делают иногда открытия, как будто где-нибудь в центре Африки: вспомните историю с анализами невской воды или открытие нового

уклона реки Невы. А наши книгохранилища, не разобранные целые сотни лет библиотеки, архивы – там ведь тоже не ступала «нога европейца». А наш общественный и народный быт! Для интеллигенции деятельной, даровитой нигде в свете нет условий, более благоприятных для труда. Возьмите Европу с ее старой культурой и длинным рядом образованных поколений: там все уже давно начато, устроено и десятки раз повторено, там самая захолустная сторона разработана и освещена, там нет и пяди земли, не утоптанной ногою европейца. В Европе страшный избыток интеллигенции, и даже среди околоточных встречаются доктора философии; там нет репортера, нет школьного учителя, даже писаря у мирового судьи, который не прошел бы через «святые стены университета». Там тесно, там до такой степени все открыто и изучено, что открыть что-нибудь новое, неизвестное так же трудно, как открыть в Атлантическом океане новую Америку. Чтобы создать новые возможности, найти себе выгодный путь, западному европейцу приходится перестраивать очень удовлетворительный культурный быт в хороший, хороший – в лучший, лучший – в еще лучший и т. д. или бежать в иные, девственные страны – Америку, Африку, Россию.

Итак, несомненно, нет страны, где бы образованные люди были поставлены в лучшее положение для работы. А спросите любого русского интеллигента, особенно провинциального, «не сделавшего карьеры»: тоном глубочайшего задушевного убеждения он станет доказывать, что нет на свете страны, где интеллигентному человеку жилось бы хуже, чем в России, где его деятельность была бы более стеснена тысячью препон и запретов и где она задыхалась бы от непобедимой тупости и дикости «среды». Среда «заела» не одного, а чуть ли не всех русских хороших людей, и до сих пор продолжает заедать. Один мой друг пишет мне из В.: «Здешнее общество всколыхнулось смертью директора гимназии Н. В молодости он был очень ученым чешским патриотом, бежал от преследования австрийских властей и умер в русской глуши от пива, ожирения и ничегонеделания. Как корова воду,

дул пиво – более ведра в день: только в этом и проходило его время. Подумаешь, какое влияние имеет русская жизнь даже на западного человека! Из передового бойца превращается в самого рутинного педагога и в пивную бочку. Вообще здесь странные смерти, то бишь преподлейшие: за два года пребывания моего умерли четверо интеллигентов и все от пьянства: *доктор* И. (сосланный за социализм), *аудитор* Ф., *ветеринар* М. и *директор* Н. Каково? И все либеральные профессии…» Другие знакомые, наезжающие иногда из провинции «освежиться», поют ту же грустную песнь: «Просто задыхаешься в нашем болоте! На целый город – ни библиотеки, ни книжного магазина, ни газеты, ни даже журнала порядочного никто не выписывает. Какое же тут может быть общение?» – «Ну, а вы сами – пробовали ли вы устроить библиотеку, книжную лавку, завести газету? Какой журнал вы выписываете?» – задаю я эти нескромные вопросы; но в ответах не нуждаюсь: они мне слишком знакомы и даже надоели. «Где уж мне! Не до того, что вы! Да и не по средствам…»

«Ленивы мы и не любопытны», – говорил Пушкин. «К добру и злу постыдно равнодушны», – говорил Лермонтов. Чуткая душа обоих великих поэтов поняла печальную правду русского характера. Вслед за Пушкиным и Лермонтовым вся литература без исключения не перестает оплакивать лень и бездеятельность русского человека. Обломовщина нас душит. И это вовсе не случайная черта, а культурная, продукт веками слагавшегося, как геологическая формация, своеобразного быта. Древняя, средневековая наша культура, от которой мы – верхние слои – отказались, была несравненно деятельнее, предприимчивее, одушевленнее: упадок духа обнаруживается в XVII веке и идет вместе с отмиранием органических начал нашей старинной, более свободной общественности и с развитием крепостного права. Крепостная эпоха обессилила и народ, и еще больше образованные слои. Начиная с Тентетникова, продолжая Ильей Ильичом и целым рядом «лишних людей», рефлектиков и гамлетиков, литература дает портреты обездушенной, обезволенной интел-

лигенции, кончающей именно так, как описывает мне приятель из В. Молодые беллетристы продолжают рисовать те же типы – доказательство, что эти типы еще живы в русском обществе и даже преобладают. Прочитайте замечательный рассказ г. Антона Чехова «Палата № 6». В этом рассказе, как во всех своих вещах – «Скучной истории», «Дуэли», «Жене», «Соседях», «Страхе», – талантливый художник выводит на подбор слабых и дряблых русских людей, новейших Обломовых, решительно не умеющих жить, не умеющих устраивать ни своего, ни чужого счастья при самых прекрасных внешних обстоятельствах. «Палата № 6» – это, может быть, самая удачная вещь Чехова: это – горькая драма, заслуживающая не только прочтения, но и глубокого, внимательного изучения. Позвольте передать здесь содержание этого рассказа.

II

Место действия – захолустный русский городок в двух верстах от железной дороги; время – ближайшие к нам годы. В захолустном городе существует «богоугодное заведение» – больница, а в ней один флигель назначен для душевнобольных. Это и есть палата № 6.

Запущена она до чрезвычайности: окружена целым лесом репейника и крапивы, ступеньки у крыльца сгнили, штукатурка совершенно обвалилась. Одним фасадом флигель обращен к больнице, другим «глядит в поле, от которого его отделяет серый больничный забор с гвоздями», – все это особого, «унылого, окаянного вида» наших больниц и острогов. В сенях на груде гниющего больничного хлама – матрацах, изорванных халатах, истасканной обуви и отрепьях обыкновенно валяется сторож Никита. Отставной старинный солдат, в полной власти которого находятся все пятеро душевнобольных, Никита «принадлежит к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало и уверен, что без

этого не было бы здесь порядка». Самая палата помешанных – грязная комната с закопченным, как в курной избе, потолком, с железными решетками в окнах и занозистым полом. «Воняет кислою капустою, фитильной гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит впечатление, как будто вы входите в зверинец».

Помешанные все, кроме одного, – мещане: прогрессивный паралитик, дурачок «жид Мосейка», почтальон, вообразивший себя крупной особой, бывший студент Иван Дмитриевич, одержимый манией преследования, да сосед его – «оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом, которого Никита бьет страшно, со всего размаха, не щадя кулаков, и это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только покачивается, как тяжелая бочка».

Жизнь заключенных в этом забытом, заброшенном углу течет бесконечно уныло и однообразно. Больные из дня в день видят только полупьяного сторожа Никиту, никто сюда не заглядывает целыми годами, новых больных доктор давно уже не принимает, и сам никогда сюда не заходит. Но вдруг разнесся странный слух, что доктор стал посещать палату…

Доктор Андрей Ефимович Рагин принял эту больницу и палату умалишенных двадцать лет тому назад, по окончании медицинского факультета. «Когда он приехал в город, “богоугодное заведение” находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра; в ванных держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора предшественники Андрея Ефимовича рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали эти беспорядки и даже преувеличивали

их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане да мужики, которые дома живут гораздо хуже, чем в больнице: не рябчиками же их кормить! Другие говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава Богу, что хоть плохая есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город имеет уже свою больницу».

Скажите, разве это не счастливое поприще для интеллигентного вмешательства? Разве не кстати тут было бы проявить самую бескорыстную, неутомимую энергию? Молодой врач, только что оставивший «святые стены университета» в годы общественного подъема, в годы освобождения…

«Осмотрев больницу, Андрей Ефимович пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю, а больницу закрыть». Но уже тогда, молодым человеком, он рассудил, что не стоит особенно волноваться: «приняв должность, он отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах». Затем идут годы за годами, целое двадцатилетие, и в жизни несчастных, попавших в больницу, все остается по-старому…

Чем объяснить эту преступную бездеятельность? Недостатком физических сил, нездоровьем? Нет, Андрей Ефимович, как и Илья Ильич Обломов, пользуется вожделенным здравием. Недостатком образования, умственного развития? Опять же нет, иначе выше его пришлось бы поставить любого добросовестного лакея, поддерживающего порядок в квартире. Если бы еще Андрей Ефимович, подобно предшественнику, продавал больничный спирт и устраивал гарем из сиделок, – его невмешательство было бы сколько-нибудь понято. Но Андрей Ефимович – человек отменно порядочный, интел-

лигентный. Он не корыстолюбив и отказался даже от всякой практики в городе, и из рассказа не видно, чтобы он взглянул когда-нибудь на женщину с вожделением. «Придя домой, он немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья у него уходит на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одну лишь газету "Врач", которую всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книг всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко. Чрез каждые полчаса, не отрывая глаз, он наливает себе рюмку водки и выпивает». После обеда, плохого и неприятного, Андрей Ефимович ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает – вплоть до вечера, когда к нему приходит почтмейстер, «единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимовича не тягостно»; это прокутившийся отставной кавалерист, жизнерадостный, пустой, но, по крайней мере, благовоспитанный человек. Начинается питье пива и умные разговоры. Доктор жалуется, что «в нашем городе совершенно нет людей, которые умели и любили вести умную и интересную беседу. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития нисколько не выше, чем у низшего сословия».

Из дальнейших разговоров оказывается, что доктор – истинный философ в греческом значении этого слова. «На этом свете, – говорит он, – все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Он заменяет ему бессмертие, которого нет. Ум служит ему единственно возможным источником наслаждения». В детстве Андрей Ефимович был очень религиозен и хотел поступить в духовную академию, но по настоянию отца, тоже доктора, сделал-

ся врачом. «Мне кажется, что, если бы я тогда не послушался его, – говорит Андрей Ефимович, – то теперь находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета».

Как человек, не верящий в бессмертие души, Андрей Ефимович понимает жизнь как «досадную ловушку»; он мучается бессмыслицей бытия и видит отраду лишь в умственной деятельности. «Как в тюрьме, люди, связанные общим несчастием, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей». Проводив приятеля, Андрей Ефимович садится за стол и начинает читать, погруженный в тишину ночи. «Грубое, мужицкое лицо доктора озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума». Он снова погружается в проклятый вопрос: зачем человек не бессмертен; воображает времена, «когда охладевшая земля, без смысла и без цели, будет носиться с землей вокруг солнца», и приходит к справедливому выводу, что утешенья нет. «Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его со временем будет жить в траве, в камне, в жабе…»

Но безутешность в будущем, казалось бы, должна была натолкнуть доктора на мысль о бесконечной ценности настоящего, о необходимости устраиваться возможно лучше здесь, теперь же, пока еще живо дыхание жизни. На деле этого нет.

III

«Невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, Андрей Ефимович бросает взгляд на свое прошедшее и настоящее. И в настоящем то же, что и в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте. Быть может, кто-нибудь не спит и воюет с

насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку». Прием больных свелся к пустейшей формальности, к обману, и никакой помощи больные не получали. «Все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и оскорбляет жида Мосейку, собирающего милостыню». С другой стороны, доктору отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. «Когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и восторг. Какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие Пирогов считал невозможными даже in spe*. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений – один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис… Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения – это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду, не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески, устраивают даже для них спектакли и балы. Андрей Ефимович знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двух верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные – полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот раскаленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию».

Таким образом, Андрей Ефимович «не противится злу» не от недостатка сознания этого зла, не от убеждения в невоз-

* В надежде (лат.). – *В. Т.*

можности борьбы с ним, не от сочувствия ему. Напротив, «Андрей Ефимович чрезвычайно любит ум и честность; но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет».

Не умеет или не хочет? Вернее, я думаю, второе. У него не хватает не то чтобы воли, а *желания*. Существует психическая болезнь – ослабление воли, когда человек страшно хочет что-нибудь сделать, но не может; в данном же случае мы имеем совсем другое: Андрей Ефимович просто не хочет помочь несчастным – вот и все. Эта болезнь не воли, а, как мне кажется, болезнь совести. В самом деле, этот тихий, скромный, до крайности уступчивый, высокоинтеллигентный человек, в сущности, ужасно бессовестный, как вообще все бездеятельные русские люди, все Обломовы, от Евгения Онегина и Тентетникова до Рудина, Ильи Ильича, Райского, Бельтова и иных. Бездеятельность, безволие русских людей, иногда столь прекрасных и невинных, я считаю пороком не ума, не образования, не характера вообще, а одной особенной черты характера – совести. Вовсе не разочарование, не тоска по идеалам, не физическая лень, не умственная неразвитость создают Обломовых, а создает их *нравственная бездарность*, недостаток в душе нравственного сознания. Русский человек «постыдно равнодушен» к добру и злу; погруженный в какой-то сон совести, он может глядеть на вопиющие мерзости и не возмущаться или возмущаться очень слабо. Даже тогда, когда умственное сознание подсказывает нравственному собственные вины человека, он лишь слабо отмахивается от них рукой. «Я служу вредному делу, – думает иногда Андрей Ефимович, – я получаю жалованье от людей, которых обманываю. Я не честен. Но…»

IV

Тут на помощь бездарной совести приходит тонко развитый ум. Все Обломовы, сколько их ни есть на свете, люди

очень интеллигентные; ум у них не ниже, а скорее выше среднего, образование прекрасно. Защищать себя перед совестью они умеют; они непременно оправдывают свое вредное существование: кто – «независящими обстоятельствами», кто – средой, барским воспитанием, кто – мировою скорбью. Но прежние Обломовы были все-таки несравненно совестливее новейшего типа. Печорин сознается все-таки, что он «не угадал своего высокого назначения и увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных». Рудин кается: «Я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа». Даже Илья Ильич, до противности влюбленный в себя, все-таки сознавал, что душевный склад его «завален дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Все старые Обломовы не на деле, так на словах, в душе, желали великой деятельности, думали, как Илья Ильич, что «нужно служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников». Совсем не то новейший Обломов, Андрей Ефимович, нарисованный мастерскою кистью Чехова. Сохраняя все крупные черты родового обломовского типа, Андрей Ефимович представляет в нравственном смысле дальнейшую, несравненно более низкую стадию вырождения. Андрей Ефимович уже не угрызается совестью и, ясно сознавая умом, что он бесчестен, ничуть этим не волнуется. Хорошо вооруженный ум является для него искусным адвокатом, который по первому требованию обеляет своего клиента. «Я нечестен, – думает Андрей Ефимович, – но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я двумястами лет позже, я был бы другим». Вот и весь сказ. Впрочем, не весь. На досуге, обеспеченном страданиями больных и помешанных, Андрей Ефимович сочиняет целую философскую систему в защиту «непротивления злу», в защиту полного равнодушия к горю ближних. Он перестает

лечить, заявляя, что не следует мешать людям болеть, сходить с ума или умирать, не следует вообще бороться со злом. Это было еще задолго до знаменитой толстовской формулы, так плохо понятой в недавние годы. Андрей Ефимович еще двадцать лет тому назад решил, что улучшать больницу бесполезно: «Если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же если люди открыли больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна: предрассудки и все житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости». Пробовал он было вначале (как и все прежние Обломовы) заняться практическою деятельностью, то есть лечением больных, и даже работал очень усердно, но затем дело это наскучило ему своим однообразием и бесполезностью, совершенно так, как наскучивало живое дело прежним Обломовым. Можно ли серьезно лечить, когда от утра до обеда приходится принять сорок больных? Можно ли лечить в такой больнице с ее смрадом и грязью, вредною пищей и ворами-помощниками? Уничтожить же грязь, и вредную пищу, и воров, устроить нужные условия для успеха дела – на это новейший Обломов оказался столь же не способным, как и прежние. И в оправдание этой неспособности нынешний вооруженный ум выдвигает снова философию. «Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет?» (Вспомните, читатель, рассуждения Раскольникова перед убийством старушонки-закладчицы). «Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, страдания ведут человека к совершенству; и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор

находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе, почему не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимовичу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания? *Подавляемый* такими рассуждениями, Андрей Ефимович опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день».

Такова философия новейшего Обломова. В ней достаточно ума, начитанности, но совсем нет сердца. Рассуждения *подавляли* его: разум, оживляемый не совестью, а мертвой логикой, есть простая машина, холодная и слепая: работа его производит мертвую, давящую энергию, простое движение, которое не дает само по себе ни теплоты, ни света. Жизненное зло – а Андрей Ефимович был окружен им в избытке – не вызывало в нем ни отвращения, ни ужаса. Он не возмущался, не сострадал. Полквартиры ученых книг и бесконечный молчаливый «обмен гордых, свободных идей» не подсказал нашему Обломову нравственного ужаса его состояния. Напротив, в душе он, по-видимому, любовался отсутствием в себе совести, считал это стадией высшего развития. Впервые ему пришлось услышать горькую правду в глаза от сумасшедшего, именно в палате № 6, куда доктор зашел совершенно нечаянно для себя и для больных. Единственный «благородный» помешанный, бывший студент Громов, узнал доктора. «Он весь затрясся от гнева, вскочил с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину залы. “Доктор пришел!” – Крикнул он и захохотал. – Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоил нас своим визитом. Проклятая гадина! – взвизгнул он и в исступлении, какого еще не видали в палате, топнул ногой. – Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!.. Вор! Шарлатан! Палач!”»

Такова благодарность от несчастных, заслуженная интеллигентным деятелем за двадцать лет «службы обществу». Но Андрей Ефимович нравственно неуязвим: он заинтересовался студентом, с удовольствием лакомки видит в нем то,

чего не мог найти в городе – интеллигентного и умного собеседника, – и пускается с ним в длинную беседу. Студент, как одержимый манией преследования, в светлые промежутки владеет всею силою и остротой ума и беспощадно опровергает философствующего доктора. Андрей Ефимович, «наслаждаясь обменом гордых, свободных идей», идет в палату и на следующий день, и затем ежедневно, хотя эти посещения ни в малейшей степени не облегчают участи больных. Андрей Ефимович старается доказать негодующему Громову, что не следует противиться злу.

– За что вы меня держите? – возмущается исстрадавшийся Громов.

– За то, что вы больны.

– Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим тут, а вы нет? Где логика?

В ответ на это Андрей Ефимович выматывает из себя такие рассуждения:

– Нравственное отношение и логика тут не причем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, – вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, – нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность… Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. Но это бесполезно – вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

– Никому оно не нужно, – возражает Громов.

– Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы – так я, не я – так кто-нибудь другой, третий. Погодите, когда в далеком будущем за-

кончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток у окон, ни халатов… Но и тогда законы природы останутся те же. Люди будут умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, но все-таки, в конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму.

Это философское глумление, конечно, возмущает Громова; он говорит о своей страстной жажде жизни, о призраках лесов, береге моря, кипучей жизни людской… На это наш философ снова начинал выматывать из себя умные мысли: «Вы – мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное, глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира – вот два блага, выше которых никогда не знал человек, и вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных».

– Ваш Диоген был болван, – угрюмо проговорил Громов. – Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем. Доведись Диогену в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода.

– Нет, – возражает Андрей Ефимович. – Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли; откинь его, перестань жаловаться – и боль исчезнет». Мыслящий человек презирает страдание, он всегда доволен и ничему не удивляется. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем – истинное благо.

– Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости? – возмущается бедный студент. – Уразумение… извините, я этого не понимаю. Я знаю только, что Бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криками и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее от-

вечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как этого не знать? Доктор, а не знает таких пустяков!».

V

Мы не приводим здесь длинных и страстных опровержений Громова против безмятежных измышлений доктора. Не касаемся превосходно очерченных вводных лиц рассказа. Для портрета философствующего лежебоки достаточно и того, что мы привели выше. Чтобы закрепить и орельефить этот тип, автор подвергает своего героя жизненному испытанию, выбрасывает его из обеспеченного положения и заставляет попасть в те же ужасные условия, в которых томились его больные. Частые посещения доктором палаты № 6 и длинные разговоры с помешанным студентом поразили местных обывателей – до такой степени необыкновенно было это исполнение врачом своих обязанностей. Пошел слух, что сам доктор сошел с ума. Помощник доктора, молодой врач Хоботков, стремящийся на место своего начальника, укрепляет этот слух. За философствующим доктором начинают следить, наконец, приглашают под пустым предлогом в нарочно созванную комиссию для освидетельствования его умственных способностей. Смущенный доктор понимает, в чем дело, на беседе в комиссии смущается еще более, и его признают за тихого помешанного. Затем ему предложили «отдохнуть», то есть выйти в отставку, и старый лежебока, целую жизнь не знавший страданий, а только кормившийся, «как пьявица, около чужих страданий», оказывается без всяких средств выкинутым на улицу. Как Илья Ильич в конце концов очутился на содержании своей хозяйки-мещанки, так и Андрей Ефимович: ему пришлось поселиться с кухаркой Дарьюшкой, жить на продаваемые тайком ее старые платья и стыдиться лавочников, которым задолжали. К этому присоединились назойливые посещения в качестве друзей Хоботкова и почтмейстера, утверждавших настойчиво, что доктор болен и что ему нужно лечиться. Выведенный из себя, он

однажды выгнал друзей вон. Это сочли за приступ уже буйного помешательства. Под удобным предлогом Хоботков приглашает доктора в палату № 6 и оставляет его здесь навсегда. Тот же сторож Никита приносит своему недавнему начальнику обыкновенное больничное одеяние, грязное и смрадное, заставляет его одеться. Тут только нашего беспечного философа охватывает ужас настоящей, доподлинной жизни, которую он двадцать лет видел и не понимал. Он пробовал себя утешить философией – тем, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели, и было жутко от мысли, что проснется его сосед по койке Громов и увидит, что и он, философ, сюда попал. «"Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета, сапогов". Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, недели и даже годы, как эти люди? Ну вот, он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет. Это едва ли возможно. Андрей Ефимович лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять прошелся. "Это какое-то недоразумение…" – проговорил он, разводя руками в недоумении. – Надо объясниться; тут недоразумение". Проснулся Громов и начал злорадствовать: "Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!"» Андрей Ефимович снова пытался философствовать, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и из всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась. "Я пал духом, дорогой мой, – пробормотал доктор, дрожа и утирая холодный пот. – Пал духом".

– А вы пофилософствуйте, – злорадствовал Громов».

С наступлением вечера Андрею Ефимовичу захотелось, по обычаю, пива и курить. Он не может сидеть в темной комнате. Он хочет выйти.

Тут происходит возмутительная сцена. Только что Андрей Ефимович отворил дверь, как Никита вскочил и загоро-

дил ему дорогу. «Не заводите беспорядков, не хорошо!» Андрей Ефимович упрашивает Никиту выпустить его пройтись по двору. Громов возмущается и требует, со своей стороны, чтобы их выпустили. Просят, по крайней мере, чтобы пришел Хоботков. Никита не сдается. «”Никогда нас не выпустят! – кричал Громов. – Сгноят нас здесь!” – “О, Господи! Неужели же в самом деле на том свете нет ада, и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! – крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. – Я размозжу себе голову! Убийцы!”

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимовича, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимовичу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; во рту было солоно; вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, как Никита два раза ударил его в спину…».

Тут следует позднее пробуждение совести, пробуждение острое, как удар ножа в сердце. «Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого?»

На другой день Андрей Ефимович умер от апоплексического удара.

Вот вам ужасная история современного Обломова. Ужас не в том, что доктор больницы попал в положение сумасшедшего – это случай, конечно, не типический; несравненно чаще Андреи Ефимовичи доживают свой век благополучно, до полной пенсии или солидного капитала – *так и не узнав* о страданиях близких им людей, так и не испытав укора совести. Это ужас. Безвестные, потерянные для всех, беззащитные, забытые более, чем в могиле, томятся бедняки, вверенные интеллигентным заботам, век томятся и пропадают. И это не только в палате помешанных, – ее взял автор для того лишь, чтобы резче отметить свою мысль, – подобными палатами в большей или меньшей степени запущенности изо-

билует хиреющая в невежестве русская жизнь, и не только провинциальная. И всюду, во всех сферах у нас встречаются Андреи Ефимовичи, с философией и без философии, не противящиеся злу, не желающие ему противиться. Г-н Чехов вывел прекрасно образованного Обломова, с тонким и развитым умом, с ненасытною умственною жаждою, но это случай опять-таки крайне исключительный, взятый для резкости; я даже думаю, что с такою повышенною умственною деятельностью нравственная обломовская лень трудно совместима. Паралич столь центральной способности духа, как совесть, обыкновенно вызывает падение и других сторон души; общее помешательство начинается, а может быть, и вызывается нравственным упадком. Потеря интереса к правде, к воплощению ее в жизни сопровождается обыкновенно потерею интереса ко всему на свете, потому что ведь все на свете интересно лишь в меру выраженной в нем правды. Таким нравственно глухонемым не до чтения, не до наслаждения мыслью. Огромное большинство Обломовых не философствуют и не читают (как Илья Ильич, Онегин, Тентетников, Рудин), огромное большинство их не нуждаются в логических хитросплетениях, чтобы оправдать свое бездушие, свою нравственную глухоту.

В чем же лежат причины этого печальнейшего явления в русском характере, вековечные причины обломовщины? Хотя в рассказе г. Чехова ни разу не упомянуто имя графа Л. Н. Толстого и даже нет выражения «непротивление злу», однако весь рассказ построен как бы ради опровержения этого принципа. Доктор Андрей Ефимович высказывается характерным языком толстовского учения, настаивает на «уразумении жизни» как высшей цели, ведущей к «истинному благу», настаивает на подчинении обстоятельствам, как бы плохо они ни сложились, то есть учит «не противиться». Можно подумать, что причиною бездушия Андрея Ефимовича, его безучастия к страданиям ближних является именно нравственное учение конца века. Г-н Чехов как бы проделывает ученый опыт: заставляет идею непротивления воплотиться в человека совре-

менной культуры, от природы мягкого и умного, заведующего судьбою целого кружка людей. Он показывает, как отражается непротивление на самом человеке и его окружающих. Мы видим, что человек превращается в бессердечного паразита, из непротивника злу делается защитником зла, идейным отстаивателем всякой мерзости человеческой, которая, видите ли, раз существует, стало быть, необходима, – а зависящие от него люди гибнут. Андрей Ефимович мухи не обидит, но, краснея, десятки лет подписывает заведомо «подлые больничные счета», терпит воров-помощников, терпит хирургическую рожу, а когда больные жалуются на голод и холод, говорит: «Хорошо, хорошо… Это какое-нибудь недоразумение», – и идет домой пить пиво. Более последовательного, убежденного «непротивленца» трудно и вообразить.

Действительно, «непротивление злу», взятое в его *ходячем* смысле, есть учение не только не умное, но и глубоко безнравственное. Оно представляет отрицание самой жизни, которая вся основана на противодействии вредным влияниям. Но это – *ходячее* понимание непротивления, в котором Лев Толстой, как мне кажется, неповинен. Знаменитая формула имеет другой, глубокий смысл, как и древний евангельский завет, которого она является повторением. На самом деле, напоминание этой старой мысли современному обществу не отрицает борьбы со злом, а предлагает лишь новое, более совершенное оружие для этой борьбы. Старый способ борьбы со злом, согласно этому взгляду, следует считать грубым, первобытным, не достигающим цели. Гасить зло злом же, обиду – обидой, насилие – насилием же, что огонь гасить огнем: происходит не уничтожение зла, а удваивание его, нагромождение обиды на обиду, мщения на мщение. Предлагается несравненно более тонкое и более могущественное средство – *нравственная борьба* со злом, противление любовью. В огромном большинстве случаев материальная уступчивость, доброе расположение сразу обезоруживают злобу, лишают ее пищи. Бесчисленные вспыхивающие искры гнева в атмосфере любви тотчас же гаснут, как пылающие голов-

ни в воде. Враг в большинстве случаев бывает сражен обращением к его добрым, благородным чувствам. Ему делается стыдно злобы, иногда он делается другом своего противника. Таково *правило*; исключения из него возможны, но редки. В этих редких случаях человек уступающий терпит зло, но вознагражден счастьем самому не сделать зла, что для доброго человека – самая важная из выгод. Отсюда заповедь: любите врагов ваших, не противьтесь злу *злом*. Но это, как видите, вовсе не значит, что люди не должны противиться злу вовсе. Предписывается *любовь*, то есть деятельная сила, направленная против зла. Предписывается самое энергическое, неустанное нравственное сопротивление, неустрашимое свидетельствование правды, громкое и доблестное, до терновогo венца, до распятия. «Кто хочет быть совершенным, пусть оставит отца и мать и идет вслед Меня». Предлагается противиться злу пожертвованием имущества, отечества, свободы, даже жизни, но с условием не делать при этом зла врагам своим, не принуждать их материальной силой. Злу нужно противиться добром, горячим убеждением, умоляя, благословляя. С общепринятой, нефилософской точки зрения, основываясь на мелком ходячем опыте, трудно вообразить, чтобы ожесточенная злоба сдалась нежной ласке. А между тем это истина, основанная на тонком понимании души человеческой. Могущество любви и уступчивости являлось не раз в истории как откровение, как проповедь, но любовь и самостоятельно вырабатывалась в массе человечества как инстинкт. Стоило только затихнуть периоду войн в любой стране и упрочиться мирному сожительству, как тотчас же начинало всюду устанавливаться «смягчение нравов», вежливость, гуманность. Эта вежливость есть полусознанное понимание того, что любовь побеждает лучше злобы, что любезностью – подобием любви – добьешься скорее успеха, нежели враждебностью. Любезность и вежливость являются народными, даже простонародными свойствами во всех старинных культурных странах (Китай, Япония, Аравия, Персия, романские страны). Это народный способ противления злу, причем, как, на-

пример, в Японии или Испании, вежливость утончается до крайности, доходит до степени религиозного уважения друг друга. И в самом деле, обыденная жизнь в этих странах несравненно приятнее и радостнее, нежели в грубых странах варварских или новокультурных. Стихия общей любезности делает все характеры как бы одинаково красивыми, благородными; встречая от всех знаки почтения и привета, человек чужой чувствует себя как бы в родственном кругу. Пусть это будет не пылкая любовь, а лишь подражание ей, но искреннее подражание добру есть уже добро. Такая культура характеров – венец и завершение всякой культуры; это еще не Царствие Божие, но все-таки заметный шаг к нему. Конечно, и в Японии, и в Испании совершаются тяжкие и гнусные насилия, но там они несравненно реже и, по крайней мере, не существует бесконечных микроскопических насилий в затрапезной, обыденной жизни общества. Там муж не ударит жены, не обзовет ее на дню десять раз унизительною бранью, не щипнет ребенка, не пройдет мимо упавшего человека. Там стараются быть во что бы то ни стало приятными друг другу, и это хорошее старание переходит в привычку, становится безотчетным: является обязательное уважение к личности, терпимость к слову и мнению, чувство солидарности, обязательная готовность помочь в беде, отвращение к стеснению чужой свободы, чувство достоинства. Все это усовершенствование характеров, то есть самых душ, вытекает из бессознательной практики непротивления злу насилием.

Но, может быть, на этом роль древнего закона евангельского и останавливается? Может быть, для того, чтобы преодолеть большое какое-нибудь зло, не личное, а, например, социальное, – система нравственной борьбы недостаточна? Может быть, бывают исключения, когда враг является просто физическим препятствием, требующим, как мертвая преграда, – физических мер? На это я замечу, что мне трудно представить себе *живых* людей *мертвою* преградой. Когда это бывает, мне кажется, что это больше по нашей вине, чем по их. Если бы мы обнаруживали истинно живое отношение

к людям, искреннюю любовь к ним, то оживили бы и их отношение к нам, воскресили бы их к жизни. Во всех почти случаях насилия над нами, если мы проверим собственное поведение, то увидим, что мы не вполне правы, что мы не исчерпали добрых средств борьбы и прибегли – хоть и в малой степени – к недобрым. Не было бы ссор, говорит Ларошфуко, если бы хоть одна сторона была права. Непротивление злу насилием есть потому самое верное средство борьбы со злом, что этот способ не прибавляет к вспыхнувшей злобе новой злобы и *не дает ей пищи*: она гаснет, как огонь без топлива. В борьбе со всяким злом – личным и общественным – самое верное средство – не давать материала для зла, поскольку это от нас зависит. В общественной жизни нравственная борьба составляет самое верное и наиболее могучее средство. Вспомните, например, движение Реформации или недавнюю историю реформ в Англии, бесконечный ряд петиций, митингов и т. п. до тех пор, пока ненавистные народу меры не были отменены. Мирная, но непрерывная эволюция политической жизни в этой стране дала ей, как и всюду, неизмеримо больше, чем насильственные перевороты. Общественное мнение – «Sa Majésté l'Opinion publique» – правит миром, а что оно такое, как не нравственное сознание данного времени, верное или неверное? Сила нравственного сопротивления, раз она охватывает массы людей, необорима: в истории величайший пример тому представляет распространение Христианства. «Не противься злу», – возглашал Христос; его апостолы, мученики и первые христиане своею любовью, прощением врагов, благостью покорили всесильный Рим. Разве это не удивительная победа? И смысл подобных побед не в прямом значении правила: «не противься злу насилием», а в логически вытекающем из него законе: «противься злу ненасилием».

Нравственная борьба («противление ненасилием») не только тем хороша, что самая действительная, но и тем, что она самая доступная. Она *каждому* доступна без исключения, до последней ступени общественной лестницы, как показал Христос, призвав к апостольскому подвигу людей именно это-

го круга. Не то борьба насилием, которая – в сколько-нибудь серьезных размерах – почти никому не доступна. Возьмите Андрея Ефимовича. Что он мог бы сделать *насильственною* борьбою с тем злом, для искоренения которого был призван, – с душевными болезнями? Он мог бы проделать только то, что и проделывалось в его больнице фельдшерами, сиделками, сторожами, то есть бить больных, обливать их холодною водою, вязать им руки и т. п. Все это средства – не только гадкие, но и бессильные вполне. Напротив, нравственная борьба была бы успешна, как и доказывает практика тех европейских больниц, где она принята. Без всякого насилия Андрею Ефимовичу стоило только отказывать в своем согласии на большинство мерзостей, творящихся в палате № 6, и они исчезли бы; стоило бы, например, не подписывать заведомо обманных бумаг, не соглашаться служить с больничным персоналом, который доказал свою вредность, стоило бы самому подать пример неутомимой энергии и заботливости о больных, и все порядки быстро преобразились бы. Это было бы прекрасное, благотворное и для больных, и для самого доктора противление злу ненасилием и победа над злом, освобождающая жизнь.

Вот этого-то внутреннего смысла непротивления и не знает русская жизнь. Все наши Обломовы (а они в разновидностях своих преобладают в русском обществе, да, вероятно, и в народе), все они только мнимые непротивленцы злу. На самом деле это *пособники* злу и самое прочное его орудие. Какие же это «непротивленцы»? Они потому не противятся злу, что сами составляют зло. Они не признают жизненной, безусловной необходимости *нравственного противления*, бесконечной, неутомимой работы совести как источника движения вперед. Русский человек, вроде Андрея Ефимовича или Ильи Ильича, мирится со всякой гадостью, и мирится *душою*, вследствие чего глухие, старосветские углы переполнены злом, до того господствующим, что его даже не замечают. Пробовали ли хоть когда-нибудь все эти несчастные, спивающиеся в глуши, бездеятельные интеллигенты постоять за правду в своем крохотном кругу, на своем маленьком

посту? Пробовали ли они искренно, неустрашимо обнаружить совесть свою, с готовностью пожертвовать всем для ее торжества? Конечно, никогда не пробовали, иначе не спивались бы с кругу и не дохли от тоски. Ведь стоило бы Андреям Ефимовичам на минуту только искренно, всем сердцем, оказать нравственную стойкость, как произошло бы чудо: весь мир для скучающих пьяниц преобразился бы, сделался бы радостным, желанным – явилась бы высокая цель жизни, уважение к себе, любовь к другим. И сейчас же явился бы материальный результат такого нравственного противления: заглохшая пустынь огласилась бы человеческими голосами, исчезли бы постепенно воры и паразиты, гложущие бедняков, и провинция – это «богоугодное заведение» старинного типа – превратилась бы в то, чем она должна быть: в веселое и деятельное царство свежей жизни, вблизи природы, рука об руку с народом. Но для этого всю силу, сбереженную на непротивлении физическом, человек должен влагать в противление нравственное, которое состоит в обнаружении правды примером личной жизни и добрым убеждением. Те, которым нравственное противление злу покажется недействительным, пусть только вспомнят, что оно не безопасно. Оно обыкновенно вызывает *гонение* за правду, то самое, которое Христос обещал как вид блаженства всем своим последователям. Но раз является гонение – верный признак, что в нравственной борьбе вы замечены, вы *действуете* – и настолько существенно, что вызываете все средства зла на его защиту.

Если бы ваше оружие не было действительно, оно не вызывало бы отпора. Нравственная борьба – не шутка, напротив, – это подвиг, и нужно иметь сильную, героическую душу, чтобы ввязаться в такую борьбу и победить. Если огромное большинство людей позабыли о долге этой борьбы, то он этим не упразднен; ведь им держится жизнь. Если жизнь мало-помалу превращается в захолустье – в богоугодное заведение с грязью, клопами, голодом больных, хирургическою рожей и кулаками Никиты, если жизнь выдвигает к центрам борьбы со злом Андреев Ефимовичей как лучшую

соль земли, то знайте, что правда оскудела, что первородный долг противления злу забыт и жизнь – уже не жизнь, а тление, разложение заживо. В самом деле, хорош Андрей Ефимович, но хорошо и городское общество, которое десятки лет знало о его безделье, его бессовестном отношении к вверенному ему общественному делу, знало о беспорядках и «даже преувеличивало их», но и пальцем не двинуло, чтобы вступиться за несчастных. Этому городскому обществу недоставало того же, чего Андрею Ефимовичу: деятельной, работающей совести, нравственной культуры. Если бы человек упал в реку, то окружающие догадались бы, что он погибает, и бросились бы спасать; но если человек попадает в палату № 6, откуда нет выхода, – ни Андрей Ефимович, ни местное образованное общество не догадываются, что тут тоже гибель, что долг велит спасать погибающего. Совесть спит; чтобы разбудить ее, нужно, чтобы вас сочли за сумасшедшего, чтобы сторож Никита ударил вас кулаком в лицо!..

Рассказ г. Чехова не дает какого-либо нового открытия в русской жизни, но он ярко и художественно подтверждает старую, печальную истину о безжизненности нашей так называемой интеллигенции. Эта безжизненность проявляется одинаково и в сфере практического дела, и в области нравственных отношений, и там, где требуется упорная энергия, неистощимая нервная сила, и там, где требуется просто совесть, благородство души. О, если бы совесть русского человека пробудилась! Если бы он, спящий с открытыми глазами, увидел все нравственное безобразие своей жизни, всю ложь и грязь, скопившуюся веками!

Поэт-богатырь
(По поводу писем гр. Алексея Толстого)

I

У благодушного Я. П. Полонского есть следующее замечательное стихотворение:

Писатель, если только он
Волна, а океан – Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия…
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода…*

Истинный писатель всегда и всюду есть первый страдалец своего народа, и, может быть, он один – истинный страдалец. Его прекрасный дар часто обращается для него в проклятье: в его сердце минутами сосредоточивается все зло мира, вся боль общественного сознания. Народная масса гибнет, но психически не страдает; больные ткани тела разлагаются, но не ощущают этого, и только одни нервы испытывают жгучую боль, сами оставаясь нетронутыми. Испытывать отдельной волне все дрожания океана! Быть нервом великого народа и выносить его страдания! Участь трагическая. Она была бы невыносимой, если бы не была естественной: скорбь свойственна гению, как заметил еще Аристотель. Гению же, прибавил бы я, свойственна и высшая радость: в том же сердце истинного писателя есть место и для мирового счастья, для острых наслаждений сознания, недоступных толпе. Счастлив «нерв великого народа», чувствующий себя в теле живом и цветущем, полном кипучей жизни. Но гораздо чаще этот нерв ощущает себя среди гнойных язв, застарелых, неизлечимых…

В пример писательских мучений позвольте привести графа Алексея Толстого, насколько жизнь его отразилась в недавно напечатанных очень интересных письмах его. Исполнилось 20 лет со смерти поэта, но он не дождался, конечно, от своего поколения даже сколько-нибудь приличной биографии. Этот замечательный талант уже заволакивается в памяти общества забвением, сочинения его расходятся по одному изданию в десять лет… Так вот ради этой неблагодарности к нему общества

* *Полонский Я. П.* В альбом Ш. (1865). – *В. Т.*

вспомните же, как он страдал при жизни – не за себя страдал, а за тех, которые его и не знали и которые так скоро забыли…

По-видимому, совсем неподходящий пример; судя по мимолетным сведениям о личности графа и его бодрой и ясной музе, нельзя предположить в нем «страдальца за народ». Аристократ pur sang*, принятый в самых высоких сферах, друг детства императора Александра II, независимый, блестящий, одаренный… Какой он страдалец? Он был скорее тонкий литературный жуир, любитель редкостей в обширных, ему доступных сокровищах истории и поэзии. В его стихах и прозе почти не отразилась современность, его занимала древняя русская эпоха или легенды западных стран.

Таково ходячее мнение об этом поэте. По отвратительной русской черте – искать в человеке прежде всего дурные качества и даже навязывать их ему, Алексея Толстого упрекают еще в консерватизме, «царедворстве» и т. п., и все это на гадкой подкладке будто бы каких-то корыстных расчетов. Но на самом деле все это очень несправедливо. «Консерватор» и «царедворец», подобно Пушкину, Толстой был, несомненно, один из искреннейших людей своего времени, не без недостатков, не без заблуждений, конечно, но человек с истинно рыцарскими наклонностями и уже вовсе не холоп. Ему все было дано для праздной и беспечной жизни, но дано было и *больше*: чуткое сердце, которое тотчас и обрекло его на страдания. Да, вопреки ходячему мнению, великосветский поэт, оказывается, был «нерв великого народа», был «поражен» – да еще как! – со всею жгучестью страстной, в своем роде «толстовской» души – недаром же он назывался графом Толстым. Эти писательские страдания графа «сквозят» из всех его крупных вещей, в его мощной лирике и исторической прозе. Более определенно подчеркивают эти страдания его частные письма.

Кому адресованы письма – неизвестно, даже одному ли лицу. Но они писаны по-французски, часть их адресована через Государственный Совет, и есть глухие намеки на высокое положение некоторых из читавших эти письма. Чтобы понять

* Аристократ по крови, чистокровный (фр.). – *В. Т.*

тягостное настроение этих писем, надо вспомнить, что всю свою юность А. Толстой провел при дворе, пробовал служить при самых блестящих условиях, ему открывалась самая широкая карьера – и все-таки он от всего отрекся, «бежал», как говорится, чтобы «прозябать в деревне»… Уже весною 1860 года через m-lle Тютчеву[1] Ал. Толстому было сделано какое-то новое предложение, которое причиняет ему видимые страдания. «Вот что я имею сказать в ответ m-lle Тютчевой, – пишет Алексей Толстой. – …Я готов преклониться перед тем, который сумеет приспособиться к какой-нибудь роли, чтобы дойти до благородной цели… но для этого необходимы *особенные дарования*, которых у меня нет. Интересно было бы на меня посмотреть в мундире III отделения! Разве есть у меня необходимая для этого ловкость? Я только себя запачкаю без всякой пользы для кого-либо! Но это лишь пример! Есть положения, которые, не будучи нечистыми, также невозможны для меня, так как пришлось бы постоянно лгать. Я не говорю это, чтобы похвастаться, – совсем нет! Я бы хотел быть *способным лгать*, чтобы убить ложь, но этих *дарований* у меня нет!»

II

По-видимому, в некоторых сферах делались энергические усилия привлечь поэта к какой-то службе, почетной, по общему мнению, может быть, административной, но которая угрожала Алексею Толстому потерей независимости – а он был горд и свободен до последней клеточки мозга! Уродиться таким *диким* в среде самых высоких связей и самых тонких подчинений – большое несчастье. «Я вам говорю, – с отчаянием продолжал Толстой, – что я в этой среде задыхаюсь, в полном смысле слова задыхаюсь! Предложите Тамберлику петь по уши в воде. Этот элемент не по мне, я в нем никогда не мог бы жить. Если я в чем виноват, то лишь в том, что я раньше категорично не объяснился, и, поверьте мне, что если бы я высказал свое credo от начала до конца, то не только бы

не захотели бы меня удерживать, но пожали бы плечами от жалости. У меня другие *дарования*, и большая моя вина в том, что я не отдался им вполне. Но лучше поздно, чем никогда. Если компромисс был возможен, то это тот, который есть, и я его принял из уважения, из почтительности, из привязанности… Если этот компромисс мне удастся – я останусь; если нет – я сделаю иначе, но не так, как думает m-lle Тютчева. Если бы я мог довести мой образ мыслей и чувств выше, я бы сделал это с радостью».

Похож ли этот Толстой, несомненный «консерватор», на «лукавого царедворца», каким его считали в литературе? Приводимое письмо предназначено, по-видимому, для очень высокого внимания, и оно дышит самою решительною несговорчивостью, терзаниями между чувством «привязанности» и нравственным долгом.

«Мои силы, – пишет Толстой в том же письме, – совершенно парализованы по отношению к среде, о которой речь. Чтó она мне говорит про мою искренность, которую якобы ценят?! Ее, может быть, терпели иногда, но всегда без всякого результата. Могут ли две линии, одна из которых идет на восток, другая на запад, когда-нибудь соединиться? Два человека, из которых один не понимает языка, на котором говорит другой, могут ли когда-нибудь столковаться? Можно ли рассуждать об отвлеченных материях, когда не сговорились насчет азбуки? Можно ли достигнуть общего результата, когда не только исходные точки, но и цели совершенно различны? Можно ли придти к соглашению, когда, например, один из собеседников говорит: ”Вот скала посреди дороги, мешающая проходу, и потому необходимо удалить скалу”, – а другой отвечает: “Вот дорога, которая может повести к устранению скалы, и потому необходимо закрыть эту дорогу?” – Вот какие отношения между мною и моим *собеседником* (курсив А. Толстого. – *М. О. Меньшиков*), но я иду слишком далеко, так как мой собеседник *никогда* не входил со мной в обсуждение каких-нибудь *мыслей* – никогда! В его собственных мыслях есть благородство, но *его система неверная, фальшивая*. Его система не выдерживает

рассуждения, и если я буду действовать по его системе, я буду неверен самому себе».

Похоже ли это на лукавого царедворца?

Через год, в 1861 году, в одном его письме есть такая приписка: «…До свидания, дорогой друг. Доброта и память обо мне императрицы меня трогают, лишь бы только эта доброта не была для меня причиною рабства. Цепи – всегда цепи, даже когда они из цветов!»

III

Такова была одна из печалей души поэта. Вольнолюбивый, могучий, гордый, он родился в мире, для него чужом. Вся молодость его прошла при дворе Николая I, в вихре светской жизни, не лишенной обаяния, как он признается, но от которой он «часто убегал, чтобы по целым неделям пропадать в лесах», стреляя лосей и медведей. Его тревожил дар поэзии, опьяняющая красота природы, ум, сильный и своеобразный, влекущий к каким-то странным для того времени идеалам. Алексею Толстому открывалась, очевидно, самая «блестящая карьера», император Александр II делал все усилия, чтобы привлечь своего любимца на службу – сначала военную, сделав поэта даже флигель-адъютантом, но Алексей Толстой все отказывался:

О, государь, внемли: мой сан,
Величье, пышность, власть и сила –
Все мне несносно, все постыло!
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я был певцом,
Глаголом вольным Бога славить,
В толпе вельмож всегда один
Мученья полон я и скуки…
……..
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

Эта мольба Иоанна Дамаскина (<1859>, из поэмы А. Толстого того же названия) имеет, как мне кажется, автобиографическое значение. То самое смутное влеченье, что заставило Иоанна променять чертоги калифа Дамаскского на пустыню, неудержимо влекло Толстого из столичной жизни в деревню, в Красный Рог, на грудь природы:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубые небеса!*

В этом (как и во многом другом) наш поэт напоминает своего великого однофамильца, бежавшего рано в ясную жизнь своей деревни. Но оба они не успокоились на воле и успокоиться не могли. Оба чересчур гордые, чтобы нести цепи, свитые даже из роз, были одержимы самой страстной влюбленностью в свободу, хотя оба же очень долго (а многими и до сих пор) считаются за «отсталых консерваторов». Но отношение обоих Толстых к консерватизму было совсем особое, чрезвычайно характерное и не дававшее им ничего, кроме страданий.

Вот что пишет Алексей Толстой в 1868 году: «Перехожу к литературе, которая и есть Ding an und für sich**, так как все остальное есть лишь явления и… Вы мне говорите, что Теофил – эхо салонных консерваторов… Я вам скажу с грубой откровенностью… что такое эти консерваторы… ваши салонные консерваторы. Вы знаете, насколько я ненавижу все красное, и черт меня возьми, если я в той или другой из моих трагедий хотел что-либо доказать. Я презираю всякую тенденцию в литературном труде, я ее презираю, как пустой патрон… Я это говорил, и повторял, и перевысказывал! Но не моя вина, если из написанного мною ради любви к искусству само собою вытекает, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма! Оно везде выскажется, во всяком

* *Толстой А.* Иоанн Дамаскин (1859). – *В. Т.*

** Вещь в себе и для себя (лат.). – *В. Т.*

художественном труде; оно выскажется даже в бетховенской симфонии. Я ненавижу деспотизм так же, как я ненавижу Сен-Жюста[2] и Робеспьера и т. д…

Я это не скрываю и провозглашаю это громко, да, m-r… V., да, я провозглашаю, не посетуйте, m-r T… Я готов кричать это с крыш, но я слишком художник, чтобы втискивать это в художественную работу, и я слишком монархист, да, m-r M… я слишком монархист, чтобы нападать на монархию. Я даже скажу, что я слишком художник, чтобы нападать на монархию. Но разве монархия и то или другое лицо, носящее корону, – одно и то же? Разве Шекспир был республиканец, потому что он написал “Макбета” или “Ричарда III”? Шекспир при Елизавете поставил на сцену своего “Генриха VIII”, и Англия от этого не рухнула!»

Надо заметить, что гр. А. Толстой – личный друг императора, егермейстер двора – не миновал участи быть обвиненным в «потрясении основ». Его исторические драмы – «Смерть Иоанна Грозного», «Федор Иоаннович» и пр. – были сочтены памфлетами против монархии и строго запрещены в провинции. В письме от 16-го декабря 1868 года А. Толстой с горькой иронией рассуждает об участи своих пьес: «“Смерть Иоанна”, – пишет он, – запрещена без всяких церемоний, но “Василиса Мелентьевна” и “Опричник”[4] позволены с условием, что губернатор даст им аттестат. Лонгинов[5] (бывший в то время курским губернатором) очень озадачен циркуляром, который ему приказывает преследовать все пьесы, которые не были разрешены для провинции, тогда как он не имеет никакого способа узнать их. Пьесы разделены на несколько категорий: одни разрешены лишь в столицах, другие – в столицах и провинциях; другие же – в провинциях, но с аттестатом губернатора. Это очень напоминает парадную форму: праздничную, полную праздничную, полную парадную и парадную походную. Многие из наших лучших генералов сошли с ума от этих усложнений. Некоторые впали в младенчество вследствие постоянного застегивания и расстегивания; двое застрелились. Я очень боюсь, что то же самое случится и с теми, и что они начнут ржать

и ходить на четвереньках…» Даже «Князя Серебряного»* Толстой писал со страхом и трепетом, хотя и «старался забыть, что цензура существует…»

IV

Но зачем было трепетать Толстому? Он мог бы писать рутинные «патриотические» пьесы, спокойно выводить в них отцов-благодетелей в лице Иоаннов и Федоров, и никто бы не причинил ему ни малейшей неприятности. Ведь делали же это многие другие писатели и делают до сих пор. Да, *другие*, но не *он*. Другие – пишущая челядь, а он был истинный аристократ – не только по титулу, а по благородной душе своей, не терпевшей ни малейшего покушения на ее свободу:

Над вольной мыслью Богу не угодны
Насилие и гнет,
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет…

Это вдохновенное, страстное убеждение А. Толстого, которое он проповедовал всю жизнь, он вложил в уста Иоанна Дамаскина. Можно подумать, что сладость свободы была подсказана поэту этими личными его страданиями? В самом деле, чувствовать себя одаренным свыше – и не сметь обнаружить этот дар – это обидно; быть убежденным другом порядка и быть заподозренным в измене ему – это обидно; быть русским до глубины сердца и чувствовать себя бесправным в России, как бы вечным гостем у каких-то хозяев, заседающих в департаменте, – это обидно… «Другие» не обижались, но он, с душою рыцаря… Да, он страдает глубоко и за себя, но не только за себя и, может быть, и за себя-то страдал только острою болью проснувшегося в нем стихийного, народного сознания.

Что составляет отличительную черту гр. Алексея Толстого как писателя? Кроме честной души, которая и между

* Исторический роман (1863). – *В. Т.*

писателями встречается не часто, кроме выдающегося таланта и образования, – Алексей Толстой выделяется совершенно своеобразным историческим миросозерцанием, своими особенными общественными вкусами. Он не был ни западник, ни славянофил, ни консерватор, ни либерал, ни государственник, ни анархист, а нечто совсем особое, для чего нет еще и названия в русской жизни. Он считал идеалом государственности монархию – но какую? Современную ему? Нет, хотя личная дружба и связывала его с императором-освободителем. Монархию «петербургского» (до реформ) периода? О, нет, хотя он и служил ей, выросши при дворе. Монархию старого, московского периода, столь воспетую некоторыми славянофилами? Он ее ненавидел: «Моя ненависть, – пишет он (в 1869 г.), – к *московскому периоду* есть идиосинкразия, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о нем то, что говорю. Это не тенденция – это я сам. Откуда взяли, что мы *антиподы* Европы? Туча прошла над нами, *облако монгольское*, но это была лишь туча и черт должен поскорее убрать ее… Я несколько слов сказал об этом в моем проекте о постановке “Федора”. Нашли ли вы это сомнительным: русские – европейцы, а не монголы!»

Вот корень миросозерцания А. Толстого и источник его страданий. «Мы – европейцы, а не монголы!» – с отчаянием восклицает он в век грубый, когда русская жизнь еще едва начинала освобождаться от монгольского духа. Это было, скажете вы, в разгаре нашего либерализма. Да, либерализма *на монгольский* лад – с новыми целями, но со старыми средствами борьбы. Деспотизм монгольский в те либеральные 60-е годы еще был жив в наших нравах, как живет он и доселе. «Мы – европейцы, а не монголы!» – готов был кричать с крыши бедный поэт, видя всюду в жизни, и право, и влево от себя, монгольские начала. Те, кто слышали его, соглашались, что мы – европейцы, но, как некоторые славянофилы и лжеохранители, проповедовали монголизм, сами того, быть может, не замечая. Истинный русский человек граф А. Толстой чувствовал себя, сверх того, и истинным европейцем: он носил в себе подлинные инстинкты не только своего племени, но и великой расы, к

которой это племя принадлежит. Он недаром еще ребенком сидел на коленях у Гете и чуть не молился на статую работы Микеланджело: Европа была его истинною второю родиной после России, его душа вмещала все откровения западных цивилизаций не как чуждые, а как родные, правда, припозабытые, но свои, как свои они для англичанина, немца и француза.

V

Алексей Толстой, «двух станов не боец, а только гость случайный»*, как он себя характеризует, отвергаемый обоими лагерями – консерваторами и либералами, – я думаю, он был неведомо для себя предвестником новой и в то же время очень старой эры русского сознания. Как консерватор, он был гораздо, так сказать, древнее «салонных консерваторов» и даже московских патриотов: то, что он считал за основы жизни русской, старше не только сегодняшнего дня, с таким упорством отстаиваемого охранителями, но и старше ближайших веков нашей истории. «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Даже столь искренние люди, как Пушкин, были захвачены культом «матушки Москвы», единственным подвигом которой после Петра было сдаться французам без боя. Памятный для России 1812 год, тяжелая война и тяжелая победа омрачили и без того смутное сознание тогдашнего общества: из пепла Москвы возникла не только общественная реакция последующих сорока лет, но и романтический культ допетровского времени. Не только Карамзин, но даже Пушкин и его созвездие писателей были под влиянием этого ложно патриотического культа. Алексей Толстой всего на 18 лет был моложе Пушкина – но какая колоссальная разница в миросозерцании! Впрочем, возвратившись к дотатарским идеалам, Алексей Толстой обогнал сразу не только Пушкина, но даже и Тургенева с его «постепеновскими» воззрениями. Он обога-

* *Толстой А. К.* За правду я бы рад поднять мой добрый меч… (1858). – *В. Т.*

тил наш век; кроме Льва Толстого, которого идеал еще шире и всемирнее, люди даже нашего поколения «конца века» пока не в состоянии вместить мысль Алексея Толстого. Но я думаю, что будет же когда-нибудь время, когда эта мысль восторжествует, когда мрачные «средние» века нашей истории будут признаны не единственным и не лучшим выражением духа народного. Глубок еще сон русского общества, но когда он пройдет, возникнет же потребность усовершенствования нашей жизни на началах действительной цивилизации, и вот тогда обнаружится, что общественное творчество – на самом деле очень старое, только слишком, к сожалению, забытое: это творчество первых, самых свежих и ясных веков нашей истории. Сам Алексей Толстой – этот блестящий придворный и аристократ – что он такое, как не просыпающаяся душа великого народа после великого гипноза? Алексей Толстой не отделял себя от народа:

Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?..»*

Алексей Толстой был народен в высшей, доступной его таланту степени и был страстно влюблен в народность, но все же «катался на земле» от отчаяния, вспоминая, что судьба иногда делала с народом в истории. Отчаяние – одна из вершин сознания, любовь и гнев вместе:

Средь мира лжи, средь мира мне чужого
Не навсегда моя остыла кровь:
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежний гнев и прежняя любовь!**

В лице поэта просыпающийся народ как бы припоминает свои забытые мечты, стародавние, как сны юности, идеалы. В самом деле, ведь мы не монголы, в самом деле, мы рождены

* *Толстой А. К.* Поток-богатырь (1871). – *В. Т.*

** *Толстой А. К.* Я вас узнал, святые убежденья… (1858). – *В. Т.*

для иного, более благородного удела, нежели тот, который навязало нам веяние Востока.

VI

«Теория» гр. Алексея Толстого в том, что было когда-то время, когда нравы наши были иные, полные достоинства и свободы, и дух деспотизма был чужд нашим предкам, как душе поэта. Но когда же была эта эпоха и была ли? Гр. А. Толстому принадлежит честь ее открытия русскому обществу, хотя он был и не историк и хотя и ранее его некоторые историки догадывались об этой, в своем роде затопленной волнами монгольства, Атлантиде. Гр. А. Толстой был только поэт, но и одного художественного чутья было мало, чтобы найти лучшую из эпох истории: нужно было иметь благородную душу, не растленные народные инстинкты, ясный нравственный идеал. Все это нашлось у Алексея Толстого, и он без труда увидел единственный «европейский период нашей истории», как он его называет. Он его увидел не после Петра, как принято смотреть, а после… Рюрика. Неслыханная смелость, почти дерзость! Ересь против науки русской, против установившихся общественных воззрений. Ведь наука того времени утверждала, что *настоящая* русская история начинается только со времен Москвы, которая одна явилась создательницей России, собирательницей ее из хаоса удельного дробления. Период *до* Москвы считается подготовительным, временным, может быть, неизбежным, но ненастоящим. По мнению историков, он непременно должен был окончиться тем, чем окончился, даже если бы и не было татар. Иначе, совсем иначе смотрит гр. Алексей Толстой. Его можно назвать романтиком удельного периода – до того привлекательною ему кажется наша древняя, вечевая и княжеская старина. Он воспел ее в своих поэмах, балладах и былинах, в своих исторических драмах («Посадник»), проповедовал в письмах. Изучая древнейший период нашей истории, он приходит в восторг, встречая несомненные доказательства живого общения тогдашней Руси с Западом. «У Ярослава[6] было три до-

чери, – пишет он, – Елизавета, Анна и Анастасия. Анна вышла замуж за Генриха I[7], короля Франции, который, чтобы просить ее руки, прислал в Киев епископа шалонского Рожера в сопровождении 12 монахов и 60 рыцарей. Третья, Анастасия, была женой Андрея Венгерского, а первая, Елизавета, была сватана Гаральдом Норвежским, тем самым, который сражался против Гаральда Английского[8]; он был бедный человек, и ему отказали. Огорченный своей неудачей, он сделался пиратом в Сицилии, Африке и на Босфоре, откуда и вернулся в Киев с большим богатством и был принят в зятья Ярослава». Алексей Толстой восхищен этим лишним доказательством почетного положения Киева в семье народов, и он пишет балладу о Гаральде. «Кстати, знаете ли вы, – пишет он, – что Григорий VII, знаменитый Гильдебрандт[9], был признан Изяславом[10]? И что его предшественник, папа Климент, не знаю который, послал посольство в Киев? Чтó вы на это скажете? Католический нунций на византийских улицах Киева! Генрих IV[11], император германский, посылающий со своей стороны посольство к Изяславу; монахи свиты нунция, чокающиеся с *печерскими иноками*! Византия и Рим ссорятся, но их ссоры не достигают еще народов, которые, сознавая себя одинаково недавними христианами, братаются между собою, как о том свидетельствуют бесчисленные браки между нашею и другими европейскими династиями. Графиня Матильда де Белоозеро? А? Что вы скажете на это? Есть в этом колорит? А? Подходит ли это к моей теории?» Написав балладу о Гаральде, Алексей Толстой выписал историю Дании Дальмана и к своему восторгу нашел там «подтверждение многим подробностям, которые написал по наитию». Дальман, между прочим, говорит, что скандинавами был вложен в русскую почву «благородный зародыш германской государственности, уничтоженный лишь яростью монголов, которые, как туча саранчи, напали на Россию. То время, когда говорили: “Кто против Бога и Великого Новгорода?” – не было заменено ни Иоанном III, ни Иоанном IV, ни Петром Великим». Алексей Толстой очень рад, что встретил поддержку со стороны Дальмана, но горячо возражает, будто

скандинавы принесли в Россию зародыш нашей государственности. «Дальман, – пишет он, – ошибается, приписывая скандинавам наши начала свободы. Скандинавы не установили, а нашли вече уже совсем *установленным*. Их заслуга в том, что они его подтвердили, тогда как отвратительная Москва уничтожила его, – вечный стыд Москве! Не было надобности уничтожать свободу, чтобы покорить татар. Не стоило уничтожать менее сильный деспотизм, чтобы заменить его *более сильным. Собирание русской земли!* Собирать хорошо, но надо знать, что собирать? Горсточка земли лучше огромной кучи…» Вот до какой дерзости против установленных взглядов доходил наш поэт. И как он одинок был в своем благородном идеализме! Сколько страданий причиняло ему торжество совсем иной, псевдопатриотической школы.

VII

Люди темперамента гр. А. Толстого могут влачить дни свои во всякую эпоху, среди всяких мерзостей, связанные, они могут молча выносить свои страдания, но не страдать они не могут. Примириться с унижением – никогда! Они могут жить потому, что, кроме горьких огорчений от людской глупости, остается еще красота природы и красота их собственной души, так что жить всегда хочется. Полюбуйтесь, какою страстной жизнью горит 52-летний поэт (в 1869 году): «Теперь ночь, тепло, гром гремит, дождь идет, но если погода разгуляется, я живо сяду верхом и поеду в лес с доктором стрелять глухарей, что я делаю каждую ночь с тех пор, как они токуют… В час ночи, всякий день аккуратно я сажусь верхом и еду верст за десять ждать у горящего костра восходящую зарю, чтобы стрелять великолепных глухарей… Третьего дня я взял с собой мою жену, и она была так восхищена всем, что видела и слышала, что ей жаль было уезжать. Луна была полная, и прежде чем заря появилась, лес запел! Цапли, дикие утки и особенный сорт маленьких бекасов проснулись, и начался весь их гармонический шум и гам…» Совершенно

богатырское времяпрепровождение, радость свежей, первобытной души. Сказать кстати, этот певец богатырских времен богатырь был и телом, обладая огромной силой. Немудрено, что его тянуло к мощной жизни природы. Но он не мог быть счастлив. Его сердце точит все та же мысль о нашем историческом горе, о китаизме, которым нас отравили монголы. В том же письме, где он описывает ночи на охоте, Толстой посылает шуточную, очень горькую «балладу». Главный мандарин Дху Кинь Дцинь, по поручению владыки, спрашивает совет мандаринов: «Зачем у нас, в Китае, досель порядка нет?»

Китайцы все присели,
Задами потрясли,
Гласят: затем доселе
Порядка нет в земли,
Что мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет,
Затем у нас нет складу,
Затем порядку нет.
Клянемся разным чаем,
И желтым, и простым,
Мы много обещаем
И много совершим!..

Мандарину ответ этот понравился, но на всякий случай

…Приказал он высечь
Немедля весь совет.

Живя в черниговской глуши, стреляя глухарей, А. Толстой не мог превратиться, как большинство помещиков, сам в глухаря, совершенно равнодушного к судьбе своего народа. «Лукавый царедворец» и «консерватор», он болел вопросами времени не меньше, чем другой прославленный поэт, издатель передового журнала, живший в Петербурге. Если Некрасову нельзя отказать в искренности душевных мучений, то нель-

зя в ней отказать и Алексею Толстому, который составлял во многом антипод Некрасова. Пусть Некрасов провел молодость в петербургских трущобах, а Толстой в придворных сферах – оба поэта были истерзаны современною жизнью, каждый – на свой образец. Некрасову с преобладанием у него ума над чувством гнет тогдашнего настроения, пожалуй, было даже легче, чем пылкому и страстному Алексею Толстому. Одно из писем, помеченное 20 апреля 1869 года, отражает душевное волнение поэта совсем не деревенского характера:

«Какой русский не желал бы слияния польского элемента с русским? Но не запрещением говорить по-польски на улицах, в кофейнях и в аптеках этого достигают… Вы имеете грустную храбрость порицать мой тост за всех подданных Государя Императора, какова бы ни была их нация. Но знаете ли, что вы и ваши… тем самым утверждаете польскую национальность гораздо более меня, ставя ее вне закона. Вы говорите: “Нет более поляков”, – и нападаете с кулаками на все польское! Вы называете себя русскими, а ваши упреки за мой тост – это одни немецкие придирки. Вы вместе с бедным Щербиной говорите, что нельзя допустить разные национальности в могущественном государстве. Милые дети, посмотрите в лексикон! Что такое национальность? Вы смешиваете государство с национальностями; нельзя допустить разные государства; но не от вас зависит, допустить или не допустить национальности. Армяне, подвластные России, будут армянами; татары – татарами; немцы – немцами; поляки – поляками… Старайтесь – я буду очень рад – рядом искусных мер обрусить различные национальности вашего государства. Но главное – будьте искусны и не будьте глупы и грубы… Возвращенные губернии должны быть русскими – кто в этом сомневается? Но как? Делая то, что Пруссия сделала для Познани, а не отрицая польскую национальность, которая тем или другим способом установилась. Факт существует, цифры не причем. Напротив, чем меньше цифр, тем менее вам извинительно употреблять меры насилия и топтать ногами социальные законы…

«Еще одно слово: наша глупость, запрещающая католикам молиться по-русски, не оправдывает глупости в противном смысле. Это – история пьяницы, который не может взлезть на лошадь, но все или перескочит, или не доскочит… И когда я вспоминаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и отвратительной Москвы, которая более позорна, чем они, мне хочется броситься и кататься по земле от отчаянья: что мы сделали с дарами, которые дал нам Бог?»

VIII

Вы видите, как близко к сердцу принимал поэт даже такие отдаленные от поэзии вопросы, как положение русских инородцев. Нынешние разнеженные, изнеможенные поэты сочли бы ужасом дотронуться до столь прозаической вещи: что для них история, историческая справедливость, народное достоинство? Что для них страдания народные? Совсем что-то ненужное, неинтересное, «пошлое»…

Но поэты шестидесятых годов были иного склада: они – даже такие аристократы, как А. Толстой, даже в придворном звании способны были «броситься и кататься по земле от отчаяния» при виде торжества грубости нашей, нашей все еще монгольской жестокости в отношении к ближайшим братьям и даже к самим себе…

Любовь к *народному* достоинству составляет самую рельефную черту поэзии гр. А. Толстого. Он не демагог, он ненавидит «красных», он – монархист, и уж, конечно, честный монархист, не торгующий, как иные наши *исты* (обоих лагерей) своими политическими убеждениями, – но он в то же время народолюбец, да еще какой! Одна мысль о народном рабстве жалит его и заставляет взвиваться на дыбы, как стрела нубийца – дикого льва. Лучшие звуки сердца он посвятил когда-то бывшей легендарной, но общенародной вольности на заре нашей истории, оплакивая гибель ее в последующие эпохи. Вспомните былины о «Змее Тугарине»,

«Потоке-богатыре» и пр. На пиру Владимира, окруженного богатырями, является татарин-певец и предсказывает, что внуки князя, столь великого и славного, будут держать золоченое стремя его, бедного нищего, внукам. Богатыри волнуются, но дерзкий певец продолжает:

И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече – каганская воля…
…….
Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,
И предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к Обдорам!

Добрыня узнал злодея-Тугарина и схватил свой богатырский лук. Певец, как вы помните, перекинулся в змея и уплыл по Днепру. Поэт заставляет хохотать и князя, и богатырей, и весь народ русский над предсказаниями змея:

Чтоб мы от Тугарина приняли срам!
Чтоб спины подставили мы батогам!
Чтоб мы повернулись к Обдорам!
Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

Так воскликнул Владимир-Солнце и приказывает принести большую чару, добытую в сече с хазарским ханом:

За русский обычай до дна ее пью,
За древнее русское вече!
За вольный, за честный славянский народ,

За колокол пью Новаграда,
И если он даже и в прах упадет,
Пусть звон его в сердце потомков живет!..

Пьет Владимир за варягов, своих могучих дедов, «кем русская сила подъята», и на этот тост в былине отвечает тостом же весь народ киевский:

За князя мы пьем.
Да правит по-русски он русский народ,
А хана нам даром не надо!

В этой былине вылилось все историческое миросозерцание Алексея Толстого, все его изболевшее скорбью за Россию сердце.

Другая, шуточная былина: Поток-богатырь пляшет всю ночь на пиру у Владимира и засыпает на полтысячи лет. Спит и видит чудные сны, сначала из своего времени, как между сечами «князь с боярами судит на вече», видит вежливый, культурный двор Владимира, который, однако, «в совете настойчиво спорит». Потом сон переносит его на Москву-реку, к терему царевны: та обливает его, киевского кавалера, самою площадною бранью. Дальше видит Поток:

Едет царь на коне, в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи,
Его милость сбираются тешить:
Там кого-то рубить или вешать.
И во гневе за меч ухватился Поток:
– Что за хан на Руси своеволит?
Но вдруг слышит слова: «То земной едет Бог,
То отец наш казнить нас изволит!»
И на улице сколько там было толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи –
Все пред ним повалились на брюхи.

Вот картина, которая преследовала благородного нашего поэта, как кошмар, и которой он не мог простить нашей истории до конца дней! Поток-богатырь, как и Алексей Толстой, был поражен московскою низостью:

Если князь он, или царь напоследок,
Что ж метут они землю пред ним бородой?
Мы честили князей, да не этак!
Да и полно, уж вправду ли я на Руси?
От земного нас бога Господь упаси!
Нам Писанием велено строго
Признавать лишь небесного Бога!

Вы, конечно, помните, как Поток-богатырь попал затем в следующую, петербургскую эпоху и даже в 60-е годы, к тогдашним народникам, ученым барышням и прогрессистам, помните также его забавные столкновения с ними. Эти столкновения, несомненно, автобиографического характера. К тогдашним народолюбцам Алексей Толстой чувствовал отвращение, и, к сожалению, нельзя сказать, чтобы оно было вовсе не заслужено. Искренних, умных, сердечных друзей народа и тогда было очень мало, зато было очень много полуинтеллигентной черни, которая во всякое, самое возвышенное движение всегда вносит свои грубые инстинкты, эгоизм и скудоумие. Нет никакого сомнения, что либерализм благородных представителей этого движения погублен либерализмом низких, низведших его до пошлой и даже гадкой карикатуры. Движение самое высокое из всех возможных – истинный либерализм – лишь тогда имеет смысл и силу, когда он нравственно безупречен, когда он возвышен религиозно. Либерализм ведь есть не только свобода, но и братство, и братство прежде всего. Но тогдашние либералы (кроме немногих идеалистов) были чужды братства, ими двигал личный эгоизм; ненависть к злу у них переходила в ненависть к отдельным людям и выражалась в тех же недостойных формах борьбы, какие практиковал и противоположный лагерь. Либералы, носители высшей

правды, дробились на мелкие секты, дравшиеся друг с другом на ножах и топтавшие в грязь знамена одна другой, причем не было формулы свободы, которая не была бы осмеяна, поругана и проклята друзьями же свободы. Дело доходило до отрицания нравственного закона, до отрицания самой свободы! Во имя прогресса проповедовались деяния, вроде тех, о которых в Средней Азии свидетельствуют пирамиды из человеческих черепов, оставшихся после Тамерлана. Естественно, что от этого содома, будто бы либерального, тошнило не только честных консерваторов (нечестные рукоплескали ему), но и честных либералов вроде Тургенева. А граф Алексей Толстой – с рыцарской стремительностью натуры – особенно не скрывал своего презрения к *такому* прогрессу. Киевский богатырь с удивлением слушает (во сне), что

… мол, нету души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существует Господь,
То он есть только вид кислорода,
Вся же суть в безначальи народа.

Те же самые люди, что отрицали душу и Бога, требовали от Потока поклонения мужику и даже рабства перед ним:

Знай, что только в народе спасенье!
Но Поток говорил: я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?
Но к нему патриот: Ты народ, да не тот,
Править Русью призван только черный народ;
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!

Подивился еще раз богатырь киевский и подумал:

Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана;
А сегодня велят мужика обожать.

Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе.

Этот *вчерашний*, московский, монгольский дух, дух крайнего рабства пред какою угодно теорией отравлял дыхание нашему поэту одинаково – шел ли он из кухни ретроградов или радикалов. Богатырь признается, что он не знает, «что значит какой-то прогресс»,

Но до здравого русского веча
Вам еще, государи, далече!

Я напомнил здесь эти две известные былины Алексея Толстого потому, что они особенно характеризуют его заветные идеалы. Обнародованные письма бросают на них особый свет. В ряде других баллад и исторических драм звучит та же мысль: о прекрасном начале нашей истории и напрасной гибели древней народной культуры. Ненавидя татарскую и московскую эпохи, Алексей Толстой отрицательно относится и к петровской реформе (См. «Государь ты, наш батюшка», и пр.). Последний царь московский «палкою» заваривал свою кашу, и вышла она «крутенька». В сущности, петербургский период (до императора Александра II) явился не отрицанием Москвы, а ее – хоть и не прямым – продолжением, как Москва – своего рода продолжением Золотой Орды. Вспомните в петербургском периоде времена Бирона[12] и Аракчеева[13]. Последнего Алексей Толстой мог еще хорошо помнить. Даже сравнительно гуманное время его царственного друга детства, как видно из первого приведенного письма, не вызывало в поэте полного сочувствия – иначе нет сомнения, он, как киевский богатырь, отдал бы все свои огромные силы на службу новому Владимиру. Нет, он чувствовал, что «поворот к Обдорам» все еще не совсем кончился, и (в «Потоке-богатыре») предсказывает еще лет двести его господства. Он это чувствовал и страдал до охоты «броситься и кататься по земле от отчаяния».

IX

Глубокий интерес к русской истории – отличительная черта поэзии гр. Алексея Толстого. Ни один из второстепенных наших поэтов не тяготел так страстно в туманную даль нашей старины, не волновался роковою загадкою о судьбе родины. Второстепенные поэты наши (Фет – Некрасов) отличались или беспечностью своего настроения, или уж крайнею односторонностью его. О третьестепенных и говорить нечего: это грубейшие эгоисты, внимание не выходит из границ собственной персоны. Только у Пушкина и Лермонтова заметно настоящее чувство народности, искренний интерес к старине и истории. По «Песне о купце Калашникове», по «Борису Годунову» можно судить, что дали бы эти могучие таланты, проживи они дольше. Пушкин все-таки успел оставить и образцовый исторический роман, и образцовую (в отдельных сценах) историческую драму, и ряд чудесных, хотя и не из русской жизни набросков исторических баллад, и ряд превосходных народных сказок. Менее удачны его исторические поэмы, написанные в чужом для Пушкина роде. Гр. Алексей Толстой примыкает в этом отношении к великим нашим поэтам: не равняясь, конечно, с ними талантом, он почти не уступает им в чувстве народности и, может быть, даже превосходит их в высоте настроения. Пушкин любил историю как художник, насыщая свое воображение богатством и разнообразием форм жизни, скопленных в веках; он любовался ими и срисовывал их с тем же удовольствием, как и чужую, иностранную старину. Великим поэтом двигало любопытство, и читатель выносит из его творений удовлетворенное историческое любопытство. Не то Алексей Толстой: он к старине относился, как к живой современности, с пылкою заинтересованностью, с осуждением или восторгом. Это не тенденция, от которой он открещивался, это – нравственная впечатлительность. Ему не все равно, тиран был Грозный или нет, благородны были нравы бояр или низки. Алексей Толстой сам признается (в предисловии к «Князю Серебряному»), что при чтении источников

о царствовании Ивана Грозного «книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании – не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования». Это «тяжелое чувство», говорит Алексей Толстой, «постоянно мешало необходимой объективности его труда и было причиной того, что роман писался более десяти лет». Видите, как горячо к сердцу он принимал все эти стародавние ужасы. Свой страшный роман он не может при всем старании кончить «эпически»: он заканчивает его молитвой, «чтобы Бог помог нам изгладить из сердец наших последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению!» Великодушный поэт приглашает простить грешную тень царя Иоанна, «ибо не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее обязанность и в обычай!»… Сама «земля, упавшая так низко, что могла смотреть на них без негодования, создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому, как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев[14], Неронов и Калигул[15]». С высоким пафосом поэт благословляет тех немногих, которые, подобно Василию Блаженному, князю Репнину[16], Морозову[17] или Серебряному[18], имели мужество отстаивать правду пред лицом Грозного. «Ибо тяжело, – пишет он, – не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга!»

Конец этот в художественном отношении – совершенный клякс: подвести мораль к роману с тою же наивностью, как подводили ее к своим басням прежние баснописцы, – значит испортить впечатление всего рассказа. И уж, конечно, как художник, Алексей Толстой знал, что это не эпический прием, но не выдержал, не мог выдержать: не успел замолкнуть в нем художник, как закричал человек, взволнованный и негодующий. Поэт приглашает читателей «простить грешную тень Ивана

Васильевича», но сам, очевидно, не может ей простить – это свыше его человеческих сил! В посвящении романа императрице Марии Александровне Алексей Толстой опять волнуется и со всею страстностью подчеркивает для Высочайшего внимания то, что двигало им в работе. Все посвящение состоит из четырех строк: «Имя Вашего Величества, – пишет он, – которое Вы позволили мне поставить во главе повести времен Иоанна Грозного, есть лучшее ручательство, что непроходимая бездна отделяет темные явления нашего минувшего от духа светлого настоящей поры». Заметьте, какая гипербола – «непроходимая бездна». Вы чувствуете, что бедный поэт не совсем верит в «непроходимую бездну», хотя и жаждет ее всеми силами исстрадавшейся души. Вы ясно видите, как, покатавшись по земле с отчаяния, он вскакивает на крыши и готов кричать против всякой татарщины всенародно, на весь мир! Но татарщина, однако, ведь исчезла: все эти ужасы и низости были три века тому назад. Чего же волноваться? Пушкин не волнуется. Он только художник, как Гете, – Алексей же Толстой не только художник, а и проповедник. Он нравственно скорбел историей и мучился этим оскорблением. Он более сродни Лермонтову, в «Иване Калашникове» которого чувствуется это хотя крайне затаенное, но жгучее чувство нравственного оскорбления (в ответе купца опричнику и в драме всего события). Пушкин не был оскорблен, напротив: московская старина ему в общем нравилась; он очень гордился, что его предки участвовали в эпохе Иоаннов; Ивана Грозного он называет с чувством некоторого любования им – «гнев венчанный». Пушкин очень высоко ставил историю Карамзина, то есть панегирик Московской Руси. Отношение к нашей истории у Пушкина было политическое, у Алексея Толстого – строго нравственное.

Для Пушкина (как и Карамзина) высшим критерием в истории была внешняя *сила* государства, грубая, побеждающая сила: отсюда преклонение его перед Петром Великим и даже Наполеоном, благоговение у гробницы Кутузова и т. п. Гр. Алексей Толстой ближе к нашему времени: у него исторический критерий – сила не внешняя, а внутренняя – *правда*,

человеческое достоинство, гражданский дух. Этот нравственный критерий – явление совершенно новое и весьма еще непрочное в нашем обществе. Алексей Толстой, современник поэтов-славянофилов, первый из них выдвинул нравственный взгляд на историю, чем всего резче он от них и отличался. Те были заражены подчас крайне эгоистическим патриотизмом и ради неверных соображений о внешней силе и величии государства охотно жертвовали народною свободой, человеческим достоинством, благородством жизни, лишь бы только «наша взяла». Они – хорошие московские бояре, он – рыцарь в душе и преисполнен чести. Он не выносит насилия, с одной стороны, и холопства – с другой; нечестная победа ему противна. Нет сомнения, что живи он при дворе Ивана Грозного, он кончил бы, как князь Михайло Репнин: ни за что в свете он не унизился бы, не надел бы маски, чтобы быть шутом у свирепого царя. А может быть, как Курбский, он повел бы даже литовские полки против своего же отечества. По рыцарским понятиям оскорбление достоинства снимало долг верности сюзерену. До эпохи Грозного, пока еще тлела искра рыцарства среди дружинников и бояр, практиковалось право «отъезда», но уже в XV веке, с освобождением от татар, нравы до того испортились, что русское рыцарство почти сплошь превратилось в челядь московских «ханов», как звал их Алексей Толстой.

X

Нравственное отношение к истории и судьбе народной заставило нашего поэта отречься и от прошлого, и от современного ему настоящего, которое во многом еще было омрачено влияниями прошлого. Он остался вне прямого участия в жизни, в роли простого поэта, подающего голос из черниговского захолустья. Большой соблазн для него было примкнуть к тогдашним отрицателям-революционерам – некоторые вожди последних тоже вышли из аристократии, – но гр. Алексей Толстой был слишком оригинален и свободолюбив, чтобы отдаться чужой и притом насильственной теории. Радикализм

казался ему новым рабством, в стремлении «похерить все, что нельзя ни взвесить, ни смирить» он чувствовал московскую, ненавистную ему жестокость. Подобно Льву Толстому Алексей Толстой самостоятельно искал свой идеал свободы. Он нашел его для многих неожиданно – не впереди истории, а позади ее, в удельно-вечевом складе жизни. Новгородская и Киевская Русь, монархия, основанная на вече, казалась ему верхом мудрости, достоинства и справедливости, естественною системой, обеспечивающей и порядок, и счастье. В каждом большом городе свой колорит и свой князь и затем объединяющая связь независимых и свободных клеточек одного и того же огромного племени, в случае нужды помогавших друг другу, как Псков – своему «старшему брату» Новгороду. Алексей Толстой не признавал, как многие, что этот тип государственной жизни – зародышевый и что он не пригоден для высшей культуры. Он считал его, по-видимому, таким же законченным и жизнеспособным, как и всякий иной тип, только менее грубым и потому более хрупким. Ему казалось, что только в мелких областных единицах народ может быть действительно свободен и только в них может проявить все свое культурное творчество. Доказательство этого ему могла дать древняя раздробленная Эллада, давшая столь высокую культуру, раздробленная Италия эпохи Возрождения, разъединенная Германия времен Шиллера и Гете или существующие доселе федеративные государства. Не найди на нас туча монгольская, по мнению Толстого, Москва не возобладала бы, не было бы внутренней тирании XV–XVII веков, восторжествовали бы начала киевские и новгородские. Прав ли в этом идиллическом взгляде Алексей Толстой – мы рассматривать не будем; романтизм его не шел, конечно, далее одной теории, и он едва ли мечтал о действительном восстановлении когда-нибудь древних порядков. Но о чем он страстно мечтал и проповедовал – это о восстановлении благородства отношений между государством и личностью. Для этого было еще недостаточно освобождения крестьян из рабства, необходим был ряд дальнейших восстановлений вчерашнего раба на степень гражданина.

XI

Алексей Толстой, мне кажется, из всех русских поэтов может быть назван художником русского возрождения. Русское Возрождение! Была у нас такая эпоха? Несомненно, и даже более того: она еще продолжается. На призыв Петра Россия, говорит один мыслитель наш, «ответила огромным явлением Пушкина». В самом деле: после скудных зародышей культуры в эпоху Екатерины стремительный, почти внезапный расцвет русского гения в эпоху Николая I – что это, как не возрождение после беспросветных «средних веков»? Но, скажут, на русской почве не было античной цивилизации, как в Италии XV века, так что и возрождаться было нечему. На это я замечу, что ведь и в Англии, и в Германии не было античной культуры, а эпоха Возрождения была. Мы с нашею неудачной историей и столь же неудачной географией стояли всегда в стороне от мировых движений и подошли к эпохе Возрождения «с опозданием» на два века… Кроме античной цивилизации, для нашего Возрождения явилась и новейшая европейская, заслонившая первую: эта европейская цивилизация как современная нам, отнимает у нашего расцвета вид возрождения, но в сущности мы переживаем именно тот культурный процесс, какой пережили западные народы в XV–XVI столетии, хотя – увы – с меньшею пылкостью, чем они, с меньшею яркостью гения.

Нынешнее время есть эпоха «русского Возрождения» не только по внутреннему процессу раскрытия народного духа. Она во многом есть действительное *возрождение*, восстановление древней, античной нашей культуры. Честь указать на эту культуру принадлежит более всех гр. Алексею Толстому. Романтик древнерусской, удельно-вечевой Руси, он одушевленнее всех провозгласил, что у нас была своя античная культура – не в науках, не в философии, не в искусствах, но в формах общественной жизни, в сравнительно высоком достоинстве народном, в благообразии нравов, в свободе и гуманности. Все это, как хотите, плоды культуры, и не менее

ценные, чем физика Аристотеля и торсы Праксителя[19]. Алексей Толстой провозгласил, что эта наша собственная античная культура, подобно греко-римской, смытой переселением варваров, была затоплена татарским нашествием и сменилась мрачным, жестоким Средневековьем Московского царства. Тогда древние идеалы наши были забыты, утонченные приобретения духовной культуры были утрачены, вместо свободы гражданской водворились самая грубая тирания, какая известна на европейском материке, и жизнь народная погрузилась в дремучее варварство. Алексей Толстой, наконец, если не раньше всех, то вдохновеннее всех, провозгласил, что это темное время заслуживает ужаса и омерзения, что необходимо отречься от всех его доселе действующих мрачных влияний, что пора восстановлять утраченные драгоценные дары нашей древней культуры. Все это, как мне кажется, очень ясно и громко высказано и в лирике, и эпосе, и драме Толстого. Что такое сам он, как не возрожденный в условиях современности древний богатырь времен Владимира? Что бы оставалось Потоку-богатырю делать среди нас, явись он теперь, как не напоминать <нам> «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»?

К сожалению, литературный талант Алексея Толстого не достигал гениальности – это был проповедник прекрасных истин, но без дара чудес: мертвых он не воскрешал, слепым не давал зрения. Но все же это был талант мощный и сродни пророкам, все же он останется звучать в русской жизни, пока жива будет русская литература. И не его вина, если его призыв к возрождению не был принят в обществе с тем же одушевлением, с каким был сделан: ведь это не первый голос, вопиющий в пустыне! Но если в этой пустыне появятся, наконец, люди, имеющие уши, – они услышат этот в своем роде трубный, «мажорный» (по собственному определению А. Толстого) призыв, и он скажет душе их то, что, может быть, не даст иной и гений. В самом деле, разве не великая это задача жизни – восстановление истинных основ ее? Разве не нуждаемся мы – стомиллионная народная

масса – в возвращении нам самосознания, достойного великого народа? Этого самосознания у нас теперь нет в сколько-нибудь определенной степени. Еще горсточка интеллигенции вкривь и вкось рассуждает «об общественных вопросах» (называя этим словом даже такие вещи, как дешевый кредит, железнодорожные тарифы и пр.), вся же толща нации, переберите ее по одному человеку, не думает ни о судьбе родины, ни о высшем законе, который должен быть у каждого народа, как и у отдельной личности, ни об историческом призвании своем, ни об осуществлении правды в жизни – единственной цели, оправдывающей народное существование. Народ, слишком приниженный, обо всех этих вещах не думает уже многие века, и потому правды и нет в жизни, а она, утверждает А. Толстой, была, когда народ думал о ней: была в несравненно большей степени, чем в последующие века.

XII

Всякое возрождение начинается с самосознания: «Кто мы? Где мы? Откуда мы? Для чего мы?» – рядом таких торжественных вопросов начинал, как говорят, Погодин свой курс русской истории, и слушатели тотчас же приподнимались на высоту серьезного и важного настроения. Раздробленная на бесконечные мелочи будней душа собирается и устремляет внимание на до того не замечаемое великое общее, не замечаемое именно по великости своей. Бродя постоянно среди отдельных людей, мы очень редко воспринимаем идею общества, чего-то огромного, всех нас охватывающего, живущего и пользующегося нами как материалом для своей жизни. Мы обыкновенно смутно догадываемся об истинном существе государства и человека, ежемгновенно направляющего нашу маленькую особь к каким-то целям, спасительным или гибельным для нас. Указать на это необъятное целое и связать с ним мысль слушателя – крайне важное дело, и в иные времена – даже самое важное из всех. «Кто мы? Для чего мы?» – эти вопросы мучили до отчаяния Алексея Толстого – и не напрас-

но. Великий ли мы народ, или простая орда, принадлежим ли мы к благородной европейской расе, одарены ли мы вместе с нею задатками истинной, гуманной цивилизации, или племя рабов, обреченное «на подстилку» для великих племен? Наш рыцарственный поэт, носивший в сердце как бы всю совесть своего народа, стыдившийся за него перед человечеством, не напрасно отчаивался над этими вопросами. «Мы не монголы!» – кричал он неистово из своей черниговской деревни, но этот крик не мог же заглушить, например, свиста розог, ложившихся на тело окружавших его «арийцев»… Какой позор! От него, по взгляду А. Толстого, должны бы переворачиваться все славянские кости в гробу. Да и – сказать кстати – прошло уже двадцать лет со смерти поэта, а этот взятый у татар обычай не только еще не вышел у нас из употребления, но даже находит ревностных защитников и даже среди писателей, даже среди аристократов (по плоти, конечно, а не по духу)! Вы видите, как еще нужна до сих пор проповедь о человеческом достоинстве и как недалеко еще мы ушли в своем Возрождении! Если считать со времен гр. Алексея Толстого, то мы, пожалуй, отступили даже назад.

Отступили, – но я уверен, что скоро нам неизбежно придется наверстывать упущенное. Жизнь не стоит на месте – особенно жизнь Запада. Она движется с небывалою быстротою и побеждает не только нашу инерцию, но даже косность языческих, азиатских стран. Россия – и Европа, наводняющая собою мир, вышедшая из берегов, Россия – и Азия, застоявшееся, гниющее болото. Куда примкнуть? Мы – 100-миллионное славяно-русское племя – стоим между 400-миллионным высококультурным Христианством Запада (считая и Америку) и 400-миллионным высококультурным же, но остановившимся язычеством. Чья судьба нам больше по душе? Где больше достоинства и красоты жизни?

Наше возрождение, мне кажется, факт неотвратимый. Против воли своей, как и другие страны Востока, мы уже увлечены всемирным потоком цивилизации и двинуты в общее течение ее. Посмотрите, как Европа охватывает нас со

всех сторон, подбираясь неожиданно к нашей косности из тех стран, где считали себя навеки обеспеченными: из-за Камчатки (через вооруженную европейской наукой Японию), из-за песчаных пустынь Средней Азии (через Афганистан). Форпосты цивилизации надвигаются на нас со всех сторон, и из простого чувства самосохранения мы должны усвоить то же оружие. Я говорю, конечно, не о военном оружии: кроме кровавой борьбы, существует менее изнурительная мирная борьба – экономическая, наконец – борьба нравственная. В самом деле, обидно быть вечными данниками Запада в материальном отношении, расплачиваться народною энергиею за недостаток просвещения. Обидно быть работниками Европы, но еще обиднее чувствовать себя и *нравственно* слабее ее, уступать ей в справедливости и достоинстве жизни. Это сознание парализует духовное творчество нашего общества, лишает его радости существования. Пока мы искренно не повернемся «лицом к варягам», пока не признаем себя, как мечтал Алексей Толстой, кровными европейцами, пока не почувствуем, что начала гуманности – наши родные начала, до тех пор и материально, и духовно мы будем в подчинении у Запада, в роли варваров, которых боятся, но презирают. Хорошо не знать этого презрения, но знать его – и чувствовать, как Алексей Толстой, что оно заслужено… Это тяжелое страдание.

Художественная проповедь
(XI том сочинений Н. С. Лескова[1])

I

В русской литературной семье уже немного осталось художников «золотого века», сверстников Достоевского, Тургенева, Гончарова, – до того немного, что самое присутствие их среди нахлынувшей молодежи кажется чем-то необычным, почти мистическим. Как в чудесной элегии Пушкина, эти старцы могут на закате дней, приглядываясь к новому, шумно выступающему на сцену поколению, с грустью промолвить:

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!.. Не я увижу твой могучий, поздний возраст…» Странно как-то и грустно видеть старому писателю загадочную, еще безымянную толпу молодежи, лезущую в храм литературы, но не менее странно и удивительно видеть и этой безымянной молодежи живые, но уже вошедшие в историю имена, отягощенные известностью, имена, с которыми связаны литературные эпохи и перевороты, на которые время уже успело набросить свою романтическую дымку. Такие писатели-старцы необыкновенно интересны, и присутствие их в молодом обществе неоценимо. Живые люди, они уже превратились в мифологические существа; уроженцы иного века, иного поколения, они говорят как бы из-за пределов времени, из глубины прошлого, из той для всякого пленительной и сказочной поры, когда живы были отцы и деды, когда вместе с нами начинался мир. Но ценить старость, даже заслуженную старость, мы не умеем; писатели весьма выдающиеся, замечательные и даже великие у нас часто выходят из моды, заживо забываются, как Гончаров в последние годы или Тургенев. Вообще мы скупы на уважение: не будучи в состоянии прочувствовать большой талант, принять в себя веющую от него благодать, мы до тех пор лишь помним писателя, пока про него жужжат нам критики и рецензенты. Вслед за ними мы в состоянии восхититься бездарностью или поставить сапоги выше Шекспира. Вот именно такою жертвою забвения является и Н. С. Лесков – один из крупных представителей старой школы.

Собрание его сочинений – целый курс для изучения русской жизни, яркая летопись одной из самых памятных эпох нашего быта. Столь ценный и крупный вклад в литературу обязывает пользоваться им и критику, и читателей. Здесь я не буду говорить о его лучших романах и давать подробную характеристику этого выдающегося таланта. Как ни приятна была бы такая работа, я не подготовлен к ней. Я хочу лишь обратить внимание читателя только на XI том Лескова, ограничившись лишь несколькими типическими чертами его дарования.

II

И друзья, и враги Лескова признают, что он стоит особняком в литературе, что если он не сознавал своей школы, то и сам ни к какой не примкнул. Почти на каждом из наших романистов вы сейчас же увидите или гоголевское, или тургеневское, или толстовское происхождение; второстепенные таланты бессознательно копируют более сильные, перенимая то, что доступно подражанию – внешние черты. Не то Лесков: литературные школы не наложили на нем резкого отпечатка. Самобытный талант всегда выносит сам из своей жизни, из непрерывного общения с людьми и природой огромный запас и знания, и развития, и свежих чувств. Как дикий дуб среди культурных, изнеженных яблонь рождается как-то сам, из случайно занесенного в сад желудя, оригинальный талант растет без всякого ухода и вырастает богатырем. Оригинальность – первый признак таланта и даже великого таланта, но лишь при условии, если оригинальность *естественна*: только тогда она искренна и полна правды. Н. С. Лесков обладал избытком оригинальности, но не совсем естественной, переходящей в причудливость. На творчестве этого беллетриста лежит как бы печаль раннего Возрождения, избытка бьющей силы при невозможности овладеть ею. Типы его излишне выпуклы и резки, язык излишне меток и колоритен; это чисто русский язык, но уж слишком пересыщенный русской солью, отягощенный курьезами, обилие которых подавляет. Неправильная, пестрая, антикварная манера делает книги Лескова музеем всевозможных говоров; вы слышите в них язык деревенских попов, чиновников, начетчиков, язык богослужебный, сказочный, летописный, тяжебный, салонный – тут встречаются все стихии великого океана русской речи. Язык Лескова, пока к нему не привыкнешь, кажется искусственным и пестрым. Как некогда венецианцы, делая набеги на Восток, отовсюду привозили что-нибудь для своего собора св. Марка: то коринфскую колонну, то медных львов из Пирея, то обелиск из Египта, то фриз из афинского Акрополя, и, как они,

вводя постепенно все эти драгоценности в состав здания, построили фантастический, странный, бесстильный, почти бесформенный собор и в то же время своеобразный и красивый, – так и Лесков в постройке своего языка: он обобрал, кажется, все сокровищницы и кладовые русской речи. Стиль его неправилен, но богат и даже страдает пороком богатства – пресыщенностью. В нем нет строгой, почти религиозной простоты стиля Лермонтова и Пушкина, у которых язык наш принял истинно классические, вечные формы, в нем нет изящной и утонченной простоты гончаровского и тургеневского письма, нет задушевной, житейской простоты языка Толстого – язык Лескова редко прост, в большинстве случаев он очень сложен, хотя иногда красив и пышен. Есть любители языка – *коллекционеры*: как коллекционеры картин, бронзы и т. п., они не столько дорожат красотою слога, сколько его редкостью; чем вычурнее словцо, чем пестрее фраза, тем они им милее. Таков Лесков как любитель языка, и подобные ему любители могут учиться у него, набирать в нем целые словари. В особенности характерны в этом отношении народные и бытовые рассказы Лескова, выдержанные в строго народном, сказочном стиле. На них особенно резко видно, что кропотливая, *ученая*, так сказать, близость к этому стилю излишня. Н. С. Лесков превосходно знаком и с архитектурою, и со скульптурою русской народной речи; он знает всевозможные мотивы ее, говоры и наречия, но когда начинает сам строить что-нибудь в народном духе, то у него выходит, как у талантливых архитекторов с русским стилем: постройка выходит чересчур пышная, необыкновенно причудливая и богатая; простая русская изба просто тонет в ажурной резьбе, перилах, гребнях, петухах, ставнях, вышивках, теремах и т. п. Получается нечто яркое, фантастическое и красивое, но уже как бы не совсем русское: настоящая крестьянская изба с соломенною крышей и бедными, еле тронутыми резьбой ставнями, родное русскому глазу. Всякий подлинный стиль во всех искусствах должен быть прост и даже беден формами, так как излишнее богатство их заслоняет основной тип постройки. В этом отношении народ-

ные сказки Пушкина или лермонтовская «Песня про купца Калашникова», мне кажется, должны служить образцом строгой художественности народного языка.

III

Я с умыслом остановился прежде всего на языке Лескова. Если правда, что le style – c'est l'homme*, то тем более это верно для писателя. Язык не только «орудие мысли», язык есть неотделимая от нее форма, обнаруживающая всю жизнь разума, всю игру представления. Уж если по почерку узнают характер человека, то по стилю – и подавно. В высшей степени своеобразный язык Лескова соответствует оригинальности содержания. В художественном материале Лескова, в подборе типов и картин, в ходе фабулы всегда замечаются те же наклонности автора, как и в языке. И здесь то же стремление к яркому, выпуклому, причудливому, резкому – иногда до чрезмерности, до разложения описываемой картины. Удивительная наблюдательность и острая память художника в Лескове постоянно граничат с инстинктом ученого коллекционера. Каждое его произведение приподнимает угол завесы над тою или иною стороною русской жизни, и эта жизнь всегда показывается в ее дополнительном затрапезном виде, с характерными мелочами, требовавшими не только наблюдения, но и изучения. Подобно Флоберу, Лесков хочет знать весь быт и всю обстановку своих героев до последней черточки, стремится вооружить себя всеми красками, всеми средствами для своей живописи и подобно Флоберу, погружаясь в материал для изучения, иногда теряется в нем и цели начинают исчезать в средствах. Сочинения Лескова похожи на окна с фигурными и цветными стеклами: видимый сквозь них мир окрашен не совсем так, как в действительности, а ярче и фантастичнее, и очертания его не всегда правильны. Как Фет в поэзии, Лесков в беллетристике достигает своих эффектов иногда странными отступлениями от действительности, особенно резко подчеркивающими самую

* Стиль – это человек (фр.). – *В. Т.*

действительность. Впрочем, у Лескова нет одной, определенной манеры письма; все стили и пошибы ему известны. Как писатель-техник, он удивительно образован, но образованность его *заметна*: признак того, что она плод более науки, чем искусства. Разносторонность Лескова отвечает богатству его творчества. Сатирик по преимуществу, он большой мастер и в идиллии; едва ли у кого-нибудь, кроме разве Щедрина, встречаются столь пошлые, столь уродливые типы, но, с другой стороны, припомните хотя бы протопопа Савелия Туберозова из «Соборян» или студента Спиридонова из «На ножах». Самые крайние настроения в Лескове как-то загадочно переплетаются: тончайший, смертельный яд злобы в сатире и нежное умиление в идиллии – трезвый и черствый ум с самою страстною фантазией. Может быть, эта-то неумеренность, едкость и пряность таланта была причиной ненависти, которую питала к Лескову критика прежних лет. Критика эта была либеральна; она вдохновлена была чувством обновления, прогресса, освобождения от ветхозаветных форм жизни, она берегла со страшною ревностью все проблески новизны, она защищала новые типы людей только потому, что они были новы, не разбирая, дурны они или хороши. Как матери мил и дорог даже уродливый ребенок, критике освободительного периода были близки сердцу даже чудовищные порождения того времени. Достаточно было казаться непохожим на человека крепостной эпохи, чтобы заслужить одобрение и критики, и большинства художников. Это течение в литературе до такой степени было сильно, что лишь самые независимые таланты были в силах сопротивляться ему. Достоевский в «Бесах», Тургенев в «Отцах и детях» и «Дыме», Гончаров в «Обрыве» нарисовали во весь рост весьма распространенный в эпоху реформ тип нигилиста. Даже этим писателям не было прощено их отрицательное отношение к либеральному, как казалось тогда, типу, но что касается Тургенева и Гончарова, – нельзя было не видеть их беспристрастия в изображении нигилизма. Выводя Ситниковых и Кукшиных*,

* Ситников и Евдокия Кукшина – второстепенные персонажи романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». – *В. Т.*

Тургенев рядом ставил и внушительную фигуру Базарова; при всей антипатии к Волохову* Гончаров не мог не оделить его многими хорошими чертами. Достоевский выступил несравненно более резко; он осудил беспощадно нигилизм, но в приговоре его чувствовалась жалость, снисхождение к жертвам, в которых вселились «бесы». Лесков, менее уравновешенный, чем названные художники, был независимее их и беспощаднее; ополчившись на нигилизм, он уже не чувствовал к нему ни капли сострадания, обрушился на него со всею злобою, какая у него нашлась, и смешал своих врагов с самою зловонною грязью. Мне кажется, ставить это в вину Лескову не нужно. Как сатирик, он преувеличил и должен был преувеличить уродливые черты нигилизма; сатира и есть преувеличение. Лесков был бы виновен в том лишь случае, если бы опорочиваемое им явление жизни было безупречно, но этого сказать нельзя. Нигилизм, как и всякое общественное настроение, выдвигал два совершенно различных типа: возвышенный и низменный, смотря по тому, захватывал ли он добрую или злую волю. Возвышенный нигилизм, как он выразился в пессимизме, в байроновском отрицании, в мировой скорби Фауста, – быть может, не совсем здоровое, но вполне чистое явление. Такой нигилизм есть тоска по недостижимому идеалу, отвержение всех кумиров во имя Бога и безвыходное отчаяние в поисках этого Единого, Вечного, Сущего. В этом нигилизме, которым страдали самые утонченные натуры нашего века, стихией была любовь, стремлением – добро. Не то представлял собой низменный нигилизм, к сожалению, нашедший себе слишком благоприятную почву в наших крепостных нравах. Он был торжеством зла, почуявшего свободу, возмущением укрощенного культурою зверя в человеке. Как возвышенный нигилизм отрицал в сущности только дурное, так низменный – только хорошее. Растленные крепостным рабством до мозга костей, привыкшие к насилию, разврату, паразитизму, грабежу очень многие люди той эпохи были нигилистами гораздо ранее, чем явилась

* Марк Волохов – герой-нигилист из романа И. А. Гончарова «Обрыв». – *В. Т.*

эта кличка. Новейшие нигилисты низменного, материалистического типа были столь же циничны, распутны и жестоки, как и их старозаветные предки. Это была та же татарщина, только напялившая на себя фригийскую шапку. Разоблачение этого гадкого порождения наших больных нравов было необходимо, и Лесков явился беспощаднейшим карателем этого явления. К сожалению, как сатирик, он не всегда был разборчив в борьбе, и бичи его Эвменид иногда падали на типы смежные, сравнительно, а иногда и вполне невинные. Я думаю, что это вещь неизбежная в таком боевом деле, как критика. Трудно сохранить олимпийское беспристрастие, когда являешься не судьею, а обвинителем эпохи, когда чувствуешь обязанность выставить зло жизни во всей его мерзости и поселить к нему отвращение и ужас. Тут легко впасть в односторонность и вместе с гадкими чертами осудить и хорошие. Таково свойство сатиры – этого всегда немножко дьявольского рода искусства. Критика 60-х годов не поняла этого; она не могла простить Лескову его невольных увлечений, свойственных природе его искусства. Она не простила ему не только неправды, но даже и правды, которой он много послужил.

IV

Лесков целою головою выше талантливых, но не оригинальных писателей вроде гг. Григоровича, Боборыкина и т. п.; он выше даже Писемского в области жанра и сатиры, хотя и Писемский был, бесспорно, большою силой, тоже плохо оцененной. Лескова историк литературы, как я думаю, поставит в один ряд с Достоевским и Щедриным, с которыми он имеет столько родственных черт. Все три названных писателя при наличии большого таланта отличаются неуравновешенностью; они как бы одержимы каким-то мятущимся, беспокойным духом или, точнее, сонмищем духов, ведущих нескончаемую распрю, причем то светлые, то мрачные силы торжествуют. Сравните этих писателей с Тургеневым и Гончаровым, этими лириками безмятежной, счастливой

красоты. Они спокойны и бесстрастны, как греческие боги в сравнении со скандинавскими богами. Достоевский и Щедрин – оба преисполненные любовью, горели в то же время пламенем злобы, оба были благородны и жестоки: они были мучителями душ во имя какого-то страшного долга, тягостного для них и сладкого. Близок к ним и Лесков, которого все создания отравлены этой высшей злобой, не личной, а как бы мировой. Источник этой особенности в Лескове хотят видеть в непримиримых гонениях на него критики. Но это совершенно неверно. Он родился непримиримым и если бы, как Щедрин, встретил рабские поклонения – он все-таки, как и Щедрин, остался бы мстительным и гневным. Вечное несовершенство жизни раздражало бы его душу с обнаженными нервами, не терпящими ни малейшего прикосновения яда, которым жизнь насыщена. Лесков всегда и непрестанно был в оппозиции, как и Достоевский, как и Щедрин. Сатира есть постоянная, несмолкающая, непримиримая оппозиция, и Лесков остался верен этой основной черте своего таланта. Он совсем не похож по типу творчества ни на Достоевского, ни на Щедрина, но удивительно родствен им по темпераменту, что доказывается и стилем всех этих авторов: он у них одинаково искусственный, предвзятый, насыщенный всеми пряностями говоров и жаргонов. Сатира требует, может быть, по своей природе особого языка: как яды в организме являются продуктами распадения живой ткани, так и яд речи, необходимый сатирику, черпается им из элементов распадения речи, из выразительных, причудливых словечек, не укладывающихся в организм языка. Как у Щедрина и Достоевского, у Лескова такое же пристрастие к причудливому, чрезмерному, резкому и курьезному и, как у них, – способность при случае писать и совершенно спокойным языком. Некоторые романы Лескова очень напоминают Достоевского, а многие страницы по выдержанности не уступают лучшим тургеневским.

Как крупный, самобытный талант, Лесков остается неизменным до конца дней, но любопытно новое его настроение, которым проникнут последний, одиннадцатый том.

В жизни многих русских писателей повторяется замечательная черта. Под старость вместо стариковской черствости в них развивается, наоборот, пламенный, чисто юношеский идеализм. С увяданием физического состава на склоне лет внутренний свет их души не меркнет, как у обыкновенных людей, но как бы освобожденный из облекавших его темных страстей, он является более ярким и успокоенным. После укрощенного зноя жизни, в тишине вечерней, наших писателей охватывает как бы молитвенное настроение: с особенною силою начинает гореть в них совесть, жажда забытого идеала, предчувствие мировой тайны. Натуры талантливые уже по природе своей религиозны: талант есть особый вид религиозного чувства, он есть откровение духа, в природе скрытого, его правды и красоты. Иногда этот поздний расцвет души писателей кажется реакцией, духовным упадком, как это говорили о Гоголе или о Л. Н. Толстом, но на самом деле это не упадок, а освобождение духа, приближение его к мудрости, которая, по древнему верованию, должна увенчивать достойную старость. До сих пор непонятное и не вполне понятное настроение Гоголя едва ли было последним фазисом его душевного развития; повидимому, оно было только началом его общего внутреннего переворота, и в какое направление вылилась бы встревоженная великая совесть этого писателя – сказать трудно. Трудно решить и относительно Достоевского, чем разрешилась бы мучившая его тайна русской жизни, которую он вынашивал в сердце в последние годы – в «Дневнике писателя» и «Братьях Карамазовых». Смерть застигла его на вершине развития таланта, в то время, когда он окрылен был особенным нравственным одушевлением. То же можно сказать и относительно своеобразного и странного, но могучего дарования Щедрина, и даже о некоторых выдающихся писателях-публицистах: Кавелине[2], Шелгунове, Успенском и т. п. Из действующих писателей-старцев достаточно указать на необычайный душевный процесс в Л. Н. Толстом.

Мне кажется, что указанную черту – осенний расцвет идеализма – можно наблюдать и <у> Н. С. Лескова.

В последние годы сочинения его теряют свой резкий обличительный характер, сатира смягчается все чаще и чаще, как и у Щедрина перед концом жизни, поучением, проповедью добра и правды, умиленным призывом к согласию и миру. Нравственный подъем в Лескове сказался в сочувствии к новохристианскому идеализму и духовному возрождению; проснулось с новою силою внимание к народной правде и народной нужде. Прежний «реакционер» и «мракобес», как его называли, переходит в либеральные журналы, становясь на защиту гуманных и просвещенных начал против заскорузлого византизма. Конечно, никаких «утопий» он не проповедует, да и никогда не проповедовал, но, как и Л. Н. Толстой, старается пробуждать в людях «чувства добрые»: в народе – присущее ему стремление к божественной правде, в образованных людях – сострадание к народу. В целом ряде народных рассказов Лесков дает картины жизни, проникнутой благочестием, стремлением к идеалу, образцы душевного геройства; в ряде воспоминаний и «рассказов кстати», написанных для образованного круга, он сообщает неприкрашенную правду о народном горе, о вековечном его унижении и нищете. Так поделил свое творчество почтенный художник, умудренный опытом жизни, просветленный близостью заката. В последнем XI томе читатель найдет прекрасные образцы как народно-нравоучительных рассказов («Час воли Божьей», «Пустоплясы», «Дурачок», «Невинный Пруденций»), так и народно-бытовых картин: прочтите превосходную «рапсодию» под названием «Юдоль», которая вместе с «Продуктом природы» (не вошедшим в XI том) говорит не только о вполне сохранившейся силе дарования этого писателя, но и о новом прояснении его.

Я остановлюсь на одном лишь образце народных рассказов и на одном очерке, написанном для интеллигенции. Для первой цели укажу «Час воли Божией», кстати, как образчик мастерства Лескова в искусственной, народно-книжной речи. Это сказка, проникнутая самыми глубокими думами о судьбе человеческой, как она представляется целомудренному народному сознанию.

Вот содержание сказки. Король Доброхот видит, что в его царстве, несмотря на все старания, кривда берет верх над правдой. Бояре стараются отговорить его от грустных мыслей: «наш народишко терпеливый, выносливый, ему уж не первый снег стелет головы». Старуха-мамка советует королю спросить старцев божьих пустынничков; одного из них звали Дубовик, лет за тысячу возрастом, другого – Полевик, третьего – Водовик. В поисках правды нужно обращаться к самому народу, к первобытной человеческой стихии, слившейся с природой и, как природа, чувствующей, чего требует жизнь. Король посылает за пустынниками гусляра Разлюляя-гудошника. Тот допытывается от праведников ответа, отчего не спорится на земле добро. Дубовик сказал: «Оттого, что люди не знают, какой час важнее»; Полевик сказал: «Оттого, что не знают, какой человек важнее всех»; Водовик промолвил: «Оттого, что не знают, какое дело дороже всех». Король не понял этих ответов, и никто не смог ему их объяснить. Тогда по совету старой няньки Разлюляй-гусляр опять был послан разыскивать по всему свету «чистую жалостницу», которая одна может разгадать ответы старцев. После разных приключений Разлюляй находит такую «жалостницу», невинную девушку в лесу, проникнутую любовью ко всему живущему, и та отгадала «дело Божие». Самый важный час – теперешний, самый нужный человек – с которым сейчас дело имеешь, самое дорогое дело – доброе дело, какое поспеешь в этот час сделать этому человеку. Король Доброхот поверил этой мудрости и хотел править по ней, да убоялся: а как другие, соседние цари, того же не сделают? «И решил, что лучше ему сидеть, как сидел на престоле своем, по старинному», и все в той стране не спорится и не ладится. «Не пришел еще, видно, час воли Божией». Эта сказка при всей ее фантастичности представляет как бы символ нравственной философии в ее свежей, стоической простоте. Вообще народные рассказы Лескова, не будучи похожими на рассказы Л. Н. Толстого, напоминают их по глубине замысла и искренности настроения. Вспомните «Христос в гостях у мужика». Надо заметить, что

Лесков и в общем нравственном миросозерцании давно совпал с Толстым, или, точнее – пошел с ним параллельно, охраняя даже при согласии свою особливость. Он ведет художественную проповедь о добродетели, выдвигая множество милых, простых, задушевных типов, в которые он просто, кажется, влюблен, влюблен до ревности, до потребности вцепляться с яростью в типы злых людей, корыстных и фальшивых. Может быть, в этом и кроется, как у Щедрина и Достоевского, затаенный источник его сатиры.

В «Часе воли Божией» разгадчицею жизненных вопросов является «пригожая девица», «глазом посмотришь – век не забудешь, столько светится добра из ней». Этот женский идеальный тип появляется почти во всех рассказах XI тома: в «Полунощниках» – в лице купеческой дочки Клавдиньки, в «Юдоли» – в лице тети Поли, в «Невинном Пруденции» – в лице Мелиты. Во всех случаях перед нами встает чистая, безгрешная женская душа, переполненная любовью к ближним, самоотверженностью и высокой мудростью.

Тип это новый в русской жизни, тип крайне редкий, но то, что существование его отмечено таким правдивым бытописателем текущей жизни, как Лесков, заслуживает особого внимания. Новые люди – предвестники новой эпохи, первые ласточки какой-то загадочной весны. Если в трудовом обществе вдруг начинают размножаться люди легкомысленные, праздные бонвиваны или, наоборот, в обществе, беспечном и развращенном, начинают попадаться строгие и честные люди – в обоих случаях «время близится», наступает новое течение, новая эра. Иногда, впрочем, отдельные признаки гибнут в массе противоположных; зародыши новой эры не находят доброй почвы в настоящем и засыхают, а иногда, подобно евангельским семенам, расклевываются птицами. В наши дни трудно еще судить, имеет ли будущность тип новых людей, выдвигаемый Лесковым в лице его героинь. Весьма возможно, что грубое себялюбие и жажда стяжаний, овладевшие нашим обществом, возьмут верх; возможно, что новые люди окажутся столь же немногочисленными, пропадающими бесследно в толпе, как

немногочисленны были люди нравственного подвига во все времена. Но я думаю, что несмотря на всю глубину теперешнего нравственного оскудения или даже в силу именно этого оскудения возможен поворот к лучшему. Русский человек слаб и неустойчив, но по природе своей склонен к правде не менее, нежели ко лжи. Если теперь он усиленно ханжит и лицемерит, тешится наживой и карьерой, презрительно относится к страданиям ближних, к нравственным идеалам, то ведь все это может надоесть ему, опротиветь, и снова, как в прежние проблески своей свободы, он потянется к задачам справедливой, достойной жизни. Теперешние зародыши нравственного движения повторяют собою душевный подъем, уже бывалый неоднократно. Совершенно иными путями «новые люди» наших дней ищут те же идеалы справедливости, как и все прежние реформаторы, но начинают с преобразования мельчайшей клеточки этого общества – самого человека. «Нельзя из кривых и гнилых бревен построить хороший дом» – вот основная мысль этого настроения. Усовершенствуйте людей, развейте их сознание, возмутите их спящую совесть, зажгите сердце состраданием и любовью, сделайте людей не склонными к злу – и зло рухнет, в каких бы сложных и отдаленных формах оно ни осуществлялось – в общественных, экономических, государственных, международных. В общем, новое движение есть как бы практический ответ на бесконечный спор о том, что важнее в деле прогресса – учреждения или люди. Самым решительным образом это движение провозглашает принцип, что *начинать* следует с людей, с усовершенствования их душ, и все остальное к этому приложится. При хороших учреждениях возможны дурные, даже безобразные нравы – примеры слишком общеизвестны, тогда как при хороших нравах дурные учреждения немыслимы: истинно доброе и просвещенное общество сейчас же создает и соответствующие порядки, тогда как при развращенном обществе самые идеальные установления сменяются самыми грубыми. Новые люди, о которых мечтают Толстой и Лесков, начинают создавать нравственное общество, *начиная с себя*, с личного усовершенствования и об-

лагорожения, и *продолжая* таким же облагорожением ближних. Не вступая в насильственную борьбу со злом, новые люди сами никогда не делаются орудиями этого зла, то есть нравственно не подчиняются ему. Может быть, в силу отсутствия всякого политического элемента, в силу исключительно идейного и нравственного характера борьбы со старой жизнью типы нынешних новых людей в нашей литературе являются довольно бледными. Добродетель вообще менее картинна, нежели порок; лишенная грубых, земных черт, сотканная как бы из эфира, она похожа на светлый, но неясный призрак; недаром в поэзии демоны всегда представлены ярче и художественнее ангелов. У Н. С. Лескова, несмотря на его врожденное отвращение к банальности и пристрастие к оригинальным, даже вычурным сюжетам, несмотря на его мастерство в этом роде, безгрешные «жалостницы» не совсем жизненны; они однообразны, как и следует быть ангелам во плоти. Как праведная девушка в «Часе воли Божией», так Клавдинька и Мелита в «Невинном Пруденции» очень близки, почти тождественны, и только тетя Полли в рассказе «Юдоль» очерчена более выпукло. Вообще этот последний рассказ (автор назвал его «рапсодией») чрезвычайно замечателен, и нельзя надивиться сравнительно малому впечатлению, какое эта вещь произвела при первом своем появлении в печати. Подобно «Пошехонской старине» Щедрина, «Юдоль» является воспоминаниями Лескова из его ранней юности, обработанными в ряде художественных картин; подобно щедринской повести, «Юдоль», помимо автобиографического и литературного значения, составляет настоящий вклад в историю провинции николаевского времени. Здесь мы лишь в самых беглых чертах расскажем содержание этой былины как образца художественной проповеди Лескова по адресу интеллигенции.

V

Характерным и грустным словом «Юдоль» озаглавил Лесков свои сказания о страшном голодном годе полстолетия

тому назад (в 1840 г.), о невероятных страданиях, вынесенных народом, и об отношении к этим страданиям тогдашнего образованного класса. Рисуется глухое время, до того глухое, что о голоде «могли знать лишь министры да разве сама голодающая масса». Одно влиятельное лицо составило было тогда проект народного продовольствия; император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту, и автор хотел было напечатать его, но ни одна типография не решилась взять рукопись для набора. Только благодаря покровительству принца Ольденбургского соответствующие власти допустили к печати этот невинный проект – конечно, оставшийся без всякого движения. Вот эту-то глухую пору и описывает автор по своим детским воспоминаниям, вынесенным из деревеньки его родителей в Орловском уезде. «Я предлагаю, – говорит автор, – только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою (?), к которой дает возможность нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды». Отрады, однако, оказывается мало. Былина доказывает с суровой убедительностью, до какой степени мало улучшилась жизнь народа в последнее пятидесятилетие. Народ тогда, как и теперь, погрязал в невежестве и был беспомощен против всякого стихийного бедствия. Глубоким чутьем существа, слившегося с природой, народ предчувствовал голод; старухи начали видеть зловещие сны, и явились «знамения» грядущей беды: под Благовещение у дьячихи, приготовлявшей черные просфоры, ушло тесто; в церкви бабы мыли пол, и одна из них нечаянно просунулась в алтарь до половины (за что потом ее чуть не убили), дьячок «Аллилуй» свалился с колокольни и расшибся. Предчувствие не обмануло: засуха сожгла весь хлеб. Беспомощный народ, как и теперь, не имевший никаких средств борьбы с засухой, никаких запасов, чтобы пережить черный день, пытался оградить себя своими средствами: стали обращаться к колдунам и знахарям, «из которых одни наводили что-то наговорами и ворожбою на лист глухой крапивы и дули пылью по ветру, а другие выносили откуда-то свои обглоданные избенными прусаками иконки в лес и там перед ними

шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве, но дождя все-таки не было, и даже прекратились росы». Народ каялся, прекращены были всякие развлечения; «мужья ни за что ни про что били жен, старики обижали ребят и невесток, и все друг друга укоряли хлебом, и один на другого все призывали “пропасть”»: «О, нет на вас пропасти!»

Медленно и тяжело развертывается трагическая картина голода, написанная с замечательным мастерством. Читатель воочию видит перед собою несчастного шорника Кожиена, которого мужики убили за то, что он будто бы остановил тучу, бежа в белой горячке от воображаемого им быка, а также для того, чтобы из сала Кожиена наделать чудодейственных свечей, приманивающих дождевые тучи… Но дождя не было, хлеб сгорал, и голодный год пришел во всей своей грозной силе. Постепенно описывается в рассказе, как народ доедал последние крохи, как, превозмогая стыд, шел нищенствовать, как, начиная впадать в отчаянье, продавал свое имущество и честь, как начал воровать и доходить до крайнего зверства, до людоедства, прежде чем погибнуть от голодных мук. В то время не было даже той незначительной государственной и частной помощи, которую встретили наши голодные крестьяне в последнее время. «Государственным крестьянам» что-то выдали, но только на обсеменение, о том, чтобы кормить их до сытости, не считали и нужным заботиться: рассказывали, будто граф Киселев сказал кому-то, что «крестьяне не солдаты» и что «до новины они могут одну зиму как-нибудь перебиться», и это будто бы послужило достаточным успокоением чьей-то душевной тревоги. О мещанах заботы не было, так как у них неурожая быть не могло, да притом о них было сказано, что они «все воры», и как воры могут достать себе сами все, что нужно. Крепостные были предоставлены «попечению владельцев»… «Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее: они не только страдали без всякой помощи, но еще со связанными руками и тряпицей во рту. Они даже не имели права отлучаться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали». В лучшем случае помещики,

ужасаясь бедствия, бежали в город зимовать, чтобы только не слышать народных стонов. Лесков с поразительною силою описывает сцены гибели крестьянского скота от голодовки, страшное зрелище обозов, тянувшихся по дорогам в виде длинных вереницы: «и сами изъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсем скелеты, обтянутые кожей», картины расставания с последней коровой-кормилицей. Но там, где описываются собственно человеческие страдания, душу сжимает холодный ужас. «С виду даже, – говорит Лесков, – пожалуй, незаметно было, что люди переживают *особенное страдание*: жизнь в крестьянских избах плелась такая же безотрадная, как и всегда. Те же стоны и кряхтение стариков, не слезающих с остывших печей, тот же дым и вонь, а часто и снег, ползающий по углам, те же слабые писки голодных и еще живых ребят со вспухшими животиками и красными от дыма глазами; но зимняя картина в орловской деревне никогда и не была другою… Я ее всегда видел именно этакою». Но на фоне этой жалкой заурядной жизни, где голод не мог изменить к худшему и без того ужасную обстановку, выдвигались все-таки отдельные случаи невыразимого и даже крестьянами непереносимого горя. Лесков рассказывает с беспристрастием рапсода историю смерти хилой девочки Васенки, историю гибели ее матери с сынишкой, историю хитрого помещика Алымова, который, чтобы уберечь свой посевной хлеб от крестьян, вымочил его в навозной жиже (крестьяне все-таки украли этот хлеб и съели), историю матери, зарезавшей своего грудного мальчика, чтобы накормить других детей, после чего сама повесилась, историю двух девочек, заманивших мальчика в глухую избу и зарезавших там его, историю молодой девушки, задушившей свою бабку, и пр., и пр. Я не знаю, которая из этих былин ужаснее, все они до того ярки и до того полны страданием, что действуют гнетуще на душу. Господа, любители сильных впечатлений, ищущие по свету, чем бы расшевелить ваши уснувшие нервы! Заглядывали ли вы когда-нибудь в народную жизнь, подобную той, которую описывает Лесков? Ведь она и до сих пор почти осталась такою же трагической, как была и полвека назад…

Сцены людоедства, как «баба взяла своего грудного мальчика, дрожавшего в ветошках», и дала пустую грудь, как он защелкал губенками и запищал, как мать «пощекотала у него пальцем под шейкой, чтобы он поднял головку, а другою взяла нож и перерезала ему горло»… все эти сцены мы обойдем. По деревням, как и в последний голод, разъезжали скупщики, «кошкодралы», которым бабы уступали за гроши и копейки все накопленное нищенское добро: пряжу, холсты и пр. Продавали кошек, которых кошкодралы тут же убивали о колесную шину или головашку саней. Этим же кошкодралам бабы и девки продавали свои волоса и весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложения, пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, в придачу к кошке. Множество деревенских баб и девок разбрелись по городам промышлять собою из-за хлеба, и их сбивали на это старшие; бывало и так: пошла одна молодая баба Калерка «у колодцев стоять» и, «воротившись, гнить стала и сидела всем на ужас в погожие дни на пыльной дороге без языка, издавая страшную вонь и шипение вместо крика… пока она не задавила себя поясом».

Что же делало в то время образованное общество? «О таких делах, – говорит автор, – бывало, все доводят господам, но больше только для новости и приятного развлечения, как фельетоны».

За голодом, как и в недавние годы, шли повальные болезни, которые унесли с собою «половину живущих и навели уныние и страх на другую половину». Больные «валились и мерли в своих промозглых избах без всякой помощи…»

Вторая половина «Юдоли» рассказывает пришествие как бы двух светлых ангелов в этот скорбный и мрачный мир – приезд в истомленную голодом и тифом деревню тети Полли и Гильдегарды. Раскрыв картину ужаса, сплошного ужаса, в который способна превратиться жизнь, автор не желает оставить читателя без утешения. Он показывает, как немного нужно, чтобы темная бездна осветилась солнечным лучом, как нетрудно помочь народу, если *искренне захотеть* этого. «Ангел-Утешитель» – не видение, не греза: каждый человек рожден

быть ангелом для своих ближних, и если захочет, то может им быть. Необыкновенно интересна история подвига этих двух прекрасных женщин, из которых одна, княгиня Полли, приходилась теткой автору, а вторая, англичанка-квакерша, простая гувернантка, явилась в глуши Орловской губернии как посланница старой, высокой культуры, хотя и чуждой нам, но полной любви и благочестия. Это тот же «новый тип», который проявился в последние годы: вы видите, как стар этот тип, из какой старины и дали он идет.

Как в «Пошехонской старине» и «Сказках» слились вместе все стороны таланта Щедрина, вся его нежность и весь гнев души, так и в «Юдоли» Лескова и его народных рассказах он является во всеоружии своего творчества: перед вами строго правдивый бытописатель, отмечающий явления с ученою точностью; тонкий сатирик – но уже как бы примиренный и успокоенный; художник-мечтатель, страстно ищущий в природе и воображении образ идеального человека, ждущий царства Божьей правды. Он всегда ищет и ждет, это взволнованное ожидание заражает читателя и волнует его. Из чтения книг Лескова вы выходите не развлеченным и рассеянным, как после большинства заурядных авторов: его книги в вас внедряются и продолжают жить, продолжают тревожить и умилять, совершая в глубине совести вашей какую-то всегда нужную работу.

Сбились с дороги
(По поводу рассказа «Хозяин и работник» гр. Л. Н. Толстого[1])

– А сбились с дороги – поискать надо, – коротко сказал Никита.
Толстой. Л. Н. Хозяин и работник

<I>

Слух, что Л. Н. Толстой пишет «художественную вещь», пронесся по всему читающему свету радостным предчув-

ствием. «Что-то напишет великий художник на склоне жизни, после долгих лет иного, пророческого труда? Не ослабела ли казацкая сила? Не одряхлел ли чудесный дар, покоривший Толстому чувства читателей?» Ожидание было до того напряженно, что один критик признается, что, развернув, наконец, «Хозяина и работника», он в первые минуты не мог читать от волнения. Глаза его впивались в первые строки, и их трудно было оторвать от отдельных слов, чтобы усвоить общий смысл. Когда рассказ вышел в свет, в первые же дни публика расхватала несколько изданий – несколько сот тысяч или даже миллионов экземпляров, если считать перепечатку почти во всех газетах. Как видите, успех «Хозяина и работника» – небывалый у нас. Сравните этот бешеный успех с равнодушием публики к философским и нравственным трудам Л. Н. Толстого – даже тем, которые давно допущены к печати, например к его трактату «О жизни»[2]. Всего за несколько недель до «Хозяина и работника», в том же журнале, где этот рассказ печатался, появилась замечательная статья Л. Н. Толстого о религии и нравственности, как бы свод его философии относительно основных, величайших вопросов жизни. Статья написана вполне общедоступно, она очень интересна и говорит *о том же самом*, что и «Хозяин и работник». Последний рассказ – только одна из иллюстраций к тексту названной статьи. И вот на «иллюстрацию» набросились миллионы читателей, тогда как «текст» прошел совершенно незамеченным.

Чем объяснить это странное предпочтение художника мыслителю? Что в Толстом «художник велик, а мыслитель плох» – это мнение пустое и уже вышедшее из моды. Даже враги Толстого начинают признавать глубину его отвлеченной мысли, но круг поклонников ее не расширяется заметно, тогда как каждой художественной строчки его ждут как манны небесной, и издатели готовы на все жертвы, чтобы добыть такую строчку.

Тут, я думаю, действует особый психологический закон, тот самый, что заставляет публику простаивать по суткам у

театральных касс, чтобы увидеть любимого артиста, тратить огромные суммы на подарки им, бесноваться, выпрягать лошадей и везти артистку на себе и т. п. – в то время как очень серьезные, блестящие мыслители, ученые, философы известны только по именам и вызывают поклонение разве в своем же очень тесном кругу. «Толпа» рвется на художественные выставки, на концерты, тогда как лекции ученых, очень редкие, едва собирают сотню слушателей. Роман расходится в десятках тысяч экземпляров, хорошая философская книга гниет у букинистов. Во всем этом сказывается органическое отвращение большинства людей к отвлеченной мысли и пристрастие к чувственным ощущениям. После «хлеба» толпе нужно не мысли, а «зрелищ».

Как ни невыгодно это свойство публики для мыслителей, они должны примириться с ним и научиться языку толпы, если хотят быть понятными ей. Большинство людей не вышли из периода чувственного сознания и доходят до отвлеченной мысли не иначе как сквозь строй картин и образов. Высказывая голую мысль – готовый вывод очень длинного психологического процесса, – мысль в состоянии возбудить такую же мысль только у тех, у кого этот психологический процесс самостоятельно возник и близок к концу. Только те оценят великую идею, у кого она явится как бы собственною созревшею мыслью. У большинства людей психологические процессы во многих направлениях еле намечены, так что идеи для них смутны, как непонятны готовые решения задач для ученика, только что начинающего решать их. Напрасно мыслитель хитрыми, отвлеченными сплетениями старается убедить в истинности своих мыслей. Читатель не понимает ее, потому что *не видит* истины, а только слышит ее. Он не видит той тысячи картин, сцен, образов, красок, которые видел философ, прежде чем извлечь из всего этого общий итог: составляющие цифры итога для читателя скрыты. Еще так называемые *точные* знания быстро переходят в веру, ибо все ежеминутно наблюдают бесчисленные картины, подтверждающие научные истины. Но именно самые высокие

идеи – нравственные, религиозные, этические – всего труднее усваиваются, и отвлеченно они почти не передаваемы. Их можно показать, а не доказать. Попытки самых мощных умов выразить истину этих идей посредством разума оказываются тщетными. Самим мыслителям идеи Бога, любви и красоты кажутся до такой степени ясными, что они невольно признают их разумность, но как только начинают обращаться к разуму публики – получается безвыходное недоумение. Наоборот, часто очень посредственный художник в состоянии вызвать в той же толпе религиозное, нравственное и эстетическое настроение. И, мне кажется, это единственно верный путь влияния на массы.

Моралисты, мне кажется, должны отвыкнуть от привычки путем логики объяснять добро и зло, явления чувственные мерить умственною единицею меры. Для ума добро и зло – явления безразличные, одинаково естественные, хотя и противоположные, как, например, тепло и холод, свет и тьма и т. п. Ум может анализировать добро и зло, ставить их в различные отношения, но самое *различие* добра и зла дает не ум, а чувство, как различие света или тьмы дают органы зрения, ощущение звука – органы слуха и т. п. Поэтому нравственные, религиозные и эстетические истины следует не выражать, а *изображать*: ставить перед публикой во всей их жизненной телесности, со всею игрою красок и движений, и картина уже сама докажет себя и убедит зрителя. Только художественная картина обнаруживает для публики бытие идеи и только в состоянии заставить пережить эту идею, как всякое другое бытие. Вот отчего перед выходом великого артиста или в ожидании великой картины или литературного произведения публику охватывает сладкий трепет, радостное предчувствие чего-то самого желанного и дорогого. И весть о том, что Лев Толстой снова дает художественную вещь, вызвала, может быть, лучшие минуты, какие доступны в наше скучное и лицемерное время, когда мы все так «сбились с дороги», истомились в тоске о чем-то потерянном и невознаградимом.

II

Предчувствие не обмануло: новый роман Л. Н. Толстого оказался прекрасною художественною вещью, достойною его таланта. Впрочем, бесчисленные «критики» разноголосят о «Хозяине и работнике». Одни утверждают, что это не только шедевр, но и *лучшее*, что только написал Толстой когда-либо. Другие, напротив, уж очень строги. Некий харьковский журналист находит, например, что «построение рассказа поражает своею неуклюжестью, громоздкостью и обилием ненужных придатков и построений… У графа Толстого очерк разросся в пухлый и до крайности размазанный рассказ, в котором напрасно было бы искать чего-нибудь похожего на экономию слова. Точно будто его писал начинающий беллетрист, не освоившийся с формами художественных произведений», и пр. По мнению харьковского знатока, в рассказе «то и дело попадаются сцены, которые смело можно выкинуть из рассказа» (в пример приводится сцена встречи Брехунова и Никиты с тремя мужиками и бабой, «возвращавшимися с какой-то пирушки» – сцена, так ярко освещающая снежную бурю). «Вообще, – авторитетно замечает харьковский критик, – рассказ графа Толстого много выиграл бы, если бы автор пересмотрел его с карандашом в руках и подсократил бы его, по крайней мере, наполовину, если не больше». Нападая на «крайнюю размазанность» рассказа Толстого, сам критик сумел разогнать свой отзыв о нем на семь огромных газетных статей, наполненных такими, например, «сжатыми» замечаниями.

«Изображая Мухортого немым человеком, превращенным злым волшебником в лошадь, граф Толстой иногда хватает через край и приписывает ему такую прозорливость, которой вислозадый конь, несмотря на все высокие доблести своего ума и сердца, едва ли мог обладать. Так, например, описывая в девятой главе, как Брехунов сбился с дороги и потерял из виду вехи, граф Толстой говорит: “Покорное и доброе животное слушалось и бежало то иноходью, то небольшою рысцою туда, куда его посылали, хотя и *знало, что его посылают совсем не*

туда, куда надо". Почему граф Толстой полагает, что Мухортый знает, что его посылают совсем не туда, куда надо, остается для читателя глубокой тайной. Даром слова граф Толстой Мухортого не наделил, мимики и жестов его, из которых можно было бы сделать какие-нибудь выводы, он не касается; он просто говорит: *знал* – и требует от вас безусловного доверия к своим словам. Но почему же, однако, Мухортый мог знать, что Василий Андреич хотел ехать в Горячкино, а не туда, куда он ехал? Ведь несмотря на все свое увлечение конем Мухортым, граф Толстой не приписывает ему знание русского языка или, по крайней мере, умалчивает о его лингвистической подготовке, поэтому вам остается только недоумевать, чем объясняется уверенность романиста, что Мухортый сознавал ошибку Брехунова. Мухортый мог чувствовать, что Василий Андреич съехал с дороги, но он не мог знать, что Василий Андреич ехал не туда, куда ему надо ехать», и пр., и пр.

Такая щепетильная строгость харьковского знатока возбудила даже полемику. Менее жестокие критики возражали, что не мог же Толстой, утверждая, что Мухортый *знал* о потере дороги, подтвердить это нотариальным актом!..

Не менее остроумия проявил и один московский критик, историк Иловайский[3]; он напал на Толстого с «политико-экономической стороны вопроса», со стороны, с которой легко застать врасплох любого художника.

«Ярко очерчивая любостяжательность своего деревенского кулака, – говорит г. Иловайский, – автор, очевидно, никогда и не задавался вопросом: да что это, в самом деле, за явление? Безусловно, ненормальное и противообщественное, или оно имеет и другую сторону, до некоторой степени оправдывающую его существование? Разве этот тип не есть представитель наиболее деятельного и энергичного элемента, выдающегося из пассивной, непредприимчивой и невежественной среды? И может ли производитель обойтись всегда без посредника-кулака, чтобы сбыть свои произведения (в данном случае сельскохозяйственные продукты) и обменять их на другие предметы его потребления? Конечно, оттал-

кивающею чертой кулака представляется его страсть к наживе, проявляющаяся в грубой, почти первобытной форме. Стало быть, дело сводится по преимуществу к этой черте. Но для мыслителя не в этом должна заключаться суть явления, присущего отнюдь не одной деревне, а, можно сказать, всем слоям общества. Почему же граф Толстой ограничился столь узким и порядочно избитым типом? Почему он не взял тип более широкого общественного кулачества? Например, какой благородный сюжет представило бы ему недавно вскрывшееся на суде кулачество одного немца, очень крупного эксплуататора, сумевшего последовательно и систематически поработить своей фирме массу русских фабрик посредством поставки заграничных машин и хлопка» и пр.

По мнению г. Иловайского, Толстой в своем рассказе упустил благородный случай защитить русскую промышленность от немецкой эксплуатации. Вот что называется, сейчас же смекнуть, в чем вся суть дела.

Наконец, в огромном хоре провинциальных критиков нашелся и такой, который напечатал следующее скромное мнение:

«Новая повесть гр. Л. Н. Толстого *касается некоторых новшеств в крестьянском быте.* Выведены *два мужика,* эгоист и альтруист, оба *работают в лесу, занимаются рубкой дров.* Повесть кончается тем, что эгоист-мужик замерзает».

И эта критическая лепта – поистине самый трогательный дар русской публики великому писателю за его новое произведение: как евангельская вдова, скромный критик давал, очевидно, не «от избытка».

III

Толпе нужны зрелища, и счастлив мыслитель, который в состоянии представить мысль свою в виде зрелища, в картинной, художественной обработке. Л. Н. Толстой – один из редких счастливцев этого рода: он обладает тайной вызывать иллюзию, «превращать слух в зрение», по восточной послови-

це. «Хозяин и работник» – это уголок жизни, перенесенный со всеми ее красками на бумагу. Яркая правда фигур, верный до ничтожных мелочей рисунок, естественное движение, теплота и мягкость картины, теплота и мягкость живой природы. И все это «зрелище» проникнуто, как всегда у Толстого, какою-то не сразу ясной, но вы чувствуете – высокой мыслью, предчувствием духа, в природе бодрствующего, обвевающего мир поэзией. Читая Толстого, тотчас понимаешь отличие великого художника от малого. Великий прежде всего отчетливо видит, что он рисует, малый плохо видит или не видит вовсе, почему нехарактерное принимает за характерное. Поразительно знание Толстого того, что он берется изобразить: чувствуешь, что он рассмотрел и запомнил «натуру» до мельчайших микроскопических черт, изучил все ее изгибы и положения, усвоил игру их; чувствуешь, что он, как тонкая фотографическая пластинка, схватил все, что доступно внутреннему и внешнему зрению, и закрепил в своей памяти с величайшей точностью. В то время как мелкий художник запоминает отдельно внешние подробности и потом пришпиливает одну около другой без всякой связи, Толстой не дает ни одной черты вне действия, вне внутренней ее необходимости. Полюбуйтесь, как на нескольких страницах создаются перед вами живые, одухотворенные существа с живою, их окружающей природой. Своею будто бы растянутою, «размазанною» манерой Толстой заставляет вас видеть те особые мгновения, которые придают жизни ее реальность: все эти, по-видимому, ничтожные мелочи, как приветственное ржанье жеребца Мухортого Никите, его притворное намерение ударить задней ногой Никиту и то, что Никита знал это притворство, и т. д.

«Напившись студеной воды, лошадь постояла, вздохнула, пошевелила мокрыми, крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и фыркнула. “Не хочешь – не надо, так и знать будем; уж больше не проси”, – сказал Никита…»

Разве вы не видите ярко всю эту сцену, и разве «прозрачные капли», падающие с усов лошади, не составляют не-

обходимого последнего штриха, чтобы превратить описание в какое-то *видение* по яркости? Или та подробность, что «Василий Андреевич с папироской во рту, в простом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на *повизгивавшее* под его валенками, утоптанное снегом крыльцо» – разве это повизгивающее крыльцо не переносит вас тотчас же в морозный декабрьский день? Припомните прелестные разговоры Никиты с жеребцом, с соломой, с собственным кушаком, с курами, которые всполошились на шесте, с лающей собакой – в каждом звуке выливается перед вами душа Никиты и окружающих его вещей. Среди бесчисленных подробностей, из которых слагается картина жизни, всегда есть немногие, как бы *магические* черты: те прикосновения кисти великого мастера, которые заставляют дышать бездушное полотно. В этих волшебных черточках просвечивает как бы душа вещей, и по ней вы уже легко угадываете тело их. Плод тончайшей наблюдательности художника, они определяют все его творчество. Ведь творчество не в том, чтобы художник только сам творил, а в том, чтобы возбуждал творческий процесс в зрителе, а для этого он должен заронить в душу последнего духовные сущности того, что изображает. Как зерна в почве, эти сущности сами развиваются в принявшем их сознании в живые, законченные существа, и только тогда оно вполне насыщается ими. Вы прочли «Хозяин и работник» и чувствуете, что в вас вселились чьи-то жизни, которые остаются и растут вместе с вашей как неотделимая часть сознания. Попробуйте уверить себя, что никакого Василия Андреича и Никиты не было, никто не ездил покупать рощу, никакой метели не было, никто не погибал, что все это одно воображение. Вы знаете, конечно, что это сказка, однако какою-то глубокою, доподлинною сущностью своей также знаете, что это в то же время и быль, и даже бесконечно более реальная, чем действительный факт, потому что сказка – это не мгновенное бытие факта, а вечное бытие его *возможности*, то есть необходимости. Никита, Мухортый, Брехунов, метель – читатель убежден, что все это бывает необходимо

так, как записано Толстым. Напиши тот же рассказ небольшой художник – это убеждение в необходимости события исчезло бы: картина, лишенная магических штрихов, показалась бы непохожею на жизнь и потому *небывалою* – хотя бы автор описывал действительное происшествие.

В последнем рассказе Толстого, как и в прежних, молодые беллетристы могут почерпнуть дорогие уроки литературного мастерства. Под таким мастерством чаще всего видят слог, и плохие писатели особенно стараются о выработке слога. Более даровитые понимают, что необходим также и стройный план: какое-то особенно хитрое сочетание сцен, приводящее к самому сильному эффекту. И только великий мастер не очень заботится ни о слоге, ни о плане, а все внимание напрягает на одно: чтобы увидеть (вообразить) натуру и, не сводя с нее глаз, писать, как чувствуешь, со всею мнимою сыростью и нестройностью. В результате пристального разглядывания предмета все излишнее само отпадает, и на бумаге остается только важное, остается зрительный образ, вполне соответствующий живой действительности. Толстой не стесняется стилем; у него встречаются такие выражения: «Перед собою он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывающие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади с развевающеюся гривой». Плохой художник вылощил бы этот период и как-нибудь иначе бы обошелся с «заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом», но зато потерялась бы непосредственность и жизненная шероховатость описания. Ведь все живые люди говорят не совсем складно, особенно когда говорят искренне, когда переживают свою мысль вслух перед вами. Поэтому блестящий, легкий стиль всегда отзывается придуманностью и некоторым лицемерием: тончайший оттенок этого лицемерия часто заметен в стиле Тургенева, даже Гончарова; он почти не слышен у Достоевского и Писемского и вовсе не заметен у Л. Н. Толстого. Язык Толстого прост и иногда как будто неуклюж, но это потому,

что он всегда жизненный, без машинной отделки и мертвого блеска. Там, где описание переходит в действие, язык Толстого приобретает соответственную разговорному языку легкость: разговор и в самой действительности всегда красивее описаний. Иначе справился бы плохой художник и с планом рассказа, если бы взялся писать «Хозяина и работника». Подобно харьковскому критику, такой художник «смело выпустил бы» чудесные сцены в деревне Гришкино, сцену встречи с пьяными мужиками и бабами, то есть «подсократил бы» весь фон картины, оставив действие в пустоте. Зато в самом действии он нагромоздил бы приключений и таких «чувствительных» сцен, какие нагородил, например, г. Мамин-Сибиряк[4] в своем рассказе «Исповедь», появившемся почти одновременно с «Хозяином и работником». В рассказе г. Мамина хозяин Семен Авдеич замерзает в крытом возке во время бурана вместе с киргизом Иваном Дураком.

«Иван Дурак примирился с мыслью о смерти и тихо молился про себя. Потом он весь вздрогнул: послышались какие-то детские всхлипывания.

– Семен Авдеевич, голубчик, не нужно малодушествовать…

Всхлипывания перешли в рыдания.

– Семен Авдеевич, отчаяние – грех…

– Да я… я не смерти боюсь… Ах, тяжело… с грехами тяжело помирать… Иван Никитич, голубчик… я тебя обижал… да, обижал… прости…

– Бог тебя простит, Семен Авдеич… И ты меня прости.

– Бог простит.

Темно, тихо в возке, а там, наверху, со свистом гуляет страшный буран. Иногда кажется, что в воздухе щелкают зубами тысячи голодных пастей.

Рыдания прекратились. Голохватов пришел в себя и заговорил уже спокойно:

– Иван Никитич, ты старик… Исповедай меня…

– Как же я тебя буду исповедать, Семен Авдеич? Ведь я не поп…

– По нужде все можно, а ты знаешь церковный чин… Не хочу помирать с грехами. Молод я, много грехов…

Иван Дурак откашлялся и торжественно начал чин исповедания; затем велел Голохватову прочитать «Верую», и когда тот прочитал, началась настоящая исповедь.

– Раб Божий Семен, не мне говоришь, а самому Богу…

Почти на каждый вопрос каявшийся отвечал: Грешен…

– Не припомнишь ли, раб Божий Семен, каких-нибудь особенных грехов?..

– Весь грешен, Иван Никитич… Места живого нет: завидовал, кто сильнее был меня, обижал, кто слабее… и все мне было мало… Все хотел нахватать больше, а под старость покаяться… А вот Бог и не допустил… Как-то теперь останется моя тетушка Катерина Степановна с малыми детушками… Всех обманывал, а деток не соблюдал… Жадность была ко всякому греху…

– Бог тебя простит, раб Божий Семен.

– Сирот не жалел… отнял наследство у двух племянниц и их же теснил за свою неправду… Обманывал в степи малоумных киргижек, а они мерли от голоду и холоду по моему зверству… Еще хотел обмануть одну отецкую дочь и питал это намерение не один год…

– Бог тебя простит, раб Божий Семен.

Исповедь кончилась. Голохватов чувствовал, как его долит смертный сон… А наверху по-прежнему бушевала снежная буря. Но Голохватову казалось, что это была не буря, а поднялись все его грехи, все его зверство, вся его неправда… Земля стонала, а сквозь эти стоны доносились точно из-под земли невинные детские голоса:

– Бог тебя простит, грешный раб Божий Семен…»

Это в минуту смерти такой вычурный разговор!

IV

Толстой рисует жизнь, как она есть, и самая тяжкая драма выходит очень простой и обиходной. Глубокое отвращение

Толстого ко лжи – к преувеличениям, карикатуре или мелодраме! – делает его писания неэффектными с внешней стороны: они не вызовут ни неудержимого смеха, как у Гоголя, ни невольных слез, как у Достоевского; забавное и ужасное у Толстого всегда смягчено, как и в самой жизни. Забавное вызывает лишь тонкую усмешку, ужасное – лишь глубокое сострадание. Обе крайности, столь шумные у других, старающихся «бить по нервам» художников, у Толстого, как в самой природе, растворены и обезврежены естественною, здоровой стихией. Ясное чувство жизни придает всякой картине Толстого прелесть, смягчающую резкие тени: комическое превращается у него в наивное, ужасное – в глубокое и трогательное. И читателю эта строгая сдержанность во внешних эффектах дает высшее художественное наслаждение. Разные критики упрекают Л. Н. Толстого в том, что Брехунов вышел будто бы бледным, не ясно очерченным. Кулак – мы его привыкли воображать по Щедрину, в виде Колупаева или Разуваева (в самих фамилиях героев у Щедрина чувствуется резкое подчеркиванье). Деревенский кулак – это мрачное чудовище, хитрое и злое, обдирающее мужика как липку и не имеющее никаких человеческих чувств. Толстой, конечно, не мог создать Брехунова по такому шаблону. Он знает деревенских кулаков не по Щедрину, а из самой жизни, и знает, что это чаще всего именно такие заурядные, плутоватые и твердые люди, как Василий Андреич, самодовольные и тревожные, но ничего чудовищного не представляющие. Брехунов менее выразителен, чем Никита или Мухортый, но только потому, что человек-хозяин – явление и в самой жизни менее типическое, чем человек-работник или конь-работник. Те – до того давни, постоянны, уравновешены, что точно из бронзы отлиты, тогда как человек-эксплуататор есть явление, сравнительно новое и не вполне установившееся. Никиту и Мухортого можно вообразить без Брехунова, тогда как его без них – нельзя. Брехунов – то же самое, что в биологии паразитный тип: по самому существу он менее оформлен. Так что и в Брехунове Толстой остается удивительно верным художественной правде.

Немало упреков сделано Толстому и за развязку драмы. Ее считают невероятной и ненужной. По мнению критиков, Толстой должен был бы, помучив своих героев метелью и морозом, отпустить их души на покаяние, и что раскаяние Брехунова только тогда имело бы смысл, если бы он остался жив и был бы в состоянии воспользоваться предсмертным озарением совести. «И вряд ли, – прибавляют критики, – Брехунов лег на Никиту, чтобы спасти его ценою своей жизни: просто лег, чтобы вместе согреться». – «Да еще и легли, – замечают другие критики, – Брехунову в двух шубах мороз в 10 градусов не мог быть страшен», и пр., пр. Но здесь, мне кажется, Толстой остается верен действительности. Природа, живущая своей жизнью, не производила какого-то нравственного эксперимента над Никитою и Брехуновым, не задавалась целью привести кого-нибудь к раскаянию, а губила то, что оказывалось вне условий жизни, и щадила то, в чем жизнь еще держалась. Нравственное перерождение в минуту смерти явилось только потому, что ни в какую иную минуту, по характеру Брехунова, не могло придти. Смысл жизни, ее высшая ценность становятся особенно понятны именно при разлуке с жизнью, как цену здоровью мы понимаем, только потеряв его.

Сцену замерзания и нравственного переворота в хозяине никто из нас не переживал; Толстой не мог списать этого момента с натуры, а мог только сочинить его, продолжив, так сказать, мысленно видимые душевные процессы в область невидимого. Угадал ли он тайну смерти – решить трудно. Но минуты нравственного озарения бывают и не только перед смертью; некоторое сострадание к Никите могло явиться у Брехунова и при обыкновенных условиях. Сознание пустоты и ненужности своих хозяйских дел нередко мерцает у Брехуновых и при полном благополучии. Тем более это сознание могло явиться в минуту смерти, когда весь разум души устремлен на основной корень жизни. В Брехунове, Иване Ильиче, князе Андрее (из «Войны и мира») и других умирающих у Толстого лицах смерть – ощущение ее – производит тот же душевный переворот, как в принце Сиддарте пер-

вый мертвец, которого он увидел. Люди с великою душою задолго до своей личной смерти испытывают преображение, которое обыкновенных людей застает при последнем вздохе, но и для великих душ мысль о смерти служит источником нравственного сознания.

Я, конечно, не имею притязания защищать Толстого от нападок эстетической критики. Пусть уж разбивают его в пух и прах – авось что-нибудь и останется от него. Критиковать в смысле отыскивания у *такого* автора особенно сильных или особенно слабых мест – занятие праздное. Как хорошее английское сукно сплошь добротно, так и работа подобных мастеров – что же тут перещупывать каждый вершок, и мять, и пачкать критическими пальцами хороший товар. Роль критики – помочь читателю поскорее употребить это достояние в дело, облечь им душу, подобно тому как хорошее сукно облекает тело.

Кроме непередаваемого наслаждения, вещь великого мастера возбуждает и работу разума, и в ней – высшая цель творчества. Рассказ «Хозяин и работник» полон огромного и разнообразного содержания – религиозного, философского, нравственного, исторического: это – чудесная притча для самых возвышенных пророчеств.

V

Религиозная мысль «Хозяина и работника», как мне кажется, та же, которою живет Л. Н. Толстой последние 15 лет: мысль о Высшей воле, посылающей человека в мир для любви, в которой – благо жизни. Поэтому не надо иметь своей воли, не надо сопротивляться Богу, а нужно радостно покориться Его воле, открываемой совестью. Возьмите Брехунова: вот человек-«хозяин», энергичный, ненасытный, покоривший себе человека-«работника», вечно преследующий какую-то свою личную, особенную цель. Он *самоволен* – его воля отделена от интересов других существ, и, увлекшись *своею* волею, он неизбежно отнимает их счастье. Ни о чем

не помышляя, кроме захвата, ничего не чувствуя нужнее своей воли, человек-хозяин случайно сталкивается с волей природы, которая уничтожает его. Только в минуту гибели человек-хозяин признает, наконец, что хозяин не он, что его воля – мгновенна и ничтожна и, как бы ни противилась мировой воле – неизбежно исчезает в ней. Умирая, человек чувствует, что все *отдельное* умирает и вечно остается только *общее*: гибнут отдельные жизни, но жизнь вообще не гибнет. Такова воля мира, и человек, согласный с нею, должен беречь не свою отдельную жизнь, а жизнь вообще, то есть всю жизнь во всем живом. Отсюда сознание: «Жив Никита – жив и я».

Нравственная идея «Хозяина и работника» – последний, страшный суд сознания перед неизбежной смертью. Ставятся два человека, два брата – обижающий и обиженный, перед лицо высшей Воли, отнимающей у них жизнь. Все мгновенное, условное в этот миг отпадает, и из-за обманов жизни выступает ее истина. Никита чувствует смутно, что всю жизнь был верен этой истине, всю жизнь служа ближним – работал на хозяина, на жену, на малого, на бондаря, который жил с его женой, на Мухортого – на всех, кто нуждался в его работе. Брехунов чувствует, что все время он теснил ближних и что-то у всех отнимал, и что делал это совсем напрасно. Огонь геенский – позднее раскаянье, говорит Исаак Сирин. Но по Толстому огонь этот – не столько жгучая боль, сколько свет. Перед лицом Мира, вдруг взглянувшего в сердце Брехунова, он сразу, точно в сияньи солнца, прорвавшемся в подземелье, видит погибшую жизнь свою. Но он не сожалеет о ней, а лишь спокойно отрицает. «Он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и про миллионы Мироновых, и ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался? “Что ж, ведь, он не знал, в чем дело, – думал он про Василия Брехунова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки, *теперь знаю*”». Он уже не хозяин: сердце трепещет у него первою любовью к человеку – не угрызением, а умилением, оно радуется, что гибель осталась назади, что все зло, которое отравляло жизнь,

для него уже невозможно. Брехунов умирает, как бы рождаясь для иного существования, где он будет уже добр и спокоен, как Никита. Но суждено ли ему вновь родиться?

В наше время устанавливается взгляд, что предсмертное, напряженное, страстное сознание – как бы взрыв всей душевной энергии – передается психическими волнами живым душам, оживляя их в том настроении, в каком угас умирающий. По древнему представлению – одному из многих, – предсмертное сознание претворяется в душу иного, где-нибудь зачатого существа – человека или зверя, смотря по возвышенности его. Толстой не верит в совершенное уничтожение жизни. У него Брехунов, умирая, теряет сознание только в этом мире, а Никита, умирая, радуется, что «переходит» из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему понятнее и заманчивее». Автор утверждает, что Никита где-то «после этой настоящей смерти проснулся» – и лучше ли ему там – «мы все скоро узнаем».

Свидетельство великого художника о существовании новой жизни за гробом важно, как беспристрастное показание тончайшего психического прибора о явлениях, не уловимых для обыкновенных грубых душ. Плохая фотографическая пластинка, обращенная к небу, отражает только видимые звезды, тогда как пластинка крайне чувствительная снимает светила не подозреваемые, никем не виданные, темные, испускающие не световые, а иные – химические и электрические лучи. Высокое вдохновение художника и мыслителя открывает в природе факты, до него неизвестные и, может быть, необъяснимые, но тем не менее это – реальные факты, сомневаться в которых нет основания.

VI

Смерть здешняя и вечное продолжение жизни – все это не нами предопределено. Ничто от нас не зависит – мы зависим от всего – вот, мне кажется, философская мысль «Хозяина и работника». Не по нашей воле мы родились в жизнь и не

по нашей уйдем, и в этом мимолетном промежутке личного сознания живем мы не своими, а какими-то данными от века силами, с которыми наше сознание тщетно борется, когда не хочет признать их. Их нужно признать, искренно слиться с их движением, покориться Воле, которая играет в вечности мирами миров, как вихрем пыли. Сознать необоримую силу этой и не бороться с нею – вот тайна счастья. Живите беспечно, не отравляйте мгновенную жизнь заботой, не делайте запасов, для жизни не нужных; придет смерть – покоритесь ей столь же радостно, как жизни, так как то, что составляло существо вашей жизни, не умирает; все ваши движения, все мечты будут жить и пойдут в глубь веков непрерывным рядом мгновений, насыщенных таким же, как и у вас, сознанием. Поглядите на океан: миллионы лет он волновался так же точно, как теперь, создавая на миг те же волны и ту же игру их, и на гребне волн кипела та же пена, и в ней на мгновение являлись те же мельчайшие водяные пузырьки, беспрерывно рождавшиеся, колебавшиеся, успевшие отразить в себе и горячее солнце, и голубое небо, и суровый океан – и тотчас рассыпавшиеся в водяной прах, из которого тотчас же снова рождались те же эфемерные, чудесные создания, сотканные из влаги и воздуха. Ни одно из них не длится; но все живы в бесконечном повторении, в возможности всегда воскреснуть. Неужели печалиться этим детям мгновения, что они не вечны, что они не остановились, не застыли навсегда в одной и той же форме, а всегда готовы рассеяться и снова родиться? Не печаль, а радость – в возможности беспрерывного возрождения, и отсюда готовность отдать себя в материал для другой жизни; «жив Никита – жив и я». Нет отдельной жизни, а есть мировая жизнь, которой мы – только мгновенные биения, мгновенные создания и как таковые, исчезнув, мы не можем не явиться снова. Но если нет смерти, то зачем забота? Страдания голода и холода принуждают к труду, но раз они удовлетворены – зачем труд? Зачем этот несчастный Брехунов всю жизнь свою волновался страхом разоренья, алчностью наживы, совсем ему не нужной, зачем он отнимал у сво-

их братьев их радость, тесня их и опутывая ненужными для них заботами? Никита всем своим кротким существом знал, что он ничто перед Мировой Волей, и покорялся ей с радостью, вечно готовый жить и исчезнуть, чувствуя инстинктом, не заглушенным личной волей, что за смертью будет другая жизнь. Брехунов смутно признавал Мировую Волю, но пытался следовать своей и потому ощущал постоянный страх за себя. Он предчувствовал, что средства, которые были у него, чтобы противиться судьбе, все же ничтожны, и рано ли, поздно ли Высшая воля совершится, и потому испытывал затаенный ужас, как маленькое существо перед всесильным врагом. Он поставил себя во вражду с Высшей волей и оттого боялся, но стоило ему поставить себя в согласие с этой Волей – и страх прошел бы, как у Никиты, который беспечно встречал все, что бы ни посылала судьба, даже смерть. Согласие с судьбой дает любовь ко всему – к природе, к Мухортому, к соломе, которая не хотела укладываться, к кушаку, который плохо завертывался, к курам, всполошившимся на шестке, к собаке, лаявшей напрасно, к жене своей и любовнику ее, бондарю, к своему «малому» и к чужому, хозяйскому сыну, которого Никита ласкает «голубком». Это не больная, слезливая любовь обыкновенных злых людей – любовь только к *своему* чему-нибудь, к своему сыну, жене и т. п., любовь, отравленная страхом потерять свою отдельную *собственность*. Любовь Никиты – свежее и ясное расположение не отделившейся от мира, стихийной души ко всему, что входит в ее жизнь. Никита – человек стихийный, признавший себя, как былинка среди вихря, в воле Бога: он не истощает сил для создания себе какого-то особого счастья и достаточно силен, чтобы пользоваться доступными дарами жизни. Никита знает, что Брехунов его обсчитывает и обманывает, но знает также, что «нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». Места другого он не искал, но если бы оно подвернулось – не отказался бы. Стихийный человек Никита мог испытывать физические страдания – как дерево или животное, но он не страдал пси-

хическими муками, так как совпадал душою с Вечной волей. *Охота* у Никиты была всегда к тому, что совершалось само, и поэтому у него не было *неволи*: все происходило как бы с его согласия. Он не пытался плыть против течения жизни, в какое попал. В то время как Брехунов барахтался с отчаянием, захватывая руками ускользавшую струю жизненных благ, страшась захватить недостаточно, Никита отдался мировому потоку, как дитя, захваченное наводнением в своей колыбели, любуясь лазурью неба и шумом волн, не думая о смерти, не боясь ее. В этом заключается высший стоический принцип – непротивления неизбежному. Как Платон Каратаев (прообраз многих любимых Толстым типов), Никита всю жизнь служит тому, что требует его услуг. Заставят воевать – крепя сердце, без всякой злобы, воюет, прикажут работать на кулака – работает. Сам он лишен злой воли, но исполнен доброй, мировой воли, одинаково доброй для всех, служащей для добра и зла. Подобно Мухортому, он «покорно» идет туда, куда ему велят, хотя внутренне и знает, что туда не нужно идти. Хотя бы мучительно и противно было идти, а идет, как и Мухортый, спасая бессознательно этим согласием нечто более важное, нежели причиненное им внешнее зло. Подобно Мухортому, Никита являлся орудием недобрых замыслов Брехунова и помогал ему сеять зло. Но он – как и в измену жены своей – «в эти дела не входил». Как стихия, он служил почти одинаково всем, кто овладевал им.

VII

«Но ведь это очень дурно, – воскликнет читатель, – такими стихийными людьми создается, стало быть, действительность со всеми ее ужасами. Не подчинись работник хозяину – не было бы никакого хищничества». Правда. Я не спорю. Никита не безупречен, но обвинять его в том, что он служит орудием для безнравственных целей – труд напрасный. По нравственному закону не надо быть орудием дурной воли, и если она овладевает вами, – нужно сопротивляться ей. Но

если бы Никита был способен сопротивляться, то, вероятнее всего, он был бы сам хищником; он потому и не хищник, что не умеет сопротивляться. Ведь сопротивляться и нападать – явление одно и то же, только с разных концов. Говорить Никитам: «Сопротивляйтесь!» – все равно что говорить это овцам, в кучу которых забежал волк. Овцы не умеют сопротивляться, они не так созданы. Мы видим, как расцветает кулачество в деревне, как издавна в колоссальных размерах культивируется хищничество и как народ – этот большой Никита – безропотен. Нам – интеллигенции, то есть «хозяевам» или потомству «хозяев», – странно, как это народ не сопротивляется, если ему живется дурно. По нашим собственным, самовольным инстинктам мы чувствуем, что в положении работника мы не терпели бы обсчитывания, обмана и насилия Брехуновых и непременно вступили бы с ними в борьбу. Мы поступили бы так, как делают Брехуновы в отношении других таких же Брехуновых – подняли бы борьбу их же оружием, то есть если нельзя прямым насилием, то пустили бы в ход обманы, обсчитывание, обвес и т. п. Иных способов противления нет, но для Никит они не пригодны. Они не хищники, у них нет тех органических уродств – той алчности, злобы, тщеславия, которые, как физические уродства – клыки и когти, – необходимы для насилия. Стихийные люди – люди естественные – лишены извращений духа, его болезней, необходимых для сопротивления насилиям и обманам. Оттого, сказать кстати, все фантазии о народных революциях до сих пор остаются фантазиями. Ни одна революция не имела ни народного происхождения, ни народного характера – даже крестьянские войны в Средние века или наши бунты. Эти войны и бунты *вовлекали* в себя народные массы в качестве сырой стихии, как ту же стихию вовлекали в себя и международные войны. В обоих случаях зачинщиками являлись не народные массы, а группы вожаков, «хозяев», бившихся друг с другом народными массами как простым оружием из-за ненужных и неизвестных народу целей. И крестьянская война, и наши бунты поднимались бродячими разбойничьи-

ми элементами, обедневшими рыцарями (на Западе) или казаками (у нас), беглыми крепостными и т. п. Народ сам по себе органически не способен на насилие; все виды насилия создаются людьми, выдающимися из народа и выродившимися в хищный тип. Народ всегда и всюду подчиняется безропотно; борются насильники. Народное непротивление есть естественное свойство масс, их инерция. Непротивление дает жизнь хищникам, но, может быть, оно же спасает человечество от общей гибели. Травоядные поддерживают жизнь плотоядных, но представьте себе, что все коровы, лошади, овцы и пр. превратились бы в волков и медведей; им осталось бы перегрызть друг друга, как это делают пауки в банке. Если бы массовый Никита получил способность сопротивляться массовому Брехунову, то получился бы один сплошной хищник, оторванный от природы и обреченный на самопожирание. Теперешнее разделение людей на хищных и мирных кажется жестоким, но *теперь* насилует меньшинство, *тогда* насиловали бы все – bellum omnium contra omnes. Вообразите, что материя потеряла свойство инерции и каждый атом вступил бы в борьбу с ближайшими атомами: невозможно было бы никакое сочетание элементов, и вселенная превратилась бы в хаос. Мы не знаем, какую роль играет хищный тип в экономии природы. Может быть, он является естественною казнью за несовершенство мирного типа, побудителем к дальнейшему развитию последнего. Может быть, Брехунов существует как следствие греха Никиты – недостатка разумения: ведь при полном разуме Никита отказался бы поддерживать Брехунова во многом, что открылось бы ему злом для людей, и Брехунову пришлось бы исчезнуть, как хищнику. Пока же он существует, он, может быть, играет роль груза, которым выжимается из стихийной души Никиты ее тонкий продукт – разум. Ясно, что нужно всеми мерами добиваться, чтобы не было хищничества, но это осуществится, как я думаю, не обострением борьбы, перерождением не мирных людей в хищников, а хищников в мирных людей. Ведь мирные люди все-таки составляют *стихию*, огромное, подавляющее боль-

шинство, и меньшинство рано ли, поздно ли должны слиться со стихией, раствориться в ней. Брехунов должен прийти к сознанию, что «жив Никита – жив и я».

VIII

Нравственное перерождение в течение веков уже идет и теперь не остановилось, а движется, может быть, быстрее, чем когда-либо, и даже сама страстная вера в социальную революцию при отсутствии этой революции есть признак быстрого нравственного прогресса. В самом деле, разве это не признак времени, что о братстве и равенстве начинают мечтать аристократы и буржуа? Разве это не характерно, что на Западе организована многомиллионная революционная партия, проповедующая коренной переворот в обществе, и, тем не менее, нет ни потоков крови, ни пожаров, ни грабежей? При другом нравственном состоянии – всего сто лет назад – подобный «горючий материал» испепелил бы всю Европу; теперь он почти безвреден. Правда, еще не вывелись хищные инстинкты в обоих лагерях, еще действуют иногда бомбы, кинжалы и т. п., но все это составляет совсем ничтожное исключение и отрицается революционной стихией. Эта стихия действует вполне мирно, но разрушительно на старые непорядки, постепенно захватывая в свой круг человека за человеком, сословие за сословием, и уже успела захватить многих «хозяев»: промышленников, капиталистов, государственных людей, не говоря об интеллигентных профессиях. Миллионеры отказываются от своих миллионов, жертвуя их при жизни или в конце ее на народные нужды; число таких пожертвований даже у нас растет заметно. Пусть случаи подобного отречения от корысти и тщеславия еще очень редки, но число их множится, и в передовых христианских странах делается уже общественным *явлением* – стоит указать на сотни и тысячи этических обществ в Англии, Америке и Германии. Перерождение Брехуновых – не мечта, а совершающийся факт.

IX

Таков исторический смысл притчи «Хозяин и работник». Брехунов – отживающее язычество. Никита – растущее из стихии народной истинное Христианство. Признак язычества – «царство от мира сего» – господство внешних забот и материальных радостей, захват богатства и неизбежное при этом насилие над ближним, обман, выделение себя из семьи народной, тщеславие, презрение к человеку. Признак Христианства – «царства не от мира сего», довольство необходимым, служение ближним и неизбежное при этом слияние с народом, кротость, чувство равенства и любви к человеку. В «Хозяине и работнике» отмечен великий раскол между хозяйничающими и рабочими классами, между так называемой интеллигенцией и народом. Жизнь интеллигенции еще насквозь проникнута языческими началами: в ее законах и уставах, которым должен подчиняться и народ, все еще действует жестокое римское право, и в зародышевом представителе интеллигенции – в Брехунове – живет дух Цезаря, мечтавшего о захвате мира. Как Цезарь, как все язычество, Брехунов только и мечтает о захвате – зачем? Затем, чтобы возбуждать страх и зависть и иметь возможность питать к слабым презрение. Зачем Брехунову столько денег, лавок, домов, рощ и т. д.? Ведь для его вполне обеспеченного счастья довольно было бы одного дома, одного небольшого клочка земли. И все Брехуновы, вся интеллигенция помешана на том же тщеславии, на жажде ненужных жизни материальных выгод, с неизбежным насилием и обманом. Не то стихийный Никита, народ: там, где он не развращен, не втянут в хищничество, тщеславие уже не встречается – по крайней мере, в виде страшной душевной болезни, как среди интеллигенции. В глубинах народных заметны истинно христианские обычаи братства, равенства, свободы – свободы и мысли, и веры, и слова. Нет тщеславия – нет алчности к богатству. Большинство народа целью труда ставит необходимое питание; для большинства интеллигенции эта цель – какое-нибудь пре-

имущество: господство политическое, экономическое, умственное, то есть нечто по существу не христианское. Цель Никиты – питание – легко удовлетворима, цель Брехунова – не удовлетворима вовсе; интересы интеллигенции подобны гиперболе, ветви которой идут в бесконечность в бессилии захватить ее. Вся интеллигентная, промышленная, политическая культура обречена на истощение вследствие чрезмерности и ненасытности ее целей. Не такова истинная, христианская культура, зреющая в народных массах и на тех вершинах интеллигенции, которые снова сошлись с народом. В существе этой культуры лежит сознание Высшей воли, дающее меру нужного и отвергающее все излишнее, меру счастья и свободы. Загляните в кроткую и благородную душу Никиты: как она свежа и ясна, каким здоровьем веет от нее в сравнении с озабоченною, тревожной душой Брехунова. Вы воочию видите, как сердце Никиты питается в меру всеми впечатлениями мира; для него вечно интересны и Мухортый, и санки, и кушак, и куры, и собака, и метель; как ребенку или поэту, Никите всегда новы «все впечатленья бытия» – он пьет их открытою грудью, как животворный воздух, всегда нужный и всегда доступный. Не то Брехунов: все впечатленья мира для него заслонены одною уродливо разросшейся страстью; душа его – душа алкоголика – одержима делириумом, ей ничто не нужно, кроме все бóльших и бóльших приемов возбуждающего яда. Как богата и разнообразна душевная жизнь Никиты и как узка и убога жизнь Брехунова! И наше бедное невежественное крестьянство, окруженное трепетом мировой жизни, всеми красками и звуками природы, – насколько живет оно здоровее и разнообразнее помешанной на тщеславии интеллигенции, загнавшей себя в стены канцелярий, фабрик, заводов, библиотек, в узкую, всегда мертвую специальность. Никита – истинный христианин не по науке, не по религии, а по инстинктам своим: Христианство свое он впитал в себя не из книг, а из окружающей природы вместе с жизнью. Ведь если Христианство есть высший закон, если оно есть подчинение Высшей воле, то мир, несомненно, во всех стихиях

проникнут Христианством, так как покорен Высшей воле. Не подозревая, быть может, что он христианин, Никита кроток, беспечен, радостен, как рыбак галилейский. Христос не создал закона подчинения Богу, а только открыл его – ввел в сознание людей то, что существовало от века. Поэтому и в древнем, и в современном язычестве встречаются истинные, прирожденные христиане: подобно Сократу, Никита (и всякий чистый народ во все времена) не знал *учения*, но обладал всею полнотою духа христианского. В рассказе Толстого заключено указание, что человечество, расколовшееся на стихийное язычество и стихийное Христианство, на хозяев и работников, должно слиться в христианском сознании, в том разумении блага, которого недостает им обоим. Ведь если бы они владели этим разумением, то Брехунов не служил бы с таким упорством своему ложному благу, а Никита не помогал бы ему в этом, и уже одно отсутствие стихийной поддержки положило бы конец лжи. Теперешний Никита весь в воле Божией, но еще не всегда ясно знает, в чем она. Например, он знает, что детей убивать нельзя и в этом непоколебим, как утес; но убить турка при известных условиях он еще в состоянии и именно под видом воли Божией. Будет, однако, время, когда и последний поступок станет для него невозможным, и никакими хитростями его нельзя будет убедить в том, что это воля Божия. По мере раскрытия сознания в Никите он все далее и далее будет отходить от участия в зле, и зло исчезнет. Единственный инстинкт добывания того, что необходимо, разросшийся среди язычества в манию – в добывание того, что не нужно, – здоровый инстинкт восторжествует. Вечная борьба Брехуновых против Высшей воли, загоняющая их в душные стены городов и фабрик, в условия праздной и развратной жизни, ведет их одновременно и к гибели, и к высшему сознанию. Интеллигенция, хозяйничающая над массами, ведет их, как Брехунов Никиту и Мухортого, куда не нужно, в метель забот и тревог, и теряет дорогу до такой степени, что и след отыскать трудно. Потеряв свое естественное место в природе, увлекая за собою народ, интеллигенция подвергает

опасности и народные массы. Современная жадная цивилизация заводит человечество на гибельный путь вырождения – физического и душевного, заражает психозом тщеславия, в котором – истинная причина обнищания рабочих и изнурения нерабочих классов. Из *органических* условий природы, из живительных стихий человек – их прямой продукт – ставится в иные, *неорганические* условия, и человек разлагается, как орган, оторванный от организма. Мы все видим тихую, но необъятную катастрофу фабричного и городского вырождения, вымирание обезземеленного пролетариата, переутомление интеллигенции, истощение праздных классов. И Брехунов, и Никита – оба близки к гибели.

Но в рассказе Толстого заключено и великое пророчество: настанет время – и Брехунову откроется весь ужас положения, в которое он завел себя и Никиту, он осознает всю ненужность и противоестественность его стремлений, восчувствует истинную цену жизни, возгорится любовью к обиженному брату и прикроет его собою от «ярости и гнева Божиего». Отомрет то, что стремилось к смерти, и, хотя обвеянное смертью, останется живо стремящееся к жизни. Умирающая «интеллигенция» своим последним сознанием спасет близкий к смерти народ и отогреет его для новой жизни. Утешением «хозяина» будет сознание, что еще «жив Никита – жив и я».

X

Что это пророчество сбыточно – разве не доказывает нам жизнь самого автора «Хозяина и работника»? Что такое граф Л. Н. Толстой, как не Василий Андреич Брехунов, некогда, по его признанию, тщеславный и алчный, теперь просвещенный сознанием Высшей воли и умиленный в предчувствии иной жизни? Для Толстого не нужна была физическая катастрофа, как для деревенского кулака: среди благополучной и роскошной жизни личной он острым взором гения увидел всегдашнюю метель, всегдашнюю гибель – и свою, и

народную, – острым слухом услышал «голос зовущий» – и он переродился, вошел в иную духовную жизнь уже теперь. В этом несравненное преимущество великой души: она чутка к правде и легко сливается с Высшей волей, как бы ни отдалилась от нее. Великий человек – такое же стихийное, близкое к природе существо, как Никита. «С природой одною он жизнью дышал, ручья разумел лепетанье…»* – это выражение одинаково относится и к смиренному Никите, и к великому автору его. Отчего Толстой так любит этот тип стихийного человека – Платона Каратаева, Акима (из «Власти тьмы») и пр.? Оттого, что он сам – стихийный человек, человек старой и очень высокой культуры, развившейся до естественности, до слияния с природой. Никита – произведение подобной же культуры – народной, столь же естественной, столь же древней. Далеки от природы культуры недавние, промежуточные, не развившиеся до стихийности. Отсюда столь частое проникновение великих людей и народа одними и теми же нравственными идеалами. На вершинах мысли и на низах ее люди встречаются в признании вне их стоящей могучей Воли, над всем бодрствующей. Чувствуя, что мгновение их жизни тонет в вечности, люди крайних культур привыкают видеть смысл жизни в ее вечном начале. Никита доходит до этого бессознательно вместе с массой народной, несущей откуда-то, из глубин древности, свои представления о вечности и жизни. Толстой дошел до того же состояния чрез научное и философское знание, пробегая как бы через пламень мысли, в котором не всякий остался бы невредим. Только могучее сложение души Толстого позволило ему выйти без увечий для его естественного разума; души менее крепкие, будучи охвачены чужими теориями, пожираются ими, как огнем: вся стихийность, все личное творчество выгорает в заимствованной мысли. Толстой пронес через трехтысячелетнее историческое знание свою личную мысль и осветил ею стихийную душу своей расы. Тот, кто так глубоко понял и в сердце своем возлелеял образы Платона Каратаева и Никиты, тот вправе сказать, что

* *Баратынский Е. А.* На смерть Гете (1833). – *В. Т.*

устами его говорил дух народный – собирательный разум человечества. Что же говорит этот разум? А то, что «сбились с дороги – поискать надо…»

Первый признак, что путь потерян, – когда идти становится тяжело. Тяжело стало жить на свете – вот общее ощущение заблудившегося человечества. Нынешняя лжецивилизация несносно усложнила жизнь и под предлогом обеспечения человека озабочивает его. От спокойного наслаждения необходимым дух отвлечен к тревоге о том, что еще нужно добыть, истощая силы жизни. С тех пор как жизнь человека запуталась в интересах не только близких людей, но и в явлениях незнакомого общества и необъятного культурного мира – жизнь из простой и ясной оказалась затянутой в сплошную петлю. Вместо очень легкого и понятного порядка отношений Никиты к людям Брехунову – «хозяину» цивилизации – приходится заботиться об огромном, необозримом механизме будто бы «общественных» отношений под страхом, что он рассыплется. Цивилизованный человек не может себе представить мир без современных фабрик и заводов, без гор товару и беспрерывно текущих рек продуктов, оторванных от производителя, без тарифов, нормировок, синдикатов, акцизов, страховок, дивидендов, векселей, без огромных армий рабочих, солдат, чиновников, купцов, художников, ученых, без ста тысяч профессий, перепутавшихся до бессмыслицы. Как в дремучем лесу деревья переплетаются ветвями до того, что душат друг друга, современная общественность вплетает живую душу в какую-то ненужную ей ткань, где она сдавлена до неподвижности, и испытывает в то же время все волнения этой ткани. Отвергнув высшую мировую Волю, человек-хозяин в страхе ищет защиты в общественности, нагромождая вавилонскую башню учреждений, профессий, состояний, неравенств всякого рода, отдавая себя в вечное рабство этим идолам. Живой, подвижный океан человечества, где каждая молекула свободна, кристаллизуется в сплошную застывшую массу. *Насильственное* подчинение каждого всем – вот социалистический идеал, последнее слово язычества.

XI

К счастью, язычество не есть единственная форма цивилизации. На наших глазах отмирает суеверие, будто цивилизация есть плод борьбы, будто прогресс немыслим без конкуренции, будто именно Брехуновы, вечно ненасытные, создают высшие формы жизни. Начинает делаться ясным, что все то, что в цивилизации истинно, жизненно, нравственно, необходимо, – все это создается кротким человеком Никитой, Брехуновы же вносят только извращения, которые лишь задерживают здоровое развитие цивилизации. Именно кроткие Никиты – истинные создатели как нравственной, так и умственной культуры. Все религии и великие нравственные учения вышли из тишины полей и лесов – в городах они гибли, извращались в мрачные и развратные культы. Наука и искусство – все тончайшие откровения – вышли из сердца гениев, вышедших из сердца народа. Учители человечества чаще всего были бедняки, гонимые, голодавшие и уж во всяком случае не Брехуновы! Брехуновы (промышленники, купцы, распорядители) тотчас же захватывали в свои руки все плоды гения и вводили их, как новые орудия, в свою кромешную борьбу. Но ни один Брехунов не изобрел лично ни одного гвоздя, не написал великой вещи, не открыл вечного закона. Ничто истинно великое (составляющее душу цивилизации) не являлось по закону или принуждению, а возникало само собою, чудом внутреннего расцвета духа, возросшего в наитиях природы. Как ни хлопотлива алчная борьба Брехуновых, они ничего не *творят* сами, а только захватывают и отнимают друг у друга уже созданное: созданное или руками, или гением Никиты. Не «недовольство жизнью» Брехуновых, а именно *удовлетворение* ею стихийных людей вело к раскрытию жизни, в чем и заключается цивилизация. «Для цивилизации необходимо богатство, обеспечивающее досуг», – утверждают хищники, оправдывающие свою дурную деятельность. Но так как богатство невозможно без отнятия его у многих, то это отнятие – эксплуатация масс народных – возводится в исторический закон, в необходимое

условие цивилизации. По этой теории афинская культура в век Перикла была бы немыслима без рабства, как и культуры римская, феодальная, крепостная и теперешняя капиталистическая немыслимы будто бы без «эксплуатации» народных масс, отчуждения их энергии в распоряжение «интеллигентного меньшинства». Но не говоря о том, что самая роскошная цивилизация, купленная страданиями живых существ, так же грешна, как благополучие людоеда, сожравшего своего пленника, не говоря о том, что это грех, – это сверх того и ошибка. Истинная цивилизация совсем не нуждается в богатстве и праздности «меньшинства». Разве те гении, которые составляли украшение века Перикла, были богачи? Разве Сократ не был беднее всех в Афинах и его философия теряла от того, что он ходил босиком? Разве он нуждался в рабах, чтобы вести праздную жизнь? Разве Эпиктет был аристократ или миллионер? Он был *раб* и доказал, что даже на этой последней ступени бедности и беззащитности можно кое-что делать для истинной цивилизации. Припомните жизнь великих деятелей – огромное большинство их вышли из бедности, а многие из нищеты. «Наука и искусства не расцвели бы, если бы не было роскоши, нуждающейся в науках и искусствах, если бы богачи не покровительствовали гениям», – так говорят защитники хищной цивилизации. Насколько богачи «покровительствовали» гениям, мы это знаем из судьбы гениев, кончивших жизнь в нищете, в изгнании или с чашею яда в руке. Правда, богачи «заказывали», «покупали» произведения искусства, но именно, становясь продажными, наука и искусство и теряли свою жизненность и нравственную цену. Меценаты не создавали, а губили таланты, заставляя их приспособляться к своим низким вкусам и извлекая эти таланты из народного обращения. Я уже писал (см. «Думы о счастье») о том, какое опустошение вносит в искусство тщеславие богачей, систематически скупающих все, что в искусстве объявляется талантливого, и все это прячущих навсегда от народных глаз… Покупая труды гения, богач платит ему не вдохновением, которое тому нужно, а деньгами, которые не подскажут, конечно, ни великой мысли,

ни глубокого чувства. Даже и материально Брехуновы всегда поддерживали только те таланты, которые им льстили, то есть нравственно укрепляли ложь их жизни. Наука и искусство, став в зависимость от денег, утрачивали свободу и из двигателя цивилизации становились тормозом ее. Гнет академий и ученых цехов слишком хорошо известен. Зачем истинному гению покровительство? Никите не нужно покровительства Брехунова, чтобы быть добрым; будь у него выдающийся ум или талант – он также обошелся бы без «покровительства». Для мудрости нужно досуга не более, чем для доброты, и раз она есть, она будет изливать на всех тот же свет, как и доброта Никиты. Никита поделился бы мудростью и с хозяином, и с его сынишкой, и с кухаркой, и с бондарем, любовником жены, и с Мухортым: «На все б отозвался он сердцем своим, что ищет у сердца ответа»*. И такие стихийные мудрецы, как и стихийные таланты, всегда были и есть в народе, и весь их гений, не будучи продажным, сообщается *даром* окружающей массе – благо, которого не знает языческая цивилизация. «Но досуг все-таки нужен для воспитания гения: мудрец, подавленный черной работой, глохнет в невежестве», – возразит читатель. Правда, досуг нужен, но кто же отнимает этот досуг, как не Брехуновы? Обсчитывая Никиту на $^{2}/_{3}$ заработка, кто, как не «хозяин», ставит препятствия для образования «работника»? Для того чтобы дать своему чаду досуг погружаться в искусства, науки, каждый Брехунов отнимает досуг десятка людей, которые тоже могли бы «погружаться». Нет, богатство «покровителей» не способствовало народному гению, а теснило его в самом источнике. Только христианская культура в состоянии освободить загнанных в рабство гениальных людей в народе, возвратив им их время и энергию. И нет сомнения, что даже во внешней красоте жизни «царство Божие на земле» превзойдет «царство от мира сего».

Много дум наводит последний рассказ Л. Н. Толстого, как «вечерний звон» великого таланта. Этих дум не собрать и не исчерпать: каждый раз, когда прислушиваешься снова к

* *Баратынский Е. А.* Указ. соч. – *В. Т.*

торжественным звукам, рождаются новые мечты. Таков удел хорошего слова – будить в нас чувства добрые, мгновения иной, высокой жизни.

Вожди народные

– Мы в жизни новость.

– И какая мы новость? – усмехается Объедок, – гольтепа всегда была.

– И она создала Рим, – говорит учитель.

– Да, конечно, – ликует ротмистр. – Ромул и Рем – разве они не золоторотцы? И мы – придет наш черед, создадим…

М. Горький. Бывшие люди

I

Беллетристы не получают званий, как живописцы, но по справедливости г. Максим Горький достоин не только художественной, но даже ученой степени. Он сделал важное открытие, он исследовал целую породу двуногих, прежде едва известную и до него еще не описанную. Эта разновидность homo sapiens, которую в просторечии зовут «золоторотец», «галлах», «посадский», «ракло», «босая команда», «стригач» и пр., и пр. Это целый класс, притом быстро растущий, как облако саранчи, угрожающий вытеснить собою более изящные виды человеческой породы. Это люди, говорит Горький, «которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые» («Коновалов»). Важно изучить этот тип и знать, что же это такое – босячество? Пусть босяк не более как «кобылка», человеческая саранча, которая еще пока, слава Богу, скачет отдельными особями. Но и саранча заслуживает серьезного внимания, ее изучают. Если же роль хищного насекомого выпадает на долю *человека* – существа, в груди которого бьется то же сердце, что и в нас, которое так же мечтательно, и наивно,

и несчастно, как мы, то «саранче» подобной следует уделить побольше внимания, и особенно *братского*.

Знаменательно имя, которое дал себе г. Горький. Бесспорно, какая-то мысль вложена в этот псевдоним, какая-то характеристика. В наивные времена героев называли: Правдин, Стародум, Скотинин… Чересчур это вывесочно и потому мало говорит. Затем уже давали имена потоньше, не имена, а намеки: Хлестаков, Ноздрев, Коробочка, Манилов… Потом эта манера была брошена, но к ней иногда возвращаются… Народные прозвища и фамилии всегда характерны, и часто для целой породы. Г-н Горький чувствовал, может быть, желание подчеркнуть одну особенную черту своей личности и назвал себя *горьким*. Он – представитель босяков и сам бывший босяк, не хотел ли он дать намек о горькой доле этого класса? О горечи сознания, которое несет он в общество, о горькой правде, которую он поведает всем? Во всяком случае, какая-то острая горечь скрыта в этом несколько вычурном псевдониме. Называя себя «Горьким», наш автор дает имя и босякам: все они – горькие люди, чаще – горькие пьяницы, редко трезвые, но огорченные судьбой своей, дающие в прикосновении к обществу «горькую реакцию».

Униженные и оскорбленные? О, далеко не всегда. Часто они оскорбители и унизители. Это люди не только оборонительной роли, но и наступательной. Назвать их просто несчастными – значит сказать неправду – они несчастливые, но и не исключительные страдальцы. И если страдальцы, то, как огромное большинство несчастных, их мучат очень нечистые, нехорошие страдания. Что же такое этот загадочный класс общества? Вечное ли это явление или лишь временное, возникшее как следствие общественного переворота в этом веке? Здоровое это начало общества или нет? Потому что грязь и нищета, и даже злоба, и даже примесь порока не всегда еще служат признаками безнадежного вырождения. Из серого зерна, погруженного в зловонную землю, из жгучего процесса распадения часто возникает жизнь, дышащая ароматами. Что же такое босяки?

II

Сам г. Горький описал своих босых героев в несколько волшебном освещении. Он вывел этих полудикарей среди пленительной природы, на берегу могучего моря, среди необъятной степи, под небом юга… Он вывел людей трагических, точно вышедших из боя или готовых ринуться в него, – изгнанников из общества, с душою, омраченною преступлениями и злобою. Он вывел людей в пустыню и предоставил их приключениям первобытным. Как хотите, это необыкновенно, и босяки сразу показались людьми «интересными» – более того, самыми интересными, какие есть в обществе. Что-то романтическое, страстное, давно забытое проснулось с ними в памяти общества, может быть, детские легенды о разбойниках и богатырях, может быть, память юности о героях народных войн и восстаний. Модное учение марксизма сразу подчеркнуло «босячество» и ввело его в поле общественного зрения. Босяками начали увлекаться, как некогда черкесами или запорожцами, босяков возвели чуть ли не в «перл создания», им даже кое-где начали *подражать*. Сразу появилось несколько начинающих писателей босяческого типа, то есть которые *босячили* (установился и особый глагол) или хотят *босячить*. Есть такие, которые тянули «горькую» втихомолку, а теперь делают это как бы уже по призванию… Один студент, как рассказывают газеты, спившись с кругу, сделался золоторотцем, стал воровать и прочее, и адвокат его на суде объяснил это влиянием г. Горького. Студент, видите ли, осуществил всего лишь новый героический идеал увлекающейся, честной молодежи… Как это ни забавно, но доля правды в адвокатской увертке, несомненно, есть.

Г-н Горький именно тем очаровал читателей, что сумел показать им какого ни на есть «героя». Мы живем очень скучно и душно, до такой степени, что иные взрослые уважаемые граждане тратят деньги, чтобы хоть на время сойти с ума и получить способность бить зеркала и совершать другие хоть сколько-нибудь выдающиеся поступки. Обыч-

ное мертвит: хочется хоть чего-нибудь небывалого, хочется преступного, выходящего за условленную грань. Уравновешенное общество с тоскою чувствует, что остановилось и, не будучи в состоянии идти вперед, тянется назад – хоть в страдание, лишь бы не сон. Прежние большие писатели волновали читателей счастливыми настроениями, но если нет их, то дайте нам хоть мрачных чувств. Г-н Горький чутьем таланта отгадал эту потребность. Он вывел новый, малоизвестный класс людей и поставил его в трагическую позу. Хоть ненадолго, он заставил поверить, что героическое возможно, что раса вождей еще не вымерла, что есть на кого возложить надежды, великие надежды на общественное спасение. Тревожные, ненасытные, мы живем века и все грезим о будущем, смутно чувствуя, что настоящее нехорошо. Настоящее всегда более или менее дурно, и это прекрасная черта – недовольство, если оно обращено внутрь себя. К сожалению, слабости человеческой свойственно искать и ужасы, и защиту вне себя, и «героизм» чаще желают видеть в ближних, нежели в самих себе. Во все века человеческий род искал защиту в своих вождях, но вождей избирал разных. В глубокой древности вождями людей считались боги, существа светозарные, могущественные, бессмертные. Изверившись в богов, народы перенесли свои надежды на героев: на людей, но людей совершенных или телесно, или нравственно. Возникли две аристократии – рыцарей и святых, причем в идеале обе они сближались. И рыцари, и святые предполагались без страха и без упрека, неподкупные, чистые, великодушные, способные побеждать зло физическое и нравственное. Но «эволюция» этой веры в людей шла дальше; рыцарей сменили мыслители, <витязей и пророков – ученые>. Обе древние аристократии пали, от обеих остались лишь их реликвии… Последние века этот процесс шел медленно, но неуклонно. В следующей стадии общество лишает своего доверия и философию, и самую науку. Новая аристократия – «интеллигенция» – сомневается в своем призвании, в своих силах спасти человечество. Где нам!

Суждены нам благие порывы…*

– и только. Ненадолго мерцает вера, что спасителем явится народ – существо стихийное, как сама земля. Думали – он спит, великий, но проснется – и тотчас хлынет в жизнь свежий гений, мудрость и энергия, которую сын природы собрал в себе. Только бы разбудить его! И вот изверившаяся в себе интеллигенция, народники и славянофилы, спешили заставить народ проснуться. Но стихийную дрему одолеть трудно. Увидели, наконец, что образованный народ – всего только образованный народ, то есть та же довольно-таки немощная интеллигенция, бурно мыслящая, но бескрылая, которой

…. Свершить ничего не дано…**

Народ, по тщательном исследовании, и не спал вовсе, но в бодрствовании его не было бодрости. Среди даров природы народ гибнет от голода, холода и рабского изнеможения. Видимо, он не может спасти себя – где же ему спасти общество! И вот «эволюция» этой черты – искание спасителей и вождей – выдвинула новую аристократию – тех самых «хищников», которые считались врагами общества. Марксисты говорят: «Где уж нам, людям отвлеченного знания, людям вкуса и доброго сердца! И не только нам, но где уж самому народу сбросить с себя гнет нашей ложной общественности! Ни народу, ни нам не под силу разорвать связи, откованные молотом веков. Тут нужна исполинская энергия, а где она? Она только у них, у этих хищных деловых людей, у эксплуататоров, у мироедов. Они берут верх потому, что сильны, и, следовательно, вот вожди, от которых следует ждать перерождения жизни. Люди страха и упрека, но и люди силы! Не рыцари, не праведники – зато способные ни пред чем не отступить. Да здравствует же капитализм – орудие сильных!»

* *Некрасов Н. А.* Рыцарь на час (1862). – *В. Т.*

** Там же. Неточная цитата. У Некрасова: «Но свершить ничего не дано». – *В. Т.*

III

Но нелепость для народа искать защиты у тех, кто гнетет его, заставила «эволюцию» спасения сделать последний шаг, и еще раз, именно в наше время, и именно г. Горьким выдвинуты новые герои. Эта новая надежда общества – не боги, не рыцари, не философы, не пахари, не купцы… Это бродяги. Да, это простые нищие, притом пьяницы и часто злодеи. То именно, что считалось отбросом общества, показано как передовая дружина, как класс вождей. Вот кому, как, по-видимому, думают последователи г. Горького (более горькие, чем сам он), вот кому суждено вывести род людской из социального плена! Босяки – вот герои, вот истинные разрушители, которым все дано, чтобы смести с лица земли нашу дряхлую цивилизацию. Что вы думаете? Развратный Рим требовал варваров – и они в своих звериных шкурах, грязные, босые спасли человечество от культурного изнеможения. Дряхлая Византия нуждалась в турках – и эти кочевники спасли Восток от окончательного гниения. Так и современная ветхая днями Европа. Ее душат исторические грехи, она нуждается в варварах, в грубой и честной силе, ей необходимо кровавое обновление. Но внешних варваров уже нет, завоевание Европы невозможно. Остается ждать тех, которых выработает сам болящий организм, и вот они, эти элементы. Вот они новые, энергичные, голодные клетки, еще блуждающие, вроде макрофагов крови, готовые пожрать одряхлевшие ткани, атрофировать их. Не наверху, а на самом дне жизни – воскресение ее, и если этого никто не ожидал, то тем более славы людям, открывшим это! Г-н Максим Горький сумел совсем нечаянно мечты марксистов воплотить в яркие художественные образы – и правда засияла…

Читатель не подготовлен к этой мысли, он колеблется признать ее. «Не новая ли это иллюзия?» – скажете вы. Годятся ли босяки на роль, которую так плохо выполнили богатые хищники, простой народ, философы, рыцари, праведники, боги? Годятся ли бродяги на роль вождей? Подумаем об этом.

Босяк – действительно «варвар» или похож на варвара. Этого отрицать нельзя. Он прирожденный циник, он презирает наши верования, как предрассудки, он способен картиною Апеллеса[1] разжечь костер для ужина. Это человек на первой ступени общества и свободен от тягчайшего из рабств – социальной рутины. У него нет культа – и все ложные культы ему поэтому чужды, и всякий истинный культ доступен. Он не знает законов и потому не пощадит ни одного из заблуждений, в них скрытых. Он готов для принятия истины, как первобытный человек, он готов для новой, свежей, как будто только что сотворен. Творческие силы дерева, чтобы дать начало новому бытию, должны вырваться из древесины, из миллиарда клеток, оторваться в виде семени и упасть на сырую землю. Босяк – именно такой плод нашей давно созревшей, увядающей цивилизации. Именно *он* плод, а вовсе не культурный буржуа, не культурный мыслитель – эти похожи на иные, изнеженные, и в силу этого – омертвелые ткани. Настоящий носитель жизни – вот этот грубый, некрасивый, терпкий желудь, оторвавшийся от дерева общественности…

IV

Не судите по наружности, могут сказать «босяковцы»: красивое обыкновенно хрупко, а жизнь движется грубым. Пора сделать переоценку понятий, пора признать, что «последние» среди людей действительно суть будущие «первые», что только они достойны этой роли. На верхах жизни жизнь испаряется и тратится; только низы хранят ее источник. Пролетарий-бродяга – вот первоначальная клеточка всякого организма, в том числе и общественного. Это живчик, вибрирующий, ничем не связанный, – именно он, попадая в подходящую среду, начинает «сегментацию» иных, органических клеток. Разве не бродяги вроде Немврода[2], Кадма[3], Кекропса[4], Ромула создали самые славные цивилизации? Разве не им обязан началом своим античный мир, как и средневековый? Разве не бродяги – норманны и им подобные – основали современные государства

в Европе? Разве рыцарство не было сословием бродячим, как и монашествующие ордена? Разве моряки всех наций, начиная с финикийцев и Генриха Португальского, не были бродягами? Разве Александр Македонский и Наполеон не инстинкту бродяжничества обязаны всесветной славой? Разве не бродягой Колумбом открыт Новый Свет и не бродягами Ралеем, Пенном[5] и др. основаны американские державы? Наконец, кроме полководцев, моряков, купцов, путешественников, связывавших человечество в одну семью, – разве сами великие вероучители не бродили по земле босые и нищие?

Бродячие люди – творческий элемент в обществе в противоположность неподвижному, где жизнь мертвеет. Бродячая жизнь есть, в сущности, возвращение к доисторическому периоду, отречение от цивилизации. В ней много поэзии героической, много волнующих интересов. Несомненно, это есть возвращение к жизни – в каком-то важном смысле. Ведь что такое цивилизация, как не покой, и что такое покой, как не угасание воли? Раз удовлетворенность человека обеспечена – он теряет самое содержание жизни, он перестает замечать ее. Подобно тому как воздух неощутим без волнения атмосферы, так и бытие наше: в невозмутимом состоянии оно как бы исчезает. Обеспеченный буржуа неизбежно приходит к отсутствию желаний: он все испробовал, во всем пресытился, все ему доступно, ничто не дразнит воображения, как запретный плод, ничто не питает надежды. Без надежды же не может быть и любви, которая, может быть, вся – надежда. Без нее не может и веры. Как может человек любить и верить в то, что ему безразлично? В буржуазии, в аристократиях капитала, знания, даже художественного чувства жизнь останавливается, начинается она в отверженных и падших…

V

Все это и многое подобное можно сказать в защиту и даже в похвалу босячества, но эта защита будет адвокатская, то есть не совсем честная. Читатель, вероятно, и сам уже заметил кое-

какие натяжки в приведенной мною, предполагаемой аргументации. Что-то бродячее было, например, в македонском герое, или Наполеоне, или Будде, но было и что-то небродячее, и именно последнее составляло их силу, а не первое. Современный босяк, действительно, варвар, однако без свежести древнего варвара, без его религиозности, без его физической силы, наконец. Босяк, если хотите, напоминает Сократа (ходившего босым), но без благородства его, напоминает Колумба, но без его гения. Вспомните, что такое был древний варвар – в те моменты истории, когда он зачинал ее, в эпоху Гомера или Оссиана. Тот варвар не походил на героев г. Горького. Тот варвар был человек могучего сложения, очень строгих семейных нравов, горячей религиозности и на худой конец – человек все же трезвый, ибо разливанного моря водки тогда еще не было. Пили и напивались, но не пьянствовали, не доходили до алкогольного вырождения. Прибавьте к этому такую мелочь, что варвары вовсе не были людьми внеобщественными. Напротив, они составляли собою самое крепкое общество, какое помнит история, и потому только и в силах были разрушить античный мир, что сами были миром организованным и более сплоченным, чем тот, одряхлевший. Те, кто представляют себе древних варваров какою-то чернью, антихристами, у которых не было ни кола ни двора, ошибаются забавно. У древнеарийских колонистов было могучее общество и такой прочный кол и двор, каких теперь не встретите. Пусть этот двор была иногда простая кибитка, шалаш, но за свою жену и детей в этом шалаше, за изображение богов, за могилы предков варвар готов был пожертвовать не какими-нибудь купонами и дивидендами, а горячей кровью сердца. О, у древнего варвара было что отстаивать! И если вспомнить железное родовое правило – и при всей республиканской свободе – страшное послушание вождям, то нынешнее «общество» покажется, пожалуй, анархией в сравнении с древним – анархией в дурном значении этого слова. Древние финикийцы, пеласги, германцы, славяне, арабы, турки двигались, может быть, с внешнею нестройностью, но внутренне их общественное строение напоминало ткань

дуба, почти нераздробимую. Это не была аморфная толпа, как наши босяки, – это была строгая и сильная организация. Древний варвар, выработавший в себе стальную силу, очевидно, столетиями здоровой работы, прекрасно упитанный, надышавшийся кислородом полей и лесов, – этот великан и красавец, если чувствовал нужду в спасающем вожде, то не мог себе представить его иначе, как в образе бога. Современный замухрышка, «варвар подвалов и чердаков», истощенный скверной или недостаточной пищей, надорванный ранним развратом и пьянством, надышавшийся вонью городов, униженный и оскорбленный, – для него вождем может служить не лучезарный бог, не витязь, не философ, а свой же «брат Исакий», босяк с кулаками покрепче да душой поворовато́й. Отставной ротмистр Аристид Кувалда («Бывшие люди») – вот в лучшем случае вождь новых героев, если не плывущих, как аргонавты, то бредущих босиком в некую Колхиду будущего, за золотым руном общественного идеала…

VI

«Босячество» едва ли годится в вожди теперешнему обществу, как бы последнее ни было потеряно на своих путях. Но это загадочное явление граничит с другими, не менее загадочными, но «иного духа». Бродяга, согласитесь, звучит некрасиво и уж это недаром: музыка слов всегда заслужена, в ней оценка мысли. Бродяга звучит грубо и грустно, но назовем того же человека *странником* – и он сразу принимает некоторый благообразный, даже высокий вид. Странничество – вот в самом деле та близкая форма, сравнение с которою может нам объяснить бродяжничество. Близкая и в то же время далекая, как концы разомкнутого круга. Вы чувствуете, что странничество можно только приблизить к бродяжеству – совместить их нельзя. Бродяга и странник – оба выходцы из нашего мира, но один похож на блуждающую почку, другой – на движущееся в груди сердце. Бродяга оторван от общества и болтается, как рубище, без связи с тканью; странник отделен от общества,

как *внешний* член его, ему нужный. Странничество – продукт здорового общества, бродяжество – больного. Есть нечто общее, что связывает бродягу и странника, это – их общее тяготение к природе и ее вечным установлениям, жажда правды и красоты, которыми дышит мир, взятый в самом себе. Человек, не совсем омертвевший в культурном обществе, должен чувствовать, как дети, что как бы ни благоустроена была «правильная» жизнь, какой бы комфорт вас ни окружал, но все же хорошо было бы в один прекрасный день уйти из этой жизни хоть на время, броситься в синюю даль, за горизонт, за леса и горы, в иные неведомые края. Как хорошо было бы хоть пешком (и пешком особенно очаровательно) с котомкой пойти без определенной цели, просто взглянуть на мир Божий, на великую природу с широким охватом неба, на поля и нивы, на серые деревни, погосты, монастыри, усадьбы, на уснувшие пруды и озера, на знойные дни и темные ночи, на яркие зори и звезды… Как хорошо было бы пожить среди этих серых простых людей, поделиться с ними жизнью, подышать их свежестью душевной, забытой верой и поэзией…

Бродяга – на первый взгляд – грубая разновидность странника, но на самом деле между ними глубокое различие. Оба отошли от мира, обоих тянет в неведомое инстинкт поэта. Но странник – человек религиозный. Бродяга, напротив, чаще всего скептик и материалист. Один ищет чистой жизни, другой – греха, ищет соблазнов и живой смены их. Бродяга оттого меняет одно место на другое, что в первом уже успел взять все, что можно. Как кочевник снимает кибитку, заметив, что данная местность объедена скотом, как саранча, пожравшая поле, перелетает на следующее, так и бродяга. Странник же меняет место, ища святых обителей, разыскивая новые оазисы безгрешной жизни или, по крайней мере, новые области с красотою природы и людей. И бродяга, и странник – оба отшельники, люди, отшедшие от общества, как бы поставившие наряду с царством мира свое царство, но в одном случае оно напоминает царство Божие, которое «внутри нас», в другом – царство сатаны, которое тоже «внутри нас» – в виде вечной озлобленности

босяков, их зависти, похотливости, распущенности, постоянной готовности поклониться искусителю за его соблазны.

VII

Жизнь вне общества может быть и последней ступенью общественности, и первой, смотря по побуждению, ее вызвавшему. Бродяга – отброс общества, но в отношении странника – само общество составляет отброс. Бродяги – люди несовершенные, которых мир покинул. Странники, напротив, сами покинули мир, не будучи в силах помириться с его несовершенством. Для бродяги блага мира недоступны, для странника – преступны, его блаженство – выше их. Нам, слишком погруженным в суету, очень трудно понять это блаженство, и даже Христова заповедь – «блаженны нищие» – кажется до того странной, что мы стараемся найти ей иносказание. А между тем, подобно непонятной на взгляд математической формуле, эта заповедь скрывает в себе необыкновенно тонкий, возвышенный закон, пригодный, впрочем, лишь для аристократов духа. Блаженство нищих было известно за тысячелетие до Христа – в египетском культе, в еврействе, у монахов Индии и в особенности полно выражено в учении Будды. Люди с проснувшимся духом жизни всюду чувствовали гнет богатства, гнет материальности, чрезмерно пышной. Закон жизни есть закон свободы, а чрезмерная общественность и результат ее – богатство – подавляют свободу. Чувствуя это, люди особенно жизненные бегут от общества. Но если между бродягами и встречаются люди жизненные, то *большинство* их тронуто смертью. Бродяги – продукт общественного распада. Странники – элемент нового общества, еще не сложившиеся. И бродяги, и странники – невольные анархисты, но первые означают гибель общества, вторые – возрождение его. Не было бы ни тех, ни других, если бы общество было здорово. В теле, в момент достижения идеала, не может быть ни отбросов, ни производительных клеток. Но общество как организм есть система не момента, а времени, система длящаяся, беспрерывно распа-

дающаяся, требующая возобновления. Живые ткани неизбежно, в силу проникающей материю инерции, выходят из своей меры и в самых разнообразных отношениях разрастаются, теснят друг друга; призванные взаимно поддерживать жизнь, они начинают останавливать ее. Чрезмерная общественность – самая страшная опасность, какая угрожает обществу. Не в *недоразвитии*, а всегда в *переразвитии* умирает общество, и нет гибельнее веры, как в необходимость безостановочного прогресса. Если развитие общества беспрерывно, то неизбежно за юношеским расцветом всех его сил наступает переразвитие и как результат – его увядание, старость, смерть. Живые клетки, кипуче нарождавшиеся, начинают теснить друг друга и от тесноты умирают. Начинается старческая атрофия тканей: одни сословия клеток отлагаются, как хищники, в отношении других, и общество умирает или от худосочия, или от ожирения. Часто – от обеих причин вместе.

VIII

Современное общество тщетно борется с роковым уделом всего живущего – с увяданием жизни. Наше общество только кажется новым, на самом деле оно страшно старое, и не от незрелости все наши «беды и неустройства», а от обратной причины. Все эти беды – следствия старческого маразма, они выражают не «неустройства», а «расстройства», и бороться с этим процессом необычайно трудно. Как древние великие цивилизации Вавилона, Египта, Индии, как античный Рим и Византия, как страны арабской культуры или Китай – современная Европа страдает переразвитием своих начал и оттого – истощением их. Формы жизни упрочились, но инерция заставила их окрепнуть; дальше они отвердели, окаменели, потеряли жизненную упругость и уже *не поддаются творчеству*. То же, что не поддается творчеству жизни, теснит ее. Более свежие расы в Европе от времени до времени в страшных судорогах политических реформ пытаются одолеть это одеревенение, раздвинуть стенки смыкающегося гроба, но, кажется,

напрасно… На время вспыхивает пламя юности, вдохновение, восторг, но быстро гаснет «вторая молодость», и старческий процесс снова вступает в свои права. Самые передовые страны, вроде республиканской Франции, душит ужаснейшая централизация, ведущая к омертвению тканей общества, превращающая его из *организма* в *механизм*. «Свобода» – самый плачевный призрак в этих странах: произвол личности над личностью там, правда, подавлен, но зато установился еще более страшный, стихийный, неумолимый произвол *общества* над личностью, и последняя – как клетка в омертвелой ткани – угнетена окончательно. Мы не хотим замечать этого, а между тем мы, культурные люди, находимся в глубочайшем рабстве, в той его стадии, когда оно добровольное, до того мы свыклись с ним. Мы живем так, как принято, хотя это иногда бесконечно труднее того, как мы могли бы и хотели жить. Мы интересуемся тем, что кажется интересным другим, мы одеваемся так, как это к лицу другим, мы едим то, что кажется вкусным другим. И думаем, и чувствуем, и молимся, и любим по шаблону общему, повинуясь внешнему неодолимому внушению. Как пары какого-нибудь металла: пока это пар, молекулы движутся с буйной энергией, живут кипучей жизнью. Но внешний холод усмиряет это брожение, частички сближаются и, наконец, пройдя жидкое состояние, сплачиваются в твердую массу: попробуйте привести в движение хоть один атом. Он заключен в оковах массы и живет только в ней, ее общей жизнью. Своя, индивидуальная, исчезает. Но масса есть выражение мертвой инерции, инерции рутины, покоя. И к этому состоянию стремится всякое общество, и чем законченнее его культура, тем это омертвение ближе. Повторяю: не плохие, а великие расы боролись и изнемогали в этом процессе. Византия – ближайший пример в прошлом, Китай – в настоящем.

IX

Если бы жизнь не обладала чудесным свойством восстановления, все живое давно бы иссякло. Дряхлое общество во

все времена чувствует опасность смерти и, как организм семена, вырабатывает начала воскресения своего – живые зародыши будущего молодого общества. В высокой степени замечательно в периоде культурного упадка – развитие философских и религиозных школ, развитие отшельничества или движущегося, как странники, или неподвижного, как монахи. Эти философские и религиозные общины суть истинные завязи более молодого общества, и именно около них обновляется мир. Казалось бы, зачем было царскому сыну Готаме бежать в пустыню? Его, как и друзей Пифагора или отцов Церкви, окружала утонченнейшая цивилизация, культурная красота и разум, овеществившиеся в богатстве, искусствах, науке. Зачем бежать человеку из столь трудно слагавшегося и, наконец, сложившегося рая роскоши? А между тем он бежал, «спасался», спасал душу свою – самое дорогое начало жизни, спасал ее поспешным бегством, точно из вражеского стана. У всех народов на верхах культуры возникает отшельничество, отхождение от общества, стремление создать жизнь независимо от его форм. Монах (от греч. *monos* – один) кажется отрекшимся от жизни, но, в сущности, он по природе своей есть возвращение к жизни, ее восстановление. Тяжкому гнету общества поддаются все слабые элементы, но самые жизненные – как ртуть из зажатого кулака – успевают выскочить и освободиться и снова на свободе начать тот же вечный прогресс… Как протоплазма семени – самая, очевидно, энергичная в организме, так и выходцы из общества ради достижения иного, лучшего – они потому *выдавлены* из общества, что не могли быть *раздавлены*. Отшельник – во все времена необычайно интересный член общества, это первый элемент общественности, и недаром считают его святым и ждут чуда. Воистину чудесна его роль, если вдуматься в нее глубже. Истинный монах (к сожалению, это случай не частый, и я говорю не о выродившемся монашестве разных стран). Истинный монах – это новый Адам и переживает чувства первого человека. Что-то необычайное, восхитительное, для нас непостижимое, для него – неизреченное… Он презрел мир этот, раз навсегда убедившись, что высшее цар-

ство жизни – не от мира сего. От какого же мира? От иного, которого нет и который весь в мечте. Отшельник – гражданин не действительности, а идеала, и – вспомните Франциска Ассизского – что это за блаженство чувствовать себя вне мира, что это за нескончаемая радость! Глубокая нищета для этих людей оказывается не бедствие, а желанное условие свободы, источник тончайшего удовлетворения – счастье чувствовать, что прежде необходимое теперь не нужно. Глубокое презрение мира не дает монаху страданий, напротив. Он глядит на мир, как человек, выбравшийся из зараженной ямы на край ее, дыша свежим воздухом, он уже не сердится на оставшиеся позади миазмы. Все, все оставить, все презреть – это до того волшебное чувство, что трудно было бы поверить в его возможность, если бы тысячи живых примеров не подтверждали ее. Какие сладкие, какие нежные очарования! Если вы скажете о страданиях, претерпеваемых отшельниками, то значит, вы себе представляете плохих монахов и даже не монахов вовсе. Это притворщики, которые напрасно вышли из мира, и даже не вышли из него, хотя бы и жили в пустыне. Истинный монах без всякого преувеличения – человек блаженный, то есть счастливейший из смертных, как и утверждал Христос. Блаженство его в том, что он снова начинает собою мир, как будто он только что сотворен, блаженство в том, что он свободен и ясен, как вся природа…

X

Вы скажете: не для блаженства идут от мира, а из религиозного чувства. Да! Без сомнения, но религиозность ведь и есть *стремление к блаженству*, и сильно выраженная, она именно выталкивает человека в самое живое, самое благое, какое есть, состояние. Нельзя не быть религиозным, искренно оставив «мир», ведь отойти от «мира» – значит вернуться в *мир*, вернуться к божеству. Наоборот, оставаясь в омертвевшем обществе, нельзя ощущать божества, нельзя быть действительно религиозным. Как крыши домов скрывают небо,

так омертвевшее общество – Бога, и необходимо выйти из него, чтобы очутиться в присутствии безграничной, безначальной, гремящей и сверкающей тайной Силы. Искренний странник ощущает это счастье, нам, большинству, почти недоступное. Как отшельнику не быть религиозным! Как не молиться беспрерывно! Душа его – как цветок, раскрывшийся навстречу солнцу, – как ей не благоухать нежнейшими, счастливейшими настроениями! Тут, в этот момент, переживаются ранние зори жизни, чистота ее, светлая радость детства… Если бы не это тонкое великолепие ощущений, если бы отшельничество было страданием, как ложно принято думать, – в него нельзя было бы загнать людей никакою силою. И если мирской человек удивляется, как это отшельник бросил мир, то истинный отшельник удивляется, наоборот: как можно его не бросить. Вовсе это не притворство, а сама искренность, и пора бы, давно пора нашим психологам порасследовать серьезно вот эти редкие, обыкновенно пренебрегаемые, высоты духа…

Часто говорят: «потому идут в монахи, что желают загробного блаженства. Если бы не было уверенности в бессмертии, то никто не променял бы общество на одиночество, мир – на пустыню». Но это неверно. Идут в отшельники не для будущей, а для настоящей жизни, чувствуя, что будущее строится на настоящем и что необходимо теперь, сейчас стать на правильный путь, чтобы дойти до желанной цели. Хотя истинные отшельники постоянно носят в своих молитвах жажду вечной жизни, но это, может быть, потому, что в их *свободном* состоянии тайна вечности ближе к ним и предчувствие ее сильнее, чем для нас. Монашество искреннее не есть меновая сделка, где за земные страдания получается небесное блаженство. Вовсе нет, это желание пожить здесь, на земле, так, как «на небесах», жизнью – сколько допускает материальность – божественною. Я уверен, что именно для этой, навсегда сознаваемой цели возникали все бегства от мира, монашества глубокой Индии, Сирии, Египта и Китая, отшельничества христианского Востока, древние общины Пифагора, Эпикура, Антисфена, неоплатоников и др. Даже чистые эпикурейцы, например,

были истинные монахи, не говоря о стоиках. На стремлении выйти из человеческого общества и пожить лицом к лицу с Богом основано *воскресение* не только отдельных людей, но и обществ. Освобожденные представляли очаровательное зрелище для рабов, и не только в прикосновении к их жизни, но и вдали, под веянием этой свободы, пробуждались живые души…

XI

Вера в то, чем спасается мир, решает судьбу мира. По откровению, по гениальной догадке мудрых, мир спасается Высшей силой, и тайна спасения в том, чтобы каждое существо преобразилось в носителя этой силы. Необходимо глубокое убеждение, что вот тут, в пределах нашей души присутствует святость жизни и что спасение в нас самих. В обществе свежем это сознание живо, и оттого так кипуча радость в нем, оттого в нем отдельная личность так сильна. Но с развитием общества постепенно иссякает вера личности в свои силы и растет вера в общество. Древний варвар был существом державным, он не ждал ничьей помощи, ничьей защиты и сам отстаивал свое счастье. Но постепенно общественность росла и давала на первый взгляд выгоды неоценимые. Постепенно гражданин перелагал на общество все свои нужды, и коллективизм дошел до того, что мы все сделались лишь бесконечно мелкими частичками общей громадной машины – общества, которое живет какою-то своею, каждому чуждой жизнью. Страшное обнищание жизни, «убыль души» всеми чувствуется, но идеалисты думают, что это временная беда, что это оттого, что общественная машина несовершенна, что когда она окончательно сложится – все мы будем счастливы. Отсюда учение социализма, самое общественное из всех и наиболее угрожающее человеческой свободе. Отсюда слепая вера в учреждения, союзы, артели, в общественную «организацию добра», вера в то, что, собираясь вместе и обсуждая, голосуя, выбирая представителей, разбиваясь на партии и лагери, борясь путем гласности и стачек, путем классовой борьбы, – воз-

можно усовершенствовать механизм общества и заставить его давать счастье. Слепая вера эта очень похожа на идолопоклонство. В ней чувствуется забвение божества – и страх берет за ее идеалы. Усовершенствование общества! Но не потребует ли это от меня, от личности, остатка моей свободы, остатка самодеятельности, которую я еще сохранил? Я уже почти все права передал обществу и совсем превратился в его элемент; спрашивается: восстановит ли меня дальнейший прогресс общественный или закрепостит окончательно? Если по идеалу социализма (разделяемому даже такими чуткими мыслителями, как Рескин) меня *насильно* потащат в мастерскую в восемь часов утра и заставят до двух повертывать какой-нибудь клапан, то это усовершенствованное общество не будет ли одновременно *рассовершенствованием* моей личности? Не буду ли я окончательно развенчан как царь своей жизни, не превращусь ли в раба? Обыкновенно говорят: боритесь, отстаивайте свою свободу. Поднимайте агитацию, собирайтесь в союзы, настаивайте в печати, в общественных и государственных собраниях. Энергичные элементы должны добиваться власти и, добившись, изменять формы общественности…

Так говорят, но трудно уверовать во все это. Трудно уверовать в теперешнюю болезненную общественность, в агитацию, в партийную борьбу, в возможность того, чтобы именно этим путем человек вернул себе образ Божий, свою утраченную свежесть и красоту. Мне, по крайней мере, кажется, что, погрязая в общественной суматохе, мы окончательно омашинимся, внутренне ослепнем и оглохнем, как общественные насекомые – пчелы, муравьи, как граждане Рима, Византии, Китая времен упадка.

Вдумайтесь в трагическую судьбу этих древних обществ. Необычайный прогресс промышленности, наук, искусств, утонченной роскоши – декадентская переутонченность форм жизни, блеск ума, ожесточенная борьба партий… Все это не спасло общества, не обеспечило гражданской свободы, а убило их. Чуткие люди понимали ясно, что жизнь общественная принимает вид стихийный, вид какого-то вихря,

нелепого, куда-то мчащего и все общество, и отдельные личности. Здоровые, жизнеспособные люди видели, что они вынуждены гибнуть в общей катастрофе, которая выражалась в удушающем гнете, в общей панике, в физическом изнурении породы, в упадке духа и в бессилии отстоять себя даже от варваров… Истинно живые люди в подобные эпохи убеждаются, что общество – идол, что Бог сотворил не общество, а человека, и что для спасения самой общественности нужно вернуться к *человеческому* бытию. Борьба партий с их интригами и гадкой злобой, с их глупостью, то торжествующей, то униженной, становится смертельно противной, и люди, которые могли бы быть «первыми министрами» – вроде Иоанна Дамаскина, – стремительно бегут из зараженной атмосферы. Подальше от нее – вот о чем неумолкаемо молит душа, и «вожди партии» бегут в пустыню. Какая благодать – очутиться в тишине природы после урагана злобы и лжи, которые неизбежны во всякой человеческой борьбе, особенно партийной, и которые омрачают даже сборы праведников…

И вот мне кажется, всегдашний естественный народный способ спасения – отойти от гибнущего мира, отойти от зла. Отойти затем, чтобы, исправив в себе измятую душу, восстановив свою природу, начать в своем лице новое общество, новый совершенный удел в мире. Отшельники в этом смысле – истинные вожди народные, возбудители духа жизни.

XII

Отшельниками я называю не только тех, что строят себе скиты в лесах и степях и около которых завязывается правильная, здоровая культура. Отшельниками могут быть религиозные общины, вроде квакеров, бежавших в Новый Свет и основавших могущественную республику. Отшельники того же типа – наши религиозные поселенцы, сумевшие в глухом безлюдье устроить цветущие колонии. Пионеры великой колонизации – неизбежно отшельники, и потому жизнь на передовой грани расселения всегда чище, сильнее, крепче, нежели

в тесно сплоченных центрах страны. Отшельничеством держится «мир» и внутри его. Истинные труженики всегда более или менее люди, вышедшие из общества, уединившиеся, погруженные в свою работу, – люди, которым *некогда* заниматься игрой политики, борьбой партий, теми «интересами общественными», которые чаще всего – не более как спорт. Серьезный философ или ученый – eo ipso* – отшельник. Мысль, как молитва, как любовь, требует уединения, и зачатие жизни совершается всегда в глубоком безмолвии. Такой же отщепенец общества – писатель, художник, даже артист в минуты их творчества. Когда вы полны вниманием к говорящему в вас духу – вам не до общества, хотя бы вы были в толпе. В сущности, отшельниками являются даже ремесленники, все рабочие в производительные моменты их работы. Общее правило таково, что, только забыв все остальное, выйдя из мира, можно служить миру.

Отшельники, отойдя от мира, потому так счастливы, что заняты огромной работой – процессом перерождения собственной души, просветления ее. Странники несут иногда несознаваемый подвиг, выражения которого подчас странны, мучительны, но результат, как после восточной бани с ее колотушками и истязаниями, получается целебный. Душа молодеет, и вместе с возвращением молодости возвращается присущее ей счастье… Нет сомнения, что и среди бродяг есть люди страннического духа (как и между странниками есть бродяги). Очень многих босяков их бродячая жизнь тянет в себя поэтическою стороною, тогда как культурная жизнь кажется несносной, как пушкинскому Алеко… Но посмотрите, какою острой горечью отравлена их вольная жизнь! Какою дьявольской тоской!

XIII

«На меня, видишь ты, тоска находит, – говорит один босяк у г. Горького. – Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска,

* В силу этого самого (лат.). – *В. Т.*

что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете, и кроме меня нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет, все как есть, и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они – не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я пить начал»… («Коновалов», с. 10). В другом месте он же говорит: «…Я, например, что такое? Босяк, галлах… пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей… и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу я, тоскую… Про что – не известно. Внутреннего пути у меня нет… понимаешь? Этакой искорки в душе нет… силы, что ли?»

Этот сильный, очень добрый, очень простой и даже совестливый человек понимал свое состояние очень смутно, но все же вернее последователей г. Горького, идеализирующих босяка. Когда наш автор стал доказывать Коновалову, что в его горькой жизни виноват не он, а общественные условия, пекарь возмущается. «Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет – в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю не хуже его – однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли… Выходит, что во мне самом что-то неладно. Не так я, значит, родился, как человеку это следует… Кто тут виноват? Сами мы пред собой и жизнью виноваты… Почему у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувства не имеем…».

Такое самосознание у босяков – большая редкость. Обыкновенно, это, по словам г. Горького, ото всего оторванные, всему враждебные, озлобленные скептики, которые всегда все винят и на все жалуются, всегда сваливают свои неудачи на судьбу, на злых людей. Как психопаты, они кокетничают своею отверженностью, рисуются друг перед другом, но тоска, жестокая и злая, действительно грызет их.

«Горит у меня душа… – говорит другой босяк, сапожник Орлов. – Хочется ей простора… чтобы мог я развернуться во всю мою силу… Эхма! Силу я в себе чувствую – необоримую! То есть, если б эта, например, холера да преобразилась в чело-

века… в богатыря… хоть в самого Илью Муромца, – сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила и я, Гришка Орлов, сила, – ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег… Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов… Освободил Россию от холеры». Больше ничего не надо. Понимаешь… на сто ножей бросился бы я, но чтобы с пользой! Чтоб от этого облегчение вышло жизни…» («Супруги Орловы»).

Казалось бы, как не найти этих ста ножей, на которые можно броситься за ближнего! Но наш герой, сапожник Орлов, нейдет дальше кабака, и единственная «борьба» его – с беззащитной женой, которую он любит и бьет нещадно, систематически, вбивая в чахотку. В конце концов, этот «спаситель отечества» погрязает в непробудном пьянстве. «Так я, – говорит он, – никакого геройства не совершил. А и по сию пору хочется мне отличиться на чем-нибудь… Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить… всех до одного! Или вообще что-нибудь такое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты… И сказать им: ах, вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего! И потом вниз тормашками с высоты и… вдребезги! Н-да-а! Черт те возьми… скучно! И ах, как скучно и тесно мне жить!.. Сижу на мели… Но не обсохну, не бойся! Я себя проявлю! Как – это одному дьяволу известно… Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна? На кой ее… когда меня во все четыре стороны сразу тянет. Я родился с беспокойством в сердце, и судьба моя быть босяком!..» Но и босячество не дает ему никакого утешения: «Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка – она гасит сердце… А горит сердце большим огнем… Противно все – города, деревни, люди разных калибров… Тьфу! Все друг на друга… так бы всех и передушил!».

Третий босяк – отставной ротмистр – выражается так: Пусть все скачет к черту на кулички! Мне было бы приятно, если бы земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась вдребезги!.. Я отвержен – значит, я свободен от всяких пут и уз…».

XIV

Поистине адский пламень жжет душу этих «вождей народных», собирающихся идти по стопам Ромула и Рема. Врачи, может быть, найдут в этой психологии тоски клиническую картину алкогольного отравления. Не какая-нибудь загадочность натуры, не «беспокойство в сердце», не жажда вырваться из круга обыденности, а прямо пьяный бред, пьяное уныние, пьяная мания величия. У алкоголиков весь организм расшатан, и у большинства развивается эта физиологическая тоска, озлобленность, наклонность к буйному помешательству. Отвращение ко всему – здесь не философский вывод (истинной философии вообще не свойственный), это отвращение прямо отравленных людей. Как во всех пороках, здесь возникает circulus viciosus: тоска вызывает пьянство, пьянство – тоску. Предрасполагающей причиной является не алкогольное, а иное угнетение нервной системы, усталость души, слишком сплющенной в культурном быту. Водка подстегнула падающую энергию и придавила ее еще сильнее, снова подстегнула и снова придавила, и так до конца… Воистину несчастные это люди, и уж где им пересоздать мир! Много-много, если их хватает на то, чтобы «жидов побить» где-либо в богоспасаемом захолустном городе с оплошавшей полицией…

Тоска босяков настолько невыносима, что от нее приходится бежать, и, может быть, все явление бродяжничества вызывается этой тоской. «Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. – спрашивает г. Горького один босяк. – А потом на Амур хватим… идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны – это всего лучше. Идешь и все видишь новое… и ни о чем не думается… Дует тебе ветер навстречу, и точно он выгоняет из души всякую пыль. Легко и свободно… Никакого ни от кого стеснения. Захотел есть – пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы – попроси хлеба, дадут. Так хоть земли много увидишь, красоты всякой… Айда?» («Коновалов», с. 63). Это «айда!» – лозунг бродячей жизни: как вечный жид, эти люди бегут, бегут ото-

всюду, не только из городов, не замечая, что бегут от самих себя, от отравленной души своей. Поэзия природы не спасает их, она, как у циников, находится в глубоком противоречии с душевною прозой босяков. В то время как для странника красота и свобода мира – только рамка для внутренней глубокой жизни, для блаженства подвига и созерцания, для бродяги – это рамка, оттеняющая тяжелую пустоту духа, самые жгучие и страстные страдания. Г-н Горький не мог скрыть, что его герои – душевнобольные, то есть если не сумасшедшие, то явно находящиеся в так называемом «продромальном» психозе. Болезнь души выражается в тупой боли, в глубокой тоске сердечной, от которой люди спиваются или вешаются. Вожди народные, как вообще вожди, должны заражать народ движущими настроениями – верой, пламенной надеждой, фанатической убежденностью и бодростью своей, а бродяги – чаще всего люди безо всякой веры, «оставившие всякую надежду», как грешники пред вратами ада…

XV

Тоска их мучает, жажда подвига – такого, чтобы весь свет узнал бы. В страннике этой тоски нет, так как он весь в новом царстве, в царстве своей мечты и чувствует себя необыкновенно прочно связанным с самою прочною опорой – Богом. Не чувствует тоски и человек органической, не омертвевшей еще культуры – пахарь, воин, священник, купец, если они заняты своим делом, то есть если действительно стоят на своих постах. Как колесо в машине, каждый из них имеет смысл, как и вся машина. Эта разумность существования, хотя бы условная, дает довольство. Но человек, вышедший из общества и в другое не вошедший (как странник – в воображаемое общество праведных), теряет разумность своего существования; как колесо, выброшенное из машины, он не выполняет назначения, он тоскует. Никто так страстно не ищет смысла жизни, как отщепенцы, потерявшие свое место в обществе. Жажда подвига – желание вернуться в общество, совершить какую-то работу, и

такую, чтобы сразу для всех обозначился ее высокий смысл, разумная необходимость. Вы скажете – Орлов уже включен в общество, он – сапожник. Почему же его не удовлетворяет его профессия, тогда как другого удовлетворяет? Я отвечу: просто потому, что Орлов не сапожник и не включен на самом деле в общество. Он шьет сапоги, но не сапожник, потому что это дело ему внутренне чуждо; случайно он шьет сапоги, как случайно же таскал бы грузы, или писал бы статьи, или учил бы детей. Множество людей в нашем обществе *случайно* на своих местах, и оттого оно так непрочно, оттого уныло, анархично. Инженеру скучно на заводе, он завидует актеру, и, хоть завидует – чувствуя себя артистом, – все же изо дня в день посещает свое машинное отделение, следит за выделкой сахара или масла. Множество офицеров чувствуют себя пахарями или литераторами, множество священников – офицеры в душе. Темперамент тянет вон из чужой деятельности, но она держит в себе, как трясина, раз попал в нее. Орлов не знает, что ему нужно, к чему он пригодился бы, он знает только, что здесь, в сапожниках, в санитарах и т. п., ему не место. Он бродит в обществе и не может найти в нем своей почвы. У него нет корней, нет традиций, которые столь могущественно поддерживают личность в органическом обществе.

XVI

Отсюда, может быть, – дух протеста в босячестве, дух восстания – иногда кроткий, чаще – буйный. Босяки в большинстве считают себя изгнанниками, и хотя не могут уже жить в гражданском обществе, но вовсе не равнодушны к нему. Отверженные и отвергшие, они бессознательно жаждут его разрушить. Припомните, какое впечатление на босяка Коновалова производило чтение о бунте Стеньки Разина. Это чтение происходило в грязной пекарне, похожей на трущобу.

«По мере того как историк* рисовал своей художественной кистью фигуру Степана Тимофеевича и “князь

* Костомаров. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

волжской вольницы” вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался, – говорит г. Горький. – Сидя на ларе против меня и обняв колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, страшно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которую он всегда удивлял меня, и все то простое и женственно-мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, теперь потемневшим и суженным, исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулистой фигуре…

– Поймали! – рявкнул Коновалов.

Боль, обида, гнев, готовность выручить Степана звучали в его сильном возгласе. У него выступил пот на лбу, и глаза страшно расширились… Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка – родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные и не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой, и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

– Да читай, Христа ради!

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

“Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол”…

– Будет! К черту! – крикнул Коновалов и вырвал у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны».

XVII

Это страничка в рассказе г. Горького очень характерна. Она объясняет многое. Вы видите, какое страшное впечатление производит на безграмотного босяка рассказ о знаменитом бунтовщике. Добродушный, опустившийся бродяга вдруг, в мгновение ока признает свое родство со станинным разбойником и загорается древними инстинктами. Вы чувствуете, что порода мужицкая осталась та же, но потерявшая предания, запамятовавшая лозунги. Тот же Коновалов восхищается Тарасом Бульбой, но не одобряет Пугачева. Еще нет потребности бунта, но уже тлеет страсть борьбы за правду, стремление ринуться куда-то и сложить свою голову…

Некоторые поклонники г. Горького готовы строить далекие планы на этой черте босячества. Но Коноваловы – вовсе не сила, и сами сознают это. Те, кто почетнее из босяков, понимают это, и, может быть, это сознание полного банкротства – самая трагическая черта этих людей. Коновалов, мягкий душой и богатырь телом, чувствует себя подлецом, душевно поверженным. «Просто я есть заразный человек… – говорит он. – Недолго мне жить на свете… Несчастный этакий ядовитый дух от меня исходит… И для всякого я могу с собой принести горе… Тлеющий я человек…».

Очень верная характеристика. Именно *тлеющие* это люди. Богатырская порода, неизмеримо долгим процессом сложившаяся на земле, выкованная трудом среди свежих стихий природы, точно потерпела катастрофу какую-то, внутренний пожар, от которого остаются тлеющие головни, – вот эти «отбросы общества». Они дымятся, иногда сыплют искрами, но жизненная роль их закончена… Герой рассказа Коновалов, вспыхнувший при чтении о бунте, как тлеющий уголь в кислороде, – чем же кончил? Повесился на отдушине печи где-то в уездном остроге, попав туда за бродяжничество. «А это был славный малый, – говорит г. Горький, – всегда тихий, задумчивый, совестливый…» В этом же роде кончают и все тоскующие люди г. Горького. *Никогда* так не кончают странники, сказать кстати.

Неужели же эти люди призваны спасти мир, если допустить, что он гибнет? Что человеческое общество расстроено, что оно на наших глазах теряет способность давать счастье – это, по-видимому, бесспорно. Ведь все недовольны – и нищие, и богатые, и философы, и простецы. У всех иссякает вера в жизнь, у всех тяжелые предчувствия будущего… Но если люди действительно хиреют в омертвевших формах общества, то откуда ждать обновления? Кто разрушит неодолимый гнет установившихся привычек и бытовых внушений?

Во всяком случае – не босяки. Они действительно отбросы общества, а отбросы способны лишь на гниение. Как бы ни было жаль людей гибнущих, но нельзя же лгать себе и им, уверять, что они не гибнут. В босячестве все было бы прекрасно – и нищета, и бесприютность, и презрение ближних, и голод, и лишения. Все это может быть при известном настроении радостью, а не горем. Но вот то, что в сердце их «беспокойство» – это уже все решает. Раз внутри человека сплошная боль, сплошная злоба, «огнь поядающий», то ясно, что люди гибнут. Смерть может придти не сейчас, но живое подобное состояние хуже смерти, бессмысленнее ее. Пролетарии – люди агонизирующие, где же им брать на себя или, точнее – не жестоко ли навязывать им чье-либо спасение?

Г-н Максим Горький сам плохо верит в своих героев, он называет их «бывшими людьми», то есть теми, которых песня спета. С беспристрастием художника он описывает их не только материальную, но и нравственную нищету. Припомните мрачную берлогу – заброшенную кузницу, где приютилась кучка босяков под командою отставного ротмистра. Припомните ряд этих типов вырождения – точно в клинике: пьяный учитель и репортер, отставной лесничий Кубарь, бывший тюремный смотритель Конец, механик Солнцев по прозвищу Объедок, дьякон Тарас и Полтора Тараса, юноша Метеор, старик-тряпичник Тяпа и пр., пр. – компания пьяная и преступная, изнывающая в тоске. «Идет зима, идет… Как жить? У бывших людей, – говорит г. Горький, – увеличивалось количество вздохов в их речах и количество мор-

щин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей, загнанных, измученных своею суровою судьбой… И тогда они били друг друга, били жестоко, зверски били и, снова помирившись, напивались, пропивая все… Так в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни они проводили дни осени. Иногда усилия (дьякона) приводили к тому, что – вдруг отчаянное, удалое веселье вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных. И потом впадали опять в тупое равнодушное отчаяние и сидели за столами трактира в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговаривались друг с другом и думали о том, как бы напиться водки, напиться до потери чувств. И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех». Полная картина гибели.

XVIII

Мир вечно жив и, как все живое, только тем и жив, что постоянно спасает себя, восстанавливается. Не в будущем когда-то придет спасение – оно уже идет и всегда шло бок о бок с гибелью. То, что достойно жизни – уж тем самым спасено, и в каждый момент истории жили и действовали миллионы людей-спасателей, и теперь их миллионы. Кто они? А вот эти отшельники, эти тихие, безвестные, ушедшие от мира в свою работу, которую отдадут ему же. Спасают мир не те, кто научен книгами, а кто научен своею природой, кто естественно и просто не подходит к мирским соблазнам, безотчетно сторонится их. Спасают мир блаженные: нищие (то есть искренно презревшие богатство), милостивые, кроткие, чистые сердцем, гонимые за правду, алчущие правды. Все они, хотя бы и жили в миру, в сущности, всегда вне его, потому что сама природа их есть его отрицание. И именно это отношение миру всего нужнее: оно – залог постоянного его возрождения.

Мир человеческий, как и всякий организм, мгновенно сгнил бы, если бы не эти стойкие противогнилостные элементы, не поддающиеся страшной претворяющей силе враждебных жизни стихий. Они, эти отдельные хорошие люди, – вот основа общества, и оно только ими и строится, ими и живет. В остальных клеточках оно только тратится, разлагается. То, что заслужило свою гибель – гибнет бесповоротно, и мечта о спасении для достойного смерти несправедлива и напрасна. Весь мир в целом его не может и не должен быть спасен – для жизни должно остаться лишь жизнеспособное, еще не одеревеневшее в самой ткани мира, не омертвевшее. Спасается все свежее, молодое, творческое… Если вы видите по-видимому сильный, но пьяный народ или талантливую молодежь, сгорающую в пылком беспутстве, будьте уверены, что ни силы, ни настоящего таланта, ни настоящей молодости тут нет, что они – призрак, а на самом деле это люди дряхлой, разлагающейся от гнилости природы.

«Процветают хищники, – скажете вы, – и праведники затаптываются в грязь». На самом деле это обман зрения. Хищники процветают лишь в меру того, поскольку они не хищники, поскольку они способны трезво, ясно, великодушно, отшельнически служить миру. В меру же хищничества своего они в вечной тревоге, которая вовсе не процветание, – в вечной борьбе, в угрызении зависти, жадности, гневе, гордости… И эта сторона их жизни как бы опалена адом, она жгуча и горька. Напротив, праведники затаптываются и здесь лишь в меру своей неправедности, душевной грязи и всегда процветают в меру чистоты своей. Если я чувствую, что я сын Божий, посланный для блаженства в этот мир, для правды, для осуществления великой Воли, – кто может помешать этому? Кто может втоптать меня в грязь, кроме меня самого? Как бы ни теснил меня мир – одним движением окрыленной души я в состоянии уйти от него, если не как отшельник-философ, не как ученый, художник, или ремесленник, или пахарь, то как странник, бродяга и одновременно пророк. Видали ли вы пророков? А они бродят по земле, часто тихие, безмолвные или говорящие

лишь изредка, едва приметные, но творящие свое, часто неведомое им великое дело. Вы встречали пророков и, наверное, их отталкивали, сторонились от них, но они в их странном рубище и теперь, как во времена библейские и буддийские, ходят босыми часто ногами и тихо говорят что-то нужное, к чему все свежее в народе прислушивается серьезно. Народные пророки – это не те, которых мы слушаем, сидящие на высоких кафедрах, – туда святые восходят редко, – это не журналисты, не профессора, не «безумно храбрые» *на словах* герои г. Горького. Святые не расстаются со своим народом, они ходят среди него в рабском виде, как Христос по выражению Тютчева:

Изнуренный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя…*

XIX

Г-н Горький, постоянно спасаемый своим талантом от лжи, не мог не заметить пророков народных, людей совсем иного духа, нежели все эти Силаны и Челкаши с их живописным эгоизмом, с их помешательством на животности. В одном месте, в «Фоме Гордееве» нарисован удивительный портрет странника:

«Этот человек, в порыжевшем от старости, покрытом заплатами подряснике, грязный и оборванный, брезгливо осмотрел каюту (судовладельца-миллионера), и когда садился на диван, обитый плюшем, то подвернул под себя полу подрясника так, точно боялся запачкать ее о плюш…»

У Фомы подозрение, не сын ли это купца Анания Щурова, коренного, яростного хищника, злодея и мироеда. В сыне как бы проснулась совесть, и, ужаснувшись скверны, он бежал на Иргиз, к старцам... Фома Гордеев – тоже сын хищника и тоже ужаснувшийся, но слабый. И вот два наследника мил-

* *Тютчев Ф. И.* Эти бедные селенья… (1855). – *В. Т.*

лионов, сыновья хищников, один – спасенный, другой – погибший, ведут беседу.

«– Скажи, отец Мирон, хорошо так жить… на полной своей воле… без дела, без родных… странничать вот, как ты?

Отец Мирон поднял голову и тихо засмеялся каким-то ласковым, детским смехом. Все лицо его, коричневое от ветра и загара, просветилось светом внутренней радости. Но, посмеявшись и посмотрев на Фому, Мирон только вздохнул глубоко и кротко сказал:

– Плохо ли!..»

И этому нищему захотелось подать милостыню миллионеру, и он приоткрыл немного ему свое сердце.

«– Удались-ка, – говорил он богачу, – освежи душу одиночеством и наполнись думою о Господе… Ибо только мыслью о Нем может человек спасти себя от осквернения…

– Не то! – сказал Фома. – Мне не спасаться надо… али много я согрешил? Другие-то вон… Мне бы уразуметь…

– И уразумеешь, если отложишься от мира… Выдь ты на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы… выдь да посмотри на мир с воли, издали…

– Вот! – вскричал Фома. – Вот это самое я и думал. Со стороны виднее!

А Мирон, не обращая внимания на его слова, говорил так тихо, точно речь шла о великой тайне, ведомой лишь ему, страннику:

– Зашумят вокруг тебя леса дремучие сладкими голосами о мудрости Господа; запоют тебе птички Божии о святой славе Его, а степные травы курят ладаном Пресвятой Деве Богородице…

Голос странника то возвышался и дрожал от полноты чувств, то опускался до тайного шепота. Он точно помолодел: глаза его сияли так уверенно и ясно, и все лицо сверкало от счастливой улыбки человека, который нашел исход чувству радости своей и ликует, изливая его.

– В каждой травинке бьется сердце Господа; всякое насекомое, воздушное и земное, дышит святым духом Его: всю-

ду жив Бог Господь Иисус Христос! Красота какая на земле, в полях да лесах! Бывал ли ты на Керженце? Тишина там ничему не подобная, дерева, травы – райские…

Фома слушал, и его воображение, плененное тихим, чарующим рассказом, рисовало ему широкие поля и глухие леса, полные красоты и тишины, умиротворяющей душу…

– Смотришь в небо, лежа где-нибудь под кустом, а она все к тебе опускается, как обнять тебя хочет… На душе тепло и тихо-радостно, ничего-то тебе не хочется, ничему не завидно… Так вот и кажется, что на всей земле – только ты да Бог… Братик мой милый! – тихо воскликнул странник, еще ближе подвигаясь к нему. – Коли проснулась душа, коли просится на волю – не усыпляй ее насильственно, слушай ее голоса… Нет на миру, в его прелестях, никакой красоты и святости – чего ради подчиняться закону его? В Иоанне Златоусте сказано: истинный шекинах есть человек! Шекинах-то еврейское слово, и значит оно – святая святых…

Протяжный вой свистка заглушил его голос…».

Так на несколько мгновений спасенный подошел к гибнущему, но не спас его этим. Миллионер, не сбросивший с себя миллионов, идет ко дну того омута, в котором барахтается. Сбросивший их – идет по сухому берегу мира радостный, полный жизни…

XX

Жизни ли? Что такое жизнь? Необыкновенно замечательно и делает честь таланту г. Горького то, что пророческая беседа оканчивается как бы случайно брошенным еврейским словом *шекинах*… «Святая святых» – вот что такое жизнь, и эта жизнь, эта святыня – сам человек. Вы чувствуете, что странник Мирон, отрекшийся от миллионов своего отца-хищника, отрекшийся от своего рода и имени, совсем исчезнувший для прежнего своего быта, – не просто бродяга, вы чувствуете, что он несет в своей груди какое-то величие, какую-то торжественную святость, окончательный и вечный

смысл. Он что-то нашел в природе успокаивающее, дающее блаженство. Принято подозревать всех этих странников в лицемерии и презирать их, как дармоедов, – и, конечно, многие из них неискренни и заслуживают презрения. Но некоторые, немногие? О, недаром народ им верит и чтит как святых. Они действительно святые, и роль их в народном обществе огромная. Правда, они физически не работают или, точнее, не всегда работают. Как истинным аристократам, черный труд, особенно упорный, затяжной, к ним нейдет; он им вовсе не нужен, так как они, подобно аристократам, обеспечены без труда. Как действительно благородному сословию, народ дает этим странникам все нужное. Но эти благородные не берут ничего насильно, им подают с радостью и считают большим лишением – не подать. Ведь всего-то кусок черного хлеба в день, вот и весь, буквально весь расход подобного святого, и неужели он одним своим появлением перед людьми, одною красотой образа своего не заслужил этой милостыни? Милостыни, то есть милых и добрых чувств, овеществившихся вот в этом святом предмете – куске хлеба. Неужели он, презревший все соблазны, возносящий в мир как бы дуновение Святого Духа, способный глубоко растрогать, взволновать душу, вызвать в ней божественные ее силы – неужели он не достоин какого-нибудь сухаря, чтобы поддержать жизнь? Да не кормите его, если вы можете видеть его голодным! Народ этого никак не может; он чувствует, сколько блага идет с этим блаженным, сколько неоценимого и священного он оставляет по себе. Народ знает своих пророков, и верит им, и спасается ими, и, может быть, *только* ими. Чему научаем народ мы, люди книжные, – вопрос еще крайне спорный, хотя, бесспорно, что берем за «свою науку» не кусок только хлеба. А народные пророки, не имеющие, где главу преклонить, дают народу нечто безмерное. Они поддерживают веру в «святая святых», стремление к божественному совершенству, вечное стремление к свободе духа. Как близки эти святые к грешникам и как далеки! Во всем внешнем они совсем бродяги, во всем внутреннем они люди царственной высоты и ходят по земле,

как боги. Мир не вполне мертвый слушает их как посланников нездешней власти и *сколько может* – следует им, и этим держится. Ни пахарь, ни кузнец, ни пастух, может быть, не бросят своего труда на зов пророка, но внесут что-то священное в этот труд, в свое отношение к нему, в свое отношение к миру. И этим прикосновением святого совершается чудо: болящий мир, глухой и немой и расслабленный, в точках прикосновения исцеляется…

Отшельники, странники, старцы, просто добрые и тихие люди в обществе среди мира, живущие, как в пустыне, бескорыстно и ясно, люди, несокрушимые соблазном, – вот кем держится общество во все времена и в наш век «борьбы» и «партий»!..

Не «безумство храбрых» спасает мир – его спасает *мудрость кротких*.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<Семен Яковлевич> Надсон

Во вторник 20-го января* телеграмма принесла из Ялты весть, которая не поразила – ее ждали, но от которой многим и многим сильно взгрустнулось и стало тяжело на сердце. «Бедный Надсон!» – вот общий голос искренней печали пред этою безжалостно раннею смертью. Правда, последние полтора года жизни Семена Яковлевича были сплошной агонией с редкими проблесками покоя, правда, в последнее время к злой чахотке прибавились и невыразимо горькие нравственные огорчения со стороны литературных собратьев, правда, выдающиеся люди на Руси не живучи, но все-таки, как жаль его, бедного, как жаль! Не потому жаль, что русская литература лишилась в нем своего украшения, что погиб талант, еще в младенчестве казавшийся замечательным. Пред свежею мо-

* 1887 г. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

гилой Надсона мне жаль не отечества, не литературы, а жаль *самого* человека, которого звали Надсон, этого – еще так недавно живого юношу с его добрым лицом и тонкою улыбкой, сердечным разговором, чуждым всякой фальши, с блеском вечно одушевленных глаз и с «печалью на челе», как выражались в старину. Есть люди, которых не жаль, когда они умирают: нищие духом, ни на что не способные – они только «небо коптят» да портят кровь себе и ближним: они и сами рады, когда смерть снимает с них тягость существования. Умер – и помяни его Бог. Не то Надсон, он *хотел* жить, он был переполнен внутренней энергией жизни. Живи он – это было бы не гнилое прозябание заурядного человеческого моллюска, а яркое, возвышенное, страстное горение мысли и чувства: процесс, постичь наслаждение которого дается не всем. Такому человеку *стоит* жить, как стоит играть на скрипке музыканту или рисовать художнику. Такие люди единственные, которые сами себя удовлетворяют и рассыпают духовное счастье вокруг. Наше личное существование – будничный обиход живых людей – как бы он украсился присутствием этого сердечного, освежающего и просветляющего духа. Вот его живое – увы! – утраченное значение для нас. Надсон принадлежал, несомненно, к числу тех редких, оригинальных и свободных душ, которых родина – область творчества, образного и идейного, область высшей интеллигенции, где начинаются потоки света, падающие на массу человеческую…

Но умер он, умрем ведь и мы. На короткий срок земного существования от нас зависит не разлучаться с образом дорогих нам людей, поддерживать в памяти их речи и мысли, их личность, как будто они не умирали. Воспоминанья – большое благо жизни, кому есть что хорошее вспомнить.

Жизнь в Кронштадте – я ее близко видел – тяготила молодого поэта. Он рвался совсем в иные сферы. Полковая служба вообще довольно монотонна, но Надсон очень быстро и здесь составил себе общество и сделался его любимцем. Я его помню на маленькой квартирке в две комнаты в Козельском переулке. Он жил с товарищем по полку В. Н. Абрамовым до-

вольно бедно и разбросанно, жизнью богемы, причем вечно у него кто-нибудь сидел, шли шумные разговоры, споры, звон гитары и звуки скрипки. Надсон одарен был разнообразными способностями. Самоучкой он отлично играл на нескольких инструментах, а на скрипке почти читал ноты. «Я еще не знаю: поэт ли я по природе. Мне кажется, я скорее музыкант: я это чувствую», – говаривал он. Действительно, на скрипке и рояле ему удавались иногда задушевные, горячие импровизации. В юные годы, когда еще только шло брожение духовной энергии, понятна неуверенность в себе. Надсон часто отказывал себе в даре поэзии, утверждая, что он был бы счастливее в беллетристике; то ему казалось, что по натуре своей он – критик, и он искал для себя критической работы. Несомненно, он мог бы быть выдающимся в любой из литературных областей, но призвание его все-таки была поэзия. Начитанность Надсона в литературе и в особенности поэтической была просто невероятною. Не было, кажется, самого маленького поэта, которого бы он не перечитал, а раз прочитанное у него прочно укладывалось в голове. Память его в этом отношении была удивительна. Этажерки <Семена Яковлевича> ломились под грудою всяких пиитических сборников, и мечта Надсона была собрать полную коллекцию русских стихотворцев.

Любимою пищею для остроумия <Семена Яковлевича> было цитировать наиболее курьезные места из своих бесталанных собратьев вроде гг. Сальниковых, Мыльниковых и т. п. Начиная со смешного, очень часто Надсон увлекался декламацией и переходил к действительно поэтическим образчикам: изумительное богатство памяти его раскрывалось во всю ширь. Отрывок шел за отрывком: цельных произведений он не знал, а запоминал лишь то, что ему особенно нравилось. Это доказывает, что в сфере поэзии – кроме творчества – у Надсона был тонкий критический вкус. К корифеям поэзии Надсон относился сдержанно: Лермонтова, сколько помню, он любил больше, нежели Пушкина; Гете же, например, он совсем «не понимал», по его выражению. Тургенев, Толстой, Гоголь были любимыми прозаиками Надсона. Читал он не-

дурно – прозу лучше, нежели стихи, но и стихи читал несравненно лучше своих собратьев по музе, гг. Минского[1], Мережковского, Фофанова[2] и пр., которые так плохо декламируют, особенно публично. Они производят впечатление «поющих, вопиющих, взывающих», но не просто «глаголящих», и в этом отношении совсем не идут в сравнение с прежними писателями, например Майковым, Достоевским, Островским, Гоголем – те были чтецами-артистами. Работал Надсон «запоем», что называется. Мысль стихотворения у него долго бродила в голове, и, наконец, он усаживался за бумагу. Нелегка была эта работа. Надсон не довольствовался первою вылившеюся формою стиха – разбивал ее, и снова писал, и опять бросал, пока стихотворение не приобретало сжатости, яркой певучести и сердечности тона. «Просто чумеешь над этою проклятою работой, – говорил он мне однажды, – нанизываешь стишок к стишку, точно бисер». Но это была та сладкая мука творчества, которую истинные художники переносят так же охотно, как пьяница – горечь вина. В голове Надсона всегда переваривался целый запас задуманных стихотворений: в бумагах его остались обрывки поэм и эскизов. Увлекаясь вошедшим в моду буддизмом, наш поэт собирал материалы для большой поэмы «Будда», где рассчитывал весь высказаться. Задумывал он стихотворение «Океан» и «Могила А. И. Г-на» (в Ницце), и те отрывочки, которые я слышал, обещали быть лучшим, что написано Надсоном. Кронштадтской жизни Надсона – в течение двух лет – принадлежат самые блестящие его стихотворения, и некоторые из них навеяны кронштадтскими мотивами («Нет, легче мне думать, что ты умерла», «Не вини меня, друг мой», «Я пришел к тебе с открытою душою», «Затих блестящий зал», «На ближнем кладбище», «Позабытые шумным их кругом», «Сбылося все» и пр.). Первые два-три стихотворения из отмеченных были написаны одной кронштадтской барышне, которою <Семен Яковлевич> увлекся было настолько серьезно, что собирался жениться; к счастию для поэта, барышня оказалась чересчур кронштадтской: не отвечая поэту взаимностью, она была не прочь выйти замуж, а впрочем, ей

было все равно. Все попытки влюбленного поэта найти хоть маленькую искорку Божию в барышне оказались неудачными. После одной мелкой сплетни произошел полный разрыв между ними, и оказалось, что и со стороны Надсона это было не сильное чувство, а простой каприз молодости.

В Кронштадте – как и всюду, куда забрасывала его судьба, – Надсон сейчас же становился центром кружка, собирал начинающих поэтов, пробующих себя писателей, любителей драматического и всяких других искусств. И кронштадтские непризнанные таланты находили около <Семена Яковлевича> самый теплый привет. Образовалось даже из местных элементов несколько юмористическое «общество редьки». Здесь, вокруг стола, сервированного нехитрыми питаниями и закусками с редькой во главе, кронштадтская богема развлекалась поэзией и музыкой, горячими разговорами и просто шалостями, свойственными подпоручичьему возрасту. Жажда общественной жизни не находила себе достаточного выхода в развлечениях клубов и собраний; <Семен Яковлевич> принимал горячее участие в устройстве спектаклей, литературных вечеров; он сам играл на сцене и читал стихотворения – иногда такие длинные, как «Садко» гр. А. Толстого.

Я не пишу здесь подробных воспоминаний о <Семене Яковлевиче>, предоставляя это сделать лицам, знавшим поэта более продолжительное время. Мне хотелось бы занести на бумаге легкий очерк с личности Надсона, как он сохранился у нас в памяти. Среднего роста, тщедушный, худенький, с узкими плечами и впалою грудью, он по фигуре был типичным нынешним интеллигентом, худокормленным и худосочным. Большая голова с тонкими чертами лица и большим лбом говорила о преобладании духа над плотью, роскошная артистическая шевелюра и борода были отпущены <Семеном Яковлевичем> по выходе в отставку. Наружностью своею Надсон не пренебрегал, и ему даже льстило некоторое сходство с Шекспиром. Чахотка наложила на симпатичное лицо поэта свой отпечаток: бледную синеву и желтизну кожи, горячий блеск глаз и т. п. Кроме чахотки, <Семен Яковлевич>

страдал и другими болезнями на общей почве малокровия. Детски неразвитая грудь, помимо несчастных случайностей, рано или поздно предвещала ему чахотку. Характер Надсона отличался искренностью и отзывчивостью, в нем было много женственного. Отличаясь особенною способностью завязывать дружеские отношения, <Семен Яковлевич> не обладал достаточным житейским опытом, и искренность его ставила часто в необходимость расставаться с людьми так же скоро, как он сходился. Болезненная раздражительность к концу жизни, блестящее остроумие, колкость языка вооружали против него лиц, не перестававших в то же время его уважать. Все литературные слухи, домашние мелкие истории он принимал горячо к сердцу и, окруженный женщинами, очень часто платился недоразумениями. На замечание – как ему не надоест интересоваться будничной стороной литературной жизни – он говаривал, бывало: «Я не могу этим не интересоваться: я литератор. Я не поэт, а именно литератор в самом узком смысле этого слова. Для меня все это – свое, родное, последняя мелочь меня интересует, и если я буду жив…» Мечтой Надсона было основать собственный журнал, набрать молодых сотрудников и занять воинствующее положение в печати. В этом отношении – сколько мы можем судить – печать лишилась в <Семене Яковлевиче> действительно полезной силы. Среди литературных сверстников Надсона мы не знаем ни одного, кто бы был предан делу печати так ревностно, как Надсон, кто мог бы внести в помраченный журнальный мир столько света, искренности, страстной правды и, пожалуй, таланта. Литературная молодежь разрабатывает нынче все какие-то мотивчики, копается в психологических вычурных сюжетах, ищет вдохновенья в индейских сказках (г. Мережковский), в библейских легендах (г. Фруг[3]), в нравоучительных преданьях (гг. Гаршин, Короленко), и пр., и пр. Текущая же, живая жизнь остается в стороне…

Задумав выйти в отставку, Надсон выдержал экзамен на сельского учителя, причем было сочтено, что он кончил курс в высшем учебном заведении (Павловское училище), и экза-

мен состоялся лишь по некоторым предметам. Болезнь, однако, начинала принимать опасный оборот. Надломленные силы Надсона не могли бы выдержать каторжного труда сельского учителя. Надсону было предложено место секретаря в редакции «Неделя», и он поселился в Питере, полный в одно и то же время и самых розовых надежд, и самого мрачного отчаяния: чахотка начала уже душить больного. На средства Литературного фонда и поддержку друзей <Семен Яковлевич> был отправлен за границу. Потянулись печальные, тоскливые дни отравленного существования, мучительная борьба с болезнью, пред которой еще до сих пор немеет наука, – дни постепенного умирания. Об этих грустных днях говорить теперь слишком больно… Единственным утешением поэта было горячее сочувствие к нему литературных друзей и возраставшая не по дням, а по часам популярность его в обществе. В квартире больного в Петербурге кроме литературной молодежи можно было встретить самых почтенных деятелей печати. Общий любимец Надсон сошел в могилу, оплакиваемый всеми.

«Не говорите мне – он умер, он живет»…*

* * *

Так сердечно, как хоронили Надсона, хоронят только действительно близких людей, дорогих и незаменимых. Подробности похорон прочтите в газетах, я хочу рассказать здесь мое общее впечатление… Молодежь, собравшаяся в большом числе на вокзале к часу прибытия гроба из Ялты, предложила свои услуги М. В. Ватсон, привезшей гроб из Ялты, и сейчас же явились дроги, да и те оказались лишними. Молодые, сильные плечи взвалили на себя дорогую ношу и донесли до Троицкого собора, где была отслужена лития. На другой день в 12 часов в собор стеклась такая масса почитателей поэта, на которую я, признаюсь, даже не рассчитывал. Большинство огромное, конечно, студенты и между ними большинство – студентки.

* *Надсон С. Я.* (1886). – *В. Т.*

Просторный светлый храм, весь белый внутри, посредине на черном катафалке – серебряный, сияющий гроб поэта, уставленный венками, и кругом его на почтительном расстоянии – тесно сплоченная, серьезная толпа. Стройное пение измайловского хора, дым кадил и неуловимое ощущение негромкой, но искренней печали… Из толпы проталкивается к гробу то студент, то литератор и кладет еще венок и еще… В бедной шляпке и бедном пледе робко и стыдливо кладет венок из живых цветов курсистка… Это был, кажется, единственный венок из живых, еще свежих, источающих аромат цветов, и как хорошо, что это – от женщин. Проходит Всеволод Гаршин и кладет зеленый венок. Из публики подают серебряный маленький венок… «Певцу труда, познанья и скорбей»… «Дорогому товарищу от каспийцев»… Масса белых и черных лент с надписями. Венок от каспийцев – металлический с фарфоровыми белыми розами и черными атласными лентами. Были венки от Крапивницкого, от Литературного фонда, некоторых редакций. Венок «от кронштадтцев», возложенный на гроб поэта еще в Ялте, – совсем истрепался в дороге, однако его не забыли довезти до могилы. Служба кончена. Толпа теснится к гробу. «Гроб несут только литераторы», – раздается голос Гайдебурова[4], и действительно, к серебряному фону гроба тесно прижались седые и лысые почтенные головы «стариков». Венки разобрала молодежь. Но старикам-литераторам тяжелый гроб оказался не под силу: на улице он перешел опять в руки молодежи – в последние объятия молодого поколения, провожавшего в могилу свою надежду, свою гордость…

Шествие тронулось. Я помню похороны Достоевского, Тургенева. Те были тоже искренни, но слишком колоссальны, и от них веяло, как от больших торжеств, какою-то официозностью. Здесь же толпа была теснее, семейнее, посторонних зевак не было. Студенты составили хор и пели «Святый Боже»: прекрасно пели. В высшей степени чинно процессия дошла до Волкова и повернула налево, в заветный исторический угол, где похоронены Белинский, Добролюбов[5], Чужбинский, Писарев и многие другие. В двух шагах от Добролюбова, рядом с

Афанасьевым-Чужбинским опустили прах Надсона, под сень плакучих берез… Об этом месте мечтал Тургенев, хотя оно – на кладбищенском рынке – приготовлено для нищих. *Цена месту всего 5 рублей*; это *пятый* разряд, куда ни за что на свете не положит своей супруги самый плохенький купец 2-й гильдии. Вокруг могилы тесно столпились друзья Надсона.

И умолк твой голос честный,
И смежился честный взгляд –
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат*.

Этими словами не заговорил, а почти заплакал редактор «Недели», начав свою речь. После него заговорил Фофанов. Этот не говорил, а прокричал свое слово: горячо, страстно и некрасиво. Далее говорили гг. Абрамович, Градовский[7], еще какой-то литератор и еще. Гайдебуров прочел стихотворение Надсона, прочел два стихотворения один студент… Наконец, начали расходиться, унося с могилы Надсона цветок или веточку на память.

Так похоронили Надсона.

<Николай Семенович> Лесков

В ночь на 21-е февраля (день смерти Гоголя) уснул навеки Н. С. Лесков. Он уснул – так тиха была его кончина. Сердце остановилось – обычная смерть писателей, имеющих сердце: слишком большою тяжестью давит современная жизнь на этот хрупкий двигатель жизни. Может быть, немногие помянут Николая Семеновича сердечным вздохом любви к нему и жалости: он слишком одиноко стоял и в литературе, и в жизни. Он не гнался за дешевой популярностью и не имел ее. Но те немногие, которые знали его не только как «занимательного беллетриста», но и ценили его сильный талант, светлый и

* *Михайлов М. Л.*[6] Памяти Добролюбова (1861). Первая строка приведена не совсем верно. У Михайлова М. Л.: «Вот и твой смолк голос честный…». – *В. Т.*

гордый ум и хотя гневное, но в существе очень доброе сердце, – те проводят его в могилу с горьким чувством. Я знаю, что имя Лескова с давних пор окутано в литературе тенями ненависти к нему, клеветы и злословия; на это имя была наложена своего рода анафема, снятая лишь в последнее десятилетие. Лескова считали одним из самых лютых бойцов реакции (за его романы «Некуда» <1864>, «На ножах» <1870–1871> и пр.), и действительно, в качестве обличителя он проявлял не столько тонкую, сколько сокрушительную силу таланта. Зарисованные им типы нигилизма чудовищны по своей низости и вселяют отвращение. До точности ли верен был Лесков натуре, отражая жизнь, я не берусь судить: я не помню 60-х и 70-х годов, но думаю, что «Собакевичи и Ноздревы нигилизма» (как метко выразился о них Герцен)* действительно существовали, как существуют они доселе во всех партиях русского общества, составляя для всех партий заразу, от которой они гибнут. Лесков, может быть, потому был «на ножах» с циниками либеральной идеи, что более других чувствовал осквернение ими этой идеи, существо которой – гуманность и нравственная чистота; за нее именно, за эту чистоту скорбел он и возмущался со всею пылкостью своего страстного характера. Надо было иметь огромное нравственное мужество, чтобы выступить против варваров прогресса в те годы, когда они казались героями. Лесков знал, что он рискует литературною карьерой, и пренебрег этим; он продолжал бороться и тогда, когда имя его было затоптано в грязь и когда почти все двери тогдашних редакций закрывались для него одна за другой. Но и после нашествия варваров в литературе осталась память о Лескове как о каком-то отреченном, и эта стихия отчуждения тягостно отразилась на работе его крупного таланта – дарование мелкое, конечно, совсем не вынесло бы подобного гнета. То, что оставил Лесков, далеко не есть то, что он мог бы дать при благоприятных условиях, но все же он успел дать двенадцать огромных томов художественной прозы, представляющей совершенно своеобразный, причудливый, крайне яркий

* *Герцен А. И.* Былое и думы (1852–1868). – *В. Т.*

мир картин из русской жизни. Что бы ни писал Лесков, он всегда писал талантливо и всегда интересно, а некоторые его вещи достойны войти в классическую литературу («Соборяне» <1872>, «Очарованный странник» <1873>, «Запечатленный ангел» <1873>, «На краю света» <1875>*, «Юдоль» <1892> и др.). По оригинальности и широте таланта Лескова можно сравнить только со Щедриным и Достоевским. К сожалению, критика еще едва коснулась Лескова, и пройдет немало времени, прежде чем будет установлено его значение.

Я не помню «боевой» деятельности Лескова; я знал его последние два года, то есть таким, каким он сделался к концу жизни. И это был человек отнюдь не торжествующего теперь настроения, напротив! Я не знал другого писателя, который так изнемогал бы душою, который болел бы так искренно и даже страстно при каждом проявлении дикости в русском обществе. Варварства он не любил ни в чем, ни даже в самых светлых по источнику движениях. Примкнув всем сердцем к учению Л. Н. Толстого, он питал к великому писателю глубокое уважение, но оставался и здесь независимым и требовательным, как и в эпоху либерализма. Он не любил ни в чем сектантства с его узкостью взглядов, с его отречением от живого личного творчества в деле мысли, с его идолопоклонством. Идеалы Лескова, выразившиеся в его положительных типах, безупречны: выше всего он ставил в человеке благородство и великодушие, отречение от суеты и кроткое служение людям. И это проходит в его произведениях через всю 35-летнюю деятельность, завершаясь в последней декабрьской книжке «Русской мысли» святыми типами Праши и Авеля (см. рассказ «Дама и фефела»)[1].

Недостатки Лескова… Они у него были, но не *мне* говорить о них. Мне хочется сказать только, что у него были достоинства, заставлявшие забывать слабости слишком страстного темперамента, и достоинства высокие. Он был поистине живой человек и горел жизнью до последнего вздоха. Когда, бывало, ни зайдешь к нему в его маленькую уютную квартир-

* Опубл. впервые под названием «На краю света (из воспоминаний архиерея)» в журнале «Гражданин». – *В. Т.*

ку на Фурштадтской, всегда застанешь его чем-нибудь взволнованным, расстроенным или восхищенным: каждая низость в обществе делала его больным на несколько дней, и он брюзжал и клял ее, зато и каждый признак свежей, чистой жизни в литературе, политике, обществе приводил его в умиление: он радовался, как ребенок, и «носился», как говорится, с хорошею новостью, спеша всем сообщить ее и расславить. К молодым писателям, обнаруживающим дарование, он питал просто отеческую нежность: он первый писал им письма, приглашал их к себе, хвалил их и часто захваливал до преувеличения. Помню, покойный П. А. Гайдебуров серьезно жаловался, что Лесков «портит» ему сотрудников, так что даже остерегался сообщать ему адреса их. Но действительное дарование трудно испортить похвалой – чаще оно хиреет от непризнанности и враждебности в литературной среде. В Лескове, который по возрасту и заслугам мог бы считать себя «литературным генералом», не было и тени этого противного генеральства: он был необыкновенно для всех доступен и со всеми одинаково прост и любезен; для друзей же своих он был верный и честный друг, пока не разочаровывался в них. К своим литературным сверстникам-старикам он относился без всякой зависти: напротив, он их расхваливал выше меры, например г. Боборыкина[2]. О собственном таланте он избегал говорить или называл его небольшим, и это была искренняя скромность. За что негодовал он на писателей – и старых, и малых – это за недостаток мужества, за стремление к наживе, за подделывание себя ко вкусам рынка, и в этом он был несговорчив, неумолим. Как кровный русский человек, сын нездорового, веками растленного общества, Лесков не чужд был крайностей в характере, но основная, подлинная его природа была благородна.

Я не пишу здесь воспоминаний о Лескове; он имел друзей, более меня близких, и на них лежит долг сохранить для потомства образ этого замечательного человека.

Смерть его была неожиданна; хотя он страдал уже несколько лет, но превозмогал болезнь. Каждую зиму он умирал; приступы грудной жабы душили его, и год тому назад

все знавшие его со страхом ждали рокового исхода. Но судьба помиловала Лескова, профессор Чудновский[3] поставил его на ноги, и прошлое лето Лесков провел в Меррекюле, сравнительно здоровый. Осенью он чувствовал себя еще лучше, но уже в начале зимы начал опять хворать. В январе он еще выходил. За несколько дней до смерти больного посетил Т. И. Филиппов[4]; это посещение крайне взволновало Лескова. По совету Филиппова он прервал лечение, предписанное докторами, и попробовал гомеопатию. Ему сделалось хуже. В субботу, однако, ему еще было сносно, он был весел и шутил; в воскресенье он встал с постели, но слабость увеличивалась, и родные не отходили от него. В ночь с 20 на 21 докторами был замечен упадок деятельности сердца. Больной кашлял и задыхался. К полночи ему сделалось легче, он собрался заснуть немного и затих – на этот раз навеки.

Он скончался так, как желал – без страданий. Лицо его приняло, как у всех бывает, самое лучшее выражение, какое было у него при жизни: выражение вдумчивого покоя и примирения. В своей «посмертной просьбе» Николай Семенович оставляет все, что после него осталось, дочери, сыну и воспитаннице Варе Долиной – сиротке, которую он призрел и воспитал, как истинный отец (хотя она была для него по крови чужая). В трогательных выражениях он просил друзей не оставить Варю и дать ей возможность окончить образование. Просил также не делать церемоний около его гроба, похоронить по последнему разряду, над могилою речей не произносить и памятников не ставить, кроме простого деревянного креста. «Прошу, – пишет он, – прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием мне вреда была приносима служба Богу, в Коего и я верю и Которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову Господа моего Иисуса Христа».

Лесков, по-видимому, готовился к смерти. На письменном столе Николая Семеновича остался Новый Завет, раскрытый

на послании Павла: «…Знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный…» (2 Кор. 5:1).

Хоронили Лескова скромно, в присутствии только близких знакомых, на Волковом кладбище, недалеко от могилы Шелгунова. Схоронили тело, но пусть душа его не умирает в нашей памяти и любви.

<Яков Петрович> Полонский

Умер бедный Яков Петрович. Совершилось то великое и страшное, чего сам он, страдая, ждал минутами с томительным нетерпением, чего с тяжелой скорбью ждали близкие ему. Не умер, а постепенно иссяк жизнью, как высыхает кипучий и чистый родник, берущий начало в недостижимой глубине. На дне родника остается немного ила – осталось лежащее теперь в гробу бездыханное тело, страшно изнуренное старостью и болезнью. Светлая душа исчезла, как испаряется прозрачная влага в синеве небесной…

Уже в пятницу, когда я зашел узнать о здоровье Якова Петровича, мне сказали, что он лежит в забытьи, что ему дают камфару, мадеру, чтобы поддержать сердце. Доктора говорили, что на одном лишь сердце жизнь еще держится…

> И я тянусь… Тянусь, как луч, в одну струну…
> Что, если сердце оборвется?*

И оно оборвалось, наконец. В воскресенье Полонского не стало. Почти восемьдесят лет** это горячее сердце билось из секунды в секунду с биениями сердец еще наших прадедов и дедов, отцов и нас самих, с каждым вздохом бесчисленных миллионов людей, нарождавшихся и умиравших. За час еще

* *Полонский Я. П.* Сумасшедший (1859). – *В. Т.*

** Во всех некрологах и биографиях говорится, что Я. П. Полонский родился 6 декабря 1820 года. Но он сам мне не раз говорил, что это ошибка; он родился в 1819 году. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

до смерти пульс был 82, сердце билось спокойно – и, наконец, тихо, без страданий остановилось…

Поработало-таки это могучее сердце и пострадало, если вспомнить его удивительную нежность, его чуткость ко всему, что в человечестве творилось в наш буйный век, столь гордый и несчастный. Вспомните, что Полонский родился, еще когда Пушкин был юношей, а Лермонтов – четырехлетним ребенком. Он проснулся к жизни в эпоху героическую, почти средневековую – так далека она от нас, не помнящих крепостного быта. Начинался век нашего Возрождения, золотой век поэзии и литературы. Полонский пережил – и не как зритель, а как артист – всю великую сцену нашего духовного расцвета и дождался даже упадка его. Полонский не из книг, как мы, знаком был с именами Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Белинского… Он с ними жил, с ними действовал, он сам участвовал в подвиге собирания духа народного в вечных его выражениях. Судьба бросила Полонского в общество больших талантов; его друзьями были Майков, Тютчев и Фет[1] – и он не потерялся в их блеске, а сам засверкал пленительными лучами. Среди больших поэтов он не казался малым – нет! Он принадлежал к их же удивительной, с ним совсем вымершей породе. Пусть у него не было стихийной глубины Тютчева, чарующей грации Фета, ясной законченности Майкова, но у кого из наших поэтов было столько задушевной нежности, как у Полонского, столько сердечной прелести и той правды, которая дается младенчески чистому взгляду на мир? В пяти томах его лирических стихотворений не все одинаково ценно (как даже у Пушкина), но если отобрать – как у Тютчева и Фета – одни перлы, какая это красота, какая жизнь!

Первый томик свой Полонский выпустил пятьдесят четыре года тому назад. Вступление его в жизнь было омрачено гибелью целой рати наших поэтов – Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, гибелью Батюшкова[2], Рылеева[3], Веневитинова[4], Полежаева[5]… Полонский вместе с Майковым и Фетом поднялись, точно свежие колосья на побитой грозовою тучей ниве нашей поэзии, и сурово встретила его жизнь. Влюбленный в красоту

и в правду, он пережил все тогдашние терзания, пережил гнет бедности и подневольной работы, пережил и те гонения, которые стесняли литературу полвека тому назад. Но какую сверх того драму вынес он со всей Россией! Он изнемогал от печали в дни наших поражений, он упивался надеждами освобожденья и видел сам воочию ту великую эпоху. Сколько кипучей страсти, восторгов, мечтаний, борьбы вынесла нежная душа поэта! Он предчувствовал то, что не вместится и в сотне томов. Вспомните, сколько за эти восемьдесят лет одних войн пережила Россия – войну турецкую, персидскую, польскую, венгерскую, крымскую, вторую польскую, кавказскую, вторую турецкую, среднеазиатские походы… Отзывчивый поэт переносил всю тревогу родной истории, он пылко волновался, как все русские, и европейскими событиями, – а какая пестрая, ослепительная по блеску эта полоса нашего века, начиная с бурного 48 года! Какие феерические войны, какие перевороты! Но что значили эти все волнения в сравнении с внутренним беспримерным движением в самой России. Вся она тогда была в брожении, как гигантский чан с виноградным соком. Все видели, что готовилось или драгоценное вино, или дешевый уксус – смотря по вниманию к этому бурному процессу, смотря по искусству управлять им. Полонский был сам среди ферментов этого брожения, он стоял в ряду великих идеалистов того времени, «людей сороковых годов». Он был старше Льва Толстого и немного моложе Тургенева, он работал в одно время с ними, с Достоевским, Гончаровым, Щедриным, Некрасовым, Добролюбовым, Писаревым… Всю эпоху «бурь и натиска» он пережил на поле журнальных битв – не столько сражаясь, сколько держа знамя мира, поэзии и красоты. На него сыпались громы тогдашней критики, Полонского обвиняли в мракобесии, но почитайте его стихотворение «Литературный враг», чтобы оценить, с каким достоинством держал себя поэт в этой журнальной свалке:

…Господа, во имя правды и добра
Не за счастье буду пить я – буду пить
За свободу *мне враждебного пера*![6]

Да, Полонскому было, что порассказать на склоне лет. Со своими знаменитыми костылями, за письменным столом он напоминал старого ветерана литературы, хранителя преданий. Он напоминал героя, но как удивлял этот герой своею скромностью, как стыдился своей славы и не верил ей! Перед самой смертью все еще сокрушался, что не мог и не успел написать ничего того, о чем мечтал, самого лучшего и заветного…

Я имел счастье познакомиться с Яковом Петровичем лет шесть или семь тому назад, то есть знаю его только в последние, старческие его годы. Он был благосклонен ко мне и добр, встретив литературные мои попытки с редкою сердечностью. Особенно трогала меня благородная его терпимость к мнениям, которых он не разделял. В его памятном для множества людей в Петербурге кабинете допускалась та священная свобода, без которой самая благонамеренная мысль не действует или становится лицемерием. Человек русский, переживший с Россией почти десятую часть всей истории ее, вобравший в себя весь дух народный, Полонский был – как и народ наш – глубокий консерватор, но консерватизм его был, как и в народе, жизненный, отстаивавший не все сплошь, что *есть*, а, главным образом, то, что *должно быть*. Консерватизм его, как у Хомякова, Киреевского, Аксаковых, не исключал свободы как органического условия всего живого. Вот эта прекрасная черта вместе с уважением к таланту и доброте поэта привлекала меня, как и многих, в его гостеприимный дом. Он не скупился на одобрения, но не скрывал и укоров, которые делал с крайним добродушием. Его, например, огорчало мое почтительное отношение к одному великому писателю, которого и он высоко ценил как художника, но которого нравственное настроение ему казалось вредным. С большою силою и страстностью он ратовал против этого великого писателя; с частью доводов его я соглашался, с другими – нет, и он великодушно выслушивал мои возражения, понимая их источник. В этом раздоре между двумя старыми идеалистами я видел, как и во всяком человеческом раздоре, – какую-то невыясненность, ужасно грустную. Нынче летом, посетив По-

лонского в Либаве, я с радостью узнал, что между дорогими мне старцами произошло некоторое примирение; младший из них написал старшему письмо, которое было принято с теми же христианскими чувствами, с какими было написано. *Согласия*, конечно, не произошло, но то, что в несогласии было особенно тягостным, исчезло. Говорю об этом эпизоде теперь, при открытом еще гробе поэта, чтобы удостоверить, что он не унес с собою дурных чувств с этой грешной земли, – он унес с собою мир и благоволение, с какими родился.

Не стало Полонского. Весть эта отзовется глубокой печалью всюду, где еще чтится поэзия, где еще не разучились грамоте. Мы переживаем мрачное время упадка культуры, упадка духа народного и общественного. С Полонским закатился век нашей поэзии, погасла последняя заря ее. Молодые стихотворцы – их много, есть между ними бесспорно даровитые,– но есть ли между ними хоть один истинный художник? Когда я глядел на Якова Петровича, на его старое желтое лицо с морщинами, как у угодников на иконах, когда я слушал недавно еще звучный, пророческий его голос, идущий как бы из старины глубокой, я вспоминал наших молодых писателей. Сколько юности в этом ветхом старце, сколько свежести воображения! Насколько он был моложе некоторых едва совершеннолетних, но уже разлагающихся в психическом маразме наших жрецов Аполлона! Он телом похож был на мощи, но до последнего вздоха жил великими очарованиями, был влюблен в природу, был весь полон божества и сострадания к людям. А молодежь уже успела во всем извериться, во всем усомниться и сказать ей нечего, решительно нечего. А ведь сколько талантливых и искусных между ними!

Тайна поэзии, как все истинно великое, неизъяснима. Она – как вдохновение религиозное, как творчество мысли – есть самый тонкий и драгоценный продукт природы. Она, быть может, есть сама жизненная сила, начало священное. Но ее животворящий дух дается не даром: он требует героических усилий нравственных, требует самых чистых жертв в целом ряду поколений. Смерть последнего нашего знаменитого поэ-

та есть великое напоминание. Не пора ли очнуться от унылой прозы, в которой мы погрязли? Не пора ли выйти из умственного удушья и вернуться к настроениям радостным, жизненным и прекрасным, чего бы это ни стоило? Иначе для чего же приходили в мир великие поэты и не для камней ли, как слепой Бэда* у Полонского, проповедовали они «чувства добрые»?

<Владимир Сергеевич> Соловьев

Не говори с тоской: их нет,
А с благодарностию – были!
<Жуковский В. А. Воспоминание>

Хотелось бы говорить только с *благодарностью* о милом и добром Владимире Сергеевиче Соловьеве, но как не тосковать, как не испытывать гнетущей горечи утраты, столь тягостной и невозвратной! Его «нет», но он еще так недавно «был», он еще весь живой стоит в нашей памяти, прекрасный и светлый, и помириться с неожиданным исчезновением его слишком трудно.

Не говори с тоской: их нет…

– тихо шепчет сердце и себе не верит. Жестокое *нет*! Тяжелой раной оно долго будет болеть в литературе русской и, как зажившая рана, будет еще долго временами ныть – особенно в серые, ненастные дни, которыми так богата писательская жизнь.

Поистине Владимир Сергеевич Соловьев – один из милых сердцу тех «милых спутников, которые наш свет своим присутствием для нас животворили…». Уже одним присутствием и почти только им одним он животворил своих друзей, одним присутствием делал их радостнее, благороднее. Мы окружены великими тайнами, мы все во власти внушений, мы, сами не замечая, принимаем дух существ, нам близких, и если вблизи вас дух возвышенный и нежный – вы поддаетесь прекрасному

* *Полонский Я. П.* Бэда-проповедник (1840–1845). – *В. Т.*

очарованию, не оценивая его. Для действующего поколения русских писателей Владимир Сергеевич Соловьев не был вождем – по крайней мере, я не знаю его школы, – но он был, как никто, именно «милым спутником», живая близость которого ободряла и влекла иногда больше, нежели повелительная сила первостепенных талантов. Вожди далеко, часто они за гробом; необходимо, чтобы бок о бок с вами в ряду борцов шел близкий сердцу, приветливый и чуткий человек. Таким был для нас этот общий любимец партий. Говорю – общий, так как даже враги его любили, то есть при отвлеченной, иногда очень острой вражде чувствовали самое бесспорное влечение к нему как к человеку. Влечение это было тем трогательнее, что было бескорыстно: оно опиралось не на литературные заслуги Соловьева, а на его необыкновенно привлекательную личность. Его любили, как все прекрасное в природе – за красоту, не справляясь о других ценностях. Любили его за несравненное и в лучшие его годы прямо «божественное» благородство внешнего облика и за столь редко совпадающую с красотой душевную прелесть, за редкую доброту и женственность сердца, за гений кроткий – с явным тяготением к божеству. В наш безвкусный век, в эпоху восторжествовавшей прозы Владимир Соловьев казался каким-то виденьем, столько было в нем черт небесных, столько романтичности, столько поэзии. Подобно Лермонтову, на другой лад, но всю жизнь свою

О Боге великом он пел,

– и хотя мы, многие, не могли понять этой песни, не могли принять ее, – мы чувствовали, что

Хвала его непритворна была…

Вот эта черта бесповоротно покоряла многих этому замечательному человеку: его искренняя религиозность. Эта высокая черта так шла к красоте его и душевной прелести, так тонко оттеняла благородство духа. Отнимите религиоз-

ность у ангелов – что останется? Чем-то ангельским веяло от Владимира Соловьева в его молодые годы, как говорят те, кто помнит его тогда. Я в первый раз увидел Соловьева двадцать лет тому назад, на вступительной лекции в университете и на его знаменитых чтениях «О богочеловечестве». Соловьеву было тогда двадцать семь лет, он был в расцвете своей строгой красоты. Пророческое, вдохновенное лицо, пророческий голос, проникающий в душу, благородный, прекрасный язык. Я помню, как поражена была и взволнована аудитория, как притихло студенчество – разодетое в холщовые рубахи, пиджаки, рабочие блузы – по революционной моде того тревожного времени. То было начало восьмидесятых годов – и уж, конечно, девять десятых молодежи были атеисты, хоть и не совсем искренние, не совсем равнодушные к тому, есть Бог или нет. Слишком пылкие отрицатели, они явно выдавали затаенное желание вернуться к дорогой мечте, но сознание не допускало об этом и мысли. И вот в такой аудитории послышалась речь пророка…

Я помню, как страстно вслушивался я в каждое слово, ловил все оттенки мысли молодого философа. Я ждал, что вот-вот прозвучит откровение, и мы узнаем, наконец, тайну мира. Но я ждал и не дождался. Слова были прекрасны, но мысль темна. Чувствовалось великое стремление, но *силы*, захватывающей и влекущей, не было. Поэт, он хотел пересказать то, что для него самого было загадкой. Шла лекция за лекцией, и каждая возбуждала надежды, и каждая давала неудовлетворенность. Не разочарование, а чувство чего-то несбывшегося хорошего, что должно быть и почему-то не случилось. Совершенно то же впечатление произвели на меня впоследствии сочинения Владимира Соловьева: все они раскрывались с жадным интересом, и лишь немногие удовлетворяли. Это как музыка, исполненная превосходно и на чудном инструменте, но – нелюбимого автора. Всегда чувствовался редкий и возвышенный, ясный ум, богатство знаний, оригинальность, блеск, но не было чего-то скромного – вроде дрожжей, не было какого-то фермента, который заражал бы вас, вводил бы в творчество автора, в его

душевный процесс. Для меня, по крайней мере, Владимир Соловьев в писаниях своих был как-то холоден и мне не сроден. Он не увлекал меня, не научал.

…Веет тонкий хлад, и в тайном дуновенье
Он Бога угадал*.

– как характеризует сам Вл. Соловьев свой гений. «Тонкий хлад» я чувствовал и даже тайное дуновенье какого-то нежного, высокого духа, но *божества* не чувствовал. Бог открывался во Владимире Соловьеве не как в писателе, а как в человеке, по крайней мере, для меня. Там – в области мысли – он был загадкой. *Здесь* – в живом общении – он был истина, и истина важная, дававшая свет. Истиной казалась его красота, его благородство, чистосердечная прелесть ума и радость чувства. Истиной казалось то, что он такой милый и великодушный, что он так даровит и незлобив, что он по-детски верит в Бога и сочувствует всему хорошему. Но ошибкой – или, по крайней мере, большой неясностью – казались мне его богословская и философская метафизика, его идеи о соединении Церквей, о законности и неизбежности войн, о подчинении одних рас другим, о необходимости насилия, о пришествии антихриста и пр., и пр. При множестве встреч и разговоров не хотелось даже возражать ему, да он и не любил возражений. Отношения прекрасные, пока они оставались человеческими, тотчас портились, как только вы делали попытку серьезно проверить мысль свою.

Помню один вечер в Царском Селе. Владимир Сергеевич зашел ко мне, чтобы пойти вместе гулять. Шли и разговаривали дружественно; он знал, как я ценил его ко мне расположение, и, как всегда, он был очень добр. Чудный парк кругом сонного озера, молодой месяц на тихом небе. Все располагало к миру, но вдруг разговор коснулся острой темы – об абсолютном зле. Неосторожно я вступил в спор, пробовал объяснить,

* *Соловьев В. С.* В стране морозных вьюг, среди седых туманов… (1882). – *В. Т.*

что если зло абсолютно, как добро, что если так называемый дьявол столь же могуществен, как и Благая сила, то выходит двубожие и бессмыслица. Владимир Сергеевич не уступал ни йоты, и я почувствовал, что ему больно. Я смолк, он заметил это и поблагодарил замечанием, что спор наш – в этот чудный вечер над озером – напомнил ему молодость и заставил помолодеть. Его мягкая душа старела при тени несочувствия, ей нужна была только любовь, только ласка… Мы заговорили о планетарной жизни, о материальной видимости этого мира, и он очень рад был услышать мое мнение, близкое к его. Но вслед затем я опять был поражен и принужден к молчанию.

– Знаете, во мне последнее время такое чувство, что мир кончается, – говорил <Владимир Сергеевич>. – Почему-то мне кажется, что земле и вот этой тверди осталось лет двести каких-нибудь, не больше. Иногда я чувствую, что не умру вовсе.

– Но что же будет потом, через двести лет? – спросил я робко.

– Как что? Будет кончина мира и второе пришествие Сына Человеческого.

– А потом?

– Потом – Страшный Суд.

– А после?

– Затем – новое небо и новая земля…

Соловьев говорил все это в высшей степени серьезно и даже строго, с оттенком удивления тому – как это я не знаю общеизвестных вещей.

– Но при воскресении мертвых, – спросил я, – что же станет с иными живыми существами, кроме человека? Воскреснут ли и они? Например, вот эти комары, нас преследующие?

– Ну, это – грязь… – задумчиво заметил Владимир Сергеевич.

Он не был «сын своего века», он был сыном веков, и в этом отношении ученейший доктор философии не отличался от дворника того дома, в котором жил. Он не метафорически, а в действительности «шел с народом в тот же храм, молился с ним одним богам». Он верил во все, во что народ верит – в

личного Бога, в Сына Божия, в единую соборную апостольскую Церковь, в те же учения, религиозные и политические, в те же нравственные устои. Изящный поэт и критик, сотрудник «Вестника Европы»[1] и европеец во множестве хороших (и даже лучших) отношений, он показался бы своим человеком в любой крестьянской хате, и не внешностью, а именно интимной сущностью своего духа. Помню, как впервые встретил Соловьева у одного поэта, который благоговел пред ним. Это было давно, когда седина еще чуть тронула философа, и я помню свое удивление, когда этот красавец с головой олимпийца, изящно приложившись к руке хозяйки, перекрестился совершенно по-мужицки и стал есть суп. Оказалось, что суп был постный, так как был постный день. Совершенно по-народному, по-церковному Соловьев считал мясо скоромным, а рыбу – нет и в видах борьбы с плотью не ел мяса. Совсем по-народному он верил в черта и еще года два тому назад рассказывал, как его преследуют нечистые. «Не знаю, во сне это было или наяву, но вдруг чувствую, что *он* стоит за спиной и злобно пищит: “Ага, попался, длинный!..”» И отчитывал черта Владимир Сергеевич по-народному же, по правилу св. апостолов, специальным заклятьем. Исповедовался у известного старца, говел, молился, поминал умерших и пр. – все это, как простой крестьянин. В политическом миросозерцании его верой было народное же понимание самодержавия, по формуле Ивана Грозного. Вместе с народом он чтил таких героев русской истории, как Петр Великий, Суворов и т. п., вместе с народом уважал войну – и особенно с басурманами. Последний славянофил, он был представителем души народной на вершинах европейского просвещения, и если кое в чем расходился со своею школою, то лишь в том, в чем разошелся бы с нею и народ. Нет сомнения, что стремление к единству Церкви, к вселенскому, соборному ее союзу было бы одобрено и народом, как и полная терпимость к инородцам, как и требование свободы духа – религиозной и общественной. Вот эта-то широта и искренность миросозерцания, эта наивная народность его была причиной того, что Вл. Соловьев примыкал ко

всем партиям, не будучи нигде принят как свой. Консерваторы вроде Достоевского, восторженно увлекшись им, кончали разочарованием, но и либерализму – в прежнем понятии этого слова – он обходился дорого. Блестящий диалектик и полемист, Соловьев вел столь же охотно спор с ретроградами, как с позитивистами, одинаково со столь близким ему по духу славянофилом, каким был Страхов[2], и столь далеким, каков г. В. Розанов[3]. Последнюю враждою этого очень доброго человека был Л. Н. Толстой, враждою тем более острой, что она была односторонняя. В этой вражде, как мне кажется, Вл. Соловьев отдал свою дань слабости человеческой – и я не стану говорить о ней. Скажу только, что и в этой вражде он дал случай подивиться его характеру, его уступчивости и доброте. После одного бурного объяснения, когда ожидался полный разрыв его с одним из друзей, последовали объятия и поцелуи, и примирение стало возможным. С Вл. Соловьевым самые жгучие враги его вновь сходились, когда хотели, и он снова делал для них все, что мог, и если снова становились его врагами – он прощал и это…

Всю жизнь одинокий, Соловьев окружен был в то же время блестящим обществом. Идол женщин, он не знал женского ухода, не знал семьи. Человек с огромною возможностью к роскошной жизни жил почти как нищий, кочуя из номера гостиницы в номер, помещаясь иногда чуть не на чердаке, ходя в оборванном платье. Обыкновенно он не знал счета деньгам и не раз закладывал академическую медаль, смеясь своим беспечным смехом. Этот удивительный человек жил особенною жизнью, как никто, кого я знал. То затворническая, полная усидчивого труда, то рассеянная и праздная жизнь эта была соткана из добровольных ограничений и пленительной свободы. Соловьев слыл философом, но был в сущности поэт. Много говорили о его аскетизме, но это был аскетизм скорее рыцаря, чем монаха. Соловьев не сидел на месте; он странствовал, как бедный рыцарь, из дома в дом, из журнала в журнал, преломляя копье в бесчисленных схватках в честь мечты своей; в честь ее он хранил обеты. В

старинные времена, благородный и нежный, он дрался бы под стенами Иерусалима, но ни св. Франциск, ни св. Антоний[4] не нашли бы в нем верного последователя. «Я не пророк и не сын пророческий», – шутя, заметил он недавно. Он не был и апостолом: великие трагические роли не подходили к нему. Он был поэт; он явился в наш мир не для переворота, а на радость и созерцанье; в нем созрел не плод человеческой души, а прекрасный цвет ее…

Что оставил по себе Вл. Соловьев? Книги, полные неясных, но глубоких дум, полные рыцарственных порывов. Оставил еще память о себе и как бы нечто священное для нас в своем имени. Оставил горькое сожаление – зачем он ушел так рано?

<Николай Николаевич> Страхов

Середина зимы неизменно, каждый год, вырывает из петербургского литературного круга двух-трех писателей, смерть которых становится общей печалью. Нынешний январь 1896 г. унес с собою Н. Н. Страхова. Еще прошлой весной начали ходить слухи о тяжелой его болезни (рак языка), но петербургские врачи сделали будто бы удачную операцию и обнадежили больного. Еще полгода тому назад Страхов писал г-же В.: «Бесподобный Мультановский[1] (врач) разрешил мне говорить и осыпал похвалами крепость и стройность моего организма. Оказалось из “испытания”, что нервы мои крепки, что сердце мое безупречно, и, словом, нет никакого опасного порока в моем теле. Значит, мне предстоит еще жить! Дай Боже терпения и непостыдной старости. А я уже давно считал: ну на год, на два хватит еще меня. Бог судил, кажется, иначе…». Оказалось, что Бог судил именно так, как подсказывало больному самочувствие, и врачи ошибались. Но летом Страхов имел еще силы для укрепления здоровья съездить в Крым и вернулся окрепшим. Еще за неделю до смерти он был бодр и радостен, хотя началось тяжелое сердцебиение, бессонница…

В лице Страхова сошло со сцены целое сорокалетие русской литературы. Он был не из тех людей-гениев, которые *создают* эпоху, но из тех талантов, которые *составляют* ее. Не великая, но крупная, оригинальная, самостоятельная величина. Он родился «поповичем» в те годы, когда из поповичей выходили в литературу резкие, пламенные отрицатели, всей душой захваченные европейским движением: Белинский (внук священника), Чернышевский, Добролюбов – не говоря о массе второстепенных. «Поповичи» стояли во главе прогресса, составляя его разрушительный авангард. Совсем не таким вышел Страхов, хотя и прошел костромскую бурсу, хотя и терпел бедность до того, что не мог даже окончить курса в университете. Потом уже на казенный счет доучился в институте – том самом, откуда вышел Добролюбов. Но какое расхождение путей!

Как многие даровитые люди, Страхов отдался вначале совсем не той науке, к какой имел призвание. Не многим известно, что автор «Мира как целое», «Борьбы с Западом», горячий противник Дарвина, критик, философ и психолог, был по образованию магистром *зоологии*. Правда, начав писать зоологические статьи, он тотчас же сбился на философию и так удачно сбился, что тотчас же отмечен был Ап. Григорьевым[2] как выдающийся талант. Это и решило участь Страхова: он бросил свою уже 10-летнюю учительскую службу и отдался литературе. На это нужно было большое мужество, так как тогдашняя печать почти сплошь состояла из людей враждебного Страхову тона. Но он все-таки выступил. Изящный, сдержанный, приличный в высшей степени, тихий, он вошел в круг шумных и грозных публицистов, которые кроме замечательных талантов обладали манерой полемизировать, напоминающей поединок не на жизнь, а на смерть. «Облить помоями», очернить врага клеветой, изругать из последних слов было самою общепринятою manière de parler*. Но тихий Страхов заговорил – и его заметили; его пробовали заглушить – и не могли. Он говорил со своею сдержанною, простодушною

* Манера разговаривать (фр.). – *В. Т.*

иронией и приводил в ярость тогдашних громовержцев. Он без большого блеска и без всякого треска высказывал огромную для того времени ересь: говорил об ошибках революционного нигилизма, о бесплодности слепого преклонения пред Западом, о необходимости независимой, самобытной работы русской мысли, об односторонности дарвиновской теории и пр., и пр. Очень многое, что написал Страхов, подлежит спору, но очень многое он увидел и предсказал на целые десятилетия раньше других. Его, конечно, обзывали ретроградом, обскурантом, но он мог улыбаться на эти замечания. «Обскурант» этот чувствовал себя и был на самом деле одним из просвещеннейших людей, какие только жили в России, чего нельзя сказать о многих его литературных противниках. Ведя в течение ряда лет «борьбу с Западом», Страхов по крайней мере *знал*, против чего воюет. Он знал европейскую науку, философию, литературу. Он был математик и натуралист не по популярным книжкам, а по высшей школе и, в сущности, всю жизнь не выходил из школы, учась до самой смерти всему, что есть важного в мире. Зная европейские языки, Страхов всю жизнь прожил в сфере самых высших откровений современного и прошлого человечества. Он мог бы сделать блестящую карьеру (в числе близких друзей его были Вышнеградский[3], г. Победоносцев[4] и др.), но он был далек от этого: 23 года тому назад он сделался библиотекарем Публичной библиотеки и дальше не пошел. Да и куда ему было идти с Олимпа, где он чувствовал себя среди богов! Книги (конечно, достойные этого имени) были его обществом, его друзьями. Возвращаясь к себе домой после службы, в Коломну, к Торговому мосту в пятый этаж, он в своих трех очень скромных комнатах встречал многочисленную семью… опять же книг, которые в старинных и свежих переплетах закрывали собою буквально все стены его квартиры, без промежутков. Дорогие, избранные книги, в кругу которых он чувствовал себя «среди домашних». Страсть к книгам была единственною у старого философа-холостяка. Он следил за появлением на рынке интересной книги издалека, за тысячи верст. Он езжал,

бывало, за границу, куда-нибудь в Дрезден, исключительно чтобы купить редкий экземпляр. Но он был «книголюб», как сам себя называл, а не коллекционер, он был сластолюбец знания, тонкий знаток его и ценитель. Немудрено, что критические очерки его о Толстом, Тургеневе, Фете и пр. считаются одними из лучших в критике. Страхов был Колумбом, открывшим для русской публики огромный талант Л. Н. Толстого, которого в то время еще признавали «незрелым» и незначительным. Страхов первый разъяснил значение Аполлона Григорьева, беспристрастно оценил Тургенева, выдвинул Н. Я. Данилевского[5], боролся за поэзию Пушкина, знакомил русскую публику с корифеями западной мысли. Все это он делал не спеша, сдержанно, просто, но очень настойчиво, а главное – с величайшим бесстрашием, совершенно пренебрегая литературными «лагерями». Страхова упрекали, что он *льнул* к сильным мира, к знаменитостям, старым и молодым. Действительно, среди «сильных мира» у него было много друзей, но он был совершенно независим от них и не извлек никакой корысти из этой дружбы. Не со всеми, а только с избранными по уму и дарованию водился он, причем имел бесстрашие любить, кого хотел. Может быть, «сильным мира» не нравилось, например, горячее поклонение Страхова Л. Н. Толстому, а он не только не скрывал этого, но продолжал славить великого писателя и в те годы, когда с одесской кафедры он был объявлен Велиалом, князем тьмы, ересиархом и изменником. На защиту «Велиала» нужно было мужество.

Вообще, тихий и женственный по манерам, философ только и делал, что раздражал большую публику своими ересями. Он шел особняком, с кроткою усмешечкой своею, «против течения»: против нигилизма, материализма, дарвинизма, западничества (в его «модных» эфемерных видах), и в то же время влюбленный в вековые, народные, христианские начала, в поэзию самобытных сил, в идею нравственного блага, он защищал всякую «особенность» от наплыва пошлости. Книжник, он не был фарисеем и тем менее – лицемером. В том же письме, которое цитировано выше, он говорит между про-

чим: «Моя операция как-то всех испугала, и я увидел столько участия, как и не ожидал. Это открытие доброты в людях меня очень занимает. Очень отчетливо я различаю вполне добрых людей от типа деятельного, эгоистического, который везде играет главную роль. Вполне добрые – истинно русский тип, воплощение наших нравственных понятий. Таковы, например… (следует перечисление некоторых друзей). Не могу вспомнить о таких людях без отрады. О, мы не пропадем, мы свое дело сделаем в мире».

Вот в каком добром настроении сошел в могилу бесстрашный Страхов, столько ненавидимый и бранимый. Хоть перед смертью ему удалось все-таки сделать «открытие доброты в людях»…

КОММЕНТАРИИ

Перечень основных изданных произведений М. О. Меньшикова

Публицистические статьи, опубликованные в «Новом времени»

Письма к ближним: [Статьи, фельетоны и заметки]. – Изд. [и соч.] М. О. Меньшикова за 1902–1916 гг. – Спб., 1902–1916.

Публикации в газете «Новое время» // Шлемин П. И. Национальные отношения и права человека в России: (Диалоги с М. О. Меньшиковым, 1906–1908) // Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – М., 1993. – С. 203–209.

Выборный подлог: [Очерк]. – Екатеринослав, [1906]. – 8 с. – Перепеч. из: «Нового времени». – 1906. – № 10964.

Древние документы по еврейскому вопросу. – Харьков, 1908. – [2], 9 с. // Письма к ближним. – СПб, 1902–1906.

Нация – это мы. – Екатеринослав, [1906]. – 8 с. – Перепеч. из «Нового времени». – 1906. – № 10962.

Новый и старый национализм. – Спб., 1907. – 75 с.

По поводу учреждаемого ген.-лейт. Волошиновым Военно-земельного общества. – Спб., 1911. – 16 с.

Успехи национализма. – Спб., 1909. – 107 с.

Что потеряно. [О Первой Гос. думе]. – Кременчуг, 1906. – 12 с.

Современные издания, опубликованные в «Новом времени»

Вечное воскресение: (Сб. статей о Церкви и вере) / Сост. М. Б. Поспелов; вступ. ст. И. Р. Шафаревич. – М., 2003. – 174 с.

Выше свободы: Статьи о России / Сост. М. Б. Поспелов; вступ. ст. В. Г. Распутин; ред. И. В. Домнин. – М., 1998. – 458 с.

Из писем к ближним: [Статьи]. – М., 1991. – 223 с.

Как воскреснет Россия? Избр. статьи / Сост. С. В. Харитонов; предисл. М. Б. Смолина. – СПб., 2007. – 668 с.

Национальная Империя: борьба миров: цивилизация в опасности: Россия прежде всего. – М., 2004. – 505, [3] с.

Письма к русской нации / Сост. и ред. М. Б. Смолин. – М., 1999. – 555 с.; 2-е изд. – М., 2002; 3-е изд. – М., 2005.

Русское пробуждение: [Сб. статей] / Под ред. В. С. Чижевского; вступ. ст. А. Н. Савельева. – М., 2007. – 415 с. – (Сер. «Библиотека русского националиста»).

Литературно-критические и публицистические статьи, печатавшиеся в газете «Неделя» и журнальном приложении «Книжки “Недели”» и других журналах

Дети (Из соч. «Начала жизни»). – М., 1899. – 63 с. – (Этико-худож. б-ка. Вып. 9)

Критические очерки. В 2 т. – СПб., 1899–1902.

Народные заступники и другие нравственно-бытовые очерки. – СПб., 1900. – [2], 308 с.

О писательстве. – СПб., 1898. – [2], II, 278 с.

Современные издания критических работ

Кончина века. – М., 2000. – 31, [1] с.

Специальные сочинения

Лоция Абоских и восточной части Аландских шхер. – Спб., 1892.

По портам Европы. 1878–1879 гг.: Очерки заграничного плавания на фрегате «Князь Пожарский». [Ч. 1]. – Кронштадт, 1884. – Автор не указан. – В конце предисл.: «М. М.». – Перепеч. из «Кронштадтского вестника» за 1879–1883 гг.».

Руководство к чтению морских карт, русских и иностранных: По поручению Гл. гидрогр. упр. сост. поручик М. Меньшиков. – Спб., 1891. – [6], 127 с.: 23 л. ил.

Статьи в коллективных сборниках

Красивый цинизм. М. Горький, рассказы, Т. I, II, III, IV. – Спб. 1900 // Критические статьи о произведениях Максима Горького: Михайловский, Скабичевский, Меньшиков, Минский, Поссе, Оболенский, Боцяновский, Игнатов, Геккер, А. Б., С. М. / Изд. С. Гринберга. – Спб.: Тип. А. Г. Александрова в Бендерах, 1901. – С. 181–209.

От издателя // Рескин, Джон. На день рожденья (Birthday-book). Мысли на каждый день / Пер. с англ. В. Микулич; Изд. и [предисл. от издателя] М. Меньшикова. – Спб., 1905. – С. I–II.

Памяти святого пастыря. Завещание отца Иоанна // Святой праведный Иоанн Кронштадтский: [Сборник]. – [М.: Новатор], [1998]. – (Сер.: «Российские судьбы: Жизнеописания, факты и гипотезы, портреты и документы». В 30 кн.).

Художественные сочинения

Исповедь // Новое время. – 1906. – 26 февр.

Красное знамя. – Спб., 1906. – 6 с. Впервые опубл.: Новое время. – 1906. – 18 дек.

Несчастный // В добрый час: Сб. в пользу О-ва вспомоществования нуждающимся ученицам Коломенск. женск. гимназии. – Спб., 1895. – С. 9–17.

Цари Востока: Святочная сказка // Новое время. – 1910. – 3 янв.

РАЗДЕЛ III
НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ

Начала жизни: Нравственно-философские очерки

Впервые опубл.: Начала жизни. Роль женщин // Книжки «Недели». – 1898. – № 10. – С. 140–183; Начала жизни. Охрана семьи // Там же. – 1898. – № 11. – С. 128–174; Начала жизни. Дети // Там же. – 1898. – № 12. – С. 186–234. Подп.: М. Меньшиков. Примеч. к статьям: «Предлагаемые здесь очерки составляют продолжение “Элементов романа” того же автора».

Повторно опубл. отд. изд.: Меньшиков М. О. Начала жизни: Нравственно-философские очерки. Вера в жизнь. – Женщина-мать. – Семья. – Дети. – Возрасты человека. – Поэзия. – Героизм. – Дружба. – Страдания. – Смерть. – Спб., 1901. – 404 с.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Аврелий Августин (лат. Aurelius Augustinus; 354–430) – Блаженный Августин, Святитель Августин – епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик.

[2] Ренан Эрнест (фр. Renan Ernest; 1823–1892) – французский историк и философ. В 8-томной «Истории происхождения христианства» («Histoire des origins du Christianisme», 1863–1883) он развивал свою позицию рационалистической критики, особенно ярко – в первом томе «Жизнь Иисуса» (1863) при объяснении чудес, сотворенных Иисусом. Позиции, высказываемые Ренаном в этой книге, осуждаются Православной Церковью. В 1862 г. Ренана назначили профессором еврейского языка в Коллеж де Франс, через год он был уволен из-за своих еретических взглядов, но после падения Наполеона III вновь занял кафедру (1871). В конце жизни Ренан относился к науке без прежнего энтузиазма. Он уже не был уверен, что наука сможет найти решение всех проблем, и этот скептицизм проявился в его «Философских диалогах и фрагментах» (1876). Здесь снова подтверждаются пантеистические концепции Ренана, почерпнутые им в немецкой философии, особенно в трудах Гегеля. Бог у Ренана – не личный Бог, это Бог, пребывающий – подобно самому миру – в становлении. В этих трудах Ренан близок к атеизму. Философские драмы «Священник из Неми» (1885) и «Жуарская настоятельница» (1886 г.) вносят чувственную струю в атмосферу скептицизма, характерную для Ренана. «Интеллектуальная и моральная реформа Франции» (1872) представляет собой важный документ, позволяющий судить о политических теориях Ренана. В этой работе он проявил себя как консерватор, сторонник монархии, противник всеобщего избирательного права, готовый, однако, согласиться со справедливой республикой. Ренан стал властителем дум поколения 1870-х годов, потерявшего Веру в Бога и ставшего легкой добычей революционных агитаторов.

[3] Каро Эльм Мари (фр. Caro Elme Marie; 1826–1887) – член Французской академии, философ, критик. «Пессимизм в XIX веке.

Леопарди – Шопенгауэр – Гартман. Сочинение Е. Каро» в пер. с фр. П. Е. Макиевского было опубликовано с приложением: «Беседы о пессимизме, происходившей в Берлинском философском обществе в октябре 1878 г.» в переводе с немецкого студента Киевского университета Никандра Молчановского (VIII. – М., 1883. – 372 с. Новая б-ка). В русском переводе печатались и другие сочинения Э. М. Каро: «Современная критика и причины ее упадка: Этюд Е. Каро, члена Французской академии, автора “Пессимизма в XIX веке”» (М., 1883); «Идеи Бога и бессмертия души перед судом новейших критиков» (Т. 3. – Харьков, 1898 в сер. «В защиту идеалов разума», издание «Библиотеки современных западных мыслителей».); «Литтре и позитивизм» (Paris, 1883; русск. изд. – М., 1884).

[4] Шопенгауэр Артур (нем. Schopenhauer Arthur; 1788–1860) – немецкий философ, представитель волюнтаризма, считавший сущностью мира неразумную волю, слепое влечение к жизни, освобождение от которого достигается через аскетизм и сострадание. Основная работа – «Мир как воля и представление».

[5] Гартман Эдуард (вариант – Хартман; нем. Hartmann Eduard; 1842, Берлин – 1906, Грослихтерфельде) – немецкий философ, сторонник панпсихизма, считавший основой сущего абсолютное бессознательное духовное начало – мировую волю. В сфере этики, вслед за А. Шопенгауэром, Гартман разрабатывал концепцию пессимизма. Автор философского труда «Философия бессознательного» (1869).

[6] Бурже Поль Шарль Жозеф (фр. Bourget Paul Charles Joseph; 1852–1935) – французский писатель, поэт, литературный критик. Автор многочисленных романов, в которых отвергал гуманность разума, противопоставляя ему религиозную мораль. Основное произведение – роман «Ученик» (1889).

[7] Леопарди Джакомо (итал. Leopardi Giacomo; 1798–1837) – итальянский поэт-романтик. Лирика Леопарди разнообразна по тематике: политическая, философская, интимная. Автор поэтического сборника «Песни» (1831) и сатирической поэмы «Паралипомены войны мышей и лягушек» (издана в 1842 г.), а также прозаических диалогов «Нравственные очерки» (1827–1845).

[8] Ницше Фридрих (нем. Neitzsche Friedrich Wilhelm; 1844–1900) – немецкий философ. Ницше противопоставлял два начала бытия: «дионисийское» (жизненно-оргиастическое) и «аполлоновское» (созерцательное). Ницше выступал с анархической критикой

культуры, проповедуя эстетический имморализм. Автор сочинений: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Так говорил Заратустра» (1883–1884), «Воля к власти» (опубл. в 1889–1901 гг.).

[9] Екклезиаст (Екклесиаст) – название одной из книг Ветхого Завета, написанной царем Соломоном. Екклезиаст состоит из 12 глав, в них изображается суета и ничтожество всего земного.

[10] Пирон из Элиды (ок. 360 – ок. 270) – древнегреческий философ, основатель скептицизма. Пирронизм – крайняя форма скептицизма.

[11] Гиляров Алексей Никитич (1856–1938) – профессор философии Московского и Киевского университетов, сын публициста Н. П. Гилярова-Платонова, специализировался по древнегреческой философии и наследию Платона.

[12] Тит Лукреций Кар (лат. Titus Lucretius Carus; I в. до н. э.) – римский поэт и философ, давший систематическое изложение материалистической философии древности (единственное полностью сохранившееся), популяризировав учение Эпикура. Главное сочинение Лукреция – дидактическая поэма «О природе вещей».

[13] Гегель Георг Вильгельм Фридрих (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770–1831) – немецкий философ, представитель немецкой классической философии, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. Основные труды: «Феноменология духа» (1807), «Наука логики» (1812), «Философия права» (1821), лекции по философии, истории, эстетике, философии религии, истории философии.

[14] Фейербах Людвиг (нем. Feuerbach Ludwig; 1804–1872) – немецкий философ. Центральное учение – человек как «единственный, универсальный и высший предмет философии». Автор работ: «К критике философии Гегеля» (1839), «Сущность христианства» (1841), «Основные положения философии будущего» (1843), «Основные тезисы к реформе философии», «Сущность религии» (1851).

[15] Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) – английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путем естественного отбора. Автор работ: «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.), «Изменение домашних животных и культурных растений» (Т. 1, 2, 1868 г.), «Происхождение человека и половой отбор» (1871 г.).

[16] Кант Иммануил (нем. Kant Immanuel; 1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, создавший учение «критического» или трансцендентального идеализма. Основные работы: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790).

[17] Тразимах Халкидонский (2-я пол. V – начало IV в. до н.э.) – древнегреческий философ-софист. Идеи Тразимаха известны лишь по изложению Платона, враждебно относившегося к софистам и потому не всегда адекватно характеризующего их воззрения. Как и многие софисты, рассматривал социальные явления с антропологической позиции: вера в богов расходится с нравственными чаяниями людей, люди должны больше полагаться на себя, чем на богов и судьбу. Тразимах был одним из родоначальников идеи общественного договора. Его взгляды на справедливость и право сложились, по-видимому, на основе практики межполисных отношений, а также отношений различных партий внутри полисов периода Пелопоннесской войны, когда право было объявлено силой, а сила – правом. Диалог между Филалетом и Тразимахом в размышлениях Шопенгауэра о государстве, политике и обществе.

[18] Зоровавель (2 Езд. 4:13; еврейск. форма от аккадск. Зеру-Бабили, «семя (потомство) вавилонское»), сын Салафиилов, иудейский князь, которого персидский царь Кир в 538 г. до Р.Х. назначил начальником области Иудеи. В Первой Книге Ездры (1 Езд. 1:8, 11; 5:14, 16) он официально назван своим вавилонским именем Шешбацар. Ряд исследователей выражали сомнения относительно тождественности этих лиц; высказывались предположения о том, что Шешбацар является предшественником Зоровавеля. Но сравнение Первой Книги Ездры 5:16 с 3:2 и Захарии 4:9 не оставляет сомнений, что речь идет об одном и том же лице. Вместе с первосвященником Иисусом Зоровавель привел в Иерусалим возвращающихся из плена иудеев (1 Езд. 2:2; Неем. 12:1–9), восстановил богослужение (1 Езд. 3:1–5) и в 537 г. до н. э. приступил к строительству храма (1 Езд. 3:6–12). Но в результате сопротивления чужеземных племен, переселенных ассирийцами в Палестину, работы приостановились (1 Езд. 4:1–5). Они были возобновлены и доведены до конца только во времена пророков Аггея и Захарии – в 520 г. до Р. Х. (1 Езд. 5:2; Агг. 1:1, 14; Зах. 4:6–10).

После освящения храма в 515 г. до Р. Х. было упорядочено служение левитов и священников (1 Езд 6:14–18; Неем. 12:47). За этим последовало празднование Пасхи (1 Езд. 6:19–22). О дальнейшей деятельности Зоровавеля и продолжительности его наместничества ничего не известно. Когда впоследствии Неемия решил «собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись», то обнаружил запись произведенной при Зоровавеле переписи вернувшихся вместе с ним из плена (Неем 7:5–7; ср.: 1 Езд. 2). В Новом Завете Зоровавель упомянут в обоих родословиях Иисуса (Матфей 1:12, 13; Лк. 3:27).

[19] Фрина (греч Frina – «белокожая») – греческая гетера, IV в. до н. э. Настоящее имя – Мнесарет. Родилась в маленьком беотийском городе Феспии. В Афинах была натурщицей художника Апеллеса, позировала для картины Афродиты Анадиомены (лат. – «выходящая из воды».). Затем стала натурщицей скульптора Праксителя и позировала ему для двух Афродит (обнаженной и одетой). Статуя Афродиты Книдской – одно из самых выдающихся произведений IV в. до н. э., посвященного музам.

[20] Аспазия Милетская – (ок. 470 до н. э. – ?) – одна из выдающихся женщин Древней Греции, отличавшаяся образованностью и красотой; вторая жена Перикла (с 445 г.), брак с которым не был признан законным, так как она не имела афинского гражданства. Покровительствовала художникам, поэтам, философам.

[21] Бокль Генри Томас (англ. Buckle Henry Thomas; 1821–1862) – английский историк и социолог, представитель географической школы в социологии. Основная работа – «История цивилизации в Англии» (1857–1861, русск. пер. 1861).

[22] Мишле Жюль (фр. Michelet Jules; 1798–1874) – французский историк романтического направления. Основные работы: «История Франции» (до 1789 г.), «История Французской революции».

[23] Милль Джон Стюарт (англ. Mill John Stuart; 1806–1873) – английский философ и экономист, идеолог либерализма, основатель английского позитивизма, последователь О. Конта, разработавший индуктивную логику, которую трактовал как общую методологию наук. В этике соединял принцип эгоизма (утилитаризм) с альтруизмом, а положения классической политэкономии соединил с идеями Т. Р. Мальтуса и Ж. Сея. Автор книг «Система логики» (Т. 1, 2; 1843), «Основания политической экономии» (Т. 1, 2; 1848).

[24] Бобелина – герой национально-освободительной борьбы греческого народа против Турции в 20-х годах XIX века.

[25] «Приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него» (Мф. 20:21). «Подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим» (Мк. 10:35–37). Мать братьев просила, чтобы Иисус, когда придет в свое Царство, дал ее сыновьям самое почетное место. Здесь речь идет о святом апостоле и евангелисте Иоанне Богослове и его брате Иакове. Они были сыновьями Зеведея и Саломии, согласно преданию – дочери святого Обручника Иосифа, которая упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом. Младший брат Иоанна Богослова Иаков был рыбаком. Иаков призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив отца своего Зеведея в лодке, он вместе со своим братом Иаковом последовал за Христом (Мф.4:22; Мк. 1:20). Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях именуются сыновьями Зеведеевыми по имени их отца Зеведея (Мк. 3:17). Иисус назвал братьев Воанергес (греч. Βοανηργες, арамейское слово, расшифровываемое в Новом Завете как «сыновья грома»), очевидно, за порывистый характер. Этот характер в полной мере проявился, когда они хотели низвести с неба огонь на самарянское селение (Лк. 9:54), а также в просьбе дать сесть им в Царстве Небесном по правую и левую сторону от Иисуса (Мк. 10:37).

[26] Марк Аврелий Антонин (лат. Marcus Aurelius Antoninus; 121, Рим – 180, Виндобона (ныне Вена)) – римский император (161–180) из династии Антонинов. Философ, представитель позднего стоицизма, последователь философа Эпиктета.

[27] Жорж Санд (фр. George Sand, наст. имя Amandine Aurore Lucile Dupin – Амандина Аврора Люсиль Дюпен;1804–1876) – французская писательница. Начало творчества отмечено лирической и романтической формой письма, затем и бунтарским романтизмом, пафосом национальной борьбы. Испытала влияние идей христианского социализма. Помимо множества романов написала мемуары «История моей жизни» (1854–1855 гг.).

[28] Жуковский Василий Андреевич (1783, с. Мишенское, ныне Тульской области –1852, Баден-Баден, Германия). Русский поэт, переводчик, основоположник романтизма, литературный критик. Отец поэта – Афанасий Иванович Бунин, помещик, владелец

села Мишенского; мать – пленная турчанка Сальха, попавшая в Россию после осады крепости Бендеры. Отчество и фамилию поэт получил от усыновившего его по просьбе Бунина мелкопоместного дворянина Андрея Жуковского. В 1797–1801 гг. учился в Благородном пансионе при Московском университете, где начал писать стихи. С 1815 г. начинается двадцатипятилетний период его придворной службы, сначала в должности чтеца при императрице, вдове Павла I, а с 1825 г. – воспитателя наследника, будущего Александра II. Действительный член Императорской Российской академии (1818 г.); почетный член Императорской Академии наук (1827–1841 гг.) и впоследствии ординарный академик (1841 г.) по Отделению русского языка и словесности, тайный советник (1841 г.).

[29] Баал (общесемит. иврит – Бел, Балу, Ваал – букв. когнаты «бог, благой, владыка, великий», «хозяин, Господь или господин») – вообще является эпитетом «бог, владыка» для разных богов и градоначальников у древних западных семитов. Также являлся конкретным божеством в ассиро-вавилонской этнокультуре, почитавшийся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба и пр.

[30] Астарта (греч. Αστάρτη, Astártē) – греческое звучание богини любви и власти Иштар, заимствованное греками из шумеро-аккадского пантеона через культуру финикийцев. В северной Сирии в текстах, найденных в Угарите (современный Рас Шамра), упоминается с XIV в. до н. э. как Ашерах (Asherah), Ашерат, Аштарт, Ашера, Ашират. У западносемитских племен – Аштарот, Аштарет (иврит), у южносемитских – Аштерт. Ее культ был известен в Израиле с X по VIII в. до н. э. Наиболее часто упоминается в текстах Библии. Истоки культа уходят в древнюю Месопотамию, в которой семитские племена, касаясь религиозной традиции шумеров, восприняли ярчайшие образы главных божеств и ввели их в свой пантеон не только вследствие торговых отношений, но и «братания», сближения, необходимого для естественного взаимного сосуществования.

[31] Эсхил (древнегреч. Αἰσχύλος, Aischylos; ок. 525, Элевсин – 456 до н. э., Сицилия) – древнегреческий драматург.

[32] Софокл (древнегреч. Σοφοκλής; ок. 496–406 до н. э.) – древнегреческий драматург, один из трех наряду с Эсхилом и Еврипидом великих трагиков.

[33] Еврипид (Эврипид, лат. Euripides; 480–406 до н. э.) – древнегреческий драматург.

[34] Гесиод (ок. 700 до н. э) – первый греческий поэт.

[35] Пифагор Самосский (древнегреч. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, лат. Pythagoras; VI в. до н. э.) – древнегреческий философ, религиозный и политический деятель, основатель пифагореизма, математик. Пифагору приписывается изучение свойств целых чисел и пропорций, доказательство теоремы Пифагора и др.

[36] Зенон Элейский (древнегреч. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης; ок. 490 – ок. 430 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Парменида.

[37] Диомед – один из героев «Илиады» Гомера. Сын этолийского царя Тидея и дочери Адраста Деипилы.

[38] Ликург Афинский – законодатель и оратор древних Афин, живший в сер. IV в. до н. э.

[39] Катон Марк Порций (лат. Cato Marcus Porcius; 234–149 до н. э.) – обыкновенно называемый в отличие от его правнука, Марка Порция Катона Младшего, современника Юлия Цезаря, Старшим (Major) и прозванный также у римских писателей Цензором (Censorius, Censor), – представляет собой одну из наиболее крупных фигур Древнего Рима и как государственный деятель, и как писатель. Он может быть назван основателем римской прозаической литературы, образцы которой он дал и в красноречии, и в истории, и в разных других видах, будучи бесспорно самым крупным прозаическим писателем II столетия Рима, с началом которого возникла римская словесность. Речи и историческое сочинение под заглавием «Origines» были наиболее видными продуктами литературной деятельности Катона; но, по словам Цицерона (De orat., III, 33), не было ничего, «чего бы не исследовал и не знал и о чем бы потом не писал Катон». Он составил своего рода энциклопедию по разным наукам в форме наставлений, предназначенных для сына его Марка (Praecepta ad filium). В этой энциклопедии находились статьи по земледелию, медицине, военному делу и по всем предметам, знание которых было полезно доброму гражданину. Ничего из этого сборника до нас не сохранилось, как не сохранились и письма Катона, собрание изречений знаменитых людей и стихотворная поэма, цитируемая Геллием и носившая заглавие «Carmen de moribus».

[40] Роланд (фр. Rollant, Rollanz) – герой французского феодального эпоса, образ которого приобрел в Средние века меж-

дународное значение вследствие особенно яркого выражения в нем идеалов доблести и чести в их феодально-рыцарском понимании. Сказание о Роланде и его гибели в Ронсевальском ущелье существовало несомненно в большом количестве редакций, из которых лишь весьма немногие дошли до нас. Наиболее древней и вместе с тем художественно значительной поэтической обработкой этого сказания является написанная ассонансированными строфами неравномерной длины и возникшая в самом конце XI века «Песнь о Роланде» неизвестного автора. Кроме нее имеется латинская хроника Псевдо-Турпина (якобы одного из участников Ронсевальского побоища) XII века, латинская поэма «Carmen de proditione Guenonis» (Песнь о предательстве Гвенона, т. е. Ганелона) также XII века и ряд рифмованных редакций поэмы о гибели Роланда, возникших в XIII и XIV веках. Поэма Ариосто «Неистовый Роланд».

[41] Де Баярд Пьер Террайль (фр. Pierre Terrail, seigneur de Bayard; 1473–1524) – французский рыцарь и полководец времен Итальянских войн, прозванный «рыцарем без страха и упрека» (данное выражение стало «крылатым»).

[42] Амадис – имя, часто встречающееся в средневековой куртуазной поэзии. Во главе всех этих романических героических образов стоит Амадис Галльский, называемый по изображению на своем щите Рыцарем Льва, а по образу жизни в пустыне Бельтенебросом, то есть Сумрачным Красавцем. Рыцарский роман «Амадис Галльский», герою этого романа стремился подражать Дон Кихот.

[43] Астольф – (имя восходит к королю лангобардов Айстульфу) – персонаж французского и итальянского эпоса, а также рыцарских поэм Пульчи, Боярдо и Ариосто. Английский рыцарь, двоюродный брат Роланда и Ринальда, персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

[44] Готфрид Бульонский, Годфруа де Бульон (фр. Godefroi de Bouillon, нидерл. Godfried van Bouillon; ок. 1060, Булонь – 1100, Иерусалим) – граф Бульонский (1076–1096 гг.), герцог Нижней Лотарингии (1087–1096 гг.), был сыном Эсташа, графа Булонского и Иды, дочери Готфрида III Горбатого. Один из предводителей 1-го крестового похода 1096–1099 гг. на Восток, после захвата Иерусалима был провозглашен правителем Иерусалимского королевства (с 1099 г.). Отказавшись короноваться в городе, где Христос был коронован терновым венцом, Готфрид вместо королевского титула

принял титул барона и «Защитника Гроба Господня» (лат. Advocatus Sancti Sepulchri). Персонаж рыцарских романов.

[45] Король Артур (англ. и валл. Arthur, ирл. Artur) — легендарный вождь бриттов V–VI веков, разгромивший завоевателей-саксов; центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. До сих пор историки не нашли доказательств исторического существования Артура, хотя многие допускают существование его исторического прототипа. Согласно легенде, Артур собрал при своем дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей Круглого стола. О подвигах Артура и его рыцарей существуют многочисленные легенды и рыцарские романы, в основном касающиеся поисков Святого Грааля и спасения прекрасных дам. Эпос о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

[46] Аякс – Аякс (Эант) – имя двух греческих героев, участвовавших в осаде Трои: Аякс Малый, или Оилид, – сын Оилея. Аякс Великий, или Теламонид, – сын Теламона.

[47] Тесей, Тезей (лат. Theseus) – в древнегреческой мифологии сын афинского царя Эгея (или бога Посейдона) и Эфры, 10-й царь Афин. Центральная фигура античной мифологии и один из самых известных персонажей всей греческой мифологии. Упомянут уже в «Илиаде» и «Одиссее».

[48] Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis, итал. Francesco d'Assisi; 1182–1226) – католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена. Он знаменует собой перелом в истории аскетического идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашества.

[49] Луций Элий Аврелий Коммод (лат. Lucius Aelius Aurelius Commodus; 161, Ланувий – 192, Рим) – римский император.

[50] «Алонзо Добрый» – полубезумный «рыцарь печального образа», в действительности просто «Алонзо добрый» (роман «Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615 гг.) М. Сервантеса.

[51] Ариосто Лудовико (итал. Ludovico Ariosto; 1474, Реджо-нель-Эмилия – 1533, Феррара) – итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. Самая ранняя версия (в 40 песнях) рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» появилась в 1516 г.

[52] Герцог Глостер (англ. Duke of Gloucester) – титул некоторых младших принцев английского (позже – британского) королевского дома.

[53] Мильтон Джон (англ. Milton John; 1608–1676) – английский поэт, публицист и деятель Великой английской революции.

[54] Шелли Перси Биши (англ. Shelley Percy Bysshe; 1792, графство Суссекс – 1822, утонул в Средиземном море между Специей и Ливорно) – английский поэт-романтик, нежный лирик.

[55] Молох – упоминаемое в Библии имя семитского божества, которому поклонялись евреи во время исхода (Ам. 5:26) и во времена царя Соломона (3 Цар.11:7). Поклонение Молоху отличалось принесением детей в жертву через всесожжение.

[56] Шиллер Иоганн Фридрих (нем. Schiller Johann Friedrich; 1779–1805) – немецкий поэт и драматург, теоретик искусства, представитель романтического направления.

[57] Фон Мольтке Хельмут Карл Бернхард, Мольтке Старший (нем. Helmuth Karl Bernhard von Moltke; 1800 – 1891) – граф (1870 г.), германский генерал-фельдмаршал (16 июня 1871 г.), прусский генерал-фельдмаршал (1872 г.), военный теоретик. Наряду с Бисмарком и Рооном считается одним из основателей Германской империи.

[58] Критон (лат. Crito; греческ. Κρίτων) – афинянин, ученик Сократа. Диоген Лаэрций приписывает ему 17 диалогов, из которых ничего не сохранилось. Будучи богатым и влиятельным гражданином, он задумал план бегства осужденного Сократа, предлагая для этой цели свое имущество. Платон назвал его именем один из своих диалогов, в котором Критон беседует в тюрьме с Сократом о справедливости и несправедливости, а также о подходящей реакции (ответе) на несправедливость. Сократ думает, что несправедливость не может быть ответом на исходную несправедливость и отказывается от предложения Критона профинансировать его побег из тюрьмы. Этот диалог является античным образцом теории общественного договора государства.

[59] Ротшильд Майер Амшель (нем. Rothshild; 1744–1812) – немецкий коммерсант еврейского происхождения основатель международной династии финансовых магнатов. Начал службу придворным у немецких князей. Пять его сыновей стали главами финансовых корпораций по всему миру: Амшель Майер (1773–1855) в Германии, Соломон (1774–1836) в Англии, Карл Майер (1788–1855) в Италии, Якоб (Джемс; 1792–1868) во Франции. После Второй мировой войны финансовая группа Ротшильдов разделилась на две ветви: английскую (финансовый центр – лондонский

банк «Н. М. Ротшильд энд санс»; горнодобывающие монополии Южной Африки, нефтяная промышленность и цветная металлургия) и французскую (финансовое ядро – «Банк Ротшильда» и холдинговая компания «Сосьетэ д'энвестисман дю Нор»).

[60] Рошгросс Жорж-Антуан (фр. Rochegrosse Georges Antoine; 1859 – ок. 1910?) – французский исторический живописец.

[61] Тассо Торквато (итал. Tasso Torquato; 1544, Сорренто – 1595, Рим) – крупнейший итальянский поэт.

[62] Апулей Луций (лат. Apuleius Lucius Platonicus; ок. 124, Мадавра, Северная Африка – ок. 180) – древнеримский писатель, философ-платоник, ритор.

РАЗДЕЛ IV
ЖУРНАЛИСТИКА, КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРА, О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

О писательстве

Меньшиков М. О. О писательстве. – Спб., 1898. – 279 с.

О литературе и писателях

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1891. – № 11. – С. 206–223; № 12. – С. 197–208.

Повторно опубл.: О литературе и писателях // Меньшиков М. О. О писательстве. – Спб., 1898. – С. 1–14.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Колар, Ян (чешск. Kollar; 1793–1852) – чешский поэт родом из Словакии. Учился в Иене, где на него оказало влияние национально-романтическое движение немецкого студенчества. Литературную деятельность начал в 1821 г., выпустив сборник стихов "Basne", содержащий 86 любовных сонетов (подражание Петрарке). Позже сонеты этой книги были положены в основу большой поэмы «Дочь славы» ("Slavy dceri"; 1824), написанной под влиянием Байрона и Данте (особенно песни «Лета» и «Ахерон» во 2 изд. 1832 г.). Колар являлся ярким выразителем национальных устремлений, свойственных словацкой буржуазии. В поэме «Дочь славы» воспел угасшую славу западных и южных славян

и призвал славянство к объединению, самопожертвованию и патриотизму. Во всем его творчестве нашло яркое выражение национальное движение, охватившее интеллигенцию славянских народов в бывшей Австро-Венгрии после наполеоновских войн; оно развилось впоследствии в панславизм, чему способствовала не только поэтическая, но и научная деятельность поэта в качестве профессора Венского университета и автора ряда книг по славянскому вопросу. Поэзия Колара выражала идеологию панславизма. Из наследия Колара на русском языке были опубликованы ряд фрагментов из поэмы «Дочь славы» (Вступление. Песни I и II, в пер. Н. Берга; Песнь III, в пер. В. Бенедиктова и в пер. А. Сиротинина. – Славянские известия. – 1909 – № IV, 1910 – № VII–VIII); поэтический сборник «Славянские думы и голоса» (Кострома, 1876), поэтический цикл «В Герцеговине. Отголоски сербских песен» (Вестник Европы. – 1876 – № 6), стихотворение «Липа» в переводе В. Гиляровского (Русская мысль. – 1902. – № VII).

[2] Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1900) – русский писатель, являвшийся одной из центральных фигур «натуральной школы» в русской литературе. Основные произведения Григоровича: романы «Проселочные дороги» (1852.), «Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855–1856); повести «Деревня» (1846), «Антон Горемыка» (1847), «Гуттаперчивый мальчик» (1883), очерк «Петербургский шарманщик» (1844).

[3] Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – русский писатель, мыслитель. Демократические воззрения Радищева проявились в его литературных произведениях: оде «Вольность» (1783), повести «Житие Ф. В. Ушакова» (1789), «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Радищев являлся также автором философских сочинений.

[4] Новиков Николай Иванович (1744–1818) – русский писатель эпохи Просвещения, журналист, издатель сатирических журналов «Почта духов» и «Адская почта», один из видных деятелей масонства. Основные произведения Новикова: «Письма к Фалалею» (1772 г.), «Отрывок путешествия в*** И*** Т***».

[5] Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и чернь» (1836). Было напечатано под названием «Чернь» (Московский вестник. – 1829. – Ч. 1). Название «Поэт и чернь» было дано Пушкиным в 1836 г. при подготовке нового издания стихотворений, которое не вышло в свет.

[6] Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Пророк» (май 1841 г.). Впервые опубл. в журнале «Отечественные записки» (1844. – Т. 32). Строфа в целом:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья,
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

[7] «Что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал» – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836). Не было опубликовано при жизни поэта.

[8] Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) – русский поэт, автор стихотворений, стилизованных под народные песни, многие из которых были положены на музыку. Наиболее известны следующие стихотворения: «Не шуми ты, рожь, спелым колосом…» (1831), «Песня пахаря» (1831), «Ты не пой, соловей» (1832), «Косарь» (1836), «Лес» (1837).

[9] Никитин Иван Саввич (1824–1861) – русский поэт. Для поэтического творчества Никитина была характерна социальная проблематика народной жизни. Никитин являлся автором поэм «Кулак» (1858), «Тарас» (1861); стихотворений «Зимняя ночь в деревне» (1853), «Не спится мне. / Окно отворено» (1855), «Ехал из ярмарки ухарь-купец» (1858, стало народной песней), «Ярко звезд мерцанье» (1858), а также повести «Дневник семинариста» (1861).

[10] Заключительные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали! (1855).

Литературное бессилие

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1892. – № 1. – С. 188–202. Под заглавием «Литературное бессилие и его причины»

Повторно опубл.: Литературное бессилие // Меньшиков М.О. О писательстве. – Спб., 1898. – С. 15–28.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Камоэнс (Камоинш) Луиш ди (португальск. Camões; 1524/1525–1580) – португальский поэт, крупнейший представитель португальского Возрождения. Служил солдатом в Марокко (1549–

1551) и Индии (1553–1570). Лирические стихи пронизаны ощущением дисгармоничности мира; большинство его сонетов посвящены несчастной любви; в некоторых из них Камоэнс критиковал придворную жизнь. В комедиях, написанных около 1544–1549 гг., следуя принципам итальянской учено-гуманистической драмы, прославляет ренессансный идеал высокой любви («Филодемо», опубл. в 1587 г.), обличает деспотическую власть («Царь Селевк», опубл. в 1645 г.). Всемирно известна эпическая поэма «Лузиады» (1572, первый русск. пер. А. Дмитриева, 1788), названная в честь мифологического Луза, от которого согласно легенде ведут род португальцы, и рассказывающая о плавании Васко да Гамы в Индию и колонизации ее португальцами. Многие страницы «Лузиад» посвящены мужеству, героизму и стойкости народа. Поэма сыграла значительную роль в формировании реалистического направления в поэзии.

Призвание журналистики

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1892. – № IV. – С. 137–153; № V. – С. 121–138; № VI. – С. 166–184; № VII. – С. 137–162.

Повторно опубл.: Призвание журналистики // Меньшиков М.О. О писательстве. – Спб., 1898. – С. 97-171.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Кассий (лат.Cassius; ум. в 42 г. до н. э.) – древнеримский политический деятель, один из организаторов убийства Цезаря (44 г.). Вместе с Брутом боролся против второго триумвирата (с 43 г.). Потерпев поражение при Филиппах, покончил с собой.

[2] Агриппина Младшая (лат. Iulia Agrippina; 15–59 гг.) – римская императрица, мать императора Нерона, последняя жена императора Клавдия. Была убита по приказу Нерона.

[3] Кёнигом и Бауэром изобретены скоропечатные машины: простая скоропечатная машина, скоропечатная машина для двух красок. Предназначались для печатания газет и многоцветных газетных приложений. В многокрасочных машинах (до 5 цветов) Кёнига и Бауэра отпечаток подвергался печатанию в несколько приемов с нескольких форм, на которые наносились разные краски. Кёниг и Бауэр построили первую ротационную машину для изменяющихся книжных форматов: на ней бесконечная бумага, подкатываемая на ролях, нарезалась в соответствующие форматы; попадая на цилин-

дрический барабан, придерживалась на нем в надлежащем положении особым пневматическим аппаратом. По восприятии отпечатка бумажный лист автоматически отталкивался тем же пневматическим аппаратом и передавался на второй цилиндрический барабан, где лист точно так же придерживался вторым пневматическим аппаратом. По отпечатании оборотной формы тот же пневматический аппарат отбрасывал готовый уже лист к приемнику.

[4] “Le Figaro” – ежедневная французская газета, основана в 1826 г. Издается в Париже.

[5] “Philadelphia Record” – ежедневная американская газета, издававшаяся в Филадельфии, штат Пенсильвания, с 1877 по 1947 г., одна из самых читаемых, ее тираж достигал 57 млн. экземпляров. В 1894 г. в газете “The New York Times” “Philadelphia Record” была названа «одной из лучших и наиболее распространенной в США». Во времена великой депрессии газета объединилась с газетой “Philadelphia Inquirer”.

[6] “The Times” – крупнейшая ежедневная (еженедельная) английская общественно-политическая газета консервативного направления, основанная в 1785 г. Издается в Лондоне.

[7] “Herald” (англ. “International Herald Tribune”, “The New York Herald” – «Геральд», «Нью-Йорк геральд», «Интернэшнл геральд трибюн») – известная многотиражная международная ежедневная газета на английском языке. Была основана в Париже в 1887 г. предпринимателем Джеймсом Гордоном Беннетом-младшим под названием «Нью-Йорк геральд» в качестве европейского издания. С 1959 г. владельцем газеты стал Джон Уитни, бизнесмен и посол США в Великобритании. В 1966 г. совладельцем «Геральда» становится медиа-компания «Вашингтон пост» (“Washington Post”), а с мая 1967 г. – медиа-компания «Нью-Йорк таймс» (“The New York Times”). С этого времени она получила название «Интернэшнл геральд трибюн». С 1991 г. «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс» становятся главными владельцами «Геральда», а с 2007 г. единственным собственником газеты являлась «Нью-Йорк таймс». В настоящее время «Интернэшнл геральд трибюн» входит в медиа-холдинг «Нью-Йорк таймс», ее главный офис находится в Париже. Газета печатается в 35 отделениях по всему миру для продажи более чем в 180 странах мира. Большая часть материалов в газете сейчас принадлежит корреспондентам американских газет «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост».

[8] «Маленькая газета» – одна из старейших французский ежедневных газет, издавалась в Париже с 1863 по 1944 г. Была основана финансистом Моисеем Полидором Милло (Moïse Polidore Millaud). На ее страницах печатались приключенческие романы Понсона дю Террайля.

[9] Эмиль де Жирарден (фр. Émile de Girardin;1806–1881) – французский журналист и публицист, внебрачный сын генерала графа Александра Жирардена, буржуазный политический деятель, отличавшийся крайней беспринципностью. В 1830–1860 гг. с перерывами был редактором газеты «La Presse», которая в период Июльской монархии находилась в оппозиции к правительству Гизо, а в период революции 1848 г. поддерживала умеренных республиканцев. Был женат на известной писательнице Дельфине де Жирарден (урожденной Гэ (1805–1855) с 1831 г. до ее смерти в 1855 г.).

[10] Понсон дю Террайль Пьер Алексис (фр. Ponson du Terrail; 1829–1871) – французский прозаик, автор серии популярных приключенческих романов. Основные произведения – «Похождения Рокамболя».

[11] Ксавье де Монтепен (фр. Xavier de Montépin; 1823, Апремон – 1902, Париж) – французский романист, маркиз. Автор серий иллюстрированных романов и драм.

[12] Ришбург Эмиль(фр. Richebourg; 1833–?) – французский писатель причислялся к романтической школе В. Гюго. Автор приключенческих романов, предназначенных для “Petit Journal” и публиковавшихся в виде фельетонов. На русский язык были переведены романы: «По торной дороге к преступлению» (М., 1879); «Влюбленная монахиня» («Европейская библиотека». Журнал иностранных романов и повестей, 1882); «Женское сердце» (Спб., 1902); «Жизненные драмы» (Спб., 1899).

[13] «Жиль Блас» – парижский политический и литературный журнал. Основан Августином-Александром Дюмоном в ноябре 1879 г. Выходил в свет до 1914 г. Назван по одноименному роману французского писателя XVIII века Алена-Рене Лесажа. В «Жиль Блас» впервые публиковались сериями из номера в номер многие романы известных французских писателей, такие, как «Жерминаль» (1884 г.) и «Творчество» (1885 г.) Эмиля Золя, прежде чем они появились в виде отдельных книжных изданий.

[14] «Журнал дебатов» – ежедневная парижская газета умеренно либерального направления, один из самых влиятельных ор-

ганов французской прессы XIX века. Основана в 1789 г. Готье де Бьоза (Biauzat) для освещения дебатов в Национальном Собрании. В 1799 г. была приобретена семьей Бертен, которая сохранила контроль над газетой до 1871 г. Ее участниками были такие литераторы, как Франсуа-Рене де Шатобриан, Эрнест Ренан, Ипполит Тэн. Газета продолжала выходить до августа 1944 г.

[15] ”World”… – массовая газета, выходившая в Нью-Йорке с 1860 по 1931 г. Являлась органом Демократической партии. С 1883 по 1911 г. ее издателем и главным редактором был Джозеф Пулитцер, ставший одним из создателей «желтой» журналистики, основную ставку делавший на привлечение рекламы и публикации скандальных новостей. Тираж газеты достигал 1 млн. экземпляров. В 1890 г. в Нью-Йорке было построено офисное здание этой газеты, которое в то время было самым высоким в мире.

[16] Пулитцер (Пёлитцер) Джозеф (англ. Pulitzer Joseph, 1847–1911) – издатель газеты “World”, юрист и журналист.

[17] «Вечерние новости и почта» – английская ежедневная вечерняя газета, выходила в Лондоне с 1881 по 1980 г., с перерывами в 1887 г., ранее известная как “The Evening News”. Под руководством владельцев братьев Хармсворт являлась долгое время лидером продаж по тиражам среди вечерних газет Лондона. После финансовой борьбы и падения тиражей объединилась в 1980 г. со своим давним конкурентом “Evening Standard”. Наиболее известными редакторами газеты были Чарльз Уильямс (с 1881 по 1883 г.) и Фрэнк Харрис (с 1883 по 1886 г.).

[18] «XIX век» – популярная парижская газета, выходившая в середине и второй половине XIX века.

[19] «Энтрансижан» («Непримиримый») – французская газета, основанная в июле 1880 г. Анри Рошфором, выходила в Париже. Газета представляла мнение левой оппозиции, поддерживавшей буланжизм. Редакция газеты была категорически против Дрейфуса и дрейфусар, отражая позицию Рошфора. В 1906 г. под руководством Леона Байби достигла 40 тыс. экзмпляров тиража. Выход газеты прекратился в 1940 г. после оккупации Франции. В 1947 г. была возобновлена под названием “L’ntransigeant journal de Paris”, в дальнейшем слита с газетой “Paris-Presse”.

[20] «Национальная газета» – ежедневная газета умеренно республиканского большинства (буржуазных республиканцев), членов Национальной партии. Была создана 3 января 1830 г.

Адольфом Тьером, Арманом Каррелем, Франсуа-Огюстом Минье. Издатель и владелец – Огюст Сотеле, один из лидеров периода второй Реставрации. Газета выходила при финансовой поддержке Жака Лафита и под покровительством Талейрана и герцога Мориса де Бройля. Название основывалось на лозунге 1789 г.: «Нация. Закон. Контроль». Газета способствовала выработке конституции Второй Республики. Запрещена и закрыта после переворота 1851 г. Последним владельцем и главным редактором был Жан-Батист-Эрнест Келюс.

[21] «Утро» – французская ежедневная газета умеренно республиканского направления. Выходила в Париже с 1883 по 1914 г. Редактор – Альфред Эдвардс. Редакция газеты выступала против буланжизма и социалистов.

[22] Милле Жан Франсуа (фр. Millet; 1814–1875) – французский живописец и график, представитель реалистического направления во французской живописи.

[23] Лессепс Фердинанд (фр. Lesseps; 1805–1894) – французский инженер и предприниматель, руководил в 1859–1869 гг. строительством Суэцкого канала, получив на его прорытие концессию от правительства Египта, возглавлял акционерное общество по прорытию Панамского канала, которое скандально обанкротилось.

[24] «Финансовая неделя» – индустриальная и политическая газета, выходившая в Париже с 1840-х годов до конца XIX и начала XX века.

[25] Порталис Август (фр. Portalis; 1801–1855) – французский юрист и политический деятель, буржуазный республиканец.

[26] Буланже Жорж (фр. Boulanger Georges; 1837–1891) – французский политический деятель, генерал. Участвовал в австро-итало-французской войне 1859 г., французской колониальной войне в Индокитае в 1858–1862 гг. и франко-прусской войне 1870–1871 гг. Принимал участие в подавлении Парижской Коммуны 1871 г. В 1886–1887 гг. являлся военным министром. В 1887–1889 гг. возглавил националистическое движение, которое было названо по его имени – буланжизм.

[27] Констан де Ребекк, Бенжамен (фр. Constant de Rebeque; 1767, Швейцария –1830) – французский политический деятель, публицист и писатель. В 1795, приняв французское гражданство, поселился в Париже. Выступал с нападками как на роялистов, так и на якобинцев в защиту Директории. После Восемнадцатого

брюмера, в 1799–1802 гг. являлся членом Трибуната, в котором представлял либеральную оппозицию. В 1803–1814 гг. находился в эмиграции. В 1814 г. после реставрации Бурбонов вернулся во Францию. Во время «Ста дней» по поручению Наполеона I принял участие в составлении «Дополнительного акта». В 1819 г. избран в палату депутатов, стал одним из лидеров буржуазно-либеральной оппозиции периода Реставрации (1815–1830). Во время Июльской революции 1830 года способствовал возведению на трон Луи Филиппа. В августе 1830 г. назначен председателем Государственного совета. В публицистических произведениях (издание в 2-х т., 1818–1820) стал идеологом умеренного буржуазного либерализма начала XIX века. Дополняя учение Ш. Л. Монтескье, Констан вводил наряду с законодательной, исполнительной и судебной властью четвертую, якобы нейтральную и независимую, власть – королевскую как посредницу между дворянством и буржуазией. Констан являлся одним из представителей прогрессивного романтизма в литературе; единственное художественное произведение Констана – роман «Адольф» (London, 1815; русск. пер.: Спб., 1831). Основное сочинение «Курс конституционной политики» (т 1, 2. – Paris, 1836).

[28] Анри (Генрих) Жорж Адольф Оппер Стефан де Бловиц (фр. Blowitz; 1825–1903) – известный парижский корреспондент английской газеты “Times”.

[29] Линдау Рудольф (нем. Lindau; 1829–1910) – немецкий дипломат и писатель. В 1859–1869 гг. жил в Индии, Китае, Японии и Калифорнии в качестве уполномоченного швейцарского департамента торговли. Его первое произведение «Путешествие по Японии» (Париж, 1864) и другие вышли в свет на французском языке. С 1873 г. – военный атташе при немецком посольстве в Париже. Его сообщения о французской прессе пользовались вниманием в правительственных кругах Берлина. В 1878 г. Бисмарк пригласил Линдау в Центральное бюро в Берлине. С 1880 г. – второй секретарь Министерства иностранных дел, выполнял обязанности пресс-референта рейхсканцелярии. Автор реалистической прозы (дневниковые записи «Химеры», вошедшие в сборник «Флирт», 1894, рассказ «Красный платок»), фантастических «психиатрических новелл» («Безумный мир», 1878, «Идея-фикс», 1870-е гг.) и детективов (новелла «В парке Вилье»), созданных на немецком и английском языках.

[30] Бисмарк Герберт (нем. Bismarck Herbert; 1849–1904) – старший сын Бисмарка, выполнял обязанности личного секретаря отца и служил в ведомстве иностранных дел. В 1888 г. был статс-секретарем по иностранным делам; также занимал пост советника посольства в Лондоне.

[31] Германское телеграфное агентство (вторая половина XIX – начало XX века), на базе которого было создано в 1922 г. «Немецкое информационное бюро», которое объединило «Телеграфен-унион» Гугенберга и Телеграфное агентство Вольфа.

[32] Лео фон Каприви (нем. Leo von Caprivi; 1831–1899) – германский государственный деятель, рейхсканцлер Пруссии (1890–1894 гг.), министр-президент (1890–1892 гг.).

[33] Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император и прусский король (1888–1918) из династии Гогенцоллернов, внук Вильгельма I и королевы Виктории. Вильгельм II был свергнут в ходе Ноябрьской революции 1918 года.

[34] Василевский Илья Маркович (псевд.: Не-Буква, А. Глебов, Феникс; 1882, Полтава – 1938, пос. Коммунарка Московской области) – журналист, фельетонист, редактор. Родился в еврейской семье. Сотрудничал в еврейской печати, являлся депутатом от Полтавы на 1-м сионистском конгрессе в Базеле. Публиковался в изданиях «Журнал для всех», «Образование», «Полтавские ведомости», «Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», «Одесские ведомости», «Южный край». Редактировал и издавал либеральную газету «Свободная мысль», в которой сотрудничали писатели-сатирики и критики А. Аверченко, Саша Черный, К. Чуковский, О. Л. д'Ор. В 1910 г. опубликовал книгу «Житейское кабаре. Юмор, рассказы»; в 1911 г. – популярный сборник юмористических рассказов «Нервные люди». В 1915–1917 гг. редактировал реферативный «Журнал журналов». С 1920 г. – в эмиграции в Константинополе, с 1921 г. – в Берлине, затем в Париже, где пытался возобновить издание газеты «Свободные мысли». В 1922 – 1923 гг. работал в сменовеховской газете «Накануне» (Берлин), где в литературном приложении публиковал брошюры «Литературные силуэты», «Граф Витте, его мемуары», «Николай II», в которых полемизировал с монархистами и сменовеховцами. В 1923 г. вернулся в Советскую Россию. Арестован по доносу, обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации и в тот же день расстрелян. 14 февраля 1961 г. реабилитирован.

[35] Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) – русский общественный деятель, публицист, писатель, князь. Основатель и издатель консервативно-монархической газеты-журнала «Гражданин» (1872–1914 гг.). М.О. Меньшиков крайне отрицательно относился к В. П. Мещерскому.

[36] Псевдоним писателя, фельетониста, публициста и поэта Амфитеатрова Александра Валентиновича (1862, Калуга – 1923, Леванто, Италия). Амфитеатров работал в «Новом времени» (1892–1899 гг.), а также сотрудничал в газетах «Русские ведомости», «Русское слово», «Русская воля», «Россия» в 1899–1901 гг. Амфитеатров соперничал с Власом Дорошевичем. Скандальное произведение Амфитеатрова – роман «Господа Обмановы», за которое писатель был сослан в Минусинск. После 1917 г. эмигрировал в Италию.

[37] Псевдоним журналиста Сергеенко Петра Алексеевича. Работал в газете «Новороссийский телеграф» (1886–1890 гг.), а также в газете «Одесские новости» (1891 г.)

[38] «Новороссийский Телеграф» – ежедневная газета, первый частный периодический орган в Одессе. Издается с 1869 г., сначала три раза в неделю, а с 1870 г. ежедневно. Ее основателем был К. Картамышев, вскоре передавший ее А. С. Серебренникову. С 1874 по 1897 г. редактором-издателем был М. П. Озмидов. В большом словаре Брокгауза и Ефрона «Новороссийский телеграф» определен как «орган по преимуществу антисемитический». Во взглядах на русскую государственную жизнь примыкал к программе «Московских ведомостей». Со смертью М. П. Озмидова газета перешла к его жене.

[39] Абрамов Яков Васильевич (псевд. – Федосеевиц; 1858–1902) – ведущий критик газеты «Неделя», по взглядам принадлежал к поздним народникам, пропагандировал теорию малых дел и культурничество.

[40] Дионисий I Старший (греч. Διονύσιος; ок. 432–367 до н. э.) – тиран Сиракуз с 406 г. Дионисий проводил завоевательную политику на территории Сицилии, Южной Италии.

[41] «Гражданин» (1872–1914 гг.) – политическая и литературная газета-журнал консервативно-монархического направления, издавалась в Санкт-Петербурге. Главный редактор – князь В. П. Мещерский, известный публицист и писатель, общественный деятель.

[42] «Одесский листок» – популярная ежедневная коммерческая, политическая, научная и литературная газета. Издавалась в Одессе с 1872 г. по февраль 1920 г.; в 1889–1890 гг. преобразовалась в «Одесский листок объявлений». Издатель-редактор – В. В. Навроцкий. В издании газеты участвовали многие петербургские литераторы.

[43] Навроцкий Василий Васильевич (1851–1911) – предприниматель, издатель-владелец и редактор «Одесского листка», публицист.

[44] «Смоленский вестник» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета. Издавалась в Смоленске в 1878–1917 гг. Издатели – Л. А. Черевин и С. Г. Гуревич, редактор – С. И. Орлов.

[45] Ювенал Децим Юний (лат. Juvenalis Decimus Junius; ок. 60 – ок. 127) – римский поэт-сатирик, известен как классик «негодующей сатиры». Проникнутые обвинительным пафосом диатрибы направлены против различных слоев римского общества – от низов до придворного круга.

О литературе будущего

Впервые опубл.: Книжки Недели». – 1892. – № 12. – С. 150–187.

Повторно опубл.: О литературе будущего // Меньшиков М. О. О писательстве. – Спб., 1898. – С. 195–229.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Исайя (рубеж IX–VIII вв. – конец VIII в. до н. э.) – один из четырех великих пророков Ветхого Завета, автор пророческой книги, в которой предсказал приход Мессии, падение Иерусалима под натиском вавилонян, а затем его освобождение. По молитве Исайи свершались чудеса. По повелению царя Манассии, разгневанного обличениями пророка, Исайя был казнен.

[2] Мор Томас (англ. More Thomas; 1478–1535) – английский государственный деятель, канцлер Англии (1529–1532). Являлся одним из основоположников утопического социализма, в произведении «Утопия», написанном в 1516 г., дал изображение идеального общества, где нет частной собственности и обобществлены производство и быт; труд – обязанность всех, а распределение

происходит по потребностям. За отказ дать присягу королю как верховному главе Англиканской церкви Мор был обвинен в государственной измене и казнен. В 1935 г. Мор был канонизирован Католической церковью.

[3] Примеч. М. Меньшикова: Беллами “Looking backward” (русск.пер. – «В 2000-м году») – роман Эдварда (Эдуарда) Беллами “Looking backward”, в русском переводе издавался дважды: Беллами Эдуард «Будущий век» (также «Золотой век») в переводе Л. Гей, с портретом и факсимиле автора (Спб., 1891). В несколько ином переводе второе издание – «Через сто лет», к этому переводу был приложен научно-предсказательный очерк Ш. Рише «Куда мы идем?» (“Dans cent ans”) в переводе с французского М. А. Энгельгардт (Спб., 1893).

[4] Дизраэли Бенжамин, граф Биконсфильд (англ. Disraeli Beaconsfield;1804–1881) – английский государственный и политический деятель, писатель, по национальности еврей. Лидер тори с 1848 г. Сыграл большую роль в преобразовании партии тори в консервативную партию. В 1868 и 1874–1880 гг. являлся премьер-министром Великобритании. Один из руководителей английского и мирового масонства. Ему принадлежат слова: «Современную историю Европы может писать только тот, кто посвящен в тайны лож».

[5] Дильк Чарльз Вентворт (англ. Dilke; 1789–1864) – английский публицист и критик, стоял во главе журнала «Athaenaeum», ставшего при нем первым критическим органом английской прессы; поместил там ряд статей о Борке, Попе, письмах Юниуса и др. Собрание его статей с биографическим очерком издал его внук Чарльз под заглавием «The papers of a critic» («Критические записки», 1875).

[6] Бьёрнстьерне Мартиниус Бьёрнсон (норвежск. Bjørnstjerne Martinus Bjørnson; 1832–1910) – норвежский писатель, общественный и театральный деятель, основоположник норвежской национальной драматургии, лауреат Нобелевской премии в области литературы и искусства.

[7] Вамбери Арминий (Вамберг) или Герман Бамбергер (венг. Ármin Vámbéry, нем. Hermann Bamberger; 1832, Нидермаркт – 1913, Будапешт) – венгерский ученый-антрополог, востоковед, путешественник, полиглот. По происхождению еврей.

[8] Фламмарион Камиль (фр. Flammarion Camille; 1842–1925) – французский астроном, основатель Французского астрономического общества (1887 г.), мистик. Его работы были переведены на рус-

ский язык на рубеже XIX–XX веков. Мистические сочинения были популярны в России. Особенно пользовалась успехом его книга «По волнам бесконечности» (начало 1890-х годов).

[9] Карлейль Томас (англ. Carlyle Thomas; 1795–1881) – английский публицист, историк и философ, выдвинувший концепцию «культа героев», которые стали, по мысли автора, единственными творцами истории.

[10] Боккаччо Джованни (итал. Boccaccio Giovanni; 1313–1375) – итальянский писатель Раннего Возрождения. Автор поэм на сюжеты античной мифологии, психологических повестей. Более всего известен книгой новелл «Декамерон» (1350–1353, опубл. в 1470 г.), вызвавшей многочисленные подражания, например «Гептамерон» Маргариты Наваррской. Сочинения Боккаччо: повесть «Фьямметта» (1343, опубл. в 1472 г.), поэма «Ворон» (1354–1355, опубл. в 1487 г.), а также книга «Жизнь Данте Алигьери (ок. 1360, опубл. в 1477 г.).

[11] Де Кок Поль (фр. Charles Paul de Kock; 1794–1871) – французский писатель. Большинство произведений де Кока были переведены в 30–40-х годах и позднее на русский язык, вышли несколькими изданиями («Физиология женатого человека». – Спб., 1843; «Эдмонд и Констанция». – М., 1839; «Парижская красавица». – Спб., 1842 и др.).

[12] Леверрье Урбен Жан Жозеф (фр. Le Verrier Urbain Jean Joseph; 1811–1877) – французский астроном, автор трудов по теории движения больших планет, устойчивости Солнечной системы. На основе исследований возмущений Урана вычислил орбиту и положение планеты, названной Нептуном (1846 г.), которая была открыта И. Г. Галле по указаниям Леверрье в 1846 г.

[13] Месонье (Мейсонье, Месонье) Эрнест (фр. Meissonier Ernest; 1815–1891) – французский живописец, график, скульптор. Автор занимательных жанровых и историко-бытовых композиций салонного характера, отличавшихся тщательностью передачи исторической обстановки и выписывания деталей. Основные произведения: «Ссора» (1855), «Наполеон III при Сольферино» (1863), «Французская кампания. 1814» (1864), «Мушкетер» (1870).

[14] Альма-Тадема Лоуренс (англ. Lawrence Alma-Tadema; 1836–1912) — один из самых известных британских живописцев XIX века, писавший картины на исторические и мифологические сюжеты. Он прославился своими описаниями роскоши и упадка Римской империи.

[15] Лайель (Лайелл) Чарльз (англ. Lyell Charles; 1797–1875) – английский естествоиспытатель, один из основоположников актуализма в геологии. В противовес теории катастроф он развил учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием постоянных геологических факторов. Лайель выдвинул гипотезу о природе метаморфических процессов и предложил разделять горные породы на осадочные, вулканические, плутонические и метаморфические. Основной труд – «Основы геологии» (Т. 1–3, 1830–1833).

[16] Мейер Лотар Юлиус (нем. Julius Lothar von Meyer; 1830–1895) – немецкий химик, составивший таблицу 27 химических элементов, расположенных по возрастанию атомных масс и сгруппированных по валентности (1864), но не сделавший теоретических обобщений. Мейер составил полную таблицу химических элементов (1870), во многом идентичную таблице Менделеева, построил кривые зависимости атомных объемов элементов от их атомных масс.

[17] Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) – русский писатель, критик, мастер рассказа, отличающегося эмоциональностью, философской содержательностью, драматической напряженностью сюжета. Наиболее известные рассказы: «Четыре дня» (1877), «Трус» (1899), «Художники» (1879), «Красный цветок» (1883), «Сигнал» (1887).

[18] Короленко Владимир Галактионович – (1853–1921) – русский писатель, публицист, общественный деятель. Основные рассказы и повести: «Сон Макара» (1883), «Слепой музыкант» (1886), «Без языка» (1895), «Павловские очерки» (1890), «Река играет» (1891) и др. Автобиографическая проза Короленко: «История моего современника» (опубл. в 1922 г. – посмертно); публицистика – «Письма к Луначарскому» (1922).

[19] Брем (Брэм) Альфред Эдмунд (нем. Brehm Alfred Edmund; 1829–1884) – немецкий натуралист, зоолог, путешественник, популяризатор знаний о животных, автор всемирно известного многотомного труда «Жизнь животных», основанного на личных наблюдениях в Африке, Европе и Западной Сибири, описывающих жизнь животных, их повадки и взаимоотношения между собой и с человеком. Брем являлся директором Гамбургского зоопарка (1863–1866), а также создал Берлинский аквариум (1867 г.). Основой труд – «Жизнь животных» (Т. 1–6, 1863–1869, в русском переводе издан в 1911–1915 и 1937–1948 гг.).

[20] Ге Николай Николаевич (1831–1894) – русский живописец, один из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Автор экспрессивных композиций на исторические и религиозно-этические темы, психологических портретов. Основные мотивы творчества Ге имели заметное сходство с исканиями Л. Н. Толстого. Его произведения отличает обобщенно-философская трактовка, духовная углубленность образов. Среди его работ – портреты и историко-тематические полотна. Портреты А. И. Герцена (1867), М. Е. Салтыкова-Щедрина (1872), Л. Н. Толстого (1884), Н. И. Петрункевич (1892–1893). Картины на сюжеты из русской истории и библейские сюжеты: «Тайная вечеря» (1863), «В Гефсиманском саду» (1869), «Петр I допрашивает царевича Алексея» (1871), «Что есть истина?» (1890), «Голгофа» (1893, неоконченная).

[21] В русском переводе с немецкого языка вышла книга Г. Брандеса «Иван Тургенев: Характеристика» (из книги “Moderne geister”. – Berlin, 1887; русск. изд.: Спб., 1888).

[22] Брандес Георг (датск. Brandes Georg; 1842–1927) – датский литературный критик. В начале 1870-х годов возглавил в Дании движение прорыва, направленное против романтизма, боролся за правдивость и реализм литературы. Автор труда «Главные течения в европейской литературе XIX века» (Т. 1–6, 1872–1890). В начале XX века в русском переводе вышло собрание сочинений Г. Брандеса в 12 т. (Киев, 1902–1903); т. 6 – «О русских писателях» (1902 г.).

[23] Успенский Глеб Иванович (1843–1902) – русский писатель-реалист. В основе сюжетов его произведений – социальная проблематика: жизнь городской бедноты, социальные противоречия пореформенной деревни. Главные произведения: циклы очерков «Нравы Растеряевой улицы» (1866), «Разорение» (1869), «Власть земли» (1883), а также рассказ «Живые цифры» (1888).

[24] Эдисон Томас Алва (англ. Edison Thomas Alva; 1847, Майлан, шт. Огайо – 1931, Вест Оранж, шт. Нью-Джерси) – американский изобретатель и предприниматель, организатор и руководитель первой американской промышленной исследовательской лаборатории (1872, Менло-Парк).

[25] Кювье Жорж (фр. Cuvier George; 1769–1832) – французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, автор понятия типа в зоологии, а также принципа «корреляции органов», на основе ко-

торого реконструировал строение многих вымерших животных. Кювье являлся противником изменяемости видов, но был сторонником теории катастроф.

[26] Тард Габриэль (фр. Tarde Gabriel; 1843–1904) – французский психиатр и невролог, социолог и криминалист, социальный психолог, социолог истории, критик, член Интернационального института социологии. Основные его работы относятся к социальной психологии и философии права. Тард считал основными социальными процессами конфликты, приспособление и подражание, с помощью которых индивид осваивает нормы, ценности и нововведения. Главные труды: «Законы подражания» (русск. изд.: Спб., 1892), «Личность и толпа», «Очерки по социальной психологии», «Общественное мнение и толпа», «Психология толпы», «Публика и толпа», «Молодые преступники», «Преступник и преступление», «Происхождение семьи и собственности (Теория эволюционистов и экономических материалистов)»; «Социальные законы. Личное творчество среди законов природы и общества» (“Les lois sociales”), «Социальная логика», «Реформа политической экономии», «Социальные этюды», «Сравнительная преступность», «Сущность искусства» (“L’art et la logique”).

О критике

Место первой публикации установить не удалось.

Повторно опубл.: О критике // Меньшиков М. О. О писательстве. – Спб., 1898. – С. 230–250.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – русский публицист, литературный критик. С начала 1860-х годов являлся ведущим сотрудником журнала «Русское слово». В 1862 г. был заключен в Петропавловскую крепость за антиправительственный памфлет. Выдвинул идею достижения социализма через индустриальное развитие страны («теория реализма»). Писарев пропагандировал развитие естествознания, которое считал средством просвещения и производительной силой. Автор работ: «Схоластика XIX века» (1861), «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева, и Гончарова» (1861), «Базаров» (1862), «Физиологические картины» (1862), «Очерки из истории труда» (1863), «Реалисты» (1864),

«Прогресс в мире животных и растений» (1864), «Разрушение эстетики» (1865), «Прогулка по садам российской словесности» (1865), «Новый тип» (1865), «Роман кисейной барышни» (1865), «Исторические идеи Огюста Конта» (1865), «Мыслящий пролетариат» (1865), «Генрих Гейне» (1867).

[2] Царь Авгий – древнегреческий царь, которому принадлежали Авгиевы конюшни – стойла бесчисленных стад, не чистившиеся в течение 30 лет, пока Геракл не очистил их за один день, отведя русло протекавшей неподалеку реки и направив ее воды так, что они смыли все нечистоты (седьмой подвиг Геракла).

[3] Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) – русский государственный деятель, брат Д. А. Милютина. Принадлежал к группе либеральных бюрократов, товарищ министра внутренних дел (1859–1861 гг.). Милютин фактически руководил работой по подготовке крестьянской реформы 1861 г. Также руководил крестьянской реформой в Польше. Милютину принадлежат труды по экономике и статистике.

[4] Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) – русский публицист и критик, сотрудник журнала «Русское слово». В 1860-е годы участвовал в полемике с журналом «Современник», которая получила название «раскол в нигилистах».

[5] Ткачев Петр Никитич (1844–1885/1886) – русский революционер, участник революционного движения 1860-х годов, один из идеологов народничества (сторонник заговорщических методов борьбы), публицист, сотрудник журнала «Русское слово» и «Дело». С 1873 г. находился в эмиграции, где издавал журнал «Набат» (1875–1881).

[6] Даль Владимир Иванович (1801–1872) – русский лексикограф, писатель, этнограф, автор (под псевдонимом Казак Луганский) очерков в духе натуральной школы. Основные труды: «Русские сказки» (1832 г.), сборник «Пословицы русского народа» (1861–1862 гг.), «Толковый словарь живого великорусского языка» (т. 1–4, 1863–1866). Очерки Даля: «Уральский казак» (1843), «Денщик» (1845), «Петербургский дворник» (1845).

[7] Имеется в виду издание: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 1, 2. – М., 1888–1896. Ч. 1. Т. 3. Письма 1851–1860 годов. – 1892. Ч. 2. Письма к родным лицам.

[8] Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) – публицист, писатель, издатель журнала «Московский телеграф», историк,

полемизировавший с Н. М. Карамзиным. Автор художественной прозы: «Рассказы русского солдата» (1829), романов «Клятва при гробе Господнем» (1832.), «Аббадона» (1834), повести «Живописец» (1833). Автор исторического труда «История русского народа» (Т. 1–6, 1829–1833).

[9] Кузен Виктор (фр. Cousin Victor; 1792–1867) – французский философ, видевший задачу философии в критическом отборе истин из прошлых систем на основе здравого смысла.

[10] Сент-Бёв Шарль (фр. Charles Auguste de Sainte-Beuve; 1804–1869) – литературный критик, представитель французского романтизма в литературоведении и литературной критике, писатель, поэт. В истории литературы и литературной критике Сент-Бёв создал биографический метод. В книге «Исторический и критический обзор французской поэзии и театра XVI века» (1828 г.) утверждал романтизм как литературную программу. Он стремился изучить «моральную физиологию» автора, дать исчерпывающий анализ его психики. Отсюда – внимание к мелочам биографии, интерес к переписке, мемуарам, дневникам. В 1830-е годы Сент-Бёв опубликовал этюды о французских писателях XVII–XIX веков, которые впоследствии были включены в сборник «Литературно-критические портреты» (т. 1–5, 1836–1839). В 1834 г. опубликовал роман «Сладострастие» – историю самоуглубленной и жаждущей наслаждений души, в 1840–1859 гг. – «Историю Пор-Рояля». С 1849 г. Сент-Бёв писал для парижских журналов критические статьи, которые печатались по понедельникам; они составили многотомную серию «Беседы по понедельникам» (1851–1862) и ее продолжение «Новые понедельники» (1863–1870). Метод этих статей, представлявших принципиально новый жанр критики, восходил к целостной концепции, в основу которой положен определяющий теорию и практику всей романтической школы философский индетерминизм. Сент-Бёв не исследовал законов творчества, законов литературного процесса. Однако Сент-Бёв не отказывался от изучения эпохи, общества и истории идейных течений, но это изучение в его трудах было соотнесено с ролью местного колорита в творческой практике романтизма. Стремление к резко выраженной индивидуальности творца, признание независимости художника от законов, отказ от обобщений в пользу неповторимого, единичного, особенного – эти принципы эстетики французского романтизма канонизировали свободу фантазии поэта и романи-

ста, породили теорию «актерского нутра», создали особый жанр литературной критики, опирающейся на интуитивное прозрение, на творческую догадку. Как критика-романтика Сент-Бёва интересовало не общее, но особенное. По мнению Сент-Бёва, раскрытие творческой индивидуальности во всем ее своеобразии составляло единую задачу литературной критики.

[11] Геннекен Эмиль (фр. Gennequen; 1858–1888) – французский литературный критик, социолог. На Геннекена большое влияние оказали труды И. Тэна и других философов-позитивистов. Создал новую комплексную научную дисциплину – эстопсихологию (собственно научную критику), которая была призвана прийти на смену существующей художественной критике с ее поверхностным рассмотрением произведений искусства. Геннекен полагал, что эстопсихология должна анализировать произведение искусства с трех позиций: психологической (психология художника-творца как представителя его расы), эстетической (особенности эстетических принципов художника), социологической (художник-творец как представитель общественного класса и всего своего общества). Затем данные психологического, эстетического и социологического анализа обобщались с помощью синтеза по тем же направлениям с точки зрения психологии, эстетики, социологии. Геннекен подразделял современную ему художественную критику на научную (эстопсихологию) и фельетоны, а также библиографию (анонсы о произведениях). Основная работа Э. Геннекена – «Эстопсихология: Опыт построения научной критики» (Paris, 1890, издание на русск. яз. – Спб., 1892). Теория эстопсихологии Геннекена оказала большое влияние на развитие художественной критики в России. Другие работы: «Русские писатели во Франции» (Тургенев, Достоевский, гр. Толстой; пер. “Etudes de critique scientifique. Ècrivans françaisés”. – Paris, 1889); «Французские писатели» (пер. на русск. П. Бракенгейм – Одесса, 1893).

Пределы литературы

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1893. – № 10. – С. 164–197. Подп.: М. Меньшиков.

Повторно опубл.: Пределы литературы // Меньшиков М. О. О писательстве. – Спб., 1898. – С. 251–278.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Не совсем верная строка из стихотворения «Жанна вступает в жизнь» из книги стихов В. Гюго «Искусство быть дедушкой» (1877), написанной о его любимых внуках Жорже и Жанне. В тексте стихотворения: «Ты думал: я – волна? / Нет, я потоп всемирный».

[2] Стихотворение “To Dawe Esq.” («Господину Дау», 1828) написано А. С. Пушкиным во время поездки в Кронштадт на пароходе. Опубл. в альманахе «Северные цветы» за 1829 г. Вся строфа такова: «Рисуй Олениной черты, / В жару сердечных вдохновений / Лишь юности и красоты / Поклонником быть должен гений».

[3] Неточная стихотворная строка принадлежит И. С. Тургеневу: «Пылал полуночной лампадой / Пред святынею добра». Посвящена В. Г. Белинскому, который стал прототипом Покорского в романе «Рудин».

[4] Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) – князь, русский государственный деятель, писатель, переводчик, участник походов на Казань, член Избранной рады, воевода в Ливонской войне. Опасаясь «неправедной» опалы Ивана IV Грозного, бежал в Литву (1564 г.), являлся членом рады Речи Посполитой, участник войны с Россией. Основные сочинения: мемуарный памфлет «История о великом князе Московском» (1573 г.), три обличительных послания «Лютому самодержцу» вместе с двумя ответами Ивана Грозного являются уникальным литературным памятником, повествующим о пределах царской власти.

[5] Кикин Александр Васильевич (1670–1718) – один из сподвижников Петра I, адмиралтейств советник. Казнен за участие в заговоре.

[6] Сумароков Александр Петрович (1718–1777) – драматург, поэт и писатель XVIII века. По окончании корпуса в 1740 г. был зачислен на службу в военно-походную канцелярию гр. Миниха, затем адъютантом к графу А. Г. Разумовскому. Его первая трагедия «Хорев» (1747), сыгранная при дворе в 1749 г., принесла драматургу известность. При дворе его пьесы играла выписанная из Ярославля труппа Ф. Г. Волкова. В 1756 г. был учрежден постоянный театр, Сумарокова назначили его директором. Другие трагедии: «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1751), «Артистона» (1751), «Семира» (представл. в 1751 г., напеч. в 1768 г.), «Ярополк и Димиза» (представлена в 1758 г., напечатана в 1768) г., «Вышеслав»

(1768), «Димитрий Самозванец» (1771), «Мстислав» (1774). Автор 12 комедий (1750–1772): «Тресотиниус», «Чудовища», «Приданое обманом», «Опекун», «Лихоимец», «Три брата совместники», «Ядовитый», «Нарцисс», «Рогоносец по воображению», «Пустая ссора», «Вздорщица», «Мать совместница дочери»; трех оперных либретто («Цефал и Прокрис», 1755). В 1755–1758 гг. был активным сотрудником академического журнала «Ежемесячные сочинения», в 1759 г. издавал собственный сатирико-нравоучительный журнал «Трудолюбивая пчела», закрывшийся из-за недостатка средств. В 1762–1769 гг. вышли сборники басен («Притчи», кн. I, II, III), а с 1769 по 1774 г. – ряд сборников стихотворений. В 1761 г.он потерял управление театром; в 1769 г. переселился в Москву, где разорился и умер.

Для Сумарокова характерно преобладание критической и сатирической стихии в творчестве. Сумароков «снижает» классическую поэтику. Это проявляется в менее «высокой» тематике, во внесении в поэзию мотивов личного, интимного порядка, в предпочтении «средних» и «низких» жанров «высоким», в стремлении к простому, естественному языку с умеренными славянизмами и примесью простонародной речи.

[7] Евклид (Эвклид, древнегреч. Εὐκλείδης; III в. до н. э.) – древнегреческий математик, автор первого дошедшего до нашего времени теоретического трактата по математике. Эвклид являлся первым математиком Александрийской школы. Главная его работа – «Начала» (в латинизированной форме – «Элементы»). Эвклид изложил планиметрию, стереометрию и ряд основных вопросов теории чисел.

[8] Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – русский поэт, штабс-капитан. Его стихам свойственна глубина и философичность мысли. Работал в жанре элегии и послания. Наиболее известна его элегия «Финляндия», а также поэма «Пиры», принесшие ему известность. Его поэму «Эдда» (1826) высоко оценил А. С. Пушкин. В 1828 г. пушкинский «Граф Нулин» и «Бал» Баратынского вышли под общей обложкой с названием: «Две повести в стихах». В ранней лирике сильны эпикурейские мотивы, за поэтом закрепляется слава «эротического» поэта и «певца Пиров». В творчестве Баратынского любовные элегии («Ропот», «Разлука», «Разуверение», «Признание», «Оправдание») соседствуют с философской лирикой («Дельвигу», «Две доли», «Безнадежность», «Истина»; все перечисл. сти-

хи – 1820–1824 гг.). С 1826 г. в лирике Баратынского преобладал мотив одиночества, скорби, неполноценности человеческого бытия, грядущей гибели человечества.

[9] Бестужев-Марлинский Александр Александрович (1797–1837) (настоящая фамилия Бестужев) – русский писатель, создатель альманаха «Полярная звезда». Бестужев являлся автором романтических стихов и повестей («Фрегат “Надежда”», «Амалат-бек»). Бестужев-Марлинский разделял взгляды декабристов, был членом Северного общества. За участие в выступлении декабристов приговорен к 20 годам каторжных работ. С 1829 г. Бестужев-Марлинский – рядовой в армии на Кавказе. Убит в бою.

[10] Сеньковский Николай Александрович (1826–1858) – офицер, журналист, издатель журнала «Книжный вестник», основал летучую библиотеку в Санкт-Петербурге.

[11] Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) – русский поэт, в раннем творчестве романтик, в лирике 1850–1860-х годов появляется гражданская тема. Его стихам было свойственно отсутствие нормы языка и смешение стилей. Среди основных произведений стихотворения: «К Полярной звезде» (1835), «Утес» (1835), «К новому поколению» (1858).

[12] Статья М. О. Меньшикова из сборника «О писательстве». – Спб., 1898. – С. 29–78). В наст. изд. не публикуется.

Критические очерки

Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – 404 с.; Т. 2. – Спб, 1902. – 470 с.

Работа совести
(По поводу статьи «Неделание» гр. Л.Н. Толстого)

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1893. – № 11. – С. 192–238.

Повторно отд. изд. опубл.: Работа совести // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 1–50.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Толстой Л. Н. Неделание // Северный вестник. – 1893. – № 9. – С. 281–304. Академическое полное собрание сочинений в 90 то-

мах, юбилейное издание. Серия первая. Т. 29. – М., 1954. – С. 173–201. В газете «Русские ведомости» от 12 мая 1893 г. № 128 была напечатана корреспонденция из Парижа «Золя и студенчество (От нашего корреспондента)». В ней подробно излагалась речь Э. Золя на банкете студенческого союза. По поводу этой речи Толстой писал Д. А. Хилкову 15 мая 1893 г.: «Вчера читал в Рус[ских] Вед[омостях] речь Zola к студентам против проявляющегося в них расположения к мистицизму, как он называет религиозные течения в новой франц[узской] молодежи… И против этого он им рекомендует науку и труд, не объясняя того, что мы должны называть и признавать наукой, и, главное, какой труд». («Неделание»: история написания и печатания // Толстой Л. Н. Академическое полное собрание сочинений. Т. 29. 1891–1894. – М., 1935. – С. 408).

Поводом к написанию статьи послужила полемика между Э. Золя и Дюма-сыном. Толстой отмечает, что редактор парижского журнала “Revue des Revues” Эрнест Смит, предполагая, как он написал в своем письме, что мнение двух знаменитых писателей о современном положении умов будет интересно Л. Н. Толстому, прислал ему две вырезки из французских газет. Одна из них содержит речь Золя, другая – письмо Александра Дюма-сына к редактору парижского журнала «Gaulois». 10 июня 1893 г. Толстой писал сыну Льву Львовичу и дочери Марии Львовне: «… Теперь пишу о двух статьях Золя и Дюма, которые мне прислал редактор “Revue des Revues”. Очень интересные письма о духе времени и о том, чем это кончится и что делать. Dumas говорит: “Я думаю, что теперь наступает время, когда мы серьезно примемся исполнять слова:”Любите друг друга”, – не разбирая того, кто сказал их, Бог или человек”. В этом одном он видит выход из тех противоречий, в к[оторых] мы запутались. А Золя, напротив, очень глупое» (Там же. – С. 408). В тот же день Толстой в «Дневнике» записал, что начал статью «О письме Золя и Дюма», а 18 июня 1893 г. сообщал П. И. Бирюкову, что статью кончил, и она переписывается. 19 июня с уезжавшим из Ясной Поляны А. М. Кузминским Толстой отослал статью в Петербург некому Вило для перевода на французский язык для французского журнала Жюля Симона “Revue de famille”. Одновременно Толстой намеревался печатать «Неделание» и в России в журнале «Северный вестник». Издательница журнала Л. Я. Гуревич в письме от конца июня 1893 г. благодарила Толстого за обещание прислать ей статью, о которой ей говорил

А. М. Кузминский, и просила не задерживать ее переделки. Переведя статью, Вило отослал ее в «Revue de famille». Получив в начале июля 1893 г. от Вило русский текст и перевод «Неделания», Толстой снова начал переделывать (и русский текст, и французский) и закончил эту работу только 9 августа 1893 г. Французский перевод статьи после тщательной переработки Толстым был возвращен в Петербург переводчику Вило. В этот же день Толстой, посылая русский текст статьи в «Северный вестник», писал Л. Я. Гуревич: «Статья моя окончена, но она очень изменилась и не к лучшему в отношении цензурном. Не знаю, как вы с ней справитесь» (Там же. – С. 409). При содействии А. Ф. Кони статья «Неделание» 28 августа 1893 г. получила цензурное разрешение и впервые опубликована на русском языке в «Северном вестнике» (1893. – № 9. – С. 281–304). Редакция внесла в текст некоторые изменения, чтобы провести текст через цензуру.

Перевод Вило, переработанный Толстым, не был опубликован в “Revue de famille”. После публикации в «Северном вестнике» статья «Неделание» под заглавием «Le non agir» была напечатана в “Revue des Revues” (1893. – № 4. – Октябрь). 5 октября 1893 г. Толстой записал в дневнике: «“Revue de Revue” напечатал скверный перевод “Неделания”, и это меня огорчило». Плохой перевод вынудил Толстого обратиться в Париж к своему переводчику И. Д. Гальперину-Кузминскому с просьбой опубликовать во французской печати заявление, что в «Revue de revue» он никакой статьи не посылал и что появившийся там перевод полон искажений. Заявление Толстого было напечатано в газете «Echo de Paris» 15/27 ноября.

По тексту «Северного вестника», но с незначительными изменениями, статья «Неделание» в 1894 г. была напечатана в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого» (Т. 13. – С. 793–828). Издательству «Посредник» цензура запретила выпускать статью «Неделание» отдельной брошюрой. Впервые «Посредник» опубликовал эту статью в книге: Л. Н. Толстой «Произведения последних годов» (статьи, вошедшие в Т. 13 Собрания сочинений), издание для интеллигентных читателей. – М., 1895. Только в 1907 г. издательство «Посредник» напечатало статью Толстого отдельной брошюрой, которая потом несколько раз переиздавалась.

[2] Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ, публицист, литературный критик, рассматривавший религию как выс-

шую форму познания и критиковавший материализм и спиритизм второй половины XIX века. Автор работ: «Борьба с Западом в русской литературе: Исторические и критические очерки», (Спб., 1882–1896, кн. 1–3), «Мир как целое» (1872), «О вечных истинах» (1887), «Философские очерки» (1895).

[3] Лесков Николай Семенович (1831–1895) – русский писатель консервативного направления, последователь идей Л. Толстого.

[4] Буренин Виктор Петрович (1841–1926) – русский писатель, литературный и театральный критик, один из ведущих сотрудников газеты «Новое время», автор многочисленных пародий на представителей «нового искусства».

[5] Познакомившись с учением Лао-цзы в 1870-е годы, Лев Толстой изумился: «Как странно, что он остается неизвестен – какой глубины (мысли) и китайское облечение (речь, письмо)». Впоследствии, по свидетельству близких Толстого, «Лао-цзы всегда был под рукой» у писателя. Лао-цзы (наст. имя Ли Эр, IV–III вв. до н. э.). Он оставил в назидание людям книгу из пяти тысяч иероглифов. Древние китайцы назвали эту книгу именем автора «Лао-цзы». Позднее ей дали название «Дао дэ цзин» – «Писание о нравственности», или «Книга о Пути и Благодати». Книга стала одним из канонических сочинений даосизма. Толстой читал книгу Крауса с китайским текстом и английским переводом: Лао-тзе (Лао-цзы). Тао-те-Кинг (Книга о пути добродетели). Л. Н. Толстой так отзывался о книге Лао-цзы: «Это удивительная книга. Я теперь настолько стар, что не конфужусь. Я просто ее буду переводить (с английского, французского, немецкого), хотя это будет далеко от (подлинного) текста. Я было хотел начинать учиться по-китайски, потому что я так молод. По этой книге можно по-китайски выучиться. Толстой стал показывать Колесниченко, какой знак какое слово означает. Потом опять читал (переводил) и сказал: “Чувствуешь что-то великое”» (Литературное наследство. У Толстого. 1904–1910. Яснополянские записки Д. П. Маковицкого. Книга вторая. 1906–1907. – М., 1979. – С. 480). Действительно, Толстой дважды принимал активное участие в переводе «Дао дэ цзина» на русский язык: сначала совместно с русским переводчиком, а спустя два года с японцем Кониси Масутаро, приехавшим в Ясную Поляну. Сохранилось предание о встрече Конфуция и Лао-цзы. Это была встреча антиподов. Первый утверждал человека долженствующего, законность разделения людей на высших и низших, второй – человека естественного, главное

в котором – это извечная природная сущность. Не случайно принято сопоставлять Лао-цзы с Руссо.

Даосский принцип естественности, исходящий из восприятия природы как главного всеобщего начала, не отводит человеку какой-либо исключительной роли. В учении дао человек выступает как одно из явлений природы и находится с ней в нерасторжимом единстве. Толстой же считает главным, составляющим ядро в учении Лао-цзы, странный на первый взгляд принцип «увэй» – «недеяние» или, как переводит писатель, «неделание».

Лев Толстой: Часто мысль эта, если только она переведена переводчиком верно, выражена как бы умышленно странно, но везде она, эта мысль, служит основой всего учения. Неделание воспринимается часто как отказ от всякой деятельности. Философ Владимир Соловьев трактует его как «абсолютное безразличие». И в самом деле, проповедуют же абсолютное недеяние индийские брахманы (последователи брахманизма), призывают к прекращению всякого действия. Некоторые культурологи связывают с неделанием – «увэй» – восточную неподвижность, пассивность, созерцательность.

Лао-цзы: Отдавшись учению, что ни день обретают. Следуя Пути, что ни день теряют. А теряя все больше и больше, доходят до недеяния: не действуют — и все совершается. Поднебесной всегда овладевают посредством недеяния — тот, кто действует, не сможет овладеть Поднебесной.

Современные востоковеды отмечают, что суждения Лао-цзы построены на парадоксах, на недосказанности. Лао-цзы учит: знание, обретенное человеком в результате обучения, может стать не только благом, но и источником заблуждений — обретая, теряют. Что же делать? Лучше отказаться от знания, доверившись естественному течению жизни. Лао-цзы понимал, что многие наши беды происходят не от того, что мы не делаем, а, наоборот, от того, что делаем излишне много. Поэтому «совершенно мудрый следует естественности всего сущего и не смеет действовать». Не предпринимать никаких попыток насильственно переделать или преобразовать что-либо в угоду собственным желаниям – это и есть «делать недеяние», и к пассивности это отношения не имеет. Недеяние — это универсальный принцип, в том числе в области политики.

Лев Толстой: Это великая истина, слишком часто забываемая нами. Если бы мы признавали обязательность этого учения, мы

бы понимали, что нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое, прямо противоположное этому доброму.

Л. Н. Толстой придавал статье «Неделание» большое значение. Сохранилось восемь редакций рукописи. Поводом для написания этой острополемической статьи послужила речь Эмиля Золя в защиту труда и науки, с которой писатель выступил на студенческом банкете. Статья «Неделание» начинается с изложения идей китайского философа. В своих суждениях о значении труда, о цивилизации Толстой опирается на учение Дао. Так вместе с русским писателем включился в спор Золя, в котором отразилось состояние умов европейской интеллигенции конца XIX века. Выступление Золя не удовлетворило Толстого своей односторонностью: говоря о пользе науки, которая делает «жизнь здоровой, радостной и избавляет людей от бесчисленных мучений», он не обращает должного внимания на оборотную сторону медали. Трудиться? Но над чем? — спрашивает Толстой.

Лев Толстой: Фабриканты опиума, изобретатели истребительных машин, все военные и прочие люди работают, но совершенно очевидно, что человечество выиграло бы, если бы все эти трудящиеся прекратили работу. Человеку необходимо остановиться на мгновение в своей деятельности, призадуматься и сопоставить требования разума с тем, что он делает… Итак, если бы мне предложили дать единый совет, совет, который я считаю наиболее полезным для людей нашего века, я бы сказал им только одно: ради Бога, остановитесь хоть на мгновение, перестаньте работать, оглянитесь вокруг, подумайте, что вы из себя представляете и какими вы должны были быть, подумайте об идеале.

Лао-цзы: Высшая добродетель подобна воде. Вода тем и хороша, что она дает добро всем существам и не спорит с ними… Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. Это знают все, но люди не могут это осуществить.

[6] Де Мабли Габриель Бонно (фр. Gabriel Bonnot de Mably; 1709–1785) – французский политический деятель, коммунист-утопист, предлагал уравнительные мероприятия (ограничение потребностей, пресечение роскоши и др.).

[7] Гомруль (англо-ирландский договор; англ. Home Rule – «самоуправление»). Программа самоуправления Ирландии, выдвинутая в 1869 г. И. Батом. Программа была направлена на создание ирландского парламента и национальных органов

управления при сохранении над Ирландией верховной власти Великобритании.

[8] Уатт Джеймс (англ. Watt James; 1736–1819) – английский изобретатель, создатель универсального теплового двигателя. Изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия (1774 г.), в которой применил центробежный регулятор, передачу от штока цилиндра к балансиру с параллелограммом и др. (патент 1784 г.). Машина Уатта сыграла большую роль в переходе к машинному производству.

[9] Стефенсон Джордж (вар. – Стивенсон; англ. Stephenson George; 1781–1848) – английский изобретатель, положивший начало паровому железнодорожному транспорту.

[10] Морзе Сэмюэль Финли Бриз (англ. Morse Samuel Finley Breese; 1791–1872) – американский художник и изобретатель, создатель электромеханического телеграфного аппарата (1837 г.) и кода (азбуки Морзе). Морзе являлся также одним из главных основателей Академии художеств в США, ее президентом (1826–1845; 1861–1872 гг.).

[11] Геккель Эрнст (нем. Ernst Haeckel; 1834–1919) – немецкий биолог-эволюционист, представитель естественно-научного материализма, сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина, автор биогенетического закона и первого «родословного дерева» животного мира. Автор трудов «Общая морфология организмов» (Т. 1, 2, 1866), «Мировые загадки» (1899).

[12] Покрывало Изиды – вышедший из употребления фразеологизм, означал покров, завесу тайны, скрывающую некую истину, сокровенное знание. Изида в Древнем Египте – жена бога Озириса, почиталась как хранительница сокровенных тайн природы и олицетворяла ее жизненные силы. На храме Изиды в г. Саис была надпись: «Я то, что было, есть и будет: никто из смертных не приподнимал моего покрывала». Выражение вошло в обиход после выхода в свет стихотворения И. Ф. Шиллера «Закрытая статуя в Саисе».

[13] Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) – публицист, общественный деятель, редактор журнала «Дело». Шелгунов родился в семье обедневшего дворянина. Вследствие бедственного материального положения семьи из-за ранней смерти отца Шелгунова отдали на воспитание в военный Александровский корпус. Затем он был направлен на учебу в Лесной институт, который с отличием окончил в 1841 г. До 1851 г. Шелгунов служил по лесному

ведомству лесоустроителем, лесничим, ревизором, много ездил по России, узнал тяготы деревенской жизни. В 1853 г. Шелгунов познакомился с поэтом-демократом М. Л. Михайловым, затем с Н. Г. Чернышевским; увлекся социально-демократическими идеями («У меня тогда не было других мыслей и желаний, кроме желания переделать Россию сверху донизу и превратить ее в рай»). В 1856–1857 гг. в научной командировке за границей для подготовки к профессорскому званию Шелгунов познакомился с А. И. Герценом и его сочинениями. Вернувшись в Россию, стал профессором Лесного института, автором многих научных статей по лесоводству. Сотрудничал в литературных демократических журналах «Русское слово», «Современник» и других. В 1862 г. вышел в отставку в чине полковника и полностью посвятил себя литературной деятельности, став, по собственным словам, «литературным пролетарием».

[14] Птолемей Клавдий (древнегреч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος; ок. 90 – ок. 160) – древнегреческий философ, астроном и математик, географ, разработавший теорию движения планет вокруг неподвижной Земли (так называемую Птолемееву система мира). В области оптики исследовал преломление и рефракцию света. Основные труды: «Альмагет» (энциклопедия древних астрономических знаний), «География» (дана географическая картина античного мира). Птолемеева система иначе называется геоцентрической системой мира.

[15] Лойола Игнатий (исп. Inigo Lopez de Recalde de Loyola) (1491–1556) – испанский монах, основатель монашеского ордена «дружины Иисуса» (иезуитов), его первый магистр. Лойола написал устав ордена, составил руководство религиозного воспитания «Духовные упражнения», которая стала настольной книгой всякого иезуита. Канонизирован в 1622 г.

[16] Вагнер Николай Петрович (псевд. «Кот Мурлыка»; 1829–1907) – русский зоолог и писатель, профессор, автор трудов по фауне беспозвоночных Белого моря, энтомологии, а также автор открытия явления педогенеза у насекомых (1862 г.). В 1891 г. был избран президентом Русского общества экспериментальной психологии. Вагнер проявил себя и как талантливый писатель. Наибольшую популярность приобрела его книга «Сказки Кота Мурлыки» (1872), в которую вошли 25 сказок, многократно переиздававшихся. Основная тема их – борьба добра со злом – воплощается в фантастических и аллегорических сюжетах. В яркой и увлекательной форме Вагнер

стремился направить ум и чувства читателя в сторону подвига и добра. Добро всегда мистически побеждает зло. Для сказок Вагнера характерна философско-психологическая трактовка нравственных вопросов. Сказки вызвали в свое время острую полемику в педагогической среде. Автор повестей, рассказов и антинигилистического романа «Темный путь» (Т. 1, 2), где впервые в русской литературе раскрывается международный заговор сионистов, стремящихся к мировому господству и готовых использовать для достижения своих целей самые низкие средства. Абстрактное зло из сказок Кота Мурлыки в романе «Темный путь» воплощается в конкретное зло мирового сионизма (Большая энциклопедия русского народа. Русская литература. – М., 2004. – С. 190).

[17] Богданов Модест Николаевич (1841–1888) – русский зоолог, путешественник, профессор зоологии Санкт-Петербургского университета. С 1877 г. являлся хранителем Зоологического музея Императорской академии наук. В 1873 г. участвовал в Хивинской экспедиции. Изучал жизнь и географию распространения позвоночных животных и птиц. Основные труды: «Птицы и звери черноземной полосы» (Казань, 1871), «Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум» (Ташкент, 1882), «Зоогеографическая жизнь полевого тетерева» (Казань, 1867), «Русские сорокопуты», «Птицы Кавказа» (Спб., 1879), «Описание Хивинского похода 1873 г.» (Ташкент, 1882). «Орнитология России» (Ч. 1. Спб., 1885). Много писал для детей, особенно в журнале «Родник». Детские книги: «Мирские захребетники: Очерки из быта животных, селящихся около человека» (Спб., 1884; переизд. в 1960 г.), «Из жизни русской природы» (Спб., 1889; 10 изданий, переизд.: М., 1960); изд. с предисловием и биографией Богданова, написанными профессором Н. П. Вагнером («Кот-Мурлыка»).

[18] Талейран Шарль Морис (полная фамилия Талейран-Перигор; фр. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord; 1754–1838) – французский дипломат, епископ Отенский (1788 г.), министр иностранных дел в 1797–1799 гг. при Директории, а также с 1799 по 1807 г., в период Консульства и империи Наполеона I, и в 1814–1815 гг. (при Людовике XVIII). В 1830–1834 гг. являлся французским послом в Лондоне. Признан современниками одним из самых выдающихся дипломатов своего времени.

[19] Меттерних Клеменс (Меттерних-Викнебург; нем. Metternich-Winneburg Klemens; 1773–1859) – князь, австрийский государствен-

ный и политический деятель, министр иностранных дел и фактический глава правительства в 1809–1821 гг. В 1821–1848 гг. – канцлер, один из организаторов Священного союза, установил в Австрийской империи систему политических репрессий. Во время Венского конгресса 1814–1815 гг. Меттерних подписал секретный договор с представителями Англии и Франции против России и Пруссии. Он был отстранен от дел в результате революции 1848–1849 гг.

[20] Макиавелли Никколо (вар.: Макьявелли; итал. Machiavelli Niccolò; 1469–1527) – итальянский политический мыслитель, историк, писатель. Макиавелли считал, что политическую раздробленность Италии может преодолеть только сильная государственная власть, ради упрочения которой возможны любые средства. Поэтому понятие «макиавеллизм» стало нарицательным для определения политики, пренебрегающей нормами морали. Основные политические и научные труды: «Государь» (1513 г.), «История Флоренции» (1520–1525), а также литературные произведения, например комедия «Мандрагора» (1518).

[21] Моммзен Теодор (нем. Mommsen Theodor; 1917–1903) – немецкий историк, исследователь истории Древнего Рима и римского права. Автор трудов «Римская история»; военно-политической истории Рима (до 46 г. до н. э.), истории римских провинций. В 1902 г. был удостоен Нобелевской премии в области литературы.

[22] Гааз Федор Петрович (1780–1853) – русский врач-гуманист, занимавшийся организацией медицинской помощи арестантам, а также созданием школ для детей арестантов.

Две правды

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1893. – № 4. – С. 187–216. (Ч. I–VIII); № 5. – С. 212–250 (Ч. IX–XVIII).

Повторно опубл.: Две правды // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 51–118.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) – русский поэт, которого считают предшественником декадентства. Однако в лирике Надсона существенное место занимают гражданские мотивы. Основные сочинения Надсона: поэма «Христианка» (1878), дра-

ма «Царевна Софья» (осталась незаконченной, 1880, опубл. в 1902 г.); стихотворения «Друг мой, брат мой…» (1880), «Наше поколенье юности не знает…»(1884), «Сколько лживых фраз, надутолиберальных» и др. (ноябрь 1881 г.).

[2] Дедлов (псевд.; наст. имя – Кигн Владимир Людвигович; 856–1908). Начал писательскую деятельность в 1876 г. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Постоянный сотрудник газеты «Неделя», также печатался в журналах «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива». Наиболее известное произведение – повесть «Сашенька» (1892), где показан конфликт между наивными радикалами-идеалистами 1860-х годов и поколением 1880-х годов с их политической индифферентностью, разочарованностью в политическом радикализме отцов. Являлся сторонником либерально-народнической теории малых дел, культурничества.

[3] Леруа-Болье Анатоль (фр. Leroy-Beaulieu Anatole; 1842–1894) – французский публицист, профессор истории в Ecole libre des sciences politiques. С 1872 по 1881 г. совершил четыре путешествия в Россию, результаты которых изложил в книге «L'Empire des Tsars et les Russes» («Империя царей и русские») (Париж, 1881–1889). Это всестороннее исследование о современном государственном и общественном строе России, наиболее обстоятельное в западноевропейской литературе. Автор относится к России с уважением, и даже неблагоприятные отзывы его отличаются сдержанностью. Дополнением к этому труду служит сочинение: "Un homme d'état russe. Etude sur la Russie et la Pologne pendant le règne d'Alexandre II". – Париж, 1884 («Человек русского государства. Очерк России и Польши в продолжение царствования Александра II»), посвященное Н. А. Милютину. Автор пользовался неизданной корреспонденцией Н. А. Милютина и др. Другие сочинения Леруа-Болье: "La France, la Russie et l'Europe". – Париж, 1888 («Франция, Россия и Европа») "La révolution et le libéralisme". – Париж, 1890 («Революция и либерализм), "La papauté, le socialisme et la démocratie". – Париж, 1892 («Бедность, социализм и демократия»), "Les Juifs et l'antisémitisme, Israel chez les nations". – Париж, 1893 («Евреи и антисемитизм, Израиль к нациям». – Русск. пер. – СПб., 1894). Не выступая безусловным защитником евреев, Леруа-Болье решительно высказывается против племенной и религиозной вражды.

[4] Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – русский критик, журналист, ученый. Родился в семье дьякона. Окончил Московскую духовную академию (1824 г.). В 1831–1835 гг. – профессор Московского университета по кафедре теории изящных искусств и археологии. С 1831 г. издавал журнал «Телескоп» с приложением газеты «Молва», в которых сотрудничал В. Г. Белинский. В 1836 г. «Телескоп» был закрыт за опубликование «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Надеждин был сослан в Усть-Сысольск, затем в Вологду (1836–1838), где начались его историко-географические и историко-этнографические исследования. Надеждин как ученый – теоретик этнографии – активно работал в Отделении этнографии Русского географического общества (с 1848 г. являлся председателем Отделения). Программное выступление Надеждина в обществе – «Об этнографическом изучении народности русской» было опубликовано в «Записках Русского географического общества» (кн. 2, 1847). Был одним из пионеров исторической географии в России («Опыт исторической географии русского мира» опубл. в журнале «Библиотека для чтения», Спб., 1837; № 6. – Ч. 2). Исторические взгляды Надеждина нашли отражение в статьях «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (Телескоп. – 1836. – Ч. 31), «Об исторических трудах в России» («Библиотека для чтения». – 1837. – № 1). Мировоззрение Надеждина отличалось большой противоречивостью: сочетало монархизм и отрицательное отношение к революции с идеями демократизации общества. Надеждин-критик способствовал формированию реализма в русской литературе.

[5] Писемский Александр Феофилактович (1821–1881) – русский писатель, популярный в 1860–1880-е годы. Автор романов: «Тысяча душ» (1858), «Люди сороковых годов» (1869) и др., повести «Виновата ли она?» (1855) и драм, среди которых была очень популярна «Горькая судьбина» (1859).

[6] Вольтер (фр. Voltaire; наст. имя Аруэ Мари Франсуа;1694–1778) – французский писатель, поэт, философ.

[7] Расин Жан Батист (фр. Racine Jean-Baptiste; 1639–1699) – французский драматург, поэт.

[8] Августул Ромул (лат. Romulus Augustulus; 460-е или 470-е – после 511) – последний император (475–476 гг.) Западной Римской империи. Августул был провозглашен императором своим отцом Орестом. Его права на престол не были признаны ни Восточно-

Римской империей, ни правителем Галлии Сиагрием, ни правившим в Далмации Непотом. Свержение Ромула Августула Одоакром считается концом Западно-Римской империи.

[9] Гюго Виктор Мари (фр. Hugo Victor Marie; 1802–1885) – французский прозаик, поэт и драматург, один из первых и наиболее страстных представителей французского романтизма. Написанное им предисловие к драме «Кромвель» (1827) являлось манифестом французских романтиков, а первые его пьесы, опровергавшие классицистические представления о театре, вызывали ярость публики и критики. Однако уже вскоре Гюго был признан, а с 1841 г. стал членом Французской академии. В России Гюго пользовался популярностью прежде всего как романист. Романы Гюго отличает историческая масштабность, патетичность, разветвленность сюжета, гуманизм и сострадание к низшим слоям общества. Автор поэтических сборников «Восточные мотивы» (1829), «Возмездие» (1853), «Легенда веков» (т. 1–3, 1859–1883). Самые знаменитые его романы: «Собор Парижской Богоматери» (1831), «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется» (1869), «1793-й год» (1874) и др. Автор пьес «Эрнани» (1829), «Марион де Лорм» (1831), «Рюи Блаз» (1838) и др.

[10] Теннисон Альфред (англ. Alfred Tennyson; 1809–1892) – пэр Англии и самый знаменитый английский поэт своей эпохи.

[11] Руссо Жан Жак (итал. Russo Jean-Jacques;1712–1778) – французский философ, писатель, представитель сентиментализма. Как философ, Руссо с позиций деизма осуждал официальную Церковь и религиозную нетерпимость. Выступал против социального неравенства, полагал, что государство может возникнуть только в результате договора свободных людей. С именем Руссо связана идея общественного договора. Идеи Руссо – культ природы и естественности, критика городской культуры и цивилизации), внимание к частной, душевной жизни героев его художественных произведений оказали влияние на общественную мысль и литературу многих стран.

[12] Квинт Гораций Флакк (лат. Quintus Horatius Flaccus; 65–8 до н. э.) – римский поэт, автор сатир, которые он называл «беседами», лирических од, посланий, содержащих поучения, советы в духе эпикурейства и стоицизма. Знаменитая ода Горация «Памятник» породила множество подражаний (Г. Р. Державин, А. С. Пушкин и др.).

[13] Лонгфелло Генри Уодсуорт (англ. Longfellow Henry Wadsworth; 1807, Портленд, штат Мэн – 1882, Кембридж, штат Массачусетс) – американский поэт.

[14] Гоббс Томас (англ. Hobbes Thomas; 1588, Малмсбери, Уилтшир, Королевство Англия – 1679, Дербишир, Королевство Англия) – английский философ-материалист, автор теории общественного договора.

[15] Локк Джон (англ. Locke John; 1632, Рингтон, Сомерсет, Англия – 1704, Эссекс, Англия) – британский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма.

[16] Юм Дэвид (Давид Юм, Дейвид Юм; англ. Hume David; 7 мая (26 апреля по ст. ст.) 1711, Эдинбург, Шотландия – 25 августа 1776, там же) – шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма.

[17] Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – русский революционный деятель, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. С 1830-х годов состоял членом кружка Н. С. Станкевича. В 1840 г. эмигрирует в Западную Европу, где участвует в революциях 1848–1849 гг. в Австрии, Германии и Франции. В 1851 г. выдан австрийскими властями России, где был заключен в Шлиссельбургскую крепость. С 1857 г. находился в сибирской ссылке. В 1861 г. бежал за границу, сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. В 1868–1872 гг. являлся членом I-го Интернационала, был оппонентом К. Маркса и его сторонников. Основное сочинение Бакунина – «Государственность и анархия» (1873).

[18] Статья основателя английского позитивизма философа и экономиста Джона Стюарта Милля (1806–1873) «О свободе».

[19] Не совсем точная строка из стихотворения Александра Полежаева (1804–1838) «И я жил, но я жил на погибель свою…»: «Что любил, в том нашел гибель жизни моей / Дух уныл, в сердце кровь / От тоски замерла, мир души погребла / В шумной воле любовь… / Не воскреснет она!..»

[20] Шварц Бертольд, или Бертольд Черный (нем. Berthold Schwarz, лат. Bertholdus Niger, наст. имя Константин Анклитцен) — немецкий францисканский монах, живший в XIV веке и считающийся изобретателем пороха. Бертольд родился в конце XIII или начале XIV века во Фрейбурге-в-Брейсгау (по другим сведениям – в Дортмунде). Много занимался химией; предание говорит, что, посаженный в тюрьму по обвинению в колдовстве, он продолжал там

свои занятия и случайно изобрел порох. Его настоящее имя было Константин Анклитцен (нем. Konstantin Anklitzen); Бертольдом он назывался в монашестве, а прозвище Шварца получил за свои занятия химией. Некоторые думают, что он был монахом в Майнце, другие — в Нюрнберге; изобретение пороха сделано, по одним данным, в Кельне, по другим — в Госларе. Время изобретения – ок. 1330 г. (скорее всего не ранее 1313 г. и не позже 1359 г.). Не подлежит сомнению, что смесь вроде пороха известна была и до Шварца. Во Фрейбурге-в-Брейсгау ему воздвигнут памятник.

[21] Тьер Адольф (фр.Thiers Adolphe; 1797, Марсель – 1877, Сен-Жермен-ан-Ле) – французский государственный деятель, историк, член Французской академии (1833 г.). Выступал против идей социализма; участвовал в 1850 г. в выработке законов о передаче народного образования под контроль духовенства, об ограничении избирательного права. В 1863 г. был избран депутатом Законодательного корпуса, примкнул к умеренно либеральной оппозиции. В феврале 1871 г. был назначен Национальным собранием главой исполнительной власти Французской республики. Подписал унизительный для Франции прелиминарный мирный договор с Пруссией (февраль 1871 г.). Парижане восстали против реакционной политики правительства Тьера. Революционное восстание 18 марта 1871 г. привело к провозглашению Парижской Коммуны 1871 г. Бежал в Версаль. Заручившись поддержкой немецких оккупационных войск, подавил Коммуну. В августе 1871 г. Национальное собрание избрало Тьера президентом Французской республики. Тьер распустил Национальную гвардию, выступал против всеобщего светского начального обучения, был ярым противником каких-либо прогрессивных реформ. Однако, учитывая политическую обстановку, он противился восстановлению монархии, отчего в мае 1873 г. между правительством Тьера и монархическим большинством Национального собрания возник острый конфликт. В мае 1873 г. Тьер ушел в отставку.

Литературная хворь

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1893. – № 6. – С. 183–215.

Повторно опубл.: Литературная хворь // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 119–157.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Бичер-Стоу Гарриет Элизабет (англ. Harriet Elizabeth Beecher Stowe; 1811–1896) – американская писательница, автор знаменитого романа «Хижина дяди Тома».

[2] Лаплас Пьер Симон (фр. Laplace; 1749–1827) – французский астроном, математик, председатель Палаты мер и весов (1790), министр внутренних дел Франции (1799). Занимался вопросами небесной механики, разработал теорию возмущений траекторий планет; предложил новый способ вычисления орбит; доказал устойчивость Солнечной системы; высказал гипотезу о формировании Солнечной системы из газовой туманности. Разработал в 1806–1807 гг. теорию капиллярных сил, вывел формулу Лапласа для определения капиллярного давления. «Преобразование Лапласа» стало основой операционного исчисления. Основные труды: «Изложение системы мира» (1796), «Аналитическая теория вероятностей» (1812), «Трактат о небесной механике» (1798–1825).

[3] Петроний Тит Гай (Petronius, наст. имя – Тит Петроний Нигер; ?– 66) – римский писатель.

Больная воля
(«Палата № 6». Рассказ А. П. Чехова)

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 199–226 – под названием «Без воли и совести» («Палата № 6». Рассказ А. П. Чехова).

Повторно опубл.: Избранные статьи из сборника: Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 158–188.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Повесть «Палата № 6» была написана в 1892 г., впервые опубликована в «Русской мысли» (1892. – № 11. – С. 76–123) с подписью: «Антон Чехов». С исправлениями включена в сборник «Палата № 6» (Спб., 1893) и с незначительными изменениями повторно в нескольких изданиях того же сборника (1893–1899), вышедшего в серии «Для интеллигентных читателей. Серия XVI» (М., 1893, изд. 2 и 3 – 1894 и 1899 гг.). Повесть вошла в т. VI Собрания сочинений А. П. Чехова изд. Ф. Маркса.

В повесть включены многие размышления и впечатления Чехова конца 1880 – начала 1890-х годов. Врач П. А. Архангельский вспоминал, что Чехов очень заинтересовался его «Отчетом по

осмотру русских психиатрических заведений» (М., 1887), корректурные листки которой просматривал летом 1887 г. в Бабкине (Архангельский П. А. Из воспоминаний о Чехове // Соболев Юрий. Антон Чехов. Неизданные страницы. – М., 1916. – С. 138, 139). В повести проявилось увлечение Чехова философией мыслителя позднего стоицизма Марка Аврелия Антонина (121–180). Имя Аврелия упоминается в рассказе «Скучная история» (1889) и дважды в письмах Чехова этого периода к А. П. Ленскому от 9 апреля 1889 г. и А. С. Суворину от 11 апреля 1889 г. Чехов дал сочинениям Аврелия высокую оценку, читая книгу «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя» в переводе и издании кн. Л. Урусова (Тула, 1882).

[2] Реклю Элизе (фр. Reclus Élisée; 1830, Сент-Фуа-ла-Гранд, Жиронда, Франция – 1905, Тюрнхаут, Бельгия)– французский географ, естествоиспытатель, историк. Имеется в виду труд «Человек и земля» (1870–1890-е гг.) (Т. 1–6. – Спб.: Брокгауз-Ефрон, 1906–1909) в переводе приват-доцента П. Ю. Шмидта и профессора В. Д. Зелинского. Материал в труде располагался по историческим периодам, странам, континентам, разделам обществознания: Т. 1. Первобытный человек. Древняя история. Т. 2. Древняя история. Финикия. Египет. Ливия. Греция. Общества эллинистического и персидского мира. Т. 3. Древняя и новая история. Китай. Индия. Христиане. Варвары. Второй Рим. Арабы. Каролинги и норманны. Крестовые походы. Т. 4. Новая история. Общины. Монархии. Т. 5. Новая история. Революции. Борьба за национальность. Освобождение негров и крестьян. Интернационал. Современная история. Латинские и германские народы. Т. 6. Современная история Англии и ее Света. Новый Свет и Океания. Современное государство. Культура и собственность. Промышленность и торговля. Религия и наука. Воспитание. Прогресс.

Поэт-богатырь
(По поводу писем гр. Алексея Толстого)

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1895. – № 11. – С. 194–228 под названием «Поэт русского Возрождения», с подзаголовком «По поводу писем гр. А. Толстого». Публикации предшествовал эпиграф:

В совести искал я долго примиренья,
Горестное сердце вопрошал довольно –

Чисты мои мысли, чисты побужденья,
А на свете жить мне тяжко и больно!
(Гр. Алексей Толстой)

Повторно опубл.: Избранные статьи из сборника: Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 294–329.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Тютчева Анна Федоровна, дочь поэта Ф. Тютчева, фрейлина жены Александра II, императрицы Марии.

[2] Сен-Жюст Луи (фр. Saint-Just Louis; 1767–1794) – французский политический и военный деятель, один из организаторов побед над интервентами в период якобинской диктатуры, член Комитета общественного спасения, сторонник М. Робеспьера. Казнен термидорианцами.

[3] Робеспьер Максимилиан (Максимильен; фр. Robespierre Maximilien; 1758–1794) – французский политический деятель времен Великой французской революции, один из руководителей якобинцев; в 1793 г. фактически возглавил революционное правительство, сосредоточив в своих руках практически неограниченную власть, способствовал созданию революционного трибунала, казни Людовика XVI и лидеров жирондистов, организовал массовый террор. Был казнен термидорианцами.

[4] Исторические драмы «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) входили в состав драматической трилогии, которую завершала драма «Царь Борис» (1870).

[5] Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875) – орловский и курский губернатор.

[6] Ярослав Мудрый (ок. 978–1054) – великий князь киевский (с 1019 г.), сын Владимира I, участник княжеских междоусобиц. Разделил господство с братом Мстиславом (1026 г.), в 1036 г. вновь объединил государство, рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. Ярослав Мудрый установил династические связи со многими странами Европы. При нем была составлена «Русская правда».

[7] Генрих I (нем. Henri; 1008–1060) – король Франции (с 1031 г.) из династии Капетингов, сын Роберта II Благочестивого и Констанции Прованской. Был женат вторым браком на дочери Ярослава Мудрого, русской княжне Анне Ярославне. Являлся отцом Филиппа I.

Генрих I вел частые войны против собственных вассалов. Обеспокоенный усилением Нормандии, предпринял попытку вторжения, но был разбит в битве при Мортемере (1054 г.). Умер в разгар приготовлений к войне с Вильгельмом Завоевателем, права которого на английский престол не признавал.

[8] Гарольд I Босой (Harold) – король Англии в 1035–1040 гг., сын Кнуда I.

[9] Григорий VII Гильдебрандт (между 1015 и 1020–1085) – с 1073 г. – римский папа, фактически руководил церковью при папе Николае II в 1059–1061 гг. Добивался верховенства над светскими государями, боролся с императором Генрихом IV за инвеституру, запретил симонию (продажу должностей) и ввел целибат (безбрачие духовенства).

[10] Изяслав (1024–1078) – великий князь киевский, сын Ярослава Мудрого, участвовал в составлении «Правды Ярославичей».

[11] Генрих IV (нем. Henri; 1050–1116) – германский король с 1056 г. и император Священной Римской империи (с 1084 г.) из Франконской династии, сын Генриха III, отец Генриха IV. Вел борьбу за инвеституру с папой Григорием VII, который хотел подчинить себе немецкое духовенство, созвал в Вормсе (1076 г.) Собор германских епископов, объявивших о низложении папы, в ответ был отлучен от Церкви. Чтобы не попасть в руки принявших сторону папы князей, неожиданно в 1077 г. появился в Каноссе, где укрывался папа, и смиренно просил Григория о снятии церковного проклятия (так называемое «хождение в Каноссу»). Получив прощение, вернулся в Германию и усмирил мятежных князей. Вторгся в Италию, захватил Рим (1084 г.), но был выбит норманнами. В 1104 г. воевал с восставшим сыном Генрихом, был пленен, бежал, умер во время подготовки к новой войне.

[12] Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) – граф из рода Биронов, обер-камергер двора и фаворит императрицы Анны Иоанновны. В 1730–1740-х годах пользовался неограниченным доверием императрицы Анны Иоанновны. Проводимая Бироном политика привела к засилью иностранцев, разграблению богатств страны, жестоким преследованиям недовольных. После смерти Анны Иоанновны Бирон являлся регентом при младенце императоре Иване IV Антоновиче. В ходе дворцового переворота 1740 года Бирон был арестован и сослан. В 1762 г. помилован Петром III.

[13] Аракчеев Александр Андреевич (1769–1834) – русский государственный и военный деятель, генерал от артиллерии (1807 г.). В 1808–1810 гг. – военный министр, провел ряд реформ в армии и реорганизовал артиллерию. В 1810–1812 гг. и в 1816–1826 гг. Аракчеев являлся председателем Департамента военных дел Государственного совета. В 1816–1825 гг. Аракчеев стал наиболее доверенным лицом императора Александра I, будучи ревностным проводником его политики, являясь организатором военных поселений. В 1818 г. участвовал в разработке проекта освобождения крестьян.

[14] Тиверий, римский император Август (Лк. 3:1). В царствование Тиверия явился на проповедь Предтеча Христов Иоанн Креститель. При нем же с 14 лет протекала вся последующая земная жизнь и самого Спасителя. В 15-й год его царствования Иоанну Крестителю и Иисусу Христу было около 30 лет (Лк. 3:23). При Тиверии, после крещения от Иоанна, Господь проходил открытое Свое служение для спасения людей; при нем же Он пострадал, умер и воскрес из мертвых. Известнейшее свидетельство Тиверия об Иисусе Христе следующее: «В это же время, – пишет он сенату, – жил Иисус, муж мудрый, если только немало будет назвать Его мужем. Ибо Он совершал чудные дела; был учителем человеков, с удовольствием приемлющих истину, и приобрел Себе множество последователей как из Иудеев, так и из язычников. Это был Христос. И хотя Пилат по доносу Иудейских старейшин осудил Его на смерть, однако последователи не оставили прежней к Нему любви. В третий день Он явился пред ними опять живым, согласно предсказаниям Божественных пророков, предрекших как о сем, так и о других многочисленных чудесах Его. Названное по имени Его общество Христиан существует еще доныне» (Древ. кн. XIII, гл. III, § 2). Интерес представляют еще так называемые акты или донесения Пилата императору Тиверию об Иисусе Христе, Его жизни, чудесах, осуждении на смерть и воскресении. По свидетельству древних церковных историков, Тиверий, ознакомившись с донесением Пилата о чудесах Христовых, хотел включить Иисуса Христа в число богов и предложил это римскому сенату, но сенат не согласился с императором на том основании, что не исследовал сам этого вопроса, и не одобрил решения.

[15] Калигула (лат. Caligula) – римский император с 37 г. из династии Юлиев-Клавдиев. Стремление Калигулы к неограниченной

власти и требование почитать себя как бога вызывали недовольство сената и преторианцев. Калигула был убит преторианцами.

[16] Репнин Аникита Иванович, князь (1668–1726) – боярин, русский государственный деятель и военачальник. С 1724 г. – генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I, в 1700–1721 гг. – участник Северной войны, командовал дивизионом. В 1724–1725 гг. являлся президентом Военной коллегии.

[17] Морозов Борис Иванович (1590–1661) – русский государственный деятель, воспитатель будущего царя Алексея Михайловича. В 1645–1648 гг. являлся фактическим главой правительства, стал инициатором финансовых реформ, которые вызвали Московское восстание 1648 г. Морозов с октября 1648 г. был сослан, но сохранил политическое влияние до конца 1650-х годов.

[18] Серебряный Василий Семенович, князь (ум. ок. 1568 г.) – русский государственный деятель, боярин, воевода, отличился при взятии Казани (1552 г.), во время Ливонской войны руководил взятием г. Юрьев (1558 г.), возглавлял ряд удачных походов в Ливонию, отличился при взятии Полоцка.

[19] Пракситель (древнегреч. Πραξιτέλης; ок. 390 – ок. 340 до н. э.) – древнегреческий скульптор, один из крупнейших представителей поздней классики. Мраморные статуи Праксителя отличает чувственная красота, ясная и чистая гармония, настроение безмятежной созерцательности, одухотворенность. Творения Праксителя получили широкое признание и многократно копировались, в том числе и в мелкой пластике. Основные произведения – Основные произведения – «Отдыхающий сатир» (сер. IV в. до н. э., ок. 350 г. до н. э., римская копия с оригинала находится в Эрмитаже), «Отдыхающий Гермес с младенцем Дионисом» (IV в. до н. э., находится в Музее в Олимпии, Греция), «Афродита Книдская» (ок. 350 г. до н. э., мраморная римская копия с греческой находится в Музее Пио-Клементино (Ватикан)) известны по копиям.

Художественная проповедь (XI том сочинений Н. С. Лескова)

Впервые опубл.: Книжки «Недели». Ч. I–V.– 1894. – № 2. – С. 160–183.

Повторно опубл.: Избранные статьи из сборника: Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 330–352.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Лесков Николай Семенович. Собр. соч. в 12 т. Т. 1–12. – Спб., 1889–1896. Т. XI. – 490 с.). В т. XI были опубликованы следующие повести: «Час воли Божьей», «Полунощники», «Юдоль», «Импровизатор», «Пустоплясы», «Невинный Пруденций».

[2] Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – мыслитель, историк, правовед и общественный деятель. Первоначально занимал либеральные позиции, позднее отошел от них и сблизился со славянофилами. Стоял на позиции сильной самодержавной власти. В 1866 г. подал царю записку «О нигилизме и мерах против него необходимых». Кавелин наряду с Б. Н. Чичериным стал основателем государственной школы исторического последования. В своих трудах «Взгляд на юридический быт Древней России» (1847), «Мысли и заметки о русской истории» (1866), «Краткий взгляд на русскую историю» (опубл. в 1887 г.) Кавелин показывает решающую роль самодержавного государства в жизни народа. По мнению ученого, русское государство явилось высшей формой общественного бытия в жизни России. Кавелин был одним из творцов крестьянского законодательства 1861 г., в числе первых отечественных ученых исследовал сельскую общину, доказав, что в ее сохранении — основа социальной и экономической устойчивости России. Разрушение тысячелетних обычаев крестьянского мира, по мнению Кавелина, приведет к упадку экономики и падению самого Русского государства. Кавелин выступал противником личной собственности на землю, считая, что в условиях России она приведет к массовому обнищанию крестьян. Чтобы не допустить этого, ученый предлагал передать землю крестьянам в пожизненное пользование с правом наследования, но без права продажи. Причем выделение земли должно осуществляться строго в рамках уже существующих общин, являющихся, по сути дела, коллективными владельцами земли.

Сбились с дороги

(По поводу рассказа «Хозяин и работник» гр. Л. Н. Толстого)

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1895. – № 5. – С. 173–207.

Повторно опубл. отд. изд: Избранные статьи из сборника: Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 353–387.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Рассказ «Хозяин и работник» был впервые опубликован в журнале «Северный вестник» 5 марта (1895. – № 3. – С. 137–175). Одновременно рассказ был напечатан в Москве в издательстве «Посредник» и в 14 томе издававшихся С. А. Толстой «Сочинений гр. Л. Н. Толстого».

По свидетельству П. И. Бирюкова в «Биографии Льва Николаевича Толстого» (т. III. – М.: Госиздат, 1922. – С. 206), мысль написать рассказ «Хозяин и работник» пришла к Толстому зимой 1892–1893 гг., когда он, нахоясь в Бегичевке Данковского уезда Рязанской губ., руководил организацией помощи голодающим крестьянам. На эту мысль его навели необычайно сильные в ту зиму метели и вызванные ими рассказы о замерзших и занесенных снегом путниках. Бирюков ничем не подтверждает своих слов, но их нельзя не принять во внимание, потому что он тогда жил в Бегичевке и мог слышать от Толстого о замысле этого рассказа. Однажды Толстому самому пришлось заблудиться во время метели. Владелица Бегичевки Е. И. Раевская в записи от 15 февраля 1892 г. подтверждает этот случай («Хозяин и работник» – история писания и печатания // Академическое полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. 29. – М., 1935. – С. 375). Толстой упоминает впервые о рассказе в дневниковой записи от 6 сентября 1894 г.: «Утром в постели… продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике». Вероятно, тогда же был набросан первый, очень беглый, конспект рассказа: «1) Вас. Андр., уезжая, приказывает об овсе и рушке. 2) До лесу доезжают благополучно. Затишье. 3) Снимает тулуп, ходит, ложится вниз. 4) Лежит, Мекешка лежит не шевелится. В. А. ходит. Чего ходить-то? Нечего ходить. Ложится. Друг от дружки теплее. Ходит, суетится, потеет, теряется, приходит и валится на него сверху, и тотчас же засыпает. Просыпается холодно. Но лень вставать. Мечты» (Там же. – С. 375, 376). В тот же день Толстой приступил к осуществлению замысла. Дата начала – на основании письма Толстого к С. А. Толстой, записи в его «Дневнике» и письма дочери Толстого, Татьяны Львовны, к С. А. Толстой в Москву – о рассказе (6 сентября 1894 г.) и о конце первой черновой редакции (13 сентября 1894 г.) «Хозяина и работника». Закончив первую редакцию, Толстой на время прекращает работу над рас-

сказом. Возвращается Толстой к работе над рассказом только через три месяца (дневниковая запись 25 декабря 1894 г). С этого момента начинается интенсивная правка рассказа, продолжавшаяся до 1 января 1895 г. – дня отъезда Толстого с дочерью Татьяной Львовной в имение Олсуфьевых Никольское-Горушки. Но Толстой все еще не был удовлетворен рассказом. 31 декабря он записывает в «Дневнике»: «Прошло 5 дней. Все это время писал рассказ “Хозяин и работник”. Не знаю, хорошо ли. Довольно ничтожно». Столь же критически оценивает он рассказ и в дневниковых записях 3 и 6 января 1895 г.: «Поехали, как предполагалось 1-го. – Я до последнего часа работал над “Хозяином и работником”. Стало порядочно по художественности, но по содержанию еще слабо». «Третьего дня вечером читал свой рассказ. Нехорошо. Нет характера ни того, ни другого. Теперь знаю, что сделать» («Хозяин и работник» // Толстой Л. Н. Академич. Полн. собр. соч. Т. 29. – М., 1935. – С. 376). Гостя у Олсуфьевых, Толстой усиленно работал над отделкой рассказа. 14 января 1895 г. рукопись рассказа была послана Н. Н. Страхову для передачи в «Северный вестник». В сопроводительном письме Толстой просил Страхова оценить рассказ, а при положительной оценке просил подписать его в корректуру к печати, а также прислать ему корректуры в Москву. Никаких сведений об исправлениях Н. Н. Страхова в тексте «Хозяина и работника» нет. Недовольство рассказом Толстого повлекло и дальнейшую усиленную его правку. Последняя (третья) правка корректур рассказа была закончена Толстым приблизительно 23 февраля 1895 г. Набор текста в издании «Посредника» и 14 томе «Собрания сочинений гр. Л. Н. Толстого» был осуществлен с корректур «Северного вестника». Но текст «Посредника» хотя и получил цензурное разрешение на 9 дней раньше «Северного вестника», испытал перед выходом в свет еще одну дополнительную большую правку Толстого. Поэтому «каноническим» текстом рассказа «Хозяин и работник» текстологи считают текст издания «Посредника».

[2] Философский трактат «О жизни» был отпечатан в 1888 г. в московской типографии А. И. Мамонтова, но книга была запрещена и уничтожена цензурой. Уцелели лишь три экземпляра. Сам Толстой считал «О жизни» одной из главных своих книг. В октябре 1889 г. на вопрос географа и литератора В. В. Майнова он ответил: «Вы спрашивали, какое сочинение из своих я счи-

таю более важным? Не могу сказать, какое из двух: “В чем моя вера?” или “О жизни”» (Академич. полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. 64. – С. 317). Подобно тому как «Исповедь» и «В чем моя вера?» воплотили принципы религиозно-нравственного учения Толстого, как оно сложилось после перелома в мировоззрении, а трактат «Так что же нам делать?» — социальные и эстетические его взгляды, в трактате «О жизни» сформулированы философские основы миросозерцания. Первоначально сочинение было озаглавлено «О жизни и смерти»; по мере развития общей концепции Толстой пришел к убеждению, что для человека, познавшего смысл жизни в исполнении высшего блага, служении нравственной истине, смерти не существует. Человека освобождает от смерти духовное рождение. Он вычеркнул слово «смерть» из названия трактата. Истоки книги – в тех напряженных размышлениях о жизни и смерти, которые всегда занимали Толстого и обострились во время тяжелой болезни осенью 1886 г. Тогда же он получил письмо на эту тему от А. К. Дитерихс (ставшей вскоре женой В. Г. Черткова). 3–4 октября 1886 г. из Ясной Поляны Толстой сообщил Черткову: «От Ан[ны] Конст[антиновны] давно уже получил длинное хорошее письмо и вместо того, чтобы коротко ответить, начал по пунктам на все ее мысли. А так [как] одна из мыслей была о жизни и о смерти, то, о чем я так много заново думал, то и начал об этом и до сих пор все пишу, то есть думаю и записываю. Напишите ей, чтобы она на меня не обижалась» (Академич. полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Сер. третья. Письма / Под общ. ред. В. Г. Черткова. Т. 85. Письма к В. Г. Черткову 1883–1886 / Ред. Л. Я. Гуревич. – М., 1935. – С. 389).

[3] Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – русский историк, публицист. Автор работ «Разыскания о начале Руси» (полемика с норманистами), «История России» (Т. 1–5). Автор учебников по русской и всеобщей истории.

[4] Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (наст. фамилия Мамин) (1852–1912) – русский писатель, происходил из семьи священника, открыл в русской литературе второй половины XIX века региональную тему жизни на горных заводах Урала и Сибири. Окончил Екатеринбургское духовное училище, учился в Пермской духовной семинарии до 1872 г. Учился на юридическом факультете Петербургского университета с 1874 по 1882, 1883 г., но был вынужден оставить учение из-за бедности. Основные сочинения: «Привалов-

ские миллионы» (1883), «Горное гнездо» (1884), «Дикое счастье» (1884), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895), сборник рассказов «Уральские рассказы» (1888–1901), произведения для детей.

Вожди народные

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1900. – № 10. – С. 205–242.

Повторно опубл.: Вожди народные // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. – Спб., 1902. – С. 45–84.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Апеллес – один из живописцев древности. Его своеобразный гений особенно блестяще проявился в изображениях Афродиты, Харит и других богинь юности и красоты. Наиболее славится его картина «Афродита Анадиомена», на которой богиня выходит из воды морских и выжимает свои влажные волосы, а также изображение Артемиды с ее охотничьей свитой. Но и в изображениях героев Апеллес достиг такого же совершенства. Особенно часто изображал он Александра Великого и его славных полководцев. Знаменитейшая из картин этого рода хранилась в храме Дианы в Эфесе и изображала Александра Великого с молнией в руках. К этой именно картине относятся слова Александра, сказавшего, что существуют только два Александра: один – сын Филиппа, другой – на полотне Апеллеса; первый – непобедим, второй – неподражаем.

[2] Немврод (Нимврод, Нимрод) – в ветхозаветной мифологии богатырь и охотник, сын Хуша (Куша) и внук Хама.

[3] Кадм, Кадмос (древнегреч. Κάδμος) – в древнегреческой мифологии сын финикийского царя Агенора и Телефассы (или, по Ферекиду, Аргиопы), брат Европы, Фойника и Килика. Помог богам во время битвы с Тифоном.

[4] Кекропс, Кекроп (греч. Κέκροψ, Κέχροψ)– герой греческой мифологии. По преданию, основатель и первый царь Аттики, рожденный Геей; по менее популярной версии – сын Гефеста. Современник Триопа; при нем погиб Фаэтон и произошел Девкалионов потоп. Считался автохтоном, рожденным из земли, и представлялся с двумя змеиными туловищами вместо обеих ног. Изображается в облике змея.

[5] Пенн Уильям (англ. Penn; 1644 –1718) – английский политический деятель. Принадлежал к секте квакеров. В 1681 г. английский король Карл II Стюарт выдал Пенну хартию на право феодального владения большой территорией в Северной Америке, на которой Пенн основал колонию, известную затем под названием Пенсильвания. Разработал «Правила управления» и кодексы законов, по которым Ассамблея колонистов принимала участие в управлении колонией. В колонии была провозглашена веротерпимость. После основания Филадельфии в 1682 г.в колонию начался быстрый приток переселенцев из Европы. С 1684 г. жил главным образом в Англии.

Литературные характеристики

<Семен Яковлевич> Надсон

Данный вариант текста опубл.: Литературные характеристики. С. Я. Надсон // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. – Спб., 1902. – С. 469–478.

Не совпадает с текстом некролога о Надсоне в газете «Неделя».

Печатается по тексту издания.

[1] Минский Николай Максимович (наст. фамилия Виленкин) (1855–1937) – русский писатель, поэт, декадент-символист, один из основателей русского символизма, переводчик. После революции 1905–1907 гг. жил за границей. Поэтические сборники «При свете совести» (1890) и «Религия будущего» (1905).

[2] Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) – русский поэт, один из предтеч декадентства. Основные произведения: поэмы «Волки» (1889), «Весенняя поэма» (1892).

[3] Фруг Семен Григорьевич (1860–1916) родился в семье еврея-земледельца в одной из еврейских земледельческих колоний на юге Украины. С 1912 г. и до самой смерти жил в Одессе, где в 1913 г. было напечатано шестое издание его трехтомного «Полного собрания сочинений». В Одессе, которая была в те годы одним из центров еврейской литературной жизни, развился его талант литератора, оратора, чтеца. Современники вспоминали, что он с большим мастерством читал исключительно по памяти свои произведения на литературных вечерах.

[4] Гайдебуров Павел Александрович (1841–1894) – публицист, сначала демократ, в дальнейшем – либеральный народник. С 1870 г. – член редакции, а с 1874 г. – редактор газеты «Неделя».

[5] Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – литературный критик, публицист, революционный демократ. С 1857 г. – постоянный сотрудник журнала «Современник». Развивал эстетические принципы В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского. Разработал метод так называемой «реальной критики». Добролюбов являлся автором сатирических стихотворений, пародий. Основные статьи 1859–1860 гг.: «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?».

[6] Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) – поэт, публицист, переводчик, литературный критик, революционер. Родился в Оренбурге, в семье чиновника. Получил домашнее образование под руководством политических ссыльных. С 1846 г. в качестве вольнослушателя посещал лекции в Санкт-Петербургском университете, где подружился с Н. Г. Чернышевским. В это же время начинается его литературная деятельность. Из-за бедности вынужден был оставить университет и поступить на службу в провинциальных учреждениях. В 1852 г. возвратился в Петербург и приступил к работе в журнале «Современник». Во время поездки за границу познакомился с Герценом. Был арестован 14 сентября 1861 г. по обвинению в составлении прокламации «К молодому поколению» (написанной Н. В. Шелгуновым и отпечатанной в Вольной русской типографии). Михайлова приговорили к лишению всех прав и ссылке в каторжные работы на 6 лет. Продолжал заниматься литературной работой даже на каторге. Скончался на Кадинском руднике.

[7] Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) – историк, представитель государственной школы, публицист либерального направления. Автор трудов по истории права и государственных учреждений России, а также государственного права западноевропейских стран.

<Николай Семенович> Лесков

Впервые опубл.: Памяти Н. С. Лескова // Неделя. – 1895. – № 9. – С. 281–285.

Повторно опубл. отд. изд.: Литературные характеристики. Н. С. Лесков // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. – Спб., 1902. – С. 478–483.

Не совпадает с текстом некролога под заглавием: «Н. С. Лесков» // Неделя. – 1895. – № 9. – С. 272, 273.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Лесков Николай. Рассказы кстати. (Из литературных воспоминаний). Дама и фефела // Русская мысль. – 1894. – Кн. XII. – С. 72–109. Цикл художественно-публицистических произведений «Рассказы кстати». В рассказе «Дама и фефела» на материале из истории русской журналистики и литературы первой половины XIX века Лесков размышляет на тему, какая спутница жизни нужна писателю.

[2] Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) – русский писатель, прозаик и драматург, сторонник позитивистского учения, близкий к натуралистическому направлению. Боборыкин ввел слово «интеллигенция» в русский литературный язык. Автор романов «Жертва вечерняя» (1868), «На суд» (1869), «Дельцы» (1872–1873), «Лихие болести» (1876), «Китай-город» (1882), «Василий Теркин» (1892), «Перевал» (1894), «Тяга» (1898) и др.; повестей «Изменник» (1889), «Поумнел» (1890) и ряда других; пьес «Не у дел» (1878), «Сытые» (1879), «Доктор Мошков» (1884), «Старые счеты» (1883), «Накипь» (1899) и др.

[3] Чудновский Юрий Трофимович (1843–1896) – врач-терапевт и диагност, сын священника. Окончил курс в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии в 1866 г. и оставлен при ней для усовершенствования. В 1869 г. за диссертацию «Материалы для клинического изучения действия кровопускания» удостоен степени доктора медицины, а в 1870 г. командирован за границу и по возвращении оттуда назначен ассистентом терапевтической клиники в г. Вильно. В 1876 г. Чудновский был назначен адъюнкт-профессором по кафедре внутренних болезней Медико-хирургической академии, а в 1885 г. – ординарным профессором.

[4] Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) – государственный деятель, публицист славянофильского направления, светский богослов, собиратель русского песенного фольклора, член Русского географического общества, при котором создал в 1884 г. особую песенную комиссию для снаряжения экспедиций с целью собира-

ния народных песен. По поручению Морского министерства изучал быт, нравы и обычаи жителей причерноморских губерний. Его рекомендации были использованы при воссоздании Черноморского флота в 1870 г. Являлся чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре Святейшего Синода графе Д. А. Толстом, занимаясь делами восточных церквей и духовно-учебными заведениями. С 1864 г. и до конца дней Т. И. Филиппов служил в Государственном контроле, став в 1878 г. товарищем председателя государственного контролера, в 1883 г. – сенатором, а с 1889 г. – государственным контролером. Филиппов много занимался старообрядчеством, выступал за полную отмену всех существовавших ограничений для старообрядцев. Предлагал созвать Вселенский Собор для решения актуальных вопросов Церкви и для примирения со старообрядцами. Также высказывал мысль о необходимости восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Являлся одним из создателей журнала «Русская беседа», много печатался в изданиях национального направления, в частности в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, «Гражданине» кн. В. П. Мещерского. Основные сочинения Филиппова: «Несколько слов о несторианах», «О началах русского воспитания» (М., 1854), «Современные церковные вопросы» (Спб., 1882), «Сборник Тертия Филиппова» (Спб., 1896).

<Яков Петрович> Полонский

Впервые опубл.: Литературные характеристики. Я. П. Полонский // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. – Спб., 1902. – С. 484–489.

Печатается по тексту первой публикации.

[1] Фет Афанасий Афанасьевич (наст. фамилия Шеншин, побочный сын помещика Шеншина; 1820–1892) – русский поэт, представитель направления «чистого искусства». Для лирики Фета были характерны насыщенность конкретными приметами, мимолетные настроения человеческой души, музыкальность. Основные поэтические произведения: стихи «Весна и ночь накрыли дол» (1856), «Какое счастие: и ночь, и мы одни…» (1854), «Еще майская ночь» (1857) и др. Фет являлся автором переводов Горация, Овидия, Гете, а также трактата А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1881). Среди автобиографической прозы

писателя – «Мои воспоминания» (1890), «Ранние годы моей жизни» (опубл. в 1893 г.).

[2] Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) – поэт, первоначально – глава анакреонтического направления в русской лирике (стихотворения «Веселый час», «Мои пенаты», «Вакханка»). После пережитого духовного кризиса в его стихах преобладали элегические мотивы («Разлука», 1815, «Мой гений», 1815) и трагические («Умирающий Тасс», (Элегии, 1817), «Изречение Мельхиседека», 1821).

[3] Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, один из лидеров декабристского движения, создатель романтической декабристской эстетики героизма. Автор произведений: поэм «Войнаровский» (1823–1925), «Наливайко» (1824–1825), стихотворного цикла «Думы»; стихотворений «К временщику» (1820), «Гражданское мужество» (1823), «Гражданин» (1824–1825).

[4] Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) – поэт-романтик, критик, переводчик, участник общества «Любомудров». Автор произведений: стихов «К моему перстню» (1828), «Я чувствую, во мне горит…» (1829), «В чалме, с свинцовкой за спиной» (опубл. в 1960 г.). Автор переводов Горация, Гете.

[5] Полежаев Александр Иванович (1804–1838) – поэт, чья гражданская лирика связана с традициями декабристской поэзии. Основные произведения: неприличная поэма «Сашка» (1825), гражданская лирика, а также шуточные стихи.

[6] Стихотворение «Литературный враг» (1866) посвящено Д. Д. Минаеву, критику, поэту и общественному деятелю. «Я не в духе – и не в духе потому, / Что один из самых злых моих врагов / Из-за фразы осужден идти в тюрьму…» Пользовалось популярностью, многократно цитировалось, особенно окончание:

Но что значит гордость личная моя,
Если истина страдает больше всех!
Нет борьбы – и ничего не разберешь –
Мысли спутаны случайностью слепой, –
Стала светом недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.
Что же делать? И кого теперь винить?
Господа! Во имя правды и добра, –
Не за счастье буду пить я – буду пить
За свободу мне враждебного пера!

<Владимир Сергеевич> Соловьев

Текст первой публикации установить не удалось.

Повторно опубл.: Литературные характеристики. Вл. С. Соловьев // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. – Спб., 1902. – С. 489–497.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] «Вестник Европы» – русский ежемесячный журнал либерального направления. Издавался в Санкт-Петербурге, Петрограде в 1866–1918 гг.

[2] Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ, публицист и литературный критик, рассматривавший религию как высшую форму познания и критиковавший современные ему материализм и спиритизм. Страхов являлся первым биографом Ф. М. Достоевского. Автор трудов: «Борьба с Западом в русской литературе», «Мир как целое» (1872), «О вечных истинах» (1887), «Философские очерки» (1895).

[3] Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – писатель, философский публицист, один из ведущих сотрудников газеты «Новое время». Создатель литературного жанра кратких заметок «Опавшие листья». Для его творчества был характерен сплав бытового и философского, политического и интимного, трагического и обыденного. Одна из главных идей всего творчества Розанова – апофеоз семьи и пола, обожествление пола, в стихии которого он видел первооснову жизни. Первая и единственная научная философская работа – трактат «О понимании» (1894). Среди его работ выделяется эссеистско-дневниковая проза «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913–1915, т. 1, 2). Эссеистика: сборники «Библейская поэзия» (1912), «Религия и культура» (1-е изд: СПб., 1899), «Литературные изгнанники» (1913), «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918). Среди литературно-критических работ наиболее известны «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891) и два этюда о Гоголе («Несколько слов о Гоголе» и «Как произошел тип Акакия Акакиевича (к вопросу о характере гоголевского творчества», 1894 г.) – входили как составные части в статью «Легенды…».

[4] Антоний Великий (ок. 250–356 гг.) – христианский святой, основатель монашества, более 20 лет проживший в пустыне

на берегу Нила в полном одиночестве. Антоний принимал нуждающихся в духовном наставлении, изгонял бесов, исцелял больных. История искушений этого святого в пустыне служила неоднократно предметом живописных и художественных произведений.

<Николай Николаевич> Страхов

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1896. – № 3. – С. 253–257. Под загл.: «Памяти Н. Н. Страхова». Сокр. вар. ст. подп.: М.

Повторно опубл. отд. изд. расширенный вариант статьи: Литературные характеристики. Н. Н. Страхов // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. – Спб., 1902. – С. 497–502.

Печатается по тексту повторной публикации.

[1] Мультановский Сергей Яковлевич (1857–1906) – врач, доктор медицины, бывший морской врач.

[2] Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – поэт, писатель и переводчик, литературный и театральный критик-почвенник, создатель «органической критики», основанной на доминировании интуитивного подхода при анализе произведений искусства. Автор поэтических произведений: стихотворного цикла «Борьба» (полн. изд. – 1857). Стихи-романсы: «О, говори хоть ты со мной…»(1857), «Цыганская венгерка» (из цикла «Борьба», 1857) цикл «Импровизации странствующего романтика» (1860). Автор поэмы «Вверх по Волге» (1862) из книги «Одиссея последнего романтика» (рассказы и поэма 1840 – 1860-х гг., опубл.: М., 1915); критических работ «После “Грозы” Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу» (1860), «Развитие идеи народности в нашей литературе после смерти Пушкина» (1861), «Искусство и нравственность» (1861), «Лермонтов и его направление» (1862), «Реализм и идеализм в нашей литературе (По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева», 1861); «Граф Л. Толстой и его сочинения» (1862). Автор автобиографической прозы «Мои литературные и нравственные скитальчества» (написано в 1862 г., опубл.: М., 1915), трилогии рассказов «Человек будущего» (1845), «Мое знакомство с Виталиным» (1845), «Офелия» (1846), Переводил Э. Скриба «Роберт-дьявол» (либретто оперы, 1863), драму У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (опубл.: М., 1915).

[3] Вышнеградский Николай Алексеевич (1821–1872) – педагог, организатор женского образования в России, составитель первой русской программы по педагогике.

[4] Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – государственный деятель, ученый-правовед. Победоносцев преподавал законоведение и право наследникам престола (будущим Александру III и Николаю II), в 1880–1905 гг. – обер-прокурор Святейшего Синода. Играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения. В сфере национального вопроса и политических свобод являлся контрреформатором Александра III.

[5] Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – философ, социолог, естествоиспытатель. Данилевский выдвинул теорию обособленных «культурно-исторических типов» (цивилизаций), развивающихся подобно биологическим организмам. Основное сочинение – «Россия и Европа» (1869).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А. Глебов – *см.* Василевский И. М.
Абеляр Пьер – **I**. 582, 685.
Абрамов В. Н. – **II**. 597.
Абрамов Я. В. (Федосеевиц) – **I**. 9; **II**. 2024, 650.
Аввакум – **I**. 476; **II**. 296.
Августул Ромул – **II**. 673, 674.
Аверченко А. Т. – **II**. 649.
Аврелий Августин – **II**. 629.
Аврелий Марк – **I**. 487; **II**. 75, 406, 467, 634.
Авсеенко В. Г. – **I**. 673.
Аглая – **I**. 677.
Агриппина Младшая – **II**. 166, 643.
Азеф Е. Ф. – **I**. 250, 658.
Айвазовский И. К. – **I**. 370, 671.
Аксаков И. С. – **I**. 64, 229, 652, 675; **II**. 285, 612, 657.
Актон (Эктон) – I. 501.
Александр I – **I**. 634; **II**. 681.
Александр II – **II**. 679.
Александр Македонский – I. 665.
Алексеев Е. И. – **I**. 72–76, 624.
Алексеев С. Н. – **I**. 48.
Алексей Михайлович – **I**. 648.
Алехин Ю. – **I**. 65, 66.
Алкивиад – **I**. 461, 678.
Альма-Тадема Лоуренс – **II**. 242, 653
Аман – **I**. 176, 641, 642.
Амандина Аврора Люсиль Дюпен – *см.* Жорж Санд
Амфитеатров А. В. – **II**. 650.
Анакреон Теосский – **I**. 432, 440, 450, 455, 673.
Анит – **II**. 95.
Анна Иоанновна – **I**. 629.
Антисфен – **II**. 577.
Апамина – **II**. 31.
Апеллес – **II**. 567, 633, 687.
Апулей Луций – **II**. 112, 640.
Аракчеев А. А. – **II**. 500, 681.
Ариосто Лудовико – **II**. 77, 157, 637, 638.
Аристотель – **I**. 313, 665; **II**. 30, 244, 245, 290, 347, 360, 479, 507.
Аристофан – **I**. 487, 681.
Арсеньев И. А. – **I**. 672.
Артур – **II**. 638.
Архангельский П. А. – **II**. 677, 678.
Аскольд – **I**. 649.
Аспазия Милетская – **II**. 31, 633.
Афанасьев-Чужбинский А. С. – **I**. 645, 646; **II**. 604.
Афина – **I**. 483.
Афродита – **I**. 432, 452, 483–485, 592; **II**. 72, 633, 682, 687.
Ахиллес – **I**. 432, 518; **II**. 31, 74, 75, 81, 84, 89, 91, 363.

Бавкида – **I**. 452, 677.
Байрон Джордж Ноэл Гордон – **II**. 221, 393, 640.
Бакон – *см*. Бэкон Фрэнсис Веруламский.
Бакунин М. А. – **II**. 402, 675.
Балашев П. Н. – **I**. 47, 48.
Бальзак Оноре – **II**. 158, 238, 250.
Баратынский Е. А. – **II**. 307, 556, 560, 661, 662.
Барков И. С. – **I**. 439, 676.
Барр Джемс – **I**. 65.
Барятинский А. И. – **I**. 181, 642.
Баскин В. С. – **I**. 673.
Баталин И. А. – **I**. 672.
Баторий Стефан – **I**. 220, 650.
Батюшков К. Н. – **I**. 664; **II**. 3037, 500, 610, 692.
Бауэр – **II**. 168, 643.
Баярд Пьер Террайль – **II**. 75, 76, 424, 637.
Безак Ф. Н. – **I**. 48.
Белинский В. Г. – **I**. 220.
Беллами Эдвард – **II**. 234–237, 652.
Бенедикта – **I**. 487.
Бенедиктов В. А. – **II**. 307, 641, 662.
Беннет-младший Джеймс Гордон – **II**. 644.
Бернар Сара – **I**. 679.
Бернарден де Сен-Пьер – I. 310, 664.
Бертольд Черный – *см*. Шварц Бертольд.
Бертран – **II**. 193, 194.
Бестужев-Марлинский А. А. (Марлинский А. А.) – **II**. 307, 662.
Бехштейн Людвиг – **I**. 667.
Биконсфильд *см*. Дизраэли Бенжамин.
Бине Альфред – **I**. 669.
Бирилев А. А. – **I**. 71, 623.
Бирон Эрнст Иоганн – **II**. 500, 680.
Бирюков П. И. – **II**. 663, 684.
Бисмарк Герберт – **II**. 196.
Бисмарк Отто – **I**. 59, 95, 97, 134, 230, 628, 635.
Бичер-Стоу Гарриет Элизабет – **II**. 419, 677.
Бловиц Анри (Генрих) Жорж Адольф Оппер Стефан – **II**. 194, 649.
Бобелина – **II**. 47, 634.
Боборыкин П. Д. – **II**. 517, 607, 690.
Бобринский В. А. – **I**. 48, 183, 185, 186, 643.
Богданов В. А. – **I**. 653.
Богданов М. Н. – **II**. 347, 670.
Бодлер Шарль – **I**. 439, 664, 676.
Боккаччо Джованни – **I**. 519; **II**. 238, 653.
Бокль Генри Томас – **II**. 33, 95, 304.
Боргман И. И. – **I**. 109, 633.
Брама – **II.** 22.
Брандес Георг – **II**. 259, 287, 655.
Брем Альфред Эдмунд (Брэм) – **II**. 654.
Бройль (Брольи) Морис де – **II**. 647.
Брэм – *см*. Брем Альфред Эдмунд.
Буа Жюль – I. 474, 477, 679.
Будда – I. 480, 481, 679; **II**. 109, 392, 406.

Буланже Жорж – **II**. 194, 647.
Булацель П. Ф. – I. 103, 632, 653.
Буренин В. П. – **II**. 317, 665.
Бурже Поль Шарль Жозеф – **I**. 304, 474, 491, 664; **II**. 8, 9, 239, 630.
Бутлеров А. М. – **I**. 684.
Бутми-де-Кацман Г. В. – **I**. 651.
Буфф Шарлотта-София-Генриетта – **I**. 464, 678.
Бьернсон Бьёрнстьерне Мартиниус – **II**. 234, 652.
Бьоза Готье – **II**. 646.
Бэкон Фрэнсис Веруламский (Бакон) – **I**. 488, 545, 682.
Вагнер Н. П. – **II**. 318, 347, 669, 670.
Вамбери Арминий (Вамберг; Герман Бамбергер) – **II**. 234, 652.
Вамберг – *см*. Вамбери Арминий.
Вартал – **II**. 31, 698.
Василевский И. М. (Не-Буква, А. Глебов) – **I**. 474; **II**. 197, 649.
Василий Блаженный – **II**. 502.
Васильчиков А. И. – **I**. 204, 308, 664.
Васильчиков Б. А. – **I**. 654.
Ватсон М. В. – **II**. 602.
Венгеров С. А. – **I**. 23.
Венгерский Андрей – **II**. 491.
Веневитинов Д. В. – **II**. 610, 692.
Вентра Эжен – **I**. 679.
Вергилий – **I**. 487, 518.
Верещагин В. В. – **I**. 221, 650; **II**. 191, 390.
Верлен Поль Мари – **I**. 439, 676.
Ветчинин В. Г. – **I**. 48.
Виленкин – *см*. Минский Н. М.
Вило – **II**. 663, 664.
Вильгельм I Гогенцоллерн – **I**. 118, 635; **II**. 649.
Вильгельм II Гогенцоллерн – **II**. 197, 216, 649.
Вильгельм Завоеватель – **II**. 680.
Винавер М. М. – **I**. 163, 640.
Виноградов П. Г. – **I**. 60, 236, 657.
Виталий (Максименко) – **I**. 658.
Витте С. Ю. – **I**. 68, 249, 637, 657.
Владимир Первый Святой – **I**. 42, 57, 82, 146, 212, 217, 218, 633, 638.
Вовенарг Люк де Клапье – **I**. 491, 683.
Володимеров С. А. – **I**. 651.
Волынский А. Л. – **I**. 23.
Вольтер Аруэ Мари Франсуа – **II**. 391, 673.
Вольф – **II**. 196, 649.
Воронцов-Дашков И. И. – **I**. 182, 186, 643.
Вулкан – **I**. 452, 677.
Вышнеградский Н. А. –; **II**. 623, 695.
Г. О. Т. В. (Гольцев В. А.) – **I**. 9, 252, 263–265, 271, 659, 660.
Гааз Ф. П. – **II**. 356, 671.
Гай Корнелий Тацит – *см*. Тацит Публий.
Гайдебуров П. А. – **I**. 7, 33, 274; **II**. 603, 604, 607, 689.
Галилей Галилео – **I**. 293, 388, 672.
Гальперин-Кузминский И. Д. – **II**. 664.

Гамалея Н. Ф. – **I**. 261.
Гамбетта Леон Мишель – **I**. 300, 663.
Ганимед – **I**. 451.
Гапон Г. А. – **I**. 250, 657, 658.
Гаральд Английский (Гарольд I Босой) – **II**. 491.
Гаральд Норвежский – **II**. 491.
Гарольд I Босой – *см*. Гаральд Английский
Гартман Эдуард (Хартман) – **II**. 8, 10, 18, 350, 442, 630.
Гаршин В. М. – **II**. 249, 360, 601, 603, 654.
Ге Н. Н. – **II**. 255, 655.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих – **II**. 15, 279, 402, 629, 631.
Гей Л. – **II**. 652.
Гейне Генрих – **II**. 221, 393, 465.
Геккель Эрнст – **I**. 268.
Геннекен Эмиль – **II**. 287, 659.
Генрих I – **II**. 491, 679, 680.
Генрих III – **II**. 680.
Генрих IV – **II**. 491, 680.
Генрих Португальский – **II**. 568.
Гераклит – **II.** 22.
Герман Бамбергер – *см*. Вамбери Арминий.
Гермес – **I**. 484, 677; **II**. 682.
Гермоген (Ермоген, Ермолай) – **I**. 210, 647.
Гермониус А. К. – **I**. 672.
Герцен А. И. – **I**. 64, 229, 268, 652; **II**. 421, 605, 655, 669, 675, 689.
Герцль Теодор – 666.
Гесиод – **I**. 430, 483, 484; **II**. 73, 636.
Гессен И. В. – **I**. 103, 163, 632.
Гестнер Иоганн Кристиан (Кестнер) – **I**. 464, 678.
Гете Иоганн Вольфганг – **I**. 201, 282, 446, 461, 464, 496, 538, 616, 678; **II**. 22, 81, 82, 139, 149, 195, 216, 270, 278, 290, 293, 294, 392, 393, 447, 488, 503, 505, 556, 598, 691, 692.
Гефест – **I**. 483, 677; **II**. 687.
Гиацинт – **I**. 451.
Гилти Карл – **I**. 667.
Гильбер Иветт – **I**. 478, 679.
Гиляров А. Н. – **II**. 9, 631.
Гладстон Уильям Юарт – **I**. 300, 663; **II**. 160, 295, 334, 335, 349, 350, 352, 358.
Глинка М. И. – **I**. 221, 300.
Глинка-Янчевский С. К. – **I**. 651.
Гоббс Томас – **II**. 393, 675.
Гоголь Н. В. – **I**. 24, 26, 79, 201, 202; **II**. 109, 144, 145, 151, 158, 250, 253, 255–258, 275, 281, 283, 285, 306–308, 388, 389, 397, 423, 519, 541, 598, 599, 604, 610, 693.
Годфруа де Бульон – *см*. Готфрид Бульонский.
Гольцев В. А. – *см*. Г. О. Т. В.
Гомер – **I**. 328, 434, 439, 459, 649; **II**. 73, 74, 157, 294, 305, 319, 332, 379, 392, 569, 636.
Гончаров И. А. – **I**. 20, 25, 26, 214; **II**. 137, 141, 144, 151, 254, 270, 275, 283, 316, 321, 371, 389, 426, 510, 511, 515–517, 538, 611, 656.
Гораций Квинт Флакк – **II**. 392, 674, 691, 692.
Готфрид Бульонский (Годфруа де Бульон) – **II**. 75, 637.
Градовский А. Д. – **II**. 604, 689.

Грейг А. С. – **I**. 96, 630.
Грибоедов А. С. – **II**. 281, 610.
Григорий VII Гильдебрант – **II**. 491, 680.
Григорович Д. В. – **I**. 24, 203; **II**. 138, 307, 308, 421, 517, 641.
Григорьев А. А. – **II**. 324, 622, 624, 694.
Гриппенберг К. К. – **I**. 44, 95, 628.
Грушевский М. С. – **I**. 199, 200, 644.
Гумилев Н. С. – **I**. 69.
Гуревич Л. Я. – **II**. 663, 664, 686.663, 664, 686.
Гуревич С. Г. – **II**. 651.
Гучков А. И. – **I**. 114, 635.
Гюго Виктор Мари – **I**. 655; **II**. 288, 392–394, 645, 660, 674.
Гюйо Жан Мари – **I**. 59, 235, 533, 656; **II**. 8.
Давид – **I**. 175, 483, 641, 680; **II**. 292.
Давыдов Д. В. – **I**. 675.
Далай Лама – **II**. 401.
Даль В. И. – **II**. 284, 657.
Дамаскин Иоанн – **II**. 484, 486, 580.
Данилевский Н. Я. – **II**. 624, 694.
Данте Алигиери – **I**. 460, 464, 517–519; **II**. 157, 293, 294, 392, 640, 653.
Дарвин Чарльз Роберт – **I**. 388, 505, 508, 563, 564, 669; **II**. 15, 248, 334, 335, 346–348, 358, 392, 416, 622, 631.
Дарий Персидский – **I**. 641; **II**. 35.
Дедлов – *см*. Кигн В. Л.
Декарт Рене – **I**. 313, 508, 665.
Дементьев П. А. – *см*. Тверской Питер Деменс.
Державин Г. Р. – **I**. 109, 261, 268, 423; **II**. 281, 307, 385, 674.
Джиббс Д. У. – **I**. 151, 638.
Джойо Флавио – **II**. 416.
Джулиан Уэст – **II**. 235, 238, 240, 245, 247.
Джунковский В. Ф. – **I**. 181, 643.
Дидона – **I**. 518.
Дизраэли Бенжамин (Биконсфильд) – **II**. 234, 652.
Диков И. М. – **I**. 76, 625
Дильк Чарльз Вентворт – **II**. 234, 652.
Диомед – **II**. 75, 636.
Дионис – I. 440, 592.
Дионисий I Старший – **II**. 210, 650.
Дир, князь – **I**. 649.
Дитерихс А. К. – **II**. 686.
Дмовский Р. В. – **I**. 76, 81, 86, 138, 625.
Добролюбов Н. А. – **I**. 567; **II**. 275, 280, 283, 307, 308, 389, 603, 604, 611, 622, 689.
Доде Альфонс – **I**. 304, 664; **II**. 9, 239.
Долгоруков Я. Ф. – **I**. 206, 646; **II**. 296.
Долина Варя – **II**. 608.
Донати Джемма – **I**. 464.
Достоевский Ф. М. – **I**. 19, 20, 24–26, 33, 94, 181, 221, 276, 311, 594, 660, 684; **II**. 137, 141, 144, 145, 151, 249, 250, 253–255, 258, 270, 275, 307, 316, 321, 322, 355, 359, 360, 370, 371, 382, 389, 510, 515–519, 522, 538, 541, 599, 603, 606, 611, 620, 659, 693.

Дриль С. – **I**. 456.
Дубасов Ф. В. – **I**. 73, 73, 624.
Дубровин А. И. – **I**. 627, 652, 653.
Духинский Ф. – **I**. 199, 644.
Дьяков А. А. – **I**. 672.
Дюма Александр – **I**. 342, 664, 668, 669; **II**. 663.
Дюмон – **II**. 195, 645.
Дюринг Евгений – **I**. 268, 661, 662; **II**. 435.
Дюшатель – **II**. 194, 195.
Евклид (Эвклид) – **I**. 304, 661.
Евлогий, архиепископ Георгиевский – **I**. 48.
Еврипид (Эврипид) – **I**. 486; **II**. 73, 74, 77, 78, 89, 635, 636.
Ездра – **I**. 174, 641; **II**. 632.
Екатерина II – **I**. 85, 109, 261, 367, 630; **II**. 506.
Елена – **II.** 31, 100.
Елисей – **I**. 151, 638.
Еремченко Н. И. – **I**. 653.
Ермоген – *см*. Гермоген.
Ермолай – *см*. Гермоген.
Ермолова Е. А. – **I**. 675.
Есфирь – **I**. 175.
Ефремов А. – **I**. 221, 222, 229.
Жерар Папюс **I**. 679.
Жирарден Александр – **II**. 645.
Жирарден Дельфина – **II**. 645.
Жирарден Эмиль – **II**. 179, 193, 645.
Жорж Занд – *см*. Жорж Санд.
Жорж Санд (Жорж Занд, Амандина Аврора Люсиль Дюпен) – **I**. 478; **II**. 65, 634.
Жуковский В. А. – **I**. 25, 203, 624; **II**. 71, 141, 281, 307, 385, 421, 610, 614, 634.
Жулев Г. Н. – **I**. 673
Зайцев В. А. – **II**. 284, 657.
Замысловский Г. Г. – **I**. 651.
Захаров А. Д. – **I**. 221.
Захер-Мазох Леопольд – **I**. 668.
Зевс – **I**. 396, 485, 677, 681; **II**. 72, 74.
Зеленский М. Н. – **I**. 653.
Зелинский В. Д. – **II**. 678.
Зенон Элейский – **II**. 75, 636.
Зиммель Г. – **I**. 10.
Злотников Л. Т. – **I**. 651.
Золя Эмиль – **I**. 24, 304, 342, 475, 663, 675; **II**. 8, 9, 136, 144, 146, 158, 238, 239, 250, 253, 254, 256, 318, 328, 332, 645, 663, 667.
Зороастр (Заратуштра) – **I**. 481, 680; **II**. 392, 406.
Зоровавель – **II**. 30, 31, 632, 633.
Иван IV Антонович – **II**. 680.
Иван IV Васильевич Грозный – **I**. 57, 58, 88, 218–221, 627, 628, 650; **II**. 491, 502, 660.
Ивашев В. П. – **I**. 675.
Игорь – **I**. 218, 649.
Изяслав – **II**. 491, 680.
Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович) – **I**. 250, 251, 658.
Илия – **I**. 638.
Иловайский Д. И. – **II**. 534, 535, 686.
Иоанн III – **II**. 491.
Иокай Мавр – **I**. 476, 679.
Иоллос Г. Б. – **I**. 658.
Исайя – **II**. 234, 651.
Кавелин К. Д. – **II**. 519, 683.
Кадм (Кадмос) – **II**. 453, 567, 687.
Казанцев А. Е. – **I**. 250, 268.
Калигула – **II**. 502, 681, 682.

Камоинш – *см*. Камоэнс Луиш ди.
Камоэнс Луиш ди (Камоинш) – **II**. 157, 642, 643.
Кант Иммануил – **I**. 508; **II**. 17, 81, 93, 304, 435, 632.
Каприви Лео – **II**. 198, 649.
Карамзин Н. М. – **I**. 268; **II**. 387, 488, 503, 658.
Кареев Н. И. – **I**. 159, 640.
Карл XII – **I**. 241, 644.
Карлейль Томас – **I**. 496, 543, 645; **II**. 89, 236, 304.
Каро Эльм Мари – **II**. 7, 629, 630.
Каррель Арман – **II**. 647.
Кассий Дион – **II**. 166, 643.
Катков М. Н. – **II**. 691.
Катон Марк Порций – **II**. 75, 636.
Катулл Гай Валерий – **I**. 490, 682.
Кауфман П. М. – **I**. 109–111, 633.
Квитка-Основьяненко Г. Ф. – **I**. 201, 645.
Кекроп – *см*. Кекропс.
Кекропс (Кекроп) – **II**. 453, 567, 687.
Кекуле А. – **I**. 151, 638.
Кемпийский Фома – **I**. 488, 681.
Кеплер Иоганн – **I**. 314, 664.
Кестнер – *см*. Гестнер Иоганн Кристиан.
Кёниг – **II**. 168, 643.
Кёнигстайн – *см*. Равашоль Франсуа Клодиус Коенигстен.
Кигн В. Л. (Дедлов) – **II**. 360, 672.
Кизеветтер А. А. – **I**. 659.
Кикин А. В. – **II**. 296, 660.
Киприда – **I**. 455, 484.
Киреевский П. В. – **I**. 262, 675; **II**. 612.
Киселев П. Д. – **I**. 206, 647; **II**. 526.
Клавдий, император – **I**. 649; **II**. 681.
Клеопатра – **I**. 518; **II**. 336.
Клопшток Фридрих Готлиб – **I**. 437, 675.
Клюев Ф. Д. – **I**. 653.
Клюшников Федор – **I**. 334.
Кнуд I – **II**. 680.
Ковалевская С. В. – **II**. 47, 69.
Ковалевский П. И. – **I**. 60, 236, 656.
Колар Ян – **II**. 133, 640, 641.
Колесниченко А. Я. – **II**. 665.
Колумб Х. – **I**. 200, 244, 268, 29; **II**. 568.
Колычев Федор Степанович – *см*. Филипп.
Кольцов А. В. – **I**. 25, 201, 294; **II**. 141, 642.
Кони А. Ф. – **II**. 664.
Кониси Масутаро – **II**. 665.
Коновницын А. И. – **I**. 658.
Констан де Ребекк Бенжамен – **II**. 194, 647, 648.
Константин Анклитцен – *см*. Шварц Бертольд.
Констанция Прованская – **II**. 679.
Конфуций (Кун-Цзы, Кун Фу-Цзы) – **I**. 460, 481, 680; **II**. 84, 109, 357, 392, 406, 665.
Коржинский С. И. – **I**. 151, 638.
Корнель Пьер – **I**. 490, 682; **II**. 157, 391, 392.
Корниг – **I**. 515.

Короленко В. Г. – **II**. 253, 277, 360, 601, 654.
Костомаров Н. И. – **I**. 77, 626; **II**. 586.
Костюшко Тадеуш – **I**. 96, 631.
Крамской И. Н. – **I**. 221, 650.
Крапивницкий – **II**. 603.
Крафт-Эбинг Рихард – **I**. 341, 500, 515, 668, 683; **II**. 234.
Критон – **II**. 95, 639.
Кричтон-Браун Джеймс – **I**. 343, 669.
Кронос – **I**. 484, 680, 681; **II**. 72.
Крум – **I**. 218, 650.
Крошеван – *см*. Крушеван П. А.
Крушеван П. А. (Крошеван) – **I**. 86, 626.
Крылов И. А. – **I**. 681; **II**. 307, 610.
Ксавье де Монтепен – **II**. 179, 645.
Ксантиппа – **I**. 461, 678.
Ксенофонт – **I**. 484, 681.
Ксеркс I – **I**. 175, 176, 641, 642.
Кугель А. Р. – **I**. 672.
Кузен Виктор – **II**. 287, 658.
Кузминский А. М. – 663, 664.
Куинджи А. И. – **I**. 383, 672.
Кулаковский П. А. – **I**. 48.
Кун Фу-Цзы – *см*. Конфуций.
Кун-Цзы – *см*. Конфуций.
Куплеваский Н. О. – **I**. 48, 158, 637, 639.
Курбский А. М. – **II**. 296, 504, 660.
Куропаткин А. Н. – **I**. 72, 75, 113, 181, 182, 628, 634.
Кусков П. А. – **I**. 522, 684.
Кутлер Н. Н. – **I**. 131, 636.
Кутузов М. И. – **I**. 214; **II**. 503.
Кювье Жорж – **II**. 266, 655–657.
Лавров П. Л. – **I**. 659.
Лавуазье Антуан Лоран – **I**. 388, 672; **II**. 245, 416.
Лайель (Лайелл) Чарльз – **II**. 248, 654.
Ламздорф В. Н. – **I**. 96, 629.
Лао-цзы – **II**. 665–667.
Ларошфуко Франсуа – **I**. 426, 429, 446, 491, 586, 602, 682; **II**. 315, 475.
Лаплас Пьер Симон – **II**. 435, 677.
Лафит Жак – **II**. 647.
Левдик П. Ф. – **I**. 672.
Леверрье Урбен Жан Жозеф – **II**. 243, 655.
Левицкий О. И. – **I**. 200, 645.
Лейбниц Готфрид Вильгельм – **I**. 616, 685.
Лейкин Н. А. – **I**. 673.
Ленский А. П. – **II**. 678.
Леонтьев К. Н. – **I**. 10.
Леопарди Джакомо – **II**. 9, 393, 630.
Лермонтов М. Ю. – **I.** 24, 25, 200, 300, 423, 439, 465, 661; **II**. 84, 137–141, 185, 186, 251, 281, 308, 321, 385, 386, 388, 403, 413, 421, 455, 501, 503, 513, 514, 598, 610, 615, 642, 694.
Леру Пьер – **I**. 478, 679.
Леруа-Болье Анатоль – **II**. 383, 672.
Лесаж Ален-Рене – **II**. 645.
Лесков Н. С. – **I.** 7, 300, 663, 673; **II.** 317, 389, 418, 510–529, 604–609, 665, 682, 683, 689, 690.

Лессепс Фердинанд – **II**. 191, 192, 334, 647.
Лессинг Готхольд Эфраим – **I**. 401, 667.
Летурно Шарль – **I**. 341, 430, 667; **II**. 288.
Ликург Афинский – **II**. 75, 636.
Линдау Рудольф – **II**. 194, 648.
Лисовой Н. Н. – **I**. 6, 69.
Лойола Игнатий – **II**. 347, 669.
Локк Джон – **II**. 393, 675.
Ломачевский Д. П. – **I**. 673.
Ломброзо Чезаре – **I**. 335, 666; **II**. 234, 384.
Ломоносов М. В. – **I**. 268, 676, 680.
Лонг – **I**. 428.
Лонгинов М. Н. – **II**. 485, 679.
Лонгфелло Генри Уодсуорт – **II**. 393, 675.
Лопухин А. П. – **I**. 261.
Лукреций Кар – **I**. 426, 487; **II**. 10, 11, 245, 631.
Луций Элий Аврелий Коммод – **II**. 76, 638.
Луцилий – **II**. 71.
Лютер – **I**. 461.
Магомет – **II**. 89, 139, 304, 392.
Мазепа И. С. – **I**. 197, 645.
Мазини Анджело – **I**. 365, 670, 671.
Майков А. М. – **I**. 201, 303, 684; **II**. 385, 388, 599, 610.
Майн Рид – **I**. 114; **II**. 161.
Макаров С. О. – **I**. 72, 73, 623, 634.
Макарт Ганс – **I**. 364, 670.
Макиавелли Николо (Макьявелли) – **II**. 348, 671.
Маковицкий Д. П. – **II**. 665.
Маковский К. Е. – **I**. 214, 649.
Максим Горький – **I**. 74; **II**. 561–564, 566, 569, 581, 582, 584, 585, 587–589, 592, 594, 628.
Максименко – *см*. Виталий, архимандрит.
Макьявелли – *см*. Макиавелли Николо.
Малуша – **I**. 638.
Мамин-Сибиряк Д. Н. – **II**. 539, 686.
Мамонтов А. И. – **II**. 685.
Мантегаццы Паоло – **I**. 491, 683; **II**. 234, 304.
Ману – **I**. 481, 679, 680.
Мардохей – **I**. 176, 177, 224, 642.
Марк Аврелий Антонин – **I**. 487; **II**. 75, 406, 467, 634.
Марков Н. Е. – **I**. 263, 651.
Маркс Карл – **I**. 106; **II**. 234, 675.
Марлинский А. А. – *см*. Бестужев-Марлинский А. А.
Мартынов Е. И. – **I**. 172, 640.
Мей Л. А. – **I**. 528.
Мейер Лотар Юлиус – **II**. 248, 654.
Мейсонье – *см*. Месонье Эрнест.
Мелитос – **II**. 95.
Мельгунов С. П. – **I**. 10.
Менделеев Д. И. – **I**. 62, 151, 221, 244; **II**. 654.
Меньшиков М. О. – **I**. 70, 342, 453, 637, 638, 640, 651, 653, 654, 657, 659, 660, 662, 666, 669, 673, 683; **II**. 4, 7, 9, 37, 45, 79, 89, 95, 113, 235, 268, 368, 596, 609, 626–629, 650–652, 656, 659, 662, 671, 676, 677, 679, 682, 683, 687, 688.
Меньшикова М. В. – **I**. 69, 70.

Мережковский Д. С. – **I**. 23, 428, 566, 684; **II**. 395, 599, 601.
Месонье Эрнест (Мейсонье) – **II**. 242, 653.
Меттерних-Викнебург – *см*. Меттерних Клеменс.
Меттерних Клеменс (Меттерних-Викнебург) – **II**. 348, 670, 671.
Мечников И. И. – **I**. 60, 236, 656.
Мещерский В. П. – **II**. 650, 691.
Мигулин П. П. – **I**. 229, 653, 654.
Милле Жан Франсуа – **II**. 191, 647.
Милль Джон Стюарт – **II**. 33, 633.
Милло Моисей Полидор – **II**. 179, 645.
Мильтон Джон – **I**. 437, 460, 464, 67; **II**. 78–80, 157, 392, 639.
Милюков П. Н. – **I**. 67, 68, 183–186, 245, 247, 251, 657.
Милютин Н. А. – **I**. 211; **II**. 280, 657, 672.
Минаев Д. Д. – **I**. 673; **II**. 692.
Миних Б. Х. – **I**. 96, 211, 629; **II**. 660.
Минский Н. М. (Виленкин) – **II**. 395, 628, 688.
Минский, епископ – **I**. 632.
Минье Франсуа-Огюст – **II**. 647.
Мирабо Оноре Габриель Рикети – **I**. 496, 683.
Михайлов М. Л. – **II**. 604, 689.
Михайловский Н. К. – **I**. 23; **II**. 387, 628.
Мицкевич А. Б. – **I**. 181, 199, 201, 202, 644.
Мишле Жюль – **I**. 491; **II**. 33, 633.
Мищенко П. И. – **I**. 181, 182, 642.
Моисей – **I**. 175, 460, 642; **II**. 310, 324, 357, 358, 392.
Мольер Ж. Б. – **I**. 155, 464, 521, 639, 684.
Мольтке Старший – *см*. Мольтке Хельмут Карл Бернхард.
Мольтке Хельмут Карл Бернхард (Мольтке Старший) – **II**. 81, 639.
Моммзен Теодор – **II**. 350, 671.
Монтань – *см*. Монтень Мишель.
Монтеверде П. А. – **I**. 672.
Монтень Мишель (Монтань) – **I**. 488, 682.
Мопассан Ги де – **I**. 24, 430; **II**. 7–9, 11, 136, 258, 428, 437.
Мордвинов Н. С. – **I**. 206, 646.
Морзе Сэмюэль Финли Бриз – **II**. 343, 668.
Морозов Б. И. – **II**. 502, 682.
Моссо Анджело – **I**. 341, 344, 345, 667.
Мотовилов А. А. – **I**. 48.
Моцарт Вольфганг Амадей – **II**. 277.
Мультановский С. Я. – **II**. 621, 694.
Мур Томас – **I**. 645, 678.
Мюссе Альфред – **I**. 478, 679.
Навроцкий В. В. – **II**. 214, 651.
Надеждин Н. И. – **II**. 387, 673.
Надсон С. Я. – **I**. 7, 287, 462, 542; **II**. 360, 596–604; 671, 688.
Назо – *см*. Овидий Назон.
Накрохин П. Е. – **I**. 332, 665, 666.

Наполеон – **I**. 37, 134, 154, 241; **II**. 89, 195, 196, 310, 417, 447, 503, 568, 569, 629, 648, 670.
Нахимов П. С. – **I**. 75, 624, 625.
Не-Буква – *см*. Василевский И. М.
Небогатов Н. И. – **I**. 72, 624.
Некрасов Н. А. – **I**. 24, 25, 78, 299; **II**. 137, 138, 141, 307, 308, 316, 393, 394, 421, 494, 501, 565, 642.
Немврод (Нимврод, Нимрод) – **II**. 567, 687.
Нерон Тиберий Клавдий – **I**. 217, 609, 649, 663; **II**. 166, 502, 643.
Нестор – **I**. 199, 218, 645.
Никита Минов – *см*. Никон.
Никитин И. С. – **I**. 25, 137, 201; **II**. 141, 642.
Никифоров Н. К. – **I**. 673.
Никон (Никита Минов) – **I**. 648.
Нимврод – *см*. Немврод.
Нимрод – *см*. Немврод.
Ницше Фридрих – **I**. 10; **II**. 10, 332, 630.
Новиков Н. И. – **I**. 261, 262, 268, 269; **II**. 138, 306, 641.
Нордау Макс (Симха Меер, Симон Максимилиан) – **I**. 333, 341, 342, 666; **II**. 236, 318, 432.
Ньютон Исаак – I. 153, 313, 410, 461, 508, 665; **II**. 28, 248, 416.
Овидий Назон (Назо) – **I** 152, 292, 487, 639; **II**. 691.
Озмидов М. П. – **II**. 650.
Ойяма Ивао – **I** 113, 634.
Олег Вещий – **I** 213, 218, 629, 649.
Омар – **I** 217, 649.
Ор О. Л. – **II**. 649.
Орлов-Чесменский А. Г.– **I**. 630.
Ососов А. В. – **I**. 653.
Остерман-Толстой А. И. – **I**. 629.
Островский А. Н. – **I**. 208; **II**. 138, 275, 283, 316, 599, 694.
Отеро Каролина – **I** 478, 679.
Пален П. А. – **I**. 206, 647.
Паскаль Блез – **I**. 488, 490, 682; **II**. 67.
Паскевич И. Ф. – **I**. 99, 631.
Пастер Луи – **I**. 388, 672; **II**. 416, 417.
Пенн Уильям – **II**. 568, 688.
Петерсон Е. А. – **I**. 181.
Петр I Великий – **I**. 43, 58, 86, 91, 92, 109, 112, 113, 115, 129, 134, 220, 221, 300, 303, 352, 354, 628, 646; **II**. 619, 660, 682.
Петр III – **I**. 629.
Петрарка Франческо – **I**. 460
Петров М. П. – **I**. 653.
Петров Н. П. – **I**. 654.
Петроний Тит Гай – **I**. 594; **II**. 443.
Петрункевич Н. И. – **II**. 655.
Пёлитцер Джозеф (Пулитцер) – **II**. 181, 646.
Пизистрат (Писистрат) – **I**. 215, 649.
Пирон из Элиды – **II**. 631.
Писарев Д. И. – **I**. 567; **II**. 275, 284, 389, 603, 611, 656.
Писемский А. Ф. – **I**. 20; **II**. 371, 517, 673.
Писистрат – *см*. Пизистрат.
Пифагор Самосский – **I**. 294; **II**. 75, 406, 575, 577, 636.
Платон – **I**. 32, 425, 450, 460, 485, 486, 491, 504, 518, 665, 676; **II**. 234, 312, 331, 631, 632, 639.
Плеве В. К. – **I**. 636.

Плещеев А. А. – **I**. 405, 673.
Победоносцев К. П. – **I**. 210; **II**. 623, 695.
Полевой Н. А. – **II**. 285, 657.
Полежаев А. И. – **II**. 610, 675, 692.
Половцев Л. В. – **I**. 48.
Полонский Я. П. – **I**. 7, 18, 19, 201, 308, 617; **II**. 271, 359, 361, 365–370, 373, 385, 388, 397, 398, 403, 404, 407, 416, 418, 478, 479, 609–614, 691.
Полубояринова Е. А. – **I**. 653.
Поль де Кок – **II**. 238, 633.
Понсон дю Террайль Пьер Алексис – **I**. 435; **II**. 179, 645.
Порталис Август – **II**. 193, 194, 647.
Поспелов М. Б. – **I**. 6, 69; **II**. 626, 627.
Поспелова О. М. – **I**. 69.
Потапочкин С. С. – **I**. 653.
Походяшин М. М. – **I**. 261.
Пракситель – **II**. 507, 633, 682.
Прево Марсель Эжен – **I**. 435, 674, 675, 685.
Прокопович Феофан – **I**. 93, 628.
Прометей – **I**. 483.
Птолемей Клавдий – **I**. 180, 642.
Птоломей Филопатор – **I**. 178, 179, 642; **II**. 347.
Пулитцер – *см*. Пёлитцер Джозеф
Пуришкевич В. М. – **I**. 86, 96, 627.
Пушкин А. С. – **I**. 109, 200–202, 205, 214, 221, 229, 300, 310, 334, 346, 364, 372, 427, 435, 439, 443, 461, 520, 527, 673–675, 684; **II**. 87, 102, 116, 119, 138–141, 144, 151, 157, 175, 186, 237, 281, 302, 306–309, 316, 321. 385–390, 396, 397, 399, 400, 412, 417, 421–423, 429, 449, 455, 465, 480, 488, 501, 503, 506, 510, 513, 514,581, 598, 610, 624, 641, 642, 660, 661, 674.
Равашоль Франсуа Клодиус Коенигстен (Кёнигстайн) – **I**. 360, 670.
Радищев А. Н. – **II**. 138, 306, 386, 641.
Раевская Е. И. – **II**. 684.
Ранавало – **II**. 401.
Расин Жан Батист – **II**. 391, 392, 673.
Распутин Г. Е. – **I**. 627, 658; **II**. 627.
Рафаэль – **I**. 377; **II**. 142, 149, 266, 277.
Реклю Элизе – **II**. 453, 678.
Рембрандт Харменс ван Рейн – **I**. 370, 377, 671.
Ренан Эрнест – **I**. 476, 664; **II**. 7, 304, 439, 629, 646.
Репин И. Е. – **I**. 370, 671.
Репнин А. И. – **I**. 219; **II**. 502, 504, 682.
Риббинг С. – **I**. 505, 515.
Рибо Теодюль Арман – **I**. 443, 453, 676.
Ришбург Эмиль – **II**. 179, 645.
Рише Шарль Роберт Бьернсон – **I**. 510–512, 514–517, 535, 596, 598, 683, 684; **II**. 234, 652.
Ришпен Жан – **I**. 59, 230, 235, 655, 656; **II**. 8.
Роберт II Благочестивый – **II**. 679.
Робеспьер Максимилиан (Максимильен) – **II**. 485, 679.

Ровенский С. И. – **II**. 214, 215.
Рожественский З. П. – **I**. 633, 634.
Розанов В. В. – **I**. 10, 23, 26, 32, 684; **II**. 620, 693.
Ромул Августул – **II**. 567, 673, 674.
Ротшильд Майер Амшель – **II**. 106, 337, 639, 640.
Рошгросс Жорж-Антуан – **II**. 104, 640.
Рошфор Анри – **II**. 183, 646.
Рубенс Питер Пауль – **I**. 377.
Рудый Панько – **I**. 202.
Рузвельт Теодор – **I**. 185, 643.
Руссо Жан Жак – **I**. 664, 685; **II**. 324, 392, 396, 666, 674.
Рухлов С. В. – **I**. 48, 637.
Рылеев К. Ф. – **I**. 610, 692.
Саади – **I**. 451, 676.
Савенко А. И. – **I**. 48.
Сазонов Г. П. – **I**. 637.
Салтыков-Щедрин Н. Е. – **I**. 24; **II**. 655.
Саул – **I**. 175, 641.
Саша Черный – **II**. 649.
Святослав Игоревич, князь – **I**. 218, 650.
Святослав I – **I**. 638.
Селимена – **I**. 520, 684.
Семирамида – **I**. 327, 442, 518, 676.
Сенека Луций Аней – **I**. 278, 486, 663; **II**. 71, 73, 406.
Сен-Жюст Луи Антуан – **II**. 485, 679.
Сенкевич Генрик – **I**. 97, 631.
Сент-Бёв Шарль – **II**. 287, 658, 659.
Сеньковский Н. А. – **II**. 307, 662.
Сервантес Мигель де Сааведра – **I**. 519; **II**. 70, 76, 158, 638.
Сергеенко П. А. – **II**. 650.
Серебренников А. С. – **II**. 650.
Серебряный В. С. – **II**. 502, 682.
Сигизмунд – **I**. 90, 102.
Симон Жюль – **II**. 663.
Симон Максимилиан – *см*. Нордау Макс.
Симха Меер – *см*. Нордау Макс.
Скабичевский Н. – **I**. 23; **II**. 628.
Скрынченко Д. В. – **I**. 632.
Смит Адам – **I**. 474, 645, 678.
Снарский А. Т. – **I**. 83, 626.
Сократ – **I**. 278, 385, 416, 460, 461, 464, 484–486, 662, 664, 676, 678; **II**. 4, 31, 73–75, 95, 109, 304, 392, 406, 554, 559, 569, 639.
Соловьев В. С. – **I**. 6, 10, 23, 149, 638; **II**. 614–620, 666, 693.
Соломон – **I**. 459, 482, 680; **II**. 631, 639.
Сотеле Огюст – **II**. 647.
Софокл – **I**. 449, 487; **II**. 73, 74, 635.
Спенсер Чарльз Герберт – **I**. 292, 505, 663; **II**. 72, 331.
Спиноза Барух (Бенедикт) – **I**. 461, 491, 509, 682.
Сталь-Гольштейн Анна Луиза – **I**. 287, 663, 674.
Станислас де Гуайта – **I**. 679.
Стендаль – **I**. 491, 514, 664, 683.
Стессель А. М. – **I**. 96, 113, 629.
Стефенсон Джордж – **II**. 343, 416, 668.
Столыпин А. А. – **I**. 132–136.

Столыпин П. А. – **I**. 205–213, 225, 226, 249, 636, 637, 661.
Страхов Н. Н. – **I**. 7, 684; **II**. 317, 620–625, 664, 685, 693, 694.
Суворин А. С. – **I**. 33, 69, 81, 651; **II**. 437, 678.
Суворин М. А. – **I**. 48, 225, 651.
Суворов А. В. – **I**. 211, 214, 221; **II**. 619.
Сумароков А. П. – 298, 660, 661.
Сухомлинов В. А. – **I**. 63, 222–224, 226–228, 250, 651.
Сухомлинова Е. В. – **I**. 226.
Табачников Л. – **II**. 214, 215.
Талейран-Перигор – *см*. Талейран Шарль Морис.
Талейран Шарль Морис (Талейран-Перигор) – **II**. 348, 647, 670.
Тамерлан – **II**. 499.
Тард Габриэль – **II**. 266, 410, 447, 656.
Тассо Торквато – **II**. 111, 640.
Тацит Публий (Гай Корнелий Тацит) – **I**. 328, 665.
Тверской Питер Деменс (Дементьев П. А.) – **I**. 258, 260, 262, 660, 661.
Теннисон Альфред – **I**. 308; **II**. 392, 674.
Терпигорев С. Н. – **I**. 673.
Тиверий Август – **II**. 502, 681.
Тит Лукреций Кар – **I**. 436, 487; **II**. 11, 245, 631.
Титания – **I**. 452.
Тихменев Н. П. – **I**. 651.
Ткачев П. Н. – **II**. 284, 657.
Того Хэйхатиро – **I**. 113, 634.
Толстая С. А. – **I**. 203; **II**. 684.
Толстой А. К. – **I**. 214.
Толстой А. Н. – **II**. 388, 478–510, 678, 679.
Толстой Л. Н. – **I**. 7, 8, 10, 14, 19, 20, 24–26, 29, 73, 109, 149, 204, 221, 310, 311, 342, 372, 514, 541, 664, 669; **II**. 37, 137, 141, 144, 145, 151, 254, 258, 270, 275, 307, 308, 315–330, 335, 352, 354, 360, 370, 371, 388, 419, 421, 471, 472, 513, 519–521, 523, 529–560, 598, 606, 611, 620, 624, 655, 659, 662–667, 683–686.
Тразимах Халкидонский – **II**. 22, 632.
Тришатный А. И. – **I**. 653.
Труфанов Сергей Михайлович – *см*. Илиодор.
Тургенев И. С. – **I**. 19, 20, 24, 25, 29, 109, 221, 310, 314, 372, 437, 498, 664; **II**. 85, 137, 144, 151, 157, 254, 258, 270, 275, 283, 298, 306, 307, 308, 316, 321, 322, 323, 360, 370, 371, 379, 389, 397, 419–423, 488, 499, 510–518, 538, 598, 603, 604, 611, 624, 655, 656, 659, 660, 694.
Туровский М. – **I**. 632.
Тьер Адольф – **II**. 417, 646, 647, 676.
Тэн И. – **I**. 216, 520, 521, 649, 664; 287, 304, 405, 406, 646.
Тютчев Ф. И. – **I**. 200; **II**. 290, 385, 388, 592, 610, 679.
Тютчева А. Ф. – **II**. 481, 482, 679.
Уатт Джеймс – **II**. 343, 416, 668.
Уильямс Вальтер – **I**. 65.
Уильямс Чарльз – **II**. 646.
Уоллес Альфред Рассел – **I**. 329, 665.

Урицкий М. С. – **I**. 69.
Урусов А. П. – **I**. 47, 48, 637.
Урусов Л. П. – **II**. 678.
Успенский Г. И. – **I**. 24, 311, 329; **II**. 85, 138, 260, 519, 655.
Фарадей Майкл – **I**. 388, 672; **II**. 416.
Федор Иоаннович – **I**. 88, 627, 628.
Федор Михайлович – **I**. 648.
Федосеевиц – *см*. Абрамов Я. В.
Федр – **I**. 485, 681.
Фейербах Людвиг – **II**. 15, 631.
Феодот – **I**. 487.
Феокрит – **I**. 456, 677.
Фере Шарль – **I**. 343, 669.
Фет А. А. (Шеншин) – **I**. 200, 214, 498, 538, 539, 598; **II**. 114, 385, 388, 398, 421, 501, 514, 610, 624, 691.
Филалет – **II**. 22, 632.
Филемон – **I**. 452, 677.
Филипп (Колычев Федор Степанович) – **I**. 210, 219, 650.
Филиппов Т. И. – **II**. 608, 690, 691.
Флавий Иосиф – **I**. 180, 642.
Фламмарион Камиль – **II**. 234, 440, 441, 652.
Флобер Гюстав – **I**. 375, 664, 671; **II**. 158, 253, 258, 514.
Фонвизин Д. И. – **II**. 151, 281, 422.
Фофанов К. М. – **II**. 599, 604, 688.
Франциск Ассизский – **II**. 75, 576, 638.
Фрибес О. А. – **I**. 55.
Фридрих II – **I**. 37, 134, 636.
Фридрих III – **I**. 335, 666.
Фриз Х. – **I**. 151, 638.
Фрина – **II**. 31, 633.
Фруг С. Г. – **II**. 601, 688.
Харита – **I**. 452, 677; **II**. 687.
Харитонов П. А. – **I**. 654.
Харрис Фрэнк – **II**. 646.
Хартман – *см*. Гартман Эдуард.
Хилков Д. А. – **II**. 663.
Хоменков Е. Д. – **I**. 653.
Хомяков А. С. – **I**. 675; **II**. 612.
Худеков С. Н. – **I**. 672.
Цезарь Гай Юлий – **II**. 166, 310, 336, 447, 552, 636, 643.
Цитерея – **I**. 484.
Цицерон Марк Туллий – **I**. 278, 487, 662, 671; **II**. 166, 636.
Чаадаев П. Я. – **I**. 64, 229, 652; **II**. 673.
Чайковский П. И. – **I**. 221.
Черевин Л. А. – **II**. 651.
Чернышевский Н. Г. – **I**. 562; **II**. 389, 622, 669, 689.
Чертков В. Г. – **II**. 686.
Чехов А. П. – **I**. 7, 12, 15, 21, 109, 386; **II**. 44, 253, 277, 360, 379, 444, 445, 451, 452, 456, 463, 471, 478, 677, 678.
Чижевский А. Л. – **I**. 200; **II**. 627.
Чудновский Ю. Т. – **II**. 608, 690.
Чуковский К. И. – **II**. 649.
Чухнин Г. П. – **I**. 72, 73, 624.
Шамфор Себастьян Реош Никола – **I**. 491, 683.
Шахматов А. А. – **I**. 200.
Шварц Бертольд (Бертольд Черный, Константин Анклитцен) – **I**. 261; **II**. 416, 675, 676.
Шевченко Т. Г. – **I**. 80, 196, 198–205, 645, 646.

Шекспир У. – **I**. 154, 201, 300, 410, 452, 464, 501, 502, 504, 505, 520–522, 536, 683; **II**. 77, 157, 238, 270, 277, 288, 294, 391, 392, 485, 511, 600, 694.
Шелгунов Н. В. – **I**. 9; **II**. 346, 519, 609, 668, 669, 689.
Шелли Перси Биши – **II**. 78, 79, 639.
Шервинский С. В. – **I**. 271.
Шиллер Иоганн Фридрих – **I**. 95, 492, 508, 624; **II**. 91, 142, 195, 216, 311, 393, 394, 505, 639, 668.
Шишкин Н. И. – **I**. 676.
Шлемин П. И. – **I**. 8; **II**. 626.
Шмидт П. Ю. – **II**. 678.
Шопенгауэр Артур – **I**. 10, 28, 231, 268, 490–505, 538, 544.
Шпенглер О. – **I**. 10, 11, 14, 29.
Шпильгаген Фридрих – **I**. 476, 679.
Шульгин В. В. – **I**. 48.
Эвклид – *см*. Евклид.
Эврипид – *см*. Еврипид.
Эдвардс Альфред – **II**. 647, 652.
Эдисон Томас Алва – **II**. 262, 655.
Эдуард – **I**. 184.
Эккерман Иоганн Петер – **I**. 616.
Эктон – *см*. Актон.
Элоиза – **I**. 582, 685.
Эль-Эс – **I**. 125–127.
Эмерсон Ральф Уальдо – **I**. 382, 474, 671, 678.
Эмпедокл из Агригента – **I**. 493, 683.
Энгельгардт Н. А. – **I**. 203, 258, 310, 311, 651, 661; **II**. 652.
Энгельс Фридрих – **I**. 488, 662.
Энквист О. А. – **I**. 44, 96.
Эпиктет – **I**. 486, 681; **II**. 75, 406, 559, 634.
Эпикур – **I**. 447, 487; **II**. 577, 631.
Эрб Вильгельм – **I**. 341, 667.
Ювенал Децим Юний – **II**. 218, 219, 651.
Юм Дэвид – **II**. 393, 675.
Язон – **I**. 187.
Языков М. П. – **I**. 3; **II**. 307.
Языков Н. М. – **I**. 326, 439, 675, 676.
Якобсон – **I**. 69.
Яковенко В. И. – **I**. 204, 645.
Ярослав Мудрый – **II**. 490, 491, 660, 679, 680.
Ясинский И. И. – **I**. 673.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ III. **НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ** 5

Начала жизни: Нравственно-философские очерки (статьи из книги) 5

Вера в жизнь 5

Женщина-мать 29

Героизм 70

Поэзия 111

РАЗДЕЛ IV. **ЖУРНАЛИСТИКА, КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРА, О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ** 133

О писательстве (статьи из книги) 133

О литературе и писателях 133

Литературное бессилие 146

Призвание журналистики 159

О литературе будущего 233

О критике 268

Пределы литературы 288

Критические очерки (статьи из книги) 315

Работа совести (По поводу статьи «Неделание» гр. Л. Н. Толстого) 315

Две правды 358

Литературная хворь 418

Больная воля («Палата № 6». Рассказ А. П. Чехова).....452
Поэт-богатырь (По поводу писем гр. Алексея Толстого).....478
Художественная проповедь (XI том сочинений Н. С. Лескова) 510
Сбились с дороги (По поводу рассказа «Хозяин и работник» гр. Л. Н. Толстого) 529
Вожди народные 561

Литературные характеристики 596
<Семен Яковлевич> Надсон 596
<Николай Семенович> Лесков 604
<Яков Петрович> Полонский..... 609
<Владимир Сергеевич> Соловьев 614
<Николай Николаевич> Страхов 621

КОММЕНТАРИИ..... 626

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 696

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 70 томов).

Редактор Л. А. Попенова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 30.11.2011 г. Формат 84 x 108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «Times». Объем 34,5 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*

Русское Православие в трех томах *(вышли)*

Русское государство *(вышел)*

Русский патриотизм *(вышел)*

Русское мировоззрение *(вышел)*

Русский образ жизни *(вышел)*

Русская география

Русское хозяйство *(вышел)*

Международные отношения

Национальные отношения

Русская литература *(вышел)*

Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*

Русская архитектура и скульптура

Русская живопись

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.

Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.

Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)